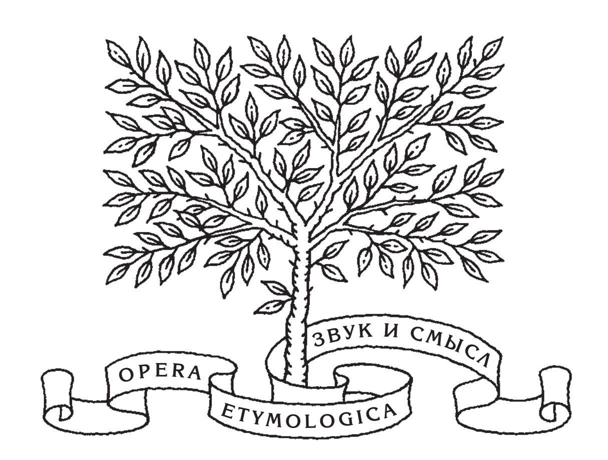


В. Н. Топоров

Исследования по этимологии и семантике

Том 4 (книга 2)


ЗВУК И СМЫСЛ
OPERA
ETYMOLOGICA

В. Н. Топоров

Исследования по этимологии и семантике



РУКОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
МОСКВА 2010

В. Н. Топоров

Том 4

Балтийские и славянские языки

Книга 2



РУКОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
МОСКВА 2010

УДК 811
ББК 81.2
Т 58

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 07-04-16120

Топоров В. Н.

Т 58 Исследования по этимологии и семантике. Т. 4: Балтийские и славянские языки. Кн. 2. — М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. — 512 с. — (Opera etymologica. Звук и смысл).

ISBN 978-5-9551-0442-3

Настоящий том состоит из трех книг и включает исследования по балтийским и славянским языкам с доисторических времен до наших дней. На основе сравнительно-исторического и этимологического анализа раскрывается широкая картина мифологических, религиозных и бытовых воззрений балтийских и славянских народов в их генетической связи с духовной культурой древних индоевропейцев. Много внимания уделяется межэтническим контактам балтов и славян друг с другом и с сопредельными народами. Ряд статей посвящен происхождению отдельных слов и выражений в древних и новых языках.

ББК 81.2

ISBN 978-5-9551-0442-3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Балтийские этимологии

БАЛТИЙСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

БАЛТИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Балтийские языки (Б. я.), составляющие особую ветвь индоевропейской языковой семьи, свое современное название (литов. baltų kalbos, латыш. baltu valodas, рус. *балтийские языки*, нем. baltische Sprachen, фр. langues baltiques, англ. Baltic languages), ставшее в настоящее время основным и практически единственным обозначением этой группы языков, получили только в середине XIX в. (Ф. Нессельман, 1845); данное название имеет своим источником название соответствующего моря, впервые упомянутое в XI в. немецким хронистом Адамом Бременским (mare Balticum). Существует также мнение, что это название могло происходить от названия о-ва Balcia, упоминаемого Плинием Старшим в его «Historia naturalis». Несмотря на позднее, сугубо «ученое» и, следовательно, условное происхождение этого названия, своими корнями оно уходит в балтийскую и индоевропейскую эпоху и является важнейшим историко-лингвистическим индексом. Корнем *balt- (литов. báltas, латыш. bal̃ts [1] 'белый' и прусские топонимы с элементом balt-, обозначавшим болото, стоячие воды; использование balt- в восточнобалтийских языках для цветообозначения вторично) первоначально обозначалась, видимо, отрезанная замкнутая часть моря, гафф (нем. Haff), которую равно можно соотнести с Куршским заливом или закрытой частью Гданьского залива. Если это так, то данный элемент *balt- оказывается связан с другими «болотными» обозначениями, тянущимися полосой от южного побережья Балтийского моря до Средиземноморья (прус. *balt-, слав. *bolto, иллир. balt-, ср. укр. *балта, балда, балти́на* 'жидкая грязь' и соответствующие гидронимы и топонимы, алб. *baltë*, н.-греч. *βάλτος*, сев.-итал. palta, pauta и т. д.).

До возникновения и утверждения названия «балтийские языки» (иногда и несколько позже) пользовались такими обозначениями этих языков, как «леттские» или «летто-литовские», нем. lettische Sprachen, лат. linguae letticae

и т. п. В литературе Б. я. иногда обозначаются как «айстийские» (литов. *aisčių* kalbos у К. Буги и др.), по имени племени айстиев (эстиев), впервые упомянутых еще Тацитом (I в.), — лат. Aesti, Aestiorum gentes ʻплемена айстиев’, который локализовал их на морском побережье (литов. Áis(t)*marės*, т. е. ʻморе айстиев’); айстии-эстии упоминаются и рядом более поздних источников, хотя далеко не всегда ясна их балтийская принадлежность.

2. В настоящее время в состав Б. я. входят литовский (с двумя основными диалектами — жемайтским и аукштайтским, включающим дзук(ий) - ские говоры на юго-востоке Литвы), латышский (с ливонским, среднелатышским и верхнелатышским диалектами) и латгальский (на основе «глубоких» говоров Латгалии и восточной части Земгале) языки. О более точном соотношении латышских и латгальских говоров в Восточной Латвии, как и о языковой ситуации в этом ареале, см. в статьях «Латгальский язык» и «Латышский язык» в наст. издании. Во всяком случае есть веские основания — и чисто языковые, и социолингвистические, и культурно-исторические, чтобы считать латгальский особым языком — тем более в свете тех общих изменений, которые имели место на рубеже 80–90-х гг. XX в. Б. я. распространены сейчас на компактной и сплошной территории (метрополия). Литовский язык преобладает на всей территории Литвы, кроме некоторых районов на востоке и юго-востоке, непрерывный ареал литовского языка в пределах Литвы имеет свое продолжение в северо-восточной части Польши (Сувалкия). К северу от области распространения литовского языка локализуется латышский язык, преобладающий на значительной территории Латвии, исключая ее восточные окраины. Однако степень преобладания латышского языка на территории Латвии или даже его концентрированности очень разная в разных районах; в частности, в ряде крупных городов значителен процент русскоговорящих и билингвов. Остатки литовской, латышской и латгальской речи, входившей раньше в сплошной балтийский ареал, сохраняются в виде островных говоров северной Белоруссии и южной Латвии (литовский язык) и северо-восточной Белоруссии (латышский язык в отдельных местах Витебской области). На литовском и латышском языках говорят также литовцы и латыши, живущие в Северной и Южной Америке, Австралии, Швеции, Германии и некоторых других странах.

Общий состав Б. я. (диалектов), включая мертвые, может быть охарактеризован следующим образом. Периферийные балтийские диалекты (в I тыс. н. э., а для некоторых звеньев этого внешнего пояса и позже): прусский (см. статью «Прусский язык» в наст. издании), ятвяжский (судавский, судинский), куршский (при членении на западно- и восточнобалтийскую группы куршский обычно относят к последней, хотя высказывается мнение о первоначальной принадлежности куршского языка к западнобалтийским языкам), га-

линдский (голядский). Диалекты центральной зоны: литовский, латышский (латгальский), земгальский, селийский (селонский). Все диалекты (языки), принадлежащие к балтийской периферии, а также селийский и земгальский принадлежат к числу вымерших, хотя ряд их особенностей более или менее очевидно сохраняется в суперстратных балтийских говорах (особенно в ятвяжском, куршском и селийском ареалах). Не только нельзя исключать существования в прошлом некоторых других неизвестных нам балтийских диалектов, но, напротив, есть все основания думать, что, во-первых, они действительно существовали и, во-вторых, что известные по названию диалекты (например галиндский) могли покрывать одним названием ряд диалектов. Сведения о Б. я. (диалектах), которым в данном издании не посвящены отдельные статьи, см. в разделе 4.

История изучения Б. я. берет свое начало в XVII в., когда появляются первые опыты описания грамматики и лексики Б. я., — труды Д. Клейна (1653, 1654); Т. Г. Шульца (1673, 1678) — по литовскому языку; Г. Манцеля (1638), И. Рехехузена (1644), Х. Адольфи (фактически — Х. Фюрекера) (1685), Г. Дресселя (1685, 1688), Я. Лангия (1685), Г. Эльгера (1683) — по латышскому языку. В течение последующих 150–200 лет появился целый ряд пособий и руководств, создавших устойчивую традицию описания Б. я., ориентирующегося на практические цели. Среди этих трудов грамматики и словари Ф. В. Хаака (1730), анонимного автора (1737), П. Ф. Руига (1747), Г. Остермейера (1791), Х. Г. Мильке (1800), С. Т. Станевича (1829), К. Коссаковского (1832) и др. — литовский язык; Л. Депкина (1704, 1705), анонимного автора (1732), Г. Ф. Стендера (1761, 1783, 1789), Я. Ланге (1777), К. Хардера (1790, 1809), О. Б. Розенбергера (1808, 1830, 1843, 1848, 1852), М. Акелевича (1817), А. Веллига (1828), Г. Хессельберга (1841) и др. — латышский язык. Возникновение сравнительно-исторического языкознания и его быстрое развитие привлекли внимание к Б. я. ряда видных индоевропеистов, усилия которых были сосредоточены на сравнительно-исторической интерпретации фактов Б. я. и на попытках более точного определения места Б. я. среди других индоевропейских. После первых в этой области опытов Р. К. Раска, Ф. Боппа, А. Ф. Потта и др. появляются сыгравшие значительную роль и лучшие для своего времени труды А. Шлейхера (1856) и А. Биленштейна (1863, 1864, 1866), в которых обстоятельное и достаточно точное описание литовского и латышского языков сочеталось с элементами сравнительно-исторического анализа. В последующие десятилетия это направление, связанное с исследованием Б. я. с точки зрения индоевропейского языкознания, стало господствующим (Й. Шмидт, Ф. Нессельман, А. Лескин, А. Бецценбергер, Л. Гейтлер, Э. Бернекер, Ф. Фортунатов, Г. Ульянов, В. Поржезинский, О. Видеман, Н. ван Вейк, Й. Зубатый, Й. Ю. Миккола

и др.), хотя время от времени появлялись ценные труды, в которых главной целью было описание языка (в частности, и его лексики) с синхронной точки зрения: Ф. Нессельман (1851), Ф. Куршат (1870—1874, 1876, 1883), А. Юшкевич (1904 и след.), К. Явнис (1916) — по литовскому; К. Х. Ульман (1872) и прежде всего замечательный словарь К. Мюленбаха, с дополнениями Я. Эндзелина (1923—1946) — по латышскому; Ф. Нессельман (1873), Р. Траутман (1910) и др. — по прусскому. С начала XX в. ведущей фигурой в балтийском языкознании стал Я. Эндзелин, внесший исключительный вклад в изучение Б. я. в самых различных аспектах (грамматики латышского и прусского языков, работы по истории и диалектологии, акцентологии, лексике и этимологии, куршскому языку, сравнительной грамматике Б. я., балто-славянским языковым отношениям, топонимике, балто-финским контактам и т. п.). Весьма велик вклад в балтийское языкознание рано скончавшегося К. Буги (изучение литовского языка и вымерших балтийских диалектов, лексикография, этимология, топономастика, праистория балтов и их языка и т. п.). Среди ученых, много потрудившихся над изучением Б. я. в XX в., следует назвать Р. Траутмана (описание прусского языка, его ономастики, опыт создания балто-славянского словаря), Г. Геруллиса (Ю. Герулиса) (прусская топонимия, литовская диалектология, вымершие Б. я.), Э. Френкеля (этимологический словарь литовского языка, синтаксис литовского языка, введение в изучение Б. я. и т. п.), Ф. Шпехта, Х. Педерсена, М. Фасмера, Т. Торбьёрнссона, Э. Хермана, Й. Ю. Микколы, Н. ван Вейка, Р. Экблома, М. Нидермана, Л. Ельмслева, Я. Розвадовского, Я. Сафаревича, В. Пизани, Хр. С. Станга (первая сравнительно-историческая грамматика Б. я., первая монография, посвященная первой печатной книге на литовском языке и др.), Э. В. К. Ниеминена, Е. Куриловича, Я. Отрембского, П. Арумаа, А. Зенна, П. Скарджюса, А. Салиса, Й. Бальчикониса, П. Йоникаса, Й. Круопаса, А. Абеле, Ю. Плакиса, А. Аугсткалнса, Э. Блесе, П. Шмитса, Э. Хаузенберги-Штурмы, К. О. Фалька и др. В последние полвека балтистика становится дисциплиной широкого охвата. В ней работают многие десятки квалифицированных специалистов. Ее преподают во многих университетах разных стран Европы, Америки, Австралии; периодически устраиваются конгрессы и конференции. Выходит около десятка журналов и ежегодников по балтистике.

В этот период (с 60-х гг. XX в.) появляются этимологические словари Б. я.: литовского (Э. Френкель), латышского (К. Карулис), прусского (В. Мажюлис и, частично, В. Н. Топоров), закончилось уникальное для балтийской лексикографии многотомное издание «Словаря литовского языка», создаются диалектные атласы и диалектные словари, выходят грамматики Б. я. академического типа. Среди тех, чей вклад заслуживает внимания, —

прежде всего З. Зинкявичюс, автор многотомной истории литовского языка, одновременно являющейся и лучшим введением в предысторию Б. я., фундаментального и оригинального по своим выводам труда по литовской диалектологии и многих других исследований основополагающего значения; В. Мажюлис, автор четырехтомного этимологического словаря прусского языка и ряда важных работ по сравнительно-историческому исследованию Б. я.; А. Ванагас, автор, так много сделавший для исследования балтийской гидронимии, литовской ономастики, финноязычных заимствований в литовском языке; Й. Казлаускас, автор первой истории литовского языка; Й. Палёнис, внесший большой вклад в изучение истории литовского литературного языка; В. Амбразас, проницательный исследователь литовского синтаксиса. Среди многих других лингвистов-балтистов, чьи имена определяли уровень балтистики во второй половине XX в. и в начале XXI в., — автор введения в балтийскую филологию Й. Кабялка, а также К. Ульвидас, В. Гринавецкис и Е. Гринавецкене, Э. Генюшене, В. Урбутис, С. Каралюнас, А. Сабаляускас, К. Моркунас, А. Видугирис, Т. Бух, А. Росинас, В. Виткаускас, А. Йонайтите, В. Дротвинас, К. Кузавинис, А. Гирдянис, Б. Стунджя, Л. Палмайтис, Д. Урбас, В. Чекмонас, Ю. Пикчилингис, Й. Паулаускас, А. Паулаускене, Р. Венцкуте, Г. Субачюс, С. Амбразас, А. Хольфут и др. в Литве. Среди балтистов-леттонистов нужно отметить таких видных исследователей, как Б. Егерс, А. Гатерс, Р. Грабис, А. Озолс, К. Анцитис, Д. Земзаре, В. Дамбе, Э. Шмите, Р. Грисле, А. Рекена, М. Лепика, А. Лауа, М. Бренце, В. Зепс, В. Руке-Дравиня, К. Дравиньш, А. Бергмане, М. Сауле-Слейне, М. Рудзите, А. Блинкена, К. Карулис, Т. Порите, В. Сталтмане, Э. Кагайне, С. Раге, Б. Лаумане, А. Брейдак, О. Бушс, Д. Нитиня, Э. Сойда и др. Из балтистов России следует упомянуть В. М. Иллича-Свитыча, В. А. Дыбо, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, Ю. С. Степанова, О. Н. Трубачева, Т. В. Булыгину (Шмелеву), Ю. Лаучюте, Ю. В. Откупщикова, Т. М. Судник и др.; в Польше — Х. Гурновича, В. Смочиньского, М. Хасюка, В. Маньчака, Л. Беднарчука и др.; на Украине — А. П. Непокупного; в Германии — В. Фалькенхана, В. П. Шмида, Ф. Шольца, Э. Хофманна, Р. Экерта, Й. Ранге, А. Баммесбергера, Г. Бензе, В. Р. Брауэра, М. Букша, И. Плацинского и др.; в Чехии — В. Махека, П. Троста, А. Эрхарта, Л. Ржехачека; в Словении — Ф. Безлая; в Хорватии — Д. Брозовича; в Болгарии — И. Дуриданова; в Италии — П. У. Дини, Г. Микелини и др.; во Франции — А. Вайяна и Р. Шмиттлейна; в Великобритании — У. Мэтьюза; в Швеции — В. Руке-Дравиню, К. Дравиньша; в Норвегии — Т. Матиасена; в Исландии — Ё. Хильмарссона; в Швейцарии — Я. П. Лохера; в Голландии — Ф. Кортландта, Р. Дерксена; в США — У. Р. Шмальштига (Смолстига), С. Янга; в Японии — Икуо Мурата и Тошиказу Иноуе.

Основная работа по Б. я. ведется в странах Балтии в академических университетах по изучению соответствующих языков, в университетах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя, Риги, Лиепаи, Даугавпилса и др., но также и в целом ряде университетов Западной Европы, Америки (Чикаго и др.), Австралии. В России относительно непрерывная традиция изучения Б. я. берет начало в 60—70-е гг. XIX в. Б. я. изучались в Московском и Ленинградском государственных университетах. С середины 50-х гг. XX в. центром научного изучения Б. я. стал Институт славяноведения Академии наук (с 1991 г. — Российской академии наук). В 1999 г. учреждено отделение Б. я. в Санкт-Петербургском университете.

3. Общее число говорящих на Б. я. в мире приближается к 5 млн. чел. Согласно данным последних переписей по-латышски говорит свыше 1,5 млн. чел. (из них в Латвии — 1381 тыс. чел., перепись 2000 г.); по-литовски — свыше 3,3 млн. чел. (из них в Литве — 2 856 тыс. чел., перепись 2000 г.). Латыши составляют в Латвии 57,7% населения, в качестве родного его назвали 58,1%. Литовцы в Литве составляют 83%; знают же литовский в качестве первого или второго языка 92% населения. Латышский язык и литовский язык имеют статус государственных языков в соответствующих странах. Данные о численности говорящих на латгальском языке в точности неизвестны и включены в данные о численности говорящих на латышском, поскольку латгальский не имеет статуса государственного языка.

4. В основе выделения Б. я. в особую группу лежит принцип генеалогической классификации. Все известные Б. я., с одной стороны, генетически выводятся из одной и той же группы говоров древнего индоевропейского диалектного континуума (что удостоверяется системой сравнительно-исторических соответствий, связывающих Б. я. с другими группами индоевропейских языков и с реконструируемым исходным индоевропейским состоянием), а с другой стороны, объединяются между собой в некое относительное единство, которое достаточно четко отличается от других групп индоевропейских языков, даже наиболее близких к балтийским (как славянская). Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков бросает свет на происхождение Б. я. и на степень близости их к исходному индоевропейскому состоянию. Сравнительно-историческая грамматика Б. я. позволяет понять многие особенности их исторического существования и определить степень их внутреннего единства. Это исторически сложившееся единство Б. я. обусловлено их общим происхождением и общими, или очень близкими, условиями существования — как правило, в пределах двуединого (хотя и со временем смещающегося) ареала, т. е. собственно балтийского локуса и отпадающего от него и славизирующегося пространства. Единство Б. я. проявляется также в весьма высокой степени структурного сходства между известными Б. я. (пре-

жде всего литовским, латгальским и латышским) и наличии весьма значительного общего словарного фонда. Благодаря этим особенностям облегчается установление правил пересчета с одного языка на другой в случае языковых контактов (хотя бы частичных) носителей литовского и латышского языков. А сама возможность этих контактов, реализуемая нередко и практически, порождает сознание близости Б. я., присущее литовцам и латышам. Подобное сознание языковой близости может рассматриваться как психологическое и практическое подтверждение единства балтийского языкового типа с точки зрения их современного (синхронного) состояния.

Индоевропейский характер Б. я. не вызывает сомнения, и эта черта отличается особой наглядностью. Не случайно уже в период с конца XVII до начала XIX в., т. е. до первых работ, положивших надежное основание сравнительно-историческому языкознанию, довольно обычны сравнения балтийских фактов с соответствующими фактами греческого, латинского, немецкого, славянского и т. п. Эта наглядность связей (в сочетании с тем обстоятельством, что Б. я. известны по памятникам с очень позднего времени) может свидетельствовать или об особой архаичности Б. я., или об их преимущественной близости к исходному индоевропейскому состоянию, или о том и другом одновременно. Б. я. существенно превосходят все другие индоевропейские языки на их современной стадии развития своим архаичным обликом и верностью исходному индоевропейскому типу в ряде важных особенностей (слоговая структура слова, просодические и морфонологические особенности, структура именных и глагольных категорий, флексия, синтаксические структуры, словарь). Б. я. развили значительное число инноваций, но при этом многие из этих инноваций представляют собой органическое и естественное продолжение старого состояния, избегающее резких разрывов и радикальных перестроек, и, кроме того, в значительной степени сохраняются очертания старого каркаса индоевропейского типа. «Старое» в Б. я. не просто «сохраняется» как реликт, доживая свой затянувшийся век, но искусно включается в новые схемы, предназначенные для решения новых задач. Это заново осуществляемое «обживание» языковой архаики является тайным нервом Б. я. и придает им черты особого гармонического равновесия. Вместе с тем в настоящее время есть серьезные основания говорить не только об архаичности Б. я., но и о возможной их особой близости (по крайней мере в существенных фрагментах) к реконструируемому индоевропейскому состоянию. Если раньше этот второй аспект не привлекал к себе внимания исследователей, то причиной этому был преимущественный интерес к наиболее древним и богатым письменными памятниками языкам (древнеиндийский, древнеиранский, древнегреческий, латинский, готский и т. п.), на основе которых и складывалось представление об индоевропейском источнике их

(«праязыке»). Новые открытия и сопровождавшая их ревизия взглядов создали новую ситуацию, оказавшуюся благоприятной для уяснения возможностей нового понимания роли Б. я. в их отношении к индоевропейскому исходному состоянию. В результате в настоящее время складывается новая гипотеза о балтийском языковом типе как некоем «последнем» остатке индоевропейского целого, не столько «отпочковавшемся» от него (подобно другим группам языков), сколько именно «оставшемся» и лишь переосмысленном (после ряда изменений) как балтийский тип. Гипотеза о преимущественной близости Б. я. в наиболее глубокой реконструкции к определенному срезу в развитии индоевропейского языка в некоем локусе в более или менее надежно определяемый период, видимо, имеет под собой ряд важных оснований. Среди этих оснований: 1) высокая степень близости многих фрагментов балтийского языкового типа к соответствующим блокам «индоевропейского» состояния, как оно восстанавливается в последнее время с учетом ряда новых материалов (анатолийские языки и др.) и идей (в частности, связанных с типологией диахронических процессов); 2) особенности балтийской гидронимии, которая наиболее точно и полно воспроизводит архаичную «центральноевропейскую» гидронимию (около II — начало I тыс. до н. э.); 3) огромность пространства, на котором отмечается присутствие гидронимии балтийского типа, как по отношению к пространству, занимаемому балтами в историческое время, так и по отношению к ареалам других индоевропейских групп (ареалы на востоке и юго-востоке вплоть до Верхней Волги и Поочья, до впадения Москвы, а частично и до нижнего течения Оки, до бассейна Сейма; на юге — до Волыни и Киевщины; на западе — «балтоидный» пояс вплоть до Шлезвига и Гольштейна и т. п.); эта обширность пространства находится в противоречии с малочисленностью балтов в историческое время; 4) обилие парадоксов, связанных с пространственно-временными рамками существования Б. я., с их промежуточным статусом, с отношениями родства и преемства (предки — потомки); такая сгущенность парадоксов указывает, как правило, на необычность ситуации и чаще всего объясняется выдвижением кардинально новых гипотез.

С самых первых исследований происхождения Б. я. и до настоящего времени существует (за редкими исключениями) единая точка зрения о преимущественной близости Б. я. к славянским, далее — к германским. Иногда она оформлялась как особая концепция — ср. давнее понимание Б. я. как результата смешения славянских, германских и финских (И. Тунман) или идею германо-балто-славянского промежуточного праязыка (А. Шлейхер). Но в целом такие случаи относятся к числу исключений. После исследования А. Лескина (1876) вопрос о германо-балто-славянском утратил актуальность, и внимание было сосредоточено на схождениях балтийских и славянских языков. Как бы

ни толковались они в дальнейшем, практически все признавали не только преимущественную близость балтийских и славянских языков, но и очень высокую степень их конгруэнтности (правда, иногда ослабляемую тем, что ряд совпадений не носил эксклюзивного балто-славянского характера). В XX в. (начиная с Н. Йокля) была отмечена значительная близость Б. я. с древними (неклассическими) языками северных Балкан — фракийским и иллирийским (отметим, что уже в начале XIX в. Р. Раск говорил о том, что Б. я. ближе других к «фракийскому», под которым, однако, он понимал нечто иное по сравнению с тем, что связывают с фракийским сейчас) и единственным их продолжателем в настоящее время — албанским языком. Следы носителей фракийской и иллирийской речи засвидетельствованы также существенно далее к северу и северо-востоку (ср. признаки их пребывания на Карпатах и в областях к востоку от них — Правобережная Украина — и даже в Польше, по Висле). Преимущественные связи Б. я. со славянскими, германскими и языками фракийско-иллирийского типа обладают значительной объективной ценностью. Они не только вскрывают состав «совпадающих» языковых элементов, но и позволяют с относительной точностью определить «балтийский» ареал в эпоху этих связей (II–I тыс. до н. э.) и отчасти позже, вплоть до начала исторического времени в этой части Европы. Правомерно заключение, согласно которому соседями балтов с юга были племена фракийско-иллирийского типа, а с запада — германцы; также очень вероятно, что к юго-востоку от балтов сидели иранские племена. Тем самым балты занимали промежуточное место между «восточными» индоевропейскими племенами (иранцы) и «западноевропейскими» индоевропейцами (германцы). Эта промежуточность проявляется и в Б. я., ср., с одной стороны, круг явлений, так или иначе связывающих Б. я. с языками типа сатем (хотя и не вполне последовательно), а с другой стороны, вхождение балтийской гидронимии в круг «центральноевропейской».

Непосредственные контакты балтов с иранцами имели место в Посемье, где среди довольно многочисленных балтийских гидронимов отмечено десятка полтора иранских названий, причем в ряде случаев иранские гидронимы калькируются с помощью балтийского (а иногда и славянского) материала, ср. комплекс *Ропша* — *Лопанка* — *Лисичка*, где каждое из названий скрывает в себе название лисы, соответственно на иранском, балтийском и славянском. Возможно, именно таким контактным зонам обязаны своим происхождением балто-иранские лексические параллели, относящиеся к обозначению злаков (литов. *miẽžis*, латыш. mìezis ʽячмень’ при иран. maiz-; литов. dúona ʽхлеб’ при иран. d*ānā*-; литов. *javaĩ* ʽхлеб в зерне’ при авест. yava- и т. п.), продуктов молочного хозяйства (литов. svíestas ʽмасло’ при авест. *xšvid*- ʽмолоко’ и др.) и некоторых других сфер (ср., например, голубиную терминологию).

Отношения балтов с южными соседями — фракийцами и иллирийцами — носили, видимо, несколько иной характер. Свидетельство их можно видеть в большом количестве (несколько сотен) топонимических соответствий между балтийским и балканским и даже западномалоазиатским ареалами, причем несколько десятков параллелей претендуют на практически абсолютную точность исходных форм. Значительно число лексических совпадений, относящихся к обозначению ландшафта, хозяйства архаичного типа, правовой, ритуально-мифологической терминологии и номенклатуры (включая, видимо, и важные теофорные элементы). Характер языковых и этнокультурных сходств между этими ареалами позволяет заключить как о наличии некоей двуединой территории, отличающейся рядом общих признаков, так и о постоянных связях в меридиональном отношении от Балтики до Балкан и — шире — Средиземноморья (ср. ставший известным позже «Великий Янтарный путь»).

Контакты балтов с германцами обладают рядом специфических черт, проявляющихся и на языковом уровне. Гидронимические параллели оказываются не вполне показательными, поскольку они относятся к «центрально-европейскому» слою. Однако убедительны некоторые совпадения в морфологии имени (отдельные падежные формы, сложные «местоименные» прилагательные и т. п.), отчасти в глаголе. Существенно, что прагерманских заимствований (надежных) в Б. я. немного, во всяком случае их несравненно меньше, чем в праславянском, что само по себе весьма диагностично. Исторически засвидетельствованные контакты балтов с готами и другими восточногерманскими племенами относятся к рубежу старой и новой эры. Вместе с тем некоторый луч света на западные границы старого балтийского ареала бросают два круга фактов — балтийская (реально — прусская) гидронимическая и топонимическая номенклатура, встречающаяся на территории непосредственно к западу от Вислы, в Поморье (ср. Persante, Saulin, Labuhn, Powalken, Straduhn, Rutzau, Karwen, Saalau, Mottlau и т. п.), и гидронимия «балтоидного» типа в полосе, тянущейся вдоль южного побережья Балтийского моря на запад (ср. Dargowe, Kremon, Lynow, Plawe, Rune, Spandin, Sude, Trutenow, Wangern, Wobele и др.). Северная граница балтийского гидронимического ареала отделяет его от территории, на которой преобладает финноязычная гидронимия. Последняя весьма широко представлена и внутри самого балтийского ареала, особенно на территории Латвии, где она, видимо, предшествует балтийской гидронимии. Около 30 гидронимических «финнизмов» обнаружено в Литве, как правило, к северу от линии Шилале (Шиляле) — Тракай (литов. Ilm̃ė́das, Ýmasta, Kir̃gas, *Kivė*, Kõrbis, *Kvìstė*, Lámbis, Pernavà, Pìladis, Soujà, *Šìladis*, *Térvetė*, *Vokša* и др.). В той или иной степени подобные элементы фиксируются и на широких пространствах к востоку от Прибал-

тики как вкрапления среди гидронимии балтийского типа (особенно в северных и восточных частях этого ареала).

Учитывая информацию о периферийных зонах древнего балтийского гидронимического ареала и результаты анализа отдельных частей этого ареала (бассейн Верхнего Днепра, Подесенье — Посемье, Поочье и специально бассейн Москвы, территория в верховьях Западной Двины и Волги, полоса к югу от Припяти, бассейны Западного Буга и Нарева, нижнее течение Вислы и т. п.), максимальные границы балтийского гидронимического ареала определяются с большой степенью вероятия линией: граница Эстонии и Латвии — Псков — южное Приильменье — Торопец — Тверь — Москва — Коломна — верховья Дона — Тула — Орел — Курск — Чернигов — Киев — Житомир — Ровно — Варшава — Быдгощь — Колобжег. О распространении балтийских говоров в Пруссии и к западу от нее см. в статье «Прусский язык» в наст. издании.

Отдельные балтизмы встречаются в виде островков и за пределами этой линии. В периферийных частях этого максимального гидронимического ареала число балтизмов относительно невелико, причем происхождение некоторых из них вызывает сомнения. Количество гидронимических балтизмов в этом ареале исчисляется несколькими сотнями. При некоторой дифференцированности (лексической, словообразовательной и фонетической) они в целом свидетельствуют о высокой степени единства этого ареала как по инвентарю, так и по хронологическим (насколько о них можно судить) характеристикам. Эта «изохронность» балтийской гидронимии предполагает или древнее языковое единство данной обширной территории, или некий этнодемографический «взрыв», приведший к распространению гидронимии единого типа на больших пространствах, видимо, в довольно сжатые сроки. Обе эти возможности имеют непосредственное отношение к генезису балтов и архаичного балтийского языкового типа.

Но если проблема соотношения балтийской речи (и балтов) со смежными ближайше родственными языками (фракийским, иллирийским, германским и т. д.) при всей ее важности носит все-таки внешний по отношению к самому балтийскому языковому типу характер, то проблема отношения балтийского и славянского языкового элемента должна, видимо, трактоваться как внутренняя для обеих этих групп. В пользу такого подхода свидетельствует большинство исследований, посвященных балто-славянской проблеме, и весь контекст этой проблемы, каким он рисуется в свете тех коренных открытий и ревизий, которые относятся к изучению Б. я. и племен. Практически все ученые, занимавшиеся балто-славянской проблемой, исходят из такой степени близости этих языков, которая принципиально превосходит тесноту связей балтийских (соответственно славянских) языков с любой другой языко-

вой группой. Различия начинаются при обсуждении формы, в которой следует представлять эту балто-славянскую языковую близость, и причин, объясняющих ее. Традиционно выделяют две позиции по вопросу о характере древнейших отношений балтийских и славянских языков, рассматриваемые как противоположные. Сторонники первой позиции говорят о существовании особого балто-славянского «праязыка», который только и может объяснить близость обеих языковых групп (А. Шлейхер, А. Лескин, Я. Ганущ, К. Бругман, В. К. Поржезинский, Х. Педерсен, И. Ю. Миккола, В. Вондрак, О. Гуер, А. И. Соболевский, Р. Траутман, Ф. Шпехт, Е. Курилович, Я. Отрембский, Т. Лер-Сплавинский и др.). Сторонники второй позиции предпочитают говорить о балто-славянском единстве (общности, особой эпохе и т. п.), подчеркивая при этом, что с самого начала балтийский и славянский отличались друг от друга некоторым количеством языковых особенностей (А. Мейе, Я. Розвадовский, Я. Эндзелин, К. Буга, Э. Френкель, Хр. Станг, Я. Сафаревич, З. Зинкявичюс, С. Каралюнас и др.). Едва ли верно было бы абсолютизировать различие позиций. Необходимо считаться с изменением понятия «праязык» в истории науки: от практически полной монолитности (А. Шлейхер) до такого единства, которое не исключает различий, но выделяет данные языковые группы среди других и приписывает им общность языковых процессов на протяжении более или менее значительного периода. В этом смысле позиция А. Мейе, выступавшего как последовательный противник теории балто-славянского праязыка, лишается приписываемой ей обычно радикальности. Постулируемое им балто-славянское единство (communauté), предполагающее, что: 1) балтийский и славянский представляют собой индоевропейские диалекты в значительной степени идентичные (ни одна из существенных изоглосс не разделяла их); 2) балтийский и славянский на всем протяжении своего развития не испытали резкой ломки грамматической системы; 3) жизнь в соседних районах в одинаковых условиях цивилизации определила развитие параллельных образований и заимствование целого ряда слов, — по сути дела, приписывает истории обеих групп период общего развития как несомненную лингвистическую реальность. И эта реальность остается неотменяемой (и даже не изменяемой по существу) даже при двух предположениях, имеющих целью «понизить» ранг балто-славянского языкового единства и, главное, едва ли доказуемых: общность балтийского и славянского объясняется исключительно сохранением индоевропейских архаизмов на периферии индоевропейского ареала, в особых («спокойных») условиях существования; вторичное сближение (конвергенция) некогда различных между собой балтийского и славянского.

В последние десятилетия выкристаллизовывается новая позиция в вопросе о характере древнейших связей между балтийским и славянским. Эта

позиция не ставит в центр внимания определение степени близости этих двух языков, их единства и в известном отношении переформулирует всю проблему. Суть этой позиции (Т. Лер-Сплавинский, В. Пизани, Л. Оссовский, В. Мажюлис, В. В. Мартынов, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров и др.) в объяснении особой близости балтийского и славянского языков тем, что славянские языки представляют собой более позднее развитие периферийных балтийских диалектов, находившихся в южной части первоначального балтийского (или западнобалтийского) ареала. Согласно В. Мажюлису, протославянский с XX по V в. до н. э. представлял собой определенную периферийную часть прибалтийских диалектов. Видимо, именно этот временной срез и должен быть соотнесен, в строгом смысле слова, с тем, что называют балто-славянским «праязыком», единством, эпохой и т. п. Возобладание центробежных тенденций, изменение исторических условий и соответственно связей (в частности, ориентация на более южные центры), ускорение темпов языкового развития привело к тому, что протославянский (прабалтийский периферийный диалект) развивается в праславянский (приблизительно с V в. до н. э.), который еще в течение довольно долгого времени сохраняет «балтоидный» облик, хотя уже и живет особой самостоятельной жизнью. Эта схема развития объясняет внутренний характер древнейших связей балтийского и славянского и позволяет аранжировать известные факты схождений и расхождений как во времени, так и в пространстве. В результате отношение балтийского и славянского языкового типа древнейшей эпохи и следующей за нею эпохи оказывается иерархически упорядоченным и наполняется новым историческим содержанием, обладающим и объяснительной силой. Наконец, излагаемая схема объясняет как многие парадоксы теоретического характера (структура «балтийского» языкового времени, природа заимствований в пределах балто-славянского ареала, характер отношений языкового преемства и т. д.), так и целый ряд конкретных проблем (преимущественная близость славянского к прусскому; наличие «балтизмов» в южнославянских языках; распространение заимствований балтийских лексем даже на тех территориях, где балтов как таковых, видимо, не было; отсутствие или принципиальная невыявляемость балтийских заимствований в праславянском и праславянских в балтийском; разное отношение финно-угорских языков к заимствованиям из балтийского и праславянского; неизвестность праславянского гидронимического ареала, изохронного балтийскому, и т. п.). Именно поэтому балтийское языкознание при учете подлежащего его компетенции языкового материала должно рассматривать и славянский (точнее — праславянский) в известной степени как свой отдаленный (хронологически поздний) резерв, представляющий собой трансформацию некогда отпочковавшейся от балтийской метрополии языковой ветви. Существенно, что сравнительно-историче-

ская реконструкция дает возможность восстановить некоторые фрагменты общих («балто-славянских») текстов, позволяющих обнаружить единые или весьма сходные черты архаичной культуры (мифы, ритуал, право, социальные структуры, поэтика, сюжеты и т. п.). Однако ни о каком обязательном параллелизме языковых и культурно-исторических схем не может быть речи. Некоторые особенности архаичной стадии отпочкования славянского типа от исходного балтийского и специфика процесса трансформации могут быть поняты при изучении происходящих и в настоящее время контактов балтийского и славянского элементов в польско-литовско-латышско-белорусском (и русском) пограничье (ср. формирование стройной и сильно автоматизированной системы пересчета с балтийского на славянский и обратно, формирование единых текстов à deux termes, т. е. таких текстов, каждая единица которых может быть передана средствами балтийской и славянской речи, и т. п.). Таким образом, проблема отношения балтийского и славянского языковых типов имеет самое непосредственное отношение как к балтийским (и славянским) языкам, так и к теории языкового родства и типам развития языка в диахронии.

Традиционно Б. я. делят на восточнобалтийские и западнобалтийские. К первым принадлежат литовский, латышский и латгальский языки. Ко вторым — вымерший прусский язык. В древности состав Б. я. (или диалектов) был многочисленнее и структура самого балтийского ареала была иной. В прабалтийское время, т. е. приблизительно с рубежа III и II тыс. до н. э., этот ареал, видимо, членился на два субареала — внутренний (или центральный), где формировались диалекты, давшие позже начало литовскому и латышскому языкам, и внешний (периферийный), где складывался языковой комплекс, развитие которого привело в дальнейшем к становлению прусского, ятвяжского и др. языков. Членение балтийского языкового комплекса на языки внутреннего ядра и внешнего пояса выглядит более фундаментальным и отвечающим этнолингвистическим и культурно-историческим данностям (по крайней мере, до середины I тыс. н. э.), чем деление на западно- и восточнобалтийскую группы. Балтийские диалекты внешнего пояса (периферийный балтийский) были теснее связаны с древними «центрально-европейскими» диалектами и, возможно, характеризовались тенденцией к более динамическим формам развития. Культура населения этого внешнего пояса находилась в соседстве с развитыми культурами германского круга и с лужицкой культурой и в той или иной степени подвергалась их влияниям. Есть, в частности, основание думать, что между 1000 и 800 гг. до н. э. германские племена оттеснили балтов к востоку вплоть до Пассарге. Балтийские диалекты внутреннего ядра до поры оставались в стороне от оживленных языковых и культурных контактов и, видимо, отличались большей стабильностью и лучше сохраняли архаичные языковые элементы. Неслучайно первые упоминания

балтийских племен, по которым в известной мере можно судить и о соответствующих языках или диалектах, относятся к населению внешнего пояса (ср. *Γαλίνδαι καὶ Σουδινοί* ʻгалинды и судиныʼ у Птолемея или Aestiorum gentes ʻплемена айстиевʼ у Тацита и позже у Иордана, Кассиодора, Вульфстана и др. Есть серьезные основания считать, что геродотовские невры — *Νευροί*, ср. *Νευρίς* ʻстрана невровʼ — были балтийским племенем периферийной зоны; такое же предположение было высказано относительно геродотовских *Βουδινοί* ʻбудиныʼ, что, однако, менее вероятно), тогда как ранние источники, упоминающие предков литовцев и латышей, относятся к существенно более позднему времени.

Краткая характеристика мертвых Б. я. (диалектов).

Галиндский (голядский) — язык балтийского племени галиндов (*Γαλίνδαι* — у Птолемея, II в.; **голѧдь** — в русских летописях XI—XII вв.; Galindite — в «Хронике» Петра Дусбурга 1326 г. и др.). Первое (наряду с судинами) по времени из упоминаемых балтийских племен. Название связано, видимо, или с обозначением окраины, края, конца, пограничья (литов. gãlas ʻконецʼ, латыш. gàls и т. п.), или с гидронимами типа Galinde — приток Нарева, Galanten (Galland и пр.) — озеро. Название «галинды», по-видимому, охватывало ряд этнолингвистических групп в пределах внешнего балтийского пояса. Обращает на себя внимание разница в локализации галиндов в разных источниках: Птолемей помещает их вместе с судинами к востоку от венетов, гитонов и финнов, между венетами и аланами (иранским племенем); русские летописи говорят о голяди, сидящей по р. Протве, к юго-западу от Москвы; Дусбург говорит о Галиндии как о десятой части среди других частей, на которые делится земля Пруссии; она локализуется в южной части Пруссии, к югу от Барты и западу от Судовии (области ятвягов), на границе с мазурами. Территория, на которой базируется этнонимический элемент *Gal- (непосредственно или в топономастике), огромна, что объясняется ранней экспансией галиндов к югу, юго-западу и далее к западу, сделавшей их имя известным в Европе начиная с римского времени (ср. один из титулов императора Волусиана, середина III в., на монетах — *Γαλίνδιχος* ʻгалиндскийʼ). Отражение имени галиндов видят в названии области Golanda, через которую проходили лангобарды в своем движении на юг («История лангобардов» Павла Диакона) и которую ищут в районе польско-чешского пограничья. Там же находят довольно многочисленные названия типа чешского *Holedeč* (< **Golīd-ьсь*), подкрепляемые старым свидетельством Баварского Географа (около 870 г.) о племени Golensizi (ср. пять городов этого племени — Golensizi civitates, упоминаемые и во Вроцлавской булле 1155 г.: gradice Golensiczeshe). В старопольской ономастике нередки имена типа Golandin

(1065?) < **Golīdzin*, Golanda (1458) и т. п., а в топонимике — названия от этого же корня (Golendzin, *Golądkowo* и т. п.). Галинды, связавшие свою судьбу с вестготами и двинувшиеся далее на запад, оставили свои следы во Франции, Испании и Португалии. Ср. топонимы с корнем *Galind — леонское Galende (927), арагонское Galindonis campus de (1093), кастильское Galindo (1110), порт. Gainde v(illa) Gaindanes (1258), баск. Garindein и др. и особенно многочисленные имена, напоминающие о «западноевропейских» галиндах и относящиеся в основном к IX—XII вв.: Galindus, Galinda, Galind, Galindez, Galindones, Galindi и т. п., вплоть до имени сподвижника Сида Galin(d) Garçiaz. Следы имени галиндов тянутся и к востоку. Они отмечены к югу от Припяти, непосредственно перед северной границей Волынской возвышенности (*Голядин*, *Голяда*), и далее по дуге, уходящей в северо-восточном направлении — Брянщина, Орловская и Тульская губернии и особенно Подмосковье (*Голяди*, *Голяцькие* земли, *Голядины отвершки*, *Голядь*, *Голединья*, *Голядянка*, *Голядинка*, *Голяжье* и др.). В этих же местах были известны предания о богатыре Голяде (или двух братьях *Голядах*, живших на горе), ср. соотношение Galindus, сын Видевута, и Góra Galindzka в северной Польше, на бывших прусских землях. Значительное сгущение «голядских» следов в Подмосковье позволяет предполагать галиндское происхождение «москворецких» (шире — окских) балтов, оставивших после себя многочисленные гидронимы балтийского типа. Галиндско-голядский языковой и культурно-исторический элемент необходимо учитывать при исследовании предыстории древнейших городов Подмосковья (включая Москву), колонизации этого края вятичами и при изучении некоторых особенностей русских говоров этих мест (в частности, лексических и, возможно, фонетических). Наряду с элементом *Galind-, несомненно, принадлежащим галиндскому диалекту, с достаточным основанием можно думать о таком же происхождении и ряда других названий, локализирующихся в бассейне Протвы и на смежных территориях (ср. *Упа*, *Отра*, *Дугна*, *Чичера*, *Салинка*, *Нара*, *Серпея*, *Таруса*, *Колочь*, *Карженка*, *Картынка*, *Вормишка* и т. д.). Показательно совпадение ряда окско-днепровских названий с гидронимами «исторической» Галиндии (ср. *Кубрь* — Kubra; *Вызынка*, *Визенка* — Wuyse; *Скородинка* — Skarde; *Метелка* — Mete; *Нидалька* — Nida; *Малшинка* — Malso(wangus); *Нара* — группа гидронимов с корнем Nar-; *Лама* — Lama(sila); *Иночка* — Inacus; *Рус*(*с*)*а* — Russe; *Радуча* — Raducken и др.). Хотя языковой материал, связываемый с галиндским, очень невелик, значение соответствующего языкового типа не подлежит сомнению. Гигантский разброс языковых данных о галиндах во времени и пространстве и подчеркнутая периферийность этих свидетельств приоткрывают завесу и позволяют лучше понять важные особенности балтийского языкового комплекса в древности и некоторые существенные

условия его развития. Ни о фонетике, ни тем более о морфологии языка галиндов-голяди сказать практически ничего нельзя.

Я т в я ж с к и й (судавский, судинский) — язык балтийского племени ятвягов, или судавов (судинов), упоминаемых впервые Птолемеем (II в. н. э.) — *Σουδινοί*. Это племя (и соответствующее обозначение его) тесно связано с названием галиндов: у Птолемея они упоминаются вместе. В описании состава прусских земель у Дусбурга названия соответствующих частей (и их населения) даются подряд: Nona (pars) Sudowia, in qua Sudowite. Decima Galindia, in qua Galindite ‘Девятая (часть) Судовия, в которой судовы. Десятая Галиндия, в которой галинды’. Подобное соседство повторяется в Южной Прибалтике (Sudowe, Sudaw, Sudow, Sudowiten, Sudithen, Sudeniten и т. п. при Galindo, Galindite и т. п.) и за ее пределами, ср. элементы *Sud- : *Galind- в чешско-моравско-словацком ареале, соответственно *Суд-* (*Судость*, правый приток Десны) : *Голяд-* в брянско-орловской зоне. Наряду с обозначением соответствующего народа и его языка с помощью элемента *Sud- (видимо, по названию реки *S*ū*da, ср. S*ū*duonia < S*ū*daunia), известно и другое его название — ятвяги, являющееся более распространенным. Отнесение этих двух обозначений к одному имени не вызывает сомнения. Ср. в орденских источниках — per terram vocatam Suderland alias Jettuen ‘по земле именуемой Судерландия или Ятва’ (1420) или terra Sudorum et Jatuitarum, quod idem est ‘земля судавов и ятвягов, что одно и то же’ (1422). Ср. ранние случаи, фиксирующие это название в русских летописях (в основном): **ꙗтьвегъ**, **ꙗвтѧг**, **ꙗтвꙗгъ** (945), **ꙗвтѧги**, **ꙗтвѧгы** (983), **ꙗтвѧгы** (1038), **ꙗтвꙗзи** («Слово о полку Игореве»), **ѧтвѧгы** (1197), **ѧтвѣзѣ**, **ѧтвѧжьскаго** (1205), **ѧтвѧжзи**, **ѧтвеземь** (1227), **ѧт(в)ьꙗзь** (1229) и др.; в источниках на латинском и польском языке: Jaczwingi (1043, 1048), Jathwingi (1112), Getae (1192), Jaczwangi (около 1239), Yaczwagy, Yaczuyagy, Jadzwyagy, Jaczuingi, Jaczwalgowe, Jaczwyagowe, Jadzwiagowi, Jaczuingouie (около 1241), Jattwingi, Jaczwingi (1243) и т. п. Тот же элемент отмечен в ряде топонимов: *Ятвязь*, *Ятвяги*, *Ятвиж* и т. п., иногда в достаточном отдалении от ятвяжской земли (например в юго-западной части Львовской обл. или в Новозыбковском р-не Брянской обл.), и антропонимов, самый ранний из которых **Ꙗтьвѧгъ Гунаревъ** (Ипатьевская летопись, 945 г.), один из послов, направленных из Киева в Византию; ср. **Ꙗвтѧгъ Гунаровъ** (Лаврентьевская летопись), ср. также более поздние антропонимы того же корня: Iathwyeszin (1440), Iacobus de Iathwyagy (1465), Iathvyenski, Iathwinski (1483) и др. Балтийское *jatv-ing- (*jotv-ing-) скорее всего связано с названием реки *J*ātā*, **Jātvā* (в судавском — **Jōtvō*), отраженным в «Литовской метрике» под 1516 г. в виде: *на речце на Ятфи*. Менее вероятно предположение о связи этого этнонима с названием реки *Hańcza* (< *Antį̯a), также по-разному этимологизируемым. В исторических источни-

ках встречаются и иные обозначения ятвягов и их земли (Pollexiani 'полексиане', Pollexia 'Полексия', terra Deynowe 'земля Дейнове' и др.). Ятвяжский язык был распространен на довольно значительной территории — к востоку от Галиндии, Надровии и Скаловии, к югу от Немана, к северу от Нарева (или даже Западного Буга). О границах ятвяжского ареала спорят до сих пор, но во всяком случае в историческое время ядро ятвяжской территории находилось между Мазурскими озерами, средним течением Немана и линией Пуньск — Вильнюс. В ряде орденских документов Судавия отождествляется с Ятвой/Ятвингией. Изредка эта земля называется Дайнавой (ср. в документах Ордена (1259 г.): Denowe tota quam eciam — quidam Jetwesen vocant 'вся Деновия, которую также называют некоей Етвези', при названии южной части Литвы Dainava). Вероятно, некогда эти названия закреплялись за несколько разными частями ятвяжской территории. Кроме того, в разные периоды очертания этого ареала заметно менялись. Роковым для ятвягов был их разгром, учиненный в 1283 г. Тевтонским орденом, когда значительная часть ятвяжской земли была превращена в пустыню; многие ятвяги бежали в чужие края, часть их была переселена даже в Самбию («Судавский угол»). Лишь с начала XV в. ятвяги (как и литовцы, мазуры и белорусы) стали снова заселять «пустыню». Еще в 1860 г. при переписи населения в южной части Гродненской губ. 30929 чел. назвались ятвягами: они говорили по-русски (т. е. по-белорусски) и были православного вероисповедания, но в известной степени сохраняли особый этнографический тип, выделявший их среди местного населения; в их речи отмечались особенности литовского произношения. Эти данные говорят скорее об исторической памяти населения этих мест, нежели о реальной этнографической ситуации. Однако нельзя исключать, что в действительности предками этих людей были ятвяги. В XVII в. ятвяжская речь (по крайней мере, кое-где), вероятно, еще сохранялась; в виде отдельных исключений она, вероятно, дожила и до начала XVIII в. Ятвяжский язык был бесписьменным, и до самого недавнего времени о нем можно было судить по небольшому количеству разрозненных и более или менее случайных фактов. К их числу нужно отнести несколько десятков топонимов, гидронимов и личных имен, зафиксированных в связи с несомненно ятвяжской территорией. В последние десятилетия к этим примерам прибавились некоторые дополнительные данные, касающиеся «ятвингизмов» на территории Литвы, Белоруссии, Польши, возможно, даже Украины вне непосредственного ятвяжского ареала. В качестве источника сведений о некоторых особенностях ятвяжского языка — прежде всего его фонетики и словаря — может рассматриваться определенная часть лексики тех современных литовских и славянских говоров, которые выступают в качестве суперстрата по отношению к вымершей ятвяжской речи. Среди фонетических особенностей ятвяжского языка надо от-

метить переход t' > k', d' > g', депалатализация *š'*, *ž'*, *č'*, *ǯ'*, s', z', r', l' и частично p', b', v', m', переход *š* > s, *ž* > z, как в прусском, куршском, латышском, земгальском и селонском и в отличие от литовского; сохранение дифтонга ei в случаях, где в литовском и латышском выступает ie, не говоря о некоторых словообразовательных, морфологических и лексических особенностях.

Счастливым исключением следует считать запись шести фраз на ятвяжском языке (говор «Судавского угла»), сделанную в середине XVI в. и включенную Иеронимом Малетиусом (Малэцким) в его «Описание судавов». Эти фразы коротки и иногда содержат повторы: trencke trencke 'стукни! стукни!', *Kellewefze perioth Kellewefze* perioth 'возчик приехал, возчик приехал'. Это единственные тексты на ятвяжском языке; из них извлекается некоторая грамматическая информация, увеличивается число известных лексем, становятся известными отдельные выражения типа формул, относящиеся к сфере ритуала или этикета. Ср.: *Ocho moy myle ſch*wante panicke 'О мой милый святой огонек!'; две здравицы: Kail*eſs noussen gingis* 'Будь здоров, наш товарищ!' и Kayles *poſkayles* enis perandros 'Здравствуй, по-здравствуй, один через другого!'; «отсылка» чертей — Geygey begeyte pockolle 'Бегите, бегите, черти!'.

Наиболее значительный и ценный памятник ятвяжской речи — рукописный польско-ятвяжский словарик «Poganske gwary z Narewu» (т. е. 'Языческие говоры по Нареву'), обнаруженный в 1978 г. в северной части Беловежской пущи, переписанный в тетрадь и, к сожалению, утерянный, но опубликованный по переписанному варианту в 1984 г. З. Зинкявичюсом. Словарик содержит немногим более 200 слов. Есть все основания думать, что балтийская часть словаря является, действительно, ятвяжской (или во всяком случае в основном ятвяжской). В словарике содержится значительное количество диагностически важных лексем, некоторые из них открывают важные черты быта и культуры ятвягов: guti 'крестоносцы', drygi 'москали', Naura 'Нарев', *Pjarkuſ* 'Перкунас', *łaume*, женское божество, *tuołi* 'черт', aucima 'деревня', pesi 'скот', taud 'народ', *wałti*da 'здоровье', ward 'слово', weda 'дорога', *wułks* 'волк' и т. п. В словарике значительное число 1) глаголов: ajgd 'кончить', augd 'возрастать', dainid 'петь', dodi 'давать', degt 'жечь', emt 'брать', gemd 'рождать', gindi 'знать', giwatti 'жить', *guld* 'лежать', hirdet 'слушать', *łaud* 'ждать', *łaudt* 'плавать', mact 'смотреть', *miłdat* 'любить', mort 'умирать', *narſad* 'бросать', piaud 'резать', pramind 'помнить', pratat 'думать', radid 'работать', *ſibd* 'искать', *ſid* 'сидеть', *ſkraid* 'бегать', *ſlaubd* 'спать', *ſlibd* 'прятать', taurit 'говорить', terd 'пить', tibt 'доверить', turd 'иметь', wajrid 'плакать', wikruoti 'жить', *wułd* 'хотеть', zurdit 'видеть' и др.; 2) местоимений: *aſ* 'я', tu 'ты', *eſ* 'он', man 'мне', mano 'мое', *m…tar* 'наш', *patſ,* pati 'сам', 'сама', *taſ* 'этот', kit 'кто', *wiſa* 'все'; 3) числительных: duo 'два', *triſ* 'три', teter 'четыре', pank 'пять', sziasz 'шесть', *geptiſ* 'семь', *aktiſ* 'восемь', cit

'второй', ср. andar 'другой' (из нем. ander) и др. Материал словарика позволяет говорить о ряде фонетических особенностей: сохранение балт. *ā; отсутствие смешения балт. *ā и *ō; непоследовательные рефлексы балт. *ei; переход i > e; s вм. š; z вм. ž; палатализация k > c и др.; а также о некоторых чертах морфологии: так, кроме инфинитивов засвидетельствовано несколько других глагольных форм, среди которых особенно интересна форма 1-го лица единственного числа настоящего времени irm 'есмь' < *ĭ̄r + *-mi (литов. yrà, латыш. ir(a) 3 л. глагола 'быть'); важны некоторые данные, относящиеся к существительным, например имена на -о в соответствии со славянскими примерами среднего рода и т. п. Анализ балтийской части словарика дает возможность определить положение соответствующего говора между прусским и литовским языками (целый ряд лексем ориентирован на восточнобалтийские параллели) и связи с другими (не-балтийскими) языками (ср. довольно значительное количество германизмов, иногда весьма нетривиальных, и несколько полонизмов). На основании ряда германизмов высказано мнение, что язык словарика скорее литовский с сильными следами идиша (W. P. Schmid, 1986), однако большинство исследователей видят в словарике в основном собрание ятвяжских слов (З. Зинкявичюс, Е. А. Хелимский, В. Э. Орел, В. Н. Топоров). С открытием польско-ятвяжского словарика начинается новый этап в изучении ятвяжского языка, а сам язык перестает быть практически «топономастическим», каким он был до недавнего времени. Тем не менее, можно ожидать значительного увеличения и традиционного для ятвяжского языка топонимического материала. При всех лакунах в изучении ятвяжского языка можно с уверенностью говорить о его преимущественной близости к прусскому, о его диалектной дифференцированности и о его глубоком вкладе в суперстратные говоры бывшей ятвяжской территории. Славянские говоры старой ятвяжской земли и смежных территорий сохраняют ряд особенностей ятвяжской речи или разделяют их с ятвяжским языком.

Куршский — язык балтийского племени куршей, чье имя (Cori) впервые зафиксировано в 853 г. («Vita s. Anskarii» Римберта). Старые источники называют племя и страну Cori; Curones, Curonia, Curland (1073); Curones, Curonia, Curlandia (1227); Curi, Curetes (XIII в.); Kûren, Kûrlant (около 1290); Corres, Correlant (1413) и т. п.; ср. др.-рус. **Кърсь**, **Корсь** и др. При всем различии имеющихся двух этимологических объяснений этого имени они отсылают в конце концов к элементу *kurs-, обозначавшему нечто искривленное, изогнутое, низкорослое, дефектное. К началу XIII в. (т. е. до начала активной экспансии крестоносцев в Прибалтику) курши занимали пространство от Немана на юге до низовьев Венты на севере на побережье Балтийского моря. Эта полоса была довольно узкой, особенно в ее южной части. Курши тяготели к морю и морским промыслам, и куршско-скандинавские контакты известны с

очень раннего времени (ср. особую роль скандинавских источников о куршах). С середины VII в. по начало IX в. часть куршских земель была занята викингами. Отношения куршей и викингов были немирными, особенно на море. Адам Бременский называл куршей «gens crudelissima» ‘племя наижестокое’, имея в виду их сопротивление христианизации, о чем позже писал и Генрих Латвийский в своей «Хронике» («Curonum ferocitatem contra nomen Christianorum» ‘куршское зверство против народа христиан’). О воинственности куршей свидетельствуют и «Gesta Danorum» (1202—1216) в связи с нападением куршей и эстонцев на о-в Эланд у берегов Швеции. С начала XIII в. у куршей появляется новый противник — Орден меченосцев.

Ближайшими соседями куршей с севера и отчасти с востока были ливы, позднее оттесняемые наступавшими с юго-востока восточнобалтийскими племенами (ср. также значительный пласт финноязычных элементов в куршском языке). Сначала немецкая экспансия, а позже распространение к западу восточнобалтийского (литовского и латышского) элемента привели к тому, что территория, на которой еще звучала куршская речь, все время сокращалась, а сам куршский язык в значительной степени ассимилировался латышскими и литовскими говорами, занимавшими западную (в основном приморскую) часть Прибалтики. В документах, относящихся к жемайтским землям, курши в последний раз были упомянуты в 1455 г., на основании чего некоторые исследователи полагают, что в этих местах куршский язык исчез уже в XV в. На территории современной Латвии, где в основном и сосредоточивались курши, их язык удерживался дольше. Ряд авторов XV—XVI вв. (в их числе и путешественники) говорят о куршском не только как о самостоятельном языке, но иногда и недоступном пониманию соседей куршей. Писатели XVII в., упоминая куршей, подчеркивают, что они говорят по-латышски. Допуская, что куршская речь в XVII в. могла еще кое-где сохраняться, приходится все-таки считать, что к этому веку самостоятельная жизнь куршского языка прекращалась.

Специфика ситуации состояла в том, что куршский не просто был сменен латышским (и литовским), а «врос» в него, сохранив статус диалекта, но уже латышского языка. Так же правы те, кто считает, что современный жемайтский диалект можно квалифицировать как «литовский язык в устах потомков древних куршей». Куршская речь употреблялась кое-где и вне митрополии. Лихолетья, часто повторявшиеся в жизни куршей, приводили к тому, что им или приходилось мигрировать с родины (так, некоторые исследователи предполагают, что в XIV в. часть куршей переселилась на юго-запад, достигнув будто бы Гданьской бухты), или в качестве пленных оказываться в чужеязычном окружении (имеется пять топонимов с корнем *Kurš-* на территории Аукштайтии, свидетельствующих о существовании куршских анклавов). До сих

пор составляет загадку название русского населения по р. Курша (Касимовский р-н Рязанской обл.) — куршаки, куршаны (запись от 1629—1630 гг.: *в волости Курщѣ*); более поздние материалы говорят о том, что окрестное население называет своих соседей «Куршей-головатой и Литвой-некрещеной», что, по-видимому, могло бы быть подкреплено наличием балтизмов в местном говоре.

Куршский язык принадлежит практически к числу «топономастических». Топонимы, гидронимы и личные имена людей составляют основной и почти исчерпываемый ими запас куршских языковых элементов (однако не всегда достаточно надежна идентификация этих элементов как именно куршских). Исключением являются две очень различных совокупности фактов: с одной стороны, речь идет о нескольких случаях, когда в старых чужеязычных текстах появляются квалифицируемые как «куршские» слова или даже фразы, ср. «der Preusse sagt mes kirdime (nos audimus), der Cur mes sirdime, der Littaw mes girdime» — здесь во всех случаях речь идет о произношении выражения ʻмы слышимʼ, при том что все эти варианты этимологически тождественны: ʻпрусс говорит mes kirdime, курш — mes sirdime, литовец — mes girdimeʼ (Prätorius. Deliciae Prussicae, 124, около 1690); или «der curische Preuss sagt szwintinna…» ʻкуршский прусс говорит szwintinnaʼ (около 1690) и «der alte Preusz sagt wirdas, der Cur werdas, der Littau wardas» (около 1690) и т. п.) ʻстарый прусс говорит wirdas, курш werdas, литовец wardasʼ (речь идет о слове ʻимяʼ); с другой стороны, в «Прусской Хронике» (1526) Симона Грунау есть текст «Отче наш», считавшийся прусским, хотя В. Шмид (1962) называет этот текст старолатышским или даже куршским (ср. «Отче наш» в «Deliciae Prussicae» Преториуса). Наконец, источником сведений о куршской лексике и (прежде всего) фонетике оказываются латышские и литовские «куронизмы» (в меньшей степени они известны в ливском языке и тем более в балтийском немецком). В этой области перспективы реконструкции фрагментов куршского словаря по данным диалектной лексики современных восточнобалтийских языков довольно значительны. Возможно, особую роль призваны сыграть данные леттизированных куршских говоров, долгое время находившихся в изоляции.

На основании топономастического материала (примеры здесь и ниже — топонимы из старых источников и из современных говоров) и реконструированной части куршской лексики можно судить о некоторых важных фонетических особенностях куршского языка: переход *k’* в с и *g’* в *ʒ*: Rutzowe, латыш. Rucava, но литов. Rukiava; Zelende при литов. Gelind*ė*nai; Sintere (где S- = [ʒ]-), латыш. Dziñtare, но литов. Gintarà и др.; переход ti̯ в *t’* и di̯ в *d’*: Apretten (где tt = [t’]) при латыш. Apriķi; Aliseiden при литов. Als*ė̃džiai* и др.; s, z в соответствии с литов. *š*, *ž*: Talsen, Telse, но литов. Tel*š*ia*ĩ*; Sarde (где S- =

[z]-), но литов. *Žar̃dė* и др.; сохранение тавтосиллабических сочетаний an, en, in, un: Ballanden, Palange, Blendene, Grynde, Papundiken и т. п. (при том, что в латышском n в этих сочетаниях исчезает); переход u в o и i в e в части куршских (куронских) говоров латышского языка: латыш. bubinât > bobinât ʽбормотать’; латыш. dvãlekts, но и dvãlikts, обозначение меры и др.; сохранение в части говоров ei: Gaweysen при латыш. Gaviêze; латыш. *Preĩ*kuŗi, но и *Priêkuļi*; удлинение кратких гласных перед тавтосиллабическим r: латыш. dar̂bs, в куршских говорах dârbs при литов. dárbas ʽработа’ и т. п. Бóльшая часть этих особенностей, как и совпадения в области словообразования и словаря, дают основание утверждать, что, несмотря на сильнейшее влияние латышского (и литовского) языка, в ряде случаев перекрывающее старые генетические связи, куршский обнаруживает преимущественную связь с прусским языком, прежде всего в тех явлениях, которые оказываются диагностическими при определении родственных отношений. Родственная близость куршей и пруссов подкреплялась (для известного периода) их территориальной смежностью, связью по морю и своего рода открытостью этой территории для распространения ряда общих прусско-куршских изоглосс. Сознание преимущественной близости куршей и пруссов сохранялось, видимо, довольно долго. Во всяком случае, курши, как и пруссы, в Прибалтике выступали как балтийские племена иной генерации, нежели позже пришедшие сюда литовско-латышские племена. В этом контексте становится правдоподобным предположение, что прусская и куршская речь были представителями того внешнего языкового балтийского пояса, о котором говорилось выше, и, следовательно, куршский язык должен классифицироваться как западнобалтийский.

Особый интерес вызывает наречие «курс(е)ниеков» на Куршской косе, привлекшее во второй половине XX в. внимание ряда специалистов (отдельные опыты его изучения были и раньше) [2]. Носители этого наречия начали переселяться на Куршскую косу, которую они называют kurse kape (латыш. *Kuršu kāpas*, литов. Kur*šių* Nerija, нем. die Kurische Nehrung), в XV в. из западных областей Куронии (современный запад Латвии, Курземе). К этому времени в Куронии уже распространился латышский язык, но курсениеки сохранили многие архаизмы и рефлексы куршского языка, а также были изолированы от последующих инноваций в латышском языке. В дальнейшем их язык подвергся заметному влиянию литовского и немецкого языков (сначала нижненемецкого языка колонистов, затем литературного немецкого, которому их обучали в школе). В южной части косы курсениекское наречие было рано вытеснено немецким, в северной же (позднее отошедшей к Литве) сохранялось дольше. Все курсениеки были гражданами Германии (территория Восточной Пруссии), считали себя немцами и в 1945 г. были эвакуированы в Германию.

Единицы после репатриации случайно оказались в Литве. Себя они называют kurši (ед. ч. kursis), по-немецки их название Kuhren, по-литовски — kuršiai (ед. ч. kuršis) (в научной литературе: латыш. kursenieki, литов. kuršininkai); свое наречие курсениеки называют kursisk(a) valuod(a) (латыш. kursenieku valoda, литов. *kuršininkų kalba*, нем. Nehrungskurisch). Несмотря на то, что структурно это наречие в целом входит в латышскую систему, сами носители не считают свой язык латышским, поскольку плохо помнят, как их предки оказались на Косе, да и когда они покидали Куронию, понятия «Латвии» и «латышского языка» еще не было, каждая группа называла свой язык по этно-территориальным признакам. По набору черт считается, что данное наречие наиболее близко к курземским говорам среднелатышского диалекта, но возможно и влияние ливонского диалекта. Среди особенностей, не совпадающих с общелатышскими, можно отметить сравнительную конструкцию с juo + положительная степень (juo labe ʻлучше’), глагольные приставки *ā*z- (латыш. aiz-), uoz- (латыш. uz-), предлог iz ʻв’, частый сдвоенный рефлексив, глагол dzievuot ʻжить’, ʻработать’. Некоторые черты появились под влиянием литовского (спряжение сослагательных форм глагола ʻбыть’: курс. *es būčau*, литов. b*ū́čiau*, но латыш. *es būtu*, курс. *tu būtum*, литов. bū́tum, но латыш. *tu būtu*; наличие приставки nibi- ʻуже не, больше не’, аналогичной литов. nebe-, см. статью «Литовский язык» в наст. издании, и отсутствующей в латышском) или немецкого (особенно в синтаксисе: более частое употребление местоимений tas ʻтот’, *tā* ʻта’ в роли артикля; построение косвенного предложения с обязательным сказуемым в конце). Отклонения от латышского, совпадающие с жемайтским наречием литовского, надо рассматривать осторожно, часть из них могут оказаться реликтами общего куршского субстрата. Больше всего языковые контакты проявляются в лексике, так что без знания литовского и немецкого современному латышу трудно понять речь курсениеков, см. например: *Viņš bij nu pirmuo* ***krīge****, viņš bij labs par* **dolmečer***, viņš mācij* **juo** labe runati ***mackāle*** ʻОн был с первой войны, он был хорошим переводчиком, он умел лучше говорить по-русски’ (полужирным выделены слова, отличающиеся от латышского; ср. латыш. вариант: V*iņš bija no pirmā kara, viņš bija* labs *par tulkotā*ju, *viņš mācēja labāk runāt krieviski*). Так что в целом это скорее смешанный язык (fusion language) с латышской грамматической основой и смешанной лексикой.

В настоящее время незначительное число пожилых носителей доживает свой век в Германии (несколько десятков), Швеции (пара семей) и Литве (не больше семи полуносителей), но язык не передается следующим поколениям и в ближайшее время исчезнет. Исследования этого наречия активно ведутся в Клайпедском университете, где проводятся экспедиции и уже накоплен большой материал.

З е м г а л ь с к и й — язык балтийского племени земгалов. В ранних источниках этот этноним выступает обычно в вариантах по существу одной и той же формы, ср. лат. Semigalli, Semigallia, нем. Semegallen, Semgallen. Считают, что именно от немецкой модели произведены латышские «ученые» формы Zę̀mgale, zę̀mgaļi (ср. латыш. *zę̀mgaliẽši* 'жители Земгале'). Проблема исконной формы названия возникает при вариантах, засвидетельствованных в литовских обозначениях этой земли и ее жителей. Отмечаются два варианта: литов. *ž*iemgãliai — *Žiẽmgala*, с одной стороны, и *ž*emgãliai — *Ž*em̃gala, с другой. Каждый из этих вариантов может быть осмыслен с достаточным правдоподобием и, более того, с определенными сравнительно-историческими аргументами, касающимися фонетической формы этих слов. Если исходить из первого письменного свидетельства этого слова (Semigaliam, в датской латиноязычной хронике XIII в. «Annales Ryenses» о событиях около 870 г.), то для первой части слова реконструируется корень *ž*em- (zem-), отсылающий к обозначению земли, ср. литов. *žẽmė*, латыш. zeme 'земля', и/или низкого, низменного места (каковым действительно является территория земгалов), ср. однокоренное литовское *žẽmas*, латыш. zę̀ms 'низкий'. Если же исходить из форм *ž*iemgãliai, *Žiẽmgala*, известных по свидетельствам не только литовских говоров, но и др.-рус. **зимигола, зимѣгола** и швед. S*æ*imgala, S*æ*imgalum (надписи рунами на двух памятных камнях в южной Швеции, сделанные в XI в.), Seimgaler («Сага об Ингваре», XIV в.), то оправданной оказывается и реконструкция корня в виде **ž*iem- (*ziem-) (ср. швед. Siem-galer). Тогда название *Ž*iem-gala (Ziem-gala) может пониматься как северный («зимний») край, ср. литов. *ž*iemà, латыш. zìema 'зима', в отличие от варианта *Ž*em-gala (Zem-gala), интерпретируемого как край земли, крайняя земля или как низменный край.

Признавая допустимость каждой из этих интерпретаций, два крупнейших балтиста своего времени (К. Буга в 1924 г. и Я. Эндзелин в 1925 г.) отдавали предпочтение варианту с корнем *ž*iem- (ziem-) из, соответственно, **ž*eim- (*zeim-) (в таком случае этноним может указывать на локус своего возникновения — область, для жителей которой Земгала находилась к северу, т. е. литовские земли). О. Бушс в 1990 г. предположил, что эти названия связаны с названиями рек типа литов. *Ž*eimik*ė* (рядом с Тельшяем) или литов. *Ž*eimena (рядом с Швенчёнисом). Понимание названия как «нижний край (конец, область)», индуцируемое латышскими формами Zę̀mgale, *zę̀mgaļi*, представляет собой переосмысление в духе народной этимологии. К тому же указанные формы книжного происхождения и не отражают достаточно точно исходной реальности.

К началу XIII в. земгалы занимали территорию вокруг Лиелупе; на западе она граничила с куршами, сидевшими к северу от Венты, на севере — с ливами и нижним течением Даугавы, на востоке — с селами, на юге — с литовцами.

Неоднократные попытки борьбы с Ливонским орденом привели к тяжелым для земгалов последствиям: многие из них погибли, значительная часть была переселена в другие области (в частности, в Литву), земля земгалов заселялась пришельцами из других мест. Все это нанесло сильный удар по земгальскому языку. Хотя источник, относящийся к 1413—1414 гг. (Жильбер де Лануа), упоминает о земгальском языке как о живом, обычно считают, что уже во второй половине XV в. он исчез. Едва ли эта дата подвергнется существенной корректировке.

Конкретные сведения о земгальском языке извлекаются прежде всего из топонимических данных и (реже) личных имен, относящихся к территории Земгалы, а также из лексики современных говоров этих мест, обнаруживающей фонетические отклонения от диалектной нормы. В этом отношении земгальский напоминает куршский язык, хотя данных о последнем несравненно больше. Отчасти поэтому не все черты земгальской фонетики определяются бесспорно; в отношении ряда явлений имеющиеся языковые данные иногда оказываются противоречивыми. Так, при бесспорных примерах перехода *k'* в c и *g'* в *ʒ* (z) (Autzis, латыш. *Aũce* при литов. *Áukė*; Zervinas (Z- = [ʒ]-), ср. латыш. *dzẽrve* ʽжуравль', но литов. *Gérvė* и т. п.) есть немало случаев сохранения *k'*, *g'* как в старых памятниках (написания типа Augegoge, Sigemoa и т. п.), так и в современных латышских говорах, например вокруг Блидиене (*Dauķis*, *Ķipsnas līcis*, название залива, *Giñterenes pļava*, название луга, *Reģĩnas* и др.). Подобная двойственность наблюдается и в отношении тавтосиллабического n, которое в одних случаях исчезает (Blidenen, латыш. Blìdiene при литов. blindìs ʽракита'; Slok, латыш. Slùoka, ср. литов. slankà ʽоползень' и т. п.), в других сохраняется (Bleñdiena, Jiñtars, Klen̂ces, Pluñci, Rìnkas, Skruñdu leja, название низины, дола и др.). В отношении рефлексов di̯ отмечается двойственность несколько иного рода: di̯ > *ž*: Mezoten, латыш. *Mežuôtne* (ср. *mežs* ʽлес') при литов. диал. *mẽdžias*, но и di̯ > *ǯ*: Medzothen; *sirdžu* при латыш. sir̂žu и литов. *širdžių̃* род п. мн. ч. от ʽсердце'; ср. также ti̯ > *č*: *biču* при латыш. *bišu*, литов. *bìčių* род. п. мн. ч. от ʽпчела' и др. Земгальский язык сохраняет s, z в соответствии с литов. *š*, *ž*: Silene, латыш. sìls при литов. *šìlas* ʽбор'; Sagare, Sagera при литов. *Žagãrė* и др. Характерная земгальская черта — сохранение краткости перед тавтосиллабическим r и вставка гласного между r и последующим согласным (анаптиксис): Terevethene наряду с Thervethene; zirags ʽконь' вм. лит. латыш. zir̂gs; varana, varina ʽворона' вм. лит. латыш. vãrna; berizs ʽбереза' вм. лит. латыш. *bẽrzs*; иногда то же происходит и после l: galads ʽстол' вм. лит. латыш. gal̂ds; ilagi ʽдолгий' вм. лит. латыш. il̃gi и т. п.; сходные явления характеризуют и литовские говоры на земгальских землях: sãr^e^gs ʽсторож' вм. лит. литов. sárgas; dár^ə^bs ʽработа' вм. лит. литов. dárbas и т. п. Можно говорить и о некоторых особенностях сло-

варя и словообразования в земгальском, а иногда и морфологии, ср. несклоняемую форму возвратного местоимения в топониме *Sàuzeŗi*, а также в старых записях — Sawasirgu maȟjâs (в современной записи sava zirgu m*ā*j*ā*s), букв. ʽсвоих лошадей в домахʼ.

Северная часть земгальского ареала расположена на территории Латвии, южная — на территории Литвы. Есть точка зрения, согласно которой земгальский был ближе к литовскому, чем к латышскому и куршскому. Объяснение этому склонны видеть в принадлежности и земгальского, и литовского к восточнобалтийской группе (в отличие от куршского). Тем не менее, исследование земгальского до сих пор ведется недостаточно интенсивно и последовательно, и многие важные вопросы — лингвистические и культурно-исторические — остаются нерешенными. Важность земгальского в решении этих проблем объясняется, в частности, тем, что именно он был, видимо, в составе той первой волны восточных балтов, которая появилась на территории современных Литвы и Латвии, и земгалы были в северной части этого движущегося к северу клина (именно они, вероятно, первыми из восточных балтов достигли Даугавы; есть мнение, согласно которому земгальский элемент проникал и к северу от этой реки). Более того, в названии старого финского племени *ямь* (др.-рус. **ѣмь**, **ıамь**), засвидетельствованном и в русских летописях, иногда видят отражение племенного названия земгалов. Наконец, ряд загадок связан с ролью земгальского субстрата в истории формирования общелатышского языка. В последние десятилетия немало сделано в плане поиска «земгализмов» в латышских говорах.

Селийский (селонский) — язык балтийского племени селов (селонов), имя которого упоминается в источниках с XIII в.: Selones, castrum Selonum, обозначение укрепления («Хроника» Генриха Латвийского), Selen, Selenland («Рифмованная хроника Ливонии») и др.; в русских источниках это имя не зафиксировано. Судя по источникам, имя селов стало известно позже, чем названия других племен. Однако в копии XIII в. «Tabula itineraria Peutingeriana» (III—IV вв.) упоминается Caput fl(uvii) Selliani — устье реки селов. Аутентичность этой записи применительно к оригиналу остается под вопросом, хотя археологические данные свидетельствуют о присутствии селов в пределах этого исторического ареала. Имя селов, скорее всего, гидронимического происхождения (ср.: литов. Sė̃liupis, -*ỹs*, т. е. река *Sėl*-, откуда реконструируется *Sė̃lia, *S*ė̃lė*, к литов. selė̃ti ʽтечьʼ, ʽбежатьʼ и т. п.). В начале XIII в. территория селов и их языка с севера ограничивалась Даугавой (здесь находился центр селов Селпилис), с запада — областью распространения земгалов, с востока (как и с севера) — землями латгалов и кривичей. Более всего споров вызывает южная граница селов. Один из ее вариантов — линия, соединяющая Салакас, Таурагнай, Утену, Сведасай, Субачюс, Палевене, Пас-

валис, Салочяй (северо-восток Литвы). По другому варианту, селы достигали на юге только верховьев Швянтойи и Вешинты. Не вызывает сомнения, что ядро племенной территории селов находилось на северо-востоке современной Литвы и в прилегающей к ней части Латвии. Предполагают, что к середине XIV в. язык селов исчез: в северной части он подвергся леттизации и сменился соответствующими говорами латышского языка, а в южной части растворился в литовском языке. О языке древних селов можно судить по субстратным топонимам и гидронимам на бывшей их территории, по топономастическим свидетельствам старых источников, отчасти по диалектной лексике с «селонской» фонетикой (следует, например, упомянуть об архаичной восходящей интонации в селонских говорах латышского языка). Яркая черта звуковой стороны языка селов — наличие s и z в соответствии с *š* и *ž* в литовском. Эта черта рельефно выделяет «селонизмы» среди литовского окружения: Maleysine при литов. Maleĩšiai; Swenteuppe, Swentoppe при литов. *Šventóji*; Zãrasas — название озера (из *ezerasas) при литов. *ẽžeras*; Zálvė при литов. *Žalvẽ* и т. п., а также лексику соответствующих говоров: zelmuõ 'росток' при *želmuõ*; *zliaũktie* 'хлестать' при *žliaũgti* и т. п. Другая примечательная черта — переход *k'* в c и *g'* в *ʒ*: Alce при литов. Alká, Nertze из *Nerke и др. Иногда эта картина затемнена последующими изменениями; так, считают, что c и *ʒ* указанного происхождения были мягкими и при усвоении литовским языком давали соответственно *č* и *ǯ*: *Čẽdasas* из селийского **Ćedasas* при литов. *Kẽdiškė, Čičirỹ*s при латыш. *Ciẽcere* и потенциальном литов. *Kikirys. В отличие от латышского язык селов сохраняет тавтосиллабическое n: Lensen, Gandennen, Swentuppe в старых документах или Grendze, Svente, Zinteļi в современных латышских говорах на землях селов. Есть некоторые отступления, позволяющие думать о членении языка селов на говоры; подобная дифференциация наблюдается и в связи с другим фонетическим явлением: одни латышские говоры на территории селов сохраняют ie, uo, другие имеют вместо них соответственно *ī, ū*. Сохраняется в языке селов и старое *ā*: Nalexe (1298) при совр. литов. *Nóliškis*, Ravemunde (1416) при совр. литов. Rovẽja и др. Видимо, сохранялось и свободное ударение (в отличие от латышского). Характерной чертой фонетики говоров на территории селов является очень широкое ǣ̆, склонное к переходу в *ā̆*. Судьба некоторых явлений (например, рефлексы tį̯ и dį̯) остается не вполне ясной, и между исследователями в этом отношении нет единогласия. В литовско-латышской перспективе язык селов обладает чертами переходности между этими двумя языками. Вместе с тем он разделяет ряд особенностей с земгальским. Высказывается также мнение о высокой степени близости языка селов с куршским; известен ряд параллелей и с прусским. При том, что проблема ближайшего родства языка селов среди балтийской группы остается нерешенной, его связи с

западнобалтийскими идиомами могут оказаться диагностически важными (в примерной схеме расположения балтийских диалектов около 500 г. К. Буга помещал селов к западу от земгалов в непосредственном соседстве с куршами и пруссами).

Нет оснований сомневаться, что существовали и другие языки и диалекты древних балтов, этнические названия которых нам неизвестны и определяются в основном по месту их распространения (сам же гидронимический, реже — топонимический материал за редкими исключениями недостаточен для языковой идентификации балтизмов этой категории, хотя, например, в направлении к северо-западу от Москвы отмечен ряд гидронимов, тяготеющих к соответствующей латышской номенклатуре). Поэтому здесь целесообразно назвать несколько локусов на территории Восточной Европы, в которых балтийское присутствие не вызывает сомнения. Крупнейших из них два. Первый, самый обширный, более того, членимый на отдельные относительно самостоятельные гидронимические ареалы (Березинский, Сожский, Припятский, Десненский бассейны) — днепровский, охватывающий северную половину бассейна Днепра от его истоков до Киева (и даже южнее, ср. *Вилия, Шандра* и др.) и насчитывающий (считая варианты названий и то, что часто одно и то же название может относиться к нескольким, иногда многим водным объектам) до пяти-шести сотен надежных гидронимических балтизмов. Хотя их распространение по всему днепровскому бассейну неравномерно и сильные сгущения чередуются с существенно разреженными в отношении балтизмов пространствами, в целом есть основания говорить о непрерывности балтийского гидронимического элемента в бассейне Днепра. Иная картина наблюдается во втором локусе гидронимических балтизмов, каковым является бассейн Оки, хотя и здесь их счет идет на несколько сотен. Однако по течению Оки прореженность балтизмов в верховьях, тем более практическое отсутствие их в пределах Рязанской и Нижегородской областей, сочетается с густотой балтийского гидронимического слоя в пределах Калужской и Московской областей и, что удивительно, со сгущением балтизмов в самом нижнем течении Оки, тем более что они из числа весьма надежных. Появление в Среднем Поволжье очевидных гидронимических балтизмов тем более существенно, что в свете последних данных ранние контакты волжских финнов с балтами, с одной стороны, и предками индо-иранских племен, с другой, как предполагается, пространственно относятся к Среднему Поволжью, а по времени — к общефинской эпохе между началом I-го тыс. до н. э. и VI—VIII вв. н. э. (согласно П. Хайду). Об этих контактах свидетельствуют обильные балтизмы в прибалтийско-финских, а отчасти и в поволжско-финских языках и, более того, отдельные заимствования в Б. я., которые могли быть усвоены еще из

поволжско-финских языков, как, например, литов. sóra ʻпросоʼ, ʻпшеноʼ, латыш. sā̆re (в словаре Г. Эльгера), источником которых было исходное *psārā, объясняющее, видимо, и рус. *просо*, ср. морд. śora (эрзя), suro (мокша) ʻхлебʼ, ʻзерноʼ.

Особо нужно отметить недавно открытое сгущение гидронимических балтизмов в верхнем течении Дона (*Дриска, Смолка, Деготенка, Скороденка, Сосна, Кастора, Верейка, Ведуга, Лопайка, Скобенка, Плавица* и др.), в соседстве с поволжско-финским (мордовским) ареалом. Также в основном в последнее время была несколько расширена область присутствия гидронимических балтизмов между верхним течением Западной Двины на юге и оз. Ильмень на севере, на стыке восточной части Псковской обл., юго-западной части Новгородской обл. и северо-западного угла Тверской обл. (ср. *Березай, Болдырька, Верготь, Волкота, Волма, Добшинское* оз., *Жаберка, Ильзна, Кемка, Крупка, Кудь, Кудепь, Лусня, Морожа, Обша, Окча, Орлинка, Пелено, Песно* оз., *Плюс*(*с*)*а, Рдейское* оз., *Русса, Снежа, Торопа, Уда, Шлино* оз., *Явонь* и др.). В известном смысле этот локус является продолжением в северо-западном направлении верхневолжского сгущения гидронимических балтизмов. Вероятно, балтийского происхождения и само название *Волга*, распространившееся с верховьев на всю реку, хотя другие народы продолжают иметь свои обозначения этой реки. К балтизмам относятся также названия *Персянка, Меслинка, Кудь, Б.* и *М. Исня, Жукопа, Бутень, Воржинка, Митенка, Меленка, Спировка, Ворча, Вазуза, Дрогоча, Држа, Орша, Кревка, Б.* и *М. Ула, Стерж, Пено, Волго, Б.* и *М. Верхит* и др. В последнее время, на основании работ Ю. В. Откупщикова и В. Н. Топорова, стало известно о более широкой, нежели предполагалось ранее, области распространения балтийских гидронимов в Поочье.

5. Б. я. (или диалекты) (см. 4.) в принципе исчерпывают известные исторические разновидности балтийской речи (чьи этнические названия известны или хотя бы предполагаемы), с одной стороны, и демонстрируют максимальный по числу языков вариант балтийской группы, с другой стороны. Такова была ситуация в первые века II тыс., и она подтверждается документальными данными. Ей предшествовала длительная история развития балтийского языкового типа, известная лишь в общих чертах и допускающая существенное различие в точках зрения. Важнейшими событиями этой предыстории были: формирование центрального и периферийного ареалов (соответственно внутреннего и внешнего); дифференциация периферийного ареала, приведшая к выделению раннего праславянского (иногда в качестве условной вехи называют V в. до н. э.); дальнейшие расхождения двух основных групп прабалтийского; начало дифференциации центральной группы, приведшей в V—VII вв. к становлению ранних форм литовского и латышского; постепенное

сокращение ареала балтийской речи на юге, юго-востоке и востоке от Прибалтики в связи с освоением славянами этой территории; движение группы языков (земгальский, селийский, литовский, латышский) к северо-западу и освоение в течение I тыс. значительной территории в Прибалтике, приведшее к новым контактам с более ранним балтийским населением этих мест; усиление контактов западнобалтийских языков со славянскими (I тыс.). Первые века II тыс. характеризуются весьма важными изменениями в балтийском мире. С одной стороны, балтийская речь постепенно начинает исчезать на широких пространствах бассейнов Днепра, Оки, верховьев Волги (после XII—XIII вв. могли сохраняться только отдельные небольшие островки), в Белоруссии граница балтийской речи существенно отодвигается на запад и северо-запад, граница прусского языка отодвигается к северу (экспансия польского языка) и к востоку (распространение немецкого языка); «малые» Б. я. (ятвяжский, куршский, земгальский, селийский) терпят значительный урон и в течение XIV—XVII вв. практически исчезают. С другой стороны, укрепляются позиции литовского и латышского языков, расширяющих свои ареалы (в частности, за счет исчезающих «малых» языков); более четко формируются их диалектные структуры; складывается потребность в письменной фиксации литовского, латышского и прусского языков и в переводе основных религиозных текстов на эти языки.

Подводя итог длинному списку вымерших Б. я. (как известных по имени, так и безвестных), нужно признать, что эти утраты привели к существенному сокращению балтоязычных территорий и уменьшению многообразия речи, сведенного в настоящее время к трем языкам. Лингвисты делают всё, что возможно, чтобы реконструировать хотя бы малейшие детали этих вымерших языков, память о которых жива и сейчас. Недаром в Вильнюсском университете находится камень, свидетельствующий о благодарной памяти теперешних балтов о своих далеких предках и родственниках.

6. Начало письменности у балтийских народов относится к середине XVI в. До этого речь шла лишь о некоторых опытах, носивших характер исключения: немецко-прусский Эльбингский словарь (около 1300); литовский текст «Отче наш» и кое-какие другие литовские фрагменты, вписанные в «Tractatus sacerdotalis» (1503), вероятно, в начале XVI в.; два латышских текста «Отче наш», относящихся к первой половине XVI в., — так называемый «Упсальский Отче наш» и «Отче наш» из «Хроники» Симона Грунау; попытки перевода на латышский духовных песен, опубликованных лишь в XVII в.; краткие записи рижских гильдий (1522, 1532—1533) и др. Возникновение письменности связано с эпохой Реформации и Контрреформации. Плоды этой эпохи — три опыта перевода на прусский язык Катехизиса (дважды в 1545 и в 1561 — «Энхиридион»), первый перевод Катехизиса на ли-

товский язык М. Мажвидасом в 1547 г. (все эти тексты лютеранские), перевод на латышский католического Катехизиса Петром Канизием (1585) и лютеранского Катехизиса (1586); есть мнение, что этим двум переводам предшествовали два других опыта, относящиеся к 1530 г. и к периоду между 1535 и 1550 гг., но не дошедшие до нас. Центрами, с которыми было связано начало книгопечатания на Б. я. (и первые шаги письменности), выступали Кенигсберг, далее Вильнюс, позднее Рига и др. К началу XVII в. количество и разнообразие религиозных текстов на литовском и латышском языках значительно возрастает; появляются первые опыты оригинального творчества на этих языках, но проходит немало времени, прежде чем появляются выдающиеся произведения, обладающие бесспорными художественными достоинствами (ср. поэтические опыты Х. Фюрекера в Латвии, XVII в., и особенно замечательные «Времена года» К. Донелайтиса в Литве, XVIII в.). Тем самым создаются реальные предпосылки для использования литовского и латышского в новом статусе — литературных языков, представленных высокими образцами поэзии. С 1730 г., несмотря на долгие периоды запретов — 1865—1904 гг., 1934—1940 гг., 1961—1987 гг. — издавалась литература и на латгальском языке, возобновленная в начале 90-х гг. XX в. Однако создание соответствующих литературных языков в целом нужно отнести уже к началу XX в.

Выделение Б. я. в особую группу внутри индоевропейской семьи определяется критериями сравнительно-исторического характера. Эти последние позволяют уяснить степень целостности, единства и самодостаточности Б. я. и их выделенности среди других, даже наиболее близких им, причем не столько в статике, сколько в развитии. В сравнительно-историческом плане для Б. я. характерно:

— в ф о н е т и к е: противопоставление гласных по долготе/краткости; свободное место ударения (позже в латышском оно стабилизировалось на начальном слоге); система интонационных различий; сохранение в достаточно полном виде и.-е. гласных *e, *i, *u и *$\bar{e}$, *$\bar{\imath}$, *$\bar{u}$; совпадение и.-е. *a и *o в балт. a (при асимметричном развитии и.-е. *$\bar{a}$ и *$\bar{o}$, так или иначе различающихся и на уровне балтийских рефлексов); единство рефлексов и.-е. слоговых (ir/ur, il/ul и т. п.); относительная простота консонантизма (например, отсутствие следов придыхательных); противопоставление глухих и звонких щелевых (s/z или *š/ž*); сатемные рефлексы и.-е. **k'*, **g'* (впрочем, известно немало случаев, где сатемизация не была осуществлена); особая роль j, исчезавшего в определенной позиции и вызывавшего палатализацию (появление аффрикат и мягких согласных); относительная сохранность конца слова (ср. сохранение -s), слоговой структуры слова, схем сочетания фонем (ср. сохранение m перед зубными), типов чередования гласных, используемых

в морфологии и словообразовании; отдельные тенденции в области сандхи и т. п.;

— в морфологии: сохранение различных типов склонения в зависимости от исхода основы (в частности, на согласный); наличие склонения основ на -e (из *-i̯ā, ср. литов. *žẽmė* ʽземля', латыш. zeme, прус. *semmē*); «расширенный» вариант падежной системы; некоторые особенности падежной флексии (ср. элемент -m- в творительном падеже как и.-е. «регионализм», флексия местного падежа, восходящая к послелогу и т. п.); наличие двух типов прилагательных — простых и сложных (местоименных); система дейктических местоимений; относительная простота системы времен в глаголе; претерит на -*ā*, -*ē*; отсутствие таких и.-е. форм, как корневой аорист, аорист на -s, перфект и имперфект; существенность видовых (и относящихся к характеру протекания действия) различий; неразличение чисел в глагольных формах 3-го лица; сохранение ряда архаизмов (атематическое спряжение, форма и.-е. оптатива, отдельные глагольные флексии) при развитии некоторых новообразований (дебитив в латышском, пермиссив в литовском и т. п.);

— в словообразовании: широкий инвентарь общих суффиксов для образования имен: *-si̯an-, *-si̯en, *-sen- (литов., прус. -sena, латыш. -*šana* и т. п.); -*ūnas*, -*ẽ*li̯a-, -ut-, -ul-, -*už*-, -uk-, -ait-; -ing-, -*išk*-/-isk- (суффиксы прилагательных) и т. д.; префиксальные типы в имени и в глаголе; глагольное словообразование (-ina-, -sta- и т. п.); некоторые особенности словосложения, особенно тип двучленных собственных имен архаичного типа и др.;

— в синтаксисе: наличие абсолютных конструкций; препозитивное употребление генитива (следует отметить исключительно широкий спектр синтаксических функций этого падежа); важная роль частиц (местоименных, предложно-послеложных и иных) во фразе, в частности, в связи с глаголом, и т. п.;

— в лексике: исключительное единство словаря, проявляющееся в наличии большого количества слов, которые во всех известных Б. я. кодируются общим корнем (или основой), при том, что соответствующие слова в других индоевропейских языках передаются всегда иначе (длинные списки лексем, общих всем Б. я., часто предельно облегчают реконструкцию соответствующих фрагментов «прабалтийского» словаря); сохранение многих архаических лексем и т. п.;

— во фразеологии: наличие целого ряда архаичных «поэтических» формул и сочетаний слов, восходящих к индоевропейской древности и сохраняющихся в некоторых современных балтийских текстах (в частности, фольклорных, религиозных, правовых и т. п.).

Б. я. обнаруживают значительное единство и вне сравнительно-исторической перспективы. Поэтому они могут рассматриваться как нечто целое (осо-

бая группа) и в синхронном плане. Эта целостность современного балтийского языкового типа (литовский, латышский, латгальский) подчеркивается с особой рельефностью при его сравнении с другими группами языков в типологическом плане и при соотнесении балтийского языкового ареала со смежными ареалами других языков.

Ф о н о л о г и я. Фонологическая структура современных литературных языков (литовского, латышского и латгальского) характеризуется рядом общих близких черт. В частности, фонемы этих двух языков могут описываться одним и тем же набором дифференциальных признаков. Среди этих признаков особенно специфичны твердость/мягкость у согласных, напряженность/ненапряженность у гласных (с помощью последнего признака различаются e, i, u и *æ*, i͡e, o). Единство и целостность фонемного инвентаря Б. я. возрастает при учете того, что фонемы f, x, литовские *c’*, *ʒ’*, *γ*, латышская *ǯ* и др. встречаются редко, притом обычно в заимствованиях или в ономатопеической лексике. Общими для Б. я. являются основные просодические категории (элементы) — количество, интонация и ударение. Противопоставление по долготе/краткости актуально для различения гласных (литов. bùtas ʽквартира’, но bū́tas ʽбывший’, латыш. virs ʽнад’, но *vīrs* ʽмуж’). Интонационные противопоставления существенны и для литовского, и для латышского, но их конкретная реализация различна: литов. *áušti* ʽостывать’ (нисходящая/резкая интонация) — *aũšti* ʽсветать’ (восходящая/длительная интонация); латыш. plãns ʽглиняный пол’ (длительная интонация) — plâns ʽтонкий’ (прерывистая интонация); латыш. *laũks* ʽполе’ (длительная интонация) — làuks ʽбелолобый’ (нисходящая интонация). Функция места ударения важна для литовского (galvà ʽголова’, но gálva ʽголовой’, kalnè ʽна горе’, но kálne ʽо гора!’) и лишь в очень малой степени — для латышского языка с постоянным ударением на первом слоге (ср. viê'nâdi ʽвсегда’, но 'viênâdi ʽодинаковые’).

Минимальным пространством, на котором наглядней всего выявляются особенности дистрибуции фонем в Б. я., служит фонологический слог. Максимальная модель слога (сочетание двух предельно длинных последовательностей согласных фонем, из которых одна предшествует гласной фонеме, образующей вокалический центр слога, а другая следует за ней) имеет следующий вид: $C_s + C_t + C_r + V + C + C + C$ (где V — гласная, C — согласная, C_s — щелевая согласная, C_t — смычная согласная, C_r — сонорная согласная). Слово в Б. я. не может начинаться более чем тремя согласными фонемами, принадлежащими к разным классам и аранжированными в указанной выше последовательности (/skl/, /skr/, /spl/, /spl’/, /spr/, /str/ и т. п.). Редуцированные варианты начала слова (и слога) строятся более или менее автоматически: $C_t + C_r$ (/bl/, /bl’/, /br/, /br’/, /cv/, /dr/, /dr’/, /dv/, /dv’/, /gl/, /gl’/, /gn/, /gn’/, /gr/, /gr’/, /gv/, /kl/, /kl’/, /kn/, /kn’/, /kr/, /kr’/, /kv/, /pl/, /pl’/, /pr/, /tr/, /tr’/, /tv/);

C_s + C_r (/fl/, /fr/, /sl/, /sl'/, /sm/, /sn/, /sn'/, /sv/, /šl/, /šl'/, /šm/, /šn/, /šn'/, /šv/, /zl/, /zm/, /zn/, /zv/, /žl/, /žl'/, /žm/, /žn/, /žn'/, /žv/); C_s + C_t (/sk/, /sk'/, /sp/, /st/, /šk/, /šk'/, /šp/, /št/). Возможна и дальнейшая редукция, при которой в начале слова и слога выступает одиночная фонема одного из трех классов — C_s, C_t, C_r. Согласная вообще может отсутствовать, и в таком случае на первом месте в слове оказывается гласная фонема. Из этих правил распределения фонем в начале слова следуют некоторые другие (так, если C_r начинает слово (слог), то за ней автоматически следует V, и т. п.). Любая гласная и согласная могут начинать слово (слог). Структура последовательности фонем в конце слова (слога) сложнее, и заключения о ней обычно носят лишь вероятностный характер. Конечная группа согласных фонем, как правило, не превышает трех элементов. В качестве последнего элемента выступают чаще всего (из согласных) C_r и C_s, гораздо реже C_t (обычно лишь в ономатопеических словах и при редукции конечного гласного элемента, не говоря об отдельных «регулярных» формах типа литов. bū́k 'будь' или латышского инфинитива (balinât 'белить') и пересказывательного наклонения (balinuôt 'белит, дескать') и т. п.). При исходе слова (слога) в виде двух согласных наблюдается тенденция к размещению согласных фонем по принципу зеркального отражения начала слова (слога), начинающегося двумя согласными: /sn-/ и /-ns/, /sm-/ и /-ms/, /sr-/ и /-rs/, /sk-/ и /-ks/ и т. п. Фонемная структура конца слова в латышском значительно сложнее, чем в литовском, из-за исчезновения некоторых гласных фонем, завершавших слово или предшествовавших конечному согласному. Слово (слог) в Б. я. может оканчиваться любой гласной фонемой. Вокалический центр слога может состоять из любой гласной фонемы, сочетания гласных фонем, из которых вторая выступает в неслоговой функции (дифтонги ai, au, ei, ui) или обе вместе образуют один слог (монофонемы-дифтонгоиды ie, uo), или сочетания гласной фонемы с сонорными, которое несет на себе интонацию.

Морфология. Максимальный морфологический состав слова в Б. я. описывается моделью: отрицание + префикс + … + корень + … + суффикс + … + флексия + постфикс. Слово может содержать более чем один префикс. В таких случаях первое место занимает обычно видовой префикс pa- или же на втором месте находится префикс, обладающий малой степенью самостоятельности. В литовском, латгальском и латышских говорах Курземе между префиксом и корнем может находиться возвратный элемент (-si-), а в старолитовском языке и флексия (ср. pa-io-prasta вм. совр. pa-prasto-jo (род. п. ед. ч. м. р.) 'простого'). Слово может иметь более чем один корень (обычно в таком случае их число не превышает двух). Известны разные сочетания корней с точки зрения соотнесения их с грамматическими классами слов: прилагательное + прилагательное или существительное; существительное + суще-

ствительное или глагол; местоимение + существительное или прилагательное; числительное + существительное или числительное; глагол + существительное или глагол; наречие + существительное или прилагательное или наречие. Количество суффиксов не ограничено. Их обычный порядок: суффикс объективной оценки + суффикс субъективной оценки (уменьшительные, увеличительные, ласкательные, уничижительные). Суффиксы последнего типа получили в Б. я. широкое распространение. Флексия в слове, как правило, одна; исключение составляют сложные прилагательные (литов. balt-aj-ai (дат. п. ед. ч. ж. р.) ʻбелойʼ), некоторые глагольные формы, особенно с возвратным постфиксом.

Морфологическое пространство Б. я. характеризуется следующим набором категорий: род (мужской/женский, в одном из прусских диалектов сохранялся и средний род, кое-где в прилагательном усматриваются остатки ср. рода), число (единственное и множественное, в старых текстах и кое-где в говорах сохраняются следы двойственного числа), падеж (именительный, винительный, родительный, дательный, инструментальный, местный — в старых текстах и говорах несколько вариантов этого падежа, — все вместе противопоставленные звательной форме), краткость/полнота (или «сложенность», или категория определенности), градуальность (положительная, сравнительная, превосходная степени), лицо (1-е, 2-е, 3-е), время (настоящее, будущее, прошедшее), наклонение (изъявительное, условное, желательное, повелительное, пересказывательное, или косвенное, или «эвиденциальное»), залог (действительный, возвратный, страдательный). Различие по виду, включая разные оттенки протекания действия (начинательность, итеративность, терминативность и т. п.), по каузативности/некаузативности и т. п. целесообразно рассматривать как факты глагольного словообразования. Некоторые «индивидуальные» граммемы противопоставляют один балтийский язык другому (ср. прошедшее многократное время в литовском или долженствовательное наклонение в латышском). Общим для Б. я. является и состав грамматических классов слов, определяемых сочетанием перечисленных категорий и степенью их независимости: существительное и указательное местоимение (род, число, падеж), прилагательное (род, число, падеж, зависящие от соответствующих категорий существительного, краткость/полнота, градуальность), личное местоимение (число, падеж, лицо), личные формы глагола (число, лицо, время, наклонение, залог), причастные формы (род, число, падеж, зависящие от соответствующих категорий имени, краткость/полнота, время, залог), полупричастные и деепричастные формы (род, число, время, залог), инфинитив (залог).

Морфологическое содержание Б. я. реализуется с помощью различий во флексиях, в типе основ и в звуковом виде корня (аблаутные отношения).

В имени с у щ е с т в и т е л ь н о м различаются пять основ, условно обозначаемых: -o-, -a- (в твердом и мягком вариантах, ср. основы на -*ē*), -i-, -u-, -C- (согласный), и не более трех десятков (в латышском меньше) флексий, присоединяющихся к основе. Нередко одна и та же флексия выражает данное сочетание граммем от разных основ; так, именительный падеж единственного числа всех родов в литовском и латышском может быть образован с помощью двух флексий: -s и -*Ø*; родительный падеж множественного числа — с помощью одной флексии -*ų*/-u; местный падеж единственного числа всех родов — с помощью -e- и его алломорфов в литовском и с помощью алломорфа, выражаемого просодическим элементом долготы, — в латышском и т. д. Большее число флексий в склонении имени в литовском объясняет меньшее количество омонимичных флексий в этом языке, отражающих нейтрализацию граммем имени. Ср. литовский им. п. ед. ч. — твор. п. ед. ч. — зват. форма (káina ʽцена’); им. п. ед. ч. — вин. п. мн. ч. (dalìs ʽчасть’, vagìs ʽвор’, *sūnùs* ʽсын’); род. п. ед. ч. — им. п. мн. ч. (káinos ʽцена’, *žẽmė*s ʽземля’); твор. п. ед. ч. — род. п. мн. ч. (výru — *výrų* ʽмужчина’); вин. п. ед. ч. — род. п. мн. ч. (s*ū́nų* — *sūnų̃* ʽсын’; здесь, как и в предыдущем примере, различие достигается с помощью просодических элементов) и т. д. вплоть до квазиомографов — в сравнении с латышским: им. п. ед. ч. — род. п. ед. ч. — зват. форма (sirds ʽсердце’, debess ʽнебо’, *ūdens* ʽвода’); им. п. ед. ч. — род. п. ед. ч. — вин. п. мн. ч. (tirgus ʽрынок’); род. п. ед. ч. — им. п. мн. ч. — вин. п. мн. ч. (sievas ʽжена’); вин. п. ед. ч. — зват. форма (*brā*li ʽбрат’), вин. п. ед. ч. — зват. форма — род. п. мн. ч. (tirgu), вин. п. ед. ч. — род. п. мн. ч. (tę̄vu ʽотец’), им. п. мн. ч. — вин. п. мн. ч. (sirdis, debesis). В латышском языке наблюдается постоянная омонимия флексий инструментального и дательного падежей во множественном числе (в единственном числе инструментальный падеж обычно снабжен предлогом). В Б. я. известно некоторое число непарадигматических локативных форм (особенно в литовском).

Склонение п р и л а г а т е л ь н ы х устроено проще. У кратких прилагательных различается меньшее число основ на -o-, -a-, -e- (в латышском языке, в отличие от латгальского, нет прилагательных с этой основой), в литовском еще на -i-/-io-, -u-, которые сочетаются почти с одним и тем же набором окончаний в пределах данного рода: литов. род. п. ед. ч. м. р. *gẽr*-o ʽхорошего’, *dìdž*-iojo ʽбольшого, великого’, paskutìn-io ʽпоследнего’, но sunk-*aũ*s ʽтяжелого’. Этот набор совпадает в главных чертах с тем, который характеризует имя существительное, и включает еще несколько местоименных флексий. У полных прилагательных различаются практически две основы — мужского и женского рода, снабженные двумя (отчасти перекрещивающимися во множественном числе) сериями флексий; при этом каждая из

флексий состоит из флексий краткого прилагательного и образующей особую парадигму местоименной флексии.

Личные местоимения также характеризуются особым набором флексий и супплетивизмом основ (основа единственного числа — основа множественного числа, основа именительного падежа — основа косвенных падежей).

Глагол в Б. я. образует довольно простую систему. Это, в частности, связано с нейтрализацией противопоставления по числам в формах 3-го лица (в некоторых говорах, например в тамском говоре латышского языка, нейтрализуются и различия по лицам) и особенно с возможностью описания всех личных форм глагола в изъявительном наклонении с помощью одного набора флексий, выступающих в чистом виде (1 л. ед. ч. -u, мн. ч. -m/-me, 2 л. ед. ч. -i, мн. ч. -t/-te, 3 л. -∅) или осложненных возвратным элементом -s. При этом различаются две основы — непрошедшего времени (часто в двух вариантах: наст. вр. — литов. dirb- ‘работать’, латыш. velk- ‘тянуть’, ‘волочить’, ‘влечь’; буд. вр. — литов. dirb-s-, латыш. vilk-s-) и прошедшего времени (литов. dirbo-, латыш. vilka-); ср. иную трактовку противопоставления глагольных основ в статье «Литовский язык» в настоящем издании. Набор флексий для форм других наклонений обычно дефектен, ср. флексии повелительного наклонения — 2 л. ед. ч., 1 л. мн. ч., 2 л. мн. ч., причем флексии двух последних форм совпадают с флексиями изъявительного наклонения, хотя предшествующие им форманты (литов. -k- и латыш. -ie-) различны. В ряде форм косвенных наклонений существенна не флексия, а сочетание грамматического «префикса» с основой (для форм, не знающих противопоставления по лицам), ср.: литов. te-dirbie ‘пусть работает’ (желательное наклонение) и латыш. *jā*-vęlk ‘надо тянуть’ (долженствовательное наклонение; существует также мнение, согласно которому дебитив не является наклонением и представляет собой особую категорию). Особым набором флексий характеризуются причастные, полупричастные и деепричастные формы, а также инфинитив и супин. Для первых двух классов этот набор совпадает с флексиями прилагательных. Разное сочетание личных форм с причастными образует сложные формы времен и наклонений, грамматическое значение которых определяется смыслом их составных частей.

Синтаксические связи между элементами предложения выражаются в Б. я. тремя способами: формами словоизменения, несамостоятельными словами, примыканием. Элементарную схему предложения образует соединение группы имени в именительном падеже с группой глагола. Группа имени может либо отсутствовать вовсе, либо развертываться в существительное, прилагательное или местоимение в именительном падеже. Группа глагола также может отсутствовать (именные предложения)

или же развертываться в смысловой глагол в личной форме или в группу глагола-связки; смысловой глагол в личной форме может развертываться в смысловой глагол в личной форме и имя не в именительном падеже, а группа глагола-связки — в личный глагол-связку и либо в имя, либо в неличную форму глагола. Группа имени может развертываться в: 1) прилагательное и существительное; 2) имя и имя; 3) предлог и имя (местоимение); 4) личное местоимение. Группа прилагательного может развертываться в наречие и прилагательное. Группа глагола — в глагол и наречие, а сам глагол — в личную и неличную формы. Некоторые из указанных элементов предложения могут замещаться самостоятельными или полусамостоятельными оборотами, трактуемыми в таких случаях как один член. Эти правила могут применяться неоднократно, и предложение может неограниченно увеличивать свою длину. Однако на практике существуют количественные ограничения. Особенности синтагматической реализации этих правил связаны прежде всего с порядком слов в предложении, о чем в данной статье могут быть высказаны достаточно общие соображения, относящиеся к статистически частым типам явлений. Так, группа глагола обычно следует за группой имени в именительном падеже; в группе смыслового глагола в личной форме группа имени не именительного падежа чаще или даже обычно следует за смысловым глаголом в личной форме; в группе имени все падежные формы следуют за именем в родительном падеже, если эти остальные формы связаны с родительным падежом (последнее правило обладает высокой степенью вероятности и существенно в связи с тем, что родительный падеж в Б. я. способен выражать самые различные синтаксические отношения; отсюда — исключительная роль этого падежа в синтаксических трансформациях). Предложение описанной структуры может циклически повторяться, образуя сложносочиненное (союзное или бессоюзное) или сложноподчиненное (с помощью союзов и других вспомогательных средств) предложения. Отрицательная трансформация предложения обычно не вызывает существенных изменений его структуры (ср., однако, употребление родительного падежа при отрицании и двойное отрицание). Вопросительная трансформация, напротив, чаще всего приводит к инверсии слов или к введению особых вопросительных частиц.

С л о в а р ь Б. я. отличается значительной общностью по своему составу и по степени единообразия в передаче одних и тех же элементов содержания общими формальными комплексами. Высокая степень монолитности балтийского словаря коренится в принадлежности Б. я. к одной и той же группе индоевропейских диалектов архаичного типа и сходными условиями исторического развития и современной жизни. Подавляющее большинство семантических сфер в литовском и латышском языках обеспечивается исконной лек-

сикой индоевропейского происхождения. Особенно полное соответствие наблюдается в составе словообразовательных элементов, служебных слов (союзы, частицы, предлоги, некоторые разряды наречий) и т. п. В этой сфере сходство является правилом, а различия — исключениями (хотя и нередкими). Однако даже в устойчивых и традиционных сферах нередко обнаруживаются существенные лексические различия (ср. в именах родства: литов. *sūnùs* ʽсын’, латыш. dę̂ls; литов. *duktẽ* ʽдочь’, латыш. meĩta; литов. sesuõ ʽсестра’, латыш. mãsa; литов. *žmonà* ʽжена’, латыш. *siẽva*; также в ряде других сфер: литов. dúona ʽхлеб’, латыш. màize; литов. júodas ʽчерный’, латыш. mę̃lns; литов. nósis ʽнос’, латыш. dęgùns; литов. dantìs ʽзуб’, латыш. zùobs и т. п.). В известной степени сходство в словарном составе Б. я. увеличивается за счет многочисленных общих славянских заимствований, а иногда и за счет германизмов. Однако по количеству и характеру последних Б. я. довольно заметно отличаются друг от друга. В еще большей степени это относится к финноязычным заимствованиям, многочисленным в латышском языке и несравненно более редким в литовском. В начале XX в. оба языка пополнились значительным количеством слов (и целых фразеологизмов), заимствованных из западных языков или же построенных по образцу соответствующих слов и выражений этих языков. Особое место занимают лексические заимствования из русского языка, а в последнее время — и из английского (имеет место также калькирование). Наряду с внешними источниками словарь пополняется также за счет внутренних ресурсов, и целый ряд новых семантических сфер в большой степени обслуживаются собственными средствами (например политика, спорт, современная культура, наука, техника, бизнес и т. п.). Высокая способность к использованию исконных лексических элементов применительно к новым семантическим заданиям, как и удивительная сохранность старой индоевропейской лексики, составляют важную особенность словаря Б. я.

Примечания

[1] В данной статье и в статье «Прусский язык» латышские примеры даются в модифицированной употребляемой в балтистике и индоевропеистике, — с обозначением слоговых интонаций и с обозначением дифтонга /uo/ диграфом uo, а также широких записи, традиционно *ę, ę̄*. Такая запись используется лишь в тех случаях, когда латышские примеры приводятся для сопоставления языкового материала. В прочих случаях используется обычная графика современного литературного латышского языка. (*Прим. ред.*)

[2] Фрагмент про наречие курсениеков написан при помощи Дали Киселюнайте (Клайпедский университет, Литва).

Литература

Основные периодические издания по балтистике

Закончившиеся:

Archivum Philologicum. Kaunas, 1930—1939.
Balticoslavica. Vilnius, 1933—1938.
Filologu biedrības raksti. Rīgā, 1921—1940.
Studi baltici. Roma, 1931—1969.
Tauta ir žodis. Kaunas, 1923—1931.

Продолжающиеся:

Балто-славянские исследования. М., 1972— (первые три выпуска носят название «Балто-славянский сборник 1972», «Балто-славянские исследования 1974», «Балто-славянские этноязыковые контакты 1980», с 1981 г. учреждена серия «Балто-славянские исследования»).
Acta Baltico-Slavica. Białystok, 1964—1970; Warszawa, 1971—.
Baltistica. Vilnius, 1965—.
Baltu filoloģija. Rīgā, 1991—.
Gimtoji kalba. Kaunas, 1933—1941; Chicago, 1958—1968; Vilnius, 1990—.
Journal of Baltic Studies. USA, 1970—.
Kalbos kultūra. Vilnius, 1961—.
Kalbotyra. Vilnius, 1958—.
Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius (с 1957 г., с 41-го тома название изменено на Acta Linguistica Lithuanica).
Linguistica Baltica. Warszawa, 1992—1993; Kraków, 1994—.
Linguistica Lettica. Rīga, 1997—.
Lituanistica. Vilnius, 1990—.
Lituanistikos darbai. Chicago, 1966—.
Ponto-Baltica. Firenze; Milano, 1981—.
Res Balticae. Pisa, 1995—.
Schriften des Instituts für Baltistik. Greifswald, 2000—.

Аникин А. Е. Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии: Материалы для балто-славянского словаря. Новосибирск, 1998, вып. 1 (*a- — *go-).
Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря / Пер. с англ. М., 2004 [Gimbutas M. The Balts. London, 1963].
Дини П. У. Балтийские языки / Пер. с итал. М., 2002.
Иванов В. В., Топоров В. Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков // IV Международный съезд славистов: Доклады. М., 1958.
Лаучюте Ю. Балто-славянские лингвистические контакты в ареальном освещении // Взаимодействие лингвистических ареалов: Теория, методика, источники исследования. Л., 1980.

Лаучюте Ю. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.
Непокупный А. П. Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений. Киев, 1964.
Непокупный А. П. Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
Непокупный А. П. Общая лексика германских и балто-славянских языков. Киев, 1989.
Орел В. Э. Из албано-балтийских соответствий в области глагола // Baltistica, 1985, $XXI_{(2)}$.
Орел В. Э. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера // Балто-славянские исследования 1988—1996. М., 1997.
Откупщиков Ю. В. Балтийские и славянские языки // Ю. В. Откупщиков. Opera philologica minora. СПб., 2001.
Откупщиков Ю. В. Славянские, балто-славянские и балтийские этимологии // Ю. В. Откупщиков. Очерки по этимологии. СПб., 2001.
Откупщиков Ю. В. Древняя гидронимия в бассейне Оки // Балто-славянские исследования XVI. М., 2004.
Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков / А. П. Непокупный, Н. Н. Быковец, В. А. Пономаренко и др. Киев, 2005.
Седов В. В. Днепровские балты // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1985.
Седов В. В. Балты // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987.
Топоров В. Н. Очерк истории изучения древнейших балто-славянских языковых отношений // Уч. зап. Ин-та славяноведения. М., 1959, т. 17.
Топоров В. Н. Из истории изучения древнейших балто-славянских языковых отношений // Уч. зап. Ин-та славяноведения. М., 1962, т. 18.
Топоров В. Н. Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений // Вопросы славянского языкознания, вып. 3, 1958.
Топоров В. Н. О некоторых архаизмах в системе балтийского глагола // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1962, № 5.
Топоров В. Н. Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
Топоров В. Н. Балтийские языки: Введение // Языки народов СССР. М., 1966, т. 1 (Индоевропейские языки).
Топоров В. Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. I // Балканские чтения. М., 1973.
Топоров В. Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. II // Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
Топоров В. Н. Категория времени и пространства и балтийское языкознание // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981.
Топоров В. Н. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982.
Топоров В. Н. Еще раз о древних западнобалканско-балтийских языковых связях в ареальном аспекте // Славянское и балканское языкознание. М., 1984.
Топоров В. Н. Balto-Albanica // Acta Baltico-Slavica, 1987, t. 17.
Топоров В. Н. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.

Топоров В. Н. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II // Балто-славянские исследования 1987. М., 1989.

Топоров В. Н. Еще раз о названии Волга // Studia Slavica: Языкознание. Литературоведение. История. История науки / К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991.

Топоров В. Н. Еще раз о балтизмах в чешских землях // Slavia, 1993, t. 62.

Топоров В. Н. О северо-западном локусе балтийской гидронимии (Из цикла «По окраинам древней Балтии») // Res Balticae, 1995.

Топоров В. Н. Балтийские следы на Верхнем Дону // Балто-славянские исследования 1988—1996. М., 1997.

Топоров В. Н. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. III // Балто-славянские исследования 1988—1996. М., 1997.

Топоров В. Н. О балтийском слое русской истории // Florilegium. К 60-летию Б. Н. Флори. М., 2000.

Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

Трубачев О. Н. Названия рек правобережной Украины. М., 1968.

Эндзелин И. М. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīga, 1974, II sēj.].

Antoniewicz J. Tribal territories of the Baltic peoples in the Hallstatt-La Tène and Roman periods in the light of archaeology and toponymy // Acta Baltico-Slavica, 1966, 4.

Arntz K. Sprachliche Beziehungen zwischen Arisch und Balto-Slavisch. Heidelberg, 1933.

Baltic Linguistics / Ed. by Th. F. Magner and W. R. Schmalstieg. University Park; London, 197.

Balto-Słowiańskie związki językowe. Wrocław, 1990.

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius, 1996—2003, I—III.

Bednarczuk L. Onomastyka bałtycka w źródlach antycznych // Acta Baltico-Slavica, 1982, t. 14.

Blese E. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. Rīgā, 1929, I.

Būga K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1958, t. I; 1959, t. II; 1962, t. III.

Dini P. U. Le lingue baltiche fra il II e III millennio // La formazione dell'Europa linguistica. Firenze, 1993.

Dini P. U. Le lingue baltiche. Firenze, 1997 [литов. пер.: Pietro Umberto Dini. Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius, 2000; латыш. пер.: Pietro Umberto Dini. Baltu valodas. Rīga, 2000].

Dundulis B. Normanai ir baltų kraštai (IX—XI). Vilnius, 1982.

Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. Erster Teil: die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia,1969.

Duridanov I. Die Beziehungen des Baltischen zu den alten Balkansprachen // Indo-Germanisch-Slavisch und Baltisch / Hrsg. B. Barschel, M. Kozianka, K. Weber. München, 199.

Eckert R. Baltische Studien. Berlin, 1971.

Eckert R. Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie der Slavischen und Baltischen. Berlin, 1981.

Eckert R., *Bukevičiutė* E. J., Hinze F. Die baltischen Sprachen. Eine Einführung. Leipzig; Berlin; München, 1994.
Endzelīns J. Latvijas vietu vārdi. 2 sējumi. Rīgā, 1922—1925 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīga, 1981, IV sēj., 1. daļa].
Endzelīns J. Die lettländischen Gewüssernamen / Zeitschrift für slavische Philologie, 1934, Bd. 2 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīga, 1980, III sēj., 2. daļa].
Endzelīns J. Ievads baltu filoloģijā. Rīgā, 1945 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīga, 1982, IV sēj., 2. daļa].
Endzelīns J. Baltu valodu skaņas un formas. Rīgā, 1948 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīga, 1982. IV sēj., 2. daļa; англ. пер.: J. Endzelīns. Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages. The Hague; Paris, 1971].
Endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi. Rīgā, 1956, $I_{(1)}$ (A—J); 1961, $I_{(2)}$ (K—O) [издание не окончено].
Endzelīns J. Darbu izlase. Rīgā, 1971, I; 1974, II; 1979, $III_{(1)}$; 1980, $III_{(2)}$; 1981, $IV_{(1)}$; 1982, $IV_{(2)}$.
Erhart A. Baltské jazyky. Praha, 1984.
Falk K. O. Wody węgierskie i huciańskie. Studium toponomastyczne. Uppsala; Lund, 1941, t. 1—2.
Fraenkel E. Die baltischen Sprachen. Ihre Beziehungen zu einander und zu den indogermanischen Schwesteridiomen als Einführung in die baltische Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1950.
Fraenkel E. Zum baltischen und slavischen Verbum // Zeitschrift für slavische Philologie, 1950, Bd. 20.
Gerullis G. De Prussicis Sambiensium locorum nominibus. Tilsit, 1912.
Gerullis G. Die altpreußischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
Górnowicz H. Nazwy wodne dorzecza dolnej Wisły. Hydronymia Europaea. I. Wiesbaden, 1985.
Kabelka J. Baltų filologijos įvadas. Vilnius, 1982.
Karaliūnas S. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai // Lietuvių kalbotyros klausimai, 1968, t. 10.
Karaliūnas S. Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė. Vilnius, 1987.
Kilian L. Haffküstenkultur und Ursprung der Balten. Bonn, 1955.
Kilian L. Zur Herkunft und Sprache der Preußen. Bonn, 1980.
Krahe H. Baltischen Ortsnamen westlich der Weichsel // Alt-Preussen, 1943, Bd. 8, № 3. (Königsberg).
Labuda G. Die Prussen in der tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters // Otázky dějin střední a vychodní Evropy. Brno, 1971.
Labuda G. Zagadnenie osadnictwa ludności bałtyckiej na lewym brzegu dolnej Wisły we wczesnym średniowieczu // Konferencja Pomorska. Prace Slawistyczne, 12. Wrocław, 1979.
Leumann M. Baltisch und Slavisch // Corolla linguistica. Festschrift F. Sommer. Wiesbaden, 1955.
Mannhardt W. Lettopreussische Götterlehre. Rīga, 1936.
Mažiulis V. Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai: Deklinacija. Vilnius, 1970.
Plāķis J. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi. I daļa: Kurzemes vārdi. Rīgā, 1936; II daļa: Zemgales vārdi. Rīga, 1939.

Poljakow O. Das Problem der balto-slavischen Sprachgemeinschaft. Frankfurt an Main, 1995.
Pospiszylowa A. Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe. Olsztyn; Pojezierze, 1987.
Powierski J. Kształtowanie się granicy pomorsko-pruskiej w okresie od XII do początku XIV w. // Zapiski historyczne, 1965, t. $XXX_{(2,\ 3)}$.
Rădulescu M. Daco-Romanian-Baltic Common Lexical Elements // Ponto-Baltica, 1981, vol. 1.
Rudzīte M. Ievads baltu valodniecībā. Rīgā, 1993.
Sabaliauskas A. Baltų ir Pabaltijo suomių kalbų santykiai // Lietuvių kalbotyros klausimiai, 1963, t. 6.
Safarewicz J. Języki bałtyckie // Safarewicz J. Studia językoznawcze. Warszawa, 1967.
Savukynas B. Ežerų vardai // Lietuvių kalbotyros klausimai, 1960, t. 3; 1961, t. 4; 1962, t. 5; 1966, t. 8.
Schall H. Die baltisch-slavische Sprachgemeinschaft zwischen Elbe und Weichsel // Atti e memorie del VII Congresso internazionale de scienze onomastiche. Firenze, 1963.
Schall H. Baltische Dialekte im Namengut Nordwestslawiens // Zeitschrift für vergleichende Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, 1964—1965, Bd. 79.
Schmalstieg W. R. Le lingue baltiche // Le lingue indoeuropee. Bologna, 1993.
Schmid W. P. Studien zum baltischen und indogermanischen Verbum. Wiesbaden, 1963.
Schmid W. P. Baltische Gewässernamen und das vorgeschichtliche Europa // Indogermanische Forschungen, 1972, Bd. 77.
Schmid W. P. Galinder // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Berlin; N.Y., 1998, Bd. 10.
Smoczyński W. Indoeuropejskie podstawy słownictwa bałtyckiego // Acta Balto-Slavica, 1982, t. 14.
Smoczyński W. Języki bałtyckie // Języki indoeuropejskie. Warszawa, 1988, t. II.
*Smoczyń*ski W. Hiat laryngalny w językach bałto-słowiańskich. Kraków, 2002.
Smoczyński W. Studia bałto-słowiańskie. Wrocław, 1989, cz. I; Kraków, 2003, cz. II.
Stang Chr. S. Das slavische und baltische Verbum. Oslo; Bergen; Tromsö, 1942.
Stang Chr. S. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsö, 1966.
Stang Chr. S. Opuscula linguistica: Ausgewählte Aufsätze und Abhandlungen. Oslo; Bergen; Tromsö, 1970.
Stang Chr. S. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo; Bergen; Tromsö, 1972.
Stang Chr. S. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Ergänzungsband. Register, Addenda und Corrigenda. Oslo, 1975.
Szemerényi O. L'unité linguistique balto-slave // Études Slaves et Roumaine. Budapest, 1948.
Szemerényi O. The Problem of Balto-Slav Unity: A Critical Survey // Kratylos, 1957, № 2.
Trautmann R. Die altpreußischen Personennamen. Göttingen, 1925.
Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba. Vilnius, 1970.
Vanagas A. Baltų arealas toponimijos duomenimis // Lietuvių etnogenezė. Vilnius, 1987.
Vanagas A. Lietuvos miestų vardai. Vilnius, 1996.

Zeps V. Latvian and Finnic Linguistic Convergences // Uralic and Altaic series. 9. Bloomington; The Hague, 1962.
Zeps V. The Placenames of Latgola: A Dictionary of East Latvian Toponyms. Madison, 1984.
Zeps V. Is Slavic a West Baltic Language // General Linguistics, 1984, vol. 24.
Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika: Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. Vilnius, 1977.
Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. Vilnius, 1984, t. I (Lietuvių kalbos kilmė); 1987, t. II (Iki pirmųjų raštų); 1988, t. III (Senųjų raštų kalba); 1990, t. IV (Lietuvių kalba XVIII–XIX a.); 1992, t. V (Bendrinės kalbos iškilimas); 1994, t. VI (Lietuvių kalba naujaisiais laikais); 1995 (Rodyklės ir bibliografija).

Словари
Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. Rīgā, 1986, sēj. 1 (A—I); sēj. 2 (J—M); sēj. 3 (N—R); sēj. 4 (S—Ž).
Lietuvių pavardžių žodynas / Ats. red. A. Vanagas. Vilnius, 1985, daļa I; 1989, daļa II.
Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas / Sud. B. Savukynas, A. Vanagas, V. Vitkauskas. Vilnius, 1963.
Savukynas B., Vanagas A., Vitkauskas V. Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963.
Trautmann R. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.
Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.

Галинды и галиндский язык:
Вилинбахов В. Б., *Энговатов Н. В.* Предварительные замечания о западной Галиндии и восточной голяди // Slavia Occidentalis, 1963, t. 23 (Poznań).
Седов В. В. Гидронимия голяди // Пітання гідроніміки. Київ, 1971.
Топоров В. Н. О балтийском элементе в Подмосковье // Baltistica, 1972, I priedas.
Топоров В. Н. Из истории балто-славянских языковых связей: *анчутка* // Baltistika, 1973, IX $_{(1)}$ priedas.
Топоров В. Н. Балт. *Galind- в этнолингвистической и ареальной перспективе // Проблемы этнической истории балтов. Рига, 1977.
Топоров В. Н. Балтийский элемент к северу от Карпат: этнонимическая основа *Galind- как знак балтийской периферии // Slavia Occidentalis, 1980, t. 29 (Poznań).
Топоров В. Н. *Γαλίνδαι* — Galindite — голядь (балт. *Galind) // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтийских народов. Рига, 1980.
Топоров В. Н. Голядский фон ранней Москвы. О балтийском элементе в Подмосковье // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1981.
Топоров В. Н. Балтский горизонт древней Москвы // Acta Baltico-Slavica, 1982, t. 14.
Топоров В. Н. Галинды в западной Европе // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983.
Łowmiański H. Zagadnienie słowiańskich i bałtyjskich nazw plemennych w Sarmacji europiejskiej Ptolemeusza // Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1.

Mažiulis V. Prūsų kalbos paminklai. Vilnius, 1981, t. II.
Nalepa J. Próba nowej etymologii nazwy Galindia czyli Golędź // Acta Baltico-Slavica, 1976, t. 9.
Savukynas B. Dėl M. Rudnickio Galindos, Priegliaus ir Sūduvos etimologinių aiškinimų // Lietuvių kalbotyros klausimai, 1963, № 6.
Schmid W. P. Galinder // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Berlin; New York, 1998, Bd. 10.

Ятвяги и ятвяжский язык:
Зинкявичюс З. Польско-ятвяжский словарик? // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984.
Непокупний А. П. З мовної спадщини ятвягів // Мовознавство, 1971, № 6.
Непокупный А. П. К исследованию ареала ятвяжских реликтов // Проблемы этнической истории балтов. Рига, 1977.
Непокупный А. П. К поискам языковых следов ятвягов к востоку от Немана // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980.
Непокупный А. П. Sudawskie, Sudowlany и еще одно старобелорусское название ятвягов // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981.
Орел В. Э., Хелимский Е. А. Наблюдения над балтийским языком польско-«ятвяжского» словарика // Балто-славянские исследования 1985. М., 1987.
Отрембский Я. С. Язык ятвягов // Вопросы славянского языкознания, 1961, т. 5.
Отрембский Я. С. Dainavà — название одного из ятвяжских племен // Вопросы славянского языкознания, 1963, т. 7.
Судник Т. М. Замечания к «польско-ятвяжскому словарику» // Балто-славянские исследования 1985. М., 1987.
Топоров В. Н. Две заметки из области балтийской топонимии. 1. О южной границе ятвягов // Rakstu krājums veltījums akadēmiķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei. Rīgā, 1959.
Топоров В. Н. О балтийском элементе в гидронимии Верхнего Нарева // Studia linguistica slavica baltica Canuto-Olafa Falk. Lundae, 1968.
Хелимский Е. А. Fenno-Ugrica в ятвяжском словарике? // Tarptautinė Baltistų Konferencija. Vilnius, 1985.
Antoniewicz J. Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorz. Czarnej Hańczy // Wiadomośći Archeologiczne, 1958, t. 25.
Antoniewicz J. Neue Forschungen über Sudauenproblem in Polen // Archaeologia Polona, 1961, t. 4.
Antoniewicz J. The Sudovians. Białystok, 1962.
Būga K. Jotvingų žemės upių vardų galūnė -da // Tauta ir Zodis. I. Kaunas, 1923 [то же: *Būga* K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1961, t. III].
Būga K. Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai. Kaunas, 1924 [то же: *Būga* K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1961, t. III].
Būga K. Die Vorgeschichte der aistischen (baltischen) Stämme im Lichte der Ortsnamenforschung // Streitberg Festgabe. Leipzig, 1924.

Česnys G. Jotvingių antropologija // Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981.
Dini P. U. Stato della ricerca sulla lingua degli Jatvingi // Europa Orientalis, 1985, vol. 4.
Engel C. Das jungste heidnische Zeitalter in Masuren // Prussia, 1939, Bd. 33, № 1—2.
Engel C., La Baume W. Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande. Königsberg, 1937.
Gerullis G. Zur Sprache der Sudauer-Jatwinger // Festschrift A. Bezzenberger zum 14 April 1921. Göttingen, 1921.
Grinaveckis V. Die südhochlitauische Mundart und die Sprache der Jatvinger // Indogermanische Forschungen, 1991, Bd. 96.
Hasiuk M. Die Erforschung der Sprache der Jatvinger // Tarptautinė Baltistų Konferencija. Vilnius, 1985.
Hasiuk M. Jotvingų kalbos rekonstruscijos klausimai // Baltistica, 1989, $III_{(1)}$ priedas.
Hasiuk M. Depalatalizacja spółgłosek w języku jaćwieskim // Bałto-słowiańskie związki językowe. Wrocław, 1990.
Kamiński A. Jaćwież, terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i spoleczne. Łódź, 1953.
Kamiński A. Materjały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży // Materiały starożytne, 1956, t. 1.
Kamiński A. Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny // Wiadomości Archeologiczne, 1956, t. 23, zesz. 2.
Kamiński A. Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego // Rocznik Białostocki, 1961, t. 1.
Kondratiuk M. Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny. Wrocław, 1974.
Kondratiuk M. Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego // Prace Slawistyczne. Wrocław, 1985, t. 41.
Kuraszkiewicz W. Domniemany ślad Jaćwingów na Podlasiu // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 1955, t. 1 (Warszawa) [то же: Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej. Warszawa, 1985].
Kuzavinis K. Gar̃bus — jotvingiškas žodis // Baltistica, 1968, $IV_{(1)}$.
Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. Rīgā, 1986, sēj. I—IV.
Łowmiański H. Studia nad początkami spoleczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931—1932, t. 1—2.
Łowmiański H. Pogranicze słowiańsko-jaćwieskie // Acta Baltico-Slavica, 1966, t. 3.
Mažiulis V. Jotvingiai // Mokslas ir gyvenimas, 1966, № 11.
Mäntylä K. Der Kurenname // Orbis, 1974, Bd. 23, № 1.
Nalepa J. Jaćwingowie. Nazwa i lokalizacja. Białystok, 1964.
Ochmański J. Nazwa Jaćwingów // Europa — Slowiańszczyzna — Polska / Studia ku uczczeniu Prof. K. Tymienieckiego. Poznań, 1970.
Ochmański J. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemennej do XVI wieku. Poznań, 1981.
Ochmański J. Historia Litwy. Wrocław, 1982.
Ochmański J. Nieznany autor «Opisu krajów» z drugiej połowy XIII wieku i jego wiadomości o Bałtach // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. Poznań, 1985, t. 1.

Orël V. Marginalia to the Polish-«Jatvingian» Glossary // Indogermanische Forschungen, 1986, Bd. 91.
Otrębski J. Das Jatwingerproblem // Die Sprache, 1963, Bd. IX.
Otrębski J. Udział Jaćwingów w ukształtowaniu języka polskiego // Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1.
Powierski J. Sudawowie // Słownik Starożytności Słowiańskich. Wrocław, 1975.
Schmid W. P. Die «Germanismen» im sog. Polnisch-Jatwingischen Glossar // Indogermanische Forschungen, 1986, Bd. 91.
Sjögren A. Über die Wohnsitze und Verhältnisse der Jatwägen. SPb., 1858.
Tautavičius A. Lietuvių ir jotvingių genčių gyventų plotų ribų klausimu // Lietuvos Mokslo Akademijos Darbai. A serija, 1966, t. 2.
Vanagas A. Kalbos reliktai. Jotvingiai // Mokslas ir gyvenimas, 1974, № 2 (Vilnius).
Vanagas A. К вопросу о ятвяжских языковых реликтах в Литве // Acta Baltico-Slavica, 1976, t. 9.
Wiśniewski J. W sparwie badań nad pograniczem Jaćwieży // Przegląd historyczny, 1957, t. 48, zesz. 2.
Wiśniewski J. Domniemany ślady osad jaćwieskich w puszczach pojaćwieskich // Rocznik Białostocki, 1961, t. 1.
Wiśniewski J. Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku // Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej. Białystok, 1963.
Wiśniewski J. Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne // Acta Baltico-Slavica, 1977, t. 11.
Witczak K. T. Traces of dual forms in Old Prussian and Jatvingian // Colloquium Pruthenicum Primum: Papers from the 1st International Conference on Old Prussian held in Warsaw, September 30th — October 1st, 1991. Warszawa, 1992.
Włodarski B. Problem jaćwieski w stosunkach polsko-ruskich // Zapiski Towarzystwa Naukowego. Toruń, 1958—1959, t. 24.
Zajączkowski S. Kaip jotvingiai buvo vadinami viduriniais amžiais // Lietuvos Praeitis, 1940, t. I, d. 1 (Kaunas).
*Zajączkow*ski S. Jotvingų problema istoriografijoje // Lietuvos Praeitis, 1941, t. I, d. 2 (Kaunas).
Zajączkowski S. O nazwach ludu Jadźwingów // Zapiski Towarzystwa Naukowego. Toruń, 1952, t. 18.
Zajączkowski S. Problem Jaćwieży w historiografii // Zapiski Towarzystwa Naukowego. Toruń, 1953, t. XIX, zesz. I.
Zinkevičius Z. Dėl baltų substrato Balstogės vaivadijoje (Lenkijoje) // Baltistica, 1975, $XI_{(2)}$.
Zinkevičius Z. Jotvingių kalbos žodynėlis // Mokslas ir gyvenimas, 1984, № 5.
Zinkevičius Z. Lenkų-jotvingų žodynėlis? // Baltistica, 1985, $XXI_{(1)}$.

Курши и куршский язык. Курсениеки:

Becker J. Kurische Sprache in Perwelk // Bezzenberger Beiträge, zur Kunde der indogermanischen Sprachen, 1904, Bd. 28.
Bezzenberger A. Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner. Stuttgart; Engelhorn, 1889.

Blese E. Die Kuren und ihre sprachliche Stellung im Kreise der baltischen Volksstämme // Congressus secundus archeologorum balticorum Rigae, 19—23.VIII.1930. Rīgā, 1930.
Būga K. Kalba ir senovė. Kaunas, 1922 (93. Vókia, miksai ir Kuršas) [то же: *Būga* K. Rinktiniai Raštai. Vilnius, 1959, t. II].
Bušs O. Literārās valodas kursismi un kvazikursismi // Valodas aktualitātes 1987. Rīgā, 1988.
Bušs O. Daži eventuāli kursismi toponīmijā // Valodas aktualitātes 1988. Rīgā, 1989.
Bušs O. Kuršu valodas izpētes uzdevumi un perspektīvas // Baltistica, 1989, $III_{(1)}$ priedas.
Bušs O. Par etnonīmu *kurši* un *zemgaļi* cilmi // Onomastica Lettica. Rīgā, 1990.
Endzelīns J. Par seno kursu (jeb kuršu) tautību un valodu // Druva. Rīgā, 1912, № 5 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. II sēj. Rīga, 1974].
Endzelīns J. Über die Nationalität und Sprache der Kuren // Finnisch-Ugrische Forschungen, 1912, Bd. 12 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. II sēj. Rīga, 1974].
Endzelīns J. Zu den kurischen Bestandteilen des Lettischen // Indogermanische Forschungen, 1913, Bd. 33 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. II sēj. Rīga, 1974].
Endzelīns J. Kuršu pēdas rietumu Vidzemē // Filologu biedrības raksti, 1923, III [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīgā, 1979, III sēj., 1 daļa].
Endzel*īns* J. Par kurseniekiem un viņu valodu // Burtnieks, 1931, 12 [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīgā, 1979, III sēj., 1. daļa].
Endzelīns J. Die Kurenfrage von V. Kiparsky // Filologu biedrības raksti, 1940, XX [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīgā, 1980, III sēj., 2. daļa].
Girdenis A. Kuršių substrato problema šiaurės žemaičių teritorijoje (Fonologijos dalykai) // Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981.
Kazlauskas J. Dėl kuršių vardo etimologijos // Baltistica, 1969, $IV_{(1)}$.
Kiparsky V. Die Kurenfrage. Helsinki, 1939.
Kwauka P., Pietsch R. Kurisches Wörterbuch. Berlin, 1977.
Mäntylä K. Der Kurenname // Orbis, 1974, Bd. 23, № 1.
Mažiulis V. Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais // Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981.
Mickevičius A. Lyginamieji skandinavų vikingų ir kuršių visuomenės bruožai IX—XII a. // Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra. Vilnius, 1992.
Nehrungskurisch II. Sprachhistorische und instrumentalphonetische Studien zu einem aussterbenden Dialekt / Red. W. P. Schmid (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaft und der Literatur in Heidelberg. 4.). Heidelberg, 1995.
Nerman B. Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit. Stockholm, 1929.
Perlbach M., Philippi R., Wagner P. Simon's Grunau's Preussische Chronik. Leipzig, 1875—1889, Bd. 1—2.
Plāķis J. Kursenieku valoda. Rīgā, 1927 [то же: // Latvijas Universitātes Raksti. Filoloģijas un filosofijas fakultātes sērija. XVI sēj.].
Schmid W. P. Zum baltischen Dialekt auf der Kurischen Nehrung // Indogermanische Forschungen, 1983, Bd. 88.
Schmid W. P. Das Nehrungskurische, ein sprachhistorischer Überblick // Nehrungskurisch. Sprachhistorische und instrumentalphonetische Studien zu einem aussterbenden Dialekt (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaft und der Literatur in Heidelberg. Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse. 2.). Heidelberg, 1989.

Schmid W. P. Der Name der Kuren // Prace Językoznawcze, 1992, t. 16 (Kraków).
Spekke A. Vichinghi e Lettoni (secoli IX—XI) // Studi baltici, 1941—1942, vol. 8.
Zinkevičius Z. A few observations on the origin of the Samogitian dialect // Lingua Posnaniensis, 1980, t. 23.

Земгалы и земгальский язык:
Birzniece Z. Zemgalisko izlokšņu teksti. Džūkste. Rīgā, 1983.
Būga K. Kalba ir senovė, Kaunas, 1920—1922 (№ 34) [= *Būga* K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1959, t. II].
Bušs O. Par etnonimu *kurši* un *zemgaļi* cilmi // Onomastica Lettica. Rīgā, 1990.
Butkus A. Žiemgalos vardas skandinavų runomis // Baltistica, 1994, $XXIX_{(1)}$.
Dambe V. Blīdienes vietvārdi kā pagātnes liecinieki // Rakstu krājums veltījums akadēmiķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei. Rīgā, 1959.
Endzel*īns* J. Piezīmes par zemgaļu vārdu un dialektu // Filologu biedrības raksti, 1925, V sēj. [то же: Endzelīns J. Darbu izlase. Rīgā, 1979, III sēj., 1. daļa].
Šliavas J. Ziemgališki etiudai // Kraštotyra. Vilnius, 1971.
Šmits P. Par zemgaliešu un sēļu tautību // Filologu biedrības raksti, 1921, I sēj.

Селы и селонский (селийский) язык:
Брейдак А. Некоторые фонетические явления селонского языкового субстрата в северо-восточной Литве // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1985.
Топоров В. Н. Еще раз о селах в общебалтийском этноязыковом контексте (народ, земля, язык, имя). Из истории и.-евр. *neur-: *nour- и *sel- // Onomastica Lettica. Rīga, 2004, 2. laidiens.

Breidaks A. Latgaļu, sēļu un žemaišu cilšu valodu senie sakari // Latvijas Zinatņu Akademijas Vēstis, A daļa, 1992, № 8.
B*ū*ga K. Kalba ir senovė, Kaunas, 1922 (№ 34) [= B*ū*ga K. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1959, t. II].
Endzelīns J. [rec.:] K. Būga. Lietuvių kalbos žodynas. I sąsiuvinis. Kaunas 1924 // Filologu biedrības raksti, 1924, IV [= *Endzelīns* J. Darbu izlase. Rīga, 1979, III sēj., 1. daļa.]
Endzelīns J. [rec.:] K. Būga. Lietuvių kalbos žodynas. Išleido švietimo ministerija. Kaunas. I sąsiuvinis 1924 m., II sąsiuvinis 1925 m. // Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1925, VII sēj. [= *Endzelīns* J. Darbu izlase. Rīga, 1979, III sēj., 1. daļa.]
Endzelīns J. Piezīmes par „Latvijas vietu vārdiem“ // Filologu biedrības raksti, 1926, VI [= *Endzelīns* J. Darbu izlase. Rīga, 1979, III sēj., 1. daļa.]
Karaliūnas S. Sėlių kalba // Mokslas ir gyvenimas, 1972, № 1.
Laučiūtė J. Senieji baltų etnonimai indoeuropietiškosios onomastikos fone // Baltistica, 1988, $XXIV_{(1)}$.
Mažiulis V. Selonica // Baltistica, 1981, $XVII_{(1)}$.
Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes. Rīgā, 1985, t. I.
Poiša M. Vidzemes sēliskās izloksnes. Rīgā, 1999, t. II.

2006

ЗАМЕТКИ ПО ПРУССКОЙ ЭТИМОЛОГИИ

1. Прусское arrien

Это слово встречается в прусских текстах лишь однажды, а именно в Энхиридионе (55_{34})[1] в следующей фразе: «Beggi stwi bille stai peisālei tu turei stesmu kurwan kas arrien tlāku[2] ni stan āustin perrēist…», представляющей собой отрывок из Первого послания к Тимофею (5.18)[3]. Соответствующее место в немецком тексте Малого Катехизиса передано так: «Denn es spricht die Schrifft Du solt dem Ochsen der da Dreschet nicht das maul verbinden…».

Этимология прусск. arrien не может считаться твердо установленной, несмотря на то, что этим вопросом занимались многие: Нессельманн, Лескин, Бернекер, Брюкнер, Пирсон, М. Шульце, Бецценбергер, Траутманн, Буга, Эндзелин.

Не останавливаясь на соображениях, высказанных в свое время Нессельманном[4] и Бецценбергергом[5], поскольку они основывались на неправильном чтении («arrientlāku» — одно слово), а также на конъектурах Лескина[6] и Брюкнера[7] (kas ari en tlāku), отметим, что Пирсон был первым, кто указал, что arrien является прямым дополнением к tlǡku[8]. С 1896 г., когда Бернекер издал текст Энхиридиона[9], воспользовавшись, между прочим, и Дрезденским экземпляром, в котором четко выделялись два слова (arrien tlāku), это мнение Пирсона стало общепризнанным, и в дальнейшем ученые исходили из того, что arrien является существительным в винительном падеже единственного числа, зависящим от tlǡku.

Именно так думал Бернекер, сравнивая прусск. arrien с лтш. are — ‘пашня’[10] (прусск. ari, ж. р.).

Траутманн видел в прусск. arrien винительный падеж, единственное число, средний род, однако этимологию Бернекера он не принял на том осно-

вании, что молотьба никогда не происходит на пашне, но на гумне, на току. Поэтому, по мнению Траутманна, прусск. arrien было заимствовано из готск. arin (ср. р.) — ʽpavimentum, area’, ср. др.-в.-нем. arin, erin (ср. р.) — ʽpavimentum, altare’, ср. в.-нем. ern — ʽFußboden, Tenne’ [11].

Однако некоторые соображения не позволяют нам признать эту этимологию удовлетворительной. Прежде всего, в готских текстах не засвидетельствовано приводимое Траутманном слово, и о его существовании можно лишь догадываться [12]. Характерно, что ученые, специально изучавшие вопрос о готских заимствованиях в прусском языке, никогда не объясняли прусск. arrien из готского [13]. Это относится даже к Хирту, чрезмерно преувеличивавшему готское влияние на прусский язык [14]. Уже после 1909 г., когда Траутманн выступил со своей этимологией, Бецценбергер [15] и Буга [16] доказали, что прусск. arrien не могло быть готским заимствованием. Эту же точку зрения, видимо, разделяет и Зенн, не поместивший прусск. arrien в списке готских заимствований [17].

Кроме того, Буга (указ. соч., 72) показал, что при готск. вин. п. ед. ч. arrin ожидалось бы прусск. * arrins, * arinan, а не arrien, как в тексте.

Наконец, у Траутманна не было никаких оснований считать, что прусск. arrien является существительным среднего рода.

Несмотря на все это, новых этимологий данного слова больше не появлялось. Эндзелин в своей книге воздерживается от каких-либо объяснений, замечая лишь, что прусск. arrien имеет неизвестное значение [18].

С нашей точки зрения, в прусск. arrien нужно видеть не существительное в винительном падеже единственного числа, а наречие, восходящее, вероятно, к корню *ar- и имеющее значение ʽтам’; ср. лит. orañ — ʽснаружи’, ʽтам’, лтш. *ā*ran — ʽснаружи’, ʽвне’, в текстах XVI—XVII вв. также предлог ʽиз’.

Наше предположение подтверждается, кажется, рядом соображений.

Во-первых, прусск. arrien лишь в этом случае точно соответствует по значению d*a* в немецком тексте Энхиридиона. А следует сказать, что отрывок (с. 55_{34}), в котором встречается arrien, совершенно точно передает соответствующее место в немецком тексте, являясь, собственно говоря, синтаксической калькой последнего (ср. «ni stan āustin perrēist — nicht das maul verbinden» и т. д.). Сло́ва же со значением ʽполе’ или ʽгумно’ (или тем более ʽзерно’) в данном отрывке не содержит ни один немецкий катехизис. Более того, и в прусском языке (правда, в помезанском диалекте) засвидетельствовано слово plonis — ʽгумно’ (Эльбингский словарь, 233) — с другим корнем, нежели в arrien.

Во-вторых, при нашем предположении отпадает необходимость быть в противоречии с реалиями (как при этимологии Бернекера) или допускать сомнительный переход от значения ʽпашня’ к значению ʽток’, ʽгумно’ или даже ʽзерно’ [19]. Наконец, и с формальной точки зрения высказанное нами предпо-

ложение имеет не меньше шансов, чем бернекеровская этимология (не говоря уже об этимологии Траутманна).

Однако здесь нужно сделать несколько пояснений.

Нет ничего удивительного в том, что прусск. arrien, видимо, обозначало не только направление, но и место. Такое же положение в прусск. stwen, schan (schien) или лит. teñ. Противопоставления типа лит. *oriẽ* : orañ в прусском были выражены слабее (ср. stwi : stwen).

Как объяснить ie в arrien — несовершенством орфографии, влиянием аналогичных образцов или чисто фонетически, — решить трудно и, может быть, даже едва ли вероятно, поскольку arrien встречается в прусских текстах лишь один раз.

Более того, ie в arrien допускает возведение к разным звукам. Возможно, что arrien восходит к ***ā*rin, ср. лит. *š*aliñ и другие, с чем в известной степени согласовывались бы такие случаи, как лит. ar̃imas, ar̃iñ̃s, ст.-слав. **орь, орьба** и др. И в этом случае ie допускало бы несколько объяснений. Однако недостаточность материала не позволяет окончательно установить фонетический облик прототипа прусск. arrien. Но сейчас, пожалуй, важнее выяснение общего принципа образования, чем разрешение частных деталей [20].

А этот принцип состоит в том, что прусск. arrien является индоевропейским наследием, а не заимствованием [21], и представляет наречие с корнем ***ā*r- [22].

2. Прусское dē̃igiskan

Это слово также принадлежит к числу *ἅπαξ λεγόμενα* и встречается в Энхиридионе, с. 53_{19}, в отрывке: «O Deive Rikijs Dengnennis Taws Signāts [23] mans bhe shiens twaians Dāians kawīdans mes esse twaian dē̃igiskan labban prei mans immimai Pra Jesum Chtistum [24] nouson Rikijan. Amen», в соответствии со следующей фразой немецкого текста: «Herr Gott himlischer Vatter segne uns und diese deine Gaben die wir von deiner milden Güte zu uns nemen Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen» (у Виллента в соответствующем месте находим: «Wieschpatie Diewe Tiewe Danguiesis perßegnok mus ir tas dowanas kurias isch tawa dosnos geribes imam per Jesu Christu Wieschpati musu. Amen».).

Этимология этого слова не выяснена даже приблизительно; поэтому специалисты в области прусского языка воздерживаются от анализа этого слова (мы опускаем наивное сопоставление Нессельмана [25] с лтш. devîgs, неудовлетворительное в фонетическом плане и в отношении значения). Лишь Эндзелин указывает, что, возможно, правильнее было бы говорить в нашем случае о *dengiskan (ср. прусск. dengan — ʽнебо', лит. dañgi*š*kas) [26], тем более, что текст Энхиридиона знает случаи, когда вм. *n* пишется i, *y* [27].

Прусское слово со значением ʽнебесныйʼ встречается в Энхиридионе восемь раз, будучи представлено тремя разновидностями:

dengenennis (35_{17}, 51_{34}), dengnennissis (51_{16}), dengnennis (35_{9}, 53_{18})
dengenneniskans (81_{7})
dengniskas (73_{27}), dengniskans (73_{6})

Форма же *dengiskas нигде не отмечена. Во всех восьми случаях указанным прусским словам в немецком тексте соответствовало слово himlisch. Было бы весьма странно, что в одном месте (а именно на с. 53_{19}) немецкому milde опять-таки соответствовало бы слово со значением ʽнебесныйʼ, переведенное особым (четвертым) способом.

Кроме того, в этих восьми примерах, а также в 25 случаях слова dangus во всех его вариантах корневой гласный нигде не имеет особого знака (¯), а dēigiskan его имеет. Было бы неоправданным видеть здесь только игру случая или считать, что особый знак (¯) в dēigiskan — результат неправильного разложения мнимого dengiskan, так как при israīkilai есть и rānctwei, rānkan и т. д., а с другой стороны, geytiey (13_{6}) (вм. geytien) не имеет этого знака (¯).

Наконец, соображения стиля также делают весьма сомнительным двойное употребление слова со значением ʽнебесныйʼ (Dengnennis… *dēngiskan) в близком соседстве друг с другом, но в различном оформлении.

Зная принципы перевода, которыми руководствовался Абель Вилль, можно предположить, что прусск. dēigiskan (им. п. ед. ч. м. р. *dēigiskas) представляет собой довольно точный, хотя, может быть, и неуклюжий, перевод немецкого mild, лишенный, возможно, абстрактно-религиозных наслоений немецкого слова. Нам кажется, что в данном случае можно думать о слове, продолжающем и.-евр. корень *dheịg̑ʼh- — ʽмесить глинуʼ, ʽлепитьʼ ʽстроитьʼ, засвидетельствованный почти во всех индоевропейских языках. Суффикс -isk, контекст и немецкое соответствие milde убеждают в том, что прусск. dēigiskan является прилагательным, значение которого с большой долей вероятности определяется как ʽмягкийʼ ʽкроткийʼ, ʽблагойʼ. В этом предположении нас поддерживает и наличие аналогичных фактов семантического развития, ср. ст.-слав. **лѣпити—лѣпъ** и др.

Однако фонетические трудности делают маловероятным признание прусск. dēigiskan индоевропейским наследием. Дело в том, что из и.-евр. *dheịg̑ʼh- в прусском ожидалось бы прилагательное * dēisiskan (= dēiziskan), поскольку g̑ʼh, g̑ʼ > прусск. s (= z) и было бы слишком смело на основании ряда случаев, где и.-евр. k̑ʼh, k̑ʼ соответствует в прусском k, допускать в данном случае возможность g̑ʼh > g[28]. Кроме того, в Эльбингском словаре указано слово seydis — ʽстенаʼ (с. 198) с характерной для этого слова в балтийских и славянских языках метатезой (*dheịg̑ʼh- > *g̑ʼheịdh-: **зидъ**, **зиждѫ**,

зьдати, лит. *žiẽ*sti и др.) и с g'h > s. Разумеется, наличие метатезированной формы не исключает возможности существования формы без метатезы (ср. др.-русск. *дѣжа* и т. д. при указанных выше словах или приведенные Зубатым[29] лит. di*ž*ti, die*ž*ti и др.), но вся совокупность приведенных фактов, а также то, что указанный корень в балтийских языках нигде не содержит значения ʽмягкийʼ, заставляют нас искать источник прусск. d*ē*igiskan вовне, а именно видеть в нем заимствование из германских языков. Во всяком случае, как раз германские языки более других обнаруживают в словах этого корня семантическое развитие в сторону значения ʽмягкийʼ, ср. нем. teig, teigig, teigicht. Это значение засвидетельствовано в слове teig и специально в Восточной Пруссии[30]. Звуковой вид прусск. d*ē*igiskan как будто указывает на нижненемецкий источник[31]. Факт нижненемецкого влияния на прусский язык хорошо известен. Однако в данном случае мы затрудняемся точно назвать нижненемецкий источник, легший в основу прусск. d*ē*igiskan.

3. Прусск. etn*ī*stis

В отличие от предыдущих слов, etn*ī*stis широко представлено в прусском тексте Энхиридиона (в первых двух катехизисах и в обоих словарях — Эльбингском и Симона Грунау — его нет). Засвидетельствованы следующие формы: etn*ī*stis (69_{22}, 71_{19}), etn*ī*stin (31_{4}, 35_{20}, 41_{30}, 59_{10}, 61_{15}, 63_{5}, 71_{5}, 73_{4}, 73_{17}, 73_{22}, 73_{28}, 79_{25}, 79_{34}), etnijstin (29_{14}, 37_{26}, 45_{19}), etn*ī*stan (35_{15}).

Кроме того, в Энхиридионе это слово входит в состав композит [*etn*ī*stis-laims (41_{24}) и niete*ī*stis (71_{33}), которое — учитывая нем. Ungnade,— следует считать опиской вместо nietn*ī*stis[32], а корень его встречается и в других образованиях, например, etn*ī*wings, etn*ī*wingiskai и т. д., всего 11 раз].

В немецком тексте в соответствующих местах всегда стоит Gnade[33], а принимая во внимание прусские прилагательные и наречие того же корня — gnädig, gnädiglich. (В аналогичных местах литовских текстов обычно встречается *ma*l*onė*, mielaširdist*ė*.)

В Энхиридионе нет мест, где с определенностью можно бы было предполагать у слова etn*ī*stis иное значение, чем ʽмилостьʼ, однако ничто не мешает принять, что ʽмилостьʼ есть, собственно, ʽмилосердиеʼ, ʽпрощениеʼ, ʽотпущение греховʼ. Причем последнее значение оказалось несколько оттесненным на задний план; в этом значении обычно выступает другое слово — etwerpsennien (вин. п. ед. ч.), построенное аналогично etn*ī*stin[34].

A priori можно думать, что этот специфический термин возник или после введения христианства у древних пруссов из имевшихся в языке элементов, возможно, путем калькирования соответствующего иноязычного слова, или

он существовал и раньше, но в ином (пусть также религиозном) значении и лишь впоследствии был использован для новых целей и переосмыслен.

Как бы то ни было, этимология этого слова до сих пор остается неизвестной: одни ученые признают ее неясной или уклоняются от высказываний по ее поводу (Нессельман [35], Бернекер, Траутманн), другие дают объяснения, которые, очевидно, ошибочны (Леви) [36] или не получили пока признания (Эндзелин).

Суть этимологии Эндзелина [37] — а это последняя по времени попытка проанализировать данное слово — заключается в том, что в прусск. etnīstis скрыт индоевропейский корень *nī-, представленный в лтш. nīca, русск. *низ*, *ниц*, др.-инд. ni — ʽниз’; в соединении с приставкой *e*t- и суффиксом [38] корень образует указанное слово; ср. *снисхождение*, Herablassung и т. д. Такое решение вопроса нельзя признать вполне удовлетворительным. Понятно, что *снисхождение* или Herablassung не являются точной аналогией к etnīstis, поскольку наречный элемент сочетается в них с глагольным (основным), которого как раз нет в прусском слове, если принять объяснение Эндзелина. Сопоставление указанных слов не совсем точно и в семантическом плане. Наконец, серьезные сомнения вызывает структура прусского слова: приставка *e*t- + наречный корень + суффикс sti-. Таких образований нет в прусском языке, и едва ли их можно найти в других балтийских языках.

Несомненно, что прусск. etnīstis — о т г л а г о л ь н о е имя с абстрактным значением, представляющее собой лишь один пример многочисленного класса подобных образований в балтийских языках [39]. Сопоставление засвидетельствованных в прусском языке пар типа etnīstis : etnīwings и engraudīsnas : engraudīwings позволяет говорить о бесспорно отглагольном происхождении прусск. etnīstis и, более того, делает весьма вероятной реконструкцию глагола *etnīt, *etnija; ср. прусск. *etskīt, *etskija, лтш. rit, rija и т. д. [40]

Если наши рассуждения правильны, то при объяснении этимологии etnīstis нужно исходить из глагольного корня, а не из наречного, как делал Эндзелин.

Таким корнем, кажется, следует считать и.-евр. *nē*(*i̯*)- [41] ʽсвязывать’, ʽсшивать’ с дальнейшим развитием и специализацией значений по отдельным языкам. Этот корень широко представлен в различных местах индоевропейской языковой области (часто с подвижным s), в частности и в балтийских языках; ср. лит. nýtis, лтш. nīts, nīt̂ît, слав. *n*itь и т. д.

В соединении с приставкой et-, значение которой в данном случае не вызывает сомнений, и суффиксом -sti- указанный корень образует отглагольное имя со значением ʽразвязывание’, ʽразрешение’ (в первоначальном значении, ср. ʽразрешение уз’ и т. д.), ʽраспущение’, ʽотпущение’. Дальнейшая эволюция (ʽотпущение грехов’, ʽосвобождение’, ʽпрощение’, ʽмилость’) вполне естественна и может быть иллюстрирована многочисленными семантиче-

скими параллелями, из которых одна из наиболее убедительных — структурно близкое к entīstis лат. absolutio, вошедшее в качестве термина для обозначения отпущения грехов в ряд европейских языков и имевшее сначала более конкретное значение, ср. absolvo, -ĕre — ʻотвязыватьʼ, ʻосвобождатьʼ [42] и т. д.

Что касается фонетической стороны предложенной нами этимологии, то она безупречна, поскольку балт. *ē* (из и.-евр. *ē*) в самландском диалекте прусского языка было очень близко к *ī* (в отличие от помезанского диалекта [43]), так что в известный период переход *ē* в *ī* стал законом [44]. Разумеется, что *ē* > *ī* в данном случае остается несомненным независимо от того, примем ли мы точку зрения Фортунатова [45] и Бернекера [46] о двоякой трактовке балтийского *ē* в самландском диалекте или примкнем к критике Хирта [47] и Бецценбергера [48].

Понятно, что и при предположении в прусск. entīstis ступени редукции (*ni- : *nēi-), как и лит. nýtis, лтш. nĩts, фонетическое объяснение прусского слова не встретит никаких затруднений.

4. Прусск. etskīuns

Это слово также встречается в прусских текстах, причем во всех трех катехизисах, несколько раз:

etskīuns, им. п. ед. ч. м. р. прич. прош. вр. действ. (31_{15}; 79_{2}), etskīans (31_{31}), etskyuns (11_{30}), attskiwuns (5_{31})

etskīmai, 1-е лицо мн. ч. конъюнкт. (43_{4})

etskīsai, 2-е лицо ед. ч. буд. вр. (51_{11})

Засвидетельствовано также отглагольное имя с характерным суффиксом: etskīsnan (33_{3}), etskysnan (11_{36}), а также atskisenna (читай: atskisennan) (7_{2}), об образовании которого см. у Лескина [49] и Эндзелина [50].

Контекст, в котором встречается прусск. etskīuns, и его значение по сути дела все время одни и те же; поэтому ограничимся лишь одним примером: An tirtien deynan etskyuns ha͡ese gallans (2-й Катехизис 11_{30}) при нем. Am dritten tag aufferstanden von den todten.

Лишь однажды контекст несколько меняется и доставляет нам счастливую возможность для уточнения значения этого слова. Мы имеем в виду фразу из Энхиридиона: Angstainai Kaden toū is twaiāsmu Lastin etskīsai turri tou tien Siggnat… ($51_{10—11}$) при нем. Des Morgens so du auß dem Bette fehrest soltu dich segnen…, значение которой еще четче оттеняется при сравнении с другой фразой из Энхиридиона: Bītai kaden tu prei lastan ēisei turei toū tien Siggnat… (51_{29}) (нем.: Des Abends wenn du zu Bette gehest soltu dich segnen…), на что обратил внимание Э. Леви [51].

Следовательно, было бы неправильно ограничивать прусск. etskīuns только специальным религиозным значением ʽвоскресатьʼ, хотя оно и преобладает в прусских текстах. ʽВоскресатьʼ, надо думать, было лишь частным значением, наряду с которым существовали и другие значения: ʽвставатьʼ, ʽподниматьсяʼ, возможно, ʽотделятьсяʼ и т. д. (отчасти это подтверждается соответствующей фразой виллентовского Энхиридиона: «Ritameta kada kelsiesi isch patala tada persißegnok schwentu Krißu bilodams»).

Недоучет этих значений сказался на двух известных до сих пор попытках дать этимологию этого слова, когда ученые пытались исходить из значения ʽуйтиʼ (от смерти). Мы имеем в виду сопоставление Лёвенталя с норвежск, skime — ʽдвижениеʼ [52] и замечание Леви [53] о близости прусск. etskīuns с готск. skewjan — ʽбродитьʼ [54], связь между которыми, по мнению самого Леви, едва ли возможна.

Кроме того, указанные сопоставления не совсем удовлетворительны и формально.

Поэтому не случайно, что крупнейшие специалисты в области прусского языка — Нессельманн, Бернекер, Бецценбергер, Траутманн, Эндзелин — не внесли предложений, относящихся к этимологии этого слова, хотя последний и посвятил небольшой этюд его морфологическим особенностям [55], уточнив его состав.

Со своей стороны, мы бы предложили возвести прусск. etskīuns к индоевропейскому корню *skē̆i̯- [56] на ступени редукции — *skī- ʽделитьʼ, ʽотделятьʼ, ср. др.-инд. chyáti, chinátti, авест. fra-sāna и др. (индо-иранские примеры особенно ценны тем, что в них корень выступает без обычных в других языках расширителей корня [57]). В таком случае *et-skī-t значило ʽотделятьʼ ʽотделятьсяʼ > ʽвставатьʼ и т. д. Следовательно, прусск. etskīuns при нашем объяснении включается в широкую семью слов того же корня в балтийских языках (а не стоит изолированно, как при этимологии Лёвенталя): лтш. *šķ*ieta [58], *šķ*ieva, *šķ*iene, вероятно, лит. *skiẽtas*, лтш. *šķ*íets и даже прусск. staytan (Эльбингский словарь, с. 421; читай: scaytan), уж не касаясь более далеких сопоставлений из балтийских и других индоевропейских языков, довольно близки по значению, ср. нем. Abschied, лит. atskíesti и др.

Примечания

[1] Здесь и в дальнейшем ссылки на прусский текст даются по изданию Р. Траутманна «Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Einleitung, Texte, Grammatik, Wörterbuch». Göttingen, 1910, с. 55_{34} (соответствует с. 61_{33} и сл. в издании Бернекера).

[2] К этому слову есть примечание: «Sicher zwei Worte, was in D. schärfer als in K. hervortritt». (D — Дрезденский экземпляр, K — Кёнигсбергский.)

[3] В свою очередь этот отрывок взят из Второзакония, 25.4.

[4] G. H. F. Nesselmann. Die Sprache der alten Preussen an ihren Überresten erläutert. Berlin, 1845: 87; Idem. Thesaurus linguae prussicae. Berlin, 1873: 7.

[5] A. Bezzenberger // AM. Bd. 15: 269 ff. Ср., однако, BB. Bd. 23: 303 (рец. на книгу Бернекера) и KZ, Bd. 44: 293 (рец. на книгу Траутманна).

[6] A. Leskien. Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876: 34.

[7] A. Brückner // AfslPh. Bd. 20: 486.

[8] W. Pierson // AM. Bd. 11: 162.

[9] E. Berneker. Die preußische Sprache. Strassburg, 1896.

[10] Там же, 184 и сл. и 281.

[11] R. Trautmann. Miscellen. 4. Apreuß. kas arrien tlāku // KZ. Bd. 43: 174—176; ср. также «Die altpreussischen Sprachdenkmäler». S. XV, 238, 302.

[12] Др.-в.-нем. arin, erin и т. д. признается теперь заимствованием из лат. ar*ē*na; сопоставление же с и.-евр. **ā*ro- отвергается из-за значения этого слова в скандинавских языках (ср. др.-шведск. ærin, arin — ʽочагʼ, др.-исл. arenn — ʽвозвышениеʼ, ʽочагʼ; др.-в.-нем. слово также имеет значение ʽалтарьʼ). См. *A*. Walde. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. I. Berlin—Leipzig, 1928: 79.

[13] См. *H*. Hirt. Die altgermanischen Lehnwörter im Baltischen // PBB. Bd. 23: 344—349, а также J. Mikkola. Baltisches und Slavisches. Helsingfors, 1902—1903: 10; *E*. Lidén. PBB. 31: 600 ff; F. Kluge // JF. 21: 361; *A*. Stender-Petersen. Slavisch-germanische Lehnwortkunde. Göteborg, 1927: 132—133.

[14] Он находил в прусском 34 готских заимствования, хотя теперь очевидно, что их было менее десятка.

[15] A. Bezzenberger // KZ. Bd. 44: 293 ff.

[16] K. B*ū*ga. Kalba ir senovė. Kaunas, 1922. Раздел «Visųsenieji lietuvių santykiai su germanais», 60—76, особенно 72.

[17] *A*. Senn. Germanische Lehnwortstudien. Dissertation. Heidelberg, 1925: 46 ff. См. также K. Alminauskas. Die Germanismen des Litauischen. Teil 1. Die deutschen Lehnwörter im Litauischen. Dissertation. Kaunas, 1934: 19 ff.

[18] J. Endzel*īns*. Senprūšu valoda. Ievads, gramatika un leksika. Rīgā, 1943 : 143. Н. ван Вейк также рассматривает прусск. arrien как «ein Wort von unsicherer Bedeutung und Herkunft». См. Altpreussische Studien. Haag, 1918: 37.

[19] См. *M*. Schultze. Grammatik der altpreußischen Sprache. Leipzig, 1897: 29.

[20] Одна из них — соотношение прусск. Arrien : artoys (Эльбингский словарь, 236), preartue (там же, 249) и других балтийских слов, содержащих корень *ar-, широко представленный в различных индоевропейских языках. Этот вопрос мы оставляем без рассмотрения, поскольку в противном случае мы бы рисковали слишком далеко уйти от решения основного вопроса — выяснения этимологии прусск. arrien.

[21] Любопытно, что до самого последнего времени и алб. ar*ë* — ʽпашняʼ, ʽполеʼ объяснялось заимствованием (из лат. area), пока А. Гатерс не доказал, что это исконное индоевропейское слово в албанском. (См. Der albanische Name des Ackers // KZ. Bd. 73: 108—109).

[22] Возможно, что к этому же корню восходит дошедшее до нас приблизительно от 1400 г. название прусского озера Aryngine < *ar-ingine, ср. лит. Orijos ẽžeras, лтш. Aruona и др. (См. G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen, gesammelt und sprachlich behandelt. Berlin—Leipzig, 1922: 11. Относительно суффикса см. J. Endzelīns. Senprūšu valoda, 51; Idem. Baltu valodu skaņas un formas. Rīgā, 1948: 100—101; Idem. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951: 369—372; P. Skardžius. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnus, 1943: 106—121; *A*. Bezzenberger. Studien über die Sprache des preußischen Enchiridions // KZ. Bd. 41: 81—83; *A*. Leskien. Die Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig, 1891: 526—530.

[23] Правильно: Signāis.

[24] Правильно: Christum.

[25] G. *H*. F. Nesselmann. Die Sprache..., 93; Thesaurus..., 27—28. Ср. также *E*. Berneker. Op. cit., 285 (с сомнением).

[26] J. Endzelīns. Senprūšu valoda, 157—158.

[27] Там же, 58; к примерам Эндзелина добавим еще один показательный случай: isrāikilai (39_{13}) при isrankīt (71_{6}), isrankīuns (31_{24}, 71_{25}) и др.

[28] Не представляется убедительным в данном случае объяснение прусск. dēigiskan и с помощью *dhei̯g-, корня, параллельного к *dhei̯g'h- и объясняющего ряд германских фактов. См. F. *A*. Wood // Modern Philology. Vol. 4. Philadelphia: 490 ff.

[29] J. Zubaty // AfslPh. Bd. 16: 389.

[30] См. *H*. Frischbier. Preußisches Wörterbuch. Ost- und Westpeußische Provinzialismen in alphabetischer Folge. II. Berlin, 1883: 397; см. это слово у Цисмера (W. Ziesmer) в его «Preußisches Wörterbuch».

[31] Во всяком случае это более правдоподобно, чем думать о заимствовании из готского, ср. готск. deigan, daigs. Ср. н.-нем. Dêgåp (насмешливое прозвище пекаря, булочника). Что касается ei, то в немецком, вероятно, следует видеть характерный для нижненемецких говоров Самландии результат развития ê (ср. натангскую линию ê/ēi). См. W. Mitzka. Ostpreußisches Niederdeutsch nördlich vom Ermland // Deutsche Dialektographie. H. VI. Marburg, 1920: 179.

[32] См. *A*. Bezzenberger // BB. Bd. 23: 289.

[33] Исключение Barmherzigkeit (31_{4}). Обычно в таком значении употребляется engraudīsna (см. 71_{6}, 71_{19}, 73_{34}, 75_{10} и т. д.).

[34] В соответствии с прусск. etwerpsennien grijkan в лит. обычно выступает atleidima ghrieku (Виллент), atleidima greku (Мажвидас).

[35] Однако симптоматично направление мысли Нессельманна: «Das Adj. etnīwings etc. lehrt, daß in etnīstis die Endung -stis Wortbildungssuffix ist (sl. otъnesǫ, otъnesti, auffere, abducere, etwa peccata?)» (Thesaurus…, 40).

[36] etnīstis: Gnade, nēth-ti? См. *E*. Lewy. Preußisches // IF. Bd. 32: 161 (Однако сам Леви признает, что etnīwings затрудняет указанное сопоставление).

[37] См. J. Endzelīns. Senprūšu valoda, 173; Idem. Piezīmes par prūšu valodu // FBR. II. 1922: 9—14.

[38] См. J. Endzelīns. Senprūšu valoda, 53.

[39] См. Skardžius. Op. cit., 330—331 (и соответствующий раздел в старой работе Лескина об образовании имен в литовском языке); J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas, 103; Idem. Latviešu valodas gramatika, 379—380.

[40] См. J. Endzelīns. Altpreußisches // ZfslPh. 18: 109.

[41] См. *A*. Walde. Op. cit. T. II. 1927: 694—695.

[42] См. *A*. Walde. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Aufl. 2. Bd. I. Heidelberg, 1910: 447, 695, 723.

[43] Впрочем, и здесь есть случаи типа li̱sytyos, ri̱clis, sli̱denikis.

[44] Некоторые трудности могли бы возникнуть, если бы речь шла о первом Катехизисе, где i, *ī* иногда переходили в *e*, *ē*. См. R. Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 122; J. Endselīns. Senprūšu valoda,.26—27.

[45] F. Fortunatov // BB. Bd. 22: 177 ff.

[46] *E*. Berneker. Die preußische Sprache, 136.

[47] *H*. Hirt // IF. Bd. 10: 37 ff.

[48] *H*. Bezzenberger// KZ. Bd. 41: 76 ff.

[49] A. Leskien. Die Bildung der Nomina im Litauischen, 380.

[50] J. Endzelīns. Senprūšu valoda, 47.

[51] *E*. Lewy. Preußisches // IF. Bd. 32: 161.

[52] J. Loewenthal. Wirtschaftsgeschichtliche Parerga. III // Wörter und Sachen. 11. 1928: 61. Сюда же Лёвенталь относит греч. *σκίναξ*, лат. scintilla, галльское название реки *Cintic*ā* (теперь Kinzig), слав. *čędo*, а в прусском название священного леса Wiskint: (см. C. Gerullis. Op. cit., 204) < *vis-kintan.

[53] *E*. Lewy. Op. cit., 161.

[54] Сюда относятся др.-исл. skoeva, др.-англ. sceon, др.-фриз. ski*a*, др.-в.-нем. gi-scehan и др. См. S. Feist. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache. Halle, 1909: 237.

[55] J. Endzelīns. Altpreußischen // ZfslPl. Bd. 18, 109—110.

[56] *A*. Walde. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. II: 541.

[57] Лат. scio, -*ī*re, далеко по значению.

[58] См. K. Mülenbachs. Latviešu valodas vārdnīca. XXXI burtnīca. Rīgā, 1929: 53.

1958

ДВЕ ЗАМЕТКИ ИЗ ОБЛАСТИ БАЛТИЙСКОЙ ТОПОНИМИИ

(этимологический аспект)

1. О южной границе ятвягов

Вопрос о ятвяжской территории вот уже сто лет занимает ученых [1]. В последние 10—15 лет интерес к этому вопросу еще более возрос благодаря трудам польских историков и лингвистов [2]. Тем не менее очень многое остается неясным и по сей день. Если северные и западные пределы распространения ятвяжских земель более или менее определены в работах М. Теплена и особенно Я. Сембжицкого [3], то этого нельзя сказать в отношении южных (и восточных) границ. Пока лишь известно, что в XII—XIII веках ятвяжские поселения ограничивались на юге течением Нарева на участке от устья Бебжи до истоков Свислочи [4]. Однако есть весьма серьезные основания предполагать, что в более ранний период эта граница проходила значительно южнее [5]. Каковы же эти основания?

В последнее время отчетливо наметилась тенденция к поискам следов ятвяжского населения к югу от Нарева. Вслед за Ст. Зайончковским и Г. Ловмянским в одной из указанных уже статей А. Каминский снова возвращается к старому вопросу о связи названия ятвяжского племени злинцев с рекой Слина (древнерусск. *Зьлина*, ср. Silia у Дусбурга) и решает его в положительном смысле, учитывая, между прочим, археологические данные (погребение балтийской женщины в деревне Двораки-Пикаты, повет Высоке Мазовецке, описанное еще Б. Подчашинским [6] и относимое к V в. нашей эры). Каминский приходит к выводу, что бассейн Слины в V веке был заселен балтийскими племенами, которые, скорее всего, были автохтонами этих

мест; в период между V и XI веками они были вытеснены славянами на север от Нарева[7].

В. Курашкевич в названной выше статье ищет следы ятвяжского языка еще южнее, а именно в окрестностях Дрогичина и Мельника (и даже на юг от Буга); польский лингвист имеет в виду инфинитивы типа it’i͡e, nes’c’i͡e, pe*č*y͡e и слово por*š*uk (par*š*uk) в восточнославянских говорах этих мест[8]. Любопытно, что в отличие от Каминского Курашкевич склонен думать об очень позднем вторжении ятвягов в эти районы; он связывает появление ятвягов в окрестностях Дрогичина и Мельника с немецкой экспансией в ятвяжские земли[9] и ищет подтверждения своей гипотезе в сообщениях Меховиты и Длугоша.

Исторические источники также как будто говорят о том, что граница распространения ятвягов проходила южнее течения Нарева.

Уже Кадлубек в своей хронике под 1192 г. сообщает о ятвягах, называя их «Pollexiani» (это же название в применении к ятвягам встречается у Богуфала, в орденских грамотах, в буллах Иннокентия IV (1253 г. — «Polexia», страна ятвягов) и Александра IV (1257 г. — «Polexici»). Связь этого названия с Подляшьем несомненна.

Из исторической географии Польши известно, что границы Подляшья не оставались постоянными и что по мере вытеснения ятвягов двигались в северном направлении и границы Подляшья. Первоначально же Подляшье на юге охватывало бассейны Кшны (Krzna) и Мухавца, доходя До Радзыня Подляшского и Парчева (на водоразделе Кшны и Вепша)[10]. Кажется правдоподобным предположение о том, что название «Pollexiani» могло закрепиться за ятвягами лишь в том случае, если они занимали всю или почти всю территорию Подляшья или, по крайней мере, были основным населением этого района. Если это верно, то становится понятным, почему с уходом на север ятвягов изменились и пределы Подляшья, охватив все течение верхнего Нарева с его притоками. В связи со сказанным едва ли можно согласиться с мнением А. Яблоновского[11], согласно которому сначала Подляшье раздвинуло свои границы на север, а потом сюда пришли ятвяги и стали называться «Pollexiani».

Поэтому нам представляется возможным сделать вывод, что в более ранний (чем XII—XIII в.) период ятвяжские поселения доходили на юге до Кшны и Мухавца.

Внимательное чтение русских летописных материалов, относящихся к ятвягам, также заставляет подозревать более южные пределы их распространения, чем те, которые обычно устанавливаются в научной литературе, посвященной этому вопросу.

Ятвяги хорошо знакомы Начальной летописи. Уже в 945 г. в заключении мирного договора с греками участвовал Ятвяг Гунарев (Нунарев)[12]; в 983 и 1038 г. совершают походы на ятвягов Владимир и Ярослав. Интересно напомнить, что в 981 г. русские захватили Перемышль и Червень, а в 983 г. в качестве их противника выступают уже ятвяги; точно так же Ярослав, вернув себе в 1031 г. червенские города, через несколько лет идет в поход на северных соседей — ятвягов. Наконец, следует отметить, что Берестье впервые упомянутое в Летописи в 1019 г.[13], было центром, из которого предпринимались походы на ятвягов.

Все эти данные также заставляют признать, что в первой половине XI в. ятвяги жили южнее, ближе к русским границам[14]; во всяком случае, Берестье было, видимо, последним русским укреплением на пути к ятвягам. Основание Дорогичина, Мельника и других русских городов по Бугу относится уже к более позднему времени и, кажется, отражает новый этап борьбы с оттесняемыми к северу ятвягами. То же можно сказать и о вторжении ятвягов в пределы Люблинской земли.

Тесная связь ятвяжских земель до XI века и, может быть, значительно раньше с более южными районами подтверждается как будто и некоторыми другими данными; в частности, археологические данные, видимо, позволяют, в известной степени, говорить о связях с антами в IV—VI веках[15].

Наконец, топонимические данные помогают отчасти очертить круг земель, занятых некогда балтийскими племенами. Особенно хорошо известна топонимия междуречья Немана и Припяти (см. работы К. Буги и М. Фасмера); многое в ней дает основание говорить о ятвяжских (или шире — о западнобалтийских) следах[16].

Территория по левому берегу Буга с точки зрения поисков следов балтийской топонимии, собственно говоря, до сих пор остается неисследованной, что, вероятно, связано с представлением (как показано выше, едва ли правильным) о том, что балтийских племен в этом районе не было. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что такая топонимия есть и, видимо, будет выявлена в ходе дальнейших исследований. Во всяком случае, ее поиски в пределах южной части Подляшья вполне закономерны и целесообразны. Точно так же необходимо объяснить довольно многочисленный топонимический слой, содержащий название пруссов и тянущийся от Нарева на юг вплоть до притоков Днестра[17].

Наше внимание привлекло название левого притока Буга реки Кшны (польск. Krzna). Эта река длиной около 100 км начинается в Луковском повете на самом севере Люблинского воеводства и среди лесов и болот течет в восточном направлении, впадая в Западный Буг несколькими километрами ниже Бреста (старое Берестье). В X—XI веках, как показывает историческая

карта этого района, Кшна не могла не быть важным рубежом для защиты от вторжений с юга в ятвяжские пределы. Возможно, что эта река и прилегающая к ней местность (леса и болота) долгое время были препятствием для соседей ятвягов. Не случайно, что русская экспансия вынуждена была избрать себе путь по течению Буга.

Название Кшны пока не было предметом сколько-нибудь подробного этимологического анализа. Вероятно, отчасти это связано с тем, что указанное слово стоит в одиночестве, будучи лишенным каких-либо достоверных связей с другими словами того же корня; именно поэтому оно не вызывает, кажется, достаточно убедительных ассоциаций. Что касается связи со старым польским словом kierz, род. п. krza и т. д.[18] (из *къr—jь), то она едва ли вероятна в силу определенных фонетических особенностей; кроме того, если даже видеть в Krzna результат неорганического развития старого прилагательного *къrjьn*a*, встает вопрос, почему, это образование нигде больше не встречается (ни в польском, ни в чешском, ни в словацком, ни в серболужицком языках, знающих этот корень), тогда как славянская (в том числе, и польская) топонимия дает ряд примеров, когда название реки (или населенного пункта) связано со словом, обозначающим «куст»[19].

Эта исключительность слова Krzna в сочетании с особенностями географического положения реки заставляют нас искать разгадку этимологии названия Krzn*a* не на славянской, а на балтийской почве.

В таком случае сразу же напрашивается сравнение (вскользь упомянутое А. Погодиным, Из истории славянских передвижений. СПб. 1901, 95) с одним из самых распространенных гидронимов прусско-ятвяжского типа Kirsná ʻчёрнаяʼ. Названия такого рода хорошо известны (ср. Kirsnappe, река в Вост. Пруссии: из kirsna + прусск. *ape*, ср. лит. Kirsnupė; Kirsne, Kirsno, озеро на границе старых Галиндии и Барты, Kirsin, река в Вост. Пруссии, нем. Schwarze Fließ и т. д.[20]), причем некоторые из них приурочивались к ятвяжской (судавской) территории еще в XIII в.: так, в одном документе под 1283 г. говорится о земле Kirsnovia (вдоль правого притока Шешупе реки Кирсны, совр. лит. Kirsnà), в которой живут судавы (судины, ятвяги)[21]. Не раз уже писалось о том, что в Сувалкии и в прилегающих к ней районах, некогда населенных ятвягами, очень часто встречаются реки и озера, названные в связи с особенностями дна и, следовательно, в связи с цветом воды «черными»[22]. Любопытно, что наряду с ятвяжским названием встречаются и литовские (Júodas, Júodys, Juoda*ž*eris и т. д. почти по всей Литве)[23], польские (Czarne, Czarna), немецкие (Schwarze), некоторые из которых являются несомненными переводами старых ятвяжских наименований.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что указанный приток Буга, протекающий в сходных условиях и по своей гидрофизической характери-

стике близкий к водным бассейнам Сувалкии, мог быть также назван «черным».

Между прочим, кажется, есть еще некоторые данные в пользу нашего предположения. При назывании тех или иных географических объектов в определенных случаях проявляется тенденция, которую удобно было бы назвать тенденцией к поляризации. Суть ее заключается в том, что, если один географический объект назван «большим», или «высоким», или «старым» и т. д., то соседний объект очень часто получает название «малый», или «низкий», или «новый» и т. д., причем он вовсе не обязательно характеризуется малыми размерами, «низкостью» или недавним происхождением; важно лишь то, что он действительно меньше, ниже или новее, чем объект, названный «большим», «высоким» или «старым»[24]. Для подтверждения действенности этой тенденции можно было бы привести большое количество примеров, но здесь, за неимением места, этого сделано не будет.

Названная особенность, проявляющаяся в поляризации ряда топонимик, в полной мере осуществляется в тех случаях, когда встречаются названия по принципу черного цвета. Так, в Сувалкии наряду с водоемами, содержащими в своем названии упоминание о черном цвете воды, отмечено значительное количество гидронимов, указывающих на белый цвет[25] (то же в прилегающих районах Литвы, Восточной Пруссии, Польши). Любая достаточно подробная карта показывает определенную связь между этими двумя типами названий.

Поэтому то, что один из притоков Кшны называется Białka, может рассматриваться как аргумент в пользу нашего предположения. Другой приток Кшны носит название Zielawa, легко этимологизирующееся на польской почве, но несколько странное в словообразовательном плане[26]. Невольно напрашивается сопоставление с названиями белорусских рек *Зельва, Зельвянка*, балтийское происхождение которых очевидно[27] (из-за «з» вместо «ж», может быть, следовало бы точнее говорить о ятвяжской принадлежности этих названий). Не представляет ли в таком случае название Zielawa результат субституции и известного переосмысления старого балтийского слова?

Некоторые другие реки того же района своими названиями (*Mętna*, *Мухавец* и др.) также как будто указывают на возможность предложенного нами толкования слова Krzna[28].

Теперь остается лишь показать, каким образом ятвяжское Kirsná могло дать польское Krzna. Точное определение путей этого перехода пока наталкивается на существенное препятствие, заключающееся в том, что нам неизвестна хронология этого заимствования славянами. В качестве terminus ad quem, по-видимому, приходится взять начало XI в. (или даже конец X в.). Поэтому приходится считаться со следующими фактами: ятвяжское Kirsná

могло звучать, как kiršná (ср. лит. приток Дубисы Kiršnove[29]); в славянских языках модель открытого слога была единственно авторитетной и определяющей: она была образцом, по которому выравнивались первоначально аномальные случаи; в славянских языках еще существовали слабые «еры» (редуцированные).

В таком случае один из наиболее вероятных путей изменения ятвяжского слова в речи славян мог сводиться к следующему: *kiršná > *krĭšná (процесс, приводящий к открытию слога и осуществляющийся в общем русле изменений в сочетаниях типа tort, tert и т. д.); далее *krĭšná > krьšná (вероятность субституции краткого ятвяжского i посредством славянского ь для данной эпохи весьма значительна и подтверждается как заимствованиями из неславянских языков в славянские, так и наоборот[30]); последующее развитие происходило уже по пути, знакомому из исторической фонетики польского языка: *krьšna > *kŕšna > *$kr^{ž}$šna > *k^{r}žšna > *kžšna > kšna (графически Krzna[31]).

Любопытно, что дальше на северо-восток в пределах бывшей Гродненской губернии уже в более позднее время поляки встретились еще с одним ятвяжским названием того же типа и заимствовали его в виде Kiersznówka[32] (здесь terminus ad quem заимствования — XIV—XV века).

Если высказанное нами предположение о названии реки Кшна верно, то оно подтверждает еще раз целесообразность поисков балтийской топонимики в этом районе. Будущие исследования могли бы помочь уточнению вопроса о прародине балтийских племен и, может быть, объяснили бы некоторые поразительные совпадения между топонимией балтийских и южно-европейских (балканских) территорий; совпадения, на основании которых в прежние времена строилось немало фантастических теорий и которые, тем не менее, и до сих пор остаются без удовлетворительного объяснения, несмотря на то, что материал продолжает увеличиваться[33].

2. Литовские Akmen-, Ašmen-

Значение исследования балтийских топонимических изоглосс очевидно. Одна из таких изоглосс упомянута выше. Ее доказательная сила покоится на трех очень существенных фактах: во-первых, она отражает один из наиболее широко распространенных образцов балтийской топонимии; во-вторых, на балтийской территории есть и другие изоглоссы, конкурирующие с указанной; и, наконец, в-третьих, речь идет не об изоглоссе отдельного явления (пусть часто встречающегося), а, по существу, об изоглоссе некоторой системы из двух членов: в прусско-ятвяжской области Kirsna ‘черная’ — Gaila

‘белая’[34], а в восточно-балтийской Juoda (латышск. Melna[35]) ‘черная’ — Balta ‘белая’; исключения в общем незначительны и не опровергают самого принципа.

Сейчас мы остановимся еще на одной изоглоссе, охватывающей еще большее количество топономических фактов; имеются в виду географические названия, содержащие корень akmen- ‘камень’ и охватывающие территорию Латвии и Литвы (в прусской языковой области в аналогичных случаях представлен корень stab-[36], ср. прусск. stabis ‘камень’; тот же корень представлен и в восточно-балтийских языках, но в виде аппеллятивов, ср. лит. stãbas, латышск. stabs).

Кажется, есть только одно существенное исключение из указанного распределения, а именно, в Сувалкии, к северу от Сейнай (лит. Seinai), в окружении гидрономик с akmen- расположено озеро Stabingis. Однако литовская колонизация в эту старую ятвяжскую землю дает простое и весьма правдоподобное объяснение нарушению принципа[37].

Территория, на которой представлены географические названия с akmen-, включает всю Литву и всю Латвию с прилегающими к ним районами Белоруссии и отчасти Великолукской области. Легко заметить, что подавляющее большинство этих названий (а по печатным источникам их отмечено более сотни)[38] сосредоточено на возвышенностях и горных грядах (Судувская, Дзукская, Ошмянская, Латгальская возвышенности, образующие целую цепь, охватывающую с юга и востока территорию Литвы и Латвии, а также Жемайтская и Западно-Курземская возвышенности на западе, недалеко от моря). Эта связь между возвышенным рельефом местности и географическими названиями с akmen- (ср. также этимологию и значение этого слова), конечно, не случайна и легко может быть проверена и на более широком материале.

Здесь нет ни места, ни надобности перечислять все названия с корнем akmen-[39] или все словообразовательные типы, которых немало. Зато следует отметить, что по мере приближения к славянским территориям постепенно увеличивается число двойных названий типа Akmuo || Kamionka, Poakmenė || Podkamie*ń*[40] и т. д., пока, наконец, они не сменяются исключительно славянскими названиями, которых на прилегающей к Литве и Латвии славянской территории великое множество[41].

В этих условиях особо выделяется название левого притока Вилии (лит. Neris) Ошмянки (лит. Ašmena, ср. еще Ašmenẽlė), протекающей в пределах теперешней Молодечненской области (на этой реке стоят два населенных пункта с аналогичным названием — *Ошмяны* и *Мурованая Ошмянка*). Вероятно, восточно-балтийская топонимия насчитывает еще несколько примеров такого рода, однако нет достаточной уверенности в их надежности и поэтому сейчас их лучше оставить в стороне[42]; исключение составляют лишь такие

вполне определенные случаи, как название крестьянской усадьбы в Латвии asmaņi, «asmeņu»-ęzęrs в районе Дзербене[43], *Ашмонишки* в бывшей Вевиржанской волости Литвы[44].

Традиционная этимология связывает эти названия с лит. ašmuõ, латышск. asmens, имеющими значение ‘острие’, ‘лезвие’[45], решительно отделяя их от корня, обозначающего ‘камень’. И, действительно, пока нет вполне надежного объяснения для того случая, когда представлены два дублета, восходящие, по-видимости, к **ак-* и **ак'-*. Как бы ни были остроумны некоторые объяснения общеизвестных в балтийских и славянских языках вариантов такого рода, они оказываются недействительными в данном случае, где все условия были одинаковыми. В самом деле, даже весьма правдоподобное мнение С. Агрелля[46] о веляризации k' перед твердым r (предполагается гетероклитическое склонение *ak'r̥, род. п. *ak'nes и т. д.[47] никак не помогает установить причину существования этих двух вариантов. Но точно так же, как правило, остаются необъясненными и все остальные случаи, когда в одном языке является k (или g) в соответствии с сибилянтом других языков, принадлежащих к группе satəm. Можно возразить на это, указав, что в примерах типа слав. svekry при древнеинд. çvaçrū́, лит. smakrà при древнеинд. çmáçru или балт. klaus- при древнеинд. çru- отмечено одинаковое значение и тем самым как бы подчеркивается тождество слов, входящих в каждую из этих пар, тогда как akmuõ и ašmuõ имеют разные значения. Однако с нашей точки зрения такое объяснение несостоятельно (хотя оно и распространено), так как оно не учитывает того, что существует весьма малая вероятность встретить в одном языке два слова почти одинаковых по своему фонетическому облику и с одним и тем же значением. Обычно в таких случаях происходит дифференциация значения, напоминающая ту, что представлена в паре *город* : *зород*. Скорее всего именно такая дифференциация и развела значения в парах akmuõ : ašmuõ и т. д., но все-таки не настолько, чтобы окончательно порвать старые связи. Разрыв же в значении, видимо, образовался не раньше, чем возникли оба варианта корня *ak- || *ak'-.

В свете только что сказанного и учитывая особенности местоположения р. Ошмянки и других мест того же названия, нам представляется возможным предположить топонимическое тождество географических названий с корнем akmen- и ašmen- (латышск. asmen-): то, что в одних местах называется Akmena, в других имеет вид Ašmena[48]. Каким образом возникли эти различия, сказать трудно; сейчас же важнее подчеркнуть одинаковую отнесенность этих названий в физико-географическом плане[49].

Если же идти еще дальше, за пределы балтийской территории, то названным двум вариантам литовско-латышских гидронимов будут соответствовать славянские, содержащие корень *камен-*, а на юге центральной части Рос-

сии — иранские с правильной сатемной трактовкой индоевр. *k', ср. *Осмонь* (вариант *Асмонь*)[50], правый приток Свапы; *Осмонька*, правый приток Осмони; *Каменная Осмонька* (тавтологический гидроним), левый приток Осмоньки (все эти реки в пределах Курской области)[51]. Таким образом, именно иранские гидронимы ближе всего смыкаются с соответствующим балтийским типом (aš́men-)[52]. Наконец, в иранской ономастике имеются примеры, типологически напоминающие названия типа *Мурованая Ошмянка*, однако об этом будет сказано уже в другом месте.

Примечания

[1] См.: A. Sjögren. Über die Wohnsitze und die Verhältnisse der Jatwägen. SPb. 1858, оставляя в стороне совершенно устаревшие исследования вроде диссертации Е. Хеннинга «De rebus Jazygum sive Jazuingorum». Regimonti, 1812.

[2] См. прежде всего работы: A. Kamiński. Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne // Łodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II. № 14. Łodź, 1953; Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny // Wiadomości Archeologiczne. T. XXIII, zesz. 2. 1956. S. 131—168; Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do XIII w. // Materiały Starożytne. T. I. 1956. S. 193—273; см. также: W. Kuraszkiewicz. Domniemany ślad Jadźwingów na Podlasiu // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 1. Warszawa, 1955. S. 334—348; St. *Zajączkowski*. Problem Jaćwieży w historiografii // Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. XIX, zesz. 1. 1953. S. 7—56 и его более ранние статьи: Kaip Jotvingiai buvo vadinami viduriniais amžiais. Lietuvos Praeitis. I tomas, 1 sąsiuvinis. Kaunas, 1940. P. 57—76; Jotvingų problema istoriografijoje // Ibid. I tomas, 2 sąsiuvinis. Kaunas, 1941. P. 387—468; отчасти H. *Lowmiański*. Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów // Przegląd historyczny. T. XLI. 1950. S. 152—179. Ятвяжская топонимия Сувалкии нашла недавно исследователя в лице шведского ученого К. О. Фалька, см. K. O. Falk. Wody wigierskie i huciańskie. Studium toponomastyczne. I—II, Uppsala, 1941.

[3] См.: M. *Töppe*n. Historisch-comparative Geographie von Preussen. Gotha 858; J. Sembrzycki. Ziemie północne i zachodnie kraju żudwińskiego i ich granice. Wisła, t. V, 1891, 851—864 (немецкий текст Die Nord- und Westgebiete der Jadwinger und deren Grenzen был опубликован в Altpreussische Monatschrift, Bd. XXVIII, 1891, 76—89); последняя работа содержит основательную критику взглядов Шёгрена.

[4] См.: A. Kamiński. Jaćwież. 40—47; Z badań nad pograniczem. 133.

[5] Вопреки Тёппену так думали Шёгрен и (более определенно) Н. Барсов, за которым следовали В. Антонович, А. Андрияшев, Е. Замысловский и некоторые другие.

[6] См.: B. Podczaszyński. Wykopalisko z grobu niecia łopalnego pod wsią. Dworaki-Pikoty w Łomżyńskim. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. VII, 1883, 89—92.

[7] Попытку приурочения к ятвягам определенных археологических памятников сделала недавно Ф. Д. Гуревич (*Ф. Д. Гуревич.* К вопросу об археологических памят-

никах летописных ятвягов // Краткие Сообщения Института истории материальной культуры. Вып. XXXIII. 1950. С. 110—120). Там же критика скептического отношения Н. Авенариуса к возможности такого приурочения.

[8] Что касается слова poršuk (paršuk), то его ареал несравненно шире, чем указано у Курашкевича. См.: Е. *Карский*. К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие // РФВ. Т. XLIX. 1903. С. 20 (тут же литература). Поэтому именно ятвяжское происхождение слова poršuk (paršuk) представляется нам проблематичным.

[9] Продвижение ятвягов на юг в XIII в. иногда связывается с упадком польского государства и ослаблением Руси в результате татарского нашествия. См.: Z. Gloger. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków, 1900. S. 202.

[10] См.: A. Jabłonowski. Polska XVI wieka pod względem geograficzno-statystycznym. T. VI, cz. 2. Podlasie. Źródła Dziejowe. T. XVII. Warszawa, 1909. S. 3—4; Z. Gloger. Op. cit. S. 201—202.

[11] См.: A. Jabłonowski. Op. cit. S. 3.

[12] Совершенно произвольная трактовка этого имени («…наместник из области Нарева») дана в кн. «Очерки истории СССР» IX—XIII вв. М., 1953. С. 687. Гораздо обоснованнее старое предположение о том, что вторая часть имени представляет собой родительный притяжательный от Гунар(ь); ср. имена других русских послов.

[13] К сожалению, не ясно, когда было основано Берестье. Возможно, заслуживает внимания мнение П. А. Иванова (*П. А. Иванов*. Исторические судьбы волынской колонизации. Одесса, 1895. С. 91) об основании Берестья в 983 г., во всяком случае, оно более вероятно, чем предположение И. Беляева (*И. Беляев*. История Полотска. М., 1872. С. 26—27), относящего основание города к еще более раннему времени. М. Н. Тихомиров (*М. Н. Тихомиров*. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956) вообще не затрагивает вопроса об основании Берестья.

[14] К такому выводу пришел еще *Н. П. Барсов* в книге «Очерки русской исторической географии. География начальной (Несторовой) летописи». Варшава, 1885. С. 39—41.

[15] См.: A. Kamiński. Z badań nad pograniczem. S. 163—164. На основании языковых данных К. Буга (K. Būga. Kalbų mokslas bei mūsų senovė. Kaunas, 1913. С. 12) считал, что русские узнали ятвягов (и голядь) в период между VII—VIII и X веками.

[16] Ср. название деревни Ятвезь у реки Лососны, к северо-востоку от Пружан. Кажется, это самый южный пункт, непосредственно указывающий на ятвягов, см. *Н. П. Барсов*. Указ. соч. С. 41; ср. также, видимо, ятвяжские названия рек с суффиксом -da (ср. прусск. unds «вода») типа Ясельда, Голда, Гривда, Невда, Сегда, Соколда, о которых писал К. Буга (K. Būga. Jotvingų žemės upių vardų galūnė -da. Tauta ir Žodis. I. 1923. P. 100.

[17] См.: *Н. П. Барсов*. Указ. соч. С. 229—230. Едва ли можно считать, что названия такого рода являются реминисценциями из времен Семилетней войны, как это предполагает М. Фасмер (правда, для других территорий). См. Beiträge zur historischen Völkerkunde: I. Die Ostgrenze der baltischen Stämme. Berlin, 1932. S. 20.

[18] Ср. a wtore ji widział Mojżesz we krzu połającego. Свентокшижские проповеди. VI dv. 16; Jacom ya nyep-ral mchv sjacubowa krza samopyanth silø. W. Kuraszkiewicz, A. Wolff. Zapiski i roty polskie XV—XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej.

Kraków, 1950. S. 313; ср. также S. B. Linde. Słownik języka polskiego. T. 2. S. 353 и Варшавский словарь. Т. 2. С. 331.

[19] Собственное имя (прозвище) Kierz встречается уже в Привилегии Генрика Бородатого тшебницкому монастырю в 1204 г., опубликованной в MPKJ. IV. 482—487. Ср. также W. Taszycki. Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Kraków, 1925. S. 77. Название местечка недалеко от Львова Krznilow (Кшнилов) объясняется довольно просто, если учесть другое название этого пункта — Sknilow.

[20] См.: G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922. S. 64; *Э. Вольтер*. Список населенных мест Сувалкской губ. СПб., 1901. С. 132, 140, 170, 200, 287. Подобное же название известно и из древнеинд. (ср. K*ṛṣṇā*).

[21] См.: G. Gerullis. Zur Spraclie der Sudauer-Jatwinger. Festschrift Ad. Bezzenberger zum 14. April 1921. Königsberg, 1921. S. 49; K. *Būga.* Lietuvių kalbos žodynas. II sąsiuvinis. Kaunas, 1925. LXXXIII.

[22] См.: K. O. Falk. Op. cit. I. 181. О том, какие реки обычно называют «черными», см.: *В. Шмилауэр*. Vodopis starého Slovenska. Praha; Bratislava, 1932. С. 464.

[23] Интересно, что орденские документы в районе Балги отмечают Joduthen. См.: G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen. S. 51.

[24] Следует сделать одно дополнение. Иногда полной поляризации нет, и вместо нее зависимость между первым и вторым названием проявляется в том, что второе определяется в том же плане, что и первое (план величины, цвета и т. д.).

[25] См.: K. O. Falk. Op. cit. I. 192. S. 215 и др.

[26] О славянских названиях рек с суффиксом -ava (*Рудава, Орава, Морава, Упава* и т. д.) см.: *А. И. Соболевский* // ИОРЯС. Т. XXVII. 1922. С. 272—273.

[27] Довольно полный перечень рек с подобным названием (не только в Белорусии) дан К. Бугой; см.: K. B*ū*ga. Upių vardų studijos ir aisčių bei slavėnų senovė. Tauta ir Žodis. I. 1923. P. 19, и особенно Aistiškosios kilmės Gudijos vietovardžiai // Ibid. 43.

[28] Болото и лес, в которых берет начало Кшна, вместе носят название Jata; однако, учитывая то, что оно изредка встречается и в других местах, следует воздержаться от сопоставления этого названия с именем ятвягов (к тому же, этому сравнению препятствуют и некоторые другие факты).

[29] Следует исходить из того, что в определенную эпоху в известных положениях все балтийские диалекты знали переход s > *š*, представленный сейчас только в литовском языке. Вероятнее всего, что *š* (как и *ž*) исчезли тогда же, когда и *š*, *ž*, восходящие к *k*'*, *g*'*; дата этого процесса для латгальских и селийских говоров (в некоторой степени это может относиться и к западно-балтийским диалектам), насколько возможно, определяется К. Бугой. См.: K. B*ū*ga. Die Vorgeschichte der aistischen (baltischen) Stämme im Lichte der Ortsnamenforschung. Streitberg Festgabe. Leipzig, 1924. S. 20.

[30] Особенно близкую параллель представляют польские заимствования в прусском языке до X в. См. из новых работ: T. Milewski. Stosunki językowe polsko-pruskie // Slavia Occidentalis. T. XVIII. 1939—1947. S. 21—84.

[31] Следует еще раз подчеркнуть, что развитие могло проходить и иначе, в частности, без перехода s в *š*; в таком случае, может быть, получили бы объяснение и два других названия этой реки — Trzna и C*na* (1. *K*š*sna > K*š*na, 2. *K*š*sna > *T*š*sna > *Tšna*, 3. *K*š*sna > *T*š*sna > *Tsna > C*na*; однако, не зная распределения этих названий и не

имея надежных исторических указаний, мы воздерживаемся от каких-либо дальнейших заключений).

Известное препятствие нашему объяснению представляет собой древнерусск. название Кшны — *Кръсна* (см. Хлебниковский и Погодинский списки летописи под 1282 г.; в Ипатьевском списке, видимо, ошибочно — *Кросна*). Поскольку фонетически Krъsn*a* (тем более, Krosna; так и сейчас в Польше называется ряд рек и других географических пунктов) не могло дать Krzna, приходится думать, что древнерусск. форма отражает этап *Kŕъsna с известным отвердением *ŕ*. *А. И. Соболевский* // ИОРЯС. Т. XXVII. 1922. С. 263, оставляет это слово без объяснений.

[32] См.: K. B*ū*ga. Lietuvių kalbos žodynas. II sąsiuvinis, LXXX.

[33] См.: H. Krahe. Sprache und Vorzeit. Europäische Vorgeschichte nach dem Zeugnis der Sprache. Heidelberg, 1954; Die Sprache der Illyrier. I. Heidelberg, 1955; Baltisch und Illyrisch. Festschrift M. Vasmer. 1956; другие работы этого автора, посвященные связям балтийских языков с иллирийским, указаны в нашей статье, см. Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. 1958; K. Kasparsons. Illyrica. Filologu Biedrības Raksti. XVIII—XX. 1938—1940; V. Kiparsky. (рецензия на книгу А. Росетти Istoria limbii române) Neuphilologische Mitteilungen. Bd. XLVIII. 1947. S. 6; G. Alessio. Un oasi linguistica preindoeuropea nella regione baltica? // Studi Etruschi. XIX. 1946—1947. P. 141—176; см. также ряд работ Р. Шмиттлейна и др.

[34] Ср. Gailen, Gailgarben, Gayliten, Gaylne, Gaila и т. д. См.: G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen. S. 35; K. *Būga*. Lietuvių kalbos žodynas. LXXXIII.

[35] Ср. *męlnupe*. BW. 30710.

[36] Ср. Stabaras, Stabayen, Stabegode, Stabelauken (в литовском есть Stablaukis), Stabelow, Stabingen, Stabynotilte, Stabuniten. См.: G. Gerullis. Op. cit. S. 171—172.

[37] См.: K. O. Falk. Op. cit. I. P. 6—7. Укажем еще один не отмеченный до сих пор пример из той же области: километрах в 20 к юго-востоку от Августова находится деревушка *A*kmuo, а в 4 км к северу от нее другая — *Š*tabinas, несомненно представляющая старое название Stabinas.

[38] См.: J. Endzelins. Latvijas PSR vietvārdi. I daļa, 1. sējums A—J. Rīgā, 1956. P. 14—17; A. Bielenstein. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. SPb., 1892. S. 109, 247, 298—299, 427; Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906. С. 99, 118, 120, 136, 142, 218, 221, 233, 330, 333, 344, 345, 362; *И. Я. Спрогис*. Географический Словарь древней Жомойтской земли 16 столетия. Вильна, 1888. С. 3, 210—211, 253 (*Поокмяны*, *Поокменское* войтовство); Алфавитный список населенных мест Ковенской губернии. Ковна, 1903. С. 1—2, 39, 67, 129, 177, 235, 276, 325, 362, 416, 490, 512, 569—570, 575; *Ю. Трусман.* Этимология местных названий Витебской губернии. Ревель, 1897. С. 3; *Э. Вольтер.* Список населенных мест Сувалкской губ. СПб., 1901. С. 48, 270; K. B*ū*ga. Upių vardų studijos ir aiščių bei slavėnų senovė. 16; K. O. Falk. Op. cit. I. P. 89—91; Lietuvių kalbos rašybos žodynas. 1948. P. 383; J. Safarewicz. Litewskie nazwy miejscowe na -iszki // Onomastica. 1956. 2. P. 24, 37, 61; и др.

[39] Некоторые из этих названий претерпели значительную фонетическую эволюцию, ср. Odm*ę*t (K. O. Falk. Op. cit. I. P. 89), другие засвидетельствованы в сильно искаженной форме (ср. Aggemine в латинских и Aggenine в немецких источниках в соответствии с лит. Akmenin*ė*, ср. A. Bielenstein. Op. cit. P. 247

(с другой стороны, ср. *Огмяны*. Алфавитный список населенных мест Ковенской губ., 416).

[40] См.: K. O. Falk. Op. cit. I. P. 90.

[41] См. хотя бы «Список населенных мест Витебской губернии» (в индексе отмечено свыше 50 случаев).

[42] Ср. крайне спорные названия типа *Ошнупис, Ошнупцы* (см. *И. Спрогис*. Указ. соч. С. 215) при *Окнупе* (см. Список населенных мест Витебской губернии, 222), «akņupis-pļavis» (J. Endzelīns. Latvijas PSR vietvārdi. 18), в связи с чем возникает сомнение и относительно этимологии названия реки Aknystà, предложенной К. Бугой, см. Rocznik Slawistyczny, VI, 26 (ср. также J. Endzelīns. Op. cit. P. 17—18); ср. еще более неясные названия вроде Ašmintà, Ašmantai (см. Lietuvių Tauta. V. 1935. P. 263), *Осмото, Осмотище* (бывшая Селищская волость Витебской губ. См. Список населенных мест Витебской губернии, 92) и др.

[43] См.: J. Endzelīns. Latvijas PSR vietvārdi. P. 44.

[44] См.: Алфавитный список населенных мест Ковенской губернии. С. 514.

[45] Следует указать, что лит. ašmuõ известно лишь из крайне незначительного числа источников; обычно вместо него выступает ãšmens, ãšmenys. См.: J. Balčikonis. Lietuvių kalbos žodynas. T. I. A—B. Vilnius, 1941. P. 274.

[46] См.: S. Agrell. Baltoslavische Lautstudien. Lund, 1919. P. 27; отчасти с ним солидарен В. *Махек* // IF. Bd. LIII. 1935. P. 89 и след. Новейшую литературу поэтому вопросу см. E. Fraenkel. Die baltischen Sprachen. Heidelberg, 1950. S. 14—18.

[47] Здесь Агрелль опирался прежде всего на труды своих соотечественников Г. Петерссона и К. Ф. Иоханссона в области индоевропейской гетероклизии. Следует указать также на объяснение, данное Эндзелином латышек, диал. форме akrims. См.: Baltica. KZ. XLIV. 1911. P. 65.

[48] Особого внимания заслуживает фракийское название реки Ἄσαμος (от корня *ak'-), обозначающее «каменная река» (это значение бесспорно; см. *Д. Дечев*. Характеристика на тракийския език. София, 1952. С. 11—12 и 71 со ссылкой на Гюнтерта). Столь же существенно, что фрак. Σάμος (тот же корень) Страбон передает словом ὕψος (X, 457).

[49] Любопытно замечание И. Сташевского по поводу названия *Ошмяна*. См. Słownik Geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Gdynia, 1948. Wydanie 3, 229.

[50] См.: *П. Маштаков*. Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913. С. 220; Vasmer M. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrussland. Leipzig, 1923. S. 76; *А. И. Соболевский*. Русско-скифские этюды // ИОРЯС. Т. XXVII. 1922. С. 285 (приведены и другие варианты).

[51] Возможно, что иранскими по происхождению являются и некоторые другие гидронимы типа *Омоня, Осьма* и т. д., отмеченные на юге России с уже изменившимся обликом.

[52] Что касается балтийских названий с *a*kmen-, то они находят аналогию в малоазиатских и балканских топонимиях типа Ἀκμονία.

1959

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО БАЛТИЙСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ (1957—1961)*

За последние пять лет появилось не менее полутораста работ, в той или иной степени связанных с балтийской этимологией. В них предлагаются новые объяснения или отвергаются старые, вносятся существенные уточнения или частные поправки, устанавливаются до тех пор неизвестные лексические соответствия с другими языками или же определяются заимствования. В этимологических исследованиях обозреваемого периода приняло участие несколько десятков специалистов. Все это дает основание говорить об оживлении работы в данной области, заставляющем верить, что лучшие времена для балтийской этимологии — еще впереди.

Тем не менее пока трудно говорить об удовлетворительном состоянии разработки балтийской этимологии: до сих пор еще нет ни одного законченного этимологического словаря балтийских языков; слишком значительное число предлагаемых объяснений носит факультативный характер и часто не поддается надежной проверке; наконец, почти отсутствуют этимологические работы, в которых совокупность анализируемых слов исследовалась бы под углом той или иной общей идеи. Отсюда — особое положение, когда даже не очень искушенному исследователю удается иногда сравнительно легко напасть на верный путь и, наоборот, когда даже опытный специалист не гарантирован от серьезных просчетов.

Несомненно, что самое значительное событие в этимологическом исследовании балтийских языков и, пожалуй, вообще в изучении этой группы языков представлено продолжающимся выходом «Литовского этимологического словаря» Э. Френкеля. Полнота используемого материала и высокое искусство выбора наиболее убедительных объяснений способствовали тому, что этимологические исследования балтийских языков в последние годы все бо-

лее и более концентрируются вокруг этого словаря. Несомненно, что оживление работы в этой области самым непосредственным образом связано с появлением первых тетрадей френкелевского словаря [1]; его завершение (пока выпущено 11 тетрадей, предполагается, что весь словарь будет состоять из 13—14 тетрадей, не считая двух-трех выпусков, содержащих индексы) [2] будет наиболее действенным стимулом для развертывания дальнейших исследований в этом направлении [3].

К числу отрадных явлений следует отнести пробуждение интереса к этимологическим исследованиям в Прибалтике, прежде всего в Литве (так как в Латвии, по существу, появилась лишь одна небольшая статья Я. Эндзелина [4], в которой, между прочим, объясняются из средненижненемецкого два латышских названия крестьянских усадеб — Skapari и *Sliteri*, а из лит. *meldinės* knygos — лтш. meldiņš ʻнапевʼ и высказывается предположение, что в лтш. sakãrnis ʻпеньʼ слились два старых слова, ср. лтш. saka, лит. *šak*à и русск. *корень*). В частности, закончено исследование А. Сабаляускаса, посвященное происхождению названий сельскохозяйственных растений в балтийских языках и защищенное в качестве диссертации [5]. В печати появился целый ряд отдельных этюдов по этимологии и истории соответствующих названий [6] и статья, содержащая выводы общего характера [7]. Автор, сосредоточиваясь прежде всего на вопросе происхождения и распространения названий растений, вносит ряд уточнений в этимологические объяснения. Иногда они довольно существенны (ср. этюд о лит. kvietỹs, лтш. kviesis, в которых Сабаляускас видит исконно балтийское слово; рассуждения о названии лука svogū̃nas, которое в свете диалектных данных оказывается по происхождению караимским, ср. караим. sogán и др.). Ряд деталей, относящихся к диалектным названиям лука, чеснока и брюквы в литовском языке, разъяснен В. Урбутисом [8]. В той или иной степени связаны с этимологией некоторые статьи В. Мажюлиса (справедливая критика сделанного Б. Чопом сопоставления хетт. karu̯a- с лит. *šá*rvas, прусск. sarwis; сомнения в правомерности сближения лит. gùdras/gudrùs, лтш. gudrs с хетт. kutru- ʻсвидетельʼ; предположение, что название Neringà представляет собой германизированную форму старого балтийского слова; наблюдения над семантическими особенностями литовских слов dvãras и kiẽmas и т. п.) [9] и Р. Миронаса (суффикс -gu-/-agu-, встречающийся в лит. *ž*mogùs, mandagùs, объясняется с помощью и.-е. I *əég^u-u̯- : II *əg^u-éu̯- = *g^{u}ú- ʻидтиʼ; отсюда *ž*mogùs — «žeme einąs», а mandagùs — «lėtai einąs») [10]. Наконец, можно назвать несколько критико-библиографических обзоров и информационных заметок (иногда с необходимыми уточнениями), посвященных, в частности, работам по балтийской этимологии [11].

Единственной монографией, в которой вопросы этимологии и истории рассматриваются как основные, является исследование Г. Якобссона, посвя-

щенное анализу группы балтийских и славянских слов, восходящих в конечном счете к и.-е. *temp-[12]. Опираясь на обширный материал (включая диалектный и ономастический), автор исследует историю балтийских и славянских слов этого корня, подчеркивая, что несколько неопределенный характер их в сочетании с экспрессивностью дали основание для весьма сильного отклонения семантики этих слов от первоначального значения *temp-. Пожалуй, наиболее любопытной частью книги следует считать страницы, на которых приводятся примеры поразительного параллелизма в развитии латышских слов с корнем temp- и соответствующих славянских, делающие допустимым предположение о древнем характере этих сближений (ср., между прочим, переход значений 'тянуть' > 'пить': лтш. tèmpt 'пить, выпить' — русск. *тянуть водку*, *тяпнуть* (= выпить) и т. д., подтверждаемый и рядом других языков).

С целым рядом новых этимологий литовских слов выступил недавно В. Махек[13]. Укажем некоторые из них. Анализируя лит. áitvaras, чешский лингвист предлагает исходить из варианта áičvaras, поскольку в таком случае открывается возможность рассматривать это литовское слово как заимствование из польск. poczwara. В слове akéivai обнаруживается тот же суффикс, что и в слвц. b(r)*ezočivý*, *prezočivý*. Лит. ãkstinas трактуется как заимствование из слав. ostьnъ, а лит. alvaras — из праслав. *orz-vora (ср. польск. rozwora). Последнее объяснение кажется довольно натянутым (к числу подобных этимологий следует отнести еще некоторые: ar̃das из слав. *odrъ*; balánda — греч. *βλίτον*; balañdis — слав. golǫbь; baũžas — чеш. pouh(l)y; ber̃ti — греч. *σπείρω* с меной p/b и подвижным s-; bèsti — русск. *пахать*; burnà — слвц. perna; blùzgana — *lup-skati — интенсивный глагол от lupiti; bir̃gzti — слав. *vьrzg-, ср. чеш. диал. *vržd*(*ž*)et; be*r̃žas* — слав. *pa-pьrskъ; *blódėti* — лат. *rōdō*; bingùs — лат. pinguis[14] и т. д.). Более удачны этимологии anskat (из anàs и skatýti), anúoti (также от anàs, ряд семантических параллелей), apynia*ĩ* (ср. apvy*niaĩ*, от výti), avi*ẽtė* (от avìs), baidýti (фактитив от глагола, соответствующего слав. *bojati sę), *bìtė* (сокращение от *bik-*utė*, ср. слав. *bьčela* из *bik-*elā*), bliù*kšti* (ср. лтш. bļugt) и др. Некоторые образцы этимологий Махека интересны независимо от возможностей иного объяснения; ср., например, álbicais (может быть, связано с нем. allenseits), á*mžius* (отказ от сравнения со слав. m*ǫžь*), apént (едва ли верно предлагаемое Махеком сближение с хетт. appanda; к тому же автор игнорирует жемайтскую форму этого слова), *apiẽ* (по-видимому, смешивается формальная эволюция предлога с семантической), ãpskritas (ср. ст.-слав. **окрьстъ** из *ob-skrьt-), aumonis (ср. слав. u-man-*ją*, твор. п.), *ą̃žuolas* (= *áižuolas*, ср. греч. *αἰγίλωψ*, долат. **aig'olos*), bè (употребляясь при глаголе, оно напоминает be- в нем. be-stehen, sich be-finden и т. п.). Из других этимологических сопоставлений Махека можно.указать та-

кие, как лит. liemuõ — лат. *līmen*; лит. reikė̃ti, reĩ*kti* — лат. licet (?) [15]; лит. bèsti, bedù — хетт. padda ʽрыть’ [16]; ср. также рассуждения о заимствованных из славянского балтийских словах, обозначающих борщ, и др.

Н. Минисси предложил возвести лит. krã*štas*, лтш. krasts, как и слав. kraj, к и.-е. *(s)ker- с расширением -st- (ср. тох. А kärṣt-, В kärst-, karst ʽрезать’ и хетт. kar-a*š*-mi ʽя режу’), предполагая в качестве первоначального значение ʽпредел, граница’ [17]. Если это так, то перед нами не отмеченная до сих пор балто-славянская параллель, отличающаяся от генетически связанных форм других языков в двух отношениях: балтийское и славянское слова восходят к основе в состоянии II и характеризуются особым развитием значения.

Продолжал серию балто-славянских этимологий Б. Чоп [18]. Среди них малоудачное сопоставление прусск. *kaāubri* (= kaubre) со слав. *kǫpa, *kǫpina и указание на возможность связи между лит. esỹs, asỹs, лтш. *ašķi* и лат. arista ʽость колоса’(из **ases*ta); между лит. gilùs и армянскими словами того же корня — *ənkłmem, ə*nkłnum и др. В другом месте тот же автор, исходя из семантического перехода «тянуть руки за чем-либо» > «желать», сопоставляет лит. gobùs с блр. *хабаць* [19]. Ф. Безлай недавно предложил в. связи с этимологией словенского названия ядовитого гриба olik сравнение лит. vil̃nis, vilnī*tis*, ʽволнуха’ с русск. *волвянка*, *волнуха*, а Р. Бернар: лит. brinkti — болг. *брекнувам*; лтш. bauga — болг., русск. *буга* [20].

С двумя балто-славянскими сравнениями выступил М. Фасмер [21]: русск.-ц.-слав. *абрѣдъ*, встречаемое в евангельском тексте (Матфей, III, 3) в соответствии с греч. ἀκρίδες, разлагается на префикс, сопоставимый с содержащимся в ц.-слав. **ıаскоудь**, **ıагоугнивъ**, при дублетах без префикса, и корневую часть, соответствующую прусск. braydis, лит. brìedis, лтш. briêdis (семантическая параллель: русск. *олёнка* ʽнавозный жук’ : *олень*); др.-чеш. makati, mácě̃ti, польск. диал, *makać*, в.-луж. maka*ć* и т. д. сопоставляются с балтийским корнем *mak-, ср. лит. mokė̃ti, лтш. mâcêt и т. д. Шютц указал на общее балтийским и славянским языкам табуистическое обозначение змеи (ср. с.-хорв. guja — лит. gauja) [22], а В. Георгиев — на слово, идентичное балтийскому обозначению реки, в слав. -*ор*- [23].

Ряд этимологий балтийских слов принадлежит О. Н. Трубачеву. Среди них привлекающее внимание сопоставление лит. *šarmu*õ, *šermu*õ, лтш. sar̂mulis ʽгорностай’ с русск. *росомаха* (из праслав. *sormaxa, ср. укр. диал. *соромаха*) и особенно удачное объяснение балтийского слова, обозначающего глагол «болеть» (ср. лит. sir̃gti, sergú ʽболеть’ и лит. sé*rgėti* ʽохранять, стеречь’, позволяющие не только восстановить семантическую эволюцию слов этого корня в литовском, но и восстановить связь между хетт. *ištark*- ʽзаболеть’и слав. *sterg*ǫ* ʽстерегу’) [24]; указание на славянское соответствие лит. sar̃tas (слав. **хъrtъ*) [25] и лит. kabė̃ti (слав. *kobь) [26]; обнаружение еще одной балто-

арийской изоглоссы (ср. лит. kaktà ʽлоб’ и согд. *čakt / čk’t* ʽлоб’, пехл. *čakā*t)[27], любопытное в свете ряда недавних работ, обнаруживших довольно значительное количество важных балто-иранских параллелей[28]; объяснение лит. *šiáudas* ʽсолома’ и *lopšỹ*s ʽколыбель’ заимствованием из финно-угорских языков[29]; наконец, целый ряд частных замечаний и уточнений этимологии отдельных балтийских слов в связи с анализом славянских терминов родства и названий домашних животных[30].

Существенные соображения относительно этимологии названия балтийского и славянского бога грома с рядом уточнений и новых сближений, основанных на предложении А. Гётце (ср. хетт. peruna-), приведены Вяч. В. Ивановым[31].

Попытка связать лит. nõ*vė*, nõvyti, лтш. nâve, nâvêt (и, конечно, слав. *navь*) со словами того же корня, но с иным расширением (лит. nóktі, лтш. *nākt* и рядом других) на широком фоне соответствующих слов других языков предпринята В. Н. Топоровым[32]. Им же указано несколько параллелей между балтийскими и славянскими языками в области мифологических представлений (в частности, прусск. cawx, лит. ka*ũ*kas, лтш. *kūķis* — болг. *кук*, *кукир*, *кукер* и др.)[33], а также оспорена предлагаемая чешскими лингвистами этимология лит. *žlìbas* (= слав. *slěpъ*) и указаны внутренние связи этого слова в пределах балтийских языков[34].

Б. А. Ларин посвятил специальный этюд с преимущественным вниманием к семантической стороне дела доказательству правомерности сопоставления лит. *šarm*à, *šármas*, лтш. sarma (и далее — лит. *šer̃kšnas*, лтш. sersna) со слав. *срамъ*, иранск. *šarm* и т. п.[35] Видимо, не приходится сомневаться в убедительности этого сближения. Напротив, маловероятна попытка доказать, что балтийское название янтаря могло быть заимствовано из угорских языков[36].

В. П. Шмид, отвергая традиционную точку зрения, согласно которой прусск. curtis, лит. kùrtas, лтш. kurts являются заимствованием из славянского, пытается доказать исконность этого слова в балтийских языках, предлагая, кажется, малоубедительное сближение с перс. kurrah ʽжеребенок’ (из *kurna-)[37]. Более интересно сделанное тем же автором сопоставление мессап. noman (PID, II: 474) с лит.-лтш. núoma ʽарендная плата’ и мессапской конструкции родительного падежа с послелогом no с балт. nuo в соединении с тем же падежом[38]. Из других мессапско-балтийских соответствий заслуживает внимания предложенное Г. Краэ сопоставление мессап. kraotedonas с лит. krutùs ʽподвижный’[39].

Лит. agnus (ãgnus) ʽподвижный, быстрый’, не имевшее достаточно надежной этимологии, стало предметом объяснения Ю. В. Откупщикова, выводящего это слово из корня ag- ʽгнать, приводить в движение’, ср. др.-инд. ajirá-, лат. *aginō* ʽспешу’ и т. п.[40]

Этимологический, по сути дела, анализ позволил Х. С. Стангу и А. Вайяну восстановить минимальные синтаксические сочетания, превратившиеся в дальнейшем в единые формы: Станг указал, что литовский союз jéib содержит b, идентичное оптативной форме вспомогательного глагола [41], а Вайян увидел в литовских формах, подобных *duočiau* (из **duotė*jau), сочетание супина с глаголом ʽидти’ (*ėjau*), ср. такие случаи, как лит. *idant duotų* (слав. id*ǫšt*-) [42].

Ряд балтийских слов (в частности, и те, этимология которых уже была известна и раньше) получил дополнительное освещение со стороны кельтского материала (с разной степенью вероятности), ср. лит. smalstu*maĩ* — кимр. blys ʽжелание’ (из *m̥̄ls-, ср. чешск. mlsati); лит. baublỹs — кимр. bod, boda ʽкоршун’ (*bheu̯-); лит. *braškė̃*ti, лтш. *brakšķèt* — брет. broc’hañ ʽраздражать’, кимр. brochi; лит. briáutis — кимр. brwysg ʽопьяненный’; лит. kasýti, лтш. kasît — кимр. cos, cosfa ʽчесотка, зуд’; лит. véngti — кимр. gwingo ʽизвиваться’ и т. д.; лит. pū̃liai — валл. il (из *pul-i̯-o); лит. lúžti — кимр. llygru ʽпортить’; прусск. laydis, лит. laistýti — кимр. llys ʽил, грязь’; лит. ligà, лтш. liga — валл. llyth ʽнежный, слабый’ (из *lei̯g-/*lei̯k-) и др. [43]

По мнению П. Скарджюса, лит. mantà ʽдвижимое имущество’ не должно отделяться от mant- в собственных именах (Algmantas, Daugmantas, Normantas, Vilmantas и т. п.), а также от глагола manýti [44]; эта связь вполне правдоподобна и объясняет ряд деталей семантического развития лит. mantà.

Из числа более частных сопоставлений отдельных литовских слов можно назвать некоторые: лит. ãrasas ʽсерый дрозд’ — русск. диал. *арса* ʽможжевельник’, перс. aris, то же [45]; лит. *garlė* — др.-исл. gersta, др.-в.-нем. gėrstī ʽгоречь’ [46]; лит. sètas — из англ. set и не имеет ничего общего с лтш. sę̄ts (как думает Блесе — KZ. 75. 1957: 111) [47].

Среди работ, ориентирующихся в первую очередь на латышский материал, заслуживают внимания работы Э. Блесе. В одной из них предпринимается новая попытка объяснить начальный гласный в лтш. uguns ʽогонь’ (лит. ugnìs) влиянием таких контекстов, как kurt uguni и т. п. [48] (в этом отношении уместно сослаться на другую статью по тому же вопросу, см.: E. Hauzenberga-*Štu*rma // ZfslPh. 25. 1956: 53—57) [49]. В другой статье Блесе рассматривает несколько латышских слов, объединенных наличием местоименного корня *s(u̯)-: svaînis, *svešs*, svabads, sę̄brs, sę̄ta и т. д. (ряд примеров далек от достоверности), а также обращается к объяснению лтш. vaĩcât ʽспрашивать’ (из *u̯ait-, ср.-прусск. waitiā̆t; верное объяснение, устраняющее старое предположение Эндзелина: из вопросительной частицы vai) [50]. Немало возражений и сомнений вызывает попытка этимологического решения лтш. aîcinât ʽприглашать, подзывать’ [51].

А. Гатерс выступил с рядом существенных уточнений, относящихся к лтш. balva [52]. Исходя из первоначального значения 'бить', присущего этому корню, автор восстанавливает семантическую эволюцию лтш. balva и предлагает новые параллели (как внутри балтийских языков, так и за их пределами — в германском, кельтском, славянском).

К. Дравиньш разъясняет слово Indija в латышском выражении elle un Indija! 'ад и Индия!' (вместо elle un indeve! 'ад и черт!') [53].

Но, пожалуй, наиболее интересны латышские этимологии Б. Егерса, проявившего себя как вдумчивый исследователь, строящий расчет не на корнеискательстве, а на предельном использовании внутренних ресурсов. Таково его объяснение взаимного отношения между лит. kèpti, лтш. cept 'жарить, печь' и лит. kèpti, лтш. ķept 'липнуть', где на основании убедительного анализа большого материала доказывается связь этих двух пар глаголов и отклоняется как необоснованное предположение о заимствовании лтш. *ķept* из литовского [54]. Образцовыми следует признать и некоторые другие этимологии этого ученого. Так, с помощью филигранного анализа ему удалось показать наличие в лтш. *brīdināt* среди других значений и значения 'переходить вброд' [55], позволяющего связать это слово с балто-славянским *bred- 'брести, переправляться', а также убедительно продемонстрировать, как из этого значения развились некоторые другие, ставшие в этом слове теперь основными. Там же Егерс объясняет лтш. buôlît, buôlêt 'таращить (глаза)' и др. (с -uo- из старого -*ōu*-), относя их к семье с.-хорв. *буљити, избуљити*, чеш. vybouliti (сюда же лит. buõilas, buõlis и т. п.). Рассматривая лтш. muca 'бочка' (из *muk*i̯ā*) и связывая его с maukt, maukna, Егерс приводит в качестве подтверждения и такое выражение, как *muceniski ādu mauk*t; с другой стороны, предлагаемое объяснение проливает свет на некоторые реалии, дополняя результаты известного исследования А. Биленштейна о деревянной утвари у латышей. Не менее убедительны и литовские этимологии Егерса: опровергнув мнение Френкеля, согласно которому лит. nesivaimė́ti является переделкой из *nesilaimė́ti, ему удалось доказать самостоятельность и исконность этого глагола (из **vaidmėtis*, ср. vaidmuõ), ср. лит. vaimė̃tis; правдоподобно и новое объяснение лит. vienguñgis, о котором недавно писали Отрембский и Френкель.

В области прусской этимологии за последние годы сделано очень немного. Э. Хеми, опираясь на засвидетельствованное в публикации Германа прусск. soye (= sū̆*jē*, ранее было известно suge, неопределенное в фонетическом отношении), указал на еще одну балто-албанскую изоглоссу — прусск. soye, алб. shi (ср. указанное раньше Хемпом сближение прусск. dadan- — алб. djathe, Word. 9. 1953: 139—140) [56]. В. П. Шмид, видимо, правильно отклоняет взгляды тех ученых, которые видели в прусск. lasto 'кровать' заимствование

из славянского, и исходит из корня *leg'h- ʻлежатьʼ, отраженного, кроме того, в лит. *lažà*, лтш. laža и в прусск.ʼ lasinna; словообразовательный анализ lasto укрепляет уверенность в обоснованности предлагаемого объяснения [57]. Х. С. Станг вновь обращается к рассмотрению прусских наречных образований о элементом -d-, видя в них балто-славянскую особенность [58]. Этимологии четырех прусских слов были предложены В. Н. Топоровым [59]: arrien (отказ видеть в этом слове заимствование), *dēigiskan* (не опечатка, как думали раньше, а несколько неуклюжий перевод нем. milde), etnīstis (отглагольное имя с абстрактным значением, *et-*nī*/nei̯-, ср. лат. ab-solvo, ab-solutio), *etskīuns* (*et-skei̯-/*skī*-, ср. сходное нем. Abschied, лит. atskíesti).

Значительное количество работ посвящено объяснению балтийских слов с помощью заимствований и, наоборот, объяснению слов соседних языков, отражающих балтийское влияние. Многие из исследований такого рода небезразличны для этимологии и уже в силу этого заслуживают (хотя бы самого краткого) упоминания.

Общий вопрос о критериях выделения заимствованных слов в литовском языке пытается решить В. Сиртаутас (фонетический и дистрибуционный критерий) [60].

Р. Экблом и в своих последних работах остался верен старой теме балто-германских контактов, ср. рассуждения о лит. kùni(n)gas и условиях его заимствования (около 1200 г.) из средненемецкого [61] или сопоставление балт. gud- с швед. gute, верное даже для тех случаев, когда gud- употребляется в таких словах, как *gudnoterė*, gudkarklis [62]. Специально немецкими заимствованиями в литовском занимался А. Зенн, продолжая направление своих прежних исследований. Многие из его объяснений поучительны. Особенно это относится к словам, которые по своему виду могут быть приняты за старые исконные формы балтийских языков. Так, например, лит. slinkti, возводимое Р. Траутманом к балто-слав. *slenk*ō*, оказывается более целесообразным выводить из н.-нем. slinken ʻкрастьʼ (ср. англ. to slink) [63]. В другой статье приводится еще целый ряд аналогичных примеров [64]: лит. *č*i*r̃*pti, cir̃pti из нем. zirpen (ср. англ. to chirp); лит. rãmaloti из нем. rammeln; лит. *rapšn*óti из нем. ruppsen; лит. rùsvelkis из нем. Rosswerk; лит. slìpti из н.-нем. slippen (ср. англ. to slip away); лит. smaksóti из н.-нем. smacksen; лит. pupà из нем. Puff (b*o*hne).

Э. Ниеминен продолжал исследовать проблему балто-финских лексических контактов [65], ему же принадлежит новое объяснение лтш. gatis, ранее объяснявшегося заимствованием из нижненемецкого (по мнению Ниеминена, не исключена возможность связи с праслав. **gatь*) [66]. О лит. *ši*áudas и *lopšỹ*s как заимствованиях из финно-угорских языков говорилось выше.

Несколько работ посвящено выявлению балтийских лексических заимствований в славянских языках. Естественно, что такие исследования дают

лишь косвенный материал для балтийской этимологии. Однако пренебрегать им было бы неразумно, тем более что часто остается неясным, идет ли речь об исконном родстве или о заимствовании. В этом смысле поучителен этюд П. Скарджюса, в котором высказывается мнение о том, что лит. dvakas не заимствовано из слав. *dvoxa(-ъ), а связано с dvėkuóti, dvikti, dvoka [67]. В других статьях Скарджюс объясняет русск. *витина* и польск. wicina из литовского названия плоскодонного судна vytìn*ė* [68] (приведенных аргументов больше чем достаточно, чтобы вполне согласиться с автором) и русск. *дякло*, блр. *дзякло*, польск. dziaklo из лит. **dėkla*(s), а не из *dėklẽ* (как предполагал Френкель) [69]. О. Н. Трубачев привел ряд примеров из русских названий каш, которые оказались заимствованиями из литовского: *тюря*, *путря*, *плескана*, ср. также *свисло* [70]. А. А. Вержбовский описал свыше трех десятков старых белорусских юридических терминов литовского происхождения (*крены девотчие* — лит. krienai, *мезглева* — лит. mẽzliava, *ринклева* — лит. riñkliava, *палукно* — лит. palū̃kanos, *ройтиник* — лит. raĩtininkas, *ошвиник* — лит. *ašvininkas*, *бендр* — лит. beñdras, *ушкур* — лит. *užkurỹ*s и др.) [71]. Балтийские элементы в польских говорах оказались описанными в книге покойного С. Вестфаля о польском языке (следы ятвяжского языка) [72] и в обстоятельной статье Т. Зданцевича (литуанизмы в районе Сейн) [73].

Весьма многообра́зны работы, посвященные ономастике балтийского происхождения (в общей сложности их несколько десятков). Как правило, они имеют дело и с этимологическими объяснениями или по крайней мере с приведением соответствий из других языков или с других территорий. Назовем лишь некоторые из таких работ. Скарджюс доказывает, что собственное имя Radvila(s) не имеет ничего общего с апеллятивом radvilà (первое — из Radi-vilas, от vìltis ʽнадеяться’, viltìs ʽнадежда’, ср. Mant-vilas и др., тогда как последнее — из *rad*u̯-ilā* : radulỹs), а название города *Ukmergė* является простой фонетической трансформацией старого Vilk(a)merg*ė* [74]. Френкель в одной из последних своих статей остановился на анализе ряда гидронимов на территории Литвы [Odmuõ, Vadak(s)tìs, Neretà, Nerìs, Nerỹs, прусское имя Warnekros] [75]. С целым рядом статей и заметок выступил Я. Отрембский. Им указано несколько названий ятвяжского происхождения (ср. Léipalingis, Azagis, Gáiliekas, Bil̃sas, Dùlgas, Niedà и др.) [76], проанализированы названия *Pilica* (ср. лит. Pelesà), Przemsza (ср. лит. Musià, Musẽ) с внесением ряда уточнений [77], Lietuvà [78], *Žeimen*à [79] и др., и также имя *Jagiełł*o [80]). Применительно к русским территориям работа такого рода проделана в монографии В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева о верхнеднепровской гидронимии [81] и отчасти в подробных исследованиях П. Арумаа, проанализировавшего некоторые спорные случаи [82]. О топонимических (прежде всего водных) названиях Прибалтики писали В. Дамбе, Б. Савукинас, А. Ванагас, В. Гринавецкис,

В. Мажюлис [83], а в более широком плане с привлечением центральноевропейского материала Г. Краэ [84], Р. Шмитлейн [85] и др. Несомненно, что осторожное этимологическое исследование ономастического материала, несмотря на известные трудности, сулит важные результаты, особенно если учесть существенное изменение территории, населяемой балтами в прошлом и в настоящем.

Примечания

[*] Обзор наиболее значительных работ в этой области за период с начала 40-х-годов до 1956 г. см.: *В. Н. Топоров.* Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений // ВСЯ. III. 1958: 150—158.

[1] Из последних рецензий на словарь Э. Френкеля стоит упомянуть следующие: *A. Vaillant.* // BSL. 52. 1956: 155—156 и BSL. 53. 1958: 174—175; V. Kiparsky // Neuphilologische Mitteilungen. 58. 1957: 39—43; W. R. S*c*hmalst*i*eg // Word. 13. 1957: 525—527; J. *Otrębski* // LP. 6. 1957: 181—182; P. *Skardžius.* Baltica. I // ZfslPh. 27. 1958: 435—445; E. Schwentner // IF. 63. 1958: 311—314 I; IF. 65. 1960: 100—104; IF. 66. 1961; V. R*ūķe-Draviņa* // Språkliga Bidrag. Meddelanden. Vol. 3. № 13. 1959: 45—57; A. *Słupski* // LP. 8. 1960: 352; V. Pisan*i* // Paideia. 15. 1960: 135—140; V. Machek // ZfslPh. 28. 1959: 159—164 и ZfslPh. 29. 1961: 345—356 (целый ряд собственных этимологий как результат разбора словаря Френкеля); V. *Mažiulis* // Kalbotyra. 3. 1961: 243—248.

[2] После смерти Э. Френкеля выпуск словаря осуществляется Аннемари Слупски с помощью Э. Гофмана и Э. Тангля.

[3] Помимо словаря, заслуживают внимания некоторые из последних статей Э. Френкеля. См., между прочим: E. Fraenkel. Zu den idg. Zeitausdrücken // ZfslPh. 26. 1958: 339—351 (рассуждения о лит. dabar̃ в связи со слав. doba); *Он же.* Etymologische Miscellen // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam. Rīgā, 1959: 101—107 [лит. *viẽkas* ʽ(жизненная) сила’; слав. *věkъ* в качестве семантической параллели к установленной Э. Бенвенистом связи между понятиями «молодой, юный» и «вечный», ср. также лит. véikus, vikrùs, лтш. veĩkls и т. д.; лит. raĩstas, reĩstas ʽболото, болотистый лесок’ и содержащие тот же корень raibas, raimas, rainas, raĩbti, reĩbti; отсюда — ряд семантических параллелей: лит. balà, ст.-слав. **блато** — лит. báltas; лит. *pélkė*, лтш. pelce, прусск. pelky — лит. pìlkas; слав. bagno — ст.-слав. **багръ**, оправдывающих сопоставление лит. raĩstas со словами того же корня, обозначающими разные оттенки темно-серых цветов; анализ лит. rẽpti, aprẽpti и подобных слов, разоблачение мнимого aprapstýti вм. apdrapstýti]; *Он же.* Zur indoeuropäischen Stammbildung und Flexion // LP. 7. 1959: 1—24 (уточнение ряда этимологических сближений с точки зрения словообразовательного анализа) и др.

[4] J. *Endzelīns.* Sīkumi // Valodas un literaturas instituta raksti. VI. Rīgā, 1958: 325—327 (там же, 327—329, и русский вариант этой статьи).

[5] См.: *А. Сабаляускас.* Происхождение названий сельскохозяйственных растений в балтийских языках. Вильнюс, 1958 (автореф. дисс).

[6] См.: A. Sabaliauskas. Dėl kanapės pavadinimo // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Serija A. 2. 1957: 199—210; Dėl grikio pavadinimo // Там же. 1957: 211—218; Dėl žirnio pavadinimo kilmės // Literatūra ir kalba. II. 1957: 346—355; Dėl avižos pavadinimo kilmės // Lietuvos TSR Mokslų Darbai. Serija A. 1. 1958: 173—181; Dėl baltų kalbų česnako pavadinimų kilmės // Там же. 1958: 165—169; Dėl baltų kalbų svogūno pavadinimų kilmės // Там же. 1958: 171—177; Par latviēšu vārda časkas un citu līdzīgu vārdu cilmi // Latvijas PSR Zinātņu Akademijas Vēstis. 1958. № 4; Dėl baltų kalbų lęšio pavadinimų kilmės // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Serija A. 2. 1959: 151—157; Dėl baltų kalbų griežčio (brassica napus) pavadinimų kilmės // Там же. 1959: 159—165; Dėl baltų kalbų ropės pavadinimų kilmės // Там же. 1959: 207—212; Dėl lietuvių kalbos žodžio jãvas kilmės // Там же. 1959: 213—216; Dėl kai kurių baltų kalbų augalų pavadinimų kilmės // Lietuvių kalbotyros klausimai. II. 1959: 65—74 (о названиях укропа, тмина и хрена); Dėl kai kurių baltų kalbų žemės ūkio augalų pavadinimų kilmės // Там же. III. 1960: 257—268 (о названиях редьки, моркови и огурца); относительно происхождения названий растений в балтийских языках — Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam. Rīgā, 1959: 219— 242 (о названиях пшеницы и боба).

[7] A. Sabaliauskas. Baltų kalbų žemės ūkio augalų pavadinimų kilmės klausimu // Literatura ir kalba. III. 1958: 454—461.

[8] См.: V. Urbutis. Dvi etimologijos pastabos // Kalbotyra. I. 1958: 220—222 (*gručkas*; здесь же существенное уточнение этимологии лит. pántas; оспаривается мнение К. Альминаускаса, согласно которому это слово заимствовано из нем. диал. pant = Pfand); *Он же.* Kelios baltų kalbų svogūno ir česnako pavadinimų aiškinimo smulkmenos // Там же. II. 1960: 209—212 (ряд фонетических наблюдений, позволяющих установить происхождение слова). Этому же автору принадлежит разбор литовского материала (с некоторыми поправками и улучшениями) в этимологическом словаре Ф. Славского, см.: V. Urbutis. Lituanika F. Slavskio lenkų kalbos etimologijos žodyne // Kalbotyra. I. 1958: 215—220.

[9] См.: V. Mažiulis. Hethitico-Baltica // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 173—180; Dėl Neringos vardo // Lietuvių kalbotyros klausimai. III. 1960: 301—315; Kalbos smulkmenos // Kalbotyra. I. 1958: 223—224; Dėl žodžių dvãras, *kiẽmas* // Там же. II. 1960: 205—209 (отчасти об этих же словах идет речь в хорошо документированной статье: J. Jurginis. «Viešė» ir jos «pats» // Literatūra ir kalba. II. 1957: 331—345) и др.

[10] R. Mironas. Dėl priesagos -gu- pirminės reikšmės // Kalbotyra. III. 1961: 242—243.

[11] См.: J. Palauskas. Lituanistiniai dalykai užsienio slavistikos žurnaluose // Literatūra ir kalba. II. 1957: 485—488; K. Eigminas. Lituanistinė medžiaga naujausioje tarybinėje lingvistinėje literatūroje // Там же. III. 1958: 581—594; A. Sabaliauskas. Rinkinys Janiui Endzelynui pagerbti // Там же. V. 1961: 552—561; *Он же*. Veikalas apie giminystės terminų istoriją // Там же: 562—570 (о книге О. Н. Трубачева о славянских терминах родства); *Он же.* Naujas etimologinis rusų kalbos žodynas // Lietuvių kalbotyros klausimai. IV. 1961: 319—329 (о балтийском материале в словаре М. Фасмера); J. Palionis. Lietuvių kalbos dalykai naujesniuosiuose E. Niemineno lingvistiniuose darbuose // Kalbotyra. III. 1961: 248—256 и др.

[12] См.: G. Jacobsson. L'histoire d'un groupe de mots balto-slaves. Göteborg, 1958 (= Acta universitatis Gothoburgensis. Vol. 64. 8. 1958).

[13] См.: V. Machek. Zum Wortschatz des Litauischen // ZfslPh. 28. 1959: 159—164, 345—356.

[14] О лит. bingùs (ср. польск. *piękny*) см. также: K. Janá*ček*. Původ slova *pěkný* // Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura. V. 1959: 7—9.

[15] V. M*ac*hek. Zwölf lateinische Wortdeutungen // LP. 8. 1960: 57—65; *Он же*. Neun hethitische Wortvergleiche // LP. 7. 1959: 77—84; *Он же*. Ruské *šči* // Rusko-ceské studie. Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a literatura. II. 1960: 349—354.

[16] О балто-тохарских лексических сопоставлениях см.: *В. Н. Топоров.* Тохарская этимология за двадцать лет // Этимология. М., 1962: 236—249.

[17] N. *Minissi.* Lituano kr*ãš*tas, slavo kraj // Ricerche slavistiche. 4. 1955—1956: 56—67.

[18] *B*. *Č*op. Etyma balto-slavica III // Zbornik filozofske fakultete. III. Ljubljana, 1959; *Он же*. Etyma balto-slavica IV // Slavistična revija. 12. 1959—1960: 170—193; предыдущие публикации на эту же тему см.: Там же. 5—7. 1954: 227—237; 9. 1956: 155—161.

[19] *B*. *Čop.* Beiträge zur indogermanischen Wortforschung IV // Slavistična revija. 11. 1958 // Linguistica: 49—68.

[20] См.: F. Bezlaj. Etimološki doneski // Slavistična revija. 12. 1959—1960: 224—229; R. Bernard. Le vocabulaire du dualecte de Razlog // Балк. езикозн. III. 2. 1961: 73—74.

[21] M. Vasmer. Baltisch-slavische Wortgleichungen // Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов. София, 1957: 351—353.

[22] J. Schütz. Noch ein Tabuwort für «Schlange» im Slavischen // Там же: 333—336.

[23] *В. Георгиев.* Наставката -оп и произходът на думите *furcoй, въртоп, вътпа* // БЕ. 11. 1961: 302—307.

[24] *О. Н. Трубачев.* Из истории табуистнческих названий // ВСЯ. № 3. 1958: 120—126.

[25] *О. Н. Трубачев.* Славянские этимологии 1—7 // ВСЯ. № 2. 1957: 38—41.

[26] *О. Н. Трубачев.* Следы язычества в славянской лексике // ВСЯ. № 4. 1959: 138—139.

[27] *О. Н. Трубачев.* Три литовских этимологии // LP. 8. 1960: 236—242.

[28] Ср. работы Бейли, Вюста, Бенвениста, Семереньи, Швентнера и др. О них см.: *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

[29] *О*. Н. *Трубачев* // LP. 8. 1960: 236—242; особенно поучительно сравнение *lopšỹs* с марийск. *lepš* примерно с тем же значением. Вопрос о возможности контактов такого рода рассматривается в статье: J. Mä*giste.* Gibt es im Tscheremissischen baltische Lehnwörter // UAJb. 31. 1959: 169 ff.

[30] *О*. Н. *Трубачев*. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959; *Он же.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960.

[31] *Вяч. В. Иванов.* К этимологии балтийского и славянского названий бога грома // ВСЯ. № 3. 1958: 101—111, а также: R. Jakobson. While reading Vasmer's dictionary // Word. 11. 1955: 615—616.

[32] *В*. Н. *Топоров*. Индоевропейский корень *$ə_2$en-/*$ə_2$n- в балтийском и славянском // LP. 8. 1960: 194—211.

[33] *В. Н. Топоров.* Фрагмент славянской мифологии // КСИС. 30. 1961: 14—32.

[34] *В. Н. Топоров.* Из праславянской этимологии // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. I. М, 1960: 11—12.

[35] *Б. А. Ларин.* Из славянско-балтийских лексикологических сопоставлений // Вестник Ленинградского ун-та. 1958. № 14. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 3: 150—158 (следует, между прочим, указать на необоснованность выведения соответствующего иранского слова из хинди çarm; надо думать, что направление заимствования было обратным, как это и принято считать).

[36] *Б. А. Ларин.* О слове *янтарь* // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 149—162.

[37] См.: W. *P*. Schmid. Baltisch kurtas und andere Tierbezeichnungen // Sybaris, Festschrift Hans Krahe. Wiesbaden, 1958: 129—137.

[38] См.: W. P. Schmid. Messapisch-baltische Kleinigkeiten // IF. 65. 1960: 24—30.

[39] См.: H. Krahe. Beiträge zur illyrischen Wort- und Namenforschung // IF. 64. 1958: 26—33.

[40] *Ю. В. Откупщиков.* К этимологии литовского agnus // Уч. зап. ЛГУ. Сер. филологич. наук. Вып. 60. 1961: 161—164.

[41] См.: Chr. S. Stang. Die litauische Konjunktion jeib und der lit.-lett. Optativ // NTS. 18. 1958: 348—356.

[42] См.: A. Vaillant. Formation du conditionnel en slave et en baltique // BSL. 55. 1960: XXIX—XXXI.

[43] R. A. Fowkes. Problems of Cymric Etymology // LP. 6. 1957: 90—111.

[44] P. *Skardžius.* Litauische zweistämmige Personennamen mit mant- und mantà ʽbewegliche Habe’ // ZfslPh. 29. 1960: 146—150.

[45] О названиях можжевельника в балтийских языках см.: V. R*ūķ*e-Dravi*ņ*a. Die Benennungen des Wacholders im Baltischen // Orbis. 4. 1955: 390—409.

[46] F. Holthausen. Etymologisches II // KZ. 74. 1956: 242—244.

[47] E. Hofmann. Litauische sètas // KZ. 75. 1957: 121.

[48] E. Blesse. Zum lett. uguns ʽFeuer’ // KZ. 75. 1958: 191—206.

[49] Ей же принадлежит этимологическое объяснение лтш. līgava, ļaudava, см.: In honorem Endzelini. Chicago, 1960: 52—63: «(künftige) junge Ehefrau» > «Verlobte, Braut».

[50] E. Blesse. Lettische Etymologien // KZ. 75. 1957: 91—121.

[51] E. Blesse. // In honorem Endzelini: 35—42.

[52] A. *Gāters.* Bemerkungen zur indogermanischen Wurzel *bhel(eu) ʽschlagen’ // KZ. 75. 1957: 80—86.

[53] См.: K. *Draviņš.* Eine Anmerkung über den lettischen Fluchausdruck elle un Indija! ʽHölle und Indien’ // Årsbok 1957/1958 utgiven av seminarierna för slaviska språk vid Lunds Universitet. Lund, 1961: 127—131.

[54] См.: *B. Jēgers.* Über das gegenseitige Verhältnis von lit. kèpti, lett. cept ʽbacken, braten’ und lit. kèpti, lett. *ķept* ʽkleben’ // Там же: 110—125.

[55] См.: *B. Jēgers.* Baltische Etymologien // ZfslPh. 27. 1958: 89—103. Несколько новых этимологий Егерса можно найти в «In honorem Endzelihi»: 64—71.

[56] E. P. Hamp. Opruss. Soye ʽrain’ // KZ. 74. 1956: 127—128.

[57] W. *P*. Schmid. Altpreußische lasto 'Bett' // IF. 63. 1958: 220—227.

[58] Chr. S. Stang. Eine preußisch-slavische (oder baltisch-slavlsche?) Sonderbildung // Scando-Slavica. 3. 1957: 236—239.

[59] *В*. Н. *Топоров*. Заметки по прусской этимологии // ВСЯ. № 3. 1958: 112—119.

[60] V. Sirtautas. Dėl skolinių pažinimo problemos lietuvių kalboje // Уч. зап. Шауляйского пед. ин-та. I. Гуманитарные науки. 1961: 122—142.

[61] R. Ekblom. Deutsch kunig und litauisch kùni(n)gas // Scando-Slavica. III. 1957: 176—180. Ср. также: A. Klimas. The Spread of Primitive Germanic *kuningaz in non-Germanic Languages // Istituto Universitario Orientale. Annali, Sezione linguistica. I. Napoli, 1959.

[62] R. Ekblom. Balt. gudas und schw. gute 'Gotländer' // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 91—100.

[63] A. Senn. Litauische sliñkti // Die Sprache. 5. 1959: 183—186.

[64] A. Senn. Zur Frage des deutschen Einflusses auf das Litauische // Istituto Universitario Orientale. Annali, Sezione linguistica. I. Napoli, 1959: 65—78.

[65] См.: E. Nieminen. Über einige Eigenschaften der baltischen Sprache, die sich in den ältesten baltischen Lehnwörtern der ostseefinnischen Sprachen abspiegelt // Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften. Helsinki, 1957: 185—206 (об этой работе см.: A. Sabaliauskas. Įdomus suomių kalbininko darbas // Literatūra iz kalba. 5. 1961: 623—624); *Он же*. Beiträge zu den baltisch-ostseefinnischen Berührungen // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 201—210; *Он же*. Viikatteen ja sen hamaran nimityksistä // Eripainos Virittäjästä. 1957. № 1: 23—34, и др. О работах Ниеминена в этой области см.: J. Palionis. Lietuvių kalbos dalykai naujesniuosiuose E. Niemineno lingvistiniuose darbuose // Kalbotyra. 3. 1961: 248—256.

[66] E. Nieminen. Die urslavische Benennung der Bekleidung der Beine *gatję bzw. **gatjě* // Scando-Slavica. 3. 1957: 224—235.

[67] См.: P. *Skardžius*. Baltisches // ZfslPh. 27. 1957: 173—176.

[68] См.: *P. Skardžius*. Russ. vitina und lit. *vytìnė* // ZfslPh. 26. 1957: 150—151.

[69] См.: *P. Skardžius*. Russisch-weissrnssischen *дякло* (*дзякло*) und litauisches *duoklė* // LP. 7. 1957: 265—270.

[70] *О*. Н. *Трубачев*. Из истории названий каш в славянских языках // Slavia. Ročn. 29. 1960: 26—28.

[71] *А. А. Вержбовский*. Древнебелорусская юридическая лексика литовского происхождения // Letuvių kalbotyros klausimai. 3. 1960: 269—276. Тому же автору принадлежат еще две статьи примерно на ту же тему: «Балтызмы ў беларускай мове» (Весці АН БССР. Серия грам. навук. 1959. № 2: 117—134) и «Балтызмы» (там же. 1960. № 3: 124—132).

[72] S. Westfal. Rzecz o polszczyźnie. London, 1956 (см. раздел «Jatvingorum gens bellicosissima»).

[73] T. Zdancewicz. Litewskie elementy słownikowe w gwarach polskich okolic Sejn // LP. 8. 1960: 333—352.

[74] P. *Skardžius*. Baltisches // ZfslPh. 27. 1958: 173—176.

[75] E. Fraenkel. Zur indogermanischen Namenforschung // Sybaris, Festschrift Hans Krähe. Wiesbaden, 1958: 37—44.

[76] См.: *Я. С. Отрембский.* Язык ятвягов // ВСЯ. № 5. 1961: 3—8; *Он же.* Dùlgas // BNF. 8. 1957: 280—281 [ср. также Wisa из *Veiśa (ятвяжск.), см.: J. *Otrębski.* Wisła. «Vistula» // LP. 8. 1960: 257—258]. О гидрониме ятвяжского происхождения Krzna см.: *В. Н. Топоров.* Две заметки из области балтийской топонимии // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 251—266.

[77] См.: J. *Otrębski.* Z badań onomastycznych // Onomastica. 6. 1958: 75—77.

[78] См. J. *Otrębski.* Lietuvà // BNF. 9. 1958: 116—118, 188.

[79] J. Otrębski. Žeimenà // Там же: 189—190.

[80] J. *Otrębski.* Jagiełło // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 211—214.

[81] См.: *В.* Н. *Топоров, О.* Н. *Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962; *Они же.* Балтийская гидронимия Верхнего Поднепровья // Lietuvių kalbotyros klausimai. 4. 1961: 195—218; см. также: *В. Н. Топоров.* О балтийских следах в топонимике русских территорий // Там же. 2. 1959: 55—64.

[82] *P*. Arumaa. Sur les principes et méthodes d'hydronymie russe: les noms en *gosť* // Scando-Slavica. 6. 1960: 144—175.

[83] См.: V. Dambe. Blīdienes vietvārdi kā pagātnes liecinieki // Rakstu krājums veltījums J. Endzelīnam: 391—452 и ряд других ее работ (включая участие в составлении топонимического словаря Латвии); *B*. Savukynas. Ežerų vardai // Lietuvių kalbotyros klausimai. 3. 1960: 289—300; 4. 1961: 219—226; A. Vanagas. Dėl upės vardo Danė (Danija, Dangė) // Там же. 3: 317—320; *Он же*. Akmenà, Lašmuõ ir kiti panašios darybos upėvardžiai // Там же. 4. 1961: 227—232; V. Grinaveckis. Dėl kai kurių vietovardžių kilmes // Там же. 3: 321—324; V. *Mažiulis.* Dėl Neringos vardo // Там же. 3: 301—316.

[84] Помимо многочисленных статей Краэ, в которых обычно используется богатый балтийский гидронимический материал с нередкими этимологическими экскурсами, ср.: H. Krahe. Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria // Abhandlungen d. Geistes- und Sozialwiss. Klasse. 1957. № 3: 103—121.

[85] См.: R. Schmittlein. Les noms de lieux lituaniens dans la «Deutsche Namenkunde» d'Adolf Bach // Revue internationale d'onomastique. 9. 1957: 119—131 (критика Баха); *Он же*. Les hydronymes baltiques en -ni- et le problème de -antia // Там же. 12. 1960: 241 ff.; ср. также: *Он же.* Le nom des Mixi // Там же: 256 (обозначение одного из германских племен в старых балтийских источниках).

1963

ЗАМЕТКИ ПО БАЛТИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ

За последние годы интерес к изучению балтийской мифологии, несомненно, возрос, о чем свидетельствует увеличение количества специальных исследований[1], расширение круга источников (прежде всего за счет фольклорных текстов), обнаружение новых параллелей и т. п. Тем не менее эмпирические исследования в этой области, как правило, лишь в незначительной степени отражают те существенные теоретические достижения в области изучения мифологических систем, которые явились достоянием науки последних двух десятилетий. Так же мало повлияли на развитие исследований в области балтийской мифологии конкретные результаты, полученные при описании пантеонов других индоевропейских традиций. Поэтому создание достаточно полной и надежной картины балтийской мифологии еще впереди. До тех же пор необходимо более тщательно использовать внутренние источники, с тем чтобы полученные результаты могли бы быть правильно сопоставлены с соответствующими фактами других (прежде всего, конечно, индоевропейских) традиций, которые, обратно отражаясь, осветили бы неясные темы балтийской мифологии. В заметках, следующих ниже, обращение к внутренним источникам преследует цель реконструкции некоторых черт иерархического устройства балтийского пантеона (точнее, пантеонов) на основании дистрибуции теонимов в сохранившихся списках богов. Вместе с тем в продолжение этой статьи будет предпринята попытка краткого изложения первых результатов сопоставления балтийских мифологических фактов с данными других традиций при условии нахождения сравниваемых фактов в разных топосах (об этом понятии ср. другие работы автора). Частично об этом говорится и в настоящей статье.

СПИСКИ БАЛТИЙСКИХ БОГОВ

А. Прусские боги

Известно несколько больших списков прусских богов: «Episcoporum Prussie Pomesaniensis atque Sambiensis Constitutiones Synodales» (1530 г.), связанные с именами Георга фон Поленца и Пауля Сператуса (I); «Sudauerbüchlein» («Der vnglaubigen Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth») (II); «De Sacrificiis Et Idolatria Vetervm Borvssorvm Liuonum, aliarumque uicinarum gentium» (1563, Joannes Maeletius) (III); «De Diis Samagitarum…» (1615, Яна Ласицкого) (IV) и др.

Ср. I: *...sunt autem pro lingua barbara barbarissimi hi:* Occopirmus, Suaixtix, Ausschauts, Autrympus, Potrympus, Bardoayts, Piluuytus, Parcuns, Pecols atque Pocols, qui Dei, si eorum numina secundum illorum opinionem pensites, erunt: Saturnus, Sol, Aesculapius, Neptunus, Castor et Pollux, Ceres, Juppiter, Pluto, Furiae[2].

Ср. II: Deywoty Zudwity; Ockopirmus der erste Gott Himmels vnd Gestirnes. Swayxtix der Gott des Lichtes. Auschauts der Gott der Gebrechen Kranken und Sunden. Autrimpus der Gott des Mehres vnd der grossen Sehe. Potrimpus der Gott der fliessenden Wasser, Bardoayts der Schiffe Gott. Pergrubrius der lest wachsen laub vnd gras. Pilnitis der Gott macht reich vnd füllet die Scheuren. Parkuns der Gott des Donners, Plitzen vnd Regens. Peckols der helle vnd Finsternus ein Gott. P*oc*kols die fliegende geister oder Teuffel. Puschkayts der Erden Gott vnter dem heiligen holtz des Holunders. Barstucke die kleinen Mennichen. Markopole die Erdtleuthe[3].

Ср. III: *...quos ipsi Deos esse credunt, uidelicet:* Occopirnum, deum coeli et terrae; Antrimpum, deum maris; Gardoaeten, deum nautarum, qualis olim apud Romanos fuit Portunnus; Potrympum, deum fluuiorum ac fontium; Piluitum, deum divitiarum quem latini Plutum uocant: Pergrubrium, deum ueris; Pargnum, deum tonitruum ac tempestatum; Pocclum, deum inferni et tenebrarum; Poccollum, deum aëriorum spirituum; Putscaetum, deum qui sacros lucos tuetur; Auscautum, deum incolumitatis et aegritudinis; Marcoppolum, deum magnatum et nobilium; Barstuccas, quos Germani Erdmenlen, hoc est, subterraneos uocant...[4]

Ср. IV: *...quos ipsi deos esse credunt, videlicet* Occopiruum deum coeli et terrae, Antrimpum maris, Gardoeten nautarum, Potrympum fluviorum ac fontium, Pilnitum divitiarum, Pergrubrium veris, Parguum tonitruum ac tempestatum, Pocclum inferni *ac* tenberarum

Pocollum aëreorum spirituum, Putscetum sacrorum lucorum tutorem, Aus*cūtum* incolumitatis et aegritudinis. Marcoppolum magnatum et nobilium, Barstuccas, quos Germani Erdmenlin, hoc est, subterraneos vocant... [5]

Любопытен вариант Бреткуна в «Хронике»[6]: In sonderheÿt aber list man das die Sudawen vierzehen Götter geehret vnd angebetten haben. I. Als Okopirnus sol sein ein Got des himels vnd gestirns. II. Pergubrius sol ein Gott der Erdengewechs, der laub vnd gras lies wachsen. III. Perkuns sal sein ein Gott des donners, plitzens vnd Regens. Swaikticks (!) sal sein ein Gott des Lichts. IV. Piluitus sal sein ein Gott der fulle, vnd der Reich machet. V. Auschauts Ein Gott der Verbrechens (sic!), der die menschen wegen ihrer sunden straffet. VI. Puschkaitus sal sein ein Gott vber die fruchte der Erden als allerleÿ getreÿdes. VII. Barstucke solten sein kleÿne menlein des Pußkaiten diener die wir Wicholt nennen. VIII. Mar*c*opole die Erdleutte vnd des Pußkeitten diener. IX. Antrimpus sal sein ein Gott des Meers vnd der See. X. Potrimpus der Gott der fliessender wasser. XI. Bardoaits Ein Gott vber die Schiffe. XII. Pikols der Hellen vnd der Finsternis Gott. XIII. Pikoliuni die fliegende Geister oder Teuffel. (VI).

Данные списков сведены воедино в таблице[7].

Разумеется, не все эти списки независимы друг от друга и от возможного архетипа, во-первых, и не все они свободны от поздних вставок и переделок, во-вторых. «Гиперкритицизм» в исследованиях по балтийской мифологии на рубеже XIX—XX вв. указал слабые места в сообщениях авторов XVI—XVII вв. о прусском пантеоне. Сейчас наступила пора обратить внимание на преимущества этих сообщений, тем более что чаще всего известны принципы конъектуры, которыми воодушевлялись первые исследователи прусского пантеона, и, более того, пересмотреть вопрос о подложности некоторых важных сообщений о прусской мифологии (в частности, это относится к Симону Грунау), о чем будет сказано в другом месте.

Если определять место бога в обобщенном списке по коэффициенту, представляющему собой отношение суммы занимаемых им мест в списках к числу списков, в которых они встречаются, то возникает следующая картина[8].

1. Okopirms	(1)[9]	7. Pilvits	(7)
2. Svaixtix	(1, 33)	8. Perkuns	(7,13)
3. Autrimps	(4, 33)	9. Pekols	(9,67)
3a. Pergrubrius	(5,6)	9a. Puškaits	(10,2)
4. Potrimps	(5,67)	10. Pokols	(10,67)
5. Bardoits	(6)	11. Barstukas	(12)
6. Aušauts	(6,17)	12. Markopole	(12,2)

Списки прусских богов*

№	I	II **	III	IV	V	VI
1	Occopirmus Saturnus	Ockopirmus	Occopirnum	Occopiruum	Ockopirnus	Okopirnus
2	Suaixtix Sol	Swayxtix	Antrimpum	Antrimpum	Schwaytestix	Pergubrius
3	Ausschauts Aesculapius	Auschauts	Gardoaeten	Gardoeten	Auschlauis	Perkuns
4	Autrympus Neptunus	Autrimpus	Potrympum	Potrympum	Antrimpus	Swaiktics
5	Potrympus Castor	Portimpus	Piluitum	Pilnitum	Protrympus	Piluitus
6	Bardoayts Pollux	Bardoayts	Pergrubrium	Pergrubrium	Gardoayts	Auschauts
7	Piluuytus Cerex	Perghrubius	Pargnum	Parguum	Pergrubrius	Puschkaitus
8	Parcuns Juppiter	Pilnitis	Pocclum	Pocclum	Piluitus	Barstucke
9	Pecols Pluto	Parkuns	Poccollum	Pocollum	Parcknus	Marcopole
10	Pocols Furiae	Peckols	Putscaetum	Putscetum	Pocklus	Antrimpus
11	—	Pockols	Auscautum	Auscūtum	Pockollus	Potrimpus
12	—	Puschkayts	Marcoppolum	Marcoppolum	Puschkayts	Bardoaits
13	—	Barstucke	Barstuccas	Barstuccas	Barstucke	Pikols
14	—	Markopole			Markkoppolle	Pikoliuni

* Имена богов приводятся в том виде, как они даны в источниках.

** На полях одной из версий «Sudauerbüchlein» записан следующий ряд соответствий: Occopirnus—Jupiter, Ausschweytus—Saturnus, Antrumpus—Neptunus, Perdoytus—Aeolus, Pelwittus—Ceres, Pecullus—Pluto.

В общих чертах этот порядок, несомненно, воспроизводит некоторые важные особенности списка-архетипа (АТ). Так, совершенно очевидно, что в АТ на первом месте стоял именно Okopirms или в этой описательно-табуистической форме или под его подлинным именем. Характерно, что четкое указание на первенство этого божества сохранилось лишь в I и II (-pirms при прусск. pirms 'первый') [10], тогда как остальные списки обнаруживают непонимание этого элемента в теофорном имени со стороны записывающего, а скорее всего и информанта. Судя по всему, в Okopirms'е смешивались два ряда функций, отражавших две традиции. С одной стороны, он — вседержитель и все, что есть в мире, подвластно ему (*...deum coeli et terrae, ... den Gott* himels und der erde). С другой стороны, при описании прусского пантеона в связи с вертикальной структурой мира Okopirms — бог самой верхней из сфер (*...der erste Gott Himmels vnd Gestirnes, ... ein Got des himels vnd gestirns*). Поскольку Okopirms, будучи всегда на первом месте в списках, тем не менее никогда не фигурирует в текстах иного рода (в отличие от подавляющего большинства других божеств), можно с большой вероятностью предположить, что Okopirms выступал совершенно в той же функции, что и Dievas-Dievs в восточнобалтийской традиции. Последний, являясь основным знаком — представителем всей мифологической системы в целом, практически оказывается слишком абстрактным и пассивным началом (при этом он часто стоит вне сюжетных связей), что объясняет утрату им актуальности и — как компенсацию этого — актуализацию богов нижних (по сравнению с Okopirms'ом) уровней (ср. лит. *Perkūnas*, лтш. *Pērkons* и прусск. Perkuns, о нем ниже) [11]. По-видимому, Saturnus как глосса к Okopirms оправдано именно как указание на какую-то и н у ю (в данном случае более архаическую) традицию, которая могла быть поддержана и христианскими представлениями о едином Боге [12]. Таким образом, Okopirms, как и Dievas-Dievs, бог по преимуществу [13].

Второе место занимает в I, II, V Svaixtix, глоссируемый как Sol и определяемый как 'der Gott des Lichtes'; в VI Svaixtix занимает четвертое место, что, кажется, может быть объяснено достаточно правдоподобно. На первом месте в этом списке стоит Okopirms, что не вызывает никаких недоумений; на втором месте, т. е. на п е р в о м после Okopirms'а, стоящего вне конкуренции, находится Pergrubrius, праздник которого отмечался п е р в ы м в году, ср.: Das erste fest irer heiligung halten sie ehe wann der pflug ausgehet. Das Fest heissen sie die heiligung P a r g r u b r i j. «Der vnglaubigen Sudauen» (LPG: 247), и имя которого было первым при возглашении: …vnd der Wourschkaite hebt eine Schalen voll Biers auff mit der hand vnd bittet: du grosser mechtiger Gott P a r g r u b r i u s du treibest den winter hinweg vnd gibst In allen landen laub vnd grass, wir bitten dich du wollest unser getreide auch wachsen lassen vnd dempffen

alles vnkraut… Там же (LPG: 247)[14]; ср. также: …dass et bitten wolt die götter als Grubrium, Parkunen, Swayxtixen und Pilniten… — Там же (LPG: 249); наконец, на третьем месте в VI стоит Perkuns, главный (первый) бог большой триады, о которой см. ниже. Таким образом, нахождение в этом списке Svaixtix на четвертом месте после главного бога[15] в принципе аналогично нахождению Svaixtix на втором месте после Okopirms'а в трех других перечнях. Любопытно, что положение Svaixtix'а после Okopirms'а как представителя всех богов вполне соответствует начальному положению солнца среди других объектов культа, почитаемых пруссами. При этом сама группа объектов почитания может следовать за группой божественных персонажей или за указанием, что последних пруссы не знали, т. е. «боги» (или их отсутствие) & «солнце» & … . Возможен и другой порядок, обратный указанному: «солнце» & … & «боги». В обоих случаях группа «боги» развертывается в серию: Okopirms & … & … & и т. д. В этом отношении описываемая картина совпадает с ранее установленным для ряда древних индоевропейских традиций фактом помещения огня в начальное или конечное положение при ритуальном перечислении объектов культа[16] (ср. солнце как небесный огонь, ср. параллели типа: …quae sacrum colebat ignem… и …quae solem colebat… En. Silv. Picolom. (LPG: 135) в одном и том же тексте)[17]. Сама же последовательность неантропоморфных природных объектов культа, как показано в другом месте, должна рассматриваться как наследие древнейших космологических схем. Следует подчеркнуть, что принцип включения в данную актуальную иерархически построенную систему первого элемента более старой системы в качестве второго (в роли «заместителя») элемента данной системы принадлежит к числу типологически весьма распространенных явлений. При этом второй элемент данной системы может изменить свой топос и, следовательно, характеристики (ср. переход «солнца» в Svaixtix, уже соответствующий антропоморфному описанию). Отсутствие в связанных друг с другом списках III и IV имени Svaixtix может объясняться помимо прочего бóльшей свободой от римских образцов и частичным отказом от нисходящего принципа описания пантеона, при котором за богом неба неизбежно следовал бог солнца.

Дважды на втором месте в списках (III, IV) оказывается Autrimps, который именно в этих списках в отличие от всех остальных оказывается отделенным от имени того же корня Potrimps. Причина отделения семантического характера. Поскольку Autrimps — ʽdeus maris', Neptunus, а Potrimps — ʽdeus fluuiorum ac fontium', составителю списка казалось естественным вставить после морского бога Autrimps'а имя бога кораблей (морских) Bardoits'а[18] в форме Gardo(a)eten. Вполне возможно, что Bardoits как бог кораблей консти-

туировался довольно поздно или даже вообще обязан своим происхождением «кабинетной» мифологии XVI—XVII вв. Дело в том, что в большинстве списков, причем более ранних и авторитетных, имя этого бога появляется в форме Bardoits. Форма с начальным G-, если только это не описка, могла быть вызвана словом gardas 'Schiff, laivas', если только последнее слово, отмеченное однажды, не лексикографическая выдумка[19]. Вторичность места Bardoits'а между Autrimps'ом и Potrimps'ом подтверждается еще и тем, что два последних имени, в каком бы месте списков они ни находились, всегда, кроме указанных двух случаев, восходящих к одному источнику, стоят вместе и именно в такой последовательности (особенно характерен список VI, где после смыслового конца перечня на 10-м и 11-м местах вдруг появляются Autrimps и Potrimps). Такое положение этих двух имен и, следовательно, их носителей вполне естественно, если вспомнить общий принцип, в соответствии с которым осуществлялось разращение прусского пантеона — создание имен с использованием того же или сходного корня и с дифференциацией его с помощью префиксов (реже — суффиксов), ср.: Au-trimps — Po-trimps[20], Pikols — Pikoliuni, ср. также: Pekols — Pokols и др. Характерно и другое — во всех списках, где Autrimps и Potrimps соседствуют, третьим за ними идет Bardoits.

В связи с рассматриваемой парой полезно обратиться к более кратким перечням, в которые, однако, в качестве непременного члена входит Potrimps. Ср. у С. Грунау: Das bannir war ein weisz tuch 5 elen langk, 3 elen brett und hett in sich gewurcht 3 b i l d e der gestalt wie m e n n i r, blo waren ire cleider und woren brust-bilder in solcher formen: das e i n e war wir ein man j u n g e r gestalt a n e b a r d t, gekronett mit s a u g e l e n und frolich sich irbot und der gott vom g e t r e i d e und hies P o t r i m p p o. Das a n d e r war wie ein zorniger man und m i t t e l m e s s i g k a i t e n, sein angesicht wie f e u e r und gekronet mit f l a m m e n, sein b a r t craus und schwarcz[21], und sogin sich beide an noch iren geschiglichkeiten, der eine frolich wie er des andern zornigen lachete und der ander auffgeblosen in zornn. Das d r i t t e bilde war ein a l t e r mahn mit einem l a n g e n groen b a r d t und seine farbe gantz totlich, war gekronet mit einem weissen tuche wie ein morbant unde sag von unden auff die andern an unde his P a t o l l o *mit namen*... LPG: 195 (A);

…Und die eiche war gleich in 3 t e i l geteilet, in iglichem wie in eim gemachten fenster stundt ein abgott und hett vor sich ein cleinott. Die e i n e seite hilt das bilde P e r k u n o inne, wies oben ist gesagt wurden, und sein cleinott war, domit man stetis f e u i r hette von *eichenem holtze tag und nacht*... D y a n d r e seite hilt ynne das bildt P o t r u m p p i und het vor sein cleinot eine s l a n g *e*... Das d r i t t e bilde P a t o l l i hilt inne die d r i t t e n seitte, und sein cleinott war ein t o d t e n k o p f f von eim menschin, pferde und ku… LPG: 196 (B);

…Do aber die Cimbri qwomen, die brochten mit ihn 3 bilde ihrer abgotte, den einen Patollo sie nanten, das ander Potrimpo das dritte Perkuno… LPG: 196 (C);

…Patollo der obirster *abgott der Bruteni* ... Potrimppo der ander abgott der von Brudenia war, und dieser war ein gott des gluckis in streiten *und sust in anderen sachin… Uber die mosze* Patollo Potrimppo hetten ein wolgefallen in menschin blute, so man is im vorgos zu ehre vor der eichen. Perkuno war der dritt *abgott… Die 3 genanten götthe* Patollo, Potrimppo, Perkuno man nindert mit oppherungk mochte ehren den zu Rickoyott… LPG: 196—197 (D1—2).

Таким образом, оказывается, что существуют следующие версии следования этих трех богов [22].

1) Potrimps
Perkuns
Patols (ср.: A, I—V)

2) Patols
Potrimps
Perkuns (ср.: C, D1, D2)

3) Perkuns
Potrimps
Patols (ср.: B, VI)

Прежде чем охарактеризовать эти перечни, необходимо выяснить отношения между Patols’ом, Pekols’ом и Pokols’ом. Первые два слова этимологически ясны и независимы друг от друга [23]: 1) Pekols, ср. прусск. pi*ckū*ls ‘черт’, ср. лит. peĩkti, *pỹkti*, píktas, paĩkas и под.; 2) *Pa*tuls (= Pōtǫls и Patǫls), ср. прусск. pa || po и tula- ‘земля’, ‘тло’ и т. п. Третье слово, Pokols, напротив, не имеет независимой этимологии и возникло как результат взаимодействия *Potols и *Pekols [24]. Вместе с тем само это имя как бы лишено самостоятельного значения: оказывается существенным не то, что в ряде списков оно выступает как наименование ‘fliegende geister oder Teuffel’, ‘aëreorum spirituum’ и под., а то, что эти функции присущи носителю имени Pokols тогда и только тогда, когда оно следует в списке за другим именем того же корня. Если же в этой паре оно идет первым, то с ним связываются другие функции, ср.: Pocclum, deum inferni et tenebrarum (III, ср. и IV), Pocklus der Gott der Hellen vnd Finsternus (V) [25]; аналогичные отношения отражены и в именах Picols, Pikoliuni в VI. Учитывая, что в литерных перечнях нигде не встречаются Pekols и Pokols, а в числовых — Patols (Potols), напрашивается заключение о первоначальном тождестве Patols (Potols) с Pekols-Pokols, которое было забыто впоследствии, особенно когда Pekols и Pokols были семантизированы в зависимости от их места в списках (при этом семантика имени Pokols и приписываемые его носителю функции отражают явно искусственный характер возникновения как самого имени, так и связываемых с ним представлений). Вполне вероятно, что Patols (Potols) выступало в роли эпитета к Pekols (Pikuls). Во всяком случае описания носителей этих двух имен соответствуют одной и той же картине, а ряд документов фиксирует недоумение их авторов относительно разграничения этих имен [26].

После этих разъяснений можно обратиться к приведенным выше трем триадам (1, 2, 3). Для них характерно, что Potrimps никогда не бывает третьим, а Patols — вторым; Perkuns — единственный член триады, который может занимать любое из трех мест. Для установления отношений в системе наименее достоверна триада 2, поскольку, хотя она и представлена тремя перечнями, в ней очевидна зависимость двух последующих перечней от первого (все они находятся в одном тексте). Кроме того, можно думать, что выдвижение в этих перечнях на первое место Patols'а объясняется порядком жертвоприношений, совершаемых в их честь в культовом центре Rikoiot'е, отождествляемом с Ромове[27], или же возрастом Patols'а — самого старого из богов. Видимо, именно в силу этих особенностей Patols характеризуется как 'der obirster abgott der Bruteni' (ср. Сатурна в древнеримской традиции, соотносимого в некоторых свидетельствах с Patols'ом)[28]. Триада 3 с Perkuns'ом во главе отражена двумя версиями, одна из которых принадлежит Бреткуну, хорошо знакомому с литовским пантеоном, где *Perkūnas* играл ведущую роль. Вместе с тем соседнее положение Potrimps'а и Patols'а легко объясняется их противопоставленностью друг другу в качестве двух ипостасей одного и того же комплекса представлений (о чем см. ниже). Наибольшим числом версий представлена триада 1, в принципе не противоречащая порядку богов в триаде 3, но представляющая ее трансформацию в пространственно-изобразительном плане (ср. чтение изображения на знамени слева направо в описании С. Грунау). По-видимому, именно такой порядок следования богов в триаде был наиболее обычным и достоверным. Но при этом предположении возникает два недоуменных вопроса: почему Potrimps в больших списках выступает как бог рек и источников, в то время как в триадах нет никаких намеков на эти функции, во-первых, и почему в больших списках за Potrimps'ом всегда следует Bardoits, никогда не появляющийся в триадах, во-вторых? Ответ на первый вопрос, а отчасти и на второй, можно, видимо, искать в так называемой природной схеме, лежащей в основе больших списков (небо — Okopirms, солнце — Svaixtix, море — Autrimps, реки — Potrimps и т. д., подземное царство — Pekols; включение Bardoits'*а* объяснялось бы дальнейшим развитием водной темы: моря, реки, корабли)[29]. Но ответ на второй вопрос может выглядеть и несколько иначе. Не исключено, что Bardoits как бог кораблей возник по индукции двух предыдущих членов списка на достаточно поздней стадии. Первоначально же Bardoits могло быть эпитетом к имени Patols'а-Pekols'а со значением 'бородатый', ср.: das dritte bilde (sc. Patols) war ein alter mahn mit einem langem groen bardt, тогда как о Potrimps'е специально сообщается, что он ane bardt (A и др.); ср. прусск. bordus (V. 101), лит. barzdà, лтш. bā̀rda, *bārzda*, ст.-слав. *брада*, др.-в.-нем. bart и т. п. и особенно прилагательные: лит. barzdótas, ст.-

слав. брадатъ (при лтш. bãrdaîns), дающие возможность реконструировать прусск. *bardot-s[30]. Если это предположение верно, то становится понятным, почему Potrimps и Bardoits в 1 глоссируются как Castor и Pollux (правда, следует допускать возможность того, что отождествление Potrimps'а с *Кастором*, а корабельного божества Bardoits'а с *Поллуксом* основано на покровительстве *Кастора* мореплаванию). Они действительно составляют пару божественных близнецов, наличие которой в прусском пантеоне предполагал уже Краппе, не знавший, однако, каким образом объяснить на этом месте появление Bardoits'а[31]. Краппе же проницательно указал на ряд весьма существенных параллелей: 1) образ божественных близнецов, один из которых изображается как юноша, а другой — как старец, соответственно связанные с жизнью и смертью[32]; 2) приурочение одного из близнецов к весеннему циклу, а другого к осенне-зимнему (ср. весеннего и зимнего Сатурна)[33]; 3) связь с небесным богом (ср.: *Διὸς κοῦροι* как обозначение сыновей Зевса и по смыслу имени и по соответствующему мотиву — связь Зевса с Ледой и рождение Диоскуров, ср. лтш. Dieva deli, ср. также имя спартанских близнецов Тиндаридов от *τύνδαρος* 'гром', лат. tundere или обычное наименование для близнецов в Мозамбике Bana ba Tilo 'дети неба', где tilo означает и 'небо', и 'гром', и 'молнию', и даже 'дождь'), объясняющую связь Potrimps'а и Patols'а с Perkuns'ом; 4) наличие культа близнецов у германского племени наханарвалов, в начале нашей эры обитавших где-то между Одером и Вислой, видимо, в близком соседстве с пруссами (ср.: Tacit. Germ. 43). Можно указать еще одно далеко идущее совпадение, не замеченное пока исследователями. Речь идет о том, что изображения трех прусских богов, из которых двое были близнецами, находились на священном дубе, почитаемом пруссами и являющемся, очевидно, трансформацией мирового дерева[34], с чем можно сравнить почитание близнецов в Риме в связи с ficus Ruminalis 'дерево Рима', образом мирового дерева[35] (ср. также обряд Nonae Capritinae, название дерева caprificus и роль козла /или козы/ в соответствующих прусских ритуалах), или же так называемые священные столбы (ср.: *δόκανα*), представлявшие в Спарте небесных близнецов[36]. Эти символы изображались в виде Н или П, ср. *π* как знак созвездия близнецов, и, как можно думать, были вариантами таким же образом изображаемых «двойных» деревьев, связываемых в разных архаических традициях или с идеей плодородия или, конкретнее, с образами близнецов (ср. двойные *туру* у эвенков, спаренные тотемные столбы у индейцев, двойные *джеды* в Древнем Египте, porta triumphalis в Риме и т. п.)[37]. Чрезвычайно интересно в этой связи сообщение С. Грунау о том, что во многих местах устанавливались столбы с изображениями двух братьев (прусских вождей) Видевута и Брутена, и эти столбы почитались как боги, причем один из них называли Worskaito, а другой Iszwambrato (т. е.

swais brati ʻего брат'?). См.: LPG: 195 и особенно 197—198; ср. также 532 (характерно, что эти боги считались покровителями скота). Как известно, в балтийской традиции существуют и другие отражения идеи близнечества [38].

В результате приведенных до сих пор рассуждений выясняется, что то место в списках богов, где находятся Autrimps и Potrimps [39], является как бы пересечением двух схем — «природной» (см. выше) и контаминированной, включающей триаду.

Третье место в I, II и V занимает Aušauts, появление которого именно здесь вызывает серьезные неясности, если его толковать только как бога — целителя болезней. Учитывая, что в других списках Aušauts тяготеет к соседству с Puškaits'ом и к рифмообразному выравниванию с ним (ср.: Putscaetum—Auscautum, Putscetum—*Auscūtum*, Auschauts—Puschkaitus, III, IV, VI) [40], можно предположить, что Aušauts выпал из какого-то более старого контекста в списках, где его появление могло быть мотивировано. Это же соображение, видимо, объясняет попытки вторичной семантизации этого имени. Так, не исключено, что помещение имени *Aušauts* после Svaixtix'a (= Sol) вызвано известным подобием с предполагаемым прусским названием зари (ср. лит. *aušr*à, диал. дзук. auštra, лтш. àustra при лит. *aũšti*, лтш. àust; ср. также: Ausca dea est radiorum solis. De Düs Samagitarum. LPG: 356 [41] и др.). Основным мотивом такого переосмысления и сближения могла быть аналогия с постоянными в фольклоре перечислениями типа «солнце, заря, месяц, звезды» или «солнце, месяц, звезды, заря» и под.

Между Potrimps'ом (или Bardoits'ом, когда он следует за Potrimps'ом) и Perkuns'ом в большинстве списков находятся имена двух божеств Pilvits и Pergrubrius (II—V). При этом последовательность Pergrubrius—Pilvits характеризует II и V, а обратная Pilvits—Pergrubrius— III и IV. В I Pergrubrius отсутствует вообще, а в VI он занимает второе место, объясненное выше. Таким образом, в I указанное промежуточное место занимает только Pilvits. Что же касается VI, Pilvits также занимает промежуточное положение среди ряда богов, но при этом Perkuns предшествует этой группе, а Autrimps—Potrimps—Bardoits следуют за ней. Как правило, Pilvits и Pergrubrius занимают средние места в списках (5—8). Соседство этих двух божеств и их положение в списках довольно естественно объясняются тем, что и Pilvits и Pergrubrius относятся к числу «земных» богов, связанных с благоденствием человека — урожаем, скотом, богатством [42]. Если говорить в общем, то этим «земным» богам предшествуют «водные», а следуют за ними «подземные» боги. Следовательно, достаточно четко выделяются четыре сферы — небесная, водная, земная, подземная, с каждой из которых соотносятся определенные боги. На первый взгляд, странно лишь то, что Perkuns, связываемый с небом или с воздушной стихией, находится после богов, относящихся к земной сфере.

Скорее всего, эта странность объясняется отражением в списках календарной последовательности праздников, среди которых первым по времени был праздник, посвященный Pergrubrius'у. Если это так, то здесь можно видеть некоторое указание на то, что в архетипе (АТ) Pergrubrius предшествовал Pilvits'у. В пользу такого предположения свидетельствует и общий принцип введения более или менее близких по функциям персонажей пантеона в список — от «природных» к «культурным». В этом отношении Pergrubrius, связанный с первой зеленью и весенним пробуждением природы, сулящим конкретно урожай с полей и приплод от скота, отличается от Pilvits'а, олицетворяющего богатство в его, так сказать, абстрактной форме, не связанной непременно с растительным и животным царством. Возможно, что случаи, когда Pilvits предшествует Pergrubrius'у, могут объясняться наличием праздника осеннего Pergrubrius'а, завершающего годовой цикл [43].

В связи с обсуждением места, занимаемого в списках этими двумя божествами, можно высказать предположение, что в АТ к ним примыкал и Aušauts, бог-целитель [44], который в одних списках (I, II, V) занимает третье место после Svaixtix'а (объяснение этому факту дано выше), а в других (III, IV, VI) — непосредственно перед или после Puškaits'а. Это предположение основано на том, что Aušauts — «земной» бог, к тому же связанный именно с ч е л о в е к о м, причем не только в его физической, но и нравственной ипостаси ('der Gott der Gebrechen Kranken vnd Sunden'). Следовательно, его место после Pergrubrius'а и Pilvits'а вполне закономерно. Поздние источники согласно помещают *Aušauts*'а именно сюда, ср.: ...*Puſ*chkejs der Waldgott; P i l n i h t s der Gott des Ueberfluſses; A u s k u h t s der Gott der Gesundheit und der Krankheit, den sonderlich die Litauer ehrten. Hupel Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. 1774 (LPG: 509—510) [45]. Наконец, весьма интересный в ряде отношений список VI помещает Aušauts'а непосредственно после Pilvits'а [46].

Положение Aušauts'а в известной степени позволяет определить и место Puškaits'а. Если не считать списков I и IV, в которых Aušauts неправомерно попал на третье место, и списка I, где Puškaits вообще отсутствует, оказывается, Puškaits или непосредственно предшествует Aušauts'у (III, IV), или следует за ним (VI). В поздних источниках (см. выше) Puškaits, как правило, предшествует Aušauts'у [47]. Видимо, это положение было и в АТ, особенно если учесть, что Puškaits — природный бог (P u s c h k a y t s der Erden Gott vnter dem heiligen holtz des Holunders; P u t s c a e t u m, deum qui sacros lucos tuetur и др.) [48], а свидетельства III и IV о порядке следования богов теряют половину доказательной силы из-за того, что отражают одну и ту же версию. Более развернутые описания Puškaits'а рисуют его как божество во многом близкое Pergrubrius'у, но стоящее на шкале «природа»—«культура» на месте,

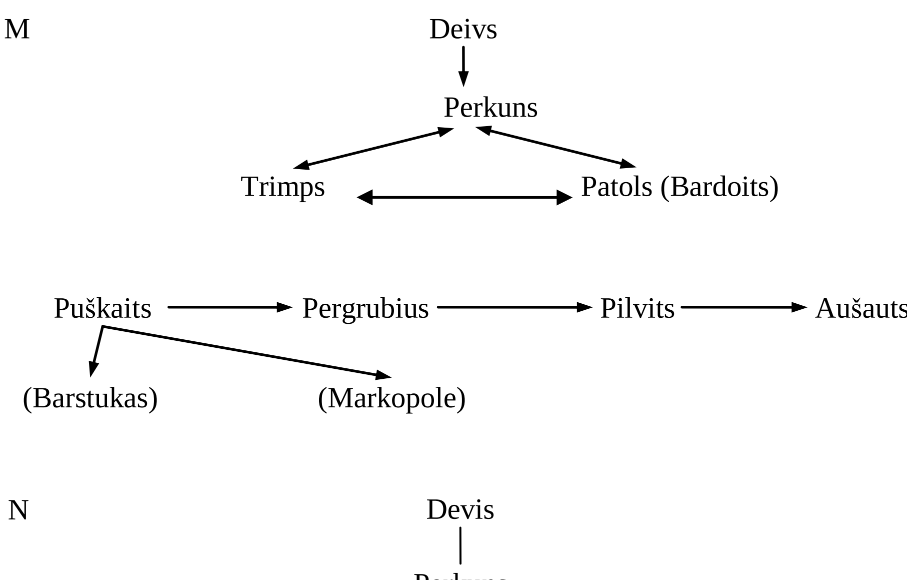
предшествующем Pergrubrius'у: если Puškaits связан с л е с о м, то Pergrubrius имеет, видимо, отношение и к н и в е, и к з е м л е д е л ь ч е с к и м обрядам (судя по соответствующему празднику). Возможно, что через Puškaits'а определимо и место Kurke — божества, не входящего ни в один из больших списков, разобранных выше (зато он есть у С. Грунау: ...*C* u r c h e war der 6. *gott*... LPG: 198), хотя первые его упоминания намного предшествуют по времени составлению этих списков[49]. В поздних списках отмечаются такие последовательности, как *Aušauts*—Kurke—Pilvits или Pergrubrius—Kurke, или Pergrubrius—Kurke—*Aušauts* и под. (см.: LPG: 532, 544, 577), при том, что этим перечням часто предшествует *Puškaits*. Поскольку Kurke, вероятно, обозначает злого духа, вредящего злакам, собственно зерну, он не был, естественно, введен в пантеон (тем более, что были божества, имеющие отношение к у в е л и ч е н и ю зерна). Положение Kurke, если пытаться продолжить список, определялось бы, видимо, пересечением сфер действия л е с а и п о л я (и, может быть, их представителей Puškaits'а и Pergrubrius'а). Действия Kurke (ср. лтш. kurke для обозначения мелкого, сухого, съежившегося зерна, kur̃kt 'высыхать', 'делаться полым' и т. д., ср. также лит. kurklỹs; sukur̃kti, apsikur̃kti и др., см.: LKŽ VI: 954 ff.)[50] есть результат конфликта между стихией природного и культивированным. Характерно, что M. Praetorius (Preuß. Schaubühne. LPG: 539) указывает обряды и заговоры, связанные с Kurke и напоминающие, с одной стороны, до сих пор отмечаемые верования и обряды при жатве в северной части Польши, Белоруссии, Прибалтики (ср. к этимологии: *kurka zbożowa*), а с другой стороны, русские заговоры с участием *Коркуши*.

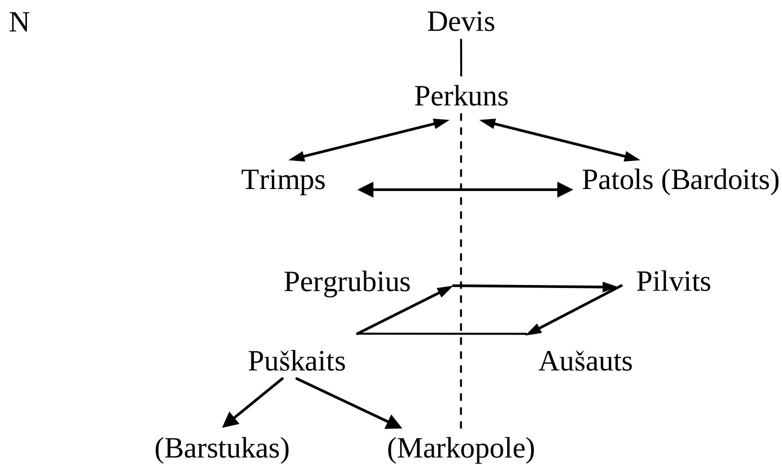
Наконец, с Puškaits'ом соотнесены и Barstukas и Markopole (ср.: B a r s t u c k e solten sein kleÿne menlein des P u ß k a i t e n diener die wir Wicholt nennen. VIII. M a r c o p o l e die Erdleutte vnd des P u ß k e i t t e n diener. IX), которые, строго говоря, не входят в пантеон и помещаются в списках (если только они вообще в них входят) всегда на последних местах.

Из сказанного выше можно заключить, что, несмотря на искусственный во многом характер списков прусских богов, составленных уже в эпоху упадка языческих верований у пруссов и актуализации античных схем мифологии у авторов, интерпретировавших списки, исследованные в этой статье перечни могут дать специалисту немало новой, до сих пор остававшейся неизвестной информации. Для того чтобы приоткрыть раннее состояние прусского пантеона, необходимо помнить о таких затушевывающих это состояние фактах, как аранжировка богов то по космологической, то по природно-хозяйственной схеме; использование то иерархического, то календарного принципа; разделение одного бога на два или несколько при сохранении общего (или близкого) корня с дифференциацией их словообразовательными элемен-

тами и искусственной семантизацией второго и т. д. персонажа; притяжение имен в списках по принципу звукового подобия; влияние античных (прежде всего древнеримской) и отчасти древнегерманских схем на состав и иерархию прусского пантеона и т. п. Помня об этих обстоятельствах и, насколько можно, устраняя их воздействие, можно путем внутренней реконструкции прийти к состоянию, существенно более раннему, чем то, что отражено в списках. Еще важнее то, что линейную последовательность списка удается с известным вероятием трансформировать в двумерную или даже трехмерную схему (пусть даже без строгого соотнесения отдельных ее частей).

Так, можно предполагать, что на основании гипотетического архетипа списка AT реконструируется схема вида M или N.





Члены схемы связаны рядом противопоставлений, о которых можно судить по свидетельствам, приведенным выше. Не претендуя на полноту картины, укажем на очевидные случаи:

Deivs — Perkuns (главный — неглавный, неактуальный — актуальный, хозяин — исполнитель, отсутствие описания внешнего вида — наличие его, отсутствие мотивов — наличие).

Trimps [51] — Patols (молодой — старый, весенний — осенний, жизнь — смерть, зеленый — белый).

Puškaits, Pergrubrius — Pilvits, Aušauts (дикий — культивированный, природа — человек).

Puškaits — Pergrubrius (лес — поле).

Pilvits — Aušauts (богатство — здоровье, моральная норма).

Дальнейшая эволюция этой схемы, включая и деноминацию отдельных ее элементов, состояла в следующем: 1) Deivs получил эпитет Okopirms, ставший позднее основной формой имени; 2) Trimps раздвоился на Potrimps'а и Autrimps'а (в некоторых вариантах и Natrimpe); 3) Bardoits как эпитет Patols'а отделился от этого имени и стал самостоятельным; 4) Patols получил имя Pekols; 5) Pekols раздвоился на Pekols'а и Pokols'а; 6) Svaixtix был включен в пантеон. После этих изменений возможны были разные способы упорядочения набора элементов пантеона. Наиболее популярными оказались два принципа — космологический (небо — Okopirms, солнце — Svaixtix (заря — Auš-?) [52], гром и молния — Perkuns, море — Autrimps (мореплавание — Bardoits), реки — Potrimps, земля (лес) — Puškaits, земля (поле) — Pergrubrius, человек (имущество) — Pilvits, человек (здоровье и мораль) — Aušauts, подземное царство — Pekols) или смешанный, где космологические элементы сочетались с социально-хозяйственными (большинство списков и — фрагментарно — триады и позднейшие описания прусского пантеона с выделением хозяйственно-экономических сфер).

Сопоставление данных о прусской мифологии с соответствующими фактами литовской и латышской мифологических систем, как и реконструкция более древнего общебалтийского состояния, будут даны в другом месте.

В. О раннелитовских списках богов

Речь идет о трех свидетельствах, по которым можно сделать некоторые заключения о литовском пантеоне XIII в. Все они содержатся в источниках, несущих печать западнорусского происхождения.

В Волынской летописи, входящей в состав Ипатьевской летописи, за 1252 г. сообщается о Миндовге: *крещеніе же его льстиво бысть: жряше бо-*

гомъ своимъ втаинѣ, первому Нънадѣеви, и Телявели и Диверикъзу, заеячему богу, и Мѣидѣину*... и богомь своимь жряше, и мертвыхъ телеса сожигаше, и поганьство свое явѣ творяше*.

В той же летописи под 1258 г. находится другое сообщение, в котором упоминаются некоторые божества литовских язычников: *Романови же пришедшу ко граду Литвѣ, потекши на градъ Литвѣ, ни вѣдѣша нишьто же, томо и головнѣ ти, псы течюще по городищу; тужаху же и плеваху, посвоискы рекуще: янда, взывающе богы своя Андая и Дивирикса, и вся богы своя поминающе, рекомыя бѣси*.

Наконец, в известной вставке западнорусского переписчика перевода «Хроники» Иоанна Малалы (сама вставка датируется 1261 г.) после рассказа о погребении Совия [53] следует: *Сію прелесть Совии въведе внѣ иж приносити жрътвоу скверным богам Андаеви и Перкоунови рекше громоу и Жвороунѣ рекше соуцѣ и Телѧвели ісгкоузнецю сковавша емоу сл҃нце ѧко свѣтити по земли и въвергъшю емоу на н҃бо сл҃нце...*

Ценность этих источников в том, что они по крайней мере на два века старше, чем основной массив старых свидетельств, относящихся к литовской мифологии. Все эти три источника хронологически размещаются в одном десятилетии и пространственно локализуются на территории, соседней с местами обитания восточнобалтийских племен и лежащей к юго-востоку от них. Таким образом, приведенные выше сведения получены, видимо, от очевидцев и должны высоко расцениваться в том, что касается их достоверности. Вместе с тем представленные здесь перечни весьма сильно отличаются от списков более позднего времени, и поэтому содержащиеся в них сведения нетривиальны. Цель заметки — в интерпретации некоторых деталей, которые до сих пор оставались не объясненными или толковались ошибочно, и выдвижении ряда соображений.

Сопоставляя перечни богов в трех приведенных отрывках, легко заметить, что там, где упоминается Дивирикс, отсутствует имя Перкуна. Значение последнего в литовской мифологии, его особое место в иерархии богов, образующих пантеон, и во всей системе мифологических и фольклорных представлений вплоть до настоящего времени слишком известны, чтобы предполагать случайное упущение. Кроме того, о Перкуне у литовцев были хорошо осведомлены соседние народы, и поэтому отсутствие Перкуна в западнорусских источниках по литовской мифологии также вызывает недоумение.

Учитывая, однако, положение Перкуна и Дивирикса в списках — после Нънадея и Андая и в соседстве с Телявелем, — напрашивается предположение об их тождестве. Имя *Дивирикс* обычно объясняют из лит. Dievo (или *Dievų*) rikys (-is), что должно было значить ʽгосподин боговʼ [54]. Несмотря на распространенность этого объяснения, оно, несомненно, ошибочно. Прежде

всего обращает на себя внимание то, что в литовском языке нет слова rikys (-is), ср., однако, прусск. rikijs. Кроме того, кажется странным, почему в русской передаче в одном случае сохраняется формант Nom. sg. -s (*Дивирикс*), причем даже в косвенных падежах, а во всех других не сохраняется (*Перкоунови*, *Андая*, *Андаеви*, *Телѧвели* и т. д.). Наконец, если учесть перифрастическое обозначение Перкуна, бытующее вплоть до настоящего времени, становится ясным происхождение имени Дивирикса. Несомненно, что в его основе лежит известное наименование Перкуна как «Божьего бича» — *Dievo rykštė*. Ср.: *Perkūną vadina*: «Dundulis», «*Dievo rykštė*»; *Kitaip Perkūnas vadinamas* «*Dievo rykštė*» и т. д., ср. также более подробные объяснения, иногда с намеком на мотивировку: *Apie Perkūną bijodavo ir išsižioti… Žaiba*s-*blogadarių rykštė*[55]. При таком объяснении (*Дивирикс* < *Dievo-*rykš*/*tė*/) конечное -с оказывается вполне естественным.

В другом месте будет показано, что *Нънадей* и *Андай* скорее всего тождественны (видимо, у них общий корень, и, к тому же, они находятся в отношении дополнительного распределения в списках) или весьма сходны (ср. выше об излюбленном у пруссов префиксальном способе мультипликации богов: Au-trimps, Po-trimps, Na-trimps и др.). Если это так, то получается последовательность А) *Нънадей*/*Андай* — *Перкун* — *Телявель* или В) *Нънадей*/*Андай* — *Телявель* — *Перкун*. Вероятно, последовательность А отражает более древнее состояние. Предполагая вслед за традицией, что в *Нънадей* скрывается название бога (ср. лит. dievas, лтш. dievs, прусск. deiws), присутствующее и в имени *Андай*, можно гипотетически реконструировать, не вдаваясь пока в детали, **Nō*-(an)-deiv- (*Nu-/an/-deiv-?) и *An(t)-deiv-[56]. В таком случае сообщение летописи: *жряше богомъ своимъ… первому Нънадѣеви* — нашло бы параллель в прусском перифрастическом обозначении первого божества Ockopirms, о котором в «Der vnglaubigen Sudauen…» сообщается: Deiwoty Zudwity; Ockopirmus der erste Gott Himmels vnd Gestirnes и др. Если это предположение верно, то Нънадей/Андай, глава богов (‘сверхбог’), относится к Перкуну, его слуге и помощнику, воплощению его воли, «божьему бичу», так же, как относится Dievas архаичных представлений литовцев, сохранившихся до настоящего времени, к Perkūnas’у, выступающему в той же самой роли (или как латышский Dievs к Pērkons’у)[57]. Ср. такие характеристики, как: *Perkūnas* tai Dievo *tarnas*…; *Perkūną leidžia* Dievas; Dievas liepia ir parodo *Perkūnu*i, kur reikia trenkt; *Perkūnas yra* Dievo pasiuntinys; Dievas yra *Perkūno viršininkas*. Jis Perk*ū*n*ą* siunčia ten, kur nori; Perk*ū*nas priklauso nuo Dievo valios и др.[58]

В другом месте обсуждались мифологические системы, в которых Высший бог в силу своей абстрактности и утраты сюжетных связей как бы пере-

ходит в долговременную пассивную память, а в пределах сферы актуальных представлений его функции исполняются слугой Бога. Заняв место Dievas'a, Перкун перенимает ряд его атрибутов, между прочими и наличие помощника, не успев утратить свойственных ему сюжетных связей. В литовских фольклорных текстах неоднократно упоминаются помощники Перкуна, как правило, безымянные. Возможно, что такая картина существовала уже в XIII в., к которому относятся приведенные выше источники. Суть предлагаемого здесь решения — в том, чтобы увидеть в Телявеле, упоминаемом исключительно в связи с Перкуном, именно такого помощника. Основания для такого взгляда достаточно многочисленны и надежны. Поскольку им посвящена специальная работа [59], здесь можно о них не говорить, ограничившись реконструкцией первых трех членов списка: Высший бог (Нънадей/Андай) — Громовник (Перкун) — Кузнец, его слуга (Телявель). Разумеется, что эта триада не отражает в точности иерархию богов в литовском пантеоне. Скорее всего, Телявель включен в триаду в связи с хорошо известным во всем прибалтийском ареале сюжетом о связи бога грома с кузнецом, выковавшим солнце (ср. скандинавские, финские, эстонские, белорусские и другие версии). Тем не менее реконструкция триады литовских богов именно в таком виде позволяет вскрыть существенный фрагмент древнелитовской мифологической системы [60].

Примечания

[1] Среди них см.: J. Balys. Motinos žemės gerbimas // Žemės ūkis. 1943. № 2; Idem. Lietuvių tautosakos skaitymai. I—II. Göttingen, 1948; Idem. Die Sagen von den litauischen Feen (Deivės, Laumės) // Die Nachbarn. Bd. I. Göttingen, 1948; Idem. Lithuanian Mythology, Latvian Folklore and Mythology // The Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend. Vol. 2. N. Y., 1950: 606—608, 631—634 и другие его работы, посвященные в основном фольклору и этнографии; Z. *Slaviūnas.* Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose // Senoji lietuviška knyga. Kaunas, 1947; C. Clemen. Les baltes et les slaves // Histoire générale des religions. Sous la direction de M. Gorce — R. Mortier. Paris, 1948; K. Straubergs. Die letto-preußischen Getreidefeste // Arv. 5. 1949; ср. также ряд его работ в издании: Latviešu tautas dziesmas. T. I—VI. Kopenhagenā, 1952—1954; В. Н. *Перцов.* Культура и религия древних пруссов // Уч. зап. Белорусского ун-та. Вып. 16. Серия ист. Минск, 1953: 329—378; *H.* Biezais. Die Religionsquellen der baltischen Völker und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen // Arv. 9. 1953: 65—128 (ср.: ZfslPh. 25. 1956: 397 ff.); Idem. Die Hauptgöttinen der alten Letten. Uppsala, 1955; Idem. Der steinere Himmel // Annales Academiae Regiae Scientiarum Upp-saliensis. 4. Uppsala, 1960; Idem. Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion // Acta Universitatis Uppsaliensis. Historia Religionum I. Uppsala, 1961 (ср.: ZfslPh. 31. 1963:

415 ff.) и др.; A. Gāters. Die baltische Lauma bzw. Laumė und die venetische Louzera // KZ. 1955. № 73: 52—57; *Вяч. Вс. Иванов.* К этимологии балтийского и славянского бога грома // ВСЯ. 1958. Вып. 3: 101—111; *A*. Jochansons. Kristofs Harders un latviešu tautas ticējumi // Ceļi. X. 1961: 35—41; Idem. Die Hüter der Schwelle im lettischen Volksglauben // Scando-Slavica. 8. 1962: 152—160; Idem. Der Sumpf im lettischen und weissrussischen Zauberwesen // Scando-Slavica. 11. 1965: 255—262; Idem. Der Wassergeist bei Balten und Slaven // Acta Baltico-Slavica. 2. 1965: 27—52; Vl. Gobis. Senovės lietuvių tikėjimas // Religijos ir ateizmo klausimai. Vilnius, 1963; J. Jurginis. Krikščionybė Lietuvoje // Ibid.: 223— 242; Idem. Lietuvių dievai ir deivės // Mokslas ir gyvenimas. 1966. № 3: 30—31; P. *Skardžius.* Dievas ir Perkūnas. Brooklynas, 1964; O. V. Ambainis. The Expression of the People's Views on Religion in Lettish Folk-lore // VII International Congress of Anthropological and Ethnographical Sciences. M., 1964; P. *Dundulienė.* Namų židinio kultas Lietuvoje // Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų Mokslo darbai // Istorija. T. VI. Vilnius, 1964: 125—151; Eadem. Ginu Kernavės Perkūną // Švyturys. 1966. № 4; Eadem. Senovės lietuvių religijos klausimai // Istorija. T. X. 1969: 181—207; Т. *Я.* Е*лизаренкова*, В. Н. *Топ*оро*в*. О древнеиндийской Ушас (Uṣas) и ее балтийском соответствии (*Ūsiņš*) // Индия в древности. М., 1964: 66—84; *В. Н. Топоров.* Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью // Acta Baltico-Slavica. 3. 1966: 143—149; Idem. К балто-скандинавским мифологическим связям // Donum balticum. Stockholm, 1970; V. Pisani. Il paganesimo balto-slavo. Torino, 1965 (ср.: Idem. Le religioni dei Celti e dei Baltoslavi. Milano, 1951), и др.

[2] Цит. здесь и далее по тексту: W. Mannhardt. Letto-PreußiscIle Götterlehre. Riga, 1936: 233 (далее — LPG). Ср. порядок следования богов в «Dissertatio prooemialis» Мисленты (Coelestin Mislenta): Occopurnus, Suaixtix, Auxschautis, Autrympus, Potrympus, Bardoayts, Polunytis Parcuns, Pecols atque P*ac*ols; в «Selectae dissertationes historicae de variis rebus Prussicis» Хартткноха (1679), p. 125; Occopirnus, Suaixtix, Auxschautis, Autrympus, Potrympus, Bardoayts, Polunytis, Parcun*s*... Pecollos *atque*... Pacols (ср. нем. вариант: Chr. Hartknoch. Altes und Neues Preussen. Königsberg—Leipzig, 1684: 127); в «Duae orationes historicae de duplici divinae gratiae fundamento» (Regiomonti, 1644) И. Бема: Nomina numinum, quibus sacrum cultum praestabant, ipso son barbara et horrida fuerunt 1) *Occo*pirmus, 2) Suaixtis, 3) Aus*c*hauts, 4) Autr*y*mpus, 5) Potrimpus, 6) Bardoijts, 7) Piluvytus, 8) Parcuns, 9) Pe*co*ls, 10) P*oc*ols. Haec barbara barbarorum Borussoum nomina notabant Saturnum, Solem, Aesculapium, Neptunum, Castorem et Pollucem, Cererem, Jovem, Plutonem, infernales Furias (ср.: Idem. Gründliche Erweisung… 1625). Как видно из этих примеров, все они восходят к «Constitutiones Synodales», на что, впрочем, иногда указывают и сами авторы.

[3] LPG: 245—246. Ср. так называемый Druck A (Ibid.: 299—300): 1. *Oc*k*o*pirnus den Gott himels vnd der erde. 2. S*c*hw*ay*testix der gott des lichtes. 3. Auschlauis (опечатка, вм. Auschkauts) der Gott der gebrechen der Kranken und gesunden. 4. Antrimpus der Got des mehrs vn der See. 5. Protr*y*mpus (опечатка, вм. Potrympus) der Gott der fliessenden Wasser. 6. Gard*oay*ts der Schiff Gott. 7. Pergrubius (опечатка, вм. Pergrubrius) der lest wachsen laub vnnd Gras. 8. Piluitus der Gott machet reich vnd füllet die scheunen. 9. Parcknus der Gott des Donners Blicksens vnnd

Regens. 10. P *o c* k l u s der Gott der Hellen vnd Finsternus. 11. P o c k o l l u s die fliegenden Geister oder Teuffel. 12. P u s *c* h k *a y* t s latine Sambucus, der Gott vnter dem Holtze Holunder. 13. B a r s t u c k e die kleinen Menlin, die wir die Erdmenlin oder Wichtole nennen. 14. M a r k k o p p o l l e die Edelleute (V).

[4] LPG 295.

[5] LPG: 362; фактически тождественно с III.

[6] Chronicon des Landes Preussen Colligirt durch Joannem Bretkium Pfarhern zu Labiau. Das Erste Buch Außgeschrieben von mir Casparo Hennenbergern Pfarhern zu Mülhausen. 1588; текст цит. по изд.: G. Gerullis. Bretke als Geschichtsschreiber // ZfslPh. 40. 1926: 119—120.

[7] Ср. сопоставление трех списков с добавлением данных, почерпнутых у Стрыйковского, в рукописи Станевича «Mythologia prusko-litewska podług Hartknocha» (не позднее 1838 г.). См.: Simonas Stanevi*č*ius. Raštai. Vilnius, 1967: 249—252.

[8] Литерные номера означают отсутствие данного имени хотя бы в одном из списков. Что касается подсчетов, относящихся к Pekols и Pokols, то следует иметь в виду, что к типу Pekols относятся все первые, а к типу Pokols — все вторые имена в соответствующих парах. Так, Pocclus в III, IV, V относятся к Pekols, а Pikoliuni в VI — к Pokols.

[9] Формы имен богов, приводимые здесь, даются в условном и обобщенном виде.

[10] Ср. объяснение ʻder e r s t e Gott’ (II), с чем согласуется и традиционная этимология -ucka- & pirms ʻиз всех первый’, см.: K. *Būga.* Panikas ir Ukapirmas // Rinktiniai raštai. II. Vilnius, 1959: 156; ср. прусск. ucka-, префикс Superlat., ucka isarwiskai 81, 13 ʻaufs treulichste’, ucka kuslaisin 59, 9 ʻschwächste’, *ųckelāngewingiskai* 39, 28 (ср. 29, 21; 33, 22, 47, 31 ʻaufs einfältigste’. Из типологических параллелей ср. имя императора *Цинь-Ши-хуанди*, являющееся, собственно говоря, титулом со значением ʻП е р в ы й Бог и Божественный предок Циньской династии’.

[11] См.: *P.* Skard*ž*ius. Dievas ir Perkūnas…; J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos darbai. III. Vilnius, 1937 (Perkūno ir Dievo santykiai. S. 150—152); H. Biezais. Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion…; K. Straubergs. Latviešu buŗamie vārdi. I. Rīgā, 1939: 383—386; *P. Š*mits. Latviešu tautas ticējumi. III. Rīgā, 1940: 1400 ff. Ср. там же, I: 362, № 5861: Vec*ā*s un *ī*st*ā*s tautas tradicij*ā*s Dievs *ī*r tikai *ī* p a *š* v *ā* r d s... (к Okopirms как собственному имени).

[12] Во всяком случае, говоря об Okopirms’е как о deum coeli et terrae, едва ли помнили о связях римского Сатурна с землей и севом.

[13] К отличию Dievas от других богов (в частности, от Perkūnas’а) ср. вырожденную версию: *k a d D i e v o n e b ū t ų,* t a i j i s (sc. Perkūnas) *b ū t ų D i e v*u, bet *kadangi Dievas esąs, nes jis niekados nemirštąs, tai ir Perkūnas negalįs būti Dievu, nors p i r m i a u s j i s v a l d ę s svietą ir neretai nužengdavęs ant žemės...* См.: J. Balys. Perkūnas…: 151 (№ 29). О дальнейшей судьбе Okopirms’а в источниках см.: LPG: 531, 541, 615, 618, 620.

[14] Ср.: Die Suda wen hielten iehrlich zwey grosse fest ihrer heÿligung vnd solches mit sonderlicher sollemnitet vnd Cerimonien, als das e r s t e heissen sie das Fest P e r g u b r i j vnd hieltens iehrlich im Fruling, ehe der pflug außging… *Бреткунас*: 120—121.

[15] Положению Svaixtix’а после Perkuns’а соответствуют некоторые другие описания; ср., например, в стендеровской латышской мифологии: P e r k u h n i *s*... Noch jezt

heiſt der Donner Pehrkons... Saule, die Sonne, war bey den Heidnischen Letten verheiratet und zwar an den Mond. Aus dieser Ehe wären die ersten Sterne gezeugt worden. Daher hört man in den alten lettischen Liedern Saules meitas, Sonnen Töchter, nach welchen die Deewa dehli Gottessöhne gefreyet und eine kleine Mitgabe bekommen. Swaigsnes die Sterne. Die ersten sollen Produkte der Sonnen und des Mondes seyn… LPG: 627 и др. К имени Svaixtix ср.: K. Būga. Prūsų dievai Pilvytas ir Zvaigstikas // Rinktiniai raštai. II: 156; Idem. Suaixstix // Ibid. I: 149—154; ср. также: LPG: 541—542 (сведения из М. Преториуса).

[16] См.: G. Dumézil. La religion romaine archaïque. Paris, 1966: 317— 318; ср. также: *Вяч. Вс. Иванов.* Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии // Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969: 63. Когда солнце и огонь встречаются в одном списке, первое место обычно отдается солнцу, ср.: Im anfanng dieser obberurten Preussen seind sie vor vnglaubig erkanndt wordenn, die Sonne, Mond, fewer vnd welde, tzu förderst den Bock angebetten, geheiligett vnd geehreht. «Der vnglaubigen Sudauen» (LPG: 262); …die Sonne, Stern, Mond, Feur, Wasser, Ströme vnd schier alle Creaturen angebetet… Sal. Henning (LPG: 413—414).

[17] Ср. ряд примеров, иллюстрирующих место солнца в перечнях: Et quia sic deum von cognoverunt, ideo contigit, quod errando omnem creaturam pro deo coluerunt, scilicet solem, lunam et stellas, tonitrua, volatilia, quadrupedia eciam usque ad bufonem. Habuerunt eciam lucos, campos et aquas sacras… Peter von Dusburg. De ydolatria et ritu et moribus Pruthenorum (LPG: 87) (легко заметить соответствия этого перечня со списками богов, ср.: solem — Svaixtix, tonitrua — Perkuns, quadrupedia — Pekols, lucos — *Puškaits*); …solem et lunam deos omnium primos crediderunt, tonitrua fulgetrasque ex consensu gentium aborabant. Erasm. Stella (LPG: 182, 189); Von anbegin die einwoner des landes zu Preussen wusten noch von gotte noch von gotthin zu sagin, sundir die sonne sie geerht haben. S. Grunau (LPG: 196); …mit der Sunnen, Maen vnde Sternen… Balth. Russow (LPG: 418) и др. Особенно показательно следующее свидетельство: Ausser diesen sind nicht minder göttlich geehrt worden andere Creaturen als: Sonn, Mond und Sterne. Diese sind, halte ich, unter dem Namen der Szweiksduks angebetet worden. Denn selbiges Wort bedeuten kann ein Sternregierer. Wie aber sie Sonn*e. Mond a part mögen gedienet haben, finden wir nirgends ... Matth.* Praetorius. Preussische Schaubühne. IV. Idolatria veterum Prussorum (LPG: 546). Возможно, что показательны и такие контексты, как: Algis angelus est summorum deorum. Ausca dea est radiorum solis… Joh. Lasicii De Diis Samagitarum (LPG: 356), относящиеся уже к восточнобалтийской традиции. К ней же относятся и другие свидетельства, ср.: …kits tare iog Saule butu Diewas, kits iog Menu, kits kita daikta Diewu essant tikeia… *Бреткунас*. Post. (LPG: 425); Barbaram hanc ab initio fuisse gentem, et omnis expertem vrbanitatis civilitatisque, vel ex eo quod solem, lunam, tonitrua deorum loco coluerunt, liquido constat. Dion. Fabricius. Livon. hist. (LPG: 457); Und dass haben auch diese Letten gethan und der Sonnen, dem Monde, Donner, Blitzen und den Winden Gottes — Dienst bezeiget, auch haben sie neben diesen besondere Götter und Göttinnen *gehabt... Paul* Einhorn. Hist. Lettica (LPG: 481) и др. Однако в рифмованной хронике место солнца в списке иное, ср.:

donre, s u n n e, stêne, mân,
vogle, tîr und ouch dî crotin
wârin in irkorn zu g o t i n.

Nikol. von Jeroschin.
Kronike von Pruzinlant. V. 4006—4009
(LPG: 107).

[18] Не исключено, что некоторую роль могла сыграть звуковая близость корня Bard- с лат. Portunus, имя гения покровителя мореплавания. Ср.: G a r d o a e t e n, deum n a u t a r u m, qualis olim apud Romānos fuit P o r t u n n u s (III).

[19] См.: K. *Būga.* Prūsų dievas Gardaitas // RR II: 98—99.

[20] Ср. также: Grubrius — Pergrubrius.

[21] Scil. Perkuns (ср. аналогичные описания Perkuns'а далее).

[22] Для списков I—VI указанные последовательности могут быть прерывистыми.

[23] См.: K. *Būga.* Dievai Pikulas ir Patulas // RR II: 78—79; A. H. Krappe. Pikuls. Ein Beitrag zur baltischen Mythologie // IF. 50. 1932: 63—69; V. Pisani. Zu balt. Pikuls // IF. 50. 1932: 237; T. Milewski // Sl. Occ. 18. 1947: 25, 39, 43, 57 и др.

[24] Менее вероятно предположение о мене графем t и *c* (= k), вообще говоря, нередкой в прусских текстах (ср.: tarbio — carbio и под.).

[25] Ср. в этих списках четкое противопоставление: *Poklus — *Pokolus.

[26] Ср.: Den Namen Po*đ*ollen haben sie ohne Zweiffel dem ort gegeben von wegen des ersten Abgottes Potollo, den etzliche auch Pickollos vnd zwar nicht vnrecht nennen, denn es auf Deutsch der Teuffei heisst. Hennenberger. Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel oder Mappen… (LPG: 312); Potollos, Den etzliche auch Pocollos oder Picollos nennen, der ir oberster Gott war, ist meines bedunckens wie Sonsten der Heiden Saturnus gewesen. Hennenberger. Kurtze und warhafftige Beschreibung aller Hohemeister Deutsches Ordens (LPG: 312) с контаминацией бога мертвых Potollo у Грунау и Pocklus Gott der Hellen und Finsternus и т. п. у Дитмара.

[27] См.: K. B*ū*ga. Rickoyot'as ir priesaga -ota- (resp. -uota-) vietų ir žmonių varduose // RR I: 159—165.

[28] Ср. любопытное место из «Collatio episcopi Warmiensis»: *…colentes* p a t o l l u m N a t r i m p e *et alia ignominiosa fantasmata…* LPG: 154.

[29] Учитывая весьма слабое развитие мореплавания у пруссов (и соответственной терминологии), в этом фрагменте мифологической системы можно видеть скандинавское влияние.

[30] К суффиксу (-*ā*t- или -*ō*t-) ср.: J. Endzel*ī*ns. Senprūšu valoda. Rīgā, 1943: 52.

[31] См.: A. H. Krappe. Les dieux jumeaux dans la religion germanique // Acta Philologica Scandinavica. Tidsskrift for Nordisk Sprogforskning. Bd. VI. 1931—1932: 6—8; ср. также старую догадку о Bardoits'е как гипостазе Potrimps'а, см.: J. Bender. Zur altpreußische Mythologie und Sittengeschichte // AM IV. 1867: 101.

[32] Ср. изображения спартанских Диоскуров, или известных миланских близнецов Протасия и Гервасия, или, наконец, близнецов на митраических монументах и т. п. См.: J. R. Harris. The Cult of the Heavenly Twins. Cambridge, 1906: 46 ff.; F. Cumont. Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra. I—II. Bruxelles, 1896—1899; J.-J. Bachofen. Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Bâle, 1925: 14 и др.

[33] Сюда же можно добавить весенние и осенние праздники Ярилы или Яровита у славян или Марса у римлян (весеннее изгнание Mamurius'а Veturius'а и осенний Equus October) и др. При этом существенно, что обе ипостаси перечисленных персонажей противопоставлены друг другу по тем же праздникам, что и Potrimps и Patols. Поэтому последовательность Potrimps — Perkuns — Patols, учитывая отнесенность Perkuns'а к лету, одновременно отражает и структуру соответствующих изображений, и очередность сезонных празднеств, посвященных этим богам.

[34] Ср.: Die grosse dicke und mechtige hohe eiche, in welcher der teuffel sein gespenst hette und die bilde der abgötte ynne woren, halt ich ausz vorplendungk des teufels, war stetis grün, winter und sommer, und war obene weit und breit so dicke von lobe, damit kein regen dardurch kunt fallen, und umb und umb woren hubsche tuchir vorgezogen ein schrit aber 3 von der eichen wol 7 elen hoch, do mocht niemandt *eingehen ag der kirwaito und die obirsten waidolotten…* Und die eiche war gleich in 3 teil *geteilet…* S. Grunau. Von der gelegenheit der eichenn… (LPG: 196).

[35] См.: G. Dumézil. Op. cit.: 187; *Вяч. Вс. Иванов.* Указ. соч.: 65—66.

[36] См.: A. H. Krappe. Les dieux jumeaux…: 8—9.

[37] Вся же прусская триада рядом существенных черт напоминает то, что сообщают Эббон и Герборд о Триглаве, идол которого стоял в Щецине на главном из трех холмов; ср.: ...tria capita habere, quoniam tria procuraret regna id est coeli, terrae et inferni. Ebbo. Vita Ottonis // Bibliotheca rerum germanicarum. 1869 (III, 1). Характерны и некоторые другие совпадения; ср., например, намек на военные функции Potrimps'а («ein gott des gluckis in streitten» (LPG: 197) при несомненных функциях бога плодородия в связи с особенностями Яровита (ср. также характеристику Святовита — clarior in victoriis. *Гельмольд* II: 12) и др.

[38] Ср.: *P. Š*mits. Op. cit. II. 1940: 739—743 (jumis). Есть указания на то, что существовала специальная работа на эту тему: L. Adam*ovičs.* Jumis. Das altlettische Ackerbaumysterium. Rīgā. См. также статью Вяч. Вс. Иванова в настоящем сборнике. В свете приведенного прусского материала ср.: *Es redzēju* vecu vecu | Pa vecaini *staigāj*am. | V*ai tas bija miežu* jumis | *Dzelteniem zābakiem?* BW. 28525; *Jumīts* sauca *jumaliņas,* | *Kalniņa stāvēdams;* | *Rozajā tai galviņa,* | *Akotajā vilnainīte.* BW. 28535; *Nāc ārā, talkas māte,* | *Ko es tev parādīšu:* | *Es tev došu* jumju *kroni* | *Par launaga nesumiņ*u. BW. 28551 (ср. 28552). Мотив двойственности, противопоставления старого молодому [или большого малому (ср.: Jumis и *Jiimaliņš*), борода и т. п.], нахождения на холме венка из колосьев и т. д. непосредственно связывают латышские представления о Jumis'е с указанными прусскими.

[39] К словообразованию см.: K. *Būga.* Patrimpas su giminaičiais // RR II: 77—78. Ср. также лит. *eik sau po Trimpų!*

[40] Возможно, что иной принцип уподобления наблюдается в случаях, когда Au-šauts соседствует с Au-trimps'ом.

[41] Особенно характерно, что дальше у Ласицкого следует: *Bezlea* dea vespertina, Breksta tenebrarum. Ср. лит. bl*ė̃*sti 'угасать', 'потухать'; лит. br*ė̃kšti* 'брезжить', 'рассветать', 'заниматься (о заре)'.

[42] Принадлежность к «земным» богам подтверждается цитированными выше определениями в списках, более развернутыми описаниями (ср. выше о Pergrubrius'е в «Der vnglaubigen Sudauen»; ср. там же о Pilvits'е: Darnach hebt er aber ein mal an vnd

bittet den gewaldigen Gott P i l n i t e n, das er lasse wachsen grosse schone ahren vnd mehre Inen In der Scheunen Ir gewechse also wie oben... LPG: 248 и др., ср.: Joann. Maelet. LPG: 294; ср. также 301, 304, 334, 361, 536, 562 и др.) и, наконец, поздней традицией, ср.: Die Z e m y n e l e oder auch Z e m y n a item Z e m y n y l e n a, wird gehalten vor des Z e m e p a t y s Schwester und wird derselben die Wirkung zugeschrieben, dass durch sie die E r d e f r u c h t b a r wird. Ja was die alten Preuſs. Scribenten dem Podrympo, P i l w i t t o, P e r g u b r i o, Gurcho zuschreiben, das legen die jetzigen Nadrawer dem Z e m e l u k e i und der Z e m y n e l e n *bey...* M. Praetor. Preuß. Schaubühne. LPG: 544; Der Z e m y n e l e n schreiben sie alle die munia und Würkungen zu, die die Preussischen Historici dem P e r g u b r i o, Padrympo, Gurcho, Ausszwaito, P i l w i t t o zuschreiben. Denn die Z e m y n e l e giebt und erhält ihrer Meinung nach M*enschen und Vieh und allen Dingen das Leben...* LPG: 577.

[43] Эта же последовательность может получить иное объяснение, если исходить из некоторых поздних источников. Ср.: Menschengötter Auszaitis, Gurcho, P i l l w i t t u s. Arbeits-götter P e r g u b r i u s... M. Praetor (LPG: 532), т. е. Pilvits — последний бог данного ранга, Pergrubrius — первый бог следующего ранга, причем ранги отражают функции в их иерархии. Любопытно раздвоение Pilvits’а в поздних источниках (со следами компиляции) на два независимых божества — Pilnihts, ‘der heydn. Letten Plutus oder Gott der Fülle…’ и Pelwihks, ‘der Gott der Gewässer und Moräste…’, ‘Portunus’. См.: LPG: 619. Таким же образом, как из бога б о г а т с т в а и избытка Pilvits’а возник одноименный бог в о д (Pelwihks), мог возникнуть бог вод Potrimps из предшествующего ему бога плодородия Potrimps’а. В пользу этой гипотезы говорят описания Potrimps’а в триадах (см. выше) и такая типологическая параллель, как т о п а н ь е, т о п т а н ь е, п о п и р а н ь е ногой (ср., с одной стороны, Potrimps — лит. treм̃pti и, с другой стороны, характеристику изофункционального Potrimps’у Ярилы: *Валачывся Ярыло | Па ўсему свету, | Полю жыто радзив, | Людзям дзеци пладзив, | А г д з е ж о н н а г о ю, | Т а м ж ы т о к а п о ю...*).

[44] По-видимому, можно говорить шире о функции сохранения целостности, безопасности человека (ср.: Auscautum, deum incolumitatis et aegritudinis). Ср. в поздних источниках *Atsweikčius*, от at-sveikti ‘выздороветь’.

[45] Ср. обратный порядок: ...*Puſszaitis* ... Menschengötter Auſzaitis ... P i l l w i t t u s. Arbeits-götter P e r g u b r i u s. M. Praetor (LPG: 532) или смешанный порядок: ...dem P e r g u b r i o ... A u s s z w a i t o, P i l w i t t o... Там же (LPG: 577).

[46] К этимологии имени *Aušauts* см.: A. *Mierzyński.* Die samländische Gottheit Auszautis // SB der Prussia. XXI. 1900: 41—50; A. Brückner. Osteuropäische Götternamen // KZ. 50. 1922: 165—166; A. Bezzenberger. Einige Anmerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz // KZ. 50. 1922: 197—198; K. B*ū*ga. Prūsų dievas Aušautas // Rinktiniai raštai. II: 98. К семантическому обоснованию этимологии (ср. прусск. au- ‘прочь, от’ и лит. *šá*uti ‘стрелять’, вост.-лат. saũt, ср. прусск. auschautins и т. д.) ср.: n u *o š ķ* i r, tu *žè*l*ī*gais Dievs un Tèvs, n u o s ķ i r tàs vèja buł̃tas ‘о т г о н и, милостивый Бог и Отец, о т г о н и п о с т р е л ы’ или D z e n, P*ē*rkuona l ù o d e, ziben*ē* tùos *ļ*aùnuos garus n u o maniem lùopiem nùost! ‘Перконова с т р е л а, отшиби молнией п р о ч ь о т моей скотины злых духов!’ (из латышских заговоров); *Ф. Трейланд.* Указ. соч. № 115 (с. 127), № 453 (с. 164) и др. Ср. также *стрелы* как название болезни и операцию изгнания (‘вышибания’) их целителем.

[47] Ср. также: ...Putscetus, Auscutus. — LPG: 291.

[48] Ср. последующие определения *Puškaits*'а как «лесного» бога.

[49] Ср.: Ydolo, quem semel in anno, collectis frugibus, consueverunt confingere et pro deo colere, cui nomen Curche imposuerunt... (1249). — LPG: 41 (ср. 42). Ср., кроме того, 46 и сл., 198, 206, 216, 520, 532, 539 и сл., 544, 577.

[50] К этимологии см.: F. Bujak. Dwa bóstwa prusko-litewskie «Kurche» i «Okkopirhus» // Lud. Serja II. T. II. Zeszyt I—IV. 1923: 6—7 (объяснение, данное в статье: K. *Būga.* Prūsų dievas Kurka // Rinktiniai raštai. II: 79, должно быть оставлено). Идея скорченности, скрюченности, но применительно к другой области нашла свое персонифицированное выражение в образе Коркуши из русского заговора против лихорадки. См.: *Л. Майков.* Великорусские заклинания. СПб., 1869: 47: *Мне имя Коркуша* (т. е. та, что причиняет корчи, судороги). *Коркуша* < *Kurk-, ср. прусск. Curcke.

[51] К форме и функциям Trimps ср. также из латышских заговоров: Laj Trim̃pus nuo taviem laùkiem, lùopiem, *pļavā*m, *dārziem* un *ganīklām nuogriežās.* — *Ф. Трейланд.* № 526 (с. 173). Ср. гимн Салиев Юпитеру: Quomne tonas, Leucesie, prai tet tremonti (trem- : trimp-).

[52] Ср., например, место, занимаемое лтш. Auseklis: Dieva d*ē*li k*ū*r*ē*ji*ņ*i, | Saules meitas p*ē*r*ē*jinas. | Ausekl*ī*tis garu l*ē*ja | Ar sudraba bu*ķ*er*ī*ti... BW. 33844; Dieva d*ē*li, Saules meitas | Vid*ū* gaisa k*ā*zas dz*ē*ra | Ausekl*ī*tis tec*ē*dams | Tas p*ā*rmija gredzeni*ņ*us. BW. 33844 (вариант: *Mēnestiņš tecēdams*). К связи Auseklis и Месяца см.: BW. 33795, 33831, 33855—33859, 34022, 34026 и др.

[53] См. подробнее: *В. Н. Топоров.* Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью // Acta Baltico-Slavica. 1966. III: 143—149.

[54] См.: LPG: 54; F. Bujak. Op. cit.: 11 и др.

[55] См.: J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakosdarbai. 1937. III. № 167, 192, 201 (s. 160—161). Надо напомнить, что еще А. Брюкнер (Starožytna Litwa) предлагал сходное объяснение, подвергшееся критике в кн.: A. Mierzy*ń*ski. Mythologiae Lithuanicae Monumenta. I. Warszawa, 1892: 142—143. Интересна параллель в сказке из прусской Самландии: дьявол бежит при наступлении грозы от бога с синими бичами (= молниями): Nun ist's Zeit, daß ich mich fortpacke, denn da kommt der mit der blauen Peitche. См.: R. Reusch. Sagen der Preußischen Samlandes. Königsberg, 1863: 95.

[56] К использованию этих же префиксов в теофорных образованиях ср. прусск. Na-trimpe, An-trimps (если это не опечатка из Au-trimps). Особое значение имеет лтш. nodievs, ср.: *Saulīte iet nodievā* (ср. L. B*ē*rzi*ņš.* «Deews» latweeschu mitoloģijâ. Rīgā, 1900: 34; ME. Erg.-h. II: 34). К значению nodievs ('небо') см. теперь: *H.* Biezais. Die Gottesgestalt…: 36—37. Ср.: padievs, там же, 66.

[57] Литература вопроса указана выше.

[58] См.: J. Balys. Op. cit. № 30, 31, 34, 44, 45, 46 (s. 151—152). Для латышских текстов более характерны такие сообщения, как: P*ē*rkons ce*ļ*as tad, kad velns str*ī*das ar Dievu; Kad P*ē*rkons rucot, tad Dievs braucot pa debes*ī*m…; P*ē*rkona laik*ā* velnas sl*ē*pjas no Dieva zem kokiem… и т. д. См.: *P. Š*mits. Latviešu tautas ticējumi. III. Rīgā, 1940: 1401—1402. Ср., с другой стороны: L*ī*go Dievis ar P*ē*rkoni. BW. 32955, Danco Dievs ar P*ē*rkoni. BW. 24044, или же Dievi*ņš* r*ū*c, | Zib*šņ*us met ozol*ā*. BW. 33700 (действие, более характерное для Перкона).

[59] См.: *В. Н. Топоров.* К балто-скандинавским мифологическим связям // Donum Balticum. Stockholm, 1970.

[60] Возможно, что на третьем месте в литовском пантеоне находилось Солнце (Saul*ė*), от которого шла нисходящая линия Месяц — Звезды — Заря и т. д. Ср. место Svaixtix'а в прусских списках или же латышские перечни типа *Deews*... Perkuhnis... Saule... Swaigsnes... Tehws... Mescha tehws Waldgott, Semmes tehws Landgott etc. Stender (LPG: 626—627). Очень любопытно наличие л е с н о г о б о г а после Перкона (Saule, Swaigsnes здесь вторичны, так как взяты из космологической схемы, удержавшейся в полном виде в фольклоре), учитывая, что *Мѣидѣин*а (литовское л е с н о е божество) также помещена непосредственно вслед за Дивириксом-Перкуном. Учитывая латышские аналогии, *Жворуну* из вставки в «Хронику» Иоанна Малалы можно попытаться интерпретировать как вечернюю звезду *Žverinė* (ср.: Swaigsnes у Стендера). В таком случае допустимо реконструировать начало списка богов в древнелитовском пантеоне в таком виде: В ы с ш и й Б о г (Dievas), Perkūnas, S a u l ė (M ė n u o), Ž v ė r i n ė… M e d e i n a… Весьма любопытно, что в латышском фольклоре достаточно полно сохраняется мотив вражды Dievs'а (часто совпадающего функционально с Перконом) к Солнцу; см.: H. Biezais. Die Gottesgestalt… S. 40 ff. Ср.: BW. 34019: *Trīs dieniņas, trīs naksniņas* | *S a u l'* ar D i e v u *ienaidā*; | S a u l e s m e i t a *pārlauzuse* | *D i e v a d ē ļ a zobeniņu* или BW. 33761: *D i e v a d ē l i s kaldināja* | S a u l e s m e i t a s *vainadziņu*... и др. Любопытно, что С о л н ц у противопоставлен именно Г р о м о в н и к (независимо от того, выступает ли он в виде Dievs'а или Perkons'а). Ср. аналогичные факты: A. M. H*o*cart. Kings and Councillors. Cairo, 1936.

1972

ОБ ОДНОМ ЛОКАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ ОСНОВНОГО МИФА (*DIEVENIŠKĖS*)

В местечке Диевянишки (на юго-востоке Литвы, в окружении славянского этнического и языкового элемента) засвидетельствованы весьма интересные архаичные факты, относящиеся к основному мифу о поединке Громовержца с его противником, исследованному в совместных работах В. В. Иванова и автора этих строк. Суть содержания основного мифа, в балто-славянской области связываемого с именами Perkū́nas, *Pērkons*, *Пярун* и т. п., состоит в том, что божественный персонаж, находящийся н а в е р х у, поражает своего противника, находящегося в н и з у, вредоносного и характеризующегося звериной («нечеловеческой») природой, с помощью к а м н я (или обращая его в камень). Оригинальность локального диевянишского варианта определяется отсутствием текстов, непосредственно отражающих основной миф (во-первых), и чрезвычайным многообразием косвенных отражений мифа, пронизывающих самые разные сферы жизни в их знаковом воплощении (во-вторых). Все происходящее помещается в контекст мифологической или «мифологизирующей» топографии и тем самым вводится в языковой уровень (со всеми вытекающими из этого следствиями). Центр происходящего Dieve*niškės*, т. е. место, принадлежащее (относящееся к) *Dievenis'y*, — от *Diẽvas* 'Бог' (ср. Barzd-*ẽnis* : barzdà 'борода'); оно находится на возвышенности, господствующей над окрестностью, на холме — костел, отмеченный уже в источниках XV в. В конце XVI в. живший здесь поэт Анджей Римша написал поэму на польском языке, прославляющую воинские подвиги воеводы, чье имя Kristupas Radvila *P e r k ū n a*s. И сейчас Диевянишки и в пределах их холм с храмом — сакральный и ритуальный центр всей окрестности (сами Диевянишки — административный центр). Внизу холма (за самым крутым его склоном) — река и кладбище; среди эпитафий несколько таких, которые

упоминают о гибели от м о л н и и (ср. обычные в Диевянишках проклятия: kad tau (tave) *p e r ū n a s ažušaut/ų*/! «чтоб тебя гром (перун) убил!»). Названию *Dieveniškės* противопоставлено название нижележащего селения (в нескольких верстах) Krak*ū*nai (с суфф. действующего лица -*ūn*-) с кладбищем на х о л м е (как и в других местах, кроме Диевянишек). Это название, входящее в пару Perk-*ūn*- : Krak-*ūn*-, видимо, сопоставимо с именем Крака, мифологического основателя Кракова, победителя дракона, жившего у холма Wawel (wa-, стар. *wą*- — префикс, wel- — корень, соотносимый с именем антагониста Громовержца Велеса; ср. киевскую ситуацию: Перун на г о р е, Велес на П о д о л е; в целом Wa-wel — то же, что и русск. *у-вал*, из праслав. *ǫ-val-, подобно ст.-слав. **ѫ-родъ** : русск. *у-род*, из праслав. *ǫ-rodъ*). Как указывалось в другой работе, польск. Krak связано с названием г о р ы (Карпаты — как «Краковские горы») и д у б а (ср. лат. quercus; др.-греч. *Κόρκυρα*, *Κορκοντοί* и т. д.); ср. образ *dąb krakows*ki, в частности, в Диевянишках. С *Krakūnai* связано и название дороги *Krakūnakelė*; любопытно еще одно название близлежащего места — *Krùniškės*, от *Krunỹs*/Krunas, ср. лит. krunė́ti ‘тяжело кашлять’; здесь же Kr*ū̃niškių bãlos*, название болота, Kr*ū̃niškės* ‘луг’ и т. д.; в качестве параллели ср. kraménti ʻкашлятьʼ (kramsė́ti ʻгрызтьʼ, ʻжеватьʼ, ʻхрустетьʼ как характерные действия и акусмы дракона при krã*mė* ʻзмеиная головаʼ (= ʻзмеяʼ) и Kremara, соответствующее божество (ср. Ласицкого). Другая специфическая черта антагониста Бога — способ передвижения: или медленно, хромая, плетясь (ср. kraménti ʻтихо идтиʼ, ʻплестисьʼ) или, наоборот, чрезвычайно поспешно (ср. диевянишский идиоматизм kaip v e l n i u i skristi ʻочень быстро бегатьʼ, букв. ʻбегать, как чертʼ).

Между *Dieveniškes* и *Krakūnai*, верхом и низом в пространственном плане, между божественным персонажем и его антагонистом (Diev- : Krak-*ūn*-) на уровне участников мифологической драмы и разыгрывается мифопоэтический сценарий, являющийся косвенным вариантом основного мифа и отраженный в фольклорных текстах, известных в Диевянишках (часто эти тексты по преимуществу диевянишские). При обращении к этим текстам следует иметь в виду и постоянно выступающий аспект а м б и в а л е н т н о с т и — и по существу, и как отражение двух разных точек зрения (которые, однако, не связаны жестко с определенным местом в пространстве). Само соотношение Diev-en-*išk* : *Krakūn*- в историческом аспекте могло предполагать схему вида **Dievas Perkūn*- : *Vel-in- (ср. диевянишск. Anas skranda kap v e l i n a s), переосмысленную как *Dievas ʻБогʼ (в христианском понимании): **Perkūnas* (как замена Velinas, *Vel-*ūn*-, *Veliuon-; *vẽlinas* — наиболее распространенный в Диевянишках мифологический персонаж) > Dievas : Krak-*ūn*- (как табуистический вариант, ср. лит. krakas ʻдраконʼ, ʻчудовищеʼ, ʻslibinasʼ, см. LKŽ VI. 1962: 406 — при krakė́ti ʻхихикать, ржатьʼ /о лошадях/). Вместе с

тем, профаническая этиология местного населения объясняет, казалось бы, прозрачное *Dieveniškės* ссылкой на слух, согласно которому одна женщина некогда родила сразу девятерых (devynì) сыновей. За профаническим вариантом стоит, однако, переосмысленная мифопоэтическая традиция. Нигде, кроме Диевянишек, нет такого количества текстов, составляющих к тому же ядро местного сказочного репертуара, которые были бы посвящены мотиву девяти. На поверхности это прежде всего сказка о девяти братьях и сестре, мать которых умерла («Sesuo ir devyni broliai»), и о победе братьев над ведьмой (viedma ragena). Но уже в близкой сказке «Devyniabrolė ir ragana», наряду с девятерыми братьями одной сестры, появляется мотив обмена; ведьма говорит о ее девяти братьях, которые одновременно являются девятью сыновьями сестры (Tai te tavo devyni *sūnai* tai te mano devyni broliai. Отсюда реконструируется мотив девяти сыновей ведьмы, находящий самые широкие параллели (ср. семь-девять Хошедэмов у кетов, семь-девять порогов, препятствующих движению по реке, и прежде всего, конечно, мотив девяти змей или червей у царицы-Змеи или у царя-Змея, и последовательного истребления их Громовержцем с помощью каменной стрелы, ср. соответствующие мифы, заговоры, ритуалы). Одна из частых трансформаций девяти сыновей вредоносного женского персонажа (в ряде традиций — согрешившей жены Громовержца, свергнутой с неба в подземное царство) — девятиголовое чудовище. Именно этот мотив и представлен в указанной диевянишской сказке: сестра, идя к своим девятерым братьям, сталкивается с Девятиголовым, заступившим ей путь (ir tada devyniagalvis jai *ažustupij keliq*, ср. *Ustupi как название одного из порогов Днепра, объясняемых в принципе той же схемой мифологического мотива); сестра вскакивает на дуб и поет: «Девятиголовый грызет дуб, девять братьев в дубе сидят» (Devyniagalvis *ąžuolą graužia*, | *devyniabrolė ąžuole sėd*); к мотиву грызения ср. выше kramsẽti при krãmė и др. Другие архаичные мотивы этой же сказки, интересные как с типологической точки зрения, так и специально в плане основного мифа, — стирка сестрой белья как причина ее несчастий (ср. ряд сибирских традиций), преследование ведьмы братьями на коне — O broliai skrenda raiti, ср. Ratainicza в балт. мифологии как имя конного бога (при том, что ведьма — в карете; в других текстах на лошади не персонажи, являющиеся трансформациями Громовержца, а черт, ср. «Velnias ant arklio»), и, наконец, убийство ведьмы камнем, расчленение ее на части и разбрасывание их по полям (то есть то, что делают с антагонистом Громовержца), см. Dieveniškės. Vilnius, 1968: 336—343. Другая архаичная мотивировка историй такого типа дается в сказках типа «Брат хочет жениться на сестре», «Сестрино проклятие», «Про́клятая свадьба», широко распространенных в Диевянишках.

Там же показывают до сих пор большой камень, в который был превращен свадебный поезд сестры и брата (мотив инцеста отражен и в ряде других текстов). Интересно, что камень, которым в мифе поражают безрукого, безногого змея, в диевяишских загадках описывается именно как *be kojų, be rankų* (сходным же образом характеризуется и хмель, ср. хмельное = зеленый змий и т. д.), там же, 372, № 66; ср. также заговоры от змей в народной медицине диевянишских окрестностей. Еще одно отражение основного мифа — обрядность дня Св. Георгия (*Jurginės*), в частности, выгон скота Громовержцем после победы над противником. В этой связи внимание должно быть привлечено к весьма распространенным в Литве изображениям Св. Георгия, поражающего змея, в народной деревянной скульптуре (ср. соответствующий материал в «Lietuvių liaudies menas»). Последняя, как и вообще народное изобразительное искусство Литвы, доставляет ценнейшие сведения как о сюжете основного мифа в отдаленных его трансформациях, так и о рамках, в которых этот сюжет развертывается. Поединок в основном мифе приурочен к мировому дереву, элементы которого и являются основой всего народного изобразительного искусства, как оно представлено в исключительно архаичных украшениях домов и хозяйственных сооружений в Диевянишках (украшения на окнах, дверях, крыше: разные варианты мирового дерева в центре, с птицами, куницами, парными коньками по сторонам, образами солнца и месяца сверху и змеинообразными линиями внизу), в изображениях на прялках, посуде, в орнаментах на тканях, в рисунках на изделиях из теста, в формах намогильных крестов, в многочисленных придорожных крестах и часовенках, передающих иногда целые последовательности мотивов, восходящих к основному мифу, и т. д. — вплоть до определяющих моделей восприятия и интерпретации действительности, обычного права и особенностей поведения — как мифологизированного, так отчасти и профанического.

1974

ЛИТ. DAÑDARAS, ЛТШ. DAÑDALA И ДРУГ.

Среди не менее сотни балтийских названий орудий понукания и принуждения скота, собранных и объясненных недавно А. Сабаляускасом [1], наше внимание в данном случае привлекают указанные в заглавии слова. В названной работе (с. 58) высказывается предположение, что география лит. dañdaras (Joniškis, Šakyna) могла бы указывать на латышский источник этого слова в литовском. К тому же, в литовском слово dañdaras выглядит изолированным, тогда как в латышском dañdala входит в целую семью лексем, образуемых словами с более или менее сходным звуковым видом и сводимым к единому источнику кругом значений [2]. В LKŽ II (C—F). 1969: 253, слово dañdaras снабжено пометой nlt?, т. е. «нелитовского происхождения», правда, в сопровождении вопроса.

Скорее всего, эти слова принадлежат к ряду заимствований из языка цыган Прибалтики, которые, несомненно, существуют в литовских, латышских (и эстонских) диалектах, но до сих пор остаются почти не выявленными, хотя некоторые из них находятся на поверхности. Вклад цыганского языка именно в эту часть балтийского словаря, видимо, не нуждается в особых объяснениях, учитывая характерные черты цыганского быта и промысла. Более того, цыганское происхождение этих слов подчеркивается самим их значением и/или и переводами и характерными контекстами, в которые они входят. Ср. лтш. dañdala, dandara, danda ʽeine Z i g e u n e rpeitscheʼ (ME I. 1923—1925: 437), dandaluôt, ʽmit der Z i g e u n e rpeitsche schlagenʼ (ME I: 437), dañdele ʽdie Z i g e u n e rpeitscheʼ (ME. Erg.-Heft IV. 1935: 306), а также такие контексты, как: *č* i g a n a d a n d a ruok*ā*s bija. BW 18546; *č* i g *ā* n s savu *č* i g *ā* n i e t i ar d a n d a l u d a n d a l u o j a. BW 33532.2; сюда же следует отнести и словоупотребления лит. d*ž*and*ž*aras (LKŽ II: 1009, см. dandaras) и d*ž*end*ž*iõras (LKŽ II: 1010): Ateina *č* i g o n a s, atsine*š*a d *ž* a n d *ž* a r *ą*. LTR (Ob.); *D ž e n d ž i õ r a s* kaip *čigono*. Ds. Ibid. и т. п. [3]

В качестве источника этих слов в цыганском языке, весьма широко представляющем слова, обозначающие ʽкнут', ʽбич', ʽхлыст', ʽбатог' и под.[4], можно предположить цыганское название ʽзуба' и связанные с ним слова. Ср. dant, dand, dande, dander, da 'nder, dandra, tandra и т. п., соотносимые с dander ʽbeißen', danderav, danderel, dandarav, dandra, dandelava, dindalav и т. п. Формы типа danderav : dandelava и под. вполне объясняют лит. dañdaras при лтш. dañdala или лтш. dañdala : dañdara; вместе с тем цыг. dand : dandra объясняет формы без r или l в лтш. danda при dañdara, dañdala[5]. В основе семантической мотивировки лежит образ цыганского кнута, т. е. зубчатого, с зазубринами, с узелками кнута (ʽbotagas su daug mazgų'), действие которого уподобляется кусанию, укусу (цыг. dander- и под.), ср. róv*l'*i dand*ar a* ʽкнут у к у с и л' и под. (ср. другие частые примеры называния подобных орудий по принципу ʽкусать', ʽколоть', ʽжать' и т. д.). Этот образ, взятый в контексте вырожденной в цыганской традиции древней индоевропейской (прежде всего — древнеиндийской) «лошадиной» трехфункциональной (магически-прорицательная, военная, производительная функция)[6] мифологии, сведенной к известным операциям с лошадьми, и звуковая форма этого образа объясняют происхождение балтийских заимствований из цыганского, но лишь в о б щ е м в и д е указывают круг фактов, среди которых можно искать разгадку самих цыганских слов. Сложность состоит прежде всего в том, что в приведенных выше цыганских словах можно обнаружить как следы связи с индоевропейским названием ʽзуба' *dent-, др.-инд. dant- и т. п., видимо, от *ed-(ent-) ʽесть', так и следы, указывающие на связь с др.-инд. danda ʽStock, Stab, Prügel'[7]. Что касается последнего, то в свете недавней правдоподобной гипотезы T. Burrow о происхождении индийских церебральных из индоевропейских дентальных связь daṇḍá с др.-греч. δένδρον ʽBaum' (daṇḍá < *dandrá, ср. передачу названия леса в Деккане Daṇḍaka через китайск., согдийск., хотан-сакск. *Dandraka-, т. е. ʽvol mit Bäumen')[8] приобретает особое значение — как в чисто формальном, так и в содержательном плане[9]. Разумеется, приходится считаться и с другими случаями семантических и звуковых притяжений[10].

Возможно, что с описываемым здесь кругом слов связаны еще некоторые образования. В этой связи уже указывали на лтш. dandars ʽein eckiger, plumper Mensch'[11]. Не исключено, что сюда же относится *džiundžiùlis* ʽriebus, storas, sudribęs, niekam tikęs žmogus' (LKŽ II: 1032), *džiundžius* (ср.: eik tu, *džiuñdžiau*!) или русск. *дундýк* ʽбездельник, лентяй'; ʽглупый…, упрямый человек'; ʽсутуловатый, сгорбленный человек высокого роста' и т. п., *дундулýк* ʽдурак, болван', *дундýля* ʽболван, дылда, верзила, долговязый', и т. п.; *дендерёха* ʽнеряха,' а также ʽнеповоротливая, неуклюжая женщина' и др.[12] Несомнено, что связи с экспрессивной, символической сферой в этих случаях оче-

виднее, чем возможные старые этимологические связи, но и последними — коль скоро речь идет о происхождении — не следует пренебрегать. Этот вывод в данном случае тем более справедлив, что в русских диалектах обнаруживаются и другие слова сходного звукового облика (ср. *до́ндать* ʽбить палкою по спине’: *Брось до́ндать-то, надондал до синяков*[13]), в отношении которых напрашивается мысль о связи (заимствовании или сохранении старого наследия, перешедшего в сферу звукоизобразительной лексики) с лтш. dandaluôt ʽбить кнутом (палкой)’, *džandžalât* и т. п. [ср. лит. *liepe plakti džendžiūrais* (LKŽ II: 1010)] со сходными значениями[14] и далее, конечно, с др.-инд. daṇḍa- ʽStock, Stab, Prügel’, daṇḍáyati ʽнаказывать’ (т. е. ʽбить палкой’) и т. п.[15] Более сложный случай, требующий дополнительных разъяснений, — русск. диал. *до́ндить*, *до́ндивать* ʽкрасть’, *до́ндивание* ʽкража’, обращенное, возможно, не только к *сдуть* ʽукрасть’ (как более экспрессивный вариант к менее экспрессивному), но и к указанной группе слов, особенно тех, чье значение приближается к таким смыслам, как ссора, спор, обман и под. (ср. лтш: dañdalêties ʽbeim Plerdetausch streiten’; ʽbeim Pferdekauf lärmen’ и т.д.).

Несмотря на многие неясные частности, общее заключение о связи лит. dañdaras, лтш. dañdala и под. с цыганскими источниками, кажется, не должно вызывать особых сомнений (ср. из этой же сферы уже приводившееся цыг. karbaco при лит. *karbãčius*, лтш. ka*r̃bača* и под.).

Примечания

[1] См. A. Sabaliauskas. Iš baltų kalbų gyvulininkystės terminoligijos istorijos // Iš lietuvių leksikologijos ir leksikografijos. Lietuvių kalbotyros klausimai. XII. Vilnius, 1970: 7—81, особенно 56 ff.

[2] «Tiesa, žodžio fonetika, rodytų, — пишет А. Сабаляускас, — kad jis veikiau lietuviškas, o ne latviškas žodis». Op. cit.: 58.

[3] Сама мена d : *dž* (ср. *гадя́* : *гаджя́* ʽрусские женщины’ и под.) указывает с вероятностью на соответствующее явление цыганской фонетики. О лит. *džen*dž*iõras*, *dženždiū*ras, *džiñdžiras*, *džandžaras* см. A. Sabaliauskas. Op. cit.: 66. Там же (с. 71) — о лтш. *džañdžala*, *džandala*, *džendžala*, *džiñdžala* ʽdie Z i g e u n e rpeitsche’ (ME I: 563—564), *džandželīte*, *džendžele*, *džindža* (ME. Erg.-Heft. 1935: 365), *džandžal*ât ʽschlagen’, *džañdžalêt*, *džendžal*ât, džìndželêt, džindžuôt, džindžalât, *džindžalêt*, *džindžinât* ʽdie Peitsche schwingen’ и даже *džindžalnieks* ʽein Z i g e u n e r’. Здесь же указывается звукоизобразительный аспект этих слов, в частности, притяжение к междометийному džind*ž!*; ср. также džiñd*žê*t ʽklingen’, džiñdžulis ʽeine schlechte Glocke’, ʽeine Taschenuhr’. Нужно думать, что сюда же следует отнести и лит. *džàla* (ср. *dža!*, d*žālyti*), лтш. džala в BW 33554. 6: *č i g ā n a m bręnga džala* (сложнее обстоит дело с лит. *džiòlas* ʽtoks įnagis mušti, botagas, bizūnas’).

[4] При этом подобные слова часто являются заимствованиями в цыганском или из цыганского. Ср. bício ʽPeitscheʼ (румынск. biciu, польск. bicz, русск. *бич* и под.); rówli ʽStock, Knüppel, Prügelʼ (н.-греч. *ϱαβδί*), rovljalo ʽPeitscheʼ (нем. schnallen); *čalavdó* ʽPeitscheʼ (ср. др.-инд. cal-, хинди *čalnā*); tschupni ʽPeitscheʼ, ср. пашаи ẓup-) и др., но особенно цыг. karbaco ʽPeitscheʼ при лат. karbā̃čius, *karbõčius*, лтш. kar̃baca, *karbãciņa*, *kārbača*; *karbačuõt*; нем. Karbatsch(e) в Вост. Пруссии, karbatschen, польск. karbacz, korbacz, чешск. karb*áč*, румынск. gârbaciu, турецк. kirbaç и под. (см. A. Sabaliauskas. Op. cit.: 60). К цыганским словам см. S. A. Wolf. Großes Wörterbuch der Zigeunersprache (romani tšiw). Wortschatz deutscher und anderer europäischer Zigeunerdialekte. Mannheim, 1960. № 282, 429, 1315, 2790, 2952, 3423, 3535 и др.

[5] См. S. A. Wolf. Op. cit. № 438; ср. там же: danderpen ʽBeißen, Bißʼ, dandaripe, dandalipé, dъndalipe, dindalipe; dandripa ʽZankʼ; dandvaľo ʽzahnartig, mit Zähnen versehenʼ; dandvalo ʽGraupeʼ; dandevàre ʽKichererbseʼ; dandìldu ʽGebiß (des Pferdes)ʼ; dandala ʽEggeʼ; dandre ʽSägeʼ; см. также J. M. Rozwadowski. Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopanie. Kraków, 1936: 17. Ср. в немецком блатном языке: Dend(er) m., pl. Dendi ʽZahnʼ, см. S. A. Wolf. Wörterbuch des Rotwelschen. Deutsche Gaunersprache. Mannheim, l966. № 984. Вокализм корня в dand-, dend-, dind-, dъnd- открывает путь к объяснению сходных вариантов в балтийских языках: dand-, *džendž-*, *džindž-* и др.

[6] Ср. из последних работ: J. Puhvel. Aspects of Equine Functionality // Myth and Law among Indo-Europeans. Los Angeles, 1970: 159—172.

[7] Не исключены ассоциации с продолжениями др.-инд. da*ṁśati*, *dáśati* ʽbeißtʼ и под.

[8] См. M. Mayhofer. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Lief. 9. Heidelberg, 1957: 11—12; H. W. Bailey. // TPS. 1952: 57 ff.

[9] Ср. возможное предположение о дегенерировании старого образа лошади и мирового дерева или столба (др.-инд. *ašvayū́*pa) в образ кнута-палки и лошади в цыганской традиции. Укр. *ди́нде́рево* [*Гринченко* I: 384, ср. *ди́вде́рев*(*о*)] как обозначение растения дурмана (Datura stramonium), ср. польское заимствование dondera (tyndyrynda) (не смешивать с donder, dunder из нем. Donner: *niech cie* d o n d e r *świśnie! don*de*rować* и т. п.), может также — в конечном счете — отражать и.-евр. *dend-r (отнесение сюда русск. диал. *донда* ʽMeliotus albus Desr.ʼ, ʽдонник белыйʼ сомнительно).

[10] Ср., например, цыг. *dind'árav* ʽ(aus)streckenʼ, ʽ(aus)dehnenʼ, ʽ(aus)spannenʼ, ʽverlängernʼ в связи с выражением с внутренней формой ʽвытянуть кнутомʼ, ʽрастянутьʼ и под. Ср.: лит. *ištempė botagu* и под.

[11] Ср., может быть, лтш. dandâlaties 1. ʽmit einer Peitsche fuchtelnʼ; 2. ʽüber Grüfte mühsam fahrenʼ; в связи с последним значением ср. слова с этим же корнем в таких не вполне ясных латышских контекстах, как *tā lieta vēl uz dandām* ʽdie Sache ist noch in der Schwebeʼ (ME I: 437) или: iet dandiski vien (Там же, I: 437) — vom Fahren auf holperigem Wege, с чем, может быть, сопоставимо укр. *диндати* ʽшататьсяʼ, ʽкачать ногамиʼ, *диндилиндати-телiпатися* (*Гринченко* I: 384).

[12] Ср. Словарь русских народных говоров. Вып. 7. Л., 1972: 349; Вып. 8. Л., 1972: 258. Сюда не относится, конечно, *дендра* из известной загадки с ответом *дед*: *Сидит дендра | На пендре | И кричит на кондру: | Не ходи, кондра, | В пендру: | В пендре рындра и мяндра* (Мещовск. уезд Калужск. губ.).

[13] Там же. Вып. 8: 124.

[14] Ср. типологически цыг. *ranīngiro* ʻPeitscherʼ — ranja ʻschlagen, prügelnʼ, ran ʻStock, Zweig, Rute, Gerteʼ.

[15] О его отражениях в индийских языках см. R. L. Turner. Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages. London, 1968, s. v.

1974

LIT. YRÀ, LETT. IR UND IHRE VERGANGENHEIT IM LICHTE DER GESCHICHTE UND DER LINGUISTISCHEN TYPOLOGIE

Die Aufmerksamkeit, die in der modernen baltischen Sprachwissenschaft dem Problem des lit. yrà, lett. ir, die als Formen der 3. Pers. Sg. des Verbum existentiae und als Kopula [1] auftreten, entgegengebracht wird, war bislang durch zwei Gründe bedingt: durch das Bemühen, eine möglichst befriedigende etymologische Lösung zu finden und die Unterschiede zu ermitteln, die zwischen den erwähnten Formen und der Form est(i) (3. Pers. Sg. Präs. des Verbs, das auf ieur. *es- ʻexistierenʼ [2] zurückgeht) vorhanden sind, wobei letztere in einigen altlitauischen und altpreußischen Texten sowie in den Mundarten auftritt. Die Einmaligkeit von lit. yrà, lett. ir im Verbalsystem der baltischen Sprachen und das Fehlen irgendwie gearteter offensichtlicher Parallelen in den anderen indoeuropäischen Sprachen führt zu einer Situation, in der die Aufhellung der Frage über die Entstehung dieser Formen oder sogar die Überprüfung der schon existierenden Lösungswege nur durch eine bedeutende Erweiterung der in diesem Zusammenhang betrachteten Fakten und Ideen möglich wird. Vor allem ist die indoeuropäische Perspektive zu berücksichtigen und zwar unter der Voraussetzung einer Postulierung von zwei Serien der Konjugation [3], des besonders archaischen Charakters der zweiten Serie, auf die — wie vor kurzem ermittelt — auch einige historisch bezeugte Formen des Verbs *es zurückgehen [4]. Schließlich ist in unserer Erörterung aufzunehmen, daß ieur. *es- in der ältesten Epoche, für die der v e r b a l e Status gesichert ist, gerade als Verbum existentiae auftrat und nur — wenn auch recht früh — allmählich in der Funktion der Kopula Verwendung fand [5]. Der älteste Status des ieur. *es- ist sowohl eng mit der Struktur des indoeuropäischen Satzes verbunden [6] als auch mit der weiteren Evolution der indoeuropäischen Formen des Verbums existentiae und der Kopula, im einzelnen, mit der Geschichte des ostbalt. *$\bar{\imath}r(\bar{a})$, wovon weiter unten die Rede

sein wird. Gleichzeitig sollte man bei der Lösung dieses Problems die charakteristischen Züge des Verbalparadigmas und vor allem die Besonderheiten gerade der 3. Pers. nicht außer acht lassen. Es stellt sich heraus, daß diese Formen im g e r i n g s t e n M a ß e v e r b a l e Formen sind, sowohl aus relativer Sicht (im Vergleich zu den Formen der 1. und 2. Pers.) als auch aus absoluter Sicht (Gebrauch von nominalen Formen in der 3. Pers. bei Vorhandensein von verbalen Formen in der 1. und 2. Pers.[7], Fehlen der Flexion in der 3. Pers. und ihr Vorhandensein in der 1. und 2. Pers. usf.). Aus dem Gesagten geht u. a. hervor, daß in einer Reihe von Fällen die verbartigen Formen des Typs *es-ti (bei Vorhandensein von *es-mi) für eine bestimmte Periode als nominale Formen gedeutet werden (vgl. apr. astin ʻDing, Sache, Handlung’, russ. dial. *есть* ʻReichtum, Besitz, Habe’; altind. su-asti ʻGlück, Gesundheit, Wohlbefinden, благое состояние’ u. ä.), die nur sekundär in das Verbalparadigma einbezogen worden sind[8]. Folglich ist eine Situation nicht auszuschließen, in der *es-ti ein Nomen (und zwar ein nicht deverbatives Nomen) war, das die Grundlage für die Verbalform der 3. Pers. Sg. Präs. («nominales» Verb) bildete. Der Forscher ist jedenfalls angehalten, von der Möglichkeit der Feststellung einer n o m i n a l e n und nicht verbalen Form in der 3. Pers. auszugehen. Zu einer solchen Annahme gelangte übrigens schon R. Gauthiot, als er lit. yrà mit armen. ir ʻDing, Sache, Wirklichkeit’[9] zusammenbrachte. Diese Gruppe von Bedeutungen wurde auch für lit. yrà, lett. ir[10] als möglich erachtet.

Im Lichte der alten indoeuropäischen Fakten, die sich auf die 3. Pers. des Verbs *es- beziehen, und unter Beachtung der produktivsten und häufigsten Schemata typologischen Charakters erhält das eben skizzierte baltische Bild eine zuverlässigere Deutung. Bevor wir uns damit unmittelbar befassen, scheint uns eine Beschreibung der Situation von **īr*(*ā*) in den baltischen Sprachen in großen Zügen am Platze zu sein oder, was wohl genauer ist, eine Beschreibung der Evolution von **īr*(*ā*), angefangen von den ältesten Schriftdenkmälern bis in die Gegenwart. Hier lenkt vor allem das Fehlen der entsprechenden Formen in den altpreußischen Texten, wo in der 3. Pers. regelmäßig ast, est (vgl. aest, hest, asch = asth, astits in Entsprechung zu dt. ists = ist es) anzutreffen ist, die Aufmerksamkeit auf sich. Den entgegengesetzten Pol stellt das Lettische dar. In dieser Sprache ist bereits in den ältesten Schriftdenkmälern und in allen Dialekten in dieser Form nur ir (ira)[11] anzutreffen, und es fehlt völlig *est, ungeachtet der Tatsache, daß esu (*ęsmu*, *ęsmi*, *ęsma*, *ęsam*, *ešu*, asmu, asam, asom, asu) in der 1. Pers. Sg. und esi (*eši*, asy, *aśi*) in der 2. Pers. Sg. und die entsprechenden Formen im Plural vorkommen. In einer Reihe von Mundarten (z. B. im Livonischen Dialekt) werden ir und seine verkürzte Form i sogar zur gemeinsamen Form in allen Personen und Numeri, vgl.: es i, tu i, viῆč *i*, mẽs i, jũs i, *viņ i* (Lēdurga, Vidzeme)[12], manchmal konkurriert diese Form i mit dem Paradigma des Verbs *būt*, vgl. es ęs^{u}, tu es (vis ir), m*ẽs ęsam*, *jūs ęs*at (*ęsiêt*) (*vîņ ir*) bei gleichzeitigem es ir (i), tu ir (i), vis ir (i), mẽs ir (i), jũs ir (i), *vîņ*

ir (i) (Vandzene, Kurzeme). — In Dundaga ist nur diese letzte Reihe vertreten [13]. Dieses Bild ist in vielem jener Situation ähnlich, wie wir sie in den westfinnischen Sprachen und Mundarten vorfinden; man vgl. folgendes: den Unterschied der entsprechenden Verbalformen der 3. Pers. von den Formen der 1. und 2. Pers. (estn. mina olen, sina oled, aber tema on, finn. olen, olet, aber on usw.) [14]; das Fehlen der Flexion in der 3. Pers. (vgl. on) und ihr Vorhandensein in der 1. und 2. Pers.; den ursprünglich nominalen Charakter der Formen der 3. Pers. (vgl. on < *om < *oma, vgl. oma ʽсвой'); den Zusammenfall der Formen des Singulars und Plurals in der 3. Pers. (vgl. estn. tema on — nad on) [15]; den Gebrauch einer verallgemeinerten Form in einer Reihe von Mundarten (vgl. on) für alle drei Personen [16]; das Vorhandensein einer besonderen Negationsform (vgl. estn. ei ole, sowie das rekonstruierbare lett. *neir(a) [17], lit. nė́ra). Es ist verständlich, daß sich unter den Bedingungen der wechselseitigen Einwirkung der westfinnischen Sprachen und des Lettischen die Tendenz, lett. ir zu einer ausdrucksstärkeren Verbalform zu machen, nicht enthalten konnte, wenn wir von solch seltenen und peripheren Formen wie *irād*, iraid, iraîdan [18] und einigen anderen — unter ihnen die in wenigen Fällen bewahrte Form ira — absehen.

Die litauische Sprache nimmt hinsichtlich des Problems *ẽsti* : yrà eine Zwischenstellung zwischen dem Altpreußischen und Lettischen ein. Eigentlich sind es die litauischen Fakten, die die Evolution der Elemente, die dieses Paar bilden, erklären lassen (im Altpreußischen fehlt **īrā*, im Lettischen — *est(i)). Obgleich sich yrà in der Literatursprache und im größten Teil der Mundarten als einzige Form der 3. Pers. des Verbum existentiae und der Kopula durchgesetzt hat (in einigen seltenen Fällen geht yrà [bzw. lett. ir — R. E.] sogar über die 3. Pers. hinaus, wie in der oben erwähnten livonischen Mundart von Lēdurga) [19], ist die Form der 3. Pers. *ẽsti* (est) in den alten Schriftdenkmälern [20] stark vertreten, in vielen aukštaitischen und in benachbarten žemaitischen Mundarten verbreitet [21] und sogar in der Literatursprache anzutreffen (vgl. bei P. Cvirka: Jeigu e s t i *naktų*, kurias galima pavadinti nuostabiomis, *tai tik beribių stepių naktys* ʽWenn es Nächte gibt, die man als wunderbare bezeichnen kann, dann nur die Nächte der endlosen Steppen' u. a.). Darüber hinaus wird in einigen Mundarten die Form der 3. Pers. est(i) als Stamm für die 1. und 2. Pers. verallgemeinert, vgl.: *esčiù* (1. Pers. Sg.), estì (2. Pers. Sg.), *ẽstim* (1. Pers. Pl.), *ẽstit* (2. Pers. Pl.) in einzelnen südaukštaitischen Mundarten oder estù (1. Pers. Sg.), estì (2. Pers. Sg.) [22], was an Beispiele einer ähnlichen Verallgemeinerung von lit. yrà (ỹr) und lett. ir (i) erinnert. Es ist notwendig, sich ins Gedächtnis zu rufen, daß dort, wo *ẽsti* bewahrt blieb, dieses Form durch die Formen der 1. und 2. Pers. (esmi, esmù, vgl. esù [23], *esī*) gestützt wurde. In einer Reihe von Fällen ist die negative Form *nẽsa*, nė̃sa (Pašvitinỹs) erhalten, die dem üblicheren nė̃ra äquivalent ist.

Das Verhältnis von *ẽsti* und yrà in der Sprache der Gegenwart (wobei der Gebrauch von *ẽsti* stark eingeschränkt ist im Vergleich zu einer früheren Periode) wird auf folgende Art beschrieben: «Die 3. Person *ẽsti* ist im Gebrauch der Form yrà nicht gleichwertig. Während, das alltägliche yrà sowohl als Verbum copulativum (Subjekt und Prädikat verbindend) wie auch selbständiges Zeitwort mit der Bedeutung ʽwirklich da sein, vorhanden sein, bestehen, sich befinden, stattfinden, vorkommen' gebraucht werden kann, ist das steife, dem gehobenen Stil angehörige *ẽsti* nur in der zweitgenannten Funktion verwendbar: *retaĩ taĩp ẽsti* ʽso etwas kommt selten vor'. Auch Negation *nẽsti* : *zẽmėj tokių niekumèt nẽsti* ʽauf der Erde gibt es nie solche'» [24]. Die Situation in den alten Texten unterscheidet sich wesentlich vom gegenwärtigen Zustand, obgleich sie in diesen Texten verschieden geartet ist. Ungeachtet dessen sind einige allgemeine Schlußfolgerungen durchaus zuverlässig. So tritt im einzelnen bei Mažvydas und Vilentas in bejahenden Äußerungen esti nur als Kopula auf [25], während yrà als Verbum existentiae fungiert. Erst später beginnt yrà die Form *ẽsti* auch als Kopula zu verdrängen (vgl. die oben zitierte Arbeit von Ford). Die Tatsache, daß esti bei Mažvydas manchmal als Verbum existentiae in verneinten Äußerungen gebraucht wird (im Unterschied zu Vilentas und Širvydas) gestattete Ford die Annahme, daß zu Zeiten des Mažvydas yrà noch nicht als Verbum existentiae in bejahenden Aussagen verallgemeinert worden war [26]. Bei Širvydas wird yrà in bejahenden Äußerungen sowohl als Kopula als auch als Verbum existentiae verwendet, während esti — ausgenommen die Fälle, in denen es sich bedeutungsmäßig nicht von irà unterscheiden läßt — auch als Verbum existentiae mit einer Bedeutungsnuance der Dauer (Durativität) bzw. der Norm auftreten kann [27]. Bei allen Unklarheiten, die sowohl das allgemeine Bild als auch einzelne Details betreffen, scheint die Opposition Durativität — Nichtdurativität (oder die Tatsache, daß diese Opposition nicht ausgedrückt ist), die mit *ẽsti* — yrà (zumindest für eine bestimmte Periode) in Zusammenhang gebracht wird, die Schlußfolgerung über den ursprünglich n i c h t v e r b a l e n Charakter von yrà [28] zu bestätigen, der auch auf Grund anderer Indizien gezogen wird. Dieser Schluß erscheint nicht ungewöhnlich nach den Äußerungen, die bereits oben über den geringen Grad von Verbalität der Formen der 3. Pers. im Vergleich zu den Formen der 1. und 2. Pers. und im allgemeinen wie im einzelnen hinsichtlich der Formen mit *es- gemacht wurden. Typologische Materialien erlauben es, diese Gesetzmäßigkeit (in der Synchronie wie in der Diachronie) als etwas aufzufassen, was einem Universal nahekommt, ausgenommen die besonderen invertierten Fälle (häufig unter den Bedingungen einer schwach ausgeprägten Flexion, vgl. engl. I go, you go, he g o e s, oder Pronominalisierungen, vgl. apr. astits bei Vorhandensein von ast, immats bei Vorhandensein von imma u. ä.), die ihre eigene Erklärung haben, die der These von der minimalen Verbalität der 3. Pers. keineswegs widerspricht.

Die andere — bereits festgestellte — Besonderheit von lit. yrà besteht darin, daß in den frühesten Texten (und, wahrscheinlich in der Anfangsperiode ihrer Existenz) die Form yrà nicht als Kopula auftritt, sondern als Vollverb der Existenz fungiert. Dies aber bedeutet, daß in der Sprache zwei Typen von Ausdrücken vorhanden waren: 1) A yrà ʻA existiert (ist Realität, ist Wahrheit)ʼ [29] und 2) *A ẽsti* B ʻA ist mit B identisch (im ganzen genommen oder wenigstens zum Teil in einer vorgegebenen Beziehung)ʼ [30]. In dieser Situation kann man *ẽsti* als zweistelliges Prädikat auffassen, das meistens zu seiner Realisierung ein Verb erfordert, yrà dagegen kann als einstelliges Prädikat verstanden werden, für dessen Realisierung der einfache Hinweis (Deixis) genügt und wo das Verb nicht obligatorisch ist. Es ist charakteristisch, daß alle drei Etymologien für lit. yrà, lett. ir von einem ursprünglichen nichtverbalen Charakter des balt. **īrā* [31] ausgehen und wahrscheinlich auf diese oder jene Art miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können. Die Schwierigkeit liegt, wie es scheint, nicht darin, die verschiedenen Erklärungen des balt. **īrā* in Einklang miteinander zu bringen, sondern darin, eine jede der vorgeschlagenen Motivierungen mit dieser oder jener Etappe in der relativen Chronologie der Evolution von **īrā* in Beziehung zu setzen. Da sich diese Aufgabe jedoch einer korrekten Lösung entzieht, muß man sie wesentlich einengen. In dieser eingeengten Form kann man sie formulieren als eine Aufgabe der Rekonstruktion der wichtigsten Knotenpunkte in der Evolution von **īrā*, die gestatten, dieses Element mit anderen Elementen in Beziehung zu setzen, wobei letztere im Verhältnis zu **īrā* als Ausgangselemente (primäre Elemente) zu gelten haben. Eine solche Identifizierung setzt vor allem eine Bestimmung der Klasse von Wörtern voraus, zu der das Ausgangselement gehört (und folglich die Bestimmung einiger seiner syntaktischen Charakteristika), und — wenn dies möglich ist — die chronologische Abfolge dieser Identifizierungen. Da in den indoeuropäischen Sprachen (in ihrer überwiegenden Mehrheit) ein Verb sowohl als Kopula als auch als verbum substantivum (*es-) auftritt, muß vermerkt werden, daß in den weiteren Erörterungen auch die Fälle berücksichtigt werden müssen, in denen **īrā* als Kopula (A yrà B) auftritt.

Die Analyse der (typologisch gesehen) am häufigsten auftretenden Formen der Kopula gestattet die Heraussonderung einiger ihrer gängigsten Typen der Realisierung. Neben der Nullvariante (einfache Juxtaposition von zwei nominalen Formen) [32] können in der Funktion der Kopula als Elemente, die die Prädikation realisieren, folgende auftreten: ein Nomen (etwa: волк & вещь /дело, действительность, бытие, суть/ & зверь, vgl. das oben über armen. ir Gesagte); ein Pronomen (Demonstrativpronomen oder Personalpronomen) [33]; ein Adverb pronominalen Charakters [34] (oder eine Interjektion), eine Konjunktion. Die letztgenannte Möglichkeit faßt Ju. S. Stepanov ins Auge: «yrà geht auf die Konjunktion ir̃ zurück, die durch das verbale Merkmal der 3. Pers inre Form erhielt» [35].

Hier wird nicht auf einige unklare oder sogar strittige und zweifelhafte Einzelheiten der Erklärungen bei Stang und Stepanov eingegangen (die übrigens von den Autoren manchmal selbst erkannt werden). Umfang und Grad der Detailliertheit der Lösung der Etymologie von lit. yrà, lett. ir, der durch die vorhandenen Materialien bestimmt wird, erlauben es nicht, auf alle Fragen eine Antwort zu geben. Deshalb können z. B. das Vorhandensein des langen *ī* oder das auslautende *ā* in ostbalt. **īrā* nur in den allgemeinsten Zügen als durchaus befriedigend durch die Verbalisierung des Elements *i- (*ir-) bzw. durch Ausgleich in Übereinstimmung mit anderen Typen[36] usw. erklärt werden. Andererseits bedarf jedoch die semantische Begründung der Beziehung des Kopulaverbs zu der Konjunktion ir̃ einer ernsthafteren Erklärung als der von Ju. S. Stepanov vorgeschlagenen. Vor allem läßt sich feststellen, daß die Identifizierung einer Reihe von Elementen, die als eine Zuordnung einer bestimmten grammatikalischen Information zu diesen Elementen verstanden wird (Zugehörigkeit zu einer gegebenen Wortklasse usw.), sich wesentlich in Abhängigkeit von der Veränderung der Rangcharakteristik («ранговость») jener Abfolge von Wörtern verändert, in die ein gegebenes Element eingeht. So kann ieur. *dei̯u-os-i̯o *u̯ek^{u}-os (*u̯ōk^{u}-s), das als eine ganze und abgeschlossene Äußerung gedeutet wird, eine Interpretation als «Бога — голос», d. h. «Бог — он (его) — голос» (Subst.'$_{\text{Nom. Sg.}}$ & Pron. & Subst."$_{\text{Nom. sg.}}$) erfahren, mit anderen Worten «У Бога есть голос» ('Gott hat eine Stimme'), «голос принадлежит Богу» ('Die Stimme gehört Gott')[37]. Bei einer Auffassung dieser Folge als nichtabgeschlossene Einheit, die in ein größeres Ganzes eingeht (z. B. «голос Бога & был громок» — 'Die Stimme Gottes & war laut'), muß *deiu̯-os-i̯o *u̯ek^{u}-os anders identifiziert werden, und zwar als Gen.$_{\text{Subst.}}$' & Nom.$_{\text{Subst.}}$". Eine ähnliche Situation entsteht in einem anderen Syntagma unter Beteiligung desselben pronominalen Elements *i̯o-, vgl. avest. a*zəm yō Ahurō mazdå* oder das slawische und baltische Adjektiv mit dem Element *i̯o- in prädikativer und nichtprädikativer Deutung. Man könnte auch andere Beispiele für die Prädikativierung und Einbeziehung ursprünglich nichtverbaler Elemente in das Verbalsystem anführen. Im Zusammenhang mit der Beziehung yrà ('есть') — ir̃ ('и') genügt es, auf die durchaus nicht seltene prädikative Verwendung der Konjunktion *и* (häufig mit Schattierungen der Verstärkung, Emphase) zu verweisen, die sowohl in archaischen Konstruktionen als auch in Neubildungen anzutreffen ist. Man gewinnt den Eindruck, daß es in der Sprache immer eine bestimmte Reserve für die Prädikativierung gibt, die nichtkonventionelle Mittel einsetzt (im besonderen die Konjunktion). Russ. «Он и вор»[38] in der Antwort auf eine Phrase des Typs «Что он, вор что ли?» (vgl. «оно и видно, оно и Вася» u. ä.)[39] oder neugr. *κάϑε κορφή καί φλάμβουρο, κάϑε βρύση καὶ κλέφτης*, wortwörtlich «каждая вершина — *и* знамя, каждый родник — *и* клефт», *κάϑε ἀρχή καὶ δύσκολη*, wortwörtlich «всякое начало — *и* трудно», u. ä. spiegeln gerade diese prädikative Funktion von *и* (bzw.

καὶ — R. E.) wider. Unter Beachtung dessen, was weiter oben dargelegt wurde, konnte die Folge des Typs «A *и* B» (A und B) als Ganzes früher gedeutet werden als «*A есть B*» (A ist B), «*A соединяется с B*» (A vereinigt sich mit B) usw.; wenn aber die Folge Bestandteil eines größeren Textes vom Typ «*A и B* & *Praed*...» (A *und B & Praed*...) war, so erhielt *и* erneut den Status einer koordinierenden Konjunktion. Diese Annahme kann durch ein expliziteres Beispiel erhärtet werden: altgr. *ἄρ, ἄρα, ῥα* steht als Hinweis auf die logische Verknüpfung (ʽи’, ʽитак’, ʽи вот’ usw.), auf die Folge, die Erläuterung, die Verstärkung, die Möglichkeit u. ä. m. (übrigens wie auch lit. ir̃ geht es zurück auf ieur. **r̥*[40]) in Beziehung zum Verb *ἀραρίσκω* ʽсоединять, сплачивать (класть вплотную), смыкать, прилаживать, соответствовать, подходить’ (vgl. *ἄκοιτις ἀρηρυῖα πραπίδεσσι* (Hesiod) ʽсупруга по сердцу’ u. ä.)[41]. Ähnlich wie *ἄρ* das Verb *ἀραρίσκω* erklärt, kann das genetisch identische altgr. *ἄρ*, lit. ir̃ die Formen yrà (*ỹrotės*, *ỹrot*) motivieren, wobei natürlich yrà und *ἀραρίσκω* zusammengenommen späte Bildungen darstellen, die nur indirekt und über viele Zwischenstufen mit der einheitlichen und gemeinsamen Quelle zusammenhängen. Übrigens stellt sich heraus, daß die Analyse von *ἄρ* selbst recht Nützliches für die Aufhellung dessen erbringt, unter welchen Bedingungen aus einer Partikel oder Konjunktion Elemente entstehen konnten, die auch als Prädikat (oder Quasiprädikat) auftreten können. Man vgl. *ὅτε δή ῥα..., και τοτ' ἄρα*... (Homer) ʽи вот когда..., тогда-то...’ oder *τὶς ἄρα* ʽкто же?’ (vgl. kas yrà?), *τί ποτ' ἄρα* ʽчто же именно?’ oder *εἰ μὴ ἄρα* (*ἐάν μὴ ἄρα*), ʽесли только не..., разве что...’ usw.

Wenn wir zu lit. yrà, lett. ir zurückkehren, so kann man natürlich nicht die Frage des y-/i- und des -r- umgehen. Ein einfacher Hinweis auf das -r- im Adverb oder in der Konjunktion kann nicht als völlig korrekt angesehen werden: Er stellt nicht mehr als einen allgemeinen Hinweis auf eine ungeordnete Menge von Fakten dar, die einer Hier-archisierung bedürfen. Es versteht sich, daß eine derartige Hierarchisierung sehr schwer ist und vielleicht überhaupt nicht durchgeführt werden kann. Ungeachtet dessen ist eine bestimmte Annäherung (oder zumindest eine Wahl der Lösüngsrichtung) möglich. Vor allem verdienen die indoeuropäischen Formen mit dem Auslaut auf -r unsere Aufmerksamkeit, wie sie bereits früher von Bartholomae (Beiträge zur Kunde der idg. Sprachen [BB] 15. S. 14—43) zusammengestellt wurden und später durch Benveniste Ergänzungen und Erklärungen fanden[42]. So wurde durch letzteren gezeigt, daß die Formen des Typs ai. vasar ʽim Frühling’, vanar ʽim Walde’, ahar ʽtags, am Tage’, awest. zəmar ʽin der Erde’, altgr. *νύκτωρ* ʽnachts, bei Nacht’ usw. weder Adverbien noch Formen des Lokativs sind, sondern Formen des «casus indefinitus» darstellen, der im Indoeuropäischen eine Form aufwies, die mit dem Stamm des Neutrums zusammenfiel (jetzt könnte diese Schlußfolgerung auch in etwas anderer Weise formuliert werden, was aber wenig an der Sache ändern würde). Wesentlich ist, daß dieser «casus indefinitus»

es gestattet, auf diese oder jene Art autosemantische Wörter — die im einzelnen zur heteroklitischen Deklination gehören — mit Wörtern zu verbinden, die vom heutigen Standpunkt aus als Adverbien, Partikeln usw. gedeutet werden (vgl. ai. kár-hi, tár-hi, altgr. *ἄφαρ* ʻсразу после’, *ἴκταρ* ʻвблизи’, armen. ur ʻгде’, andr ʻтам’, got. hvar ʻгде’, lit. visur̃ ʻвезде’ u. a.). Aus dieser Perspektive bekommen einerseits Wörter wie lit. ir̃, ar̃, dar̃, kur̃, lett. kùr, *šùr*, tur, altgr. *ἄρ* u. ä. ihren Platz zugewiesen und andererseits auch sogar das -r als Merkmal des Mediopassivs in einer Anzahl indoeuropäischer Sprachen (vgl. mögliche Beziehungen zwischen altgr. -(*ν*)*τ*’ *ἄρ*’ und heth. -(n)tar(i), lat. -(n)tur, kelt. *-(n)tor, toch. -(n)tär [43]; -r in den Endungen des Perf. oder in der 3. Pers. Plur. Praet. des Typs heth. *ešir*, eppir u. a. m.). In jedem Falle kann die genetische Einheit aller dieser Beispiele (sowohl die formale als auch die inhaltliche [«Inaktivität»?]) sehr wahrscheinlich sein. Doch auch unter diesen Bedingungen würde eine genauere Bestimmung der Quelle für lit. yrà, lett. ir wohl unbegründet und verwegen aussehen. Nichtsdestoweniger lassen wahrscheinlich solche Fakten, wie einige allgemeine Einsichten in die Struktur des Satzes im Indoeuropäischen in Zusammenhang mit Parallelen typologischen Charakters [44], und Materialien über die Entstehung solcher Wortklassen, wie Adverbien, Präpositionen, postpositionale Partikeln, Konjunktionen u. ä., einige Hypothesen über die (sekundäre) Verbalisierung von nominalen Formen [45] und über die Rolle der Elemente pronominaler Herkunft mit der Funktion der Verknüpfung die Deutung dieser Formen auf -r (insbesondere auch lit. yrà, lett. ir : lit. ir̃, ar̃, lett. ar) als ursprünglich n o m i n a l e [46] möglich erscheinen. Es versteht sich, daß alle möglichen Schlußfolgerungen aus dieser angenommenen Bedingung für die Frage der Herkunft von ostbalt. **īrā* ungerechtfertigte Hypothesen wären. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß lit. ir̃, apr. ir ʻи’ (ebenso wie altgr. *ἄρ*) [47] auf ieur. **r̥* (*ar, *er, *or? — siehe Pokorny. Op. cit. S. 62) zurückgehen, entstehen zum ersten bestimmte Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Beziehungen von lit. ir̃ und slaw. i ʻи’ und zum zweiten bei den Möglichkeiten der Inbezugsetzung dieses ir̃ — und unter bestimmten Voraussetzungen des slaw. i- — mit dem ieur. *i̯o (: *-ī̆-), das als Pronomen mit verschiedenen Funktionen auftritt, als Adverb, Partikel, Endung [48] (folglich haben wir Schwierigkeiten beim Vergleich von lit. jìs und ostlettisch jis). Was die erste der genannten Beziehungen betrifft (ir̃ : slaw. i), so wird sie gewöhnlich als mehr oder weniger offensichtliche angesehen, wobei ein slaw. *ъ(r) [49] vorausgesetzt wird und die Beziehung zu ieur. *i̯o- in Zweifel zu ziehen ist. Was die zweite Art von Beziehungen betrifft, so führt die Ignorierung der Möglichkeit einer Zusammenstellung des i- in lit. ir̃, apr. ir ʻи’ (slaw. *ъ/r/) mit ieur. *i̯o- zu erheblichen Verlusten: man müßte sich von einer Reihe innerbaltischer Beziehungen (z. B. zu lit. jìs, idañt, ìtas, ìtin, ìt u. a.) lossagen, man muß viele indoeuropäische Parallelen und typologische Ähnlichkeiten (vgl. z. B. lat. que ʻи’ und quis ʻкоторый, кто’ oder lat. *identitās* ʻтождественность’ < *id-*em*...

unter der Voraussetzung von *i̯o- : *ī in der Funktion eines Demonstrativpronomens u. a.) aufgeben. Diese Verluste sind zu schwerwiegend, um die Erklärung von lit. ir̃ (und weiter yrà mit den entsprechenden Veränderungen) nicht auf andere Weise zu versuchen als nur aus ieur. *r̥[50]. Eine solche Aufgabe ist bei weitem nicht aussichtslos, wenn auch ihre unmittelbare Lösung noch verborgen bleibt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß lit. ir̃ seiner Herkunft nach eine zusammengesetzte Konjunktion darstellt, in der -r- irgendwann einmal ein selbständiges Element war. (In diesem Falle müßte man *-r̥- als Resultat der Vokalisierung dieses -r- betrachten.) Jedenfalls liefern Beispiele vom Typ lit. dar̃, kur̃, dabar̃ (dãbar), lett. kur, *šur*, tur usw. einen hinreichenden Grund gerade für solch eine Annahme. Es ist von Interesse, daß die für das Altgriechische — dabei auf seine archaischen Züge zutreffenden — charakteristischen Wortfügungen des Typs *ὡς ἄρ*(*α*) oder *ὅτε* (*δή*) *ῥα* usw. (vgl. *ἐρῶ καὶ μάλ' οὐ φαῦλον λόγον*, *ὡς ἄρα* (Plato) ʻя скажу нечто и далеко не маловажное, а именно…ʼ oder: *ὅτε δή ῥα…*, *καὶ τότ' ἄρα* (Homer) ʻи вот когда…, тогда-то…ʼ u. a.) eine Möglichkeit eröffnen zur Rekonstruktion der indoeuropäischen Herkunft dieser Konstruktionen in Gestalt von *i̯o- & *r̥- (*r-). Dies entspräche genau lit. ir̃, das als Verknüpfung von *i- (*i̯o-) & *r̥ (*r) verstanden wird und letztendlich auch durch die angeführten Folgen, wie lit. j i s a r̃ *turi eiti…* ʻhat er wohl zu gehenʼ oder j a m á r *reikė́jo búti, bet ne buvo* ʻsollte er vielleicht da sein, aber er war (es) nichtʼ u. a., aktualisiert wurde. Wenn diese Rekonstruktion von lit. yrà (oder lett. ir), die auf diese oder eine andere Weise mit ir̃ ʻи, же, ведьʼ usw. in Zusammenhang steht, richtig ist, müßte in den Fügungen des Typs A yrà oder A yrà B eine entsprechende Deutung (auf der Ebene der Rekonstruktion der Ausgangselemente des Wortes) in der Art erfolgen, daß «A — это (которое) вот» (Sphäre des Verbums existentiae, «есть», «существует») oder «A — это (которое) вот B» (Sphäre des kopulativen Verbs, «тождественно», «идентично», «равно») etwa heißt. Im ersten wie im zweiten Falle ist *вот* gleich ʻитакʼ, ʻследовательноʼ, ʻв самом делеʼ, ʻведьʼ usw. (bis zu ʻестьʼ hin), was eigentlich dem Bedeutungsumfang von lit. ir̃ (adv.) ʻirgiʼ, ʻtaip patʼ, ʻnetʼ (LKŽ. IV. S. 132) und ar̃ (LKŽ. I^2. S. 288) und des altgr. *ἄρ, ἄρα, ῥα* entspricht.

Wenn diese Annahmen Bestätigung finden, dann stellt sich heraus, daß die baltischen Fakten in ihrer historischen und typologischen Interpretation es gestatten, sprachliche Grundlagen für ein archaisches «prälogisches» System von zwei Typen der Kopula zu ermitteln, in dem noch die Beziehungen zwischen den Ausdrucksweisen der prädizierenden und der anknüpfend-aufzählenden Verknüpfung aktuell sind. Die Herausbildung der ersteren auf der Grundlage der zweiteren (vereinfacht: yrà < ir̃) spiegelt den Prozeß der Intensivierung der sprachlichen Potenzen wider, der auf diese oder jene Art und Weise mit dem weiteren Schicksal des archaischen Nominalsatzes in Verbindung steht und der einen Zusammenhang

aufweist mit der Verstärkung des synthetischen Charakters der Wortform, mit der Entwicklung neuer Arten der syntaktischen Verknüpfung (Herausbildung von hypotaktischen Elementen), mit der Schaffung von Texten einer bedeutend größeren Komplexität und mit neuen Prinzipien der sprachlichen Modellierung der außerhalb der Sprache existierenden Welt.

Aus dem Russischen übersetzt von R. Eckert

Примечания

[1] Das Auftreten dieser Formen in analytischen Verbalkonstruktionen stellt einen etwas anderen Aspekt ihrer Verwendung dar (auf den hier allerdings nicht eingegangen wird).

[2] Ch. S. Stang. Esti et yra dans les Punktay Sakimu de Szyrwid // Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. 14 (1947). S. 87—97; ders. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo—Bergen—Tromsö, 1966. S. 412—414; G. B. Ford Jr. esti und yra in Vilentas' Enchiridion // ZfslPh. 33 (1967). S. 353—357; ders. esti and yra in Martynas Mažvydas' Catechism of 1547 // Baltic Linguistics. The Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1970. S. 61—66.

[3] vgl. *В. В. Иванов.* Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965. S. 55ff.; ders. Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады. М., 1968. S. 225—276; C. Watkins. Indogermanische Grammatik. Bd. III: Formenlehre. Erster Teil: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969, u. a.

[4] s. F. Bader. Le présent du verbe «être» en indo-européen // Bulletin de la Société de Linguistique (im folg. abgekürzt: BSL). 71. № 1 (1976). S. 27 ff.

[5] Zweifellos zeugen vedische, homerische, zum Teil hethitische und einige andere archaische Texte entweder vom Vorhandensein anderer Kopulatypen (einschließlich Nullkopula), die wenigstens so alt sind wie die Verwendung von *es- in dieser Funktion, oder davon, daß *es- noch nicht endgültig zur Kopula geworden war.

[6] Eine eindeutige Parallele kann im Sumerischen beobachtet werden, wo die 3. Pers. mit dem Nominalstamm zusammenfällt, und die 1. und 2. Pers. durch die Verbindung der entsprechenden Personalmerkmale mit einem Zustandsnomen gebildet werden; s. auch É. Benveniste. La phrase nominale en indo-européen // BSL. 46. №. 1 (1950); ders. «Être» et «avoir» dans leur fonctions linguistiques // BSL. 56. №. 1 (1960); *В. В. Иванов*. Отражение… S. 266 ff.

[7] vgl. É. Benveniste. Structure des relations de personne dans le verbe // BSL. 43. №. 1 (1946); ders. La nature des pronoms // For Roman Jakobson. The Hague, 1956. S. 34 —37.

[8] wie z. B. altind. bhavitā́ (3. Pers. Sg.) bei Vorhandensein von bhavitā́smi (1. Pers. Sg.), bhavitā́si (2. Pers. Sg.) im futurum periphrasticum; dabei ist *bhavitā* ein deverbales Nomen auf -tar, das (im Gegensatz zu den Formen der 1. und 2. Pers. Sg.) keine Verbalendung aufweist. Beispiele dieser Art sind auch in einer Reihe anderer Sprachen häufig.

[9] vgl. R. Gauthiot. // Memoires de la Société de Linguistique (im folg. abgekürzt: MSL). 15 (1909). S. 226; s. E. Fraenkel. Lit. etym. Wb. (im folg. abgekürzt: LEW). Bd. I. Heidelberg—Göttingen, 1962. S. 124; ders. // KZ. 53 (1925). S. 37; ders. // ZfslPh. 20 (1950). S. 298; ders. // Lexis. 2 (1951). S. 202—203.

[10] vgl. bereits J. Schmidt. // KZ. 25 (1877). S. 595.

[11] Eigentlich gir = jir (abstrahiert von *ne-j-ir); vgl. bei Mancelius girrahg = *jirāg*, wo -g- eine Partikel ist; s. J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951. S. 719 (dort auch zu den Formen jer, *jerā*, möglicherweise aus einer Kontamination von (e und ir); A. Ozols. Veclatviešu rakstu valoda. Rīgā, 1965. S. 87, u. a.

[12] s. M. *Rudzīte.* Latviešu dialektologija. Rīgā, 1964. S. 232.

[13] ebd. S. 232. In der Mundart von Stenden wird in der 2. Pers. Sg. neben tu es̄ auch tu ìr, tu i verwendet; s. K. *Draviņš* —V. *Rūķe.* Verbalformen und undeklinierbare Redeteile der Mundart von Stenden. Lund, 1958. S. 9.

[14] vgl. jedoch livisch ma um (1. Pers.), sa ùod (2. Pers.), ta um (3. Pers.) (ʻsein’), ähnlich ma lugùB (1. Pers.), sa lugùD (2. Pers.), ta lugùB (3. Pers.) (ʻlesen’) — bei Vorhandensein von estn. loen (1. Pers.), loed (2. Pers.), loeb (3. Pers.) von lugema (ʻlesen’).

[15] vgl. jedoch finn. hän on, aber he ovat, oder livisch ta um, aber ne àttə̄.

[16] Dasselbe kann auch bei einigen anderen Paradigmen beobachtet werden; vgl. das Präsens-Futur des indirekten Modus ma *lu’ggiji* (1. Pers. ʻговорят, я читаю’), *sa lu’ggiji* (2. Pers.), *ta lu’ggiji* (3. Pers.) u. ä.

[17] Eine Form, die durch eine andere verdrängt wurde, vgl. nevaid, navaid, neva, nava, *nevād*, *nevaidās*, *navaidās*, navain u. a.; s. J. *Endzelīns.* Op. cit. S. 718—719; K. *Būga.* Rinktiniai Raštai. I. Vilnius, 1958. S. 452—453. Charakteristisch ist der Parallelismus dieser Negationsformen mit Formen, die von ir abgeleitet sind, vgl. neva — ira, nevaid — iraid, *nevaidās* — *iraidās*, *nevād* — *irād*, *nevaidenās* — *iraidenās*.

[18] z. B. in der latgalischen Mundart von Baitinava (neben irâ); s. M. *Rudzīte.* Op. cit. S. 359.

[19] s. Z. *Zinkevičius.* Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966. S. 346: ty yrà, (j)is yrà, nu *ir aš yrà*, *tai ko nėr*? (Pùnskas), *tù yrà karãliaus sūnùs* (Dievẽniškės), *mẽs jaũ visì čià yrà* (Zíetela); dieselbe Verwendung ist auch in einigen anderen Orten belegt (Kalesninkùs, Ramaškónis, Švenčiónis). In der Mundart von Biržai ist *ỹr* in allen Personen der zusammengesetzten Konjugation verallgemeinert: *àš (tù) ỹr skaĩtęs*, *mẽs (jũs) ỹr skaĩtę*; vgl. ebd., S. 345, zu den verkürzten Formen des litauischen Typs *ỹr* (ner) und sogar *ỹ* (ne); neben den verkürzten Varianten sind auch Formen vermerkt, die durch die Partikel -ai erweitert werden (*ỹrai*, nẽrai), s. ebd., S. 431. Vgl. schließlich auch Fälle wie *ỹrot*, *ỹrotės* ʻyra’ (Kas tai *įpratimas ỹrot su drabužiais gulėt*. s. Lietuvių kalbos žodynas [im folg. abgekürzt: LKŽ]. T. IV. Vilnius, 1957. S. 140.

[20] vgl. esti, est, ast, oest, este. Im «Katechismus» von Mažvydas begegnet 52mal esti und 15mal est, während yra und ir- 19mal auftreten; s. A. Sabaliauskas. Tematiniai lietuvių kalbos vieksmažodžiai // Kai kurie lietuvių kalbos gramatikos klausimai. Vilnius, 1957. S. 85—86. (Nach den Auszählungen Fords sind esti und est im «Katechismus» 64mal bezeugt.) In Vilentas’ «Enchiridion» gestaltet sich das Verhältnis der Formen anders: esti — 44mal, yra — 106mal; s. auch F. Specht. // KZ. 62 (1934). S. 82 ff.; Ch. S. Stang. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942. S. 99—101; ders. Vergleichende Grammatik… (s. Anm. 2). S. 309 ff.; J. Palionis. Lietuvių literatūrinė kalba XVI —XVII a. Vilnius, 1967.

S. 132 —133; J. Kazlauskas. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius, 1968. S. 305 — 307 u. a.

[21] Z. *Zinkevičius.* Op. cit. S. 345.

[22] s. ebd.

[23] vgl. die Neubildung *ẽsa* (3. Pers.) in der Umgebung von Šiauliai. Es gibt auch andere Fälle einer Verallgemeinerung nach der 1. Pers.; vgl. dial. esmù (1. Pers.), esmì (2. Pers.).

[24] s. A. Senn. Handbuch der litauischen Sprache. Heidelberg, 1966. S. 287, s. auch S. 288. Vgl. die Unterschiede zwischen yra (poln. jest) und esti (poln. bywa), die in «Universitas linguarum Litvaniae» (1737) vermerkt werden.

[25] Bei Širvydas tritt esti in bejahenden Aussagen sowohl als Kopula als auch als Verbum existentiae auf, in verneinenden nur als Kopula (s. die Beobachtungen Stangs [Anm. 2]).

[26] vgl. G. B. Ford Jr. // Baltic Linguistics (s. Anm. 2). S. 65.

[27] s. Ch. J. Stang // NTS. 14 (1947) [s. Anm. 2]; ders. Третье лицо глагола «быть» в литовском и латышском языках // Вопросы теории и истории языка. Л., 1963. S. 286—287; ders. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. S. 412—414.

[28] vgl. die Opposition yrà : b*ū̃*va (b*ū̃*na) u. ä. Natürlich müssen auch andere Bedingungen berücksichtigt werden, die die Auswahl von *ẽsti* und yrà motivieren, wie auch Fälle einer nichtdifferenzierenden Verwendung des einen oder anderen Verbs. In einigen Aussagetypen ist der Wechsel *ẽsti* : yrà stilistisch markiert; vgl. Kuris su manimi *n e ẽ s t* i, prieš mane y r a. Daukša, Postilla, 118 (1599).

[29] Diese Verbindung der Existenz mit der Realität, der Wahrheit bedingt einen gewissen positiven Charakter der Bedeutung der entsprechenden Wörter, der z. B. deutlich in den von *es- abgeleiteten Bildungen auftritt (vgl. altind. satya, sant- als Bezeichnung des Wahren, Guten, sattama- 'der beste'; altnord. sannr 'wahr, wahrhaftig' u. ä.); vgl. die Beziehung zwischen Existenz und Wahrheit in einer Reihe philosophischer Konzeptionen. Die «negativen» Bedeutungen entstehen bei den Kontinuanten des ieur. *es- erst im Ergebnis von Beziehungen, die sich im Kontext herausbilden (nicht im Paradigma), vgl. lat. sons 'schuldig', das als (elliptische) Antwort auf die Frage, die eine archaische juristische Formel ist, erklärt werden kann.

[30] vgl. Иван — человек oder Иван — мой отец.

[31] Neben den bereits angeführten Etymologien Gauthiots (Fraenkels) und Stangs s. *Ю. С. Степанов*. Литовское 3 лицо глагола «быть» // Baltistica. 2 (1970). S. 193—196.

[32] wie z. B. in den alten semitischen Sprachen oder im Indoeuropäischen; s. *В. В. Иванов*. Отражение… (s. Anm. 3). S. 266 ff.; É. Benveniste. // BSL. 56 (1960), u. a.

[33] s. dazu zahlreiche Beispiele, die Benveniste aus den semitischen Sprachen (*'elāh'ḵōn ẖū 'elāh 'elāhīn* «Ваш Бог — он [= есть] Бог Богов»), den Türksprachen (postpositives ol 'er', vgl. alttürk. ädgü ol 'er (ist) gut') und den indoeuropäischen (vgl. sogdisch *'γ*w 'er' : mwrt*k 'tn 'γ*w 'он — мертв') anführt, sowie durch Beispiele aus dem Jagnobischen, Ossetischen und Puschtu illustriert).

[34] So versucht auch Stang lit. yrà zu erklären: «Я склонен думать, что yrà восходит к старому наречию или междометию того же самого типа, что и литовское междометие aurè», s. *Хр. С. Станг.* Третье лицо… S. 288; ders. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. S. 414 (vgl. aus der Mundart von Tverečius *anrẽkui*, *unrẽkui* 'tu, oto'

bei Vorhandensein von an-às, ãn-as). Vgl. weiter: «Если это так, то можно думать, что угà принадлежит к местоименной основе i- и что первоначальное его значение было ʽвот’ или ʽздесь’».

[35] s. *Ю. С. Степанов.* Op. cit. S. 193 (Übersetzung des Zitats — R. E.). — Auch G. Jäger. dessen Artikel «Litauisch yrà» (in: Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 14 [1961]. S. 316—320) Verf. entgangen zu sein scheint, führt lit. yrà auf ir + a zurück und zieht auch Vergleiche zu lit. ir su. [Anm. des Übersetzers R. E.].

[36] vgl. ìt, aber *ỹt*, ýt (mit demselben Ausgangselement) oder ir̃ — yrà nach dem Muster bir̃ti — *bỹra* u. ä.

[37] Als mögliche Analogie vgl. die Partikel n(a), die im Haussa den Index des Subjekts mit dem Verbalstamm verbindet und z. T. als ursprüngliche nota genitivi, zum Teil als Rest des Hilfsverbs ʽsein’ verstanden wird; s. *И. М. Дьяконов*. Семито-хамитские языки. М., 1965. S. 79, 82.

[38] vgl. die Analyse solcher Erscheinungen in einer tiefgreifenden Untersuchung A. A. Zaliznjaks.

[39] Diese Verwendung von russ. *и* ist besonders interessant angesichts einer möglichen Entsprechung von russ. *и* : lit. ir ʽи’ (wie russ. *а* : lit. ar̃ und die von Ju. S. Stepanov erwähnten *да* : lit. dar̃, slaw. *къ* (in *къ-де* u. ä.): lit. kur̃). Vgl. in diesem Zusammenhang lit. Toks jis ir buvo — Toks jis ir yra. Hier ist darauf hinzuweisen, daß lit. yrà — ir̃ ein in den baltischen Sprachen unikales Paar ist; vgl. lett. ir — un oder altpreuß. est (ast) — ir (nur zweimal — 35,13; 69,1) gegenüber geläufigerem est (ast) — bhe.

[40] s. J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949. S. 55 — 56; H. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch (im folg. abgekürzt: Frisk). Heidelberg, 1954. S. 127, u. a.

[41] Die gegenseitigen Beziehungen von *ἄρ*, *ἀραρίσκω*, *ἁρμός* ʽсвязь, скрепа’, ʽскрепление колышек’ (s. Frisk. S. 128 —129) ermöglichen die Erklärung des noch immer unklaren lit. ìrmos, das in LKŽ. IV. S. 139, bestimmt wird als «prietaisas iš dviejų sukryžiuotų ir virve surištų karčių galais stulpui pastatyti arba rąstui aukštyn kelti» (ʽVorrichtung aus zwei über Kreuz gelegten und mit einem Strick befestigten Stangen, mit deren Enden man Pfosten aufstellt oder einen Balken hochhebt’). Zu *ἄρ* : *ἀραρίσκω* können zahlreiche typologische Parallelen vom Typ türk. *birlā* ʽmit’, ʽund’ und bir + i-l- ʽsich vereinigen’ u. ä. angeführt werden. Dabei muß beachtet werden, daß das genetisch mit lit. ir̃ verbundene lett. ar sowohl die Funktion einer Präposition (ʽmit’) und einer Fragepartikel (vgl. lit. ar̃) als auch die einer Konjunktion (ar, *arī*, *arīg* ʽauch’, vgl. oben zu *jirāg* bei Mancelius) besitzt, die in einigen Kontexten prädizierende Merkmale aufweist.

[42] s. É. Benveniste. Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris, 1935, bes. Kap. V.

[43] s. C. Watkins. Indogermanische Grammatik. Bd. III. S. 194 —197 (Anhang: Etymologie des r-Elements); vgl. ders. // Celtica. 6 (1963). S. 1 —49, und // Proceedings of the IX International Congress of Linguists. Oslo, 1957. S. 1035 —1042, u. a.

[44] vgl. vor allem: *В. В. Иванов*. Отражение… (s. Anm. 3). S. 266 ff.

[45] ebd. S. 270—271.

[46] Ähnlich dem semitischen Status praedicativus, dem Nomen in der kasuslosen Form, das als Prädikat auftritt, oder dem damit gewöhnlich zusammenfallenden Status indetermi-

natus; vgl. oben über den «Casus indefinitus» auf -r im Zusammenhang mit der prädikativen Funktion einiger ähnlicher Bildungen.

[47] vgl. altgriech. *ῥα* und die tocharische emphatische Partikel ra- (toch. B).

[48] s. J. Gonda. The Original Character of the Indo-European Relative Pronoun *i̯o- // Lingua. 4 (1954); *В. В. Иванов — В. Н. Топоров.* Новое в лингвистике // Вопросы языкознания. 1/1959. S. 111; *В. В. Иванов.* Отражение… (s. Anm. 3). S. 237—240.

[49] vgl. *И. Эндзелин.* Латышские предлоги I. Юрьев, 1905. S. 40; K. Mühlenbach. Lettisch-deutsches Wörterbuch, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. Bd. 1. Riga, 1923. S. 708; vgl. *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1971. S. 112, u. a.

[50] Ju. S. Stepanov (Op. cit. S. 194) schlägt eine eigene Erklärung für -r in lit. i*r̃*, a*r̃*, e*r̃*, da*r̃* u. ä. vor, die von verschiedenen Reflexen des ieur. **r̥* in Abhängigkeit von der Position im Satz oder Wort ausgeht.

1978

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКОВ (1—2)

Казимерасу Буге для научного творчества было отмерено очень короткое время, половина которого была крайне неблагоприятна для занятий. Трудно назвать другого лингвиста подобного масштаба, который в те же сроки не только успел заявить о своих гениальных способностях, но и сделал реально так много, как Буга. В течение полутора десятилетий своего творческого пути литовский языковед заполнил многочисленные лакуны в общей картине балтийского языкознания, получил массу новых результатов высочайшей степени надежности, тем самым мощно продвинув вперед все балтийское языкознание и обеспечив индоевропеистику новыми балтийскими материалами и/или интерпретациями. Более того, Буга во многом предвосхитил то, что и сейчас еще рассматривается как настоятельная и более уже не терпящая отлагательств задача сравнительно-исторического балтийского языкознания. В данном случае речь идет о проблеме р е к о н с т р у к ц и и в балтийском языкознании, взятой во всей ее широте — от восстановления тех или иных элементов или даже целых подсистем применительно к «прабалтийскому» горизонту до частных реконструкций, выполненных на материале вымерших балтийских языков, известных лишь в ограниченном объеме (как прусский) или даже в совсем жалких остатках (язык ятвягов, куршей, селов и т. п.). Реконструкции последнего типа (а им К. Буга уделил особое внимание именно в последние годы жизни — ср. реконструкцию фонетических особенностей и лексического состава этих языков во введении к «Lietuvių kalbos žodynas» или в его составивших эпоху статьях о реликтах балтийской речи в гидронимии территорий к востоку, юго-востоку и югу от исторического ареала балтийских языков) приобретают особое значение, в частности, в силу того, что

они помогают выявить новые [«третьи» (помимо литовского и латышского) или «четвертые» (помимо указанных языков и прусского)] члены сравнения, позволяющие углубить историческую перспективу во времени и/или выявить новые нестандартные варианты эволюции балтийского типа, что особенно важно, если учесть, что балтийская группа по числу составляющих ее и доступных нам языков сильно уступает большинству других групп индоевропейских языков, причем эта дефектность не всегда компенсируется внутриязыковым диалектным разнообразием.

Одна из насущных задач сравнительно-исторического балтийского языкознания и состоит в том, чтобы максимально увеличить количество лингвистических фактов, относящихся к балтийским linguae minores. Сразу же следует заметить, что в этой области можно сделать многое и притом в разных направлениях. Если говорить только об основных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться при решении названной задачи, то здесь уместно назвать два ключевых случая, указывающих общий диапазон: 1) реконструкция новых элементов (своего рода микротекстов — от слов, составленных из грамматически или семантически значимых частей, до сочетания слов, отдельных фраз и далее), которые расширяют основание для сравнительно-исторических исследований, и 2) реконструкция тех или иных семантических схем, которые позволяют объяснить некоторые противоречивые или ранее не объясненные факты (при этом семантическая реконструкция нередко высветляет и ту исходную синтаксическую ситуацию, которая, собственно, и контролирует развитие семантики).

Здесь достаточно двух примеров, чтобы проиллюстрировать оба указанных типа ситуаций, — преимущественно на материале прусского языка. Стоит обратить внимание и на то, что реконструкция нередко приводит к некоторым не предусмотренным заранее побочным результатам нетривиального характера.

1. О прусском *kails и следах прусской поэтической традиции

Корневой элемент kail- представлен в прусском в слове, обозначающем ‘здоровье’ (*kailūstiskun*. Катех. III, 37, 16), и в топонимах Caylkaym, 1437, Kalckaymen, 1458, Kaylekaymen, 1460, Calickaym, 1462, позже — Kalkeim; Kayliwen, 1339, Caylibe, 1379, Kaliben, 1379 (Gerullis APON 53), находящих соответствие в вост.-балт. ареале [1]. Кроме того, этот же элемент уже в качестве самостоятельного слова несколько раз встречается в текстах вторичного характера по отношению к основному корпусу прусских текстов и поэтому далеко не всегда учитывающихся исследователями. Тем не менее, эти микро-

тексты, в которых появляется kail-, очень показательны, поскольку они являются устойчивыми фразеологизмами, очень распространенными ритуальными формами, тяготеющими к выражению в особой, так или иначе отмеченной форме.

В «Warhafftige Beschreibung der Sudawen auff Samland sambt ihren Bockheyligen vund Ceremonien» (начало 60-х годов XVI в.) Иеронима Малетиуса (Hieronymus Maletius) в главке «Von den todten» засвидетельствована прусская (судавская) формула: «ein ieglicher [trinckt] dem toden zu vnd spricht Kails nau*ſſ*en gnigethe, das ist, ich trincke dir zu vnser freundt» (по Геттингенской ркп. XVI в.: 716) [2]; ср. варианты — K a y l e s mau*ſ*e gygynethe (Hartknoch. 189); K a i l e s nan*ſ*e geigete (Luc. David, 141); K a i l e *ſ* s noussen gingis (вариант, сообщаемый Бугой [Msc. B. 68, fol. 504], см. LKŽod. LXXVI = RR III: 132) [3]. Любопытно, что эта фраза отсутствует в экземпляре, хранящемся в рукописном отделе библиотеки Вильнюсского университета (Msc. Viln.), о чем сообщает В. Мажюлис [4]. Согласно Бецценбергеру, первоначально фраза могла иметь следующий вид: Kails nouson gintele «sei gegrüsst, o unser freundchen!» [5]. В другом фрагменте того же сочинения Иеронима Малетиуса в главке «Von jerlichem gedechtnis» зафиксирована другая формула с двойным употреблением kail-: «und wenn die maalzeit entschieden ist, und das tuch aufgehoben, so dancken sie dem, der das jährliche gedächtniß gehalten hat, und heben an zu sauffen, K a y l e s, p o *ſ* t k a y l e s eins periandros» [6]; ср.: K a i l s p o s k a i l s ains par antres (Геттинг. ркп. 718), а также: K a i l e s p u ß k a i l e s ains Petantros (Luc. David 144); P o ß K a y l e ß k a y l e s eines peranteres (Msc. B. 68); K a y l e s p o *ſ* k a y l e s enis perandros (Msc. Viln. 18); K a y l e s und P u *ſ* c h k a y l e s. Ist ein tugend, da laster ein ehre sey (Данцигск. ркп.) [7]; наконец, у Симона Грунау: «und dornoch truncken poskeiles von methe» (Preuß. Chron. II, 4) [8]. О трактовке этих примеров см. ниже. — Третий пример употребления kail- представлен Базельским прусским текстом, обнаруженным недавно S. McCluskey (библиотека Базельского университета: F. V. 2): K a y l e r e k y *ſ* e · thoneaw labonache thewely*ſ*e· | Eg· koyte· poyte· nykoyte· pẽnega doyte· «Sveikas, pone! Tu nebe geras dėdelis | jeigu nori tu gerti, [bet] ne[be]nori tu pinigą duoti» [9].

Все эти примеры знакомят нас с важным и очень характерным фразеологизмом прусского языка, за которым стоит соответствующий обычай здравицы, величания при возлиянии на пиршествах, а также приветствие при встрече, почти автоматически связанное со здравицей в этом и соседних с ним ареалах (ср. нем. heil, лит. sveĩkas, русск. *здоро́в* ʽздравствуй/те/’, ср. диал. *здоро́в те, вам* [СРНГ 11: 233] и т. п. — в отличие, напр., от польск. witaj как глагольной формы). Вместе с тем, учитывая те же ареальные данные (ср. знаково отмеченное употребление в свадебном ритуале нем. heil, лит.

sveĩkas или русск. *здорóв*[10]) и некоторые описания прусской свадьбы (напр., в главке «Von jren Sponsalien vnd vorlubnissen» у Иеронима Малетиуса с поразительными параллелями к текстам русской свадебной традиции, где как раз и содержится *давать здорóв*)[11], можно высказать предположение, что прусск. kails использовалось и в свадебном ритуале, причем, видимо, неоднократно. Поэтому представляет интерес разбор реальных ситуаций (все они сильно институализированы), в которых употребляется это прусское слово.

Базельский текст, относящийся к середине XIV в. (ср. имеющуюся в фолианте дату — 1369 г.) и возникший, видимо, в космополитической среде Пражского университета, представляет собой шутливо-ироническую поговорку, присловье, с которым один Studiosus обращается к другому, своему коллеге и в данный момент собутыльнику (ср. rekyſe ʽо господин!ʼ, thewelyſe ʽдядюшкаʼ). Возникает вопрос: относится ли пересекающая это присловье изогнутая фигура молодого человека, выступающая почти как ось симметрии (см. факсимильные воспроизведения этого текста)[12], именно к присловью? Учитывая пространственное соотношение фигуры и текста, а также надпись на знамени (напоминающем по форме рог для питья) в правой руке фигуры «Jesus ich leid», которую можно понимать как шутливую исповедь страждущего «пьяницы», приходится считать, что эта фигура вполне могла бы изображать Trinkbruder'а, который «хочет пить, но не хочет за это платить». По-видимому, начинающая текст последовательность Kayle rekyſe возникает здесь как своего рода стилистическая и ситуационная трансформация обычного и поэтому нейтрального *Kails & Nom. propr. собутыльника или его обозначение (друг, господин и т. п.). Существенно подчеркнуть, что все присловье представляет собой гекзаметрическое двустишие[13], относящееся, по всем данным, к сфере типичного студенческого фольклора, берущего начало еще в средневековой традиции (можно напомнить, что более или менее сходные по содержанию стихотворные присловья известны на латинском и немецком языках[14]). Этим объясняется несомненная и нарочитая манерность двустишия, его ориентация на каламбурность, как бы выход из-под надзора некоей контролирующей инстанции, умышленный буквализм или, точнее, графизм («гипер-ученость»). Ср., по крайней мере, графические рифмы rekyſe — thewelyſe и особенно лавинообразный ряд с комическим эффектом: koyte — poyte — *nykoyte*... — doyte. Вероятно, в этом же контексте должны рассматриваться и многочисленные -*e* в Auslaut'e. В. Мажюлис убедительно показал, почему в kayle (BPT) -е не может быть истолковано как флексия Voc. (перечисленные выше написания kails, kailes, kaileſs, kayles, kayle, несомненно, отражают одну и ту же грамматическую форму — Nom. Sg. masc. от Adj. kails или kailas). Им же была предложена эмендация *kayls (вм. kayle) по типу *arelis (вм. arelie. Э 709) или *kayles (ср. формы этого слова у Малетиуса) с

выпавшим позже -s. Вместе с тем предпринимаются попытки к объяснению -*e* в kayle влиянием лат. salv-e с тем же значением, что и kayls, или стремлением выдержать требование гекзаметра. Все эти соображения, естественно, заслуживают внимания и обсуждения. Однако следует подчеркнуть, что из одиннадцати слов Базельского текста в о с е м ь оканчиваются на -*e*, причем, строго говоря, оно нигде не может вполне точно мотивироваться с грамматической точки зрения. В лучшем случае речь могла бы идти о п р и б л и з и т е л ь н о м соответствии (-te = -tu, -te = -t). Не исключено, что этот гиперморфизм -*e* также предопределен (хотя бы отчасти) установкой на шутку и — дополнительно — некоторой аффектацией метрического критерия (ср. несколько шаржированный стиль с установкой на произнесение максимального числа e muet при чтении французских стихов или произнесение конечного -ъ в некоторых разновидностях богослужебного стиля чтения в православной церкви).

Другая (более интересная с точки зрения реконструкции) ситуация изображена в уже упоминавшемся разделе «Von den todten» из сочинения Иеронима Малетиуса. Здесь дается описание драматизированной ритуальной сценки, когда пьют пиво за здоровье умершего, который, будучи уже больным, незадолго до смерти, выставил своим друзьям бочку пива с тем, чтобы они почтили память дарителя после его смерти. Ср.: So einer kranck wirdt, setzet er nach vermögen dem dorffe vnd seinen freunden etliche tonnen bier, auff das sie Inen beweinen, so er gestorben Ist. Den leichnam baden sie In einer warmen badstuben oder keuben, waschen Inen rein vnd ziehen In an mit weissen kleidern vnd setzen Inen auff einen Stul vber ende. Darnach zappen sie eine tonne biers an bis auff die helfften, giessen das In ein gefesse, nemen eine Schalen. Ein itzlicher trincket dem todten zu vnd spricht: k a y l s n a u s s e n g i n g e t h e, ich trincke dir zu, unser freund; w a r u m b b i s t d u g e s t o r b e n? h a s t u d o c h d e i n l i e b e s w e i b, d e i n v i c h, d e i n e k u h e? reimens (NB! — B. T.) alles herfür. Zum letzten trincken sie Ime gute nacht zu vnd bitten Inen, das er In Jener welt Ire veter Bruder freunde wolte fleissig grussen vnd sich mit Inen auch wolgehaben, darnach ziehen sie Inen an mit seinen kleidern, gurten Ime ein messer an die Seiten, ein lang tuch umb den hals, da binden sie Ime geld em zur zerunge (LG, 257). Указание на р и ф м о в а н н ы й характер прусских фраз существенно не только в связи с уже отмеченными выше случаями «стихотворного» использования прусск. kails, но и как средство корректировки реконструкции прусских фраз с помощью некоторых метрических критериев — как в ее данной прусской части (ср. бецценбергеровское *káil/a/s & *nóuson & *gintele, с условной расстановкой ударения, обеспечивающей, кажется, хореическую схему; ср. гекзаметр Базельского двустишия), так и в части, известной лишь по немецкому переводу и подлежащей восстановлению. Нужно полагать, что

реконструкция прусского текста, соответствующего указанным немецким фразам, имеет серьезные основания в свою пользу. Все говорит за то, что немецкие фразы содержат не пересказ содержания прусского текста, а именно его точный перевод. Вообще допустимо предположение, что ведущий запись, успев записать предыдущую короткую трехсловную прусскую фразу (в которой, кстати, он вполне свободно мог выделить kails, легко и естественно сопоставляемое с нем. heil, употребляющимся, в частности, в аналогичной ситуации в немецкой традиции), не успел зафиксировать следующие две прусские фразы, так как они были значительно длиннее первой (видимо, 13 слов). В качестве некоей компенсации записывающий сообщает о стихотворном (reimens) характере этой части прусского текста. Впрочем, и без этого указания едва ли можно было бы сомневаться, что в данном случае речь идет о наиболее характерном фрагменте плача (ср.: *...auff das sie Inen beweinen*... у Малетиуса), имеющем аналогии в самых разных традициях и, в частности, в соседних балтийских и славянских. Ср., с одной стороны, лит. Kam (ko) tu (nu)mirei; *O kam tu palikai* | *Mane siratelę!*; *O kam gi palikot* | *Mane neščėslyvą!* и т. п. [15] из плачей по умершим в соответствии с warumb bist du gestorben?; а с другой стороны, в связи с перечислением liebes weib, vich, kuhe — фрагменты плачей, в которых перечисляются жена, дети (иногда родители), скот [16], оставшиеся без хозяина и защитника. Переводя пословно наиболее естественным образом (к счастью, в разбираемом случае, кажется, нет альтернативных вариантов и, следовательно, проблема выбора не стоит) немецкую фразу warumb bist du gestorben?, получаем с большим вероятием прусский текст типа *kásmu (?) & *assai & *tú & *auláuns? или, скорее, *kásmu (?) & *tú & *assái & *auláuns? — т. е. правильную строку четырехстопного хорея [17], где ритмическая схема задается уже просодической структурой первого слова (ср. аналогичные примеры в белорусской или украинской народной словесности, где *чаму́*, соответственно *чому́*, наоборот, задают ямбическую схему). Следующая немецкая фраза (hastu doch dein liebes weib, dein vich, deine kuhe?), вероятно, могла бы отражать — с точностью, оправдывающей эту реконструкцию, — прусскую последовательность типа *túr(i) & *tu & *tvájan & *mílan & *génan | *tvájan & *péku (*pekan) & *tvájan & *kléntin? — также с (условно) хореической схемой. Таким образом, восстанавливается некий фрагмент прусского ритуального текста, использовавшегося в похоронном обряде и имевшего ритмически организованную форму:

*káil(a)s & *nóuson & *gíntele!
*kásmu (?) & *tú & *assái & *auláuns?
*túr(i) & *tu & *tvájan & *mílan & *génan?
*tvájan & *péku (*pékan) & *tvájan & *kléntin?

Конечно, этот реконструированный текст нуждается в своего рода пост-редактировании на разных уровнях (фонетическом, морфологическом, может быть, синтаксическом и лексическом и, уж конечно, просодическом и ритмическом [18]), но и в таком виде он обладает значительной эвристической ценностью. Более того, несовершенство подобной реконструкции не следует преувеличивать: в канонических прусских текстах существует немало фрагментов, степень достоверности которых, определяемая возможностью передачи их в стандартизованной форме, предполагающей однозначную идентификацию всех языковых элементов, никак не превышает достоверность реконструированного отрывка. Сам же реконструированный текст получает известное оправдание в том, что он обнаруживает ряд существенных признаков своей организации, которые никак не были запрограммированы самой реконструкцией (ритмическая форма, звуковая организация и т. п.), и, следовательно, получает в свою поддержку ряд аналогий в близких традициях. Особое значение имеет, конечно, и то, что реконструированный текст является не только текстом прусского языка, но и памятником прусской культуры. В этом смысле он глубже и органичнее укоренен в прусской модели мира, чем известные нам тексты прусских катехизисов, обязанные своим происхождением иным культурным традициям.

Наконец, третий случай ритуального употребления kail- — ежегодные поминки, описываемые Малетиусом («Von jerlichem gedechtnis»): Das jerlich gedechtnis halten sie offentlich, trotz wer es Inen wehre, ist das geschlecht Im vormögen. Wo aber das Vormögen nicht ist, thuns drey vier oder funffe zusammen. Ein itzlicher bittet seinen freund zur kirchen, zu begehen ein gedechtnis seines vaters, vnd bereden sich auff dem kirchhoff; gehen sie In den Krug der Inen gelegen Ist. Die menner setzen sich sonderlich, die weiber desgleichen vnd haben paudeln mit vischen gebrotens vnd gesottens. Zwei weiber dienen zu tische; Keiner mus ein wort reden vber dem essen; die beide weiber legen Inen die speise vor vnd keiner mus ein messer ziehen. Die speise ist geteilet, das man nicht messer bedarff. Da essen sie vnd ein Jder, was er dem todten gönnet, das lest er fallen vnter den tisch vnd giessen eine schalen biers nach, vnd wann die malzeit geschehen vnd das tuch auffgehaben, so dancken sie dann deme, der das Jerliche gedechtnis gehalten hat vnd heben an zu sauffen k a y l s p o s s k a y l s e i n p e r a n t e r s vnd singen Ire gesenge bis sie nicht mehr auf Iren fussen können stehen vnd welches weib dem manne zutrinckt, nach dem trunck stehet sie auff, reichet dem manne die schalen, giebt ime die hand vnd kusset Inen vor den mund. So thut auch widerumb der mann der frawen (LPG, 258—259). — Первая половина прусской фразы реконструируется как *kails! — *pats & *kails (собств., *kails /*tu/ *pats) [19] и рассматривается как отражение элементарного обмена приветствиями типа: *будь здоров! — и ты сам будь здоров!* (или: *и тебе того же…*). Бецценбергер

идет, однако, еще дальше и считает, что в указанном месте имеется в виду не этот обмен приветствиями, а обычай предварительного возлияния (kails — der Brauch des Vortrinkens) и связанный с ним обычай последующего возлияния или соответствующего ему прихода (pats kails — der Brauch des Nachtrinkens, des Nachkommens). В таком случае объясняются и несколько неясные слова из Данцигской рукописи: «das Vortrinken und das Nachtrinken ist verwerflich und nur da gilt es für tugendhaft, wo das Laster, nehmlich das Saufen, für ehrenvoll gilt» (139). Если это действительно так, то poskeiles у Грунау стоит вместо kails pats kails, являющегося итоговым обозначением акта «des Vor- und Nachtrinkens (-kommens)». Вторая половина прусской фразы также отсылает к прусскому застольному обычаю, который, по мнению Бецценбергера, состоял в том, что kails — pats kails, das «Vor- und Nachkommen», происходил между двумя партиями (группами) участников, одна из которых состояла из одного, а другая из нескольких (или многих) членов. При этом пили «einer gegen mehrere andere», oder «der eine den anderen entsprechend», oder «der eine die anderen entlang». Отсюда и предлагаемая Бецценбергером реконструкция — *ains par antros (Acc. PR.), которая, впрочем, позволяет просто объяснить эту процедуру — как питье друг за друга, одного за других и т. п. без того, чтобы непременно принимать предложенное Бецценбергером членение застольной компании. Тем более, разумеется, нет необходимости принимать фонетическую сторону бецценбергеровской реконструкции этой части фразы, как, впрочем, и пытаться соотнести явно испорченные записи с наиболее правдоподобным вариантом — *ains & *per & *antrans (или: *antran. Sg.)[20]. При всей спорности ряда элементов в такой реконструкции достаточно правдоподобно, что и эта застольная форма была ритмически упорядоченной, ср., напр.,

*kails! & *pats & *káils! | *áins & *per & *ántran(s)[21], воплощающее ту же схему четырехстопного хорея (с четырьмя ударными á).

Очень показательно, что все примеры прусск. kails, рассмотренные выше, относятся к одной и той же ситуации — здравица в связи с питьем вина («выпивка»)[22], которая сама по себе может входить в разные обряды — похоронная церемония, годовщина смерти (поминки), видимо, свадебные церемонии (см. выше)[23], десакрализованные пирушки (типа студенческих) и т. п. Особая роль возлияний (сопровождавшихся у пруссов здравицей kails!) может объясняться двумя факторами: во-п е р в ы х, продолжением старой индоевропейской традиции (именно о ней, видимо, и сообщает Вульфстан), согласно которой ц е л о с т н о с т ь (и.-евр. *kai-lo-, *kai-lu-; вопреки мнению старых исследователей, прусское слово не может считаться теперь германизмом, — ср. kail-*ūst*-isk-un ‘здоровье’ и многочисленные славянские образования от **cěl*-, исключающие предположение о заимствовании[24]) была связана с особой са-

кральной витальностью, единством, воплощающими божественную силу и не подверженными табу (как другие виды сакрального)[25], при том, что целостность нуждается в некиих актах — реальных и символических, — которые ее поддерживают, возобновляют, увеличивают (возлияния, в частности, и принадлежали к числу этих актов, равно реальных и символических); и, во-вторых, особым влиянием германской традиции возлияний, так поразившей еще античный мир[26] и устойчиво сохранявшейся и оказывавшей определенное влияние и в рассматриваемом ареале[27]. В частности, это влияние могло отразиться и в ритуальном узусе соответствующих слов. Конечно, не случайно модель hails goticum (нем. heil и т. п.) с сохранением этимологически тождественного слова отмечена не только в прусском, но и в полабском (кажется, единственном из всех славянских языков). Ср. полаб. *ćol* : Tsiõl ʻA votre santé’ (Pfeffinger), Tsioól (Eccard), Thiol ʻEure Gesundheit’ (Vocabul. Vandal.), Tsiol (Domeier), Zoolte ʻWillkommen’ (Baucœur)[28] — из **ćol-tě* < *...ti, может быть, под влиянием нем. heil dir, как думал Ф. Шпехт (см. KZ 64. 1937: 17). Очень возможно, что подобная конструкция существовала и в прусском — *kails & *tebei! Собственно, лишь она вполне удовлетворительно объясняла бы ответ *pats & *kails! ʻсам (будь) здоров!’ Впрочем, в таких предположениях, основанных на аргументах типологического и особенно ареального характера, можно пойти и еще дальше. Так, уместно поставить вопрос о возможности использования прусск. kails! в качестве приветствия при встрече по образцу нем. heil! (ср. готск. hails как эквивалент χαῖρε! или др.-англ. wes hāl!, англ. wassail и т. п.). Целование при встрече (и расставании, как, впрочем, и в пьяном состоянии) в славянской (прежде всего в русской) традиции, учитывая связь **cěl*-ovati с **cělъ*, должно рассматриваться как побочный аргумент в пользу предположения, согласно которому и в ритуальном поведении славян использовалось слово с корнем **cěl*- (*koi-l-), обозначавшее приветствие, метонимически закодированное как целование (ср. ст.-сл. **цѣловати** ʻприветствовать’, др.-русск. *цѣловати* ʻприветствовать’, ʻблагодарить’ и т. п.)[29], т. е. подчеркивание целостности-цельности, восстановление и умножение ее, состояние наилучшего здоровья (ср., с одной стороны, *будь здоров!*, с другой, — *целить*, *ис-целять* и т. д.). Кстати, в связи с этой темой следует напомнить уже цитировавшийся отрывок из Малетиуса (LPG, 259), точнее, ту его часть, которая непосредственно следует за kayls posskayls: «vnd welches weib dem manne zutrinckt, nach dem trunck stehet sie suff, reichet dem manne die schalen, giebt ime die hand vnd kusset Inen vor den mund[30]. So thut auch widerumb der mann der frawen», т. е. возлияние, протягивание руки (ср. обычай здороваться за руку) и поцелуй как потенциально единая сфера, обозначающаяся прусским kail-[31].

2. Балт. *ik- : к реконструкции синтаксических функций

Установление внутрибалтийских связей элемента ik-, открывающее путь и для этимологического объяснения, зависит прежде всего от возможностей нахождения такого инварианта синтаксической схемы, который объяснил бы различные (и, казалось бы, несводимые воедино) синтаксические функции элемента ik- в отдельных балтийских языках. Основные затруднения в этом смысле связаны с прусск. ikai ʻеслиʼ, ʻлиʼ, выступающим как союз (Conj.). Это словечко встречается трижды в Энхиридионе: Bhe ikai mes senstesmu ankaitītai wīrstmai kai mes enwangan augaunimai bhe stan epwarrīsnan polāikumai ʻVnd ob wir damit angefochten wůrden das wir doch endlich gewinnen vnd den sieg behaltenʼ (III, 39, 4); — kawijdsa duckti ious postāuns asti ikai ious labban seggēti bhe ni tijt būrai asti ʻWelcher Töchter jr worden seyt So jr wolthut vnd nicht so schlůchter seytʼ (III, 59, 16); — bhe ickai ainonts ēnstan turīlai preiwaitiat stas segē stas en kērdan… ʻVnd hat jemands darein zu sprechen der thue es bey zeit…ʼ (III, 63, 3). — Эндзелин на основании того, что это слово дважды пишется через k и только раз через ck, предлагает конъектуру: *īkai*, отмечая при этом, что ck иногда пишется после дифтонга или долгих согласных (ср. laucks, rickijs)[32]. Однако скрытый мотив указанной конъектуры связан с той этимологией этого слова, которую предлагает Эндзелин, и — точнее — с неудовлетворенностью обычным сравнением прусск. ikai с лит. iki и лтш. ik на том основании, что «ik ir laikam saīsinats no *(j)iek(a), un ikì savā nozīmē pavisam nesaskan ar pr. ikai!» И, тем не менее, Эндзелин не прав, фактически отказывая прусскому слову в сравнении с восточнобалтийскими параллелями. В конечном счете этот гиперкритицизм объясняется неразработанностью семантики прусск. ikai и его вост.-балт. соответствий.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что обычный перевод ikai с помощью нем. ob, wenn[33] оказывается более чем приблизительным: реально он соответствует лишь одному примеру из трех. Употребление ikai в соответствии с нем. so в III, 59, 16 вскрывает основу семантической структуры этого слова, и, как нередко случается, перевод второй степени оказывается более близким подлиннику, чем перевод первой степени. Семантика ikai сразу же проясняется, если обратиться к латинскому фрагменту, являющемуся отдаленным и непрямым источником III, 59, 16. Ср.: cujus factae estis filiae, dum bene agitis… (Petri Epist. Prima 3, 6). Таким образом, прусскому ikai в латинском переводе соответствует dum ʻдо тех пор (пока)ʼ, значение которого сразу же и непосредственно отсылает к лит. ikì, ìk ʻдоʼ, ʻдо тех пор, покаʼ (временно́й аспект) и т. д. Русский же перевод соответствующего места греческого текста вскрывает другую семантическую возможность, которая также должна быть принята во внимание в связи с прусским словом:

«Вы — дети ее, если (= до тех пор, пока) делаете добро…». Впрочем, и лат. dum реализует это второе значение: наряду с ʽпока’, ʽпока не’ в dum modo, уместно помнить и о таких примерах, как decretum est pati dum ilium modo habeam mecum «я решил покориться, если бы только он был со мной» (Теренций). Эти сопоставления проясняют то важное обстоятельство, что прусск. ikai в пределах предложения функционирует как языковой аналог логического оператора импликации: оно указывает на условия, на предел, до которого связь между имплицируемым и имплицирующим остается действительной. Когда же условие свертывается, т. е. локализуется в пределах минимального синтаксического сочетания (предложно-падежная конструкция), соответствующий союз импликации трансформируется в предлог, указывающий предел (пространственный, временной, условный), ср. значение ʽдо’. Приняв эту синтаксическую схему с двумя состояниями (т. е. ik- в функции связки двух частей сложноподчиненного предложения и ik- в предложно-падежной синтагме), нельзя пройти и мимо соответствующих прусским нормам литовских примеров с ikì, ìk, которые, тем не менее, в данной связи до сих пор неоправданно игнорировались. Речь идет о случаях, когда лит. ikì, ìk выступает в сложноподчиненном предложении, как и прусск. ikai, в качестве союза. Ср.: *Pavargėliai valgys,* ik privalgo (Bretk. Post. I: 208); Bū̆k ten, iki kolei pasakysiu tau (N. Bythner. Testam. Mt. 2,13); Daug vargų tėvams savom padarėm, ik bėginėt išmokom (Donel.); Dar ilgs pažygys, iki vėl vasarėlę sulauksim (Donel.) и т. п., см. подробнее LKŽ 4: 24, 29. Вместе с тем лит. ikì, ìk в предложно-падежных конструкциях реализуют и значение ʽдо’ (в прусском нет соответствующего предлога, хотя значение предела, как было показано выше, обнаруживается и в Conj. ikai): Bėk iki kalno; Iki vakaro pabaigsiu; Kariaus iki savo gyvos galvos (Daukant.); nuog miesto ik miesto; Net ik vakarui (Daukš. Post. 190); Gausit ik vienam и т. п. (LKŽ 4: 23—24, 28—29). Для уточнения вопроса о зависимости семантики ìk от его синтаксической позиции следует напомнить, что ìk в литовском может выступать и как частица (Partic.) в значении ʽдаже’ (= net), ср.: Nes ik kunigamus... regėjos šventvagystė (Daukš. Post. 565), открывающем возможность далеко идущего параллелизма с праслав. **da že* : **do že* (ср. русск. *да́же* : русск.-ц.-слав. *доже* и т. п.). В свою очередь ikì может выступать и как Adv. (ʽdar’, ʽkol’), ср.: Su *jais linksmavo ir šokinėjo* iki *prigėręs ir atgulęs* (Bretk. Post. II: 195); Nuo *užgimimo savo* iki *mirštąs* (Daukš. Post. 46) и др. Наконец, заслуживает упоминания и еще один вид синтаксической трансформации (сложное слово), приводящей к появлению новых вариантов значения. Речь идет о сложных наречиях (Adv.) типа лит. ikdien, ikvíenas (не смешивать с несколько иным типом — *ikši*õlei, ikikolei, ikgál, ikigaliai и т. п.), отражающих особый вариант значения балт. *ik- — ʽкаждый’, ʽвсякий’, ʽпостоянный’ как обобщение се-

рии частных условий («если этот день… если другой день… /что ни день…, то…/ ⊃ «каждый день»).

Латышские примеры отражают в принципе ту же ситуацию. Ср. ik как Conj.: ik *dziesmiņu izdziedāju, satinu dziesmu kamuolā* (BW 47); ik ediena *laiks, tev jāmazgājas*; часто в виде *ik… ik*: ik *es gāju gar kapiem,* ik *es gauži nuoraudāju* (BW 4044); ik *suoļu pabrauc,* ik *pāris bęrn*u izkritis «wieviel… sobald…». Вместе с тем, ik выступает и как Praep. с Gen. и/или Acc., ср.: ik vakara (vakaru, vakarus), ik *rīta* (*rītu*, *rītus*). Распределительное значение таких примеров, как *ik māju pieci zaldāti* «je auf ein Haus, auf jedes Haus fünf Soldaten», собств. — «wieviel Häuser, (soviel) fünf Soldaten» (ME 2: 703), еще позволяет вскрыть предшествующую во времени семантическую ситуацию — «что до дома…, то…», «если один дом…, то…». Ср. также многочисленные случаи типа ik dienas, ik vasaras, а также ik· katrs, ik· dienas, ik· gadus, ik· vakara, ik· viss, ik· visur, ik· viêns и др. (ME 2: 702—705), не говоря уж об употреблении ik как Adv. со значением ʽвсегда’ или в сочетании с Praep.: kungs palika ik ar dienu *bagātāks*; ik pa simts gadiem iz kalna *paceļuoties* pils и т. п. (ME 2: 703). Впрочем, в латышском с элементом ik значение ʽдо’ (обычное для литовского) связывается и непосредственно. Ср.: *es varu dzert un dziedāt,* ikãm *rīta saule lēca* или же — более опосредствованно (ʽwährend’, ʽsolange als’) — *man galdiņš piederēja,* ikãm *māsa vainagā* (BW 24228).

Следовательно, для всех балтийских языков в принципе восстанавливается приблизительно единая схема функций элемента ik и его зависимостей от фрагмента текста, который он организует и который в свою очередь определяет принадлежность ik- к тому или иному грамматическому классу. Эта ситуация находит довольно многочисленные типологические аналогии, из которых здесь стоит указать лишь несколько близких славянских примеров, подчеркнув особо, что некоторые из них отчасти (элемент k-), видимо, связаны с ik-, iki и генетически. Ср. ст.-русск. *докамѣстъ, докамѣсть*: 1) Conj. ʽдо тех пор, как’, ʽпока’: *А жалобник солжет, и его бити кнутом да вкинути в тюрму, докамест порука по нем будет* (Суд. Фед. Ив. 1589); *А сам* [*царь*] *долго стоя ждалъ, докамѣстъ братъ на улице ребенка сыскалъ* (Аввак. Жит. 1673); — 2) Adv. ʽпока’: *А сими днгами докаместъ чаюся изправитца* (Грамотки 1608 г.)[34]; русск. диал. *дока́мест, дока́месть, дока́месь, до́камас, дока́мече, дока́ми, дока́ме, дока́м, дока́* и др. (СРНГ 8: 96—97); укр. *до́ки, док*; с.-хорв. *дȍка, дȍк*; — ст.-русск. *покамѣстъ, покамѣсть* (*Дала есми тѣ села… по его душѣ… покамѣсть и святая обитель* сія *стоитъ. Срезневский.* Матер. др.-русск. яз. 2: 1102), русск. диал. *поки́*, блр. *по́кі*, укр. *по́ки*; др.-польск. poky, польск. póki ʽпока’, ʽдо тех пор, пока’; русск. *пока́*; болг. ot ka и т. п. При этом следует, конечно, помнить о предложно-падежном происхождении рассматриваемых слов. По естествен-

ной в данном случае аналогии целесообразно думать, что более или менее сходная ситуация могла бы объяснить и происхождение прусск. ikai и его вост.-балт. соответствий. При этом существенно помнить о главном аспекте сравнения (ik-) и не отвлекаться в данной связи на анализ тех элементов (-ai), которые, независимо от того, как их следует объяснять, в общем контексте излагаемой здесь схемы выглядят как детали. Поэтому здесь достаточно обозначить лишь некий общий круг возможностей объяснения элемента -ai в прусск. ikai [связь с наречным формантом, представленным в прусск. *bītai*, *drūktai*, labbai и др.; с союзами типа kai, nikai; со старой падежной флексией, ср. kai при kas, ka, kan и т. п. (в связи с прусск. ikai ср. лтш. Ikãm); аналогия с усилительной частицей -ai в литовском, присоединяемой к концу слова, ср. *ašaĩ* при *àš* 'я', dùjai при dù 'два' и т. п. [35]]. Впрочем, в прусском существовала, видимо, и форма без -ai, совпадающая, следовательно, с вост.-балт. ik. Об этом, кажется, свидетельствуют iquoitu (III, 51, 15; 51, 33), понимаемое как *ik quoi tu 'если ты хочешь', и eg. koyte· во второй строке Базельского текста, которое трактуется сходным образом — **īk *k(v)ōitu* (В. Мажюлис). Написание eg с e вместо i объясняется, вероятно, условностями графики (ср. в том же тексте rekyse = **rīkīs*). У. Р. Шмальштиг с некоторым сомнением предлагает сопоставить прусск. eg с лит. диал. *ẽ*gu 'если' (= jeigu) в р-не Паневежиса (см. LKŽ 2: 1053) [36]. Однако сам способ передачи jei- через *e*- для прусского (во всяком случае) представляется спорным; что же касается g, то оно хорошо известно и в вариантах ik и поэтому не нуждается в апелляции к jeigu. Ср. лит. ig: Kol nueisim i g *ežero, tai ir išauš* или же *Karalaitė...* i g i vakarui sau uogas rinko (Basanav. Pasak. III: 18) и в качестве Conj.: I g i atrado, daug vargo matė (Basanav. Liet. pasak. II: 56), см. LKŽ 4: 20, 21; ср. также i 'ik'. Эти формы с g (ig, ìgi), отмеченные в диалектах (Jurbarkas, K. Naumiestis, Veisiejai), справедливо, кажется, объясняются влиянием Praep. lig, ligì [37], соответствия которому в прусском не обнаружено, хотя сам этот корень хорошо известен.

Возвращаясь к вопросу о происхождении прусск. ikai, следует помнить о ряде трудностей, связанных с вокализмом первого слога. Речь идет о вост.-балт. формах с ie-, ср. лит. iekvíenas 'kiekvienas' (ср. обычное ikvíenas), iekas 'kiekas', iekà 'kiekis', 'daugis' (LKŽ 4: 12), jiek 'iki', 'aliai', jiekà (см. iekà), jiekas. Pron. indefin., jiekvíenas (LKŽ 4: 344), ср. jèk; лтш. iêkam, ìekam 'bevor', 'ehe'; 'solange', 'bis' (ср. *lai stāv zīles klētiņā,* i e k a m *puķes nuoziedēs*. BW 6083), ìekams (ME 2: 24). Как бы ни объяснять это ie (возможно, что единого объяснения и не существует, поскольку, по крайней мере, в части форм ie, видимо, неорганично и обязано своим происхождением аналогичным процессам, ср. iekvíenas, где первое ie- или результат уподобления второму ie, или результат притяжения к синонимичной форме kiekvienas), оба

варианта (i-, ie-) возводят к местоименной основе. Френкель (LEW 183) соотносит вост.-балт. формы (избегая при этом говорить о прусск. ik, ikai) с и.-евр. *i̯o- (Pron. relat.) и сравнивает их с близкими им по значению др.-инд. yāvat, др.-перс. yāvā, yātā, др.-греч. ἕως и т. п. (отвергая при этом бецценбергеровское[38] сопоставление с лат. aequus). Не оспаривая возможности именно такой этимологии (по крайней мере, в принципе), следует все-таки признать ее абстрактность (тем более, что и синонимичность приводимых Френкелем параллелей весьма условна и имеет своей основой некий семантический инвариант, связанный с Pron. relat.) и неполноту (-k, -ki остаются за пределами объяснения[39]). В последнее время оригинальное объяснение лит. ikì было предложено О. Н. Трубачевым[40]: ikì рассматривается как сокращение (естественное для элемента, выступающего как проклитика) Praep. likì, которое в свою очередь заимствовано из нижненемецкой диалектной формы, связанной с licken ʽбыть похожимʼ, ʽпоходитьʼ (ср. др.-сакс. ge-līk/o/, нидерл. gelijk, н.-в.-нем. gleich, шведск. lik, датск. lig, др.-исл. lîkr). Из этого же источника объясняется и кашуб.-словинск. *lik'i* ʽдоʼ, ʽвплоть доʼ (ср. lik ʽвсегдаʼ). Последнее наблюдение, по-видимому, бесспорно, тогда как первое предложение, касающееся лит. ikì, вызывает известные сомнения (при том, что для истолкования ряда случаев можно было бы допустить влияние заимствованного предлога). Эти сомнения коренятся прежде всего в структуре синтаксических функций балт. ik-, которая гораздо шире и сложнее, чем соответствующая структура lìk(i), и поэтому предполагает скорее уж противоположное предлагаемому направление влияния. Далее, ik, ikì применительно к общебалтийскому горизонту как предлог, видимо, не первично[41] и не может объяснить роли этого элемента в функции союза в сложном предложении, где, как правило, участвует служебное слово местоименной природы (зато этот же элемент как Conj. вполне мог бы объяснить происхождение соответствующего Praep., связанное с переносом тех же отношений в приименную сферу и автоматически следующей трансформацией «сокращения»). К тому же, allegro — формы от lig, ligì или likì едва ли дали бы ikì как наиболее естественный результат. Во всяком случае лтш. диал. li, le вм. l*īdz*[42] свидетельствуют о другом, более естественном направлении в упрощении этого предлога; кроме того, ik, ikì как союз не разделяло судьбу проклитик. Наконец, динамика соотношения между ikì и ligì, likì в истории литовских говоров свидетельствует о постепенном вытеснении ikì со стороны ligì, likì[43], что было бы маловероятным при likì > ikì. Поэтому, видимо, целесообразно вернуться к кругу объяснений, выдвинутых Эндзелином и Френкелем, с учетом сказанного выше. В частности, в качестве предварительного этапа заслуживали бы внимания две типологически правдоподобные модели, которые могли бы помочь выявлению структуры прусск. ikai и его соответствий: сочетание двух

местоименных основ или сочетание Praep. с местоименной основой (как в *до-камѣстъ* и под.). В связи с последней возможностью ср. участие Praep. en ʻвʼ в выражении «значение предела» (ср. прусск. ergi en ʻbis inʼ, er en, отчасти empolijgu ʻподобноʼ, в котором сочетаются em- = en- ʻвʼ и lig-, ср. лит. lyg, лтш. *līdz* ʻдоʼ), а также поздние факты употребления вост.-лит. ing ʻвʼ в значении ik(ì) с Dat. Френкель показал[44], что в положении перед задненебными ik произносилось как i (ср. *i/k/ galui metų*. Марцинк[45]) и, следовательно, совпадало с *į* ʻвʼ. По аналогии это i выступало и в других позициях, ср. i dienai ʻiki dienaiʼ. Вместе с тем формы in, ing ʻвʼ приобретают возможность выступать и в случаях типа ing dviem dienom ʻд о двух днейʼ. Нужно думать, что фонетические условия только помогают выявлению этого параллелизма предлогов со значением ʻвʼ и ʻдоʼ (ср. такие соотношения, как *д о вѣка* ʻin aeternumʼ; *аще что есть д о мужа сего...* ʻ*ἐν τῷ ἀνδρί*ʼ, ʻi n viroʼ; *до коихъ... — въ кои...* и т. п.). Прусская фонетическая ситуация, напротив, препятствует принятию такого хода развития. И, тем не менее, соседство этих двух значений (ʻвʼ и ʻдоʼ) в ряде синтаксических конструкций делает, видимо, оправданным обращение к этому кругу фактов, по крайней мере, в связи с вост.-балт. примерами. Однако само по себе это обращение никак не предрешает конечного результата, т. е. установления надежной и, следовательно, достаточно конкретной этимологии балт. ik-. В этой заметке перед автором стояла, впрочем, другая задача: показать, как реконструкция первоначального синтаксического локуса данной формы помогает связать воедино то, что рассматривалось до тех пор как membra disjecta (даже несмотря на фонетическое тождество), и проследить траекторию грамматического и семантического развития от исходной реконструированной формы до ее реально засвидетельствованных и достаточно разнообразных рефлексов.

П р и м е ч а н и я

[1] Ср. Прусский язык. Словарь. Т. 3. М., 1980, s. v. {*kail-}.

[2] Ср.: «Ein itzlicher trincket dem todten zu vnd spricht: k a y l s naussen gingethe, ich trinke dir zu, unser freund». См. W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Rīga, 1936: 257 (далее — LPG).

[3] См. A. Bezzenberger. Miscellen // Beiträge. 2. B., 1878: 138.

[4] См. V. *Mažiulis.* Prūsų kalbos paminklai. Vilnius, 1966: 31.

[5] Ср. в таком случае характерные формулы типа лит. S v e i k i gyvi, mano g e n t y s (Lietuvių tautosaka. Dainos. Raudos. Vilnius, 1964. T. 2. № 485: 458). Разумеется, дальше отстоят такие примеры, как др.-в.-нем. heil uuis thû gebôno follu ʻhave gratia plenaʼ (Tatian 3, 2) и т. п.

[6] Ср.: «vnd wann die malzeit geschehen vnd das tuch auffgehaben, so dancken sie dann deme, der das Jerliche gedechtnis gehalten hat vnd heben an su sauffen k a y l s posskayls eins peranters» (LPG, 258—259).

[7] M. Toeppen. Altpreußische Monatsschrift. 1867. № 4: 137, 139.

[8] См. A. Bezzenberger. Op. cit., 138—139; K. *Būga.* RR. T. 3: 132—133; V. *Mažiulis.* Ten pat, 31; Прусский язык. Словарь. Т. 1. 1975: 94—95 и др.

[9] См. V. Mažiulis. Seniausias baltų rašto paminklas // Baltistica. 1975. T. 11(2): 125—131; здесь же транскрипция: *kails **rīkīs* *tu **n'au *labans *tēvelis / *ik *k(v)ɔ̄itu *pōt* *nik(v)ɔ̄itu *penigan *dɔ̄t. Ср. также S. McCluskey, W. R. Schmalstieg, V. J. Zeps. The Basel Epigram: A New Minor Text in Old Prussian // General Linguistics. 1975. № 15: 159—165; W. R. Schmalstieg. An Old Prussian Grammar. The Pennsylvania State University Press, 1974, вклейка перед титульным листом. К Базельскому тексту предполагается подробнее обратиться в другом месте.

[10] Ср. так наз. *давать здоро́в*, слезливое обращение невесты к отцу в метрической форме, или «здорованье» в свадебном обряде.

[11] Ср.: Item so einer begeret eines mannes tochter, so giebet er sie Ime nicht vergebens… Er mus auch der Braut geloben, einen borten und mantel zu kauffen. Wann sie nu vorsagt ist, So bittet sie Ire freuntschafft frawen vnd Jungfrawen, auff das sie mit Ir wehklagen. Die braut hebet an vnd weinet schentzlichen, darnach spricht sie: o hu hu, wer wirdt nu meinem vaterlin vnd mutterlin Ire betlin machen? Wer wirdt Inen die fuslin waschen? Wer wirdt Inen das vihlin warten? O mein liebes ketzlin hundlin hunerlin genslin Schweinelin pferdlin, wer wirdt euch gut thuen?... (LPG: 253—254).

[12] Похоже, что фигура написана раньше, чем прусский текст, расположение которого как бы подлаживается к этой изогнутой фигуре. Любопытно, что фигура делит весь текст на два «квази-подтекста», которые вполне могут быть осмыслены: «(Твое) здоровье, господин! | если ты хочешь пить» (слева) и «Ты уже нехороший дядюшка, | ты не хочешь денег дать» (справа).

[13] Ср. «Atrodo, kad šios dvi eilutės parašytos hegzametru, nors jo daktiliai bei spondėjai ir gana dirbtiniai: a) pirmoji eilutė — Kayle reky*ſë* thoneaw labonache thewelyſe (arba kiek kitaip) ir b) antroji eilutė — Eg· koyte· poyte· nykoyte· pẽnega doyte· (tik taip). Spėti BPT buvus hegzametrinį norėtųsi, pirmiausia, štai dėl ko: tur būt tik hegzametro sudarymu paaiškintinas balsio (resp. raidės) -e pridėjimas žodžiuose rekyſ-e, thewelyſ-e (čia be pridėtinio -e neišeitų pirmosios eilutės hegzametras, tiksliau sakant, jis būtų beveik ištisai spondėjinis). Tokiu pridėjimu nereikėtų labai stebėtis, atsižvelgiant į tą, kad hegzametrinis BPT yra humoristinio-ironizuojančio pobūdžio darbelis (...), sukurtas, matyt, kažkokio studiozo ir dėl to galintis turėti tam tikrų besimokančio jaunimo kalbos (šiuo atvėju — eiliuotinės) žargoniškumų bei kalamburiškumų». См. V. *Mažiulis.* Seniausias baltų rašto paminklas: 125.

[14] В связи с Базельским текстом уместно напомнить, что в одном средневековом стихотворении, также написанном гекзаметром, обнаруживается так наз. hails goticum.

[15] Ср. в евангельской цитате: kam tu mane apláidai (Daukš. Post. 173, 8).

[16] Ср. близкое по характеру перечисление (родители, скот и т. п.) в свадебном обряде, когда невеста прощается с родительским домом (см. выше — LPG: 254: фрагмент текста).

[17] Ср. в литовских плачах Kám tu mìrei, | Kám tu mìrei... (то же с Ко).

[18] Любопытно, что семантический ореол печали, тоски, скорби характерен для четырехстопного хорея и для поэзии литературного происхождения. Ср. у Майрониса:

Miškas ūžia, verkia, gaudžia;
Vėjas žalią medį laužo;
N u l i ū d i m a s širdį spaudžia,
Lyg kad replėmis ją gniaužo.
…………………………
V e r k i a Lietuva didvyrių:
Jų neprikelia tėvynė.
Kas mums praeitį gražintų,
…………………………
Kas tuos kaulus atgaivintų…
(«Miškas ir lietuvis»)

[19] См. A. Bezzenberger. Op. cit., 138—140. Впрочем, Буга (RR III: 133) реконструирует этот фрагмент в виде *kailəs pō̆s kailəs, где pō̆s = лит. põ, pà, а все выражение соответствует лит. sveĩkas pà sveĩkas. Ср.: V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminklai, 31.

[20] Ср. возможную диссимиляцию: *antrans > *antras.

[21] Ударение ántran(s), конечно, условно.

[22] Выше цитировались многочисленные отрывки, свидетельствующие о том, какое большое место в жизни пруссов занимали возлияния. Количество примеров легко может быть увеличено. Здесь достаточно привести лишь самое раннее (если не считать сообщения Вульфстана: and se cynning and þa ricostan men d r i n c a ð m y r a n m e o l e, and þa unspedigan and þa þeôwan d r i n c a ð m e d o... and ne bið ðaer naenig e a l o gebrowen mid Êstum, ac þaer bið m ê d o g e n ô h. SRP I: 733: Orosius I: 1, § 20) упоминание о «пьянстве» пруссов из Дюсбурга (Chron. Pruss. III, 5): «Non videtur ipsis, quod hospites bene procuraverunt, si non usque ad ebrietatem sumpserunt potum suum. Habent in consuetudine, quod in potationibus suis ad aequales est in immoderatos haustus se obligant, unde contingit, quod singuli domestici hospiti suo certam mensuram potus offerunt sub his pactis, quod postquam ipsi ebiberunt et ipse hospes tantundem evacuet ebibendo et talis oblatio potus totiens reiteratur, quousque hospes cum domesticis, uxor cum marito, filius cum filia omnes inebriantur» (воистину, *ains *per *antrans!).

[23] Во всяком случае, есть все основания думать, что kails! произносилось каждый раз, когда во время свадьбы происходило питье вина или пива. В «Von jren Sponsalien vnd vorlubnissen» об этом говорится не раз (ср.: …So schicket ir der Bräutigam einen wagen vnd wann sie auff die granitze des dorffs kompt, so kompt einer gerant hinter dem wagen, hat In der einen hand einen brand fewer, In der andern e i n e k a n n e b i e r…; Wann sie g e t r u n c k e n, so furet man die braut vmb den herd...; Darnach thut man Ir das tuch von den augen, sitzen zu tisch, essen vnd t r i n c k e n… LPG, 255—256). Ср. здравицы в подобных ситуациях в русской свадьбе.

[24] Об этимологии kails и под. см. подробнее: Прусский язык. Словарь. Т. 3, s. v.

[25] См. É. Benveniste. Vocabulaire des institutions indo-européennes. Paris, 1969. T. 2 : 180—187 и др.

[26] Помимо хорошо известных свидетельств античных писателей, ср., напр., эпиграмму из «Anthologia latina» — Inter elis goticum scapia matzia ia drincan | non audet quisquam dignos educere versus, — где цитируются наиболее частые готские слова (и среди них первое — eils [= hails] и последнее — drincan 'пить', ср. вышеописанную ситуацию у пруссов: К а у l е ... Eg· koyte· р о у t*e*...), из-за которых не отваживаются слагать достойные латинские стихи. В германской языковой и ритуальной традиции равно надежно засвидетельствованы и связь hails и под. с возлияниями, и связь hails и под. с идеей целостности, здоровья, счастья. Ср. готск. hails 'целый', 'здоровый', hailags 'священный', 'святой' (ср. уже hailag на кольце из Пьетроассы или Wodini hailag в другой рунической надписи), hailjan 'лечить', др.-исл. heill, др.-англ. *hāl* (англ. whole, holy, heal), *hœl* 'счастье', 'здоровье', др.-в.-нем. heil, нем. heil, Heil и т. п. См. W. Baetke. Das Heilige im Germanischen. Tübingen, 1942; E. Polomé. Germanic and Regional Indo-European // Indo-European and Indo-Europeans. Philadelphia, 1970: 62—63.

[27] Ср. такие эталоны пьянства, как «пьян, как немец», «пьян, как пруссак», «пьян, как поляк» (но и «пьян, как русский»).

[28] См. *T.* Lehr-Sp*ł*awinski, K. Pola*ń*ski. Słownik etymologiczny języka Drzewian Połabskich. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1962. T. 1: 86.

[29] При таком понимании *целовать* (т. е. говорить что-то вроде 'будь цел!' — подобно *здороваться*, т. е. говорить 'будь здоров!', 'здравствуй!') выступает как делокутивный глагол, произведенный от соответствующей фразы. См. É. Benveniste. Les verbes délocutifs // Studia linguistica et litteraria in honorem L. Spitzer. Bern, 1958. Не исключено, что и прусский мог обладать глаголом такого типа (напр., *kailaut (?) говорить kails! — подобно *dīnkaut* и т. п.).

[30] *Меня предавших в лоб ц е л у ю, | А не предавшего в у с т а,* — по словам Ахматовой.

[31] Ср. также и обычай последнего (смертного) целования в связи с обращением к покойнику *kails & *nouson & *gintele (см. выше).

[32] См. J. Endzelīns // FBR 12. 1932. 1: 171; Senprūšu valodas. Rīgā, 1943. 1: 183.

[33] Следует, естественно, помнить, что на самом деле ikai появляются здесь в связи с попыткой «подстроиться» к нем. ob и wenn.

[34] См. Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1977. Вып. 4: 290; ср. здесь же *докѣмѣстъ*, *докѣмѣста*, *дакѣмѣста* в локальном и временнóм употреблении.

[35] См. Z. Zinkevi*č*ius. Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius, 1966: 431; W. R. Schmalstieg. An Old Prussian Grammar, 14. — Едва ли следует считаться с предлагаемой возможностью трактовки -ai как -*ā*.

[36] W. R. Schmalstieg. Studies in Old Prussian. The Pennsylvania State University Press. 1976: 95.

[37] См. Z. Zink*evičius.* Min. veik., 419; E. Fraenkel. Syntax der litauischen Postpositionen und Präpositionen. Heidelberg. 1920: 232 и др. Другой результат взаимовлияния этих двух предлогов видят в лит. likì, lìki, lìk; см. *И. Эндзелин.* Латышские предлоги. Юрьев, 1905. Т. 1: 77.

[38] См. BB 26. 1901: 166 ff.

[39] Эндзелин отчасти компенсирует эту неполноту, объясняя первую часть прусск. ikai из и.-евр. *is (< **i̯*o-), а вторую часть — той же словообразовательной мо-

делью, что и ст.-слав. **сикъ** при **сь** (т. е. **sī-kъ* : **sĭ*). См. FBR 12. 1932. I: 171; Senprūšu valodas. 1: 183.

[40] См. *О.* Н. *Трубачев.* Этимологические заметки // Donum Balticum. Stockholm. 1970: 544—546 (1. Лит. ikì).

[41] Просвечивающие в балт. ik- относительно-местоименные потенции также склоняют отдать предпочтение скорее союзно-связывающему, нежели предложно-падежному происхождению ik-.

[42] См. *А.* Bielenstein. Lettische Sprache. Berlin, 1863—1864. Bd. 1—2, § 571; *И. Эндзелин.* Латышские предлоги. Т. 1: 76; Id. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951. 1: 660—661; M. Rudzīte. Latviešu dialektologija. Rīgā, 1959. 1: 252 и др.

[43] См. Z. Zinkevičius. Min. veik., 419.

[44] См. E. Fraenkel // LPosn. 3. 1951: 126 ff; ZfslPh. 22. 1953 : 97.

[45] См. A. Doritsch. Beiträge zur litauischen Dialektologie. Tilsit. 1911. S. O. 45, 64, 33; Z. Zinke*vičius.* Min. veik., 419.

1979

К РЕКОНСТРУКЦИИ ПРУССКИХ МЕТРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

После недавней находки т. наз. «Базельского отрывка», представляющего собой гекзаметрическое двустишие шутливого содержания и довольно искусственного характера, сложенное в середине XIV в. в космополитической среде Пражского Университета, уместно поставить вопрос о следах прусской поэтической традиции и о возможности ее реконструкции. Ниже следует несколько примеров такой реконструкции, относящихся к ритуальным клишированным текстам.

В «Warhafftige Beschreibung der Sudawen auff Samland sambt ihren Bockheyligen vnnd Ceremonien» (60-е гг. XVI в.) есть главка «Von den todten», в которой дается описание драматизированной ритуальной сценки питья пива за здоровье умершего: ...Ein itzlicher trincket dem todten zu vnd spricht: kayls naussen gingethe, ich trincke dir zu, unser freund; warumb bist du gestorben? hastu doch dein liebes weib dein vich, deine kuhe? **reimens** [NB! — В. Т.] alles herfür... Указание на рифмованный характер прусских фраз существен не только в связи с известными случаями «стихотворного» использования прусск. kails, но и как средство корректировки реконструкции прусских фраз с помощью некоторых метрических критериев — как в ее данной прусской части (ср. бецценбергеровское *káil/a/s & *nóuson & *gíntele, с условной расстановкой ударения, обеспечивающей, кажется, хореическую схему, ср. гекзаметр Базельского двустишия), так и в части известной лишь по немецкому переводу и подлежащей восстановлению. Нужно полагать, что реконструкция прусского текста, соответствующего указанным немецким фразам, имеет серьезные основания в свою пользу. Все говорит за то, что немецкие фразы содержат не пересказ содержания прусского текста, а именно его точный перевод. Вообще допустимо предположение, что ведущий запись, успев

записать предыдущую короткую трехсловную прусскую фразу (в которой, кстати, он вполне свободно мог выделить kails, легко и естественно сопоставляемое с нем. heil, употребляющимся, в частности, в аналогичной ситуации в немецкой традиции), не успел зафиксировать следующие две прусские фразы, так как они были значительно длиннее первой (видимо, 13 слов). В качестве некоей компенсации записывающий сообщает о с т и х о т в о р н о м (reimens) характере этой части прусского текста. Впрочем, и без этого указания едва ли можно было бы сомневаться, что в данном случае речь идет о наиболее характерном фрагменте п л а ч а (ср.: …auff das sie Inen b e w e i n e n…), имеющем аналогии в самых разных традициях и, в частности, в соседних балтийских и славянских. Ср., с одной стороны, лит. *Ka*m (k*o)* tu (nu)mirei; *O* k*a*m tu palikai | Mane siratel*ę*!; *O* k*a*m gi palikot | Mane ne*ščė*slyv*ą*! и т. п. из плачей по умершим в соответствии с warumb bist du gestorben?; а с другой стороны, в связи с перечислением liebes weib, vich, kuhe — фрагменты плачей, в которых перечисляются жена, дети (иногда родители), скот, оставшиеся без хозяина и защитника. Переводя пословно наиболее естественным образом (к счастью, в разбираемом случае, кажется, нет альтернативных вариантов и, следовательно, проблема выбора не стоит) немецкую фразу warumb bist du gestorben?, получаем с большим вероятием прусский текст типа *kásmu(?) & *assai & *tú & *auláuns? или, скорее, *kásm*a*(?) & *tú & *assái & auláuns? — т. е. правильную строку четырехстопного хорея, где ритмическая схема задается уже просодической структурой первого слова (ср. аналогичные примеры в белорусской или украинской народной словесности, где *чаму́*, соответственно *чому́*, наоборот, задают ямбическую схему). Следующая немецкая фраза (hastu doch dein liebes weib, dein vich, deine kuhe?), вероятно, могла бы отражать — с точностью, оправдывающей эту реконструкцию, — прусскую последовательность типа *túr(i) & *tu & *twájan & *mílan & *génan & *tvájan & **p*éku (*pékan) & *tvájan & *kléntin? — также с (условно) хореической схемой. Таким образом, восстанавливается некий фрагмент прусского ритуального текста, использовавшегося в похоронном обряде и имевшего ритмически организованную форму:

*káil(a)s & *nóuson & *gíntele!
*kásmu(?) & *tú & *assái & *auláuns?
*túr(i) & *tu & *tvájan & *mílan &*génan?
*tvájan & **p*éku (**p*ékan) & *tvájan & *kléntin?

Конечно, этот реконструированный текст нуждается в своего рода постредактировании на разных уровнях (фонетическом, морфологическом, может быть, синтаксическом и лексическом и уж, конечно, просодическом и

ритмическом; любопытно, что семантический ореол печали, тоски, скорби, характерен для четырехстопного хорея и в поэзии литературного происхождения. Ср. у Майрониса «Miškas ir lietuvis»), но и в таком виде он обладает значительной эвристической ценностью. Более того, несовершенство подобной реконструкции не следует преувеличивать: в канонических прусских текстах существует немало фрагментов, степень достоверности которых, определяемая возможностью передачи их в стандартизованной форме, предполагающей однозначную идентификацию всех языковых элементов, никак не превышает достоверность реконструированного отрывка. Сам же реконструированный текст получает известное оправдание в том, что он обнаруживает ряд существенных признаков своей организации, которые никак не были запрограммированы самой реконструкцией (ритмическая форма, звуковая организация и т. п.), и, следовательно, получает в свою поддержку ряд аналогий в близких традициях. Особое значение имеет, конечно, и то, что реконструированный текст является не только текстом прусского языка, но и прусской культуры. В этом смысле он глубже и органичнее укоренен в прусской модели мира, чем известные нам тексты прусских Катехизисов, обязанные своим происхождением иным культурным традициям.

Наконец, еще один случай ритуального употребления kail- — ежегодные поминки, описываемые там же («Von jerlichem gedechtnis»): ...so dancken sie dann deme, der das Jerliche gedechtnis gehalten hat vnd heben an zu sauffen kayls posskayls ein peranters vnd sinǵen Ire ǵesenǵe bis sie nicht mehr auf Iren fussen können stehen... Первая половина прусской фразы реконструируется как *kails! — *pats & *kails (собств. *kails/*tu/*pats) и рассматривается как отражение элементарного обмена приветствиями типа: *будь здоров! — и ты сам будь здоров!* (или: *и тебе того же*...). Беценбергер идет, однако, еще дальше и считает, что в указанном месте имеется в виду не этот обмен приветствиями, а обычай предварительного возлияния (kails — der Brauch des Vortrinkens) и связанный с ним обычай последующего возлияния или соответствующего ему прихода (pats kails — der Brauch des Nachtrinkens, des Nachkommens). В таком случае объясняются и несколько неясные слова из Данцигской рукописи «das Vortrinken und das Nachtrinken ist verwerflich und nur da gilt es für tugendhaft, wo das Laster, nehmlich das Saufen, für ehrenvoll gilt». Если это, действительно, так, то poskeiles у Грунау стоит вместо kails pats kails, являющегося итоговым обозначением акта «des Vor- und Nachtrinkens (-kommens)». Вторая половина прусской фразы также отсылает к прусскому застольному обычаю, который, по мнению Беценбергера, состоял в том, что kails — pats kails, das «Vor- und Nachkommen», происходил между двумя партиями (группами) участников, одна из которых состояла из одного, а другая из нескольких (или многих) членов. При этом пили «einer gegen me-

hrere andere», oder «der eine die anderen entlang». Отсюда и предлагаемая Бецценбергером реконструкция — *ains par antros (Acc Pl.), которая, впрочем, позволяет просто объяснить эту процедуру — как питье друг за друга, одного за других и т. п. без того, чтобы непременно принимать предложенное Бецценбергером членение застольной компании. Тем более, разумеется, нет необходимости принимать фонетическую сторону бецценбергеровской реконструкции этой части фразы, как, впрочем, и пытаться соотнести явно испорченные записи с наиболее правдоподобным вариантом — *ains & *per *antrans (или: *antran. Sg.). При всей спорности ряда элементов в этой реконструкции достаточно правдоподобно, что и эта застольная форма была ритмически упорядоченной. Ср., напр.: * káils! & *pats & *káils! *áins & *per & *ántran(s), воплощающее ту же схему четырехстопного хорея (с четырьмя ударными *a*). Очень показательно, что все примеры прусск. kails, рассмотренные выше, относятся к одной и той же ситуации — здравица в связи с питьем вина («выпивка»), которое само по себе может входить в разные обряды — похоронная церемония, годовщина смерти (поминки), видимо, свадебные церемонии, десакрализованные пирушки (типа студенческих) и т. п. Особая роль возлияний (сопровождавшихся у пруссов здравицей kails!) может объясняться двумя факторами: во-п е р в ы х, продолжением старой индоевропейской традиции (именно о ней, видимо, и сообщает Вульфстан), согласно которой ц е л о с т н о с т ь (и.-евр. *kai-l*o*-, *kai-lu-; вопреки мнению старых исследователей прусское слово не может считаться теперь германизмом, ср. kail-*ū*st-isk-un ‘здоровье’ и многочисленные славянские образования от *c*ě̌*l-, исключающие предположение о заимствовании) была связана с особой сакральной витальностью, единством, воплощающими божественную силу и не подверженными табу (как другие виды сакрального), при том, что целостность нуждается в некиих актах — реальных и символических, — которые ее поддерживают, возобновляют, увеличивают (возлияния, в частности, и принадлежали к числу этих актов, равно реальных и символических); и, во-в т о р ы х, особым влиянием германской традиции возлияний, так поразившей еще античный мир и устойчиво сохранявшейся и оказывавшей определенное влияние и в рассматриваемом ареале. В частности, это влияние могло отразиться и в ритуальном узусе соответствующих слов. Конечно, не случайно, что модель hails goticum (нем. heil и т. п.) с сохранением этимологически тождественного слова отмечена не только в прусском, но и в полабском (кажется, единственном из всех славянских языков). Ср. полаб. *ć*ol; Tsiõl ‘A votre santé’ (Pfeffinger), Tsioól (Eccard), Thiol ‘Eure Gesundheit’ (Vocabul. Vandal.), Tsiol (Domeier) , Zoolte ‘Willkommen’ (Baucoeur’) — из *cól-te < *..ti, может быть, под влиянием нем. heil dir, как думал Ф. Шпехт (см.: KZ. 64. 1937. 17). Очень возможно, что подобная конструкция существовала и в

прусском — kails & *tebei! Собственно, лишь она вполне удовлетворительно объясняла бы ответ *pats & *kails! ‘сам (будь) здоров!’ Впрочем, в таких предположениях, основанных на аргументах типологического и особенно ареального характера, можно пойти и еще дальше. Так, уместно поставить вопрос о возможности использования прусск. kails, в качестве приветствия при встрече по образцу нем. heil! (ср. готск. hails как эквивалент χαῖρε! или др.-англ. wes hāl!, англ. wassail и т. п.). Целование при встрече (и расставании, как, впрочем, и в пьяном состоянии) в славянской (прежде всего в русской) традиции, учитывая связь *cě̆l-ovati с **cě̆lъ*, должно рассматриваться как побочный аргумент в пользу предположения, согласно которому и в ритуальном поведении славян использовалось слово с корнем **cě̆*l- (*koi-l-), обозначавшее приветствие, метонимически закодированное как целование (ср. ст.-сл. **цѣловати** ‘приветствовать’, др.-русск. *цѣловати* ‘приветствовать’, ‘благодарить’ и т. п.), т. е. подчеркивание целостности-цельности, восстановление и умножение ее, состояние высшего здоровья (ср., с одной стороны, *будь здоров*!, с другой, — *цели́ть*, *ис-целя́ть* и т. д.). Кстати, в связи с этой темой следует напомнить уже цитировавшийся отрывок, точнее, ту его часть, которая непосредственно следует за kayls posskayls: «vnd welches weib dem manne zutrinckt, nach dem trunck stehet sie auff, reichet dem manne die schalen, giebt ime die hand vnd kusset Inen vor den mund. So thut auch widerumb der mann der frawen», т. е. возлияние, протягивание руки (ср. обычай здороваться за руку) и поцелуй как единая потенциально сфера, обозначающаяся прусским kail-.

1979

VILNIUS, WILNO, *ВИЛЬНА*: ГОРОД И МИФ

К 400-летию университета
в Вильнюсе

Можно предполагать, что основная и наиболее общая идея того периода, который сейчас принято называть неолитической революцией, заключалась не в смене общественно-экономических форм существования (переход от присваивающего хозяйства к промысловому, т. е. от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию), а в попытке выхода из рамок космологического природного бытия, определяемого некими вне человека и человеческого общества находящимися сущностями, в новый способ существования, в котором инициативу и ответственность за свое будущее брал на себя сам человек: «Man makes himself», по слову Чайлда [1]. Этот шаг требовал исключительной отваги и был связан с величайшим риском, поскольку, оставляя космологическое бытие, человек еще не вступал в бытие историческое, которое обеспечивало бы его новыми гарантиями, перспективами и стимулами. Диалогу между Я и Ты [2] грозил обрыв. Человек, выходя из состояния прежней укрытости, защищенности и надежности, лишался партнера в диалоге, с которым привык соотносить себя, и вступал в terra incognita, в состояние неопределенности, неуверенности, незащищенности, обреченности и падшести, с точки зрения космологической эпохи. В этом новом состоянии все строилось на вызове, бросаемом судьбе, на некоем зыбком и динамическом равновесии между силами добра и зла, между Небом и Преисподней, на идее связи между ними. Это средостение имело свой образ, возникший именно в эту эпоху, — мировое дерево. Много позже поэт точно опишет суть и смысл сделанного человечеством выбора:

Покорны солнечным лучам,
Там сходят корни в глубь могилы
И там у смерти ищут силы
Бежать навстречу вешним дням.

Основным результатом этого неолитического переворота было, по всей вероятности, создание г о р о д а («предгорода»)[3] и осознание самой идеи городского поселения феномена города. Именно в этом типе человеческой организации конфликт с прежними условиями и принципами существования принял наиболее острые и трагические формы. Впервые человек избирает тот парадоксальный, как бы против самого себя направленный способ бытия, когда он не пашет и не пасет, но, оторвавшись от природы (естественно-природного), может создавать богатство и новые условия своей жизни из н и ч е г о, даром (по крайней мере, с космологической точки зрения), т. е. из самого себя, по своей воле (своеволие как нарушение космологического закона), по своим желаниям и потребностям (отсюда мотив эгоистичности города) с помощью ремесла, обмена, торговли[4] — впервые без санкции природы и космических сил, на смену которым, их оттесняя, строится, уплотняется и усложняется духовный покров жизни — н о о с ф е р а и такие ее проявления, как «персонализация», становление личности, дискурсивно-логическое мышление, быстрое увеличение различных знаковых систем, соотносимых друг с другом, новые формы одухотворенности («психизм»), — нравственность, исходящая из духовных начал, и т. п. (ср. идеи В. И. Вернадского и П. Тейяр де Шардена). Человек как «острие стрелы эволюции» находит в феномене города наиболее адекватную форму своего существования в развивающемся и меняющемся мире[5]; он надолго связывает с городом (и только с ним) идею прогресса, процветания, благополучия, шанса как такового, хотя пр́оклятость и трагедийность города, специально его падшесть и развращенность[6], бездны, в нем раскрывающиеся, и небесные кары, его ожидающие в эсхатологических концепциях, почти всегда укоренены в самой внутренней сути города, в его структуре. И чем больше, богаче и многославнее город, тем страшнее его судьба в урбанистических откровениях с древних времен и до наших дней (ср. тему Вавилона, Рима, Константинополя, Петербурга и даже противопоставляемой всем им Москвы как исключения из правила). Достаточно лишь обозначить некоторые вехи этого взгляда. Ср., с о д н о й стороны, апокалиптическую тему грешного города и свершающегося над ним возмездия: «подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле…; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с с е м ь ю г о л о в а м и с десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена зо-

лотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, В а в и л о н великий, мать блудницам и мерзостям земным… Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель[7]… С е м ь г о л о в суть с е м ь г о р[8], на которых сидит жена, и с е м ь ц а р е й… Жена же, которую ты видел, есть в е л и к и й г о р о д, царствующий над земными царями … И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу … И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой … ибо в один час погибло такое богатство … И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И один сильный Ангел взял камень … и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И гóлоса играющих на гуслях, и поющих и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» (17—18). — И с д р у г о й стороны, уже в начале нашего века:

> Denn, Herr, die großen Städte sind
> verlorene und aufgelöste;
> wie Flucht vor Flammen ist die größte, —
> und ist kein Trost, daß er sie tröste,
> und ihre kleine Zeit verrinnt…
>
> (R. M. Rilke. Das Buch von der Armut und vom Tode, 1903)

Эти кары, обрушивающиеся на город, суть зримые образы возмездия за разрыв с природой, за своего рода фаустовскую сделку с *иным* царством, за кровь и убийство, легшие в основание города[9], за беспредельное отклонение от другого града, уже не земного[10]. Но этим отрицательным аспектом не ограничивается смысл города. Наряду с процессом отчуждения от природного и духовного, их овеществлением и омертвением, «падением», возрастанием непрямых модусов отношения к миру (ирония, скепсис, «остроумие», категория «интересного» и т. п.), происходит обратный ему процесс развеществления, освобождения от материального наличествования, процесс одухотворения и антропоморфизации элементов вещного мира. Применительно к

теме города этот положительный аспект находит свое отражение в появлении интереса к тому, что раньше было лишь непременным условием городской жизни, ее не имеющей знаковой функции рамкой. Помещения внутри дома (комната, лестница, дверь, порог), сам дом и то, что вне дома (двор, улица, переулок, площадь), не только начинают привлекать внимание создателей большой литературы (Бальзак, Диккенс, Достоевский и др.)[11]; согретые теплом человеческого отношения, они (элементы города) начинают соотноситься и соразмеряться с самим человеком[12], возвращая ему полученное ими тепло. Впервые появляется не только интерес к городу, но и индивидуальное отношение к нему и дифференцированный и индивидуализированный подход к разным частям города[13], приводящий к семантизации этих различающихся частей, к усиленному «вживанию» новых смыслов и созданию более высокого уровня одухотворенности, к появлению мифологии города. В этих условиях античный Genius loci принимает облик Genius urbis или Spiritus urbis. Этим и предопределяется «власть места» (в городе), его магическая сила, порождающая со второй половины XIX в. тот «топографический энтузиазм», о котором писали Вернон Ли и ее соотечественники. Именно это чувство гонит человека в хаос городских вавилонов, где он ищет и часто находит возмещение духовных недостач и — более того — иногда переживает моменты высшего духовного просветления[14]. Откровения являются уже не при раскатах грома и не при свете Фаворском. И сама идея бессмертия, оторвавшаяся от своих природно-вегетативных источников и форм воплощения, начинает находить свое выражение в городе. Острое сознание трагического аспекта города уже само по себе определяет его высокую устремленность и внутреннюю направленность на благо. Город ведет человека и обучает его самому себе. Поэтому исследователь города, как и социолог и архитектор, не может пройти мимо психотерапевтической функции города[15].

Эти общие рассуждения в известной мере определяют тот контекст, в который укладывается тема этой статьи и некоторых других, соотнесенных с данной и посвященных мифам об основании великих городов[16]. Предполагается, что в совокупности эти статьи образуют цикл, объединенный не только общей темой, но и одной исходной идеей, истоки которой определяются особенностями мифопоэтического сознания в преддверии его кризиса.

* * *

С Вильнюсом в целом, как и с отдельными его урочищами, святилищами и иными зданиями, устойчиво связываются многочисленные мифы и легенды[17]. Их появлению и сохранению во времени благоприятствуют и способствуют не только некоторые выдающиеся особенности топографии го-

рода и структура того механизма, который закрепляет и перерабатывает эти особенности на семиотическом уровне, но и густота и сложность того духовного слоя, связывающего город с человеком, о котором говорилось выше. В этой ситуации сам город открывается навстречу любой мифопоэтизирующей интенции, и создается впечатление, что сам город генерирует свои мифы и легенды [18], которые даже при попытках их опровержения (как, напр., в случае виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия или четырнадцати францисканских монахов, принявших мученическую смерть при Ольгерде) не теряют своего семиотического значения. При скудости собственно исторических свидетельств о ранней истории Вильнюса (во всяком случае, при постоянной, можно оказать, принципиальной недостаточности верифицируемых исторических фактов), при многочисленных в истории города случаях пространственных переносов наименований и/или стоящих за ними реалий, при временны́х поворотах (своего рода ситуационные рифмы в историческом пространстве [19]) и т. д. — мифы и легенды о Вильнюсе приобретают некий особый, промежуточный статут, при котором мифологизированная история почти не отличима от историфицированной мифологии. В этих условиях все мифологическое апеллирует к опыту исторических осмыслений, а все историческое охотно ложится в рамки мифологических структур. Так складывается некое целое, которое едино, несмотря на то, что оно отдано во власть двум разнонаправленным силам, по крайней мере в том, что касается мотивировок исторических событий. Сказанное относится не только к «первоначальной» эпохе, времени основания Вильнюса, первых государственных объединений на территории Литвы, первых князей. Разнонаправленность историко-политических тенденций ранней польской историографии, русского и литовского (или литовско-русского) летописания в том, что касается указанных тем, несомненна; более того, история литовско-русского летописания позволяет, иногда от текста к тексту, вскрыть конкретные причины и стимулы соответствующих переработок летописных текстов (или отдельных диагностических их частей), восходящих в принципе к общему (или даже единому) источнику [20]. Не менее интересно, что тот же дух витает над темой Вильнюса уже в другой, научно-исторической традиции (ср. труды Т. Чацкого, М. Балинского, Т. Нарбута, Ю. И. Крашевского и др.) [21], порождающей свои мифы и легенды с тем, чтобы позже и они стали предметом разоблачения или критики [22]. Наконец, здесь же уместно сказать еще об одном обстоятельстве, ставящем историю Вильнюса (а отчасти и Литвы) в особые условия. Наличие в самом Вильнюсе уже с первой половины XIV в., когда его имя впервые надежно свидетельствуется источниками, разных культурно-языковых элементов (литовского и славянского, позже — еврейского) [23], как и исторические перипетии, выпавшие на долю Литвы, то чрезвычайно расширявшей свои го-

сударственные границы, то, напротив, поглощавшейся другими государственными образованиями, — определили известную независимость и даже некоторую обоснованность р а з н ы х точек зрения в связи с одной и той же исторической реальностью. Если русские летописи помещают в «Список городов русских»[24] Вильно, Ковно, Троки, Кернов, Крево, Вилькомирье, Моишиогалу, Мединики и т. п., то для Гедимина или Витовта литовскими городами были и Полоцк, и Минск, и Смоленск, и Туров, и Чернигов, и Киев[25]. Эта двоякая включенность многих городов этого ареала, в частности и Вильнюса, подтверждаемая время от времени совершенно реальными историческими событиями, создавала дополнительные условия для «удвоения» исторических фактов и их интерпретации, актуализируя их условность, некоторую неопределенность, мифологичность[26].

В этой статье предстоит коснуться некоторых вопросов, связанных с ранними версиями возникновения Вильнюса, все время помня ту специфику источников, о которой говорилось выше.

I

Памятники, в которых содержатся ранние версии легенд об основании Вильнюса, относятся в основном к XVI и даже к XVII вв., и лишь очень немногое может быть почерпнуто из текстов конца XV в.[27]. Само же название города появляется существенно раньше. Первое надежное упоминание Вильнюса содержится в послании Гедимина от 25 января 1323 г. гражданам Любека, Штральзунда, Бремена, Магдебурга, Кельна (ср. характерное добавление в связи с римской темой: Colloniensi, ceteris vero vsque R o m a m …): …vnam de ordine predicatorum sciatis nos infra duos annos erectam in c i u i t a t e n o s t r a V i l n a de nouo. Quas vero de ordine minorum vnam in V i l n a c i u i t a t e n o s t r a predicta, aliam in Noggardis … Datum in c i u i t a t e n o s t r a V i l n a…[28]. Упоминаемый пятикратно в «Cronica Terrae Prussiae» Дюсбурга между 1305 и 1330 гг. *c*astrum Gedemini (Jedemi*ne*)[29], несмотря на попытки Фойгта, Карамзина и других связать его с Вильнюсом, не может быть отождествлен с замком Гедимина в Вильнюсе, так как речь идет о «territorium Lethowie dictum Pograudam» в Жемайтии (SRP I, 170). Даже описания «De combustione suburbii de castro Gedemini» (22 мая 1324 г.) и «De exustione castri Jedemini et suburbii» (1330 г.) относятся не к вильнюсскому замку Гедимина. Что касается более ранних упоминаний названия города, то они в высшей степени ненадежны или даже являются плодом той мифологизирующей тенденции, о которой говорилось выше. В Воскресенской летописи (первая половина XVI в.) название города упоминается в записи под 1129 г. (6637 г.),

в рассказе о происхождении Миндовга и его водворении в литовской земле: Миндовг был сыном Мовколда, первого князя Вильнюса; сам Мовколд был сыном Ростислава Рогволодовича, полоцкого князя, бежавшего после захвата Полоцка Мстиславом Владимировичем в Царьград; жители Вильнюса, не желая платить дань угорскому королю, пригласили детей Ростислава Рогволодовича в свой город (ПСРЛ XVII, 164—165, ср. 253). Это место из Воскресенской летописи соответствует «Началу государеи Литовскихъ» (ПСРЛ XVII, 593, по списку XVI в. Румянц. музея № 348), «Предословию о великихъ князехъ Литовскихъ, откуду они пошли…» (ПСРЛ XVII, 601, по списку XVI в. Румянц. музея № 349), «Родословию великіхъ князеи Литовскихъ» (ПСРЛ XVII, 613, по рукописи Археогр. ком. XVIII в. № 40)[30]. Ср.: В лѣто 6637. Прииде на Полотцкие князи на Рогволодовичи князь великии Мстиславъ Володімеровичь Монамашь и Полотецкъ взялъ, а Рогволодовичи забежали в Царьградъ. Литва в ту пору дань дааше княземъ Полотцкимъ, а владома своіми гедманы, а городы Літовские тогда, іже суть ныне за кралемъ, обладаны князми Киевскими, іные Черниговскими, іные Смоленскими, іные Полотцкими. І оттоле В і л ь н а[31] приложися дань даяти королю Угорскому застрахованье великого князя Мстислава Володимеровича, і В и л ь н я н е взяша собѣ іс Царяграда князя Полотцкого Ростислава Рогволодовича детей: Давила князя да брата его Мовколда князя. І тои на В и л ь н е первыі князь Давилъ, братъ Мовколдовъ большоі … А у Мовколда князя сын Миндовгъ[32] (ПСРЛ XVII, 593). Явная хронологическая путаница в этом месте Воскресенской летописи и в других сходных источниках (так, Миндовг отнесен к XII, а не к XIII в.) и многие другие противоречия, как и поздняя дата составления этих источников, не позволяют считать это упоминание Вильнюса надежным[33]. Явно вторично-мифологическим по своему характеру следует считать упоминание Вильнюса и Тракай в виде Velni и Tryk у Снорре Стурлусона («Хеймскрингла»), о чем писал Т. Чацкий, а вслед за ним в течение многих десятилетий почти все историки Вильнюса[34]. Однако ни Velni, ни *Tryk* нет в «Хеймскрингле». Точно так же не спасает положения и ссылка на имена двух братьев Одина в саге об Инглингах — Ve и Vili[35]. Более сложную ситуацию содержит стих 78 из так называемого «Каталога народов», входящего в состав одного из ранних памятников англосаксонской литературы «Widsith» (‘многостранствующий’, по первому слову текста). Среди стран, городов и народов, с которыми будто бы познакомился автор, упоминаются:

75. Med Sercingum ic wæs ond mid Seringum.
Mid Creacum ic wæs ond mid Finnum ond mid Casere, se Þe winburga geweald ahte,
76. W i o l e n a ond v i l n a ond Wala rices[36].

Иногда wiolena ond wilna понимаются в литературе, посвященной Вильнюсу, как обозначение Велюоны и Вильнюса (Veliuona и Vilnius) [37]. Действительно, оба этих замка, видимо, были старым наследием великих князей литовских: первый — в Жемайтии [38], второй — в Аукштайтии. Однако указанная строка 78, как и весь окружающий ее текст, весьма далека от ясности. Достаточно напомнить, что wiolena ond wilna, начиная с Я. Гримма, многие считают апеллятивами (Kemble, Ettmüller, Müllenhoff, Rieger, Wülcker, Grein, Kluge, Holthausen и др.). Правда, уже Лео предложил рассматривать эти слова как племенные обозначения и переводил строку 78 как «Der Walchen und Walchinnen und des Walchenreiches» [39], но уже сам этот перевод, как и ряд других, предлагавшихся позднее, утверждает в мнении, что трактовка wiolena ond wilna как ʽВелюона и Вильнюсʼ не более чем одна из возможностей среди многих других [40].

Если оставить в стороне сомнительные случаи употребления названия Вильнюса, то оказывается, что наиболее ранние из надежных примеров позволяют восстановить в качестве исходной формы названия города *Vilna, за которой могут скрываться и [*Vilna] и [*Viln'a]. Следовательно, раннее название города совпадает с названием реки Vilnia, ср. такие названия реки (или озера) и города одновременно, как *Akmẽnė*, Alvìtas, Dysnà, Galšià, Lamẽstas, Lydà, Nóva, Pelesà, Širvintà, Šventupis, Upýna, Ventà, Vìšakis и т. п. [41]. Факт совпадения названий реки и города в рассматриваемом случае не является новостью; то же можно сказать и о языковом осознании этого совпадения уже на заре истории этого города. Напротив, существенным и, видимо, нетривиальным нужно считать указание на то, что такое нулевое словообразование (река → город) является, во-первых, наиболее д р е в н и м способом внутритопонимического (и — шире — внутриономастического) словопроизводства и, во-вторых, характерным именно для м и ф о п о э т и ч е с к и х моделей называния, отражающих известную нерасчлененность производного и производящего и — что в данном случае важнее — места (locus) и деятеля, связанного с этим местом, обычно создающего это место (Genius loci) [42]. Оба этих вывода имеют непосредственное отношение к дальнейшему. Нужно заметить, что и другие названия, встречающиеся в ранних версиях легенд о происхождении Вильнюса, указывают на тот же мифопоэтический контекст, который уже забрезжил в связи с названием города и реки, протекающей в нем.

* * *

Ниже будут частично рассмотрены два круга легенд, связанных с предысторией Вильнюса (цикл Швинторога) и с его основанием (цикл Гедимина).

Характерные образцы версий «швинтороговского» цикла можно найти в западнорусских летописях и в «Хронике» М. Стрыйковского. В западнорусских летописях четырежды излагается полный вариант истории Швинторога/Свинторога[43]. В качестве образца можно привести версию списка Археологического общества с указанием некоторых существенных отклонений в других списках.

О кнжати Литовском Швинторозе сне Оутенусовѣ[1]

По смрти Ринкголтовѣ жалуючи гсдрѧ своего прирожоного і оузѧли собе гсдрем кнзѧ Литовскаго і Жомоитского сна Оутенусова. с Китаврасу Швинтрогамло[2] кнживши Швинтрогу на Новегородцы і на Руских городех. і отец его кнзь великіи Литовскїи і Жомоитскии Оутенус оумре і снъ ег Швинторог по смрти оца своего начнет кнѧжити на великом кнжестве Литовском і Жомоитском и Новгородском і Руском. и оуродил Швинторог сна Кгирмонта[3]. і оберет великии кнѧз Швинторог месцо на пущи велми хорошо подле реки Вели где река Вилнѧ оупадывает оу Велю. і просил сна своего Скирмонта, абы на том месцы было жглищо оучинено[4] где бы его мертвого сожгли. і приказал сну своему абы по смрти его на том месцы где бы ег зжог і всих кнзеи Литовских і знаменитых боѧр сожено было, і што бы вжо нигде инде телеса мртвых не были сожены толко там бо и перед тым жыгали тела мртвых на том месцы, хто где оумрет. і приказавши тыи слова сну своему Скирмонту, великий кнзь Швинтор и оумре.

О великом кнзе Скирмонте[5].

Великий кнзь Скирмонтъ[6] зостал по оцы своем на великом кнзьстве Литовском і Жомоитском, і Руском. і подлуг оца своего приказаню, на том месцы на оусти реки Вилни, где оу Велю оупадывает. вчинил жглищо і там же тѣло оца своего сожег. і конѧ ег на котором еждивал і шату его которую ношивал и хорта его зъжог[7]. і от тых часов прозвано Швинторогоро[8], і на имѧ того великого кнзѧ. і коли которого великого кнѧзѧ Литовского албо пана сожжоно тело, тогды при них кладывали когти[9] рыси або медвежи длѧ того иж веру тую мели иж судный днь мел быти і так знаменали собе иж бы Бгъ мел приити і седети на горѣ высокои, і судити живым і мертвым, на которую будет гору трудно взыити без тых ногтей[9] рысих. або медвежих, і длѧ того тыи ногти[9] подле тых кладывали, на которых мели на тую гору лезти. і на суд до Бга ити а так ачколвек поганыи были а вжиж потом собе знаменали і в Бга одного вѣрили иж судный днь мел быти, і вѣрили з мертвых востаню. і одного Бга которыи мает судити живым и мертвым.

Примечания. [1] Крас.: заглавия нет. [2] Так в ркп.; Крас., Евр.: *Швинторога*, Рач.: *Швинъторога.* [3] Крас., Рум.: *Скирмонта*, Рач.: *Скирымонта*, Евр.: *Кгомонта* (!) (далее — *Кгирментъ, Кгирмонтъ*). [4] Крас.: *и обрет собѣ великїи кнзь Швинторог. мѣстце на поущи велми хорошо подле реки Вели где река Вилнѧ оу Велю впадываеть и просил сна своего* (*С*)*кгирмонта абы на том мѣстци жьглищще было вчинено…*; Рач.: *и оберет собѣ великии кнѧз Швинъторогъ мѣстцо на поущы велми хорошо подле реки Вельи где река Вилнѧ упадывает у Велю, и просил сына своего Скирымонта абы на том местцу было жъглищо вчынено…*; Евр.: *изобрал собе велики*і *кнзь Швинторог мѣстеицо на лѣсу велми хорошо подлѣ рѣки Вельи гдѣ рѣка Вилна в Велю впадываетъ и молил сна своего Кгирмента дабы на том мѣсте было жилище учинено* (*жилище* — так! вм. *жъглище* в других списках; далее в Евр.: *жгоiще*!). [5] Крас.: заглавия нет. [6] Крас.: *и снъ его Кгирмонтъ*; Рач.: *Скирымонт*; Евр.: *Кгирмонтъ.* [7] Крас.: *и там тѣло оца своего и конѧ его на котором ежчивал и шату его которую нoшивалъ и милосника его на которог он ласкав был. и сокола и хорта его сожог.* Тот же состав в Рач. и Евр. [8] Крас., Рач.: *Швинторога на* шмѧ, Евр.: *Швинторога во имѧ*; Арх. *Швинторогоро* (!) — в ркп. [9] Крас.: *ногъти* (*ногтеи*); Рач.: *ногъти* (*ногътеи*); Евр.: *ногти* (*ногтеи*).

Germont Swintorogowicz, wielki xiądz litewskx, ruski i żmodzki, roku 1271[44].

Ciermont jeszc e za żywota ojcowskiego, będąc na wielkie xięstwo Litewskie, Ruskie i Żmódzkie, spólnym wszech stanów zezwolenim wybrany, po śmierci zaś ojcowskiej, roku 1272, w Kiernowie był na stolicę w czapce xiążęcej podnoszony, według obyczaja zdawna zwykłego, i od przodków podanego. Potym czyniąc dosić roskazaniu, i wolej ojcowskiej, uczynił i założył wielkie zhlisce między górami, na tym miejscu gdzie Wilna rzeka do Wiliej wpada, lassy wszystki okoliczne kazał wysiec, a uprzątnąwszy plac szeroki, poświęcił ono miejsce, z worozbitami swoimi, obyczajem pogańskim, nabiwszy bydła rozmaitego bogom swoim na ofiarę; tamże naprzód ciało ojca swego Swintoroga Utenusowica, według zwyczaju spalił, ubrawszy go w zbroję i w szaty jego co nadroższe, i szablę, sajdak, włocznią, chartów z wyżłami po parze, jastręba, sokoła i konia żywo nego, na którym sam jezdzywał, i sługę albo kochanka jego, najwierniejszego i naimilszego, żywego z nim pospołu spalili, złożywszy wielki stos drzew dębowych i sosnowych; rysie zaś i niedźwiedzie paznogcie, panowie i bojarowie około stojąc w ogoń miotali, dla tego, iż wierzyli o dniu sądnim, na który umarli wszyscy znowu do żywota przywróceni mieli stanąc, a iż bóg jeden jakiś (ktorego nie znali, tylko o nim tak wierzyli) wszechmocny i nad wszystkie insze bogi największy, miał wszystkich

ludzi dobre i złe sprawy sądzić, siedząc na górze wysokiej i przykrej, na którą górę trudno wierzyli wleść bez paznogci rysich albo niedźwiedzich. Ale się o tym wyższej dosic szeroko powiedziało, w opisaniu rozmaitych bałwochwalstw Ruskich, Polskich i Litewskich. Tym tedy spossobem Swintoroha, ojca wielkiego xiędza Litewskiego, Germont syn, na on świat odprawił przez ogień, a kości zebrawszy, w trunę włożono zaspuntowaną, a potym na tym miejscu wyniosłą mogiłę usypano.

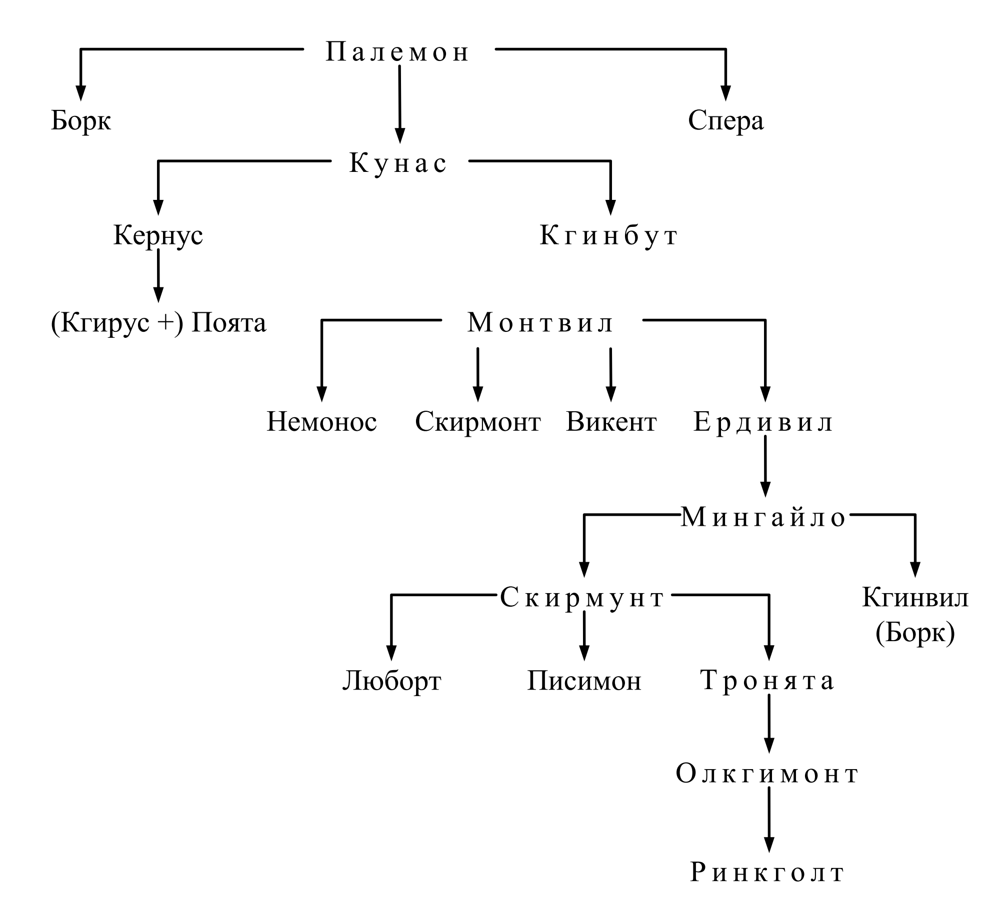
A ten kształt i obyczaj palenia trupów miasto pogrzebu, znać iż Litwa miała podany od Palemona albo Libona i od inszych w ty strony zaniesionych Rzymian, którzy także trupy umarłych zwykli byli palić. Rzymianie zaś i inszy Włoszy, ten obyczaj od Eneassa Trojańskiego wzięty, zachowywali. Bo i Trojanie i wszyscy Grekowie, trupy zawżdy palili. (Aen. 6 & c: Itur in antiquam sylvam stabula alba ferarum…) … Так też i Litwa przykładem inszych narodów pogańskich, xiążętom swoim pogrzeby przez ogień na tym miejscu, gdzie Wilna w Wilją wpada, i gdzie naprzód Swintoroha spalili, odprawowali; pany zacniejsze tamże palili, aż do czassow Jagełowych, a zwali to miejsce Swintoroha imieniem xiążęcia swojego, na nim naprzód spalonego. A iżby ony zliska tym więtszej wagi i swiatobliwości były, ustawił na tym miejscu i fundował xiążę Giermont kapłany i worozbity, którzyby modły i ofiary bogom oprawowali. Ogień też wieczny z dębowych drew na tych zgliskach zawżdy we dnie i w nocy gorzał, na chwałę Perkunowi bogowi, który gromami, łyskawicami i ogniem władał. A jeśliby za niedbalstem kapłanów, albo sług na ten urząd wystawionych, ogień kiedy zgasł, tedy takowi bez żadnego miłosierdzia jako świetokrajcy, bywali ogniem paleni, jako się o tym wyższej posiedziało, w opisaniu bogów Litewskich pogańskich…

Исключительная роль предания о Швинтороге объясняется тем, что именно оно служит важнейшим с в я з у ю щ и м з в е н о м между мифологизированной историей Литвы и ее князей, потомков Палемона, и «предысторией», уже оторвавшейся от легендарных персонажей (собственно, на этом этапе впервые выступают князья с бесспорно л и т о в с к и м и именами, хотя историчность этих князей еще отнюдь не бесспорна); между повествованием о землях к западу от Вильнюса и рассказом о «первом» прецеденте, имевшем место на мысе, образуемом впадением Вильны в Вилию, где позже и в значительной степени именно в силу этого «первого» прецедента возник Вильнюс; между баснословной и, видимо, старой («варварской», «чужой») традицией и новой «своей» культурной традицией, установленной именно на месте Вильнюса в связи со смертью Швинторога (трупосожжение) и сознаваемой как характерный признак этнокультурного (и, возможно, даже предгосударственного) единства данной области.

В самом деле, после смерти последнего князя из рода Палемона[45] Рингольта (*Ринкголтъ*, *Рынкголъть*, *Рынкголтъ*, *Рынгольть*, Rinkolt, Ryngolt) кня-

зем Литовским и Жемайтским был избран Швинторог: И пановѣ жалуючи гсдрѧ своего прироженог. и взѧли собѣ гсдрем сна великог кнзѧ Литовског и Жомоитског Оутенусова с Китоврасу. Ш в и н т о р о г а. Крас. (ПСРЛ XVII, 235).

Основная родословная схема от Палемона до Ринголта, по данным западнорусских летописей, заполняется обычно следующим образом:



В тех же источниках сообщается, что после Викента стал княжить Живинбуд, затем его сын Куковойт, затем сын Куковойта Утенус и, наконец, сын Утенуса Ш в и н т о р о г (после него — сын его Кгирмонт, или Скирмонт). Обычно в качестве родоначальника этой ветви называют Китовраса, но иногда ее пытаются подключить к палемонидам. Так, в «Списке Быховца» сообщается: «Kiernus kniaź żył mnoho lit na Litwe, y sam u welikoy starosty swoiey umre. A po sobe zostawił syna swojeho na welikom Kniażenij Litowskom

Żywinòudia» (ПСРЛ XVII, 477), а в «Евреиновском списке» сыном Кгируса, «что вышол с Китаврусу», называется Куковойт (ПСРЛ XVII, 363), являющийся обычно сыном Живинбуда. Учитывая то обстоятельство, что уже Живинбуд был великим князем Литовским, а Куковойт и Утенус — князьями Литовским и Жемайтским, существенным при избрании Швинторога в князья было именно то, что Ринголт «оумре без плоду. тот сѧ доконал род кнжати Римского Палемона» (ПСРЛ XVII, 250)[46] и, следовательно, новая династия уже не имела соперников из более знатного княжеского рода. Вместе с тем особое значение рода, к которому принадлежал Швинторог (в вариантах — род Кернуса или род Китовраса), объясняется тем, что именно ему пришлось осваивать, согласно летописной традиции, наиболее восточные земли Литвы, «Завельскую сторону» (т. е. пространство к востоку от Вельи-Вилии-Нериса), как раз ту территорию, которая получила название Литвы. Ср. после сообщения о Куносе, с которым связан замок Каунас: «и оно княжа Кунос имѣлъ двух сновъ, одного Кернуса и другаго Кгинбутья и пануючи ему в земли Жомоитскои почался множити и разширяти і выходити на реку Велию в землю Завелскую и прошедши рѣку Святую вышей, и нашел мѣстцо велми хорошо, и сподобалося ему то мѣстцо велми и он там поселил сна своего Кернуса и назвалося то мѣстцо по Кернусе Керново, а потом Куносъ умре и по нем почнетъ снъ его Кернусъ пановати на всеи земли Завелскои по границу Латыгонъскую и по Завелскии Браславль аже по реку Двину. а братъ его Кгинбутъ на Юрборку и на Куносове и на всеи земли Жомоитскои. а в тот часъ гдѣ Кернусъ пановал на Завелскои сторонѣ, людие тыи его што за Велею осѣли. игрывали на трубах дубасныхъ. и прозвалъ тотъ Кернусъ берег своим ꙗзыком власным по латыне литус гдѣ ся люди его множать. а трубы што на них играют туба и дал имя тым людем своимъ ꙗзыком по латыне сложивше берегъ с тробою литусба и простыи люди не велѣли звати по латыне и почали звать просто Литвою[47], и от того часу почалося звати панство Литовское, и множити от Жомоити. кнзь великии Кернусъ пановалъ на Литвѣ, а кнзь Кгинбутъ на Жомоити…» (ПСРЛ XVII, 242—243, ср. 298 и др.). В перспективе, намечаемой этим отрывком, особенно значимым является то обстоятельство, что именно Швинторог достиг устья Вильны и своим выбором этого места сделал его отмеченным. Это движение на восток, связанное с последовательным перенесением княжеских центров, продолжалось, естественно, и после Швинторога: «По смерти великого кнзѧ Романа[48], начнет кнжити снъ ого старший Наримонт і оучинит город Кернов и знесет з Новагородка столец до Кернова, і начал кнжити і назоветсѧ великий кнзь Литовскіи і Новгородскии і Жомоитскии. А братѧ его Довмонт сѧдет на отчизне своеи на Оутене і назоветсѧ кнзем Оутенским. а третии брат его Голша

перешод реку Велю и нашол гору красну межи горами над рекою Вилнею оу мили от оусть҈ реки Вели, где оупадывает оу реку Велю против Раконтишок і оучинил город, и назовет его именем своим Голша…» (ПСРЛ XVII, 253, ср. 236, 306, 368). В этом контексте последующее основание Вильнюса Гедимином и превращение его в великокняжеский центр — лишь завершающий акт этого продвижения к востоку и освоения новых земель. Этот процесс предопределил неизбежную ситуацию симбиоза литовского и западнорусского этнического и языкового элемента. Такого рода смешение особенно сильно выступает в княжеских родословных независимо от того, идет ли речь о «палемонидах» или потомках Китовраса. Особенно характерна, конечно, судьба полоцких мингайловичей, растворившихся в западнорусской княжеской династии[49]. Однако и другая ветвь, к которой принадлежал Швинторог, не менее показательна (ср. Романа, сына Колигина и внука Скирмонта, который княжил «на земли Литовскои і Жомоитскои і Рускои» — ПСРЛ XVII, 253 и др.). Привлекает внимание уже сам родоначальник династии «римский муж» Китоврас (Китаврус)[50], чье имя и образ были популярны как раз на Руси[51] (не исключено, что вторая часть имени в форме *-рус* ассоциировалась с *русский*)[52], единственное место, где сохранились не только сюжеты, связанные с Китоврасом (ср. «Толковую Палею» XV в.), но и само его имя[53], восходящее к др.-греч. *κένταυρος*. Так или иначе, в XIV—XV вв., т. е. в эпоху, непосредственно предшествовавшую составлению западнорусских летописей, имя *Китоврас*-*Китоврус* скорее всего ассоциировалось именно с русской традицией. Не менее интересно и другое обстоятельство. Китоврас, согласно данным русской повести, опубликованной в свое время в «Памятниках старинной русской литературы» (т. III, 59—61; позже — в названной книге А. Н. Веселовского), а также некоторым другим источникам, иногда не упоминающим имени Китовраса, был царем-чудовищем, зверем, изредка и великаном: «Бысть во Иерусалимѣ царь Соломонъ, а во градѣ Лукорье царству҈ царь Китоврасъ; обычай же той имѣя царь: во дни царствуетъ надъ людми, и въ нощи обращашеся звѣремъ Китоврасомъ, и царствуетъ надъ звѣрми, а по родству братъ царю Соломону»[54]. Китоврас похищает жену Соломона, Соломон преследует его, задает ему загадки, возвращает себе жену и казнит, наконец, Китовраса. Эта сюжетная схема может рассматриваться как трансформация основного мифа, сохраняющегося в наиболее полном виде именно в Литве и примыкающих к ней белорусских землях. В пользу этой точки зрения можно было бы привести целый ряд аргументов, но здесь придется ограничиться лишь двумя. Первый из них — хтоническая (иногда именно змеиная) природа Китовраса, что сопоставимо со Змеем, противником Громовержца в основном мифе. В апокрифе из «Толковой Палеи» Китоврас

приходит к трем колодцам, из которых предварительно вычерпали воду (поэтому вместо воды ему приходится выпить налитые в колодцы вино и мед). В других источниках, в этой части более архаических, сообщается о том, как в Иерусалиме появился з м е й, выпивающий всю воду из колодцев, и как Соломон, напоив змея вином и медом, усыпил его и пленил. Наконец, в некоторых текстах Китоврас отождествляется с единорогом (инорогом), также иссушающим водные источники (ср. *индрика-зверя* в «Голубиной Книге», который «походит … по подземелью, прочищает ручьи и проточины»). Иссушение же источников Змеем — один из важнейших мотивов основного мифа. В т о р о й аргумент еще интереснее, во всяком случае в связи с темой этой статьи. Жена Соломона *Соломония* (она же *Соломонида, Саламанида, Саламидия, Соломониха* и т. д.), похищенная Китоврасом, является дочерью царя *Воло*(*н*)*томана, Волотомона, Волота, Владимира* (ср. *Володимѣръ* : *Волоть*) [55], ср. в тексте круга «Голубиной Книги»:

— Как тебе, царю В о л о н т о м а н у,
Мало спалось, грозно во сне виделось,
В твоем ли было зеленом саду
Выростало деревцо сахарное:
У твоей царицы благоверныя
Народится дочь Саламидия;
Из далеча из чиста поля
Прилетела пташечка малешечка

Садилась на деревцо сахарное,
Распущала перья до сырой земли:
Как моя царица благоверная
Родит сына Саломона,
А этому сыну моему
На той дочери женату быть.

Имя же *Волот* совпадает с апеллятивом *во́лот* (ср. *ве́лет*), обозначающим великанов, бросающих камни (как *асилки*) и участвующих как раз в тех версиях основного мифа, которые известны на северо-западе Белоруссии, в непосредственной близости к литовским землям (ср. цикл легенд о белорусских волотах) [56]. Здесь же следует упомянуть о так называемых *волотовках*, особых курганах (ср. также *капцы́, со́пки*), распространенных более всего вокруг Полоцка (118 волотовок особенно к югу и западу от него), но встречающихся и в верховьях Вилии, в окрестностях Браслава, Вилейки и т. д. [57] Соотнесенность Китовраса с Волотом в сюжете и через связь их с к а м н е м (Китоврас научил Соломона достать камень шамир, с помощью которого можно обтесывать камни для храма; ср. также магические действия Китовраса — положение камня на камень и снятие камня с камня) [58] позволяет

реконструировать функциональное тождество этих двух персонажей, появляющихся, к тому же, в текстах приблизительно одного и того же круга. Между прочим, в связи с относящимися к этому кругу текстами о поединке Правды и Кривды уместно вспомнить о словесных прениях (отгадывании загадок) между Китоврасом и Соломоном и особенно о следующей яркой характеристике Китовраса: Нравъ же его бѣаше таковъ: не ходяшеть путемъ кривымъ, но правымъ, и въ Иерусалимъ пришедше, требляхуть предъ нимъ путь и рушахуть полаты, не ходи бо криво … Он же ся огну около угла, не соступяся съ пути … («Повесть о Китоврасе»). Ниже это противопоставление кривой-прямой (и кривой-правый) возникнет еще раз, в частности в связи с темой двух культурно-правовых традиций и их основателей (ср. о Криве). Только тогда можно будет вполне оценить мастерство мотивировок в западнорусских летописях, между прочим, в местах, связанных с историей Китоврасова рода в Литве.

Впрочем, имя Китовраса — не единственное в его роде из тех, которые указывают на западнорусский слой. Так, не исключено, что имя дочери князя Кернуса и жены Кгируса, происходившего из рода Китовраса, *Поята* (*Паята*)[59] — славянского происхождения, ср. др.-русск. *поꙗтисѧ* (*понѧтисѧ*) ʻсочетаться бракомʼ, *поꙗти* ʻвзять в женыʼ (*поꙗти женѣ*), ʻсосватать замужʼ (поя Ярославъ … за сн҃ъ свои за Володимира Всеславлю дчерь Болеславу. Ипат. лет. 6675 г.), ʻвзять в собственностьʼ — из праслав. *po-jęti (ср. также др.-русск. *поꙗта* ʻкровля, крышаʼ, с.-хорв. nojama ʻсарайʼ, ʻконюшняʼ, ʻгумноʼ и т. п.[60]. Во всяком случае, имя *Поята* в отмеченной ситуации перемены княжеского рода на престоле могло бы оказаться мотивированным и потому вполне уместным. Имя *Живинбудъ*, принадлежащее князю, пришедшему к власти после Викента, прадеду Швинторога, остается не вполне ясным (ср. другие варианты: *Живинбутъ*, *Жывинбут*, Zivimbuth, Zyvinbud и т. п.). Но скорее всего оно славянского происхождения, поскольку в славянском ономастиконе есть вполне реальные отражения праслав. *Bud- & *živ- (подобно *Budi & sl*a*vъ, *Budi & **m*irъ, *Budi & *m*ilъ и т. п.), имени, состоящего из тех же элементов, но в обратном порядке[61]. Впрочем, теоретически можно думать о *Живинбудъ* как о результате славизации балтийской формы типа *Žibin- & *bud- (или *but-), ср. *Жибентяи.*

Особый интерес, хотя и совсем в другой связи, вызывает имя отца Швинторога *Утенусъ* (*Утѣнусъ*, *Втенусъ*, *Уптянусъ*, Utenus, Vtenus), ср. ПСРЛ XVII, 234—235, 249—251, 303—304, 365—366, 429, 431, 486. Учитывая обычную для ранней историографии Литвы тенденцию объяснять местные названия из личных имен (ср. по мере продвижения к востоку: *Юрборкъ* из *Боркъ*, сын Палемона, и *Юра*, название реки; *Куносовъ* [*Кунасовъ*] *город*, т. е. Каунас, — из *Ку-носъ*, другой сын Палемона; *Керново* [*Кернава*] — из *Кер-*

нусъ, сын Куноса, и т. п.), целесообразно и имя Утенуса связать с названием *Утена* (*Утеня*, *Устена*, *Устиня*, *Утиня*, *Втиня*, Utena, Utiania, Utyn, Vciana, ср. ПСРЛ XVII, 236, 253—255, 306—308, 368—369, 433—434, 487—488, 533, 535), впервые появляющимся в исторических документах в 1261 г. Это местное название Utena (из других топонимов ср.: Utenos vk., Uten*ėl*ės km., Ut*ėnų* km., Ut*e*li*ų* km., Utal*ino*s km., Uti*š*ki*ų* km., и т. п.)[62] подкреплено рядом гидронимов — Ùtenas, Utenà, Utenė̃lė, Utenáitis, Utenáitė, Utė̃lis, Utalinà, Utenýkštis и др.[63], причем некоторые из них находятся в непосредственном соседстве с городом Утена. Характерно, что движение к востоку, в частности в направлении к Утене, отмечено в нескольких поколениях Швинторогова рода. Так, Куковойт похоронил свою мать Пояту «вышеи озера Ж о с л и» (ПСРЛ XVII, 248, ср. лит. *Žą̃*sli*ų* *ẽž*eras), недалеко от теперешнего Кайшядориса. Сам же Куковойт был похоронен своим сыном Утенусом, видимо, «на горѣ однои над рекою С в е т о ю, не далеко Д и в и л т о в а» (ПСРЛ XVII, 249, ср. лит. *Š*ventóji, Déltuva; *Дивилтово, Дявелътва*, *Дзевялтово*, Dziewiałtowo старых источников) и далее. Во всяком случае, уже праправнук Швинторога «Давмонтъ сѧдет на отчизне своей на О у т е н е і назоветсѧ кн҃зем О у т е н с к и м» (ПСРЛ XVII, 253). Этимология названия Utenà, при всех открывающихся соблазнах, остается неясной. Тем не менее, при учете форм с элементом -r- типа Uternà, Uternõs *ẽž*eras (как раз около Жасляй, см. выше в связи с похоронами Пояты), *Вотря* (из **Вътъра* < *Uturià или *Utur*ė̃*, ср. *Ut-ur- : *Ut-en-)[64] в верховьях Днепра, и т. п., не должно показаться таким уж странным сопоставление этого корня Ut- с лит. ut*ė̃* ʻвошьʼ, ut*ėlė̃*, utìs, ut*ė*linis, ut*ė̃*lius, ut*ė̃*ti, utýti, лтш. ute, uts, utuots, utaîns, utît, utêt, utuôt, utenêt, utâtiês и т. п., с одной стороны, и с прусск. autre ʻкузницаʼ, wutris ʻкузнецʼ[65], ср.-болг., сербск.-цсл., русск.-цсл. *вътрь* ʻкузнецʼ, с другой стороны; при этом следует помнить, что два последних ряда уже были убедительно сопоставлены друг с другом Эндзелином[66], предположившим для всех этих слов общий семантический элемент ʻStechendesʼ. Возможно, что осторожнее говорить о целом комплексе ʻколотьʼ — ʻжалитьʼ — ʻжечьʼ; в этом случае сюда же (при сохранении известных неясностей) можно было бы подключить слав. *vъ*šь* ʻвошьʼ (*us- : балт. *ut-), несомненно, сопоставляемое с лит. *u*s*n*ìs, ùsnis, *u*s*nė̃* ʻбодякʼ, ʻчертополохʼ и далее с др.-инд. u*ṣṇ*a- ʻгорячийʼ, ó*ṣa*ti ʻгоритʼ, ʻжжетʼ, лат. *ūrō*, др.-греч. *εὕω*, алб. ethe ʻлихорадкаʼ и т. д. Во всяком случае, сама возможность актуализации смыслового поля ʻжечьʼ (= ʻколотьʼ) в связи с Utenà и под. должна привлечь к себе внимание — как в связи с другими названиями со сходным значением (ср. *Ž*ibinta*ĩ*, *Ž*ibà и т. д., *Жибентяй*, имя литовского князя), так и в связи с некоторыми исключительно важными реалиями, о которых см. ниже.

В этом контексте уместно, наконец, обратиться к тому «первому прецеденту», который имел место там, где Вильна впадает в Вилию, и связан с именем Швинторога. Прежде всего заслуживает внимания тот факт, что Швинторог единственный в своем роду князь, с которым не связано никаких исторических событий, кроме того, что он, по его собственной просьбе, после смерти был сожжен в указанном им самим месте, ставшем традиционным местом трупосожжения. Таким образом, о Швинтороге говорится только как об основателе традиции и только в связи с местом, где Вильна впадает в Вилию. В этом отношении он резко противопоставлен и отцу своему Утенусу и сыну своему Скирмонту, с которыми связываются реальные исторические события (по крайней мере, для историографии XV—XVII вв.). Более того, само имя *Швинторог* не имеет, кажется, прецедентов в литовском ономастиконе в отличие от типичных княжеских имен, следующих после Швинторога. Зато постулируемый источниками князь Швинторог объединяется с предшествующими ему князьями в двух существенных отношениях. Во-первых, он, как и его отец и дед, установитель некоей ритуальной традиции, особого культа, связанного со смертью. Наряду с указанными уже текстами о Швинтороге ср.: В тых летех мати … Куковоитѧва, Поѧта оумре оу великой старости своеи. кн҃зь великіи Куковоит милуючи матку свою, і оучинил болвана образом еѣ чинѧчи еи памѧт і поставил того болвана, именем матки своей Поꙗты вышеи озера Жосли которыи ж образ фалили і за Бога мѣли тую Поꙗту. і потом тот болван згинул и на том месцы выросли липы і тыи липы хвалили и за Бога их мели, как имѧ тое Поꙗты аж и до сего дн҃ѧ. а за тым кн҃зь великіи… сам Куковоит оумре і зоставил по себе с҃на… Оутенуса, который ж сын милуючи оц҃а своего великог кн҃зѧ Куковоитѧ і оучинил болвана на памѧт оц҃а своего, і поставил его на горѣ однои над рекою Светою не далеко Дивилтова которого ж фалили і за Б҃га его мѣли. і потом тог болван згинул гаи вырос и люди тым фалили і прозвали его имѧнем пана своег Куковоитѧ (ПСРЛ XVII, 248—249, ср. также 233—234, 242, 302—303, 310, 364—365). То, что в «исторические» времена с культом связаны исключительно князья той ветви, которая восходит к Китоврасу [67], также не может быть случайностью и, возможно, бросает луч света на характерные функции этого рода; так, например, не исключено, что представители этого рода обладали наследственной жреческой властью. Во-вторых, имя *Швинторог,* как и имена предыдущих князей, приводившиеся уже выше, относилось не только к князю, но и, почти несомненно, к тому месту, где он был предан кремации («месцо на пущи (вар.: на лѣсу)… подле реки Вели где река Вилнѧ оупадывает оу Велю» или несколько иначе у Стрыйковского: «między gorami, na tym miejscu gdzie Wilna rzeka do Wiliej wpada» [68]. Наконец, можно пойти еще дальше, высказав предположение, что

именно место было первоначальным источником имени *Швинторог*, которое лишь позже и, скорее всего, лишь в историко-этимологических фантазиях XV—XVII вв. превратилось в обозначение князя[69]. Если предлагаемая точка зрения будет принята, то получит объяснение и отсутствие res gestae, связываемых с князем Швинторогом. Еще, видимо, важнее то обстоятельство, что объяснение этому имени и параллели к нему обнаруживаются как раз в топонимической сфере. Формы *Швинторогъ*, *Свинторогъ*, Swintoroh, несомненно, литовского происхождения и предполагают словосочетание типа *Šveñtas & *rãgas, трансформируемое в сложное слово *Šventrãgis[70]; ср. лит. Šventrãgis, деревня в Мариямпольском р-не, Šventragiaĩ, деревня в Кельмеском р-не[71], не говоря уж о сходных образованиях с элементом Švent- типа Šventãkalnis, *Šventẽž*eris, Šventýbrastis, Šveñtupė, Šveñtvalkis в топонимах[72] и названия типа Ragõs *upẽlis*, *Ragupỹs*, Rãgupis, Raguvà, Raguõlis, Rãgana, Ragãnė, Raganùpė, Ragaĩšupis (LUEV, 131); *Ragẽliai*, *Ragẽliškė* Ragìnė, Ragìškė, Ragùčiai, Raguvà, Ragavà, Ragãniai, Raganìške, Ragaĩšiai и т. п. (LATS 1976, II, 255—256). Такого рода образования обильны не только в литовском, но и в латышском, прусском и отчасти славянском ареале. Само значение элемента rag-/*рог-* в этих случаях возвращает нас именно к топографическим объектам, ср. лит. rãgas ʻмысʼ, ʻносʼ («smailus žemės plotas, įsikišęs į jūrą, ežerą, ar mišką»); лтш. rags ʻвершина горыʼ или скалыʼ; русск. *рог* ʻуголʼ, ʻвыступʼ, ʻлокотьʼ, ʻколеноʼ; ʻмысʼ, ʻкосаʼ, ʻлукаʼ, ʻизгиб или колено рекиʼ; ʻотрогʼ, ʻветвьʼ, ʻпобочный кряжʼ; ʻдолгий оврагʼ, ʻотрог балкиʼ и т. д. (Даль III[4], 1696), блр. *рог*, польск. róg ʻуголʼ и т. д.[73]. Правда, нужно, помнить и об использовании слов этого корня в обозначениях лиц (в период после введения христианства — с отрицательным отношением), ср. лит. rãgana ʻведьмаʼ, ʻколдуньяʼ, rãgius ʻчертʼ, Ragutis имя божества (чье капище в Вильнюсе находилось на месте теперешней Пятницкой церкви[74], основанной в 1345 г. княгиней Марией Ярославной, женой Ольгерда), ср. русск. *Рог* в словоупотреблении русских старообрядцев в отношении своих гонителей (вторая половина XVII в.).

Естественно, возникает вопрос о том, где могло находиться место трупосожжения, называемое *Швинторог*, на территории будущего Вильнюса. То, что корень *rag-/**рог-* мог обозначать по вертикали и возвышенное и низменное место, а по горизонтали и нечто вытянутое и нечто согнутое, изломанное, еще более затрудняет задачу локализации Швинторога. Пока в этой области возможны только гипотезы. Несмотря на то, что в XIII в. литовцы, как правило, предавали покойников сожжению на возвышенных местах, в разбираемом случае теоретически допустимое отнесение Швинторога к будущей Замковой горе (Gedimino pilies kalnas)[75] представляется, пожалуй, маловероятным. Дело в том, что, помимо того, что корень *rag- в месте слия-

ния двух рек (а именно этот мотив многократно подчеркивается во всех источниках о Швинтороге) обозначает обычно именно у г о л, образуемый слиянием этих рек (а не гору), ни один из источников не говорит о нахождении Швинторога на горе, хотя признак горы в данном случае, несомненно, был бы ведущим и наиболее точно локализирующим место трупосожжения. Наоборот, источники говорят о д о л и н е Швинторога, о том, что она «między gorami», там, где пуща или лес. Имея в виду уже гедиминовы времена, Стрыйковский сообщает, что «...pierwej od Swintoroha i Germonta... wieczny ogień... był fundowany na tym miejscu, gdzie dziś p u s z k a r n i a ... Wszakże Gedimin nad to l a s c i e m n y bogom poświęcił (co zwano u lacińskih pogan i inszych narodów Lucus, a Litwa i dziś las zowie Laukos)... a t e n l a s b y ł n a d W i l j ą p o d l e p u s z k a r n i e j, aż do Lukiszek» (Stryjk. I, 373)[76]. Если это сообщение предполагает некую традицию, еще продолжавшую существовать во второй половине XVI в., то Швинторог должен был находиться к з а п а д у от Вильны[77], протекавшей в то время (и вплоть до XVIII в.) западнее Замковой горы, вдоль современной улицы Врублевского (ср. план Ф. Гетканта 1648 г.; план Брауна, составленный в середине XVI в. и напечатанный в 1576, 1581 и 1599 гг. в этом отношении менее показателен). Это низменное место на берегу Вилии, заливаемое при половодье водой[78], видимо, переходило к западу в лес, действительно, тянувшийся в сторону Лукишек. Место, вероятно, считалось дурным; во всяком случае, оно, несмотря на свою преимущественную близость к Верхнему и особенно к Нижнему замку, довольно долго не заселялось. Характерно, что, вернувшись в 1397 г. после удачного южного похода, Витовт поселяет в Лукишках татар, позволив им выстроить здесь мечеть (недалеко от будущей тюрьмы). Долгое время на месте костела св. Якова существовало кладбище для б е д н е й ш и х жителей города; убожество кладбища было столь вопиюще, что по необходимости вызывало пожертвования (собственно, одно из таких пожертвований, сделанное Юрием Литтавром Хрептовичем, и привело к сооружению в 1642 г. д е р е в я н н о г о к о с т е л а). Видимо, не случайно, что еще в XIX в., когда Лукишки были далеко не полностью застроены, при костеле св. Якова учреждается больница (в частности, для венерических больных). Не исключено поэтому предположение, что Лукишки и примыкающий к ним район типологически представляли собой нечто сопоставимое с местами, выбиравшимися для божедомов. Между прочим, проведенное выше сопоставление Стрыйковского лат. Lucus : лит. Laukos (в применении к л е с у, а не полю, ср. *laũkas*) могло быть вызвано к жизни звуковой близостью лат. lucus и лит. *Lukiškės*[79]. Наконец, расположение места погребения за рекой в высшей степени характерно для городских поселений смежных территорий (ср. место *волотовюк* в древнем Витебске по данным топографической реконструкции[80]).

Нахождение места трупосожжения внизу, в долине (*на луцѣ*), а не на горе[81], могло бы быть подкреплено и некоторыми другими соображениями. Так, во всех старых источниках, которые говорят о вечном огне и капище Перкунаса, помещаемом у подножья Замковой горы (нижняя часть колокольни у Кафедрального собора св. Станислава по традиции считается остатком башни, откуда Криве вещал людям волю богов), они не отделяются от долины Швинторога. Собственно, если подтвердится, что святилище Перкунаса было внизу, то все сомнения в том, где находился Швинторог, отпадут сами собой. В более поздних свидетельствах об основании Вильнюса прямо говорится о том, что Гедимин заложил на Швинтороге нижний замок (см. далее). Но есть, видимо, и другие доказательства положения Швинторога внизу. И западно-русские летописи и Стрыйковский сообщают, что после сожжения покойника на Швинтороге при нем клали когти рыси и медведя «длѧ, того иж веру тую мели иж судный дн҃ь мел быти і так знаменали собе иж бы Бг҃ь мел приити і седети на горѣ высокои, і судити живым і мертвым. на которую будет гору трудно взыити без тых ногтеи рысих. або медвежих, і длѧ того тыи ногти подле тых кладывали, на которых мели на тую гору лезти»[82]. Вера в «з мертвых востане» и Страшный суд, вершимый богом на горе, предполагает путь снизу, от земной юдоли, вверх, на гору, и тем самым подтверждает место Швинторога внизу. Наконец, схема основного мифа, связанная с поражением Перкунасом своего противника, задает не только сам сценарий, но и его топографические привязки. Наиболее драматический эпизод мифа развертывается именно внизу; с этим эпизодом связаны наибольшие страхи, опасения и одновременно наибольшие надежды. Именно поэтому он часто выступает как представитель мифа в целом, определяющий и выбор места жертвоприношения, и точку, в которой конечная жизнь через смерть соединяется с вечной жизнью, и, наконец, топонимические характеристики. В этой же связи еще раз стоит указать на особую роль рога и соответствующего слова в основном мифе. Рог выступает как атрибут Громовержца (рогатый Перкунас, Перкунас с рогом), находящегося на горе, вверху, Змея или Дракона (ср. *рогатый змей*) и скота, из-за которого идет борьба (ср. *рогатый скот*)[83]. Поэтому неслучайно совпадение таких наименований, как *Š*ventrãgis и *Pe*rk*ūn*rãgis[84], с одной стороны, и, с другой, обилие в археологических раскопках на территории Вильнюса каменных (или даже роговых) топоров, выступающих в мифе как постоянный атрибут Громовержца. Можно высказать предположение, что сокол, конь, собака[85], сожженные вместе с Швинторогом, также выступают как некие классификаторы разных зон в основном мифе. Уже эти детали создают предпосылки для правильной интерпретации основного противопоставления, описывающего долину Швинто-

рога: огонь — вода (ср. вечный огонь, костры, на которых сжигают покойников и место в низине, у воды, за рекой и т. п.) [86]. Собственно говоря, эти два признака и составляют суть Перкунаса в его, так сказать, «инструментальном» аспекте. Следовательно, и в этом отношении Перкунас может быть сопоставлен с Швинторогом как местом, где обнаруживается деятельность Громовержца, и Швинторогом как князем или, может быть, жрецом, уподобляемым Громовержцу. Наконец, эпитет *š*veñtas 'священный', 'святой' определяет не только Швинторога, но и Перкунаса; ср.: Dieve duok, kad tave Perkūns, švents Perkūns, Dievaitis, šventas Dievaitis užmuštų, užtrenktų; — Trenk tave šventi Perkūnai! [87]. То, что *Šveñtas Rãgas и Šveñtas Perkū́nas приурочены к одному месту и к одному событию (жизнь → смерть), позволяет говорить о единых истоках этих мифологических образов, образующих сиоего рода мифопоэтический субстрат, из которого выросло само название будущего города [88]. Примеры такого рода не единичны и в других традициях и, естественно, долины учитываться при оценке достоверности данной конкретной гипотезы. Можно сослаться на то, что Визáнтий возник на полуострове, имеющем форму рога и называемом Рог (*τὸ* Κέϱας, ср. Byzantinorum Cornu) [89]; с этим местом также связывается особая мифологема об Ио, носившей коровьи рога (*κέϱατα*) и родившей Кероэссу (Κεϱόεσσα), сыном которой от Посейдона и был *Βύζας*, легендарный основатель Византия.

Подводя итоги анализу швинторогова цикла и признавая многочисленные неясности и сложности, уместно сформулировать несколько положений и поставить ряд вопросов, которые, вытекая из предыдущих рассуждений, должны прояснить ситуацию в методологическом плане. Прежде всего нужно настаивать на реабилитации фрагментов о Швинтороге в памятниках XV—XVII вв. как исторического (в широком смысле слова) источника. Сопоставление, летописных сведений о Швинтороге с их пространственно-временнóй реализацией позволяет исследователю от недостоверных и неясных сообщений перейти к ситуации, которая характеризуется весьма значительной правдоподобностью (а в некоторых случаях и верифицируемостью), правда, не в собственно историческом, а в мифопоэтическом смысле. Иначе говоря, восстанавливается не столько то, что могло бы интересовать историка, находящегося вовне, сколько то, что относится к модели мира тех, для кого швинторогов цикл был подлинной действительностью. *Швинторог* в этом цикле или в том, что предшествовало ему, скорее всего представлял некий знаковый комплекс, который мог получать конкретную реализацию в сюжете мифа, в квази-исторической схеме, в ритуале, в рамках социального устройства, в топографии, в поэзии, в языке. Настаивание на первенстве какой-либо одной интерпретации, отказ от сложностей, связанных с рассмотрением всех возможных аспектов одновременно, грозит искажением общей

картины. При рассмотрении конкретных условий упорядочения общей сюжетной схемы в связи с данным местом и временем необходимо, где это только возможно, отличить случаи довольно полной детерминированности данного варианта сюжета местными особенностями от обычных случаев «переноса» схемы с места на место, предполагающих лишь поверхностное соотнесение сюжета и его локально-временной реализации. Иногда соотношение этих двух категорий случаев достаточно сложно. В частности, некоторые детали швинторогова цикла и их обозначения повторяются, иногда даже в виде более или менее устойчивых комплексов, к западу от Вильнюса, нередко вплоть до моря. Сам факт наличия названий типа *Švent-rag-* в других местах (Kelmė, Marijampolė) достаточно показателен. Исходя из него, допустимо думать и о других возможных случаях этого рода; так, например, не исключено, что острый угол, образуемый впадением Швентойи в Вилию, мог обозначаться как *Šventrãgis* (особенно если учесть продвижение на восток в каждом новом поколении князей швинторогова рода). Вместе с тем восточная Аукштайтия и особенно Вильнюс и его ближайшие окрестности особенностями своего рельефа «открыли» идеальную возможность для того, чтобы содержательная схема основного мифа была «переведена» на язык топографии, «привязана» к конкретным локальным объектам. Тем самым именно здесь миф получил свой второй язык: элементы рельефа обрели новую для себя знаковую функцию, а вся совокупность этих элементов стала своего рода мифологическим текстом. Весьма характерно, что именно в этих местах Литвы сосредоточивается бóльшая часть существенных для основного мифа названий (ср. топонимы и гидронимы с элементами *Vil-, *Vyž-, *Švent- и т. п.) и что к востоку от Вильнюса нет надежных примеров разыгрывания мифологического сценария на языке топографии. Рельеф Вильнюса исчерпывающим образом воплотил схему мифа, и отчасти именно в силу этого само место будущего города стало сакрально отмеченным и еще до начала своей истории особо выделенным среди других мест. Во всяком случае, едва ли разумно, говоря о внезапном появлении Вильнюса при Гедимине и его очень быстром росте, игнорировать этот мифопоэтический субстрат. Можно думать, что уже во второй половине XIII в. (или на рубеже XIII—XIV вв.) место будущей столицы Литвы рассматривалось как то пространство, на котором разыгралось «первособытие», описанное в основном мифе. Через эту соприкосновенность к мифу, к прецеденту, к ситуации «в первый раз» Вильнюс и всё с ним связанное вошли в особое родство со сферой сакрального, получили свой особый престижный статус, много объясняющий и в дальнейшей истории города.

Похоже, что легенды и мифы швинторогова цикла отражают какое-то ключевое событие, обусловившее изменение ситуации, характерной для предыдущего периода. Недостаточность материала, конечно, не позволяет сфор-

мулировать суть тех, по-видимому мировоззренческих, отразившихся в ритуальной практике, изменений, которые могли быть связаны с условной личностью Швинторога, точнее, с той традицией, которая скрывается за этим именем-криптограммой. Тем не менее, эти изменения, как можно предполагать даже по довольно скудным сообщениям западнорусских летописей, были очень значительными и создавали некую новую ситуацию: і приказал с҃ну своему абы по см҃рти его на том месцы где бы ег зжог і всих кн҃зеи Литовских і знаменитых боѧр сожено было, і что бы вжо нигде инде телеса мртвых не были сожены, толко там бо и перед тым жыгали тела мр҃твых на том месцы, хто где оумрет. — Выполнение приказа Швинторога реально могло обозначать создание общелитовского святилища, присвоившего себе исключительные права в совершении погребального обряда. В этих условиях погребальный обряд трупосожжения, как показывает отчасти сопровождающая его символика, не мог рассматриваться иначе как воспроизведение, повторение прецедента — первой смерти и первых похорон, что опять-таки возвращает нас к соответствующему звену основного мифа. Можно сомневаться в спонтанном характере этого «возвращения» к истокам в середине XIII в. Скорее, в нем следует видеть результат усилий, исходящих сверху, со стороны княжеской и высшей жреческой власти, нуждавшейся в том, чтобы предгосударственное образование на территории восточной Литвы имело упорядоченную общеобязательную систему религиозно-обрядовых представлений. Былая автономия в этой области стала ощущаться как нежелательное явление, поскольку, предполагалось, только объединенный пантеон и единая общая обрядовая практика могли способствовать процессам объединения в раннегосударственные формы и противостоять христианской религии. Такая установка, видимо, и объясняет известную декларативность и даже некоторую искусственность швинтороговых предписаний. Во всяком случае, в условиях орденской агрессии и проникновения христианства с запада и с востока (прежде всего в великокняжескую среду) попытка консолидации старых обычаев и верований, их актуализации и включения в более общие, тяготеющие к универсальным, схемы мифопоэтической модели мира была бы вполне естественной [90]. Инициатива Швинторога выглядела достаточно радикальной, особенно на фоне более уклончивой и ориентирующейся на компромиссы политики в вопросах веры и обрядовой практики примерно в то же время (середина XIII в.). Ср. хотя бы сообщение Ипатьевской летописи о Миндовге (под 1252 г.): крещеніе же его льстиво бысть: жряше богомъ своимъ втаинѣ… и мертвыхь телеса сожигаше, и поганьство свое явѣ творяше (ср. также сходную картину в записи под 1258 г.). Характерно, что именно в это время (50—60-е годы XIII в.) появляются и другие свидетельства, позволяющие предполагать своего рода форсирование языческих представлений и большее вни-

мание к вопросам обрядовой практики. Не исключена догадка о существовании в это же время чего-то вроде дискуссий по вопросам языческой веры, с попытками апологии обрядовой практики с помощью установления ее связи с прецедентом в пределах своей старой (а иногда и чужой, ср. позже возведение к римским образцам) традиции. Именно в этом плане нужно, видимо, понимать известную вставку о Совии, сделанную в 1261 г. западнорусским переписчиком русского перевода «Хроники» Иоанна Малалы и посвященную изложению этиологического предания об установлении традиции трупосожжения (на оутріе сътворивъ крадоу огненоу великоу и връже и на огнь…) у народов «иже совицею наричютсѧ» [91] (можно думать, что вставка ориентирована прежде всего на ятвяжско-восточнолитовскую область) [92]. Интересно, что в рассказе о Совии (как и и легенде о Швинтороге, где это сделано с большей отчетливостью) есть косвенные указания на внутренний смысл обряда трупосожжения — достижение небесного царства, вероятно, с идеей новой посмертной жизни. Собственно говоря, это же подтверждает и Guillebert de Lannoy, описавший свое путешествие в 1413—1414 гг.: Ont les dits Corres, ja soit ce qu'ils soient crestiens natifz par force, une secte, que apres leur mort ils se font ardoir en lieu de sepulture, vestus et aournez chascun de leurs meilleurs aournements, en ung leur plus prochain bois ou forest qu'ilz ont, en feu fait de purain bois de quesne; et croyent, se la fumiere va droit ou ciel, que l'ame est sauvee, mais s'elle va soufflant de coste, que l'ame est perie.

Естественно, что трупосожжение в Литве существовало задолго до Швинторога, и он не мог проявить инициативу в этой области, но зато вполне правдоподобно, что именно он мог придать этой практике особое значение, исходя из различий в погребальном обряде между разными частями Литвы. Во всяком случае, если судить по литературе, уже в V—VIII вв. в восточной части Литвы, к востоку и югу от Швентои и по обе стороны от Вилии, представлены почти исключительно курганы с трупосожжением (pilkapiai su degintiniais kapais); к северу и западу от указанной территории начинается область преобладания других типов погребального обряда, прежде всего — трупоположение в плоских погребениях (так называемые plokštiniai griautiniai kapai) [93]. В IX—XII вв. эта картина в целом сохраняется; по крайней мере, восточная часть Литвы по-прежнему характеризуется трупосожжением с захоронением в курганах. Зато в непосредственном соседстве с этой территорией, к западу от нее (вблизи места впадения Вилии в Неман), начинается область трупосожжения в плоских погребениях (так называемые plokštiniai degintiniai kapai) [94].

В связи с этим изменением можно поставить вопрос, предполагающий некую гипотезу: не является ли смена оппозиции «курганы с трупосожжением» — «плоские погребения с трупоположением» (V—VIII вв.) оппози-

цией «курганы с трупосожжением» — «плоские погребения с трупосожжением» причиной дальнейшей эволюции форм трупосожжения в восточной Литве, напр., по образцу швинторогова предписания? К сожалению, остается неизвестным и другое важное обстоятельство: были ли в это время в восточной Литве виды погребения, подобные тем, которые практиковались на Руси в отношении так называемых «заложных» покойников (ср. работы Д. К. Зеленина), т. е. погребения в дурных местах — вода, болото, свальная яма и т. п.? [95] Не зная ответа на этот вопрос, трудно вполне оценить ситуацию трупосожжения в швинтороговой равнине, которая, по-видимому, время от времени оказывалась под водой (огонь × вода) [96]. Тем не менее кажется возможным предположение, что суть инициативы Швинторога не исчерпывалась введением трупосожжения только в одном, сакрально отмеченном месте. Не исключено, что она касалась и деталей обряда и — что значительно важнее — мифологического обоснования (мотивировки) новых форм старого обряда, в частности актуализации связей погребального обряда с основным мифом и прежде всего с его основным участником — Перкунасом [97].

II

Основанию Вильнюса посвящен другой цикл преданий, связываемый с именем уже вполне исторического персонажа князя Гедимина (годы правления — 1316—1341). Как образец рассказа об основании города можно привести соответствующую главку из западнорусских летописей по списку Археологического общества (ПСРЛ XVII, 261—262).

О великом кн҃зи Кгиндимине как Троки зарубил і Вилню.

И некоторог часу поехал кнѧз. великии Кгиндимин со столца своего Кернова в ловы за пят мил за реку Велю, и наиде в пущи. гору Красну дубровами і ровнинами облѧглую і сподобалос ему велми. і он там поселилсѧ и заложил город и назове имѧ ему Троки. где н҃не старыи Троки. сут ис Кернова перенес столец свои на Троки и в малых часех поехал после того, кнѧз великии Кгидимин в ловы от Троков за четыре мили и наиде гору красну над рекою Вилнею. на которои наиде зверѧ великог тура і оубьет его на тои горѣ гдѣ н҃нѣ зовут Турꙗ гора і велми было позно. до Троков ехати і станет на луцѣ на Швинторозе[1]. где перших великих кн҃зеи жигали. і обначовал и спѧщу ему там сон виде што ж на горе которую звали Криваѧ тепер Лысаѧ стоит волкъ железныи велик а в нем ревет как бы сто волков выло[2] и очутивсѧ от сна своег. і рече ворожбиту своему именем Лиздеику которои был наиден оув орлове

кнезде. і был тот Лиздеико оу кн҃зѧ Кгиндимина ворожбитом навышшим потом попом поганским видех деи сон дивный і сповѣда ему все што се ему оуво сне видело. і тот Лиздеико реч гс҃дарю кн҃же великии, волкъ железныи знаменует город столечный тут будет. а што в нем оунутри ревет то слава его будет слынути на вес свѣт. і кнѧз великии Кгиндимин на завтрее ж не отеждаючи послал по люди. і заложил город один на Швинторозе, нижнии а другии на Кривои горѣ[3] которую нн҃ѣ зовут Лысою. і наречет имѧ тым городом Вилнѧ. и збудовавши городы перенесет столец свои с Тров (так!) на Вилню. і оучинит первшим воеводою оу Вилни гетмана своего Кгаштолта с Колямнов которои сѧ народил. с Кумпѧ которои был пoиман от Немцов на Куносове. и кн҃жил великии кнѧз Кгиндимин много лѣт на кн҃жестве Литовском і Руском і Жомоитском. і был справедливым и много валкъ мевал, а завжды зыскивал. і паном фортунливе, аж до старости великое своеи.

Примечания: [1] Евр.: и стали на луцѣ над рѣкою Вельею і на устии рѣки Велны которую зовут луку Швинтороги гдѣ первых великих кн҃зеи жигали и он на той рѣце стал; Ольшевск. спис: i stanął na łące na Swintorozie; Спис. Быховца: y stanet na łuce na Szwintorozie. [2] Рач.: стоит волъкъ желѣзныи великии а в нем ревуть къ бы сто вильков; Евр.: стоит волкъ желѣзныи велик а в нем ревет как бы сто волков взвывало; Ольшевск. спис.: stoi vilk żelazny vielki a w nim riczi iakobi sto vilkow vilo; Спис. Быховца: stoit wołk żelizny welik, a w nem rewet kaliby sto wołkow wyło. [3] Рач.: и заложылъ городъ одинъ на Швинъторозе нижнии, а другии на Крывои горе; Евр.: и заложил кород одинъ на Швитороѣ а другои на Кривои горѣ; Ольшевск. спис.: i założil zamek ieden na Swintorozie niżni a drugi na Krzivei gorze; Спис. Быховца: y założył horod odyn na Szwintorozie, niżni, a dnihi na krywoy hore.

Существенно более полную версию сообщает Стрыйковский (I, 369—373):

O založeniu Trokow Starich i Wilna przez Gedimina, roku 1321.

Gedimin… zbywając w Kiernowie rozmaitymi łowami przeszłej pracej, i niewczasów wojennych, zebrawszy się z dworem i wszystkim myśliwstwem swoim, jachał w głębsze puszcze dla weselszej pociechy, i główniejszych łowow… Tak potom upodobało mu się miejsce i plac nie tak bardzo słuszny ku zamkowi, jako jemu wdzięczny, iż się na tym miejscu i w okolicznych polach i lasach obłowił, tamże zarazem obesławszy wołości,. zabudował zamek, który przekopem i wałem obwarował, i nazwał go Troki, dla tego iż co żywo, zajęcy, lisów, kunic, i inszego małego zwierza i ptastwa, tak dworzanie, jako osocznicy, myśliwcy, kuch-

cikowie i chłopięta,wszystcy byli pełno około Tarczaków, przed sobą, i za sobą, i po stronach w troki nawiązali i nawieszali, zwierzu też wielkiego łosi, jeleni, sarn etc. pełne wozy nakładali… a w Trokach się nowa stolica xiążąt Litewskich poczęła; ale nie długo trwala, bo Gedimin rychło potym zajachawszy w łowy, zwykłym obyczajem, czynił ostępy nad brzegami rzeki Wilieji, które w ony czasy lasami i puszczami wielikimi, gęstymi a gwałtownymi zawiesisto zarosłe, leżyskami tylko przechowaniem rozmaitemu zwierzowi tak wielkiemu jako i malemu były. Taк tedy Gedimin bawiąc się łowami, a z ostępu na ostęp przejeżdżając, przyjechał ze wszystkim orsakiem dworu i myśliwstwa swego na zgliska poświęcone przodków swoich, gdzie rzeka Wilna do Wiliej wpada, od Trok Starych cztery mile, które zgliska, to jest plac palenia ciał xiążęcych i panów przedniejszych Litewskich i fundował był na tym miejscu Swintorog, a po nim Germont syn jego… gdzie też kapłani Litewscy obyczajem pogańskim bogom swoim ofiary za dusze zmarłych xiążąt... czynili, i ogień wieczny ustawnicze we dnie i w nocy bez przestanku (jako też ono był w Rzymie obyczaj ceremoniej Vesti boginiej) na tym miejscu za pilnością kapłanow к temu ustawionych gorzał, ktory ogień Litwa i Żmódź, Prussowie, i Łotwa za osobliwego Boga mieli i chwalili.

Tam tedy Gedimin około przerzeczonych zglisk w puszczy między górami, które dziś Łysymi zowią polując, imo inszego zwierzu mnóstwo sam postrzelił tura wielkiego s kuszi, i zabił go na tej górze gdzie dziś wyszny zamek Wileński, którą gorę od tego tura i dziś Turzą górą zowią, a skórę i rogi jego złotem oprawione, miasto zacnych kleinotów długo w skarbie chowano, aż do czasów Witołdowych a Witołd iż pospolicie s tych rogów na wielkich biesiadach, i czestowaniu posłów postronnych pijał, tedy jeden darował za wielki upominek cesarzowi Rzymskiemu Sigmundowi…

Gedimin spracowawszy się łowami, tudzicz iż wieczór był zaszedł, a noc ciemna nadchadziła, do Trok też omieszkał pocieszywszy się znacznee z zabitego ręką, własną tura, nocował w kotarhah ze wszystkim dworem swoim na zgliskach mianowanych na łące Swintorozie od Swintaroha xiążęcia nazwanego, gdzie dziś puszkarnia, stajnie i niższy zamek. A gdy po pracy jak to bywa twardym snem był zmorzony, śniło mu się iż na tej górze i na tym miejscu, gdzie tura ubił, i gdzie dziś Wilno z zamkami stoi, widział wilka wielkiego, i mocnego, a prawie jakoby żelazną blachą warownie przeciw wszelkim postrzatom uzbrojonego, w tym wilku zaś słyszał sto wilków ogromnie wyjących, których głos po wszystkich stronach roznosił. Ociciwszy się tedy Gedimin, wpadł mu ten sen w myśli, i gryzł się długo sam z sobą, chcąc zgadnąc coby się przez to znaczyło… Lecz ten sen i wyklad jego nie dał się żadnemu tak zgoła

gryść, aż musiało przyść na Krywe Krywejta biskupa Litewskiego pogańskiego, któremu było imię Lizdejko.

A ten, jako Latopiszcze świadcza, za Witenesa ojca Gediminowego był nalezion w orlim gniazdzie w jednej puszczy przy gościńcu, a niktórzy powiadają, iż w kolebce ochędożnej na drzewie zawieszonego sam Witenes nalazł, i chowac go dał ućciwie syna; a gdy dorosł okazował z siebie dzielności nie prostego człowieka, stąd się znaczyło, iż był zacnego jakiegoś albo xiążęcego narodu, ale snaść dla zazdrości panowania, jeszcze w pieluchach albo macochy, albo od ojczyma był tak do lasu zasłany, jako też ono był uczynił Emilius król Albański, Remusa i Romulusa bliźnięta z Rehi Silwiej dziewki królewskiej mniszki urodzone zasłał był tajemne do Tibru utopić, które potym od wilczycy wychowane (jak sławią) i od Faustulusa pasterza nalezione, Rzym głowę wszystkiego świata założyli, etc. … Bo się też tak właśnie i z naszym Lizdejkiem w on czas działo, który będąc na dworze xiążęcym wychowany, w naukach gwiazdarskich, wedlug biegów pogańskich, w wieźdźbierstwach, snów wykładach … był wyćwiczony, aż potym był za Gedimina, nawyższym biskupem albo przełożonym nabożeństw pogańskich, którego z urzędu Kriwe Kriwejto zwano, o którym urzędzie apud Cromerum, Miechovium, Dlugossum, Erasmum Stellam, Dusburchium, najdziesz jasne świadectwa. Ten tedy Lizdejko, biskup nawyższy, nie inaczej (jako Joseph Faraonowi…) on sen o wilku na Turzej górze stojącym i o stu wilków inszych w nim wyjących, tym kształtem porządnie i prawdziwie wyłożyl: «Iż wilk ten któregoś widział, jakoby z żelaza ukowanego, Wielki Kniaże Gedimine! znaczy to: iż na tym miejscu zglisk, przodkom twoim poświęconych, będzie zamek mocny … i miasto tego państwa główne, a sto wilków w tym wilku ogromnie wyjących, których się głos na wszystkie strony rozchodi, to znaczą: iż ten zamek: to miasto, zacnością i dzielnością obywatelów swoich, tudzież wielkimi sprawami potomków twoich Wielkich Xiędzów Litewskich, którzy tu będą mieli stolec swój, rozgłoszy się i rozszerzy z wielką sławą po wszystkich stronach świata, i cudzym narodom w rychle z tej stolice z wielką sławą panować będą».

Taк mądry i prawdziwy a ku rzeczy wykład snu Lizdejkowego, Gedimin pochwaliwszy i ofiary bogom swoim na zgliskach odprawiwszy, wnet nie długo odkładając, obesłał wołości okoliczne, rzemieśników też rozmaitych, cieślów, murarzów, kowalów, kopaczów i materiej к temu wszelkiej dostatki sposobiwszy, począł murowac naprzód wyszny zamek na Turzej górze, na której sam z kusze tura wielkiego był postrzelił. Wymierzył potym plac na niżny zamek na Swintoroze, które miejsce w on czas Krzywą doliną, nazywano, przy uściu Wilny rzeki, gdzie do Wiliej wpada, tamże zamek niżny z drzewa z wyniosłymi wieżycami, i z błankami Gedimin wielką prętkością, ale z więtszą pilnością, zbudował kosztownie, a dokonawszy obu zamku, mianował ich Wilnem od Wilny rzeki. Także i

miasto prętko się przy zamkach n a d W i l n ą i W i l j ą osadziło, bo Gedimin z Trok stolicę swoję tegoż roku do Wilna przeniósł i tam ją na potomne czasy ugruntował; za czym wielkie zebranie ludzi, jako orłowie do ścierwu prętko się w wielkie miasto i rozwlokłe possady zgromadziło. Panowie też wszyscy dwory wielkie przy głównym miejscie, dla ustawicznego tam mieszkania Wielkiego Xiędza swojego, ozdobnie pobudowali, tak iż Wilno z małych początków zaczęte, gdzie przed tym tylko trupy xiążęce paliwano miasto pogrzebów, wielkim i sławnym miastem roku 1322 urosło, za radą mądrą Lizdejkową, który był potym długo biskupem litewskim żonatym, według pogaństwa i Augurem albo wieszczkiem, jako był obyczaj wzięty i urząd zacny u Rzymiam Augurii bo i Cicero, jako sam świadczy o sobie, on mąż i senator zacny Rzymski, był tez augurem w Rzymie z urzędu, to jest wieszczkiem albo dozorcem zwierzchnym wieźdźbiarstwa, według których się Rzymska rzeczpospolita sprawowała, co też Litwa jakoby od Rzymian zwyczaj podany zachowywała, a jako Cicero inszy w Rzymie, tak też Lizdejka w Wielkim Xięstwie Litewskim był augurem…

Postawił jeszcze Gedimin b a ł w a n P e r k u n o w i albo P i o r u n o w i, kamień krzemienisty wielki, z którego ogień kapłani krzossali, w ręku trzymający, temu też na ofiarę ustawicznie o g i e ń w i e c z n y z d ę b i n y w e d n i e i w n o c y p a l o n o, na tym miejscu gdzie dziś kościół (od Jageła, wnuka Gedyminowego fundowany) świętego Stanisława w zamku.

В приведенных источниках прежде всего бросаются в глаза две особенности: во-первых, та же идея последовательного переноса княжеской столицы на восток (Кернов → Троки → Вильна)[98], которая уже отмечалась в текстах швинторогова цикла, и, во-вторых, настойчивое указание на связь выбранного Гедимином места для основания новой столицы с местом, предназначенным Швинторогом для трупосожжения и святилища, где приносились бы жертвы богам, в частности и прежде всего Перкунасу. Правдоподобно предположение, что для Гедимина в связи с этим местом были важны не только существенные для Швинторога отсылки к основному мифу, но и сам прецедент, созданный Швинторогом — создание в устье Вильны общелитовского культового центра, основное назначение которого — проводы покойника в иной мир. В отличие от Швинторога Гедимин создает в этом месте военный, а затем экономический и политический центр Литвы, но, тем не менее, само мифологизированное описание выбора места для будущего города и столицы несет на себе отчетливую печать включенности всего происходящего в рамки схемы, представляющей собой трансформацию основного мифа. И сам Гедимин, в духе теории Дюмезиля, может рассматриваться как эпическое преобразование Громовержца. Во всяком случае, он соотнесен с Перкунасом через целый ряд исключительно значимых соответствий, прежде всего на уровне атрибутов, символическая связь которых с основным мифом

была рассмотрена в другом месте. Гедимин п о р а ж а е т на горе огромного т у р а (имя тура становится названием горы — *Турья гора, Tur*z*a* góra [99] (ср. лат. mons Taurus. Pomp. Mela), что приобретает отчетливое мифологическое значение, если учесть, что тур связан с Богом Грозы, воплощает грозу, гром [100] (ср. также Perk*ū*no *ož*ys). Особо подчеркивается мотив т у р ь и х р о г о в, которые были оправлены золотом и использовались на пиршествах. Не говоря о хорошо известных мифологических и символических значениях рога, особенно турьего (плодородие, сексуальная сила и т. п.), следует напомнить, что именно рог (в частности, турий) был одним из характернейших атрибутов Громовержца, отраженных не только в словесных описаниях, но и в соответствующих изображениях (идолы); ср. также топонимы типа *Tau*r*a*g*ẽ* (из **Tau*r- & *rag-), конечно, соотносимые как с названием быка, собственно, видимо, тура, Perk*ū*nragis (см. выше) [101], так и с наименованием места — **Š*vent- & *rag- (> *Швинторог*).

Во сне Гедимину является железный волк, образ которого, по объяснению жреца Лиздейко, толкуется как указание на то, что в будущем на этом месте будет великий город. Не останавливаясь здесь подробнее на этом образе, необходимо все-таки заметить, что возможные и вполне правдоподобные ассоциации с образом капитолийской волчицы [102] (lupa Capitolina или, по словам Тита Ливия, lupa... ex m o n t i b u s, qui circa sunt, I, 4), вскормившей близнецов, основателей Рима [103], н и в к о е м с л у ч а е не исчерпывают «волчьей» темы в связи с Вильнюсом, хотя для летописцев XVI—XVII вв., особенно для Стрыйковского, римские аналогии были, конечно, ведущими. Дело в том, что мотив волка тесно связан с самим Вильнюсом и его ближайшими окрестностями [104]. Так, еще в начале XX в. в связи с именем Vilkp*ė*d*ė* (юго-запад Вильнюса) существовало предание о камне с отпечатком в о л ч ь е й с т о п ы (vil̃kas и p*ė*dà); в этом же месте есть и другие указания на существование в прошлом культового центра (предполагают, что некогда здесь был курган — pilkapynas, ср. K*u*rg*anų* gatv*ė*) [105]; само противопоставление Neris (*Pane*ria*ĩ*) : Vilk-(p*ė*d*ė*) на юго-западе Вильнюса напоминает связь волка (vil̃kas) из Гедиминовой легенды с Нерисом, протекающим у подножья холма Гедимина (собственно, и Vilkp*ė*d*ė* могло пониматься как п о д н о ж и е волчьей горы — vilko kalno pap*ė*d*ė* [106]; ср. лат. Lupercal, пещера у п о д н о ж ь я Палатинского холма, посвященная Луперкусу, Пану Ликейскому [107], Luperc*ā*lia, празднество в честь Луперка). Вообще заслуживает особого упоминания то обстоятельство, что при повсеместном распространении топонимов и гидронимов с корнем Vilk- в Литве именно восточная часть ее выделяется обилием примеров (ср. LATS II, 1976, 345—347). И ближайшие окрестности Вильнюса (Вильнюсский р-н) доставляют особенно значительное количество убедительных примеров, ср. Vil̃kabrastis, Vil̃karaistis, *Vilkẽliš*k*ė*s,

Vilkìn*ė*, Vil̃kin*ė*, Vil̃ki*š*k*ė*s (дважды), Vilk*ìš*k*ė*s и т. д. В свете сказанного показательны такие наименования с Vilk-, которые имеют параллели с уже отмеченными первыми членами; ср.’ Vil̃kakalnis (р-н Биржай) при Perk*ū*nkalnis, Gedimino kalnas, Taurãkalnis, *Š*ventãkalnis или же Vil̃karagis (р-н Игналины) при *Pe*rk*ū*n- & rag-, Taur- & rag-, *Š*vent- & rag- и т. п.[108]. Наконец, существует очень большое количество типологических параллелей к связи божества или какого-либо мифологического персонажа с волком, с одной стороны, и князя, предводителя дружины, с волком, с другой[109]. Здесь можно указать на волков О́дина или Св. Егория (волк был священным животным Марса, бога войны) и образы князя-волка, как известный Всеслав из соседнего Литве Полоцка (Скочи отаи лютымь звѣрьмь въ полуночи … Скочи вълкъмь до Немигы … Вьсеславъ … самъ въ ночь вълкъмь рискаше … великому Хърсови вълкъмь путь прѣрискаше… в «Слове о полку Игореве») и связанные с ним *Вол*(*ь*)*х* — *Вольга* из русских былин (*Ко другой-то мудрости учился он, Во́льх- | Обвертываться серы́м волком*) и Вук — Змей Огненный в южнославянском эпосе[110]. Гедимин как князь-охотник, ходящий «на ловы» вместе со своей дружиной, вполне естественно связывается с «волчьей» темой[111], а дружина-с волками-воинами типа тех, о которых говорят древнегерманские тексты (ср. др.-англ. heorowulfas, wærwulfas и т. п.) и соответствующие изображения[112]. Родословная Гедимина вносит последний и, возможно, решающий аргумент в вопрос о внутренней укорененности «волчьей» темы в легенде об основании Вильнюса. «Литовскому роду починок» начинается с впечатляющего перечисления (см. ПСРЛ XVII, 205): Литовскому родоу починокъ перьвое Хвостъ. а снъ оу него Волкъ. а оу Волка снь Троен. а оу Троена Витень, а оу Витена снъ Едиман (Гедимин. — *В. Т.*). а оу Едиманна .з. (семь. — *В. Т.*) снвъ[113] (то же повторяется в «Родословии великих князей Литовского княжества», ПСРЛ, XVII, 413). Этот фрагмент имеет очень существенный вариант в «Родстве великих князей литовских» (ПСРЛ, XVII, 573): …у Ростислава сынъ Давилъ, у Давила сынъ, Видъ, его же люди Волъкомъ звали, у Вида сынъ Троенъ… и т. д. Если вспомнить, что Ростислав, отец Давила, сам был сыном Рогволода, полоцкого князя, и что, согласно «Началу государеи Литовских» (ПСРЛ XVII, 593), «вильяне взяша собѣ іс Царяграда князя Полотцкого Постислава Рогволодовича детей: Давила да брата его Мовколда князя»[114], — то окажется, что «волчья» тема равно выступает и в связи с родом Гедимина, и в связи с Вильнюсом, и в связи с Полоцком (откуда не только Всеслав-волк, но и в конечном счете сам князь Волк). На фоне имен типа *Волк, Хвост* и т. п. имя отца Волка князя Давила также должно пониматься как волчье обозначенье: от *дави́ть* (ср. *волкодав*; ср. *Давила* — распространенное имя среди охотничьих собак) — из и.-е. *dheu- ʽудавить’, ʽумертвить’, ср. др.-балк. Κ*αν-δάων*, имя ми-

фологического убийцы чудовищной собаки-волка (ср. иллир. Can-davia, название города), иллир. *Δαύνιοι*, название племени (daunas ʽволк’, ср. *θαῦνον* • *θηρίον* Гесих.), лат. Faunus, фригийск. *δάος* ʽволк’ (ср. имя даков *δάοι* ʽволки’. Strab. VII, 3, 12) и т. п.[115]. Не представило бы особого труда привести и некоторые другие аргументы в пользу незаимствованного характера мотива волка в легенде об основании Вильнюса, хотя и то, что уже сказано на эту тему, должно убедить в правильности отстаиваемого здесь взгляда[116]. Поэтому сейчас более целесообразным нужно считать не подыскивание новых аргументов, а скорее те дополнительные заключения, которые вытекают из «волчьей» темы в связи с Вильнюсом[117].

Наконец, еще один существенный териоморфный классификатор выступает в предании об основании Вильнюса в связи с низом, а именно в отнесении к швинтороговой долине. Речь идет о змеях и ужах. Эта тема вводится в фрагменте Stryjk. I, 378, где говорится о деятельности Гедимина в области культа: Nie zaniedbał też Gedimin chwały bogów swoich w ugruntowanym stołecznym mieście swoim potwierdzić, bo ácz pierwej od Swintoroha i Germonta… wieczny ogień… był fundowany na tym miejscu, gdzie dziś puszkarnia, i kapłani którzy pod gardłem, aby ogień nie zgasł święty pilnowali, byli hojnie nadani. Wszakże Gedimir nad to las ciemny bogom poświęcił… i kapłany pogańskim obyczajem w nim ustawił, którzy tam za dusze zmarłych xiąząt na onych miejscach albo zgliskach spalonych modły czynili, tamże i weże Gywojtos i Ziemiennikos[118] nazwane karmili i hodowali, jako bożki domove, a ten las byl nad Wilją podle puszkarniej, aż do Lukiszek. Эта же тема возникает в «Хронике» Стрыйковского еще раз, когда говорится «o rozmnożeniu wiary chrześciańskiej» при Ягелле в 1387 г. и о пережитках язычества (II, 78 сл.): …jednak tajemne bożkom swoim ofiary i modły czynili… Ale gdy Jageło król roskazał naprzód w Wilnie, ogień który mieli za święty na tym miejscu gdzie dziś kościół S. Stanisława w zamku zgasić i rozmiatać, kościół też pogański w którym stał bałwan Perkunos, i ołtarze jego kazał rozwalić, i węże z fortą z której kapłani i wieszczkowie dawali ludziom zmamionym odpowiedzi, i przyszłe rzeczy przepowiadali, wywrócić, węże i gadzinę które za bogi mieli, pobić, lassy święte gdzie dziś stajnie, i puszkarnia, w których stawiali świece, posiec i wyrąbać, bez żadnego obrażenia Polaków, którzy ony bałwany burzyli, siekli, i psowali, co się stało nad nadzieję Litwy pogan, bo się spodziewali, iż wnet albo nagle pomrą, albo polsną; ale gdy widzieli iż się im nic nie sstało, mówili z wielkim podziwienim, iż gdyby to który z nas uczynił, zarazby był skaran od bogów, bo się im według wiary działo[119]. Не менее интересно сообщение о змеях в «Sarmatiae Europeae descriptio» (1578): Est etiam quatuor a Wilna miliaribus Lauariski villa Regia, in qua a multis adhuc serpentes coluntur — при том, что именно вблизи Лаваришек начинается река Вильна (что специально отмечалось еще Длугошем).

Уже сам состав териоморфных классификаторов легенды об основании Вильнюса, как и их последовательность (тур, волк, змеи), вызывает ассоциации с былинными клише, соотносящими друг с другом этих животных [120]. Ср. у Кирши Данилова (с. 240):

Не слыхал ты шипу з м е и н о в а,
А того ли ты крику з в е р и н о в а,
А зверинова крику т у р и н о в а

или же в другом месте (с. 100—101):

И лежат т р и с л е д а з в е р и н ы я:
Первый след гнедова т у р а,
А другой след л ю т о в а з в е р я,
а третий след дикова в е п р я.

Если учесть, что *лютый зверь, зверь* обычно обозначает именно в о л к а, то первый пример как раз и фиксирует триаду вильнюсской легенды: тур, волк, змей (змея) [121]. Возможно, что она как-то соотносилась с териоморфной триадой предания о сожжении Швинторога: сокол [122], конь, хорт (собака; ср. ее связь на мифологическом уровне с волком) или вместо него восходила к единому источнику, в котором таким образом кодировались три вертикальные зоны: верх — середина — низ [123]. В преданиях, связанных с основанием Вильнюса, как и в космологических мифах об устроении Вселенной, это тройное членение играет особенно важную роль, а соотнесение этой ситуации с соответствующим мотивом основного мифа еще более усиливает ее, давая ей воплощение и в сюжете. Conditor urbis и Conditor orbis действуют в пределах изоморфных друг другу пространств, и это обстоятельство лишний раз объединяет город и мир, неразрывно связанные между собой в известной латинской формуле.

Культ змей у балтийских племен, сохранивший свои следы кое-где и до сих пор [124], играл совершенно особую роль в верованиях населения этих мест и был неоднократно описан [125]. Поэтому здесь достаточно высказать предположения, касающиеся функционального аспекта этого образа, и возможные следствия из них, имеющие отношение к легенде об основании Вильнюса. Если сочетание в одном месте на Швинтороге капища Перкунаса с его идолом, вечного огня, и змей может рассматриваться как ритуальная проекция мотива основного мифа «Перкунас огнем поражает Змея», то вне сюжета, в парадигме мифологических ценностей, символически и вечный огонь и змея обозначают почти одно и то же. Они отсылают нас к идее ж и з н и в тот драматический момент, когда жизнь земная через мистерию смерти переходит в жизнь в е ч н у ю. Этим двум ипостасям жизни соответствует описанное еще К. Бугой различение вре́менного и вечного огня (laikinoji *u*gnis —

amžinoji ugnis)[126], причем именно последний является сакрально отмеченным: именно он, видимо, называется «святым», ср. лит. *š*ventoji *ug*n*i*s, лтш. svę̄ts uguns, прусск. schwante panicke (у Иеронима Малэцкого и далее), слав. *svętъ (jь) *ogнь*- при *žіvъ(jь) *одпь*, ср. русск. *живой огонь*, польск. *ż*ywy ogie*ń*, укр. *жива ватра*, с.-хорв. *жива ватра*, *живи огањ* и т. д. (балт. *gīv- & *ug*/*u*/*n*-)[127]. Через признак святости, священности вечный огонь соотносится с самим обозначением места, на котором он находится, — **Š*vent- & rag- (кстати, и содержащиеся здесь змеи священны: *š*ventosios gyvat*ė*s). Образ змеи, пораженной огнем Перкунаса, очищенной им и явившейся по смерти в ипостаси обильной множественности, плодородия, процветания, моделирует самое идею динамичности этрго перехода «жизнь → смерть → жизнь», тогда как вечный огонь относится прежде всего к идее стабильности, устойчивости, непрерывности жизни, очищаемой и вечно возрождаемой в этом огне. Оба названия деифицированных образов змеи у Стрыйковского или Ласицкого (с корнем *Žem- и *Gyv-) весьма характерны как указания на мотив земли (*žẽmė*) и жизни (gyvatà), причем приобщение земле и есть смерть как необходимое условие будущей жизни[128]. Само название змеи (gyvãt*ė*), почти полностью совпадающее с обозначением жизни и разных других форм ее воплощения (в частности, скота — gyvulia*ĩ*, из-за обладания которым и возник поединок между Громовержцем и Змеем), побуждает к достаточно радикальным выводам. Так, жизнь, остающаяся непреходящим, неразменным элементом мистерии трупосожжения, сопоставляется и с бессмертием змеи[129] и с постоянством жизненной силы, воплощенной в скоте, который, как и человек, только п е р е х о д и т из одной зоны (вре́менное убежище у Змея — вре́менная земная жизнь) в другую (вечность в поколениях, обретенная у Громовержца, для скота — вечная жизнь по смерти для человека). Это место перехода, осознаваемое как таковое лишь при наличии перспективы вечной жизни, теми, кто находится по сю сторону ее, рассматривается как место с м е р т и, юдоль, где расстаются с жизнью (жизнь смертная). В этом контексте совершенно естественно, что долина Швинторога могла обозначаться как место погребения, место п о к о й н ы х, отражающее представления о загробном царстве, смерти, ее божестве и, возможно, соответствующем обряде. Все эти понятия в балтийских языках (в еще большей степени, чем в славянских и других индоевропейских) связаны с корнем *vel-/*val-/*vil- соответственно из и.-евр. **u̯*el-/**u̯*ol-/**u̯l̥*-. Балтийские и, в частности, литовские отражения этого корня на фоне других языковых и мифологических традиций подробно исследованы в других работах[130], и поэтому здесь можно ограничиться лишь напоминанием нескольких наиболее очевидных примеров. Прежде всего сама душа умершего обозначается лит. vel*ẽ̃*, v*ė*l*ẽ̃*[131], лтш. -velis, plur. ve*ļ*i, ср. *veleniẽtis* ʽумерший’ (BW 27798, 4), ve*ļā*nie*š*i ʽмертвые’ (BW 27798, 5) и т. п.

(ср. тох. A wäl- ʻумиратьʼ, walu ʻмертвыйʼ, walunt-, лув. ulant- ʻмертвыйʼ, ликийск. lati ʻумиратьʼ < *u̯la-, др.-исл. valr ʻмертвый на поле бояʼ и т. д.), и,ʼследовательно, при учете данных Стрыйковского можно думать, что Швинторог носил наименование типа vėlių laukas[132] (: Лукишки). День поминовения умерших — лит. vėlìnės, ср. лтш. Veļu laiks[133]; не исключено, что сходным образом (и во всяком случае, с помощью корня *vel-) обозначался и сам день или ритуал сожжения мертвых на Швинтороге. Божество умерших душ, согласно данным Я. Ласицкого, носило имя того же корня: V i e l o n a Deus a n i m a r u m, cui tum oblatio offertur, cum m o r t u i p a s c u n t u r (LPG 357, ср. кормленье — пасенье скота). Связь этого божества с ритуалом кормления мертвых подтверждается сообщением того же Ласицкого об обряде Skerstuvės: Skierstuvves festum est farciminum, ad quod Ezagulis ita vocant: V i e l o n a v e l o s atteik musmup vnd stala. Veni, inquit, cum mortuis, farcimina nobis cum manducaturus (LPC 359, 387); характерно, что во время Skerstuvės сжигались кости[134]. Об аналогичном латышском боге смерти и соответствующем дне, посвященном покойникам, в конце XVII в. писал Стендер: Deews der Gott der alten Letten, der bey ihnen auch, wenn es die T o d t e n betraf, W e l s hies, weil Deewa deenas Gottes Tage, und W e ļ ļ i von W e l s die Tage des Gottes der T o d t e n bey ihnen einerley war (LPG 626, ср. также 482: Эйнхорн, XVII в.). Упоминание Стендером в связи с этим днем Deewa sirgi (Gottes Pferde), Deewa wehrschi (Gottes Ochsen), Deewa putni (Cottes Vögel oder Fasel) заслуживает внимания в связи с рассмотренными выше териоморфными мотивами; во всяком случае, они выступали не только в сюжете мифа, но и в соответствующем похоронном или поминальном ритуале[135]. Мифологический персонаж, чье имя содержит корень *vel-, постоянно выступает и в самом тексте основного мифа. Речь идет о противнике Перкунаса — черте, обозначаемом как лит. vélnias, *vẽlinas*, лтш. velns[136]. Ср.: P e r k ū n a s v e l n i o neapkenčia, kur tik pamato, tai jį trenkia (LTD III, 1937, с. 152, № 52) или: P ē r k o n s meklējot v e l n u un v e l n s arvien no p ē r k o n a b ē g o t (Šmits. Latv. tautas ticējumi, Nr. 32434, p. 1946) и др. Иногда черт приобретает вид великана, подобного белорусским *волотам* (*велетам*, ср. укр. *велет*, *велетень* и т. п.) и *асилкам*. В одном из устных литовских преданий рассказывается, что великан Jok*ū*bas, п о с т р о и в В и л ь н ю с, отправлялся обедать в Каунас[137]. Вообще строительная деятельность великанов (в частности, им приписывается сооружение курганов — пилкалнисов, ср. их название в Белоруссии *волотовка*[138]) подчеркивается во многих преданиях и легендах этиологического характера.

Учитывая эти факты и сопоставляя их с реконструкцией ряда местных названий, содержащих корень *vel- и отражающих мотив поединка Громовержца (или его продолжений) с противником, чье имя *Vel- (ср. краковский

Wawel, ст.-польск. Wą-wel, и Krakus, поразивший smoka wawelnkiego: *Змиев-Вал* в связи с Киевом и божественным Ковалем; *Волынь — Подолия* и т. д.), нельзя пройти мимо названий с тем же корнем в Вильнюсе. В другой работе [139] указывалось, что приурочение к Вильнюсу схемы основного мифа вытекает и из анализа имени города и реки, по которой город был назван, и из раннеисторических мифологизированных свидетельств. Стержень этой схемы, конечно, отражен в противопоставлении элементов *Pe*rk*ūn*- (*Tau*r-), отнесенных к верху, к горе, и Vel-n-, Vil-n-, отнесенных к низу и воде. Последний элемент, представлен точнее всего в названии речки, протекавшей в XIV в. через Швинторог, к западу от теперешней Гедиминовой горы, — Vìlnia, *Vilnẽle*, *Вильна*, *Вилна*, *Вильня*, *Велна*, Wilna, Wilenka, Wileika, *Вилейка.* Название этой реки находится в центре трехчленного комплекса, куда еще входят название города Vilnius, Wilno, Wilna, Wilnia, Vilna, Vilnis, Vilno, *Вильно*, *Вильна*, *Вильня*, *Вилна*, *Вилно*, *Вилинь*, *Велѣнское мѣсто* (ср. ПСРЛ XVII, 639), несомненно, производное от названия Vìlnia [140], и имя реки, принимающей в себя слева Вильну — Vìlija (Vìlijà), Villja, Vilia, *Вилия*, Wilia, *Велья*, *Вѣлья*, *Велея*, *Велия*, *Веля*, *Веля*, Wella, Velya, Vielya, также этимологически связанной с Vìlnia. После анализа семантической структуры лексем с корнем *u̯el-/*u̯ol-/*u̯l̥- в разных индоевропейских языках и прежде всего в славянских и балтийских (Иссл. 1974) сами собой снимаются те противоречивые суждения относительно этимологических связей названия Vìlnius. Сейчас можно утверждать, что правы и П. Скарджюс, сопоставлявший Vìlnius через Vilnià с названием шерсти vìlna (ср. ʽволна’ — и о шерсти, в частности скота, о руне, на котором в мифологизированных текстах находится змея: *gyvat- & *vilna), ср. еще vilnìs ʽволна’ (jū̃ros vil̃nys), и К. Буга и М. Фасмер, связывавшие название реки и, следовательно, города с лит. vielóti ʽвить’, ʽизвиваться’, vielà ʽпроволока’ (из и.-евр. *u̯ei-l*ā*) [141]. Связь всех этих названий с *vel- в значении ʽсмерть’, ʽмертвый’ и т. п. не должна вызывать сомнений ни по формальным (ср. giñti : g*ẽna*, miñti : m*ẽna;* skìlti, skylẽ : skélti, *skẽlia* и т. п.), ни по семантическим основаниям. При этом следует, видимо, учесть и то обстоятельство, что лит. Vilija дало русск. **Вьлья*, откуда и возникла форма *Велья.* Она, как и другие формы с тем же вокализмом (*Велея*, Wella, ср. *Велна*, *Велѣнское мѣсто*, *Завельская сторона* и т. д.), создавала, конечно, благоприятные условия для установления более актуальных связей между этими речными и городским названиями, с одной стороны, и словами с корнем *vel-, сохранившими очевидную связь с семантическим полем «смерть — мертвый», с другой.

Выделенность языковой формы названия реки Вильны, ее, так сказать, диагностичность, в контексте основного мифа соответствуют ее особой организующей роли в актуальном пространстве старого Вильнюса. Река Вильна,

врываясь в город и как бы увлекая за собой (и параллельно себе) серию эрозийных холмов, делала на своем последнем этапе перед впадением в Вилию три крутых поворота: первый, образующий справа Заречье (Užupis) с совр. Užupio g. как осью симметрии; второй, огибающий бывш. Бернардинский сад, находящийся влево от реки; и, наконец, третий, образующий долину Швинторога, ограниченную слева течением реки. Достаточно присмотреться к окружающей местности с некоторых ключевых точек (напр., от костела Миссионеров, от Бокшто (или сверху костела св. Казимира) и с горы Гедимина — слева от Вильны и с холмов справа от нее[142], чтобы убедиться в амфитеатровом (с террасами) характере холмов, окружающих долину Вильны, и особенно в том, что именно Вильна (река) — главный и единственный актер в том сценарии, который разыгрывается топографией Вильнюса[143]. Несомненно, в ранний период развития города, когда Крестовая, Столовая горы и холм Бекеша были заселены, территория Нижнего замка свободна от деревьев, а городская застройка направлялась к югу от Швинторога, а не к западу по оси Кафедральная пл. (пл. Гедимина) — Зверинец, как позже, — эффект общей картины был несравненно бóльшим[144], хотя, к счастью, и теперь можно еще почувствовать общий масштаб картины и ее контрастирующие элементы — кулисами расположенные холмы и река в долине. Впрочем, и сама Вильна занимает исключительное место среди рек этого региона. Сочетание весьма значительной извилистости русла с необыкновенной быстротой течения[145] делает Вильну похожей на горную речку. При этом ускорение течения наблюдается на участке после Naujaja Vilnia и особенно уже в пределах старого города (ср. отчетливый перепад уровней на повороте чуть выше Бернардинского костела). Ходячее сравнение Вильны с извивающейся змеей могло быть исходным пунктом соответствующей мифологемы (ср. объяснение названия реки *Вужица* тем, что она возникла из огромной змеи (*П. В. Шейн.* Указ. соч., с. 431—432) и такие исторические и современные ассоциации, отмеченные выше, как змеи и «Волчий брод» — Vilkabrastis у истоков Вильны, близ Лаворишек), приурочение которой именно к Вильнюсу могло провоцироваться тем, что река разворачивала свои особенности crescendo, все увеличивая степень их проявления по мере приближения к устью[146].

В круг рассуждений, связанных с отражением схемы основного мифа в преданиях об основании Вильнюса, должно попасть и другое название Вилии — Nerìs, содержащее корень **ne*r- (: **na*r из и.-евр. **ə₂ne*r-) с напряженной структурой смысловых отношений. Этот корень **ne*r-, проанализированный, в другом месте[147], совмещает в себе обозначение жизненной, плодородной силы и низа (воды, земли), дающего эту силу. Ср. персонифицированные воплощения типа главной иллирийской богини Норика — Noreia, сабинской

богини, супруги Марса Neria, Neriena (ср. также Nerio, Nerienis), этрусской богини Nortia(?)[148], германской Nerthus, определяемой Тацитом так «terra mater» (ср. ее мужского партнера морского бога эддического пантеона Njǫrdr)[149] и др. С помощью этого же корня кодируются обозначения некоторых мифологических и сказочных существ хтонической природы, ср. имя Нерея и нереид (Νηρεύς, Νηρηΐδες, ср. н.-греч. νερό 'вода'), *Норку*, *мышку-норушку* русских сказок, прусск. *na*ricie и т. д. В литовском слова этого корня особенно показательны в этом отношении: nãras 'гагара' (творец Вселенной), nerõve 'русалка' при nérti 'нырять' и т. п. (не говоря о многочисленной гидронимии). Тох. ñare 'infernum', др.-инд. naraka- 'подземное царство', 'дыра', русск. *нора*, др.-греч. νέρτερος и т. д. отсылают уже не к уровню мифологических персонажей, а к сакральной топографии. Аспект жизненной силы не менее очевидно отражен в обозначении мужчины-мужа, героя-воина (ср.др.-инд. *na*r — в отличие от vīra-) и его качеств, ср. лит. nar̃sas 'храбрость', 'ярость', 'гнев', narsùs 'храбрый', nóras 'желание' (norė́ti, ср. слав. **no*rvъ, русск. *нóров* и т. п.), хеттск. innaraṷtar-, innara- 'сила', 'мощь', innaraṷant-, innaraṷeš-, in(n)araḫḫ- (ср. ^{D}Innara/šmi/ 'божество'), лув. annarummi- 'сильный', annarum(m)aḫit- 'сила', annari- и т. п. Существенно, что параллелизм отражений **ne*r- и *vel при обозначении низа продолжается и тогда, когда речь идет об обозначении жизненной силы, богатства, власти, элементов социального устройства. К указанным примерам с корнем **ne*r- можно присоединить лит. val̃sčius 'волость', valstýbė 'государство', valstijà, *valstiẽtis* 'крестьянин' (ср. valdà 'владение', valdýba 'правление', val̃dymas, valdõnas 'владыка', valdžià 'власть', valdýti 'править' и т. п. и сходные славянские примеры, ср. Иссл. 1974, с. 74), как и, конечно, примеры с вокализмом -*e*-: лит. veldė́ti 'обладать', 'править', 'наследовать', *veldinỹs* 'наследство', 'наследие', veldė (ср. прусск. weldūnai, weldīsnan, но waldūns и т. п.). Несомненно, что в мифологической перспективе создание Вильнюса и есть тот переход от *иного*, чужого мира к этому, своему, который предполагает наличие двух полюсов: **ne*r- и *vel- 'низ', 'хтоническое', 'смерть' - **ne*r- и *vel- 'жизненная сила', 'плодородие', 'богатство', 'мужество', 'власть'; на уровне мифологической персонажной номенклатуры эти два полюса представлены противостоянием чудовища (змея, дракона) и его победителя, основателя новой Вселенной (в частности, города), нового порядка вещей, при котором обращение к хаосу и смерти способствует регенерации элементов космоса[150]: stirb und werde, по слову Гете.

Последнее звено мифа об основании Вильнюса связано с жрецом Лиздейкой и всей линией верховных жрецов при святилице Перкунаса на Швинтороге от его основания до разрушения его при Ягайле, когда на месте святилища начали строить костел Св. Станислава. Эпизод, посвященный Лиздейке,

важен в разных отношениях. Сюжетно и идейно он составляет основу мифа: Лиздейка выступает во всей полноте сокровенных знаний и объясняет Гедимину вещий сон, после чего закладывается город, которому предсказана великая слава. Вместе с тем этот эпизод обращает нас к теме ритуала, к структуре отношения между жреческой и княжеской (воинской) функциями. Наконец, эпизод с Лиздейкой, видимо, может приоткрыть несколько занавес, закрывающий нам картину раннего социально-топографического членения города и, — если идти далее, — ввести все предание об основании Вильнюса в более обширный класс типологических сходных текстов.

Позднее предание сообщает, что верховный жрец Криве-Кривайтис, гуляя однажды в лесу на высоком холме (где позже возникли Веркяй — Verkiai), встретил девицу, к которой воспылал страстью. Вскоре у нее родился сын, происхождение которого нужно было скрыть. Узнав, что Гедимин собирается на охоту в эти места, жрец положил ребенка в корзину, скрыв ее в зелени. Звук охотничьих рогов разбудил ребенка, он заплакал [151] и таким образом был обнаружен Гедимином. Жрец внушил князю мысль, что эта находка — счастливое предзнаменование, и Гедимин взял мальчика к себе, воспитал его как будущего жреца. Впоследствии Лиздейка сам стал верховным жрецом (Криве-Кривайтисом) и родоначальником фамилии Радзивиллов. Другая версия (кажется, более старая и во всяком случае более интересная) существенно проще — Гедимин [152] во время охоты находит в о р л и н о м г н е з д е плачущего ребенка, который получил имя Лиздейка (Lizdeika, от lìzdas 'гнездо'). Хотя этимологический мотив ver̃kti — Verkiai не может в данном случае считаться основательным, не исключено, что именно окрестность Веркяй уже издавна была как-то отмечена. Характерно, что при уничтожении язычества Ягайло отдает Веркяй католическому епископу для летнего местопребывания (уже в XVI в. Константин Бржостовский воздвиг здесь великолепные палаты, в которых тогда и позже живали многие епископы). Зная специфику замены языческих культовых объектов христианскими, можно предположить, что и до 1387 г. в Веркяй существовало какое-то святилище или, по крайней мере, жили языческие жрецы. Сочетание мотивов «п о д к и н у т ы й мальчик в о р л и н о м г н е з д е» (и, видимо, на в ы с о к о м д е р е в е, ср. na drzewie zawieszonego. Stryjk. I, 371) и «дар предсказания» (мистические способности) [153], описывающее ядро сюжета о Лиздейке, заслуживает особого внимания, поскольку оно является устойчивым признаком многочисленных рассказов о воспитании шаманов (отверженность, сидение в орлином гнезде на шаманском дереве, приобретение шаманских способностей, в частности умения толковать сны) [154]. Нередко эта схема включается в более обширную, где у мальчика, ставшего великим шаманом, появляется брат-близнец, оказавшийся неудачником. Наконец, та же схема

выступает и в мифах о братьях-близнецах, один из которых становится основателем города. Достаточно вспомнить рассказ Тита Ливия об основании Рима (I, 4—8), ставший предметом многочисленных исследований [155]. Римские аналогии постоянно возникают в связи с историей Литвы и особенно Вильнюса прежде всего у Стрыйковского (ср. выше отсылки к Ромулу и Рему, Реи Сильвии, волчице и т. п.). Несомненно, что значение римской истории и соответствующих источников повлияло и на позднюю версию рассказа о Лиздейке, брошенном в лесу. Но здесь, как и в ряде других случаев в этой же работе, есть потребность за бесспорными, лежащими на самой поверхности аналогиями с рассказом о двух римских близнецах [156] выявить типологически сходный слой, который, однако, едва ли мог сложиться под влиянием латинского источника или даже быть вторично осмысленным в этом плане. При учете того обстоятельства, что существует огромное количество близнечных аналогий [157], роль именно римской версии в сложении легенды об основании Вильнюса должна быть признана более скромной. Наконец, в самих преданиях, касающихся начала Вильнюса, хотя и отдаленно, но довольно настойчиво возникают ходы, не позволяющие исключать полностью предположение о наличии здесь следов близнечного мифа.

Прежде всего обращает на себя внимание двойное имя жреца Криве-Кривайтиса (лит. Krìvė-Kriváitis); оно подтверждается и материалами, относящимися к пруссам, ср., например, Criwe у Дюсбурга и Николауса из Ерошина, но kirwait, kirwaido и т. п. у Симона Грунау. В текстах XVI в., описывающих мифологическую эпоху в истории пруссов, говорится о двух братьях Брутене и Видевуте, прибывших по морю в устье Вислы. При этом Брутен принял титул Crywo Cyrwaito и воздвиг в Rikoyto жилище для себя и своих богов Patollo, Patrimpo, Perkuno (LPG, 1936, 192, ср. 194). Симон Грунау подробно описывает изображение этих богов на знамени Видевута (LPG 195—197). В другом месте было показано [158], что оба первых бога Patols и Potrimps составляли пару божественных близнецов, хотя один из них «ein alter mahn mit einem langem groen bardt», а другой «ane bardt». Они воплощали тот вариант близнечной схемы, когда речь идет о двух близнецах, детях небесного бога, один из которых — юноша, а другой — старец, соответственно связанные с жизнью и смертью, весенним и осенне-зимним циклом [159]. Эти же два близнечных божества (вместе с третьим — Перкуном) были изображены на священном дубе, почитаемом пруссами [160], что соотносимо с почитанием римских близнецов в связи с ficus Ruminalis ʻдерево Римаʼ [161], образом мирового дерева. Еще интереснее в этой связи сообщение Симона Грунау о том, что у пруссов во многих местах устанавливались столбы с изображением двух братьев-вождей Видевута и Брутена, и эти столбы почитались как боги, при этом одного из них называли Worskaito, а другого Iszwambrato, т. е. swais

brati ʻего брат’ (братья-близнецы считались покровителями скота). В этом контексте, характеризуемом наличием двух богов-близнецов (старшего и младшего), двух братьев, из которых один — вождь, а другой — жрец, принявший титул Криво-Кривайто, двух столбов, изображающих этих братьев и связанных с почитанием скота, нетрудно заполнить последнюю серьезную лакуну, предположив, что двойное имя Криво-Кривайто относится к обоим братьям. Вильнюсская ситуация, когда Krìve-Kriváitis относится к одному верховному жрецу [162], о брате которого нам ничего неизвестно, должна рассматриваться как вторичная, обязанная своим происхождением трансформации конвергентного типа («склеивание» братьев-близнецов в единый образ с сохранением двойственности и указанием на близнечность только в имени). Реконструкция предыдущего этапа приводит к правдоподобному постулированию близнечной пары *Kriv- & & *Krivait. Такая же структура имен двух близнецов (т. е. наличие общего корня в обоих именах, наличие деминутивного образования во втором имени и, наконец, последовательность, когда более короткое имя предшествует более длинному) обнаруживается и во многих других случаях. Здесь уместно напомнить о латинской паре Remus et Romulus [163] или осетинской паре Xsart — Xsærtæg. Преимущество, отдаваемое форме *Kriv- перед *Kriv-ait-, также, возможно, имеет аналогию в употреблении имени Рема в значении *Рем и Ромул*, ср.: regnave prima Remi, signa Remi, domus alta Remi, de plebe Remi и т. п. Еще более существенно, что по имени героя-основателя, одного из близнецов, город получает свое имя. Таково происхождение названия Рима: Roma при Romulus, и таким же образом следует объяснять название Кривого города в Вильнюсе: *Кривой городъ*, *Кривый*, *Кривы*, *Крывый*, Krywy, Krziwy horod, Krziwgorod, Curvum castrum (*Kreiv- & *pilis или *Kriv- & *pilis ?) при Krìvė, *Криве* (имя основателя ритуальной традиции, а вполне возможно, и древнего города, предшествующего созданию исторического Вильнюса). Едва ли такая серия совпадений может быть случайной и в то же время быть результатом сознательной ориентации на римские источники. Уже сказанное на тему Криве-Кривайтиса и его близнечных истоков, как и глубоко укорененная в балтийской традиции идея близнечества, проявляющаяся в мифологии и фольклоре, в орнаментах, украшениях, утвари, деталях дома, ритуальных сооружениях и даже в вегетативном коде [164] побуждают сделать вывод о том, что и парное имя Krìvė-Kriváitis отражает действительно некогда существовавший близнечный образ. Допустив возможность такого вывода, приходится обратить внимание на весьма частую ситуацию в подобных близнечных мифах, когда один из братьев фактически никак не участвует в сюжете [165] (отчасти это относится и к Рему, чья роль, по сути дела, сводится к «Bauopfer»). Вероятно, что в мифе об основании Вильнюса, дошедшем до нас в позднем оформлении, брат

Криве исчез из сюжета именно ввиду его пассивной роли[166]. Удивляться этому не приходится, поскольку известен ряд других примеров такого же исчезновения одного из близнецов или замены одного из первоначальных близнецов другим, хронологически более поздним образом, лишь отчасти имитирующим некоторое сходство с уцелевшим близнецом.

В другой работе (Миф. назв. 1976, с. 127) было обращено внимание на само имя жреца, руководящего ритуалами, приуроченными к капищу Перкунаса. Ср. krìvis, krìvė, kriváitis, kriváitė (жрица — помощница Криве-Кривайтиса[167]), а также названия основного атрибута жреца — искривленной палки: krìvė, krivū̃lė, krivùlis и т. п. (см. LKŽ VI, 657—662), kreivùlis ʻкривое деревоʼ, krė̃ivašãkis ʻс кривыми ветвямиʼ, kreĩvas ʻкривойʼ, ʻкосойʼ, ʻнехорошийʼ, ʻскрюченныйʼ, kveivẽ ʻкриваяʼ, kreìvkelis ʻкривой путьʼ и т. п.[168]. Устойчивость жреческого атрибута подтверждается современной сельской практикой созыва односельчан старостой, когда он посылает по домам свой посох — кривую дубовую палку (krivulė)[169], ср. сходное перекодирование: Krive Брутен + столб с его изображением (см. выше). Но в связи с трансформациями основного мифа, имеющими дело с мотивом создания города неким мифологическим персонажем, весьма интересна связь между именем этого персонажа и названием его основного атрибута (ср. Krak — krakuła, krakulica и т. п.; *Кий* — *кий* и т. п.[170]), особенно обильно и надежно подтверждаемая как раз литовскими данными[171]. Не говоря сейчас о ряде других аргументов, которые можно было бы привести в подкрепление мнения об отражении близнечного мифа в преданиях об основании Вильнюса, и о параллелях с другими традициями, знающими мотив божественных близнецов, целесообразно закончить этот ряд рассуждений постановкой вопроса о поисках возможностей для реконструкции предыстории Вильнюса как определенной социальной структуры.

Как известно, именно близнечная схема особенно часто имплицирует переход к теме социальной организации данного коллектива[172]. В самом деле, близнецы различаются между собой по внешним характеристикам и по судьбам, которые выпадают им в сюжете. Эти различия проецируются и в сферу социальных отношений, понимаемых как широкая область, охватывающая и проблему территориального размежевания, и разграничение основных функций коллектива, и многое другое. В свете недавнего предложения Пухвела различать среди близнецов два персонажа, условно обозначаемых как «Twin» и «Man»[173], один из которых — первый смертный, тот, кто приобщился *иному* царству и воплощает собой «жизнь смертную» (ср. авест. g*aya ma*rətan), а другой — основатель религиозного закона, учредитель ритуала, — уместно еще раз обратить внимание на высказанные выше соображения о возможных отражениях этой схемы в обоих циклах вильнюсских ле-

генд: *Krivait- или *Švent/a/-rag- как первый умерший, по крайней мере, в том специфическом смысле, который предполагает посмертную жизнь, и *Kriv- как верховный жрец, установитель ритуала. Возможно, что это первое опробование схемы было развито во втором цикле, где совершенно несомненно выделяются два элемента, противопоставленные друг другу. Речь идет об элементе *Vel-/*Vil-/*Val-, употребляемом в отнесении к низу, смерти, но и к богатству и процветанию, и об элементе *Kriv-, связываемом с религиозно-магическими функциями[174]. Вместе с тем указанное разделение, возможно, пересекается и отчасти перекрывается другим — условно этнолингвистическим противопоставлением, в свою очередь осложненным определенными социально-экономическими различиями. Похоже, что комплекс *Vil- относился к литовскому элементу и первоначально локализовался в районе Верхнего и Нижнего замка, долины Швинторога (и территорий, примыкавших с юга и юго-запада). Комплекс же *Kriv- мог в таком случае первоначально связываться с пространством за Вильной (к востоку от нее: Алтария, а позже Заречье, Поповщизна, Поплавы и, может быть, даже несколько к западу от Вильны — Имбары, Сафьяники), а этнически — со славянским (западнорусским) элементом, всегда преобладавшим в этих местах. Это предположение, связанное с ролью комплекса *Kriv-, не могло быть актуальным до самого конца XIX в., когда историки исходили из наличия в городе двух замков (Верхнего и Нижнего) и считали, что Кривой город находился внизу, примыкая к Нижнему замку[175]. Это убеждение было столь твердым и априорным, что не было обращено внимания на несомненные свидетельства старых орденских авторов, указывавших на его положение наверху, ср.: «das obirste hus» (SRP III, 165: Иоганн фон Посильге), «in loco antiqui castri in monte» (SRP II, 65 сл.: Виганд) и особенно: і заложил город один на Швинторозе, нижнии а другии на Кривои горѣ которую н͠нѣ зовут Лысою. і наречет имѧ тым городом Вилнѧ. Арх. (ПСРЛ XVII, 261—262). В связи с этими свидетельствами было высказано мнение о том, что традиция, приписывающая основание Кривого города Гедимину, могла оказаться исторически неверной, так как Кривой город, возможно, существовал и до Гедимина. Также было сделано допущение, согласно которому западнорусские летописцы XVI в. знали, что на Лысой горе некогда был замок, называвшийся, как и сама гора, Кривым (в 1390 г. замок был разрушен)[176]. Археологические разыскания подтвердили наличие поселений на Алтарии, относимых к XIV в. и даже раньше (XII—XIII вв.)[177]. А это в свою очередь придает особое правдоподобие мнению о том, что именно здесь был Кривой город. Если Кривой город действительно находился в восточной части Вильнюса, за Вильной, получило бы дополнительные шансы быть верным мнение о наличии в Вильнюсе кривичского племенного элемента в гедиминову

эпоху или даже раньше. В таком случае родоначальник племени в мифологизированной традиции *Крив* мог бы быть сопоставлен с уже рассмотренными персонажами ранневильнюсского периода. В свете сказанного существенно, что сам элемент *Kriv- в рамках гедиминова цикла оказывается как бы просвеченным чуждыми интенциями другого этнолингвистического комплекса. Уже сама форма *Kriv- вместо ожидаемого лит. *Kreiv-, видимо, должна быть заподозрена в славянском происхождении (скорее всего это же относится и к апеллятивам с корнем *kriv- в литовском [178]). Но есть, кажется, некоторые указания и содержательного характера на связь с элементом *Kriv- смыслов, относящихся к уклонению от нормы (ср. krìvis 'левый', 'искривленный', 'скрюченный' в соотнесении со значением имени отца Эдипа Лаия и других «левых» имен [179]), впрочем контролируемое или даже корректируемое со стороны целого, включающего в себя и отклоняющиеся, поначалу чуждые элементы (остаточная пейоративность перекрывается преобладающим употреблением слов этого корня как единиц классификационной системы). Тит Ливий описывает одну из важных вех в истории Рима (I 8): «Город между тем рос, занимая укреплениями все новые места, так как укрепляли город в расчете скорей на будущее многолюдство, чем сообразно тогдашнему числу жителей. А потому, чтобы огромный город не пустовал (*ne* vana urbis magnitudo esset) [180], Ромул воспользовался старой хитростью основателей городов (созывая темный и низкого происхождения люд, они измышляли, будто это потомство самой земли) [181] и открыл убежище в том месте, где теперь о г о р о ж е н о, — по л е в у ю сторону от спуска между двумя рощами. От соседних народов сбежались все жаждущие перемен — свободные и рабы без разбора — и тем была заложена первая основа великой мощи». Такая ситуация вполне могла иметь место и в Вильнюсе [182], где территориальная и социальная консолидация могла предполагать нечто подобное инициативе Ромула. Примеры переноса ключевых обозначений частей города (ср. гору Гедимина у устья Вильны и в р-не совр. Margytės g. [183]; Кривой город на Алтарии и внизу у Нижнего замка и т. п.) и как следствие — их неединственность в истории города (ср. две горы Гедимина, два Кривых города, две Туровых горы и т. п.), по-видимому, отражают линии динамических связей, процессы взаимодействия разных социальных комплексов внутри города. Во всяком случае, предполагая ограничения и исключения, можно говорить о том, что местом репрезентации воинской функции в ее наиболее четком выражении была гора Гедимина (Верхний замок), магико-юридической, религиозно-ритуальной — долина Швинторога, производительно-экономической — Кривой город. Вместе с тем Нижний замок с князем и дружиной или Кривой замок также соединялись с воинской функцией, а отражения магико-юридической функции были возможны и в других местах (ср. сведения о святилищах на Антакални-

се, около теперешней церкви св. Духа и бывш. монастыря Базильянов, у Пятницкой церкви и т. п.). Более того, вообще остается неизвестным, насколько каждый территориальный комплекс мог представлять собой самодовлеющее целое в смысле совмещения в себе всех трех социальных функций или же при отсутствии этой самодостаточности и при наличии известной зависимости от других частей города, — насколько каждый такой комплекс мог развивать хотя бы частичные способы воплощения недостающих ему функций. Кажется, для ранней истории Вильнюса можно предположить схему такого устройства, когда, с одной стороны, существовали три разных территориальных комплекса с преобладанием в каждом одной особой функции и, с другой стороны, каждый из этих компонентов обладал возможностью осуществлять все три функции, правда, в редуцированном виде. Автаркические тенденции города требовали устранения энтропии и в территориальном и в социальном устройстве города. Избыточность и асимметрия организации, осложненные наличием разных этнокультурных и конфессиональных элементов, должны были ощущаться как существенная помеха. В этих условиях синтетическим тенденциям суждено было стать ведущими. Можно высказать предположение, что пространство, на котором произошло решающее объединение элементов, примыкало к Нижнему городу с юга и юго-запада (район Старого города, с известного момента называемого Кривым, с осью в виде теперешней Замковой ул. — Pilies g.). Именно здесь скорее всего могли произойти нейтрализация противопоставленных друг другу этнических (а отчасти и социальных) элементов и территориальное объединение социальных функций, позволяющее говорить о сложении пространственно-социальной структуры неоднородного в этнолингвистическом отношении города. Замок, долина Швинторога и Кривой город (на Алтарии) встретились друг с другом на этом пространстве и, образовав новое единство, сами по себе начали утрачивать свое прежнее значение [184]. Комплекс *Vil-/*Vel-, актуализировавший наиболее глубокие и интимные условия бытия города, стал ведущим и дал городу свое имя [185], постепенно утрачивавшее память о его мифопоэтических истоках, о благословении неба свыше и благословении бездны долу.

Примечания

[1] Таково аназвание книги Г. Чайлда, в которой впервые появилось и само выражение «Neolithic revolution» (London, 1939. P. 74 ff.).

[2] См.: M. Buber. Ich und Du. Leipzig, 1923.

[3] Раскопки последнего времени в Чатал-Гююке, Хаджиларе, Мерсине и т. п. (Анатолия), Иерихоне, Гассуле и т. п. (Палестина) позволяют, по-видимому, говорить

о появлении городов уже в VII—VI в. до н. э. Тем более бесспорно это для следующих тысячелетий (ср. Месопотамию, Иран, Египет и т. д.). Ср.: J. Mellaart. Earliest Civilizations of the Near East. London, 1965; Idem. Çatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolia. London, 1967; R. M. *Kenyon*. Archaeology in the Holy Land. N. Y., 1960; ср. также: *Б. Брентьес*. От Шанидара до Аккада. М., 1976 и др. Следует, однако, здесь и далее помнить, что сказанное о смысле неолитической революции (и, в частности, о городе) должно пониматься не столько в плане определения количественно (и даже реально) преобладающих элементов новой организации, сколько в плане открытия еще одного (по сравнению с предшествующим периодом) варианта решения основной стратегической задачи, стоящей перед человечеством, и, следовательно, оформления некоей альтернативы. Значение неолитической революции, как можно думать, и состоит прежде всего в осознании принципиальной важности альтернативного решения. Возможно, это определение допускает и более сильную формулировку, но в данном случае оно может рассматриваться как вполне достаточное. И еще одно ограничение: имея в виду проблему ранних городов, позволительно принимать в расчет не всю неолитическую эпоху, а хотя бы ее заключительный период.

[4] Связь этих институций с определением первых городов правильно подчеркивается В. М. Массоном (Пути неолитической революции // Поселение Джейтун. Л., 1971. С. 147 и др.).

[5] Разумеется, известны и такие формы городского существования, которые ориентированы на застойность, но такая установка едва ли совместима с идеей великих городов.

[6] Этот аспект был подчеркнут в докладе Вяч. Вс. Иванова (июнь 1976 г., сектор структурной типологии Института славяноведения АН СССР). Здесь же затрагивался вопрос и о неолитической городской цивилизации Малой Азии. К образу города-блудницы ср. историю Содома и Гоморры, а также принадлежность к женскому роду таких названий города, как др.-греч. *πόλις*, лат. urbs, др.-инд. *pu*r и т. д.

[7] Город не только стоит над бездной и представляет собой место, где связи с ней, с иным царством осуществляются легче и полнее всего. Вместе с тем город толкуется и как место встречи с богом (Вавилон как ʿВрата бога' — *Ba*b-ili), центр земли, где проходит axis mundi. Именно здесь рукой подать и до неба (*На Красной площади земля всего круглей...*). Таким образом, город оказывается отмеченным дважды — благословением неба свыше и благословением бездны долу, будущего и прошлого. Город ориентирован и на то и на другое. Он живет переработкой одного в другое (из энтропии он создает новый космос), и в этом смысле он осуществляет медиацию противоположностей, определявших модель мира еще в космологическую эпоху. Этот «синтетический» способ существования города не может не привести к космополитизму великих городов.

[8] Ср. семь холмов Рима (Septimontium, Septemgemina Roma, *ʿΕπτάλοφη ʿΡώμη*), Константинополя, Москвы; в некоторых мифологизированных описаниях Вильнюса также говорится о семи холмах. Ср. в связи с цитируемым местом также семь царей в Риме, семь сыновей Гедимина, легендарного основателя Вильнюса, и тяготение к включению самого Гедимина в семичленную цепь первоначальных литовских князей.

[9] Уже Ромул четко сформулировал свой взгляд на природу города: «urbes ... ex infimo nasci; dein, quas sua virtus ac dii iuvent, magnas sibi opes magnumque

nomen facere…» ‘города … родятся из самого низменного, а потом уже те из них, кому помогою собственная доблесть и боги, достигают великой силы и великой славы (имени)’ (Tit. Liv. I, 9).

[10] «Создали две любви, два града: град земной — любовь к себе до презрения к богу; град же небесный — любовь к богу до презрения к себе» (S. Augustin. De Civitate Dei XIV, 28).

[11] В этой связи нельзя забывать о вкладе в эту тему «готического романа» и его продолжателей (Уолпол, Анна Радклиф, Мэтьюрин и др.), немецких романтиков (особенно Гофмана) и, наконец, французской «неистовой» школы (Гюго, Жанен, Сю и др.) и Сент-Бева как теоретика топографического метода. Урбанистическая литература и искусство второй половины XIX в. и далее вплоть до наших дней составляют уже следующий этап того же процесса семиотизации города и его элементов.

[12] Ср. образы «спиритуализованных» домов, комнат у Диккенса (напр., дом Нелли в «Лавке древностей») или у Достоевского. Ср. в более широком контексте:

Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma…

(Römische Elegien, I)

Интерьеры нидерландской и голландской живописи XIV—XVII вв., как и итальянские опыты — и этого же рода и относящиеся к образу идеального города (ср. «Prospettiva di città ideale» Пьеро делла Франческа, Урбино), — один из самых существенных этапов на пути, приведшем к соотнесению города и жилища со сферой духовного.

[13] В высшей степени поучительно, что внимание обращается прежде всего (а иногда и исключительно) на те места города, где убожество, нищета, страдание, горе концентрируются особенно густо, можно сказать, максимально.

[14] Речь идет об особом состоянии воспринимающего сознания, когда ему вдруг все становится видно и ведомо (откровение). В эти моменты пространственно-временной континуум приобретает свойство всепроницаемости, «космизированности». Все угнетающее человека бесследно исчезает, и он приходит в состояние эйфории, высшего освобождения, когда кажется, «что весь этот мир … в этот сумеречный час походит на *фантастическую, волшебную грезу, на сон…*» («Слабое сердце» Достоевского). Ср. многочисленные примеры такого прорыва человеческого сознания в связи с Петербургом в «петербургском тексте» русской литературы (особенно у Достоевского).

[15] Но сама эта функция для своей естественной реализации нуждается в сохранении должной степени сложности, гетерогенности, неопределенности (даже частичной непредсказуемости) городских структур и их эффектов. Жесткое и механическое соотнесение человека с основными параметрами обитаемого им пространства, установка на максимальную прагматичность в решении задачи «человек в городе», иначе говоря, легкость и автоматичность экспликаций в системе «человек-город» (Ле Корбюзье и его последователи), подрывает самое идею духовной регенерации человека

г о р о д о м (а не помимо его, вопреки ему). Попытка отсечь, исключить аспект связи города с бездной (хотя бы в бодлеровском варианте), с противоестественным, т. е. «антиприродным» (и, следовательно, греховным) характером и самого города и акта его основания, лишает город важнейшего средства духовного воспитания, человека, а человека — тех вдохновений и откровений, которые исходят из города, взятого именно во всей полноте его противоположностей.

[16] Ср.: *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 109—120 (о Киеве, Кракове, отчасти Вильнюсе; настоящая статья предлагает вариант дальнейшего развития и уточнения выводов этой совместной работы), далее — Миф. назв. 1976; *В. Н. Топоров.* Фрак. *Βυζάντιον* в индоевропейской перспективе // Этимология 1976. М., 1978. С. 136—150 (О Виза́нтии-Константинополе); предполагаются также статьи о Москве и Петербурге. Обильны попытки аналогичного подхода к теме Рима, о чем отчасти см. ниже.

[17] Ср. также такие места в Вильнюсе, как Кальвария, Вифлеем и т. п. и связанные с ними обряды.

[18] См. о них: W. Zahorski. Podania i legendy wileńskie. Wilno, 1925; P. Vingis. Vilniaus padavimai. Kaunas, 1931; K. Chodynicki. Legenda o męczeństwie czternastu franciszkanów w Wilnie // Atheneum Wileńskie, 1927, r. 4, z. 12; Idem. Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich // Ibid., 1927, r. 4, z. 13; W. Dobaczewska. Legenda wileńska o Kasprze Bekieszu // Goniec Poranny, 1939. № 44; J. Jurginis, V. *Me*rk*y*s, A. Tautavi*č*ius. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 1968. С. 30—31, 33—36 (далее VMI) и т. п.

[19] Примеры и осмысление их см. в библейской тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья».

[20] Ср., напр.: *М. А. Ючас*. Литовское великое княжество во второй половине XIV — иачале XV в. и борьба литовского народа за независимость. Автореф. канд. дис. М., 1956; *Он же.* Русские летописи XIV—XV вв. как источник по истории Литвы // Lietuvos TSR Mokslų Akad. darbai, 1958, ser. A, 2(5). С. 69—82; M. Hellmann. Zu den Anfängen des litauischen Reiches // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1956. Bd. 4. S. 159—165; *В. Т. Пашуто*. Образование литовского государства. М., 1959. С. 9—77 (далее — ОЛГ) и прежде всего, конечно, H. Lowmia*ń*ski. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. T. 1—2. Wilno, 1931—1932.

[21] Менее всего хотелось бы здесь ставить под сомнение научную честность и объективность этих авторов. Речь идет лишь об особенностях самой темы, в той или иной степени определяющих ее описания.

[22] Отсюда — немалое число фальсифицированных источников или таких, относительно которых трудно ответить, фальсифицированы они или нет. Яркий образец первого рода — рукопись Верчинского (или Антона Рыдлы) об оборонительных стенах Вильнюса, см.: *H. Lowmiański.* Sfalszowany opis obwarowania m. Wilna // Atheneum Wileńskie, 1925, r. 3, z. 9. С. 82—94; V. Merkys. Vilniaus miesto gynybiniai įtvirtinimai 1503—1805 metais // Iš lietuvių kultūros istorijos, 2. Vilnius, 1955. С. 191—213 (далее — LKI). Об оборонительной стене в Вильнюсе см. теперь: I. *Jucienė*, V. Levandauskas. Vilniaus miesto gynybinė siena. Vilnius, 1979.

[23] С существенно различными топографическими схемами Вильнюса не только в том, что касается номенклатуры, но и в том, что касается отношения между главными и второстепенными элементами городского пространства.

[24] Находится в дополнительных статьях Археографического списка Новгородской Первой летописи и относится, видимо, к концу XIV в. См.: *М. Н. Тихомиров*. «Список русских городов дальних и ближних» // Исторические записки, 1952. Т. 40. С. 214—259.

[25] Если Миндовг называет себя королем Литвы (Mindowe, dei gratia rex Lettowiae… Жалованная грамота епископу Христиану, 1254 г.), то Гедимин уже король литовцев и (многих) русских. Ср.: Gedeminne, letwinorum et multorum ruthenorum rex — 1322 г.; Gediminne, dei gratia letphinorum ruthenorumque rex, princeps et dux Semigallie — 25 января 1323 г., 26 мая 1323 г. (трижды), 22 сентября 1324 г. Сходным образом называют Гедимина в посланиях к нему (Illustri principi domino Gedemynde dei gratia lethwinorum ruthenorumque regi… в «Послании Гедимину Совета города Риги», до 2 октября 1323 г.; Excellenti et magnifico viro Gedeminne, letwinorum et multorum ruthenorum regi… в «Послании Гедимину папы Иоанна XXII» от 1 июня 1324 г.) или в посланиях о нем (…magnifici principis domini Gedeminni, lethowinorum et multorum ruthenorum regis… в заявлении Лессе, посла Гедимина, от 2 марта 1326 г.). Характерно, однако, что в договорных документах Гедимин называет себя королем Литвы: ср.: Gedeminne, de koning van Lethowen… (Договор с Орденом и др. от 2 октября 1323 г.); Det is de vrede, den de mester van Liflande unde de koningh van Lettowen hebbet ghemaket… (Торговый договор с Орденом от 1 ноября 1338 г.) Ср. также русские княжеские роды, восходящие к Гедимину, — гедиминовичи.

[26] Следует учесть и роль фактора поликонфессиональности. Ср. сообщение посланцев папских легатов (1324 г.):

…et christianos facere deum suum colere secundum morem suum, r u t h e n o s s e c u n d u m r i t u m s u u m, p o l o n o s s e c u n d u m m o r e m s u u m e t n o s c o l i m u s d e u m s e c u n d u m r i t u m n o s t r u m…

[27] Ср. первую версию римского происхождения литовцев, принадлежащую Длугошу. Согласно ей, имя литовской столицы, как и названия двух рек, на которых она стоит (Вильня и Вилия), обязаны своим происхождением основателю города, выходцу из Италии, посетившему многие страны, князю Вилюсу. См.: J. Długosz. Dzieła wszystkie. T. 4. Kraków. 1868. С. 446. Ср. также: Item V i l i a, cuius fons circa villam Kamyen … Item W y l n a, cuius fons circa villam Lawarzysky, ostia in V i l i a m [Вар. in villa] circa civitatem W y l n o; Item W y l n a, honore episcopali et arce editori praedita, duobus fluminibus W y l n a et V i l i a illam a parte utraque ambientibus foecunda… (см.: Joannis Długosii seu Longini Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII. T. 1. Cracoviae, 1873. P. 23, 52).

[28] См.: Gedimino Laiškai, parengė V. Pašuta ir I. Štal. Vilnius, 1966. С. 31, 35. Формула Datum in ciuitate nostra Vilna повторяется не раз в сокращенном виде, ср. с. 45, 57 (Datum Vilna), 171 (Datum Wilno). В мирном договоре Гедимина с Орденом и т. д. (2 октября 1323 г.) эта же формула дана в старонемецком варианте: Desse bref is utgegeven uppe unseme hus to de V i l n e… с. 75. Ср. также повторение уже цитировавшегося отрывка в послании Гедимина от 26 мая 1323 г. монахам-миноритам: …quibus iam ereximus duas ecclesias, unam in civitate nostra regia, dicta V i l n a, aliam in Novgar-

dia… с. 53. В сообщении посланцев папских легатов (1324 г.) еще раз упоминается Вильнюс: …venimus in ciuitatem suam V i l n a m… С. 117.

[29] Scriptores Rerum Prussicarum, I. Leipzig, 1861. P. 170, 183, 189, 190, 217 (далее — SRP). Другие упоминания о Вильнюсе в орденских документах — SRP II, 1863, P. 642 (Wigand von Marburg; ср. там же хронику Борнбаха); SRP III, 1866, p. 165 (Johan von Posilge); Monumenta Medii Aevi Historica. Codex epistolaris Vitoldi. Cracoviae, 1882. P. 196, 1009. Описания города см.: SRP III, 443, 448 (Gilbert de Lannoy); J. Fijałek. Opisy Wilna aż do połowy wieku XVII-go // Atheneum Wileńskie, 1923, I, z. 3—4; 1924, II, z. 5—6, и др.

[30] Здесь это известие ошибочно помещено под 6636 г.

[31] *Вильня* по Виленскому списку, *Вильна* по Академическому.

[32] В Лавр. лет. под 1129 г.: в то же лѣто поточи Мстиславъ кнѧзь Полотьскыѣ Цр^с югороду с женами и с дѣтьми. В «Рифмованной Хронике» имя отца Миндовга не указывается, хотя и сообщается, что dîn vater was *ein kun*ic grôʒ. См.: Livländische Reimchronik, hrsg. von L. Meyer. Paderborn, 1876. S. 146, v. 6383. В «Списке Быховца» отцом Миндовга назван Ринголт: y pomože Boh welikomu kniaziu Ryngoltu … y żył mnoho let na Nowohorodcy y umre, a po sobi zostawił syna swoieho na kniażenij Nowhorodskom Mindowha) (ПСРЛ XVII, 481); сам же Ринголт римского происхождения — от Палемона (он же Apolon, Pilemon), см. ниже.

[33] Впрочем, и в орденском документе от 1409 г. сообщается, что Миндовг жил в Вильнюсе; см.: Codex Epistolaris Vitoldi, Magni Ducis Lithuaniae (1376—1430). Cracoviae, 1882. P. 996—997. Иногда выдвигается мнение, согласно которому Voruta (Воруma. Ипат. лет. 1253) и есть Вильнюс. Ср.: R. Batūra. XIIIa. Lietuvos sostinės klausimu // Lietuvos TSR Mosklų Akad. darbai, 1966, ser. A, 1 (20). К этимологии Voruta см.: K. *Būga*. Rinktiniai raštai, I. Vilnius, 1958. С. 131—136. Ср.: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Mácieja Stryjkowskiego. Wydanie nowe, będące dokładnem powtorzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582. T. I. Warszawa, 1846. С. 368 (далее — Stryjk.): zabudował zamek, który przekopem i wałem o b w a r o w a l (: Voruta).

[34] T. Czacki. Dzieła. T. 1. Poznań, 1844. С. 17; Idem. O litewskich i polskich prawach. Kraków, 1861. С. 16. Последний раз о посещении Снорре Литвы и упоминании им Вильнюса писалось в 1941 г. (Исторический журнал, № 2. С. 43). Ср. резкую критику: *Е. А. Рыдзевская.* Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе // КСИИМК. 1945. 11. С. 53.

[35] Ср. в «Видении Гюльви» из «Младшей Эдды»: «… и она родила ему троих сыновей: одного звали Один, другого — В и л и, а третьего — В е» (т. е. ʻжрецʼ). См. также VMI. С. 30.

[36] Widsith. A study in Old English heroic legend. By R. W. Chambers, M. A. Cambridge, 1912. P. 212. В рукописи: wiolane 7 wilna. Чтение wiolena принадлежит Ригеру, см.: M. Rieger. Alt- und angelsächsisches Lesebuch nebst altfriesischen Stücken. Gießen, 1861. S. 57—61.

[37] Правда, Велюона была построена в 1291 г. (ср. у Дюсбурга под этим годом: Eodem anno in festo pasce Lethowini edificaverunt in eodem territorio Junigede castrum, vocantes ipsum eodem nomine // SRP I, 154; позже Junigede обозначалось как Welun,

Wiliona), а основная рукопись «Widsith» восходит к X в.; впрочем, «Каталог народов» считают более поздней интерполяцией.

[38] Для Ягайлы и Витовта во время процесса с Орденом в 1412 г.: castrum V e l u n a… fuit et erat patrimonium verum et legitimum ac naturale dominium dictorum principum Lithwanie // Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque cruciferorum, II. Poznań. 1892. P. 138; ср. ОЛГ. С. 264.

[39] См.: H. Leo. Altsächsische und Angelsächsische Sprachproben. Halle, 1838. S. 75—85, 251—255. — В понимании этих слов как собственных имен за Лео следовали также многие ученые более позднего времени.

[40] Вообще существенно иметь в виду повторение сходного звукового комплекса в стихе 78: w-l(n)- … w-ln- … w-l…

[41] См.: *Й. Бальчиконис.* Названия литовских населенных пунктов, образованных от названий рек и озер // LP VII, 1959. С. 240—241.

[42] Многочисленные типологические параллели из архаичных традиций (напр., из австралийской) учат тому, что различение в единой форме местного (река, гора, селение и т. п.) объекта и соответствующего деятеля искажает истинную перспективу, то исконное соотношение, которое предносится архаичному сознанию. Впрочем, не только ему. «Genius Loci. Некое божество, великое ли, малое, смотря по обстоятельствам, и всегда требующее молчаливого поклонения. Но, ради бога, нисколько не олицетворение … Думать о странах и городах в человеческом образе это, по опыту всех риториков, значит не думать о них вовсе. Нет, нет, Genius Loci, подобно всем достойным поклонения божествам, — это сущность нашего сердца и ума, существо духовное. Что же до его видимого воплощения, то — оно сам город, сама местность, как она есть в действительности; черты, речь его — это форма земли, наклон улиц, звуки колоколов или мельниц и больше всего, быть может, особенно выразительное сочетание г о р о д а и р е к и, отмеченное Вергилием, "реки, омывающей стены старого города". Fluminaque antiquos subterlabentia muros». — См.: *Вернон Ли.* Италия. Избранные страницы. М., 1914. С. 17—18.

[43] См.: «Список графа Красинского» (Лѣтописецъ великого кнѧзьства Литовъского и Жомоицьского), «Список Археологического общества» (Кроиники великаго княжства Литовского и Жомоiтскаго), «Список графа Рачинского» (Лѣтописець великого князства Литовъского и Жомоитъского), «Евреиновский список» (Книга великого княжества Литовского и Жемоицкаго) — ПСРЛ XVII, 227—238, 239—294, 295—356, 357—412. Соответственно — Крас., Арх., Рач. и Евр. Кроме того, Свинторог/Швинторог упоминается еще в пяти местах западнорусских летописей уже в связи с Гедимином и его охотой на месте будущего города, см. ниже.

[44] Stryjk. I, 308—311.

[45] Основные вехи этой истории переселения Палемона (ср. Palemono kalnas, Seredžius) из Рима в Литву излагаются в литовско-русских летописях довольно однообразно: Гдѣ ж одно княже Римское, Именем Палемонъ которыи ж был цесарю Нерону кровныи. забрался з женою и з детми своими и поддаными своими и скарбы своими. с которым же княжатемъ пять сотъ шляхты также з женами и з дѣтми и многими силами і вземши с собою одного астронома и пошли в кораблех морем по заходу слнца хотячи собѣ наити на земли мѣстцо, гдѣ бы ся имѣли поселить а мешкати с покоемъ. а с тыми шляхты были четыре рожаи наівышшим имены имѣли, с Китав-

русъ Давенпрункгъ а с Колюмнувъ Прешпор а з Русинъ Иульянус, а с Рож Ектор а такъ оныи не малыи часъ по морю ходячи пришли Межиземскаго моря и дошли до реки до Шумы тою рекою Шумою в море окиянъ и морем окияном дошли до устия гдѣ река Немонъ упадываетъ в море окиян. потом пошли рекою Немном в верхъ аже море зовомое Малое которое называетсѧ море Немновое. а с тое причины етое морѣ Немновое называется. иж в то море Немон впадает дванадесятима устьи а каждое зовется особным именемъ межи которыми дванатцетма устьи одно зовется устье именем Скилия, и пошли тым устьем в верхъ и дошли цѣлаго Немна гдѣ ужо онъ сам весь в одном мѣстцы. то есть і верхъ Немна дошли до реки Дубисы гдѣ ж вшедши в тую реку Дубису и над нею нашли горы высокии … там ся поселили, и почали розмноживати и оное мешканье над тыми рѣками велми им сподобалося и назвали тую землю Жомойтыю… Кнзь Палемонъ уродил трех сновъ старшии Боркъ в. Кунасъ, г. Истра. старѣишии ж снъ Боркъ учинил город на рецѣ Юре и зложено имя того княжати поспол с рекою иже имя рецѣ Юрѧ а княжати Боркъ, и назвал тотъ замокъ Юрборкъ. а середнии снъ Кунас пришед на усть реки Невяжи гдѣ она впадываетъ в Немонъ и тутъ учинилъ город и назвал его именемъ своим Куносовъ город, а третей снъ Спера пошол далеи в пущу ко всходу слнца и перешодши рѣку Невяжу, и реку Светую, и третюю рѣку Ширвинту нашол озеро …и над тым озером поселился… Арх. (ПСРЛ XVII, 240—242, ср. 228—230, 296—297, 358—359, 422—423). Ср. Stryjk. I, 83—84. Ср. «римскую» тему у Симона Грунау, польских хронистов и в русской генеалогической и даже старой летописной традиции (ср. при описании пути из варяг в греки: и по тому морю ити до Р и м а а от Р и м а прити по томуже морю ко Црюгороду. Лавр. лет.). Интересно, что римская тема явно или тайно всплывает и позже, во второй половине XIV в., когда Великое княжество Литовское (при Ольгерде) борется с Москвой за киевскую митрополию и возглавление Руси. Поддержкой Византии (исихасты, Кантакузин, Филофей) «Москва отчасти обязана тем, что она, а не Вильна, стала “Т р е т ь и м Р и м о м”». См.: *И. Ф. Мейендорф.* О византийском исихазме и его роли в культурном и политическом развитии Восточной Европы в XIV в. // ТОДРЛ, 1974. Т. 29. С. 303—304; ср.: *Г. М. Прохоров.* Повесть о Митяе. Л., 1978. С. 16—17. Не случайно, что спустя век-полтора, в период формирования тезиса о Москве как «Третьем Риме», особенно актуализируется тема связи русских с Римом через легендарного П р у с а («Сказание о князьях Владимирских»), как бы в обход Вильны и Литвы.

[46] Правда, тут же летописец сообщает и другую версию: «а иныи поведают рекучи і тот Ринкголтъ … оуродил трех снов и зоставит по собе на великом княженю Новгородском Воишвилка і сам оумре» (ПСРЛ XVII, 250).

[47] Иной вариант у польских хронистов. Ср.: Mnie się zaś zda, czego i Długosz i Miechovius, dowodnie poświadczają, iż ten Palemon albo P. Libo, gdy już został xiążęciem tego narodu, tedy też tym krainom dał nowe imię od swej ojczyzny. Włoskiej ziemie, La Italia, bo Włoszy w mowie swojej pospolicie artikułow używają: la citta miasto, il cavallo koń … mówili potym Litulia, Litualia, a za postępkiem czasów Litvania, i Litwa etc. … (Stryjk. I, 81).

[48] Швинторог → Скирмонт → Трабус → Роман.

[49] Ср.: И будучи ему (Мингайлу. — *В. Т.*) великимъ кнзем Новгородцкимъ и Полоцкимъ и пановал много лѣтъ и умер и оставил по собѣ двух сновъ одного Скир-

монта а другаго Кгинвила, и Скирмонтъ почне княжити на Новѣгородцы. а Кгинвилъ на Полотцку, и поиметъ Кгинвил дочку у великаго кнзя Тверского у Бориса именем Марию для которое же окрстился в Рускую вѣру, и дали ему имя Борис, и тотъ Кгинвил рекомыи Борис учинил город на имя свое на рецѣ Березыни и назвaль его Борисов. и будучи ему Русином был велми набожен, и учинил цр҃ковь каменную в Полоцку ст҃ую Софѣю… кн҃зь Борис с тою женою имѣл сн҃а Ротволода (Рогволода. — *В. Т.*) названного Василем и по немъ начне княжити сн҃ъ его Василеи, в Полоцку а самъ умре, и княз Василеи княжачи на Полоцку имѣл сн҃а Глѣба, а дочку Парасковю… и т. д. (ПСРЛ XVII, 245—246).

[50] Ср. Stryjk. I, 307: Swintoroh Utenussowicz z herbu Kitaurus.

[51] Греческий текст апокрифа о Китоврасе, как известно, отсутствует; то же относится и к южнославянским версиям, хотя представления о Китоврасе, несомненно, существовали. Так, в погодинском болгарском «Номоканоне» (XIV в.) запрещаются «о Соломоне цари и о Китоврасе басни и кощуны».

[52] Нельзя исключить, что в литовской (или даже в двуязычной) среде первая часть слова *Кита-* могла осмысляться в связи с лит. kitas ʻдругойʼ — тем более, что Китоврас представлял собой (в соответствии со своим древнегреческим мифологическим источником — кентавром) существо двойной природы.

[53] См.: *А. Н. Веселовский*. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине // Собр. соч. Т. 8. Пг., 1921. Ср. также: *И. И. Срезневский.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. М., 1958. С. 1210.

[54] Этот мотив («враждебная родственность») из числа наиболее важных, хотя и требующих особенно осторожной интерпретации. Он характерен для отношений Соломона как носителя новой традиции к Морольфу-Китоврасу или заменяющему их Сатурну (Соломон называет его в одном англосаксонском источнике broðor — братом) как носителям старой традиции, ставшей уже чуждой и даже враждебной. Правда, следует помнить, что обычно образ Морольфа в западноевропейских источниках развивается в сторону смягчения его черт и даже некоторой комизации образа, на что указывал еще А. Н. Веселовский.

[55] Уже указывалось, что *Волот*, *Волотоман* заменяют здесь, какое-то другое, более старое имя (см.: *А. Н. Веселовский*. Указ. соч. С. 211), но не обращалось внимания на диагностическую роль самой этой замены.

[56] Ср. также укр. *вóлот. вóлоть, волотóк* и *велет, велетень, велетенський* и т. д. См.: *В. В. Иванов*, *В. Н. Топоров.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974. С. 62 и след. (далее — Иссл. 1974).

[57] См. подробнее: *Л. В. Алексеев.* Полоцкая земля (очерки истории Белоруссии в IX—XIII вв.). М., 1966. С. 58—59; ср. также ниже.

[58] Он же на ходу сокрушает каменные палаты.

[59] И кн҃зь Керънус не имѣл сн҃овъ толко одну дочку именемъ Паяту. и будучи он в старости своеи. і не хотячи панства своег от дочки своее отдалити и принялъ до нее и зятемъ своимь собѣ учинил с Китавруса именемъ своим Кгируса сн҃а Довспрункгова з Дѧвилтова и сам умре а по нем начне кнѧжити на земли Литовскои тот зѧт его с Китаврус Кгирус (ПСРЛ XVII, 243).

[60] Если только верно сопоставление с лтш. jumt ʻкрыть (крышу)ʼ, jumts ʻкрышаʼ, ʻкровляʼ и т. п.

[61] Лит. *Живинтяи*, имя князя в западнорусских летописях, восходит к лит. *ž*ìbinti 'жечь', 'зажигать' и соответствующим отглагольным именам; ср. обычные формы — *Жибентяи*, *Жибенътяи*, *Жибндяи*, Zibintha, Zybentiaj и даже *Ибинтяи*.

[62] Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas (далее — LATS). Vilnius, 1959. С. 978; LATS, II dalis. Vilnius, 1976. С. 325.

[63] См.: Lietuvių upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963. С. 181 (далее — LUEV); A. Vanagas. Lietuvos TSR hidronimų daryba. Vilnius, 1970. С. 75, 77, 130, 132, 136, 152, 154, 266.

[64] См.: K. *Būga*. RR I, 417; *В. Н. Топоров*., *О. Н. Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов. Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 181.

[65] Ср. также прусские топонимы и гидронимы: Vutraynen, ок. 1270 Ureyn, Utren, ок. 1400; Wutterkaym, 1419; Wotrinen, 1412;Wttrowin, 1336 (озеро), см.: G. Gerullis. APON 209, 211.

[66] См.: J. Endzelīns // FBR 11, 1931. С. 180; ср. также: *В. Н. Топоров*. Прусский язык. Словарь (A—D). М., 19 75. С. 174—175. Иные точки зрения отмечены в кн.: E. Fraenkel. LEW, 1173.

[67] Единственное исключение, относимое к баснословным временам, имеет целью подтвердить истоки (римские) и высокий престиж этой традиции. После того, как сын Палемона Спера «умер без плоду» «…подданыи его … подлѣ Рымскаго обычая учинили болвана и назвали Спера на память его. и потомъ оныи люди мешкаючи около его и почали ему оферы чинити и за Бога его имѣти потом коли тот болван сказился и они то озеро і мѣсто ховали и мѣли за Бога» (ПСРЛ XVII, 242). Уместно напомнить, что Стрыйковский и обычай трупосожжения, установленный, казалось бы, Швинторогом, связывает с соответствующим древнеримским обрядом (Stryjk. I, 309, 373).

[68] Ср. далее: «lassy wszystki okoliczne kazał wysiec», что предполагает лесистое место в устье Вильны.

[69] Этот же процесс повторялся и в других местах. Так, название города Kaunas, древнейшее обозначение которого встречается, может быть, еще в XII в. у Идриси — Kāniyū (см.: R. Ekblom. Idrīsī und die Namen der Ostseeländer // Namn och Bygd, 1931, XIX. S. 1—84; иначе (Nimiya) — *O.* Y. Tallgren Tuulio, A. M. Tallgren. Idrīsī. La Finlande et les autres pays baltiques orientaux // Studia orientalia, III. Helsingforsiae, 1930. P. 45), происходит, конечно, не от имени князя *Кунос*, а от лит. *kaunas 'низкий', 'низменный' (ср. готск. hauns 'низкий', haunjan, hauneins и т. д.) и, следовательно, Ka*ũ*nas — «der in der Niederung gelegene Ort, Tiefe, Niederung» (см.: G. Studerus. Zum Stadtnamen Kaunas // IF 47, 1929. S. 350—356; E. Fraenkel. LEW, 231), ср. лит. *кunẽ* 'непроходимое болото'; сюда же относят и лтш. kauns 'стыд', 'срам', k*aunī*gs, *кau*nēties и т. п. с иным кругом значений; ср. также карийск. Κ*αῦνος* название города. Впрочем, есть и другие объяснения для Ka*ũ*nas, в частности, из фамильных обозначений, ср. прусск. Cawnin (Thomas, Michael) и др. (см.: P. Jonikas. // BNF 2, 1949. S. 20 ff.; A. Vanagas. Didžiųjų Lietuvos miestų vardai // Vardai ir žodžiai. Vilnius, 1971. С. 35—36); ср. также: Senn A. // Tauta ir žodis, III, 1925. С. 510 (: káuti, kaunùs). Сходный принцип образования отражен и в лит. Kernav*ẽ* (город и река), ср. kernav*ẽ* 'топкое место на лугах, в лесах'. См.: A. Vanagas.Miestelio ir upės vardas Kernav*ẽ* // Kernavė. Vilnius, 1972. С. 294—297.

[70] Ему могли соответствовать русск. **Святорог*, польск. *Swiętoróg.

[71] См. LATS 1959. С. 963; LATS 1976, II. С. 311.

[72] Ср. гидронимы типа *Šventẽžeris*, *Šveñtravis*, *Šveñtupė*, *Šventupỹs*, *Šveñtvandenis*, *Šventaduõnis* и т. п. (LUEV, 169—170), а также *Šventóji*, *Šventẽ*, *Šventẽlė* и т. п.

[73] Такого рода значения предполагаются и для прусск. ragis (помимо ʽрогʼ) на основании Ragow, 1419, Ragaw, 1425 (ср. Ragayne, 1312; Ragoysen, 1334). Наконец, существенно учитывать и круг значений производных слов, ср. лит. raguvà ʽнебольшое углублениеʼ, ʽвымытая водой ямаʼ, ʽглубокая яма в реке (на дороге)ʼ, ʽоврагʼ, ʽглубокий овраг с крутыми склонамиʼ, ʽущельеʼ, ʽузкая глубокая долинаʼ, ʽлощина между горамиʼ, ʽузкий проходʼ, ʽдорога по откосу, горыʼ, ʽущельеʼ, ʽдолина рекиʼ, ʽкрутая отвесная гораʼ, ʽсклон горыʼ, ʽвысокое местоʼ, (см.: *Л. Г. Невская*. Словарь балтийских географических апеллятивов // Балто-славянский сборник. М., 1972. С. 357.

[74] Именно здесь (и, судя по всему, не случайно) Петр I крестил Ганнибала.

[75] Ср., правда, применительно к другой эпохе: «Итак, Великушский пилкалнис (Дусятский р-н. — *В. Т.*) является местом для совершения трупосожжений, обрядовым городищем, «холмом душ» (v*ėlių* kalnelis), куда, по выражению литовских погребальных причитаний (raudos), «переселялись души умерших» (см.: *П. Ф. Тарасенко*. Городища Литвы // КСИИМК, 1952, 42. С. 89).

[76] Правда, говоря о крещении в 1387 г., Стрыйковский (II, 79—80) пишет, что святой огонь и святилище Перкунаса находились на месте кафедрального собора. Т. е. к востоку от русла Вильны (Лукишки же тянулись к западу от нее).

[77] План Брауна, на котором пушкарня и конюшня изображены у подножья Замковой горы, ввел в заблуждение ряд ученых, искавших именно здесь долину Швинторога. Однако уже Сигизмунд-Август в 1540—1545 гг. перенес эти постройки (как и ряд других хозяйственных сооружений) за Вильну, в район современной ул. Тилто (см. VMI, 34). Впрочем, теоретическая возможность приурочения Швинторога к подножью Замковой горы остается.

[78] Следует напомнить, что Каунас, Кернов и т. п. также обозначались по принципу ʽнизменныйʼ, ʽтопкийʼ.

[79] Ср. также: н а л у ц ѣ на Швинторозе (ПСРЛ XVII, 261, 314, 440: na łące na Swintorozie; 493: na łuce na Szwintorozie), ср. 374: которую зовут л у к у Швинтороги.

[80] См.: *Л. В. Алексеев*. Указ. соч. С. 168; ср. место курганных некрополей в древнем Полоцке. С. 135 и др.

[81] Впрочем, такие формы, обозначающие место, как *Швинторогоро*, могли так или иначе вступать в отношения со словом *гора* (ср. в таком случае *Святогор*).

[82] Ср.: …siędząc n a g ó r z e w y s o k i e j i p r z y k r e j, na która, górę trudno wierzyli wleść bez paznogci… (Stryjk. I, 309). Народное предание этого же типа из окрестностей Кретинги привел в свое время Нарбут. После смерти покойники стремятся влезть на высокую недоступную гору Anafielas (так! Anas pilis?). Тех, кому это не удается, «smok Wizunas, p o d g ó r ą, m i e s z k a j ą c y, o b e d r z e». См.: T. Narbutt. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1. Wilno, 1835. С. 384—385. Хотя сообщение Нарбута многократно ставилось под сомнение и действительно изобилует неточностями оно едва ли может быть отвергнуто в целом ввиду весьма точных параллелей в ряде близких традиций (в частности, русской, о чем писал А. Н. Афа-

насьев). Более того, свидетельство Нарбута дает пищу для размышлений. В связи с *Anas pilis или **An*(t)a-pilis ср. Antãkalnis в Вильнюсе, о котором в старых источниках сообщается как о главном святилище языческих богов. Имя дракона Wiz*una*s, возможно, не случайно напоминает названия типа Vyžuonà, Vyžuonẽlė, Vyžuonáitis, Vỹžupis, *Vìžė*, Vỹžbalė (LUEV, 199—200); Výžuonà, Výžuonos, Vyžuonẽlės, Vyžū̃niškės, Vyžuliónys, Vižùkalnis, Vỹžpiniai, Vỹžiškės, Vyžìniai, Vỹžiai, Vyžẽliai, Vyžeĩčiai и т. п. (LATS 1976, II, 350). Интересно, что подавляющее число этих названий относится к восточной Литве (Utena, Rokiškis, Vilnius). К семантике vyž-, частично пересекающейся с кругом значений корня vil- (ср. Vilnia), см.: *K. Būga*. RR III, 653—655 и др.

[83] См. Иссл. 1974. С. 137, 139 и др.

[84] См.: J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos Darbai, III. Kaunas, 1937. С. 165, № 281 (о быке).

[85] Этот перечень в западнорусских летописях и особенно, у польских хронистов часто сильно увеличивается. Ср. у Длугоша: Lithuani tamen, cum silvarum et nemorum abundarent multitudine, habebant speciales silvas in quibus singulae villae et quaelibet domus atgue familia, specialos focos, decedentium cadacera soliti erant conflagrare. Adiungebantur autem cremando corpori quaeque potiora, equus, bos, vacca, sella, arma, vestis, cingulus, torques, annulus, et simul una cum cadavere, non habito respectu quod aurea vel argentea forent cremabantur (Opera Omnia XII. P. 471 и др.).

[86] Противопоставление верх — низ также относится к весьма актуальным именно для этого места, ср. гора — низина, позже Aukštutinis pilis — Žemutinis pilis (Верхний замок — Нижний замок) и т. п. на фоне основного противопоставления частей страны Aukštaĩtija — Žemaĩtija, aukštaĩtis — žemaĩtis и т. п. Тем не менее эта пара признаков более экстенсивна, чем огонь — вода. Об исключительной роли воды в погребальном обряде, начиная с неолита, см.: J. Maringer. Grave and Water in Prehistoric Europe // The Journal of Indo-European Studies, 1975, v. 3, № 2. P. 121—146 (автор подчеркивает, что в эпоху сооружения мегалитов могилы размещались исключительно вблизи воды; эта топографическая особенность предполагает представление, согласно которому вода — жилище мертвых; ср. также, надмогильные зигзаги, символизирующие воду, или гидрии в погребениях, захватывающих и железный век).

[87] См.: J. Balys. Op. cit. С. 166, 167, № 291, 310. Ср. еще: Žmonės Perkūną vadina «Dievaičiu», «Šventuoju» (Ibid. С. 160, № 177).

[88] В связи с Švent- как определением к обозначению города уместно сослаться на motto Фюстель де Куланжа — каждый город можно назвать святым — и на сходную мысль Тита Ливия: «В этом городе (в Риме. — *В. Т.*) нет места, которое не было бы запечатлено религией и занято каким-либо божеством».

[89] Позже это название (Золотой Рог) стало обозначать морскую бухту, в верхнем конце (углу) которой находился Виза́нтий.

[90] Во всяком случае, такая же попытка, очевидно, была предпринята в Киеве во второй половине X в. князем Владимиром, создавшим новый обобщенный пантеон. К сожалению, сведения о ритуале остаются почти неизвестными.

[91] Ср.: о великаа прелесть діавольская ѧже въведе въ литовскый родъ и ѧтвезь и въ проусы и в емь и во ливь и иныѧ многы ѧзыки. — Интересно, что в предании о Совии сюжетно мотивируются ложность обряда трупоположения (погребенный сна-

чала в земле Совия к утру уже был изъеден червями и гадами). Более подробно см.: *В. Н. Топоров.* Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью // Acta Baltico-Slavica. 1966, III. P. 143—149; ср. *Он же.* К балто-скандинавским мифологическим связям // Donum Balticum to prof. Chr. S. Stang. Uppsala, 1970. P. 534—543.

[92] Ср. заглавие: Слово HI. Скажемъ поганьскыѧ прѣлести быти сіцево и в Литвѣ нашеи — с характерной позднейшей припиской на полях: се есть прелесть поганъская и внашои Литвѣ тося водило злое дѣло и до Витовта, бо Витовтову жону во Иряколе сожгли по смерти и потомь почали переставати жечися.

[93] См.: Lietuvos archeologijos bruožai. Vilnius, 1961. С. 541—548 и особенно с. 278 (карта).

[94] Там же. С. 552—560 и особенно с. 377 (карта); ср. также: *В. В. Седов.* Курганы ятвягов // СА, 1964, № 4; *Ф. Д. Гуревич.* Обряды погребения в Литве // КСИИМК, 1947, 19, и др.

[95] Поскольку можно предполагать (в частности, исходя из данных других традиций), что оппозиция двух типов захоронения — обычного и «заложного» — отражает вообще некое фундаментальное, синхронно существующее различие между двумя типами захоронения, то приобретают особый интерес сведения о похоронном обряде у пруссов. Таково, напр., сообщение Вульфстана о том, что умерший пребывает в своем доме, среди родственников и друзей, месяц, иногда и два; князья же и другие знатные — в зависимости от их богатства — могут лежать несожженными на земле в их домах среди пирующих до полугода. Ср.: And þaer is mid Êstum ðeaw þonne þaer bið man dead, þaet he lið inne unforbaerned mid his magum and freondum monað, — gehwilum twegen: and þa [cyningas] and þa oðre heah-ðungene men, swe micle lencg swa hî maran speda habbað, hwilum healf-gêar, þaet hi beoð unforbaerned; and licgað bufan eorðan on hyra husum and ealle þa hwîle, þe þaet lic bið inne, þaer sceal beon gedrync, and plega, oð ðone daeg, þe hî hine forbaernað (SRP I, 734, § 21, ср. § 23). Не намекает ли этот обычай на более древнюю практику (до трупосожжения)? Описание погребальных обрядов у носителей оксывской культуры см. в кн.: Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. — I тысячелетии н. э. М., 1974. С. 136 и след. Ср. обычай древних иранцев выносить труп на вершину горы или на особое сооружение («дахма», по происхождению «погребальный костер»), чтобы собаки и птицы пожрали труп (ср. «Видевдат»), или же обычай массагетов убивать стариков. Особой роли собак в погребальном обряде у индо-иранцев (ср. собаки Ямы, церемония sagdid ʻвзгляд собакиʼ у зороастрийцев, роль собаки в борьбе за душу покойного на мосту Чинват, собаки — пожиратели трупов в ряде иранских традиций и т. д.) может соответствовать описанное выше сожжение собак при похоронах Швинторога. На самом деле параллелей такого рода гораздо больше. Еще важнее то, что иранские данные хорошо мотивируют и сам погребальный обычай и роль в нем собаки. Ср.: *Ю. А. Рапопорт*. Из истории религии древнего Хорезма. М., 1971. С. 23—37. Вопрос может быть поставлен в еще более общей форме: знали ли в Литве (и — шире — у балтов) так называемую «тройную» смерть, каждая из которых связывалась с носителями одной из трех основных функций? Уже Дюмезиль (La Saga de Hadingus. Paris, 1953. P. 118—159) проанализировал миф о жертвоприношении, в котором различается смерть утоплением, влекущая за собой ритуал третьей функции, и

смерть повешеньем, после которой совершался ритуал первой Функции. Позднее были приведены и еще более убедительные примеры, см. D. J. Ward. The threefold death: an Indo-European trifunctional sacrifice? // Myth and law among the Indo-Europeans. Berkeley-Los Angeles-London, 1970. P. 123—142. Особенно характерны кельтские данные. Так, в «Житии св. Колумба» (см. Adhanmhnán's life of St. Columba, ed. by W. Reeves. Edinburgh. 1874) святой объявляет, что он умрет тремя разными смертями: будет ранен в шею копьем, упадет с дерева в воду и утонет (падение с дерева — вариант повешения). Уорд приводит сходные примеры из славянской, греческой, иранской и других традиций. За пределами индоевропейского мира трехфункциональность весьма ярко выступает в известной финской балладе «Mataleena»: Где твои три сына (Kolme poikalastas)? Первого ты сжег в огне (tulehen), второго утопил в воде (vetehen), третьего ты похоронил в земле (karkeesehen), и далее: первый мог бы быть рыцарем в Швеции (Ruotsissa vitari), второй — горожанином в этой стране (herra tällä maala), третий — хорошим священником (pappi paras tullut) (см.: J. E. Talley. The threefold death in Finnish lore // Myth and Law… P. 143—146). Не исключено, что *тризна* и представляла собой соединение ритуалов всех трех функций, что — в конечном счете — может быть согласовано с известным объяснением этимологии слова *тризна* в статье: *О. Н. Трубачев.* Следы язычества в славянской лексике // ВСЯ, 1959, № 4. С. 130—135. Ср. также в кн. Этимология 1977 (М., 1979) работу автора «К семантике троичности слав. *trizna и др.» Вместе с тем захоронение с помощью земли, воды, огня подчеркивает роль основных элементов мироздания, о которых, например, специально рассказываетсятся в 1-й главе «Бундахишна». См. также: W. Eilers. Herd und Feuerstätte in Iran //Antiquitates Indogermanicae. Innsbruck, 1974. S. 307—338.

[96] В настоящее время в весенний паводок Нерис (Вилия) проносит 2000 м^3/сек. (т. е. в 6—7 раз больше, чем летом) и нередко вызывает наводнения в Вильнюсе (1931, 1941, 1951, 1956, 1958 гг.), когда вода затапливает часть теперешней площади Гедимина. См.: Vilniaus miesto geografija. Vilnius, 1965. С. 24 (далее — VMG). Также и Вильна, когда она текла через эту же площадь и далее мимо теперешнего здания Библиотеки Академии наук, видимо, могла быть причиной наводнений — тем более, что раньше она принимала слева, около бывших Тракайских ворот, приток Ka*č*erga (Vingr*ė*), текший под значительным уклоном в сторону Вильны.

[97] Как видно из предыдущего, исторические события, предшествующие первым упоминаниям Вильнюса, разворачивались на территории, ограниченной с запада средним течением Немана, а с севера — течением Нериса, включая часть правобережья. Именно здесь находятся Каунас, Кернаве, Майшягала, Тракай, уже упоминавшиеся в связи с предысторией Вильнюса. Можно напомнить, что эта территория отчетливо выделяется и в археологическом плане: она составляет специфическую локальную группу культуры штрихованной керамики (яркая, но неглубокая штриховка, особые ребристые формы, характерный орнамент) с некоторыми существенными особенностями обряда погребения (курганы с двумя каменными венцами — наружным и внутренним). Особенно важно, что именно здесь в середине I тысячелетия н. э. появляются самые ранние случаи трупосожжения, которое в VII—VIII вв. уже стало господствующим обрядом во всей восточной и центральной Литве. См.: *Р. Я. Куликаускене.* Образование литовской народности (по данным археологии) //

Проблемы этнической истории балтов. Рига, 1977. С. 61—65 и др. Этот же автор справедливо подчеркивает, что в этом месте сложилось ядро будущей литовской народности (характерно, что слово *Литва* впервые появляется в 1009 г. в Кведлинбургских анналах и несколько позже — в 1040 г. — в русских летописях) и здесь же находился центр раннефеодального Литовского государства. Уместно напомнить, что в этих же пределах находится и река Lietavà, давшая, по правдоподобному мнению К. Кузавиниса, имя Литве и соответствующему этносу. Иначе говоря, оказывается, что мифопоэтическая хронотопия довольно точно накладывается на реальную картину, восстанавливаемую археологическими и историческими источниками. См.: *К. Кузавинис.* Происхождение названия «Литва» // Конференция по топонимике. Тезисы докладов и сообщений. Л., 1965. С. 74—75.

[98] Ср. еще далее: и кнзь великыи Троидень наидеть горѫ красну. и хорошу над рекою Боброю и там зарубить город. и назоветь его Раигород (ПСРЛ XVII, 238). Показательно само название города, отчасти противопоставленное Вильнюсу (см. ниже). Весьма показателен сам способ освоения новой территории и основания города на месте удачной охоты. См.: M. Eliade. De Zalmoxis à Gengis-Khan. Etudes comparatives sur les religions et le folklore de la Dacie et de l’Europe Orientale. Paris, 1970. — В этом отношении удивительна аналогия, доставляемая данными славяно-молдавских летописей за 1359 г. Полнее всего она засвидетельствована Летописью 1359—1504 гг. Ср.: И в нихъ бѣ чловѣкъ разуменъ и мужественъ именемъ Драгожь и поиде себѣ со дружиною на ловъ звѣринъ и наидоша под горами высокими слѣдъ туров и поидоша слѣдомъ за туромь через горы высокие и перейдоша высокиа планины, сии рече горы и преидоша за туромъ на мѣсто долние и краснейшие и наехаша тура у рекы на брегу под вербою и его убиша и насытишасѧ от лова своего. И прииде имъ от Бога во сръдце мысль, дабых разсмотрили себѣ на жительство мѣсто и вселисѧ ту и съвокупишасѧ единомышлено и восхотѣша всѣ пребыти ту… и прийдоша на мѣсто гдѣ Драгошь тура уби, и возлюбиша и вселишасѧ, в ту и выбра из своей дружины себѣ мужа разумна именемъ Драгоша и назваша его себѣ господаремъ и воеводою. И оттоле начашасѧ Божиимъ произволениемъ Молдавскаѧ землѧ. И Драгошь воевода насади пръвое мѣсто на рекѣ на Молдавѣ… и учиниша себѣ печать воеводскую во всю землю турью голову… (см.: Славяно-молдавские летописи XV—XVI вв. М., 1976. С. 57—58). Не менее характерно, что все начинается с прихода спасающихся от гонения двух братьев (ср. ниже тему близнечества-двойничества) «от града Виницѣи» — Романа (с ним связаны римские ассоциации) и Влахата (эпический персонаж, чье имя дало начало названию этноса; в конечном счете корень этого слова *uol-/k-/ родствен тому, что в названии Вильнюса). После Драгоша идет последовательность из семи правителей-воевод. Ср. там же. С. 24 (Бистрицкая летоп. 1359 г.), 55, 60, 62, 68, 105.

[99] Ср. Taurãkalnis, Tauvo kalnas в Вильнюсе (не смешивать с Турьей горой предания). Названия этого типа, конечно, вызывают ассоциацию как с многочисленным типом Perk*ū*nkalnis. (LTD III, 1937. С. 163), так и с самим Gedimino kalnas. Ср. также: Taurãpilis (в уезде *Taur*ãg*na*i (!), р-н Утены, см. выше), чье название суммирует оба старых названия холма Гедимина — Турья (Taur-) и Замковая (Pilies) гора; *Taur*aĩ, Taurakiaĩ, Taureikà, Tauríekos, Taurijà, Taurìn*ė*, Taurù*č*iai; Taurag*ė̃*, Taurag*ė́*nai,

Taurãgnai, Taũr*a*ki*em*is, Taurãlaukis, *Taurupỹs*, Taurùpiškis (LATS, II, 1976, 314), а также многочисленные гидронимы, ср. LUEV, 171—172. Ср. такие названия, как *Турова божница* (1146 г.) в Киеве на берегу Почайны; *капище Турово*, Костромск. губ., и т. п. Первое из этих названий особенно характерно. Отмеченное, место убийства Тура на горе и могло быть чем-то вроде *Туровой божницы.*

[100] Ср. загадки типа: *Тур ходит по горам, турица-то по долам; Тур свистнет, турица-то мигнет* с ответом *гроза* или: *Турски поскоки, оленьи поглядки…* с ответом *туча, гром.* Уже отмечалось изображение турьей головы на груди идола Радгоста, как и образы ильинского быка, *Тигой'а*, Зевса в виде быка, ведийские представления о грозе как ревущих быках и т. п.

[101] Ср.: Žmonės Perkūną įsivaizduoja seniu su ragais // LTD III, 1937. С. 169, № 344.

[102] Ср., напр.: *K.* Chodynicki. Tradycja jako źródło historyczne // Studja staropolskie. Księga ku czci A. Brücknera. Kraków, 1928. С. 178.

[103] Имея в виду сказанное выше в связи с мотивом города-блудницы, заслуживает упоминания игра значений в лат. lupa 'волчица' и 'проститутка' в фрагменте, относящемся у Тита Ливия к предыстории Рима: «Иные считают, что Ларенция звалась среди пастухов "волчицей" потому что отдавалась любому…» (I, 4)'. В связи с рассматриваемыми далее римско-вильнюсскими параллелями особенно интересно, что мотив развратной Ларенции находит параллель в народном рассказе о происхождении реки Вилии: Ср.: «…Сын был непослушным, а дочь была развратная… Мать прокляла свою дочь… и она разлилась рекой, названной «Вилией», а сын за неповиновение стал камнем в образе человека. Камень этот на том месте стоит и теперь с отбитою от удара молниею головою». См.: *П. В. Шейн.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. II. СПб., 1893. С. 430—431.

[104] Помимо этого существен и сказочный мотив о волке (в частности, geležinis vilkas, varinis vilkas), помогающем герою достигнуть цели. См.: J. Basanavičius. Lietuviškos pasakos yvairios, III. Kaunas, 1928. С. 171; B. Kerbelytė. Lietuvių liaudies padavimai. Vilnius, 1970. С. 131. В Литве, в частности на Виленщине, и в Белоруссии мотив следа на камне (как волчьего, принадлежащего грешнику и т. д., так и следа богородицы) пользуется широкой известностью. См.: *П. В. Шейн.* Указ. соч. Т. II. с. 440 и след.

[105] См. VMI, 22.

[106] Ср. в русской микротопонимии Вильнюса *Волчью улицу*, (крайняя западная часть города, под углом к *Граничной улице*, в непосредственной близости к Нерису).

[107] От имени Luper*c*us, италийское божество стад (из lupus *& arceo*, ср. *a*rx Romana как обозначение кремля на Капитолии при lupa Capitolina).

[108] Ср. также не вполне ясные случаи типа лит. Vilkmergė, Ukmergė̃, русск. *Вил*(ь)*комир*, польск. Wilkomierz и т. п.

[109] См.: *В. В. Иванов*. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1975. Т. 34, № 5. С. 399—408. В частности, в этой статье дается убедительный анализ *волка* как символа вождя боевой дружины.

[110] См.: R. Jakobson, M. Szeftel. The Vseslav Epos; R. Jakobson, G. Ružičić. The Serbian. Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos // R. Jakobson. Selected writings, IV. The Hague-Paris. 1966. P. 301—379 и др.

[111] Как основатель города он может быть сопоставлен не только с римскими близнецами, вскормленными волчицей, но, конечно, и с Ликаоном (от *λύκος* ʻволкʼ), основавшим город с волчьим именем, с родоначальником нартов, отцом близнецов Вархага (Wærxæg); от wærg-, wærx- ʻволкʼ, ср. ср.-инд. vṝka-. См.: *В. И. Абаев*. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965. С. 89 и др.

[112] См.: *В. В. Иванов*. Указ. соч. С. 406—407; здесь же данные о наряжении волком или хождении с волчьим чучелом в «волчий» месяц (ср. лтш. vilka mẽnesis ʻдекабрьʼ, собств. ʻволка месяцʼ, и другие примеры). Тот факт, что именно конец года, худший из месяцев, называется волчьим, заслуживает особого внимания в связи с приурочением Громовержца и/или Солнечного бога к стыку Старого и Нового года.

[113] С е м ь сыновей Гедимина (ср. также семь сыновей Кейстутиса — ПСРЛ XVII, 442) отсылают нас в конечном счете к с е м и Перкунасам, ср.: Perkūnas yra 7; Esą septyni Perkūnai; Yra septyni Perkūnai; Perkūnai yra septyni; Perkūnų yra septyni и т. д., см. LTD III, 1937. С. 172.

[114] С продолжением: I той Вильне первыі князь Давилъ… а дѣти его Видъ, его же люди В о л к о м ъ звали…

[115] См.: *В. В. Иванов*. Происхождение имени Кухулина // Проблемы сравнительной филологии. М.—Л., 1964; *Он же.* Иллирийское Κ*αν-δάων* как отражение древнебалканского и индоевропейского текста мифа о герое-убийце Пса-Волка // Симпозиум по структуре балканского текста. Тезисы и материалы. М. 1976. С. 18—21.

[116] Еще два примера могли бы быть включены в этот же круг: 1) появление волка во сне Гедимина, который п р е д в е щ а е т будущий город, о чем извещает Гедимина в е щ и й Лиздейко, выдвигает мотив в е д о в с т в а, соотносимый с обозначением волка как в е щ у н а, ср. хеттск. *u̯*etna- ʻволкʼ, др.-исл. vitnir (из и.-евр. **u̯*eid~no-), др.-чеш. vêdi ʻволчицы-оборотниʼ, словен. vedomci, vedunci, vešce, укр. *віщун* ʻволк-обототеньʼ и др. (см.: *В. В. Иванов*. Реконструкция… С. 400—401); 2) устойчивые образцы звукоизобразительных цепей, в которых предпринимаются попытки к сопряжению мотива Вильнюса и мотива волка, обнаруживаются в разных текстах; ср. у Стрыйковского: i gdzie dziś Wilno z zamkami stoi, widział w i l k a w i e l k i e g o.

[117] Так, учитывая мотив «Волк, он же бог-Кузнец, закаливает воинов в огне» (см.: *В. И. Абаев.* Указ. соч. С. 96—97; осет. Wærgo*n*, может быть, лат. Volcanus и др.), можно поставить вопрос о п у ш к а р н е у подножья Гедиминова холма (ср. лит. patránka ʻпушкаʼ, (pa)trankýti ʻ(по)трястиʼ, treñkti ʻтреснутьʼ, ʻгрянутьʼ, ʻгрохнутьʼ и такое прозвище Перкунаса, как Trenktinis — LTD III, 1937. С. 160, № 134) как экономической-хозяйственной проекции г р о х о ч у щ е г о Перкунаса и волка, р е в у щ е г о, как сто волков (и Перкунас и волк находятся наверху, на холме) ; кузнецы в пушкарне — своего рода работники Перкунаса, имеющие дело, как и он, с огнем и водой (может даже сложиться впечатление, что именно кузнецы выковали волка, ср.: wilka… jakoby z ż e l a z a u k o w a n e g o увидел Гедимин. I, 372; ср. I, 370: …wilka… jakoby ż e l a z n ą b l a c h ą warownie przeciw wszelkim postrazatom u z b r o j o n e g o…). Наконец, следует напомнить такие имена искусных кузнецов в древнесеверной саге и в норвежской песне, как Wēland, Vǫlundr (см.: A. Kabell. Wieland // BNF 9, 1974. S. 102—114), восходящие к тому же корню **u̯*el-/**u̯*ol-, что и — в конечном счете — название Вильнюса и Вильны. Следовательно, мотивы кузнецов,

обработки ими железа с помощью огня и воды так или иначе обозначаются и в связи с ранневильнюсскими легендами и преданиями. В этом смысле показательна употребляемая Гедимином клятвенная формула: …prius ferrum in ceram transit et aqua in calibem commutatur, quam verbum a nobis progressum retrahamus (26.V.1323; см.: Gedimino laiškai. С. 51); ср. такие приглашение Гедимином в Вильнюс «баллистариев» (balistariis) (с. 41). (Об общем мифологическом горизонте «кузнечных» мотивов см.: M. Eliade. Forgerons et alchimistes. Paris. 1962). Тема грома объединяет с Перкунасом Гедимина в уничижительной версии его происхождения (…избежал от плѣна его нѣкии кн҃зець имꙗнемъ Витꙗнецъ… и вселисꙗ в Жемоть у нѣкоего бортника и поꙗтъ у него дщер в жену себе и … и пребыс с нею лѣть .л҃. бездѣтен и убиен быс громом и послѣди кн҃зꙗ Витенца поꙗть жену его раб его кошюц (вар.: конюшенець) и именемъ Гегимєникъ (= Гедимин) и роди от неꙗ .з҃. с҃нов), см. ПСРЛ XVII, 413, обычно же Гедимин — сын Витеня.

[118] Ср. о них в «De Diis Samagitarum…» Яна Ласицкого: Antequam vero ipsi comedunt, uniuscuiusque ferculi portiunculam abscisam in omnes domus angulos, ista dicentes abjiciunt: Accipe o Zemiennik grato animo sacrificum, atque laetus comede (49—50); Nutriunt etiam quasi deos penates, nigri coloris, obesos et quadrupedes quosdam serpentes Giuoitus vocatos (51). Ср. Givuoites у Герберштейна.

[119] Впрочем, те же мотивы в связи с Вильнюсом (in Vilnensi civitate) появляются уже у Длугоша: Ignis, quem credebant perpetuum, qui per sacerdotes subiectis lignis nocte atque interdiu adolebatur; Silvae, quas putabant sacrosanctas; et Aspides, serpentesque, in quibus Deos habitare et latere credebant… succidi et lucos eorum confringi, aspides insuper et serpentes… interfici et enecari… (Opera omnia XII, 466); ср.: in aspidibus et vero serpentibus Deum Aesculapium in forma anguis (Opera omnia XII, 470, а также 473, 159 и др. уже вне темы Вильнюса).

[120] См. Иссл. 1974. С. 169—170.

[121] В этом случае *крик звериный* мог бы быть сопоставлен с воем (ревом) волка в легенде (жрец мог бы предсказать князю и позднюю «звуковую» тему города, ср. «У Вільні» М. Богдановича: Кіні*ць натоўп на жорстк*і*м вулак дне!* | …*Разносчык*і *крычаць ля кожнай брамы…* | *Грук, гоман, гул — усё ракой* і*мкне…* | *О, горада чароўныя прынады!*), а *след лютова зверя* — с образом, предполагаемым названием вильнюсского урочища Vilkpėdė и связанным с ним этиологическим преданием (см. выше).

[122] Ср. мотив орла в предании об основании Вильнюса (в связи с биографией Лиздейко), аналогичный этому же мотиву в легенде об основании Петербурга. К мотиву орел — волк ср.: *сѣрымъ вълкомъ по земли, шизым орломъ под облакы…* в «Слове о полку Игореве».

[123] Впрочем, есть, кажется, некоторые намеки на возможность видеть в таких последовательностях животных косвенное отражение ритуальной практики жертвоприношения домашних животных типа suovetaurilia (свинья, баран, бык). См.: G. Dumézil. Tarpeia. Paris, 1947. P. 117 sqq. Показательно, в частности, сообщение Дюсбурга, относящееся к пруссам: Unde contingebat, quod cum nobilibus mortuis arma, equi, servi, et ancille, vestes, canes venatici, et aves rapaces, et alia, qui spectant ad miliciam, urerentur (SRP I, 54), с набором, практически тождественным описываемому у Стрыйковского в связи с Швинторогом и близким к тому, что описывается у Гомера в связи с похоронами Патрокла, — включая коней, собак, юношей:

πίσυρας δ' ἐριαύχενας ἵ π π ο υ ς
ἐσσυμένως ἐνέβαλλε π υ ρ ῇ, μεγάλα στεναχίζων
ἐ ν ν έ α τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κ ύ ν ε ς ἦσαν·
καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας
δώδεκα δὲ Τ*ρώων μεγαθύμων υ ἱ έ α ς ἐσθλούς* (ψ 171—175)

Точность совпадения в деталях дает основание, видимо, и для более далеко идущих заключений.

[124] Летом 1956 г. в Крюкай на Немане автор познакомился со старухой-литовкой, ходившей в лес к змеям, разговаривавшей с ними и откармливавшей их молоком. В ее отношении к змеям было нечто удивительно интимное, домашнее, ласковое. Нельзя, конечно, сомневаться в том, что многое важное из этой темы не могло быть высказано случайному собеседнику.

[125] Ср. хотя бы соответствующие места в собрании старых источников по мифологии: W.Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936 (далее — LPG).

[126] K. *Bu*ga. RR I, 158.

[127] Живой огонь неугасим (ср. сообщения Дюсбурга, Иеронима Пражского, Длугоша, Гванини и др. о поддерживании неугасимого огня в Ромове, Вильнюсе, на месте впадения Невежиса в Неман). Устойчивая параллель соединяет в фольклоре угасание огня с концом жизни, смертью. Ср.: U ž g e s *o mani u g n e* l ė: | *N u m* i r *ė* man' motynė̃lė (см.: K. *Bū*ga. RR I, 158—159 и др. Ср. также: *В. В. Иванов, В. Н. Топоров*. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 144—145.

[128] Можно напомнить, что название человека, людей (лит. *ž*muõ, *ž*mogùs, *ž*mónės, ср. *ž*monà 'жена') связано в литовском с тем же корнем, что и земля (*žẽmė*).

[129] Ср. противопоставление ж и з н ь — с м е р т ь в соотнесении с противопоставлением ч е л о в е к — з м е я: áhe mriyásva *mā* jīvīḥ | ayáṃ jīvatu *mā* mṛta 'умри, о з м е я, не (будь) ж и в о й, пусть этот (ч е л о в е к) живет, да не (будет) м е р т в ы м' (Atharvaveda V, 13, 4c). Другие параллели — Иссл. 1974. С. 72—73.

[130] См.: V. V. Ivanov, V. N. Toporov. A comparative study of the group of Baltic mythological terms from the root *vel- // Baltistica, 1973, IX. P. 15—27; Иссл. 1974. С. 66—71; Миф. назв. 1976. С. 125—126 и др.

[131] «Lit. veliaĩ, woher loc. pl. veliuõs, bezeichnete im XVI Jhdt. "das T o t e n f e s t", poln. Dziady». См. K. *Bū*ga. RR I, 516; E. Fraenkel. LEW, 1218—1219.

[132] В этом случае vė̃lių laukas соотносимо с другим обозначением царства мертвых — др.-греч. Ἠ*λύσιον* (ср. Odyss. IV, 563, а также Ἠ*λύσιος λειμών*, Ἠ*λύσιος χῶρος*), из *vḷ-nu-tii̯o- 'относящийся к лугу', ср. хеттск. u̯ellu- (< -u̯el-nu-) или др.-исл. vǫllr 'луг' (< *u̯ol-tu-) и т. п. См.: J. Puhvel. «Meadow of the Otherworld» in Indo-European tradition // KZ 83, 1969; Иссл. 1974. С. 72. Ср. в этой связи такие показательные гидронимы, как лит. Vélnio Lankė̃lė, Veľniadaubė, Vélniãravas, Vélnio Gylė̃, Velnióbalė Vélniabalė, Vélnio upė̃lis, Vélniupis, Velniupỹs, Vélnupis, Veľnežeris, Velniùkas, Velniškis и т. п. (LUEV, 189—190); ср. без элемента -n-: Vė̃lių upė̃lis, Vė̃liupė̃lis, Velỹs и др. (LUEV, 189; K. *Bū*ga. RR I, 515—517.

[133] Ср. лтш. veļa kauls 'навья кость' (ср. лит. navìkaulis, novės kaulas, русск. *навья кость*, хеттск. u̯allaš ḫaštai — то же и т. д.), с которой связан ряд поверий, имеющих отношение к п о к о й н и к у и к с к о т у. Иссл. 1974. С. 68, 135).

[134] «Die Knochen werden verbrannt und die Asche beobachtet und, da sie nicht dienet, vergraben…» — «Festa veterum Prussorum» (LPG, 576).

[135] С ритуалом поминовения мертвых связан и ряд обрядовых формул, проанализированных в другом месте. Ср. особенно: *atkelk Vėlių* vartelius, *atdaryk Vėlių* du*reles ... pasodink į Vėlių suolelį...* и т. д. (см. Иссл. 1974. С. 70). Предполагаемое здесь помещение, жилище, принадлежащее **Vėl-*, подобно царству мертвых (*vel-) и пещере, в которой противник Громовержца прячет скот (*vel-), естественно сопоставить и с др.-исл. valhǫll 'Вальхалла', 'жилище павших в сражении' (ср. др.-англ. wæl 'оставшийся на поле боя, труп', wæ*lstōw* 'поле боя', ср.-в.-нем. walstatt- то же, и т. п. Интересно, что в одном старом норвежском тексте лабиринт Дедала назван «Домом Вёлюнда». Само имя волшебного кузнеца Вёлюнда (др.-сев. Vǫlundr, др.-англ., н.-нем. *Wēland*, в.-нем. Wielant), известное не только в Скандинавии (ср. «Vǫlundarskviða» в «Старшей Эдде», «Сагу о Тидреке», песни), но и у западных германцев (ср. древнеанглийскую поэму «Сетование Деора», утраченные нижненемецкие песни и т. п.), показательно в связи с данной темой, так как оно, восходя (как в конечном счете и Vilnius) к и.-е. *u̯el-/*u̯ol-, соотнесено с мотивом кузнеца и далее — преисподней (ср. *Воланд*) (ср. выше о кузнецах Вильнюса). Ср.: A. Kabell. Wieland // BNF 9, 1974. S. 102—114 и особенно: H. Güntert. Wieland, der Schmied. Ein germanisches Sagenspiel in drei Aufzügen. Heidelberg, 1936.

[136] Имена мифологических персонажей, содержащие тот же корень *vel-, хорошо известны и в других традициях (часто именно в связи с царством смерти, чудовищем, воплощающим собой это царство, скотом и богатством), ср. слав. *Велес-Волос* и т. п.

[137] LTR 2750 (491). См.: *B.* Kerbelyt*ė*. Op. cit. C. 62 и др. Ср.: Idem. Lietuvių liaudies padavimų katalogas. Vilnius, 1973.

[138] Ср. топонимы типа Velniãkalnis, Vélniakalnis (LATS 1976, II, 340). В связи со слав. *велет-* : *волот* ср. лит. Velė̃tupis, а также далее к востоку *Велетовка* и т. п.

[139] Миф. назв. 1976. С. 126.

[140] Есть предположение, что первоначальное название города было тоже Vilnia. Так и сейчас называют Вильнюс старики в Паневежисе, Шедуве, Рамигале, Укмерге, Гервечяй. См.: A. Vanagas. Op. cit. C. 35. Маловероятно предположение Отрембского о *Vilnin*ė* (от Vìlija) как исходной форме названия города. См. также: J. Bal*č*ikoni*ś*. Iš kur kilęs Vilniaus vardas? // J. Bal*č*ikoni*ś*. Rinktiniai raštai, I. Vilnius, 1978. C. 273.

[141] См. K. B*ū*ga. RR I, 519; *Фасмер* I, 315; P. Skard*ž*ius. Aidai, 1956, № 10. C. 450; E. Fraenkel. LEW, 1254. Здесь же следует упомянуть как важную параллель толкование Я. Отрембским названия города Veliuonà, уже упоминавшегося в связи с разбираемой в этой статье темой. По мнению польского ученого, Veliuonà первоначально обозначало название поселения в устье реки *Velia или *Vel*ė*, *Velis, впадавшей в Неман. Польское название города Wileny (наряду с Wielona) указывает на то, что Veliuonà произведено от речного имени *Velia : лит. *Vel*ė*nai — жители *Velia, соотв. *Vel*ė*, *Velis; само же название реки сопоставляется со ст.-сл. **вълати сѧ** 'fluctibus agitari', **влъна**, лит. vilnìs и т. п. См.: J. Otr*ę*bski // LP 9, 1963. S. 27. Не вполне ясно происхождение (castrum) Wilow в Самбии, упоминаемого Дюсбургом (SRP I, 92, 112).

[142] Желательно с двух разных уровней (напр., с Крестовой горы и холма Бекеша, во-первых, и во-вторых, с поднимающегося вверх высокого берега Вильны в направлении от ее устья к задним дворам домов, выходящих на Užupio g.)

[143] Уместно привести современное описание этой стороны географии города: «Erozinės kalvos pasižymi i l g a i s v i n g i u o t a i s, kartais persmaugtais g ū b r i a i s ir priplotais k ū g i a i s. Jos nueina beveik iki pat Vilniaus miesto centro. Didesnioji Vilniaus miesto dalis yra išsidėsčiusi Vilnios ir Neries upių santakoje, todėl čia miesto reljefas primena d i d ž i u l į a m f i t e a t r ą, kurio p u s l a n k i ų formos horizontus sudaro įvairiaus aukščio ir pločio smėlingos-žvyringos lygumos; vadinamos t e r a s o m i s. Terasos viena nuo kitos atskirtos pakopomis (ср. у Stryjk. I, 369; ostępy nad brzegami rzeki Wiliej; z ostępu na ostęp и т. д. в связи с мифологической ролью у с т у п а, см. Иссл. 1974. С. 174)… Vilniaus miesto ribose Neries ir Vilnios s l ė n i a i turi net po s e p t y n i a s terasas" (VMG, 18).

[144] Отчасти о нем можно судить даже по некоторым более поздним гравюрам и даже планам Вильнюса.

[145] «Vilnia (Vilnelė) pasižymi n e p a p r a s t u s r a u n u m u» (VMG, 25). Достаточно напомнить, что наклон русла равен 150 см/км. Т. е. почти в 5 раз больше, чем в Вилии (34 см/км). К уникальности ситуации ср. еще: «Šiose vietose Medininkų aukštumos šlaitas, nusileidžiantis į Neries ir Vilnios slėnius, yra išvagotas gilių griovų ir sausų slėniukų. K i t o t o k i o į v a i r a u s r e l j e f o v i s o j e m ū s ų r e s p u b l i k o j e n ė r a » (VMG, 17).

[146] Вообще соблазнительно поставить вопрос о роли в с е й совокупности меняющихся рельефов вдоль Вильны при переходе ее из одной долины в другую в мифологизирующем осмыслении местности со стороны тех этнических групп, инфильтрация которых с востока в район Вильнюса в принципе совпадала с направлением дороги на Полоцк и течения самой Вильны (кривичи ?).

[147] См.: *В. Н. Топоров*. К древнебалканским связям в области языка и мифологии // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 44—49.

[148] Любопытно, что Nortia- в В о л ь с и н и я х (Vols- : Volt, ср. Voltumna; из > *u̯el- : *u̯ol-); тем самым и здесь, как и в Вильнюсе, оказались теснейшим образом соотнесенными два этих ключевых корня: **ne*r- и *vel-.

[149] См.: E. Polomé. A propos de la déesse Nerthus // Latomus, 1954, 13; Idem. Nerthus — Njǫrdr // Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij vor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1951, 5.

[150] Интересно, что к таким преданиям об основании городов нередко подключаются династические предания, генеалогии и т. п. В частности, предполагают, что и в легенде об основании Вильнюса как-то присутствуют элементы родословия Гоштаутов (*Гастолъть*, *Кгаштол*(*тъ*), *Кгашталтъ*/*Кгаштовт*, Gastolt и т. п., сын Кумпия из рода Колюмнов). См.: *В.* Kerbelyt*ė*. Lietuvos metraščio padavimų apie miestų įkūrima šaltinių klausimu // Lietuvos TSR Mokslų Akad. darbai, ser. A, 2(15), 1963. С. 185—199. В этом контексте заслуживает внимания работа: *К.* Aśсik. O pochodzeniu rodu Ościków (Legendy i rzeczywistość) // Acta Baltico-Slavica, 1977, 11. С. 317—330. Кстати, основатель этого рода *Астык* — правнук Лиздейки, см. далее.

[151] Именно этот мотив (ver̃kti ʽплакать’) объясняет название Verkiai согласно низовой традиции, с которой отчасти соединяется и «барочно-мифологическое» направление в историографии Вильнюса.

[152] Стрыйковский, ссылаясь на летописцев, говорит не о Гедимине, а об его отце Витене.

[153] В частности, он был искушен «w naukach gwiazdarskich», с чем можно сопоставить обряд *окликания звезды* в день св. Власия (< *V*e*l*e*s*ъ), см. Иссл. 1974. С. 74—75.

[154] См.: *Г. В. Ксенофонтов*. Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов. М., 1930.

[155] Ср. важнейшие из них: Th. Mommsen. Die Remus-Legende.— Hermes, 1881, 16. S. 1—23 (= Gesammelte Schriften, IV. Berlin, 1906. S. 1—21); P. Kretschmer. Remus und Romulus // Glotta, 1909, 1. S. 283—303; W. Soltau. Ρωμος und Remus // Philologus, 1909, 68. S. 156ff.; R. Schilling. Romulus l'élu et Rémus le rétrouvé // REL, 38, 1960. P. 182—199; J. Puhvel. Remus et Frater // History of Religion, 1975, 15. P. 146—157.

[156] Разумеется, речь может идти и о менее явных аналогиях, ср. мотив тайного отцовства близнецов — Марса в Риме и Лиздейки в Вильнюсе.

[157] Ср., недавно проанализированную на фоне римского предания осетинскую легенду о происхождении нартов. (см.: *В. И. Абаев*. Указ. соч. С. 86—92).

[158] См.: *В. Н. Топоров*. Заметки по балтийской мифологии // Балто-славянский сборник. М., 1972. С. 301—303.

[159] Ср.: A. H. Krappe. Les deux jumeaux dans la religion germanique // Acta Philologica Scandinavica, 1931—1932, VI. P. 6—8.

[160] Симон Грунау (LPG, 196).

[161] Этот эпитет римляне сближали по смыслу с лат. rumis : K*ū*minus (о Юпитере-кормильце), ср. богиню R*ū*mina и т. п. Тацит (Ann. 13, 86) связывал Ruminalem arborem с Remi Romulique infantia.

[162] Он связан с Перкунасом (его жрец), как и Patols и Potrimps, с одной стороны, и Брутен, с другой.

[163] Ср. драму Невия «Alimonia Remi et Romuli» и многие другие формулы, подтверждающие сказанное.

[164] Кроме уже указанных работ о культе близнецов у балтов см.: *В. В. Иванов.* Отражение индоевропейской терминологии близнечного культа в балтийских языках // Балто-славянский сборник. М.; 1972. С. 193—205; отчасти: D. Ward. The Divine Twins. An Indo-European myth in Germanic tradition. Berkeley-Los-Angeles, 1968; Idem. An Indo-European mythological thema in Germanic tradition // Indo-European and Indo-Europeans. Philadelphia, 1970. P. 405—420. Есть сведения о работе: L. *Adamovičs*. Jumis. Das altlettische Ackerbaumysterium.

[165] Это неучастие иногда столь разительно, что некоторые исследователи лишают второго близнеца всякого права на реальность; считая, что второе имя возникает только «aus lautlichen Gründen». В связи с затронутой выше темой двух кузнецов-близнецов (ср. мотив Козьмы и Демьяна) также можно указать многочисленные случаи, когда действующим лицом оказывается лишь один из них.

[166] Можно высказать следующую гипотезу: не является ли Швинторог, сожженный на месте Кривого города (как понижали его локализацию раньше) заменой одного из близнецов? Ведь труп Швинторога должен был сжигать Криве, и Швинторог (ср. *Š*ventaragis при kreivãragis ʽкриворогий’) тоже в известной степени мог рассматриваться как род «строительной жертвы» (основание «предгорода», его ядра — святилища). В таком случае один близнец (условно — Кривайтис) трактовался как основатель города (через собственную смерть), а другой — как основатель жреческой

традиции. Ср. параллель с Видевутом и Брутеном у пруссов. Наконец, мотив отверженности ребенка, брошенного в лесу (Лиздейка), может быть лишь трансформацией темы смерти, витавшей над его головой.

[167] Вероятно, иногда встречающаяся в источниках форма Криве-Кривайте может имплицировать мотив жреца и жрицы, предназначенной смерти. Ср. угрозу матери римских близнецов Рее Сильвии, насильно отданной в жрицы-весталки (Тит Ливий I, 3—4). Из других параллелей ср. гибель пораженного молнией *Ромула* Сильвия при поражении своего противника Перкунасом.

[168] Ср.: Kreĩvažeris, Kreĩvežeris, Kreivakvañtis, Kveĩve, *Kveivỹs*, Krievóji, Kreiviaĩ, Kreĩvonis, Kreivùtė (LUEV, 78); Kreiviaĩ, Kreivóji, Kreivė́nai, Kreivìškiai, Kreivùkė, Kreĩvupė, Kreivẽniškiai, Kreĩvalaužiai, Kreivakìškis; Kriváičiai, Krivuliaĩ, Krivė́nai, Krivitìškiai, Krivónys, Krivonė́liai, Krivãsalis, Kriveĩkiškis (LATS .1976, II, 140, 142). Ср. также *Иван Кривой* (ПСРЛ XVII, 596).

[169] В Занеманье и сейчас всякая сходка, созываемая сельской властью с помощью обходной записки, называется krivulė. См.: Lietuvių etnografijos bruožai. Vilnius. 1964. С. 598—599.

[170] Связь Криве с дубом постоянна (не исключено, что на горе Гедимина или у подножья находился подобный священный дуб, ср. в Велюоне Gedimino kapas, где растет Gedimino ąžuolas). Достаточно напомнить о дубе, описанном Грунау (см. выше), или сообщения Стрыйковского: Ogień też wieczny z dębowych drzew na tych zgliskach… gorzał, na chwałę Perkunowi… (I, 311); ogień wieczny z dębiny… palono… (I, 373), Ср. Capitolina quercus, венок, вручаемый победителям на Капитолийских играх.

[171] См. Миф. назв. 1976. С. 120, 124, 127.

[172] Ср.: G. Dumézil. La Saga de Hadingus. Paris, 1953; Idem. Mythe et épopée. Paris, 1970, и др.

[173] Ср. др.-инд. Yamá : *Mánu*, др.-герм. Ymir (< *Yumiáz) : Mannus, протороманск. *Yemos : *Wiros. См.: J. Puhvel. Op. cit. P. 153—157. Из старых работ особого внимания заслуживает: H. Güntert. Der arische Weltkönig und Heiland. Halle. 1923 («Der Zwilling». S. 315—342) .

[174] Не исключено, что образ князя Гедимина (и его дружины, укрепленных замков, оружия и т. п.) соотносился с воинской функцией, но в мифе об основании города эта функция оказалась подавленной. Ср. анализ сходных функциональных отношений в кн.: G. Dumézil. Naissance de Rome (Jupiter, Mars, Quirinus). Paris, 1944.

[175] Конец этой ситуации положила заметка: *В. Г. Васильевский.* Где находился виленский Кривой замок? Труды IX Археологического съезда. М., 1897. С. 120—121, в которой автор на основании старого источника (1390 г.) доказал существование в Вильнюсе трех замков.

[176] См.: *В. и Е. Голубович*. Кривой город Вильно // КСИИМК 1945, 11. С. 114—125.

[177] См.: *В. и Е. Голубович*. Указ. соч.; W. Hołubowicz. Krzywy Grod w XIV w. na Górze Bekieszowej w Wilnie // Wilno, 1939, № 1. С. 27—33; J. Vuzinas. Vilniaus 650 metų sukaktis — miesto ar Gedimino sostinės? — Lituanistikos Instituto 1973 metų suvažiavimo darbai. Chicago. Illinois, 1975. С. 9—24. В связи с тем, что говорилось выше, существенно, что на Алтарии были найдены кости тура, лося, зубра, дикой

свиньи, домашней свиньи, коровы и т. п. В настоящее время складываются некоторые предпосылки для сравнения территории Верхнего, Нижнего и Кривого замков в свете археологических раскопок последних десятилетий. Ср. также: W. ir E. Holubovičiai. Gedimino kalno Vilniuje 1940 m. kasinėjimų pranešimas // Lietuvos praeitis. T. I, sąs. 2. Kaunas, 1941; A. Tautavičius. Archeologiniai kasinėjimai Vilniaus Žemutines pilies teritorijoje 1959 m. // Lietuvos TSR Mokslų Akad. darbai, 1960, ser. A, 2(9); Idem. Archeologiniai kasinėjimai Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje 1960 m. // Lietuvos TSR Mokslų Akad. darbai, 1961, ser. A, 2 (11); Idem. Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai kasinėjimai // Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis, II. Vilnius, 1960; Idem. Vilniaus Žemutines pilies mediniai pastatai XIII—XIV amžiais // Iš lietuvių kultūros istorijos, IV. Vilnius, 1964; Lietuvos archeologijos bruožai. С. 273—274 и др.; ср. также A. Tautavičius. Iš XlVa. Vilniaus gyventojų buities // Iš Lietuvos kultūros istorijos, I. Vilnius, 1958. С. 94—103.

[178] См.: E. Fraenkel. LEW, 300. Ср. лтш. krìevs, kvìevisks, Krievija применительно к русским. В конечном счете *kreiv-, *kriv-, видимо, связаны и с лит. kaĩr(i)as ʻлевыйʼ, *kairỹs*, kairė̃ ʻлевая рукаʼ, лтш. *ķeĩre*, *ķeĩris* — то же, восходящими к *krair-, *kreir-. Не исключено, что такого же происхождения и этимологически не вполне ясное др.-греч. *καιρός* ʻнадлежащая мераʼ, ʻнормаʼ, ʻподходящее времяʼ, ʻблагоприятный моментʼ, ʻвремяʼ, ʻвыгодаʼ, ʻслучай (удачный)ʼ и т. п. — вплоть до божества случая, ср. античные скульптурные изображения Кайроса. Совмещенность двух противоположных пучков значений в словах этого корня хорошо объясняет и ситуацию, в которую оказался вовлеченным Krivъ.

[179] Не исключено, что название *Кривой город* (*конец*) соотносилось с другим, «геометрическим» названием — *Острый город* (*конец*). Возможное литовское наименование (*Aštr- & *pilis, ср. Aštrãkalnis, Aštriakalnis) отсылает нас к др.-греч. *ἀκρόπολις* (ср. наиболее высокое положение Острого конца в пределах старого города). Ср. также *Острый конец* в Москве (на Великом посаде), в Серпухове, *Острая лавица* — один из концов Пскова и *Острый град → остроградский.*

[180] Эта «пустота города» при переводе на литовский привела бы к своего рода оксюморону, так как pilìs ʻгородʼ соотносится с pil̃nas ʻполныйʼ, pìlti.

[181] …obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur.

[182] Особенно принимая во внимание расположение поселений на холмах (как и в Риме), разделенных долинами.

[183] VMI, 21.

[184] Об этом свидетельствует образование нового противопоставления: Senamiestis — Naujamiestis (ср. Vilnius — Nauja Vilnia и т. п.). Вместе с тем и в более ранней истории Литвы имели место подобные предполагаемым трансформации. Так, исходя из данных о миниатюрных городищах (см.: R. Volkaitė-Kulikauskienė. Miniatiūrinių piliakalnių Lietuvoje klausimu // Iš Lietuvos kultūros istorijos, II. Vilnius 1959. С. 125—137), как будто следует, что более раннее отношение «городище» (жилое) — «подножье» (нежилое) позднее сменилось другим: «городище» (нежилое) — «подножье» (жилое); лишь в случае опасности возвращались к старой схеме. Можно предполагать, что именно такая ситуация была характерна и для Вильнюса. Высказанное выше мнение о слиянии в истории Вильнюса трех первоначальных изолированных

центров в единый территориальный и социальный организм вполне согласуется с новыми тенденциями в вопросе становления древних городов из разрозненных элементов (ср. *концы* в русском городе). См.: *В. Л. Янин*, *М. Х. Алешковский.* Происхождение Новгорода (к постановке проблемы) // История СССР, 1971, № 2; *Фадеев Л. А.* Происхождение и роль системы городских концов в развитии древнейших русских городов // Русский город. М., 1976. С. 17—31. В связи с этим возникает и другой вопрос — о возможном наличии в ранней истории Вильнюса элемента «б е с п о р я д о ч н о й кучевой застройки, который лежит в основе так наз. padrikas kaimas (kupėtinis kaimas); об этом принципе см.: Lietuvių etnografijos bruožai. С. 170—183; Mažoji Lietuviškoji Enciklopedija, II. Vilnius, 1968. С. 14—16, и др. «Уличный» принцип в Вильнюсе обнаруживает свое относительно позднее происхождение.

[185] Довольно близкую аналогию доставляет тема Квирина (Quirinus) в Риме, ср. quirītes при лит. valstiečiai (: *V*a*l-/*V*e*l-/*Vil-), также раскрывающаяся через анализ места жреца Квирина (flamen quirinalis) в ритуале. См.: G. Dumézil. Naissance… II. P. 194 sqq. К связи корня *Vel-(: velnias) с названием города ср. жемайтскую форму его Velnius (ср.: Velniaus keles išbogena. | Velniaus mieste vaikščiodama…). Но еще существеннее тот факт, что сам Вильнюс включается в рамки фольклорной топографии со всеми ее мифологизирующими тенденциями. Ср. J. Basanavičius. Vilnius lietuvių dainose // Rinktiniai raštai. Vilnius, 1970. С. 494—566.

1980

К ОБЪЯСНЕНИЮ НЕСКОЛЬКИХ «КУЛЬТУРНЫХ» СЛОВ В ПРУССКОМ

Лингвистическое исследование «культурных» слов имеет свою достаточно длительную историю. Обычно оно было ориентировано или на в н е ш н ю ю по отношению к языку цель (денотат, т. е. реалия, стоящая за обозначающим ее словом [1]), отсылающую к широкой сфере культурно-исторических связей данной традиции, или на в н у т р е н н ю ю, собственно языковую цель, когда отклонение формы заимствованного слова в данном языке от слова, являющегося его источником и находящегося в другой языковой традиции, интерпретируется как указание той пространственно-временной ситуации, которая характеризует усваивающий новое слово язык в момент заимствования (чаще всего проблема сводится к определению времени заимствования [в относительно-хронологическом плане, где мера времени задается шкалой языковых изменений] и места его [диалектный аспект]). Меньшее внимание уделялось а р е а л ь н о м у аспекту «культурных» слов, когда исследователю приходится иметь дело с реальностями двух родов: некоей м е ж ъ я з ы к о в о й (точнее — «кросс-языковой») общностью, задаваемой распространением данного «культурного» слова в пространстве, в пределах которого слово выступает как нечто единое, неизменяющееся и, так сказать, «надъязыковое» (в отношении каждого конкретного языка), или же, наоборот, некоей в н у т р и я з ы к о в о й ситуацией, которая вынуждает трактовать «чужое» слово как «свое» и, следовательно, определять его мотивировку внутри данной языковой системы (сфера «народной» этимологии, где она наиболее близко соприкасается с «научной» и «онтологической» [философской] этимологией), пренебрегая тем самым данными о существовании слова вне рассматриваемого языка. Неразличение или смешение этих двух реальностей приводит к обеднению проблематики «культурных» слов в луч-

шем случае и к решающему искажению всей перспективы в худшем случае. Трудности усугубляются, когда пространство, в котором распространено данное «культурное» слово, понимается как исключительно или прежде всего языковое (т. е. как совокупность языков, заполняющих данный ареал с тенденцией к относительной дискретности или относительной непрерывности в распределении языковых характеристик в пределах ареала). Дело в том, что сам по себе язык нейтрален по отношению к «культурным» словам; точнее, он не ставит пределов распространению слов этой категории, занимая по отношению к ним приемлюще-положительную, «открытую» позицию. Отсюда — принципиальная «недиагностичность» конкретного языка в отношении «культурных» слов. Поэтому при исследовании ареального аспекта «культурных» слов существеннее ориентироваться на «культурное» или даже физико-географическое пространство (а не на «языковое»). В отличие от языка «культура» отнюдь не нейтральна ни к «культурным» реалиям, ни к «культурным» словам: и те и другие она встречает на своих «границах» и определяет возможности и условия их введения или отталкивания. Что же касается физико-географического пространства, то оно коррелирует с «культурным» пространством — во всяком случае в той степени, в которой «культура» укоренена в сфере «природы», строится на ее элементах и позже — обратным образом — влияет на нее. Следовательно, и оно не нейтрально по отношению к «культурным» словам и определенным образом (хотя и вторично) сигнализирует о приемлемости или неприемлемости тех или иных «культурных» слов на данной территории. Эти обстоятельства достаточно убедительно объясняют, почему в ситуации, когда речь идет об ареальном аспекте «культурных» слов, «культурное» и физико-географическое пространство могут выступать как более насущная реальность, нежели языковой (лингвистической) ареал. Вместе с тем разные «культурные» слова данного языка могут отсылать исследователя к разным по объему «культурным» и физико-географическим общностям, которые могут быть между собой в разных отношениях (включение одной в другую, частичное пересечение, смежность, разъединение и т. п.). Сами эти различия характеризуют важный параметр языка — его «культурно»-лингвистический полицентризм и через него — не менее существенные исторические параметры данной территории.

Проблема «культурных» слов применительно к прусскому языку до сих пор сводилась к выявлению славянских и германских заимствований. На самом деле она значительно разнообразнее и глубже. Более того, сам вопрос о славизмах и германизмах в прусском приобретает несколько иной вид, если он рассматривается как производная (хотя и очень важная) часть более общей проблемы «культурных» слов и соответствующих ареалов, характеризуемых этими словами в качестве «Wanderwörter». В качестве иллюстрации избраны

три прусских «культурных» слова, из которых о д н о связано с наиболее тесным и узким ареалом с четко фиксируемым центром и соответственно языковым источником; д р у г о е соотнесено с существенно более обширным и сильно размытым ареалом без определенного центра; т р е т ь е же предполагает весьма конкретный и первоначально достаточно узкий ареал, разъединенный с данным (прусским) широкой зоной, и наличие вполне определенного источника прусского «культурного» слова. Естественно, что типология ареальных ситуаций в отношении «культурных» слов этим не исчерпывается.

1. Прусское название корюшки (Osmerus eperlanus L.)

В прусском языке известно 25 названий рыб (suckis), см. Эльбингский словарь, позиции 561—585. Кроме того, кое-что может быть извлечено из лексики немецких восточнопрусских говоров, собранной в известных словарях F. Frischbier'а и W. Ziesemer'а (об этом см. в другом месте). Некоторые из этих названий имеют надежные индоевропейские соответствия (как, напр., прусск. lasasso (орфограф. lalasso), лит. lã*šis*, *lašiš*à, лтш. lasis ʽлосось'; прусск. linis, лит. lỹnas, лтш. *līnis* ʽлинь'; прусск. angurgis, лит. ungurỹs ʽугорь'; прусск. esketres, ст.-лит. *ešketras* ʽосетр'; прусск. assegis ʽокунь' и др.), другие являются несомненными заимствованиями (как, напр., прусск. grundalis ʽпескарь' из нем. Grundel, Gründel; прусск. rapis из ср.-н.-нем. rape и др.), хотя иногда источник заимствования не вполне ясен[2]. В лингвогеографическом плане существенно выделение старых индоевропейских диалектизмов (в частности, названий рыб, общих балтийским и славянским языкам по преимуществу, ср. названия угря, может быть, сома и др.), общебалтийских наименований (ср. прусск. liede, лит. lỹdeka, лтш. *līdaka* ʽщука' и др.), внутрибалтийских изоглосс (ср., напр., прусско-куршские параллели: прусск. brunse ʽплотва' — лит. диал. *brunšis*, лтш. диал. *brunča*, bruncis, *bruncītis* и даже ливск. *bruńtš*; прусск. seabre ʽрыбец' — лтш. диал. zebre, лит. *žuobrỹs*; прусск. starkis ʽсудак' — лтш. диал. *stārķis*, *stārks*, *stęrks*, лит. stárkas, stérkas[3]), наконец, изоглосс, объединяющих балтийские языки в целом или частично с языками других групп, расположенных на смежных территориях. Особый случай представляет совмещение в одном ареале двух или нескольких разных названий одной и той же породы рыб. В прусском известен лишь один такой пример; при этом он окажется надежным, если верна предлагаемая ниже реконструкция одной новой прусской лексемы, на которую до сих пор не обращалось внимания (см. ниже). Первое название корюшки в прусском, до сих пор считающееся единственным, представлено в Эльбингском словаре 579: Malkis как перевод немецкого Stint. У Траутмана это слово во-

обще никак не объясняется, а Эндзелин замечает, что этимология слова неизвестна («etimoloģija nezināma»)[4]; правда, тут же упоминается возможность родственной связи этого слова с лат. malus ʽплохойʼ (со ссылкой на Walde — Pokorny. II. S. 296). Впрочем, направление, в котором развивалась этимологическая мысль Эндзелина, достаточно ясно. Пробная реконструкция исходной формы прусского слова как *malikis (?), видимо, предполагала (диминутивный?) тип образования с суффиксом -ik-, отраженным, возможно, в этом же значении в таких именах собственных, как Swenticke, Grasicke, Pyrmiko и т. п. Типологическая параллель ср.-в.-нем. stinz с корюшка' : stunz ʽкороткийʼ при том, что лтш. *ķīsis* (собств. — ʽёршʼ, ʽAcerina cernuaʼ), иногда относящееся и к корюшке, выступает нередко как образ «малости»[5], ориентируют на связь прусского слова с лексемой, обозначающей нечто мелкое (балт. *mal-?). Впрочем, уже задолго до этого Калима предложил связывать другие балтийские рыбные названия— лит. *mãlė* ʽмелкая рыбешкаʼ, ʽPhoxinus phoxinusʼ, лтш. male ʽBlicca argyroleucaʼ — с слав. **malъ*, рус. *ма́лый*[6]; сюда же и славянские названия рыб типа рус. *моль, мо́лька* ʽмалекʼ, ʽмелкая рыбаʼ (ср. *мальга́, мо́льга, мо́льва, моля́ва*[7]). Френкель уже определенно относит к этому ряду и прусск. malkis, предполагая, что это слово содержит тот же диминутивный суффикс, что и в в.-луж. и н.-луж. małki, болг. *малък*, рус. *ма́ленький*, польск. maleńki и т. п. В таком виде этимология прусск. malkis приобретает правдоподобие, но, конечно, она еще далека от вполне корректной формы. Решающим звеном, позволяющим достичь такой формы, следует считать анализ рус. *моль*. Дело в том, что обычно упускают из вида, что это слово обозначает не только мелкую рыбу, причем л ю б о й породы[8], но и вообще ʽмелкие предметы, мелочь; что-либо, состоящее из отдельных несоединенных предметов; россыпь (обычно о лесе, сплавляемом не связанными между собой бревнами)ʼ[9]. Особенно существенно, что *моль* обозначает и разрозненные бревна, находящиеся в беспорядочном множестве (на воде или на суше), и мелкую рыбешку, в частности, снетки, корюшку. Эта связь позволяет сделать два более чем вероятных заключения и применительно к балтийскому материалу: во-первых, что прусск. malkis ʽкорюшкаʼ — слово того же корня, что и прусск. malko, которое в словаре Грунау (позиция 43: орфограф. nalko) переводит нем. Holz ʽдроваʼ, лит. málka (malkà) ʽполеноʼ, ʽдроваʼ (málkos, Pl.), ʽкучаʼ (как дров, так и разных других предметов)[10], лтш. maȋka ʽдроваʼ и т. п.[11]; во-вторых, что все эти слова родственны, этимологически связаны с рус. *моль* в указанных значениях. Очень существенно указание Егерса, что лтш. maȋka «fast immer von z e r s p a l t e n e m Holz gebraucht wird»[12]. Таким образом, действительно, оказывается, что балт. *mal-, *malk-, как и слав. *mol- (*mol-*ьk*-?), описываются признаками: 1) «мелкости», «малости», 2) «раздробленности», «расщепленности», 3) «множественности» и 4) «хаоти-

чности», «беспорядочности» [13]. После сказанного не должно вызвать удивления, что слав. *molь, обозначающее насекомое и связываемое с *malti 'молоть', 'измельчать', относится, вопреки Фасмеру, сюда же, как и Adj. **mělъkъ* с продленным вокализмом *ē* (ср. прусск. meltan 'мука', но malunis 'мельница' и многочисленные соответствия и параллели в восточнобалтийских языках, не говоря о многих других). В контексте схемы, объединяющей все эти факты, находит свое объяснение и прусск. malkis 'корюшка'.

Другое название этой рыбы восстанавливается на основании прусского имени собственного Jaunestinte, отмеченного в источнике, относящемся к 1347 г. [14] В этом имени, представляющем собой сложное слово, первый член jaun- находит себе точные соответствия в лит. jáunas, лтш. jaûns, слав. **junъ* (балто-слав. *i̯aun-) и т. д. [15], а второй представлен в таких прусских именах, как Stintil, 1317, Styntil, 1344, 1370, Stintyle, 1348; Stintele, 1299, Stintel, 1302, 1418 [16]. Напрашивается предположение, что элемент *stint- и есть корень слова, обозначающего корюшку (Osmerus eperlanus L.) или вообще корюшковых (Osmeridae) и заимствованного из ср.-н.-нем. stint, откуда и н.-в.-нем. Stint [17]. Из этого же источника были получены соответствующие названия и в других языках этого ареала, в частности, в балтийских. Ср. лит. stìnta 'снеток' и особенно *mažóji stìnta* как обозначение корюшки по принципу 'малый снеток', в отличие от ряпушки (также принадлежащей к корюшковым), обозначаемой как 'большой снеток' — *didžióji stìnta* (ср. в латышском словаре Ланге 1777 г.: stintes 'k l e i n e Stinte', die g r o s s e n heissen Sallakas. II. 327). В высшей степени показательно, что лит. *mažóji stìnta* практически полностью соответствует структуре прусского Nom. pr. — *jaun- & — *stint- 'молодой (т. е. 'маленький', 'мелкий') снеток', иначе говоря, — 'корюшка'. Поэтому в Nom. pr. Jaunastinte предлагается видеть в т о р о е отражение апеллятива со значением 'корюшка'. Следует заметить, что «корюшковые» имена весьма распространены в этом ареале. Ср. лтш. Hans Stinte, 1582 (Rīgā) [18], немецкие имена на Stint-, рус. *Снеток*, *Снетков*, ср. *Ряпуха*, 1585 (крестьянин из Пскова) [19] и др. Характерно, что заимствованное название этой рыбы известно всем без исключения языкам, которые расположены вокруг Балтийского моря, в частности, на его южном побережье (в этих условиях было бы крайне странным, если бы это слово отсутствовало только в прусском). Ср. нем. Stint, kleiner Stint, kurzer Stint 'озерная салака'; кашуб. stynt, stinka, польск. stinka, stynka, sztynka; блр. *стынка* (Каспяровiч 295); лит. stìnta, stintelė, *stintinės žuvys* и т. п. [20], лтш. stiñta, stiñte, stints, *štinta*; stinka 'озерная салака', stinte, *stintīte*, *stintītis* [21]. Обилие уменьшительных образований от этих слов (как и определения типа «малый», «короткий») бросает свет не только на структуру прусск. *jaun- & *stint-, но и на прусские имена этого корня — Stintil, Stintel и т. п. ('салакушка', 'снеток'?). Заимствованный харак-

тер балтийских слов, приведенных выше, не вызывает сомнения[22]. Территория, на которой известно это заимствование, тянется и далее к северу (р. эст. *tińt*, tint, peipsi-tint, ижор. tintti, фин. sintti, tintti и др.), а потом распространяется к западу и югу вокруг Балтийского моря (ср. норв. диал. stinta, stinte, швед. stint, дат. stint и др.), смыкаясь с ареалом говоров немецкого языка и прусскими землями. Этот по кругу расположенный ареал с очень однообразными формами имеет идущий к востоку аппендикс, который на восточнославянской территории быстро теряет четкость своих границ. Это второе направление представлено русскими названиями *снето́к, снито́к, сняток* (ср. блр. *снято́к*), особенно полно представленными в псковских и новгородских говорах (ср. *снѣтъ* в Псковской летописи под 1626 г.), а также заимствованиями из русского (ср. лтш. snitka, *sņata*, *šņata*, *sņats*, *sņatka*, *sņets*, *sņetka*, *sņetks*, *sņitka, šņitka, sņitks* и т. п., карельск. *снетку* и др.)[23]. Учитывая формы типа *снет*, *снеть*, *снит*, *снят*, может быть, *снети́нка*, можно еще раз высказаться в поддержку старой точки зрения о том, что эти слова восходят в конечном счете к ср.-н.-нем. stint, вероятно, через финское посредство (sintti > *snit- > **snьt*- > *снет* — лишь как один из возможных вариантов)[24]. Вместе с тем в связи с формами типа рус. *снѣтъ* трудно полностью пренебречь слав. *sně̆t-, отраженным в чеш. sně̆ť ʻсукʼ или укр. *снiт* ʻколодаʼ, — особенно, имея в виду круг значений, напоминающих то, о чем писалось выше в связи с прусск. malkis — malko[25].

В этом широком ареально-языковом контексте прусск. *stint-, как и *stint-il-/*stint-el- и особенно *jaun- & *stint-, давшее повод к установлению самой лексемы и определению ее значения, занимают свое вполне надежное место.

2. Прусское название можжевельника (Juniperus communis L.)

В Эльбингском словаре 608 словом kadegis переводится нем. Eynholcz[26]. Отражением этого же прусского слова являются и немецко-прусские диалектные обозначения, распространенные по всей Восточной и Западной Пруссии и отчасти за ее пределами (Kr. Flatow, Kr. Dt.-Krone). Специфика ситуации состояла в том, что прусское название можжевельника, имеющее многочисленные параллели в языках, расположенных к востоку и северу от южного побережья Балтийского моря, само стало «вторичным» «культурным» словом для немецкого северо-востока. Центр иррадиации, несомненно, находился в Вост. Пруссии. Об этом, между прочим, свидетельствует то обстоятельство, что именно для этих мест (особенно в сев.-вост. части Пруссии, в окрестностях Кенигсберга и Данцига[27]) характерны формы Kaddig, Kaddik,

Kaddeck[28]; в этих же местах отмечен целый ряд сложных слов с элементом Kaddig-: Kaddigbeere, Kaddigheister, Kaddighopser, Kaddigmûs, Kaddigpalve «Palwe mit Kaddiggesträuch bestanden», Kaddig-springer и т. д. Форма Kattich есть не что иное, как гиперфонетический (по верхненемецкой модели) вариант слова Kaddig, которое может восприниматься как нижненемецкое слово, которое, кстати, существует реально (н.-нем. kaddik)[29]. Не подлежит сомнению, что уже на немецкой почве это заимствование из прусского продвинулось сильно на запад (Зап. Пруссия, Померания, Мекленбург, Бранденбург, Альтмарк, вплоть до Гамбурга — вероятно, благодаря ганзейским связям первых нижненемецких колонистов в Вост. Пруссии). Во всяком случае из всех балтийских заимствований в немецком это слово завоевало наибольший ареал, попав даже в нововерхненемецкую письменность[30]. Тем не менее границы его продвижения на запад достаточно определенны (ср. нем. Wacholder, дат. ene, нидерл. jeneverbes, франц. génévrier), и следует отвергнуть высказывавшуюся мысль о связи этого слова с франц. cade ʽJuniperus oxycedrus' которое, как и прованс. cade, cadre, связано с позднелат. catanus (ср. лат. catus ʽострый', ʽколючий', из сабинского)[31]. Следы прусского слова для можжевельника обнаруживаются в кашубских и польских говорах северной Польши. Ср. кашуб. kaduk, kadik, kadëk с характерной фразеологией (ср.: jic v *kaduk'i* ʽитти в кусты можжевельника с естественной надобностью' (ср. возможное притяжение с kadac ʽpierdzieć') или пословицы типа: Spròbuj vërvac kaduka; Tak je mocni, żebë kaduka z kořeńoma vërvåł; ʒe kaduk rosce, tam xleba ńe jådajǫ, с намеком на песчанистую почву, на которой растет можжевельник)[32]. Весьма характерны такие слова, как кашуб. kad*ű*k, kad*ǫ*k ʽчорт', kadu*čï* ʽпроклятый', ʽчертовский', привлекающие внимание в связи с названием можжевельника и соотносимой с ним символики нижнего мира[33], см. ниже. Польск. kadyk (ср. kadykowy) также является прусским заимствованием, хотя в ряде случаев точнее было бы говорить о заимствовании через немецкоязычную среду (ср. характерный ареал слова — вся Зап. Пруссия по Торунь и Тухолю). Интересно, что в Мазовше это слово отмечено только в Сувалкии и под Млавой[34], что дает веские основания для предположения о наличии этого слова и в ятвяжском. О том же, может быть, говорит и наличие этого слова в Полесье[35]. Отдельные редкие случаи употребления этого слова дальше к югу и юго-западу[36] могли бы, скорее всего, объясняться влиянием немецкого (ср. проникновение этого немецкого слова из Вост. Пруссии в Силезию); это влияние отчасти могло быть поддержано глаголом, восходящим к слав. *kaditi (его связь с названием можжевельника в ряде случаев довольно очевидна). Тем не менее, эти изолированные случаи в целом выглядят как нечто вполне окказиональное. Исключая эти последние примеры, можно сказать, что весь описанный ареал этого слова имеет своим эпицентром Вост. Прус-

сию, что, кажется, подтверждается и топонимическими данными [37], а отчасти и косвенно — мифопоэтическими представлениями о можжевельнике, в частности, в этих местах. Среди разных свойств этого хвойного растения (из семейства кипарисовых), объясняющих его использование в неожиданно широкой сфере, наиболее выдающееся связано с издаваемым им при сжигании характерным «бальзамическими запахом» [38]. Есть сведения о почитании этого растения у балтов, которые считали его священным. Генненберг (1595) в этой связи сообщает о двух местах в Пруссии под названием Heiligwald (около Кенигсберга и около Христбурга). Здесь же характерная приписка: «Heyligwald ist ein kleines Weidigen in Samaiten hart an der Preuschen Grentze, darinnen schöne hohe Bircken stehen, darunter auch Kattich oder Wacholderbeerholtz wechst, den die Samaiten noch für heilig halten, darinnen man gar nichts darff abhawen, auff das jhre Götter, so darinnen wonen, nicht verletzt werden, vnd das sollen gleichwol Christen sein. Besihe Sim. Grun. Tract. 13. S. 15 vnd Mechouim lib. 4 fol. 283» [39]. Спустя сто лет сообщается, что в можжевельнике сидит дьявол, не позволяющий рубить растение [40]. Перемена мотивировок (бог — дьявол) связана, конечно, с кризисом прусского язычества. Однако и в начале XVIII в. Преториус пишет о почитании этого растения как у пруссов-шалавов, так и у жемайтов [41].

Сходное название можжевельника хорошо известно и к востоку от прусской территории, в восточно-балтийских языках. Существенно отметить, что обычно оно распространено или лучше всего представлено в говорах, расположенных в западной части данной языковой территории. Особенно показательно распределение слов для можжевельника в литовской языковой области. Весь запад Литвы (условно — за линией, соединяющей Пакруоис, Кедайняй, Каунас, Алитус) занят формами kadagỹs, kãdagis, а также kàdagis, kadãgis, kadagẽ̇lis (сев.-зап. территории, тяготеющие к морю) и kadugỹs, kãdugis, kadùgis (юго-вост. территории за Неманом, с узкой полосой, уходящей на север в междуречье Дубисы и Невежиса). Но на самом западе этой территории, в Клайпедском крае, чуть к югу от Клайпеды, а также в р-не Шилуте (немного к сев.-вост. и к юго-вост.) отмечены формы, совпадающие с прусскими, — kadegỹs, kãdegis, kãdekis. Зато к востоку от указанной выше линии встречаются исключительно формы другого корня (ẽ̇glis, ẽ̇glius, ë́glis, ë́glius, ėglỹs; ãglis, ãglius, *ẽglius*, agliùkas, egliùkas; verbà) [42]. В связи с лит. kadag- (ug-, eg-) уместно вспомнить об остающемся до сих пор не объясненным kãdagas ʽособая болезньʼ («tokia vaikų ir suaugusių liga, pasireiškianti sąnarių tampymu, virpėjimu»), ʽприпадокʼ (ʽpriemėtisʼ), ʽдрожьʼ (LKŽ. 5. S. 39). По-видимому, отношение этого слова к названию можжевельника такое же, как и в рус. *можжеве́льник*: *можжу́ха*, *мозжу́ха* ʽломотаʼ, ʽкостоломʼ, ʽознобʼ (но и ʽможжевельникʼ!), ср. *можжи́ть*, *мозжи́ть* ʽнытьʼ, ʽломитьʼ, ʽбитьʼ (о ли-

хорадке и т. п.). Кстати, и лит. kadagỹs как название старинного литовского танца, видимо, ориентировано на идею мелких прерывистых движений, своего рода подергиваний, дрожи, «ломаний». Вообще следует заметить, что название можжевельника прочно вошло в символику литовского фольклора [43] и в контексты, ориентированные на звукоизобразительность и мифопоэтическое этимологизирование [44]. В латышском языке (Кулдига, Лиепая) известна форма, также точно соответствующая прусской, а именно *kadeg'*is (Mühlenbach—Endzelin. II. S. 131 объясняют ее, хотя и с неуверенностью, как литуанизм, в чем, кажется, нет принципиальной необходимости из-за наличия таких двух рядов, как *kadęgs* и *kadig'*is и т. п., см. ниже); ср. также *kadęg*s [45], ka*deķis, kadig'is, kadiķis,* (*kadiķ*iene); kadags (II. S. 131—132); *kadiķe,* kadaks, kadægs и др. [46]. Однако эти формы при всем их сходстве неоднородны по происхождению: одни из них (учитывая их географическое распространение) восходят, видимо, к куршскому наследию [47]; другие (как *kadiķis*) — к заимствованиям из нижненемецкого; третьи могут быть признаны собственно латышскими. Топонимические данные помогают не только установить ареал указанных слов для можжевельника, но и особенности его членения [48]. На восточнобалтийской территории это название можжевельника было усвоено и рядом иноязычных конклавов, ср. рус.-диал.-прибалт. *ка́дык* [49], евр.-лит. диал. kadegínes, евр.-жемайт. kádeges и др. [50], нем.-балт. Kaddak, отличающееся от прусско-немецких форм и, возможно, заимствованное из вост.-балт. kadag(a)s.

Балтийское название можжевельника вызывает споры о его происхождении. Одни видят в нем исконное индоевропейское наследие и указывают круг возможных параллелей. Хотя они и не обладают высшей убедительностью, но нередко в текстах народной словесности или в объяснениях impromptu подтверждаются сходными семантическими мотивировками и поэтому не могут считаться ложными, — во всяком случае в определенных пределах. Внутри балтийских языков название можжевельника обычно сопоставляют с прусск. -cod-is в названии дымохода (accodis); в свою очередь -cod-is, несомненно, связано с слав. *kaditi, *kadi(d)lo (ср. ст.-слав.), **čaditi, *č*a*dъ* и их продолжениями. Остальные соответствия, приводившиеся по этому поводу, были еще более гадательными или вовсе неубедительными [51]. Ср. др.-греч. *κέδρος, κέδρις*, др.-инд. kadrú- ʻкоричневыйʼ, ʻбурыйʼ (и даже kadamba- ʻNauclea cadamba L.ʼ), алб. *k'em* ʻладанʼ (его, впрочем, связывают не только с и.-е. *ked-mo-, но и с слав. **kopotь*) и др. [52]. Другие специалисты исходят из неиндоевропейского происхождения названия можжевельника и сосредотачивают внимание на сходных названиях в других языках, прежде всего в прибалтийско-финских (однако важно то, что они имеют соответствия и в других группах финских языков, в частности, там, где балтийские заимствования практически неизвестны). Ср.: ливск. *kadāg, gadāg, gaDā*g [53], эст.

kadakas, kadak, водск. katagg, фин. kataja (диал. katava), карел. kadaja, вепс. kadaǵ, kadag [54] и др. На сходство этих слов с балтийским названием можжевельника обратил внимание еще Томсен (Op. cit. 176), считавший, что прибалтийские финны заимствовали это слово у их соседей балтов. Однако Сетэлэ, кажется, убедительно показал, что направление заимствования было обратным [55]. С тех пор количество аргументов в пользу этой точки зрения значительно увеличилось, и большинство исследователей явно или с некоторым сомнением отдают предпочтение именно ей [56]. Особенно существенны два аргумента — культурно-исторические и ареальные соображения в пользу заимствования этого слова балтами от финнов (внутренний аспект проблемы, ср. исследование В. Руке-Дравини) и обнаружение довольно многочисленных названий можжевельника этого же корня в пермских и волжско-финских языках (внешний аспект). Ср. коми *катш* (*кač*, диал. *катш помель*, *катшпомоль* [57]), может быть, марийск. *гож*, ср. *лӱмегож* ʽможжевельник’ (< **лӱмэ-кож* ʽклейкая ель’?). С известным колебанием Тойвонен отделяет от этих слов, восходящих к др.-перм. **кač*, такие слова с вокализмом переднего ряда, как саам. kä*sŋâs’ɛ*, манс. (нижне-лозвинск.) kε̄*šepiß* и др. Впрочем, и за пределами финских языков обнаруживаются формы, которые (во всяком случае внешне) напоминают уже приведенные слова для можжевельника. В этой связи указывалось на чуваш. *ката* (kada) ʽкустарник’, ʽмолодая поросль’, *катаркас*, *катĕркас* ʽколючий кустарник’, ʽбоярышник’ и даже якут. *кытыан* ʽможжевельник’; в более общем виде сообщалось о широком распространении близко звучащих слов в тюркских и монгольских языках, среди которых особенно выделяются ойротские (алтайские) факты [58]. В целом, однако, эти указания недостаточно надежны и конструктивны, но следует, конечно, иметь в виду, что семантическая мотивировка названия можжевельника остается неясной и для финноязычных примеров. Несомненно, впрочем, что это название распространялось по обширным и разноязычным территориям именно как «культурное» слово, вырвавшееся из-под контроля закономерностей, действующих в пределах генетически единой языковой группы. Но это не означает отказа от поисков закономерностей иного рода даже в условиях, которые могут показаться близкими к языковому хаосу [59].

3. О названии латуни в прусском

В списке слов, обозначающих металлы, в Эльбингском словаре (526) прусск. kassoye передает нем. Messing. Ему предшествует (525) название меди (wargien) и за ним следуют названия олова (alwis, 527) и цинка (starstis, 528) [60]. Прусское слово выглядит для этих мест совершенно уникальным.

Удивительно и то, что, во всех соседних языках слова для латуни вполне ясны: это или оригинальное новообразование с четкой структурой частей (лит. *žálvaris*, эст. valgevask и т. п.) или — чаще — заимствования, как правило, многостепенные: ср. н.-в.-нем. Latûn, ср.-н.-нем. laton из итал. *lattone (венец. laton от latta ʽжесть'), ср. ср.-греч. *λατούνι*, рус. *лату́нь* (не говоря о гипотезе Рясянена о тюркском происхождении этого слова) или же нем. Messing (как и другие германские обозначения, видимо, восходит к лат. massa ʽслиток', ʽглыба', ʽком', ʽмасса') и заимствованные из него польск. *mosiądz*, кашуб. mosǫg, mosǫʒ, в.-луж. mosaz, н.-луж. диал. mósez, чеш. mosaz, словац. mosadz, укр. *мо́сяж*, рус. **мосяг* (ср. фамилию *Craigin*[61]); лтш. *misiņš*, лит. mìsingis, mísingas, mìsinė; эст. messing, фин. messinki и т. п.[62]. Первоисточник этих слов лежит, однако, глубже. Его ищут или на древнегреческой почве[63], или же отождествляют с этнонимом *Μοσσύνοικοι*[64], относящимся к народу, обитавшему на сев.-вост. Малой Азии[65]. Связью с этим этнонимом можно было бы пренебречь[66], однако уже то обстоятельство, что они обитали в прибрежных горах к западу от Керасунта, т. е. примерно там, где были раньше хатты, особая роль которых в развитии древней металлургии теперь, прежде всего после ряда исследований В. В. Иванова, не подлежит сомнению, делает гипотезу о связи сев.-вост.-европ. *mos-ing- (условно) как обозначения латуни с этим этнонимом соблазнительной и нуждающейся в новой проверке с учетом сильно изменившихся представлений о древних центрах металлургии. В этом контексте обретает новый смысл и старое сопоставление прусск. kassoye с др.-греч. *κασσίτερος* ʽолово', остававшимся до сих пор совершенной абстракцией из-за огромного временного и пространственного разрыва между этими названиями, казалось бы ничем не заполненного. Как известно, *κασσίτερος* (аттич. *καττίτερος*) отмечено уже у Гомера и Гесиода, а позже в аттических надписях; ср. гомер. *χεῦμα κασσιτέροιο* ʽлитьё из олова', *κασσῐτέρῐνος* ʽоловянный', *κασσιτερᾶς*, *κασσιτερο-ποιός* ʽоловянщик', ʽоловолей', *κασσιτερόω* ʽлудить' и т. п. Характерно название *Κασσῐτερίδες* ʽОловянные острова', к юго-западу от Британии. Отсюда олово привозили в Грецию и восточное Средиземноморье (через Тартесс), ср. Геродот III. 115; Страбон, Диодор Сицил. Есть мнение, что именно это название (кельтское в своей основе, ср. Nom. pr. Cassi-velaunus[67]) и было источником для олова, обозначающего олово в др.-греч. по хорошо известной модели (*Κύπρος* : лат. cuprum, нем. Kupfer; лат. Brundisium (из мессапск.) — франц. bronze, рус. *бронза* и др.). С неменьшим основанием можно, видимо, говорить и о восточных связях *κασσίτερος*, соотнося это слово с названием коссеев-касситов (аккад. *kašši*), горного народа, жившего в древности в горах Загра, в современном Луристане (в XVIII—XVI вв. до н. э. им была подчинена Вавилония, но и много позже в IV в. до н. э. с ними столкнулся Александр Македонский)[68]. Исключительно инте-

ресно, что, помимо культур Элама, именно знаменитая луристанская бронза была первой археологически засвидетельствованной культурой, соотносимой с конкретным этносом. Существует авторитетное мнение о том, что луристанская бронза относится именно к к а с с и т а м[69]. В таком случае оправдано предположение, согласно которому kassi-ti-ra может пониматься как ʻпроисходящий из страны Касси’, — не исключено, что в отнесении к бронзовым изделиям (посуда, утварь, украшения и т. д.), которые вместе с обозначающим их словом начали «эстафетное» движение на запад, а может быть, и на восток[70]. Дальнейшая история этого слова связана с двумя центрами — Балканами и Италией. Похоже, что заимствованное у греков лат. cassiterum (ʻсплав из свинца, серебра и друг. металлов, преимущественно олова’, ср. Plin, Major; ср. Cassiterides. Pomp. Mela, Plin.) не осталось без продолжения. Возможно, оно сыграло какую-то роль в образовании таких не вполне ясных форм, как ст.-франц. casserole (1583, Gay), первоначально южно-французский диалектизм, который наряду с cassole, cassote, производными от casse ʻкастрюля’, возводят к прованс. cassa (< вульг.-лат. cattia ʻсковорода’)[71]; дальнейшие вехи — нем. Kasserolle, н.-нем. Kastroll (голл. kastrol), лтш. kasruõlis, рус. *кастрю́ля*, укр. *костру́ля* и т. п. Балканские продолжения были обильнее, надежнее и, возможно, более актуальны в связи с загадкой прусск. kassoye[72]. Речь идет прежде всего о ц.-слав. *коситеръ, каситеръ,* болг. *косѝтро*, *кос*ѝ*тън*, с.-хорв. *кѐситер*, *коситар*, словен. kosíter, румын. cositor, costor с соответствующими производными. Все эти слова содержат элемент kas-, kos-, который связан с обозначением олова и напоминает прусск. kas- в названии латуни (в состав которой входит и олово). Если эти элементы исторически связаны между собой, перед сами еще один пример культурных балто-балканских параллелей, в которых с балтийской стороны принимает участие именно прусский язык, наиболее активно (и, видимо, с наиболее раннего времени) участвующий в этих связях. Однако не исключено, что может быть восстановлено и важнейшее промежуточное звено этой цепи. Речь идет о польск. kositarz, kosiciarz «pomocnik w hucie żelaznej, lejący wodę na młot, gdy wyciągają pod nim szynę, zalewający ogień, donoszący węgle i t. p., zalewacz < нем. Kohlschütter». Warsz. II. 487; — «W hutach żelaznych, gdy szynę wyciągnioną równać i gładzić potrzeba, chłopiec po naszemu kosiciarz kijem bije w wodę около kowadła będącą. Os. Rud. 335… Kositarz leje wodę na młot, ta z młota spływając oblewa szynę. Ibid. 303». Linde II. 456. Это в целом темное слово трактуется как Nom. agent, на -arz при том, что соответствующий глагол, кажется, неизвестен. Зато фонетическая близость польского слова с рассмотренными выше словами для олова подкрепляется и семантическим (и, если угодно, ритуальным) параллелизмом: лить воду на огонь в кузнице (в технологическом и мифопоэтическом аспекте) — *лить олово* ʻлудить’ (т. е.

покрывать предмет расплавленным оловом) и ʽпроизводить святочное гадание’, ср. *оловолéй, оловолия́тель, оловогадáтель* ʽотливающий олово в воду для гаданья, предсказаний’ (Даль. II. 1737; ср. также *оловянный глаз*, т. е. недобрый, лукавый; ритуальную формулу *мое слово, что о л ó в о*; *я сказал, что запаял* с индоевропейскими параллелями и т. п.). Естественно, возникает вопрос о возможности видеть в этом польском слове результат вырождения старого обозначения олова, имеющего прочные балканские связи. Если бы это предположение подтвердилось, то прусск. kassoye можно было бы понимать как результат дальнейшего опрощения и дегенерации словообразовательной структуры (ср. «отпадение» -r и — соответственно — переход masc. в fem. на –e?). На этом уровне можно выдвинуть и некоторое «пред-конъектурные» проблемы — так, в прототексте Эльбингского словаря 526-ое слово могло, напр., иметь вид *kassite. Учитывая написание t в этом словаре как незавершенного округлого *o* с разрывом справа вверху, не исключено, что переписчиком *kassite было истолковано как *kassioe, откуда близко и до метатезированного варианта *kassoie = kassoye [73]. При всей гадательности и, так сказать, уникальности этих преобразований они достойны внимания как попытка объяснить почти заведомо испорченное слово, к которому, скорее всего, могут быть применены не типовые, а экстраординарные средства решения. Понятно, остается возможность и других объяснений, в частности, традиционных. Ср., например, связь с балт. *kas- ʽкопать’ (ископаемое, «копкий», рыхлый как обозначение руды, металла, ср. рус. *крушéц*, между прочим, в связи с оловом). Однако пока подобные объяснения кажутся менее вероятными, чем приведенные выше.

П р и м е ч а н и я

[1] Переориентация с поиска значения-денотата на значение-сигнификат (в диахроническом плане — на нахождение сигнификата там, где перед исследователем есть лишь слово и соответствующий денотат) существенно меняет положение вещей, поскольку вскрытие сигнификата предполагает соединение системного анализа с диахронией и, следовательно, обращение к внутриязыковой проблематике. См. É. Benveniste. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. T. 1—2. Paris, 1970.

[2] Ср. прусск. sylecke ʽсельдь’, лтш. *siļķe*, *siliķe*, *siļkis*, лит. siĩkė, siĩkis, которые обычно выводились из прибалтийско-финского источника, ср. ливск. siĨ*'k*, эст. silk (Gen. silgu), silakas, фин. silakka, а теперь связываются со швед. sillake. См. L. Posti. On the Origin of the Word silakka // Studia Fennica. 1965. 12. P. 64—65; см. также B. Laumane. Zivju nosaukumi latviešu valodā. Rīgā, 1973. C. 216—218.

[3] B. Laumane. Op. cit.

[4] См. R. Trautmann. Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910. S. 374; J. *Endzelīns.* Senprūšu valoda. Rīgā, 1943. С. 207. — Едва ли основательна и ранняя попытка Буги прочитать прусское слово как (s)malkis и связать его с лит. smul̃kus ʻмелкийʼ (обычно smùlkus, smulkùs), лтш. smal̃ka-, smalknes, smelknes (K. B*ū*ga. Aistiški studijai. Peterburgas, 1908. S. 137); см. ниже.

[5] Ср. пословицу: pavasarā *ķīsis* dārgāks nekâ rudenī lasis ʻвесной корюшка дороже, чем лосось осеньюʼ. M*ū̃*hlenbach-Endzelin. 2. S. 389; ср. там же: kad vīrs iet zvejuot, bet ne ķīša nedabū («малость» > «ничтожество», ср. *ķīš*i ʻviele kleine Dinge zusammen, lebendige wie lebloseʼ). К сочетанию «малости» и «множественности» ср. nāk tie bḕrni katru gadu kâ ķīši. Это латышское слово заимствовано из ливск. *kīš* ʻершʼ, ʻкорюшкаʼ. См. V. Thomsen. Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk—lettiske) Sprog. København, 1891. S. 262; L. Kettunen. Livisches Wörterbuch. Helsinki, 1938. s. v. *kīš*.

[6] См. J. Kalima. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919. S. 166 ff.; ср. B. Laumane. Op. cit. S. 131—132. — Такие контексты, как лит. m ã l i ų sugavom, bet d i d e s n i ų nei vienos ʻм е л к и х рыб (собств. ʻPhoxinus phoxinusʼ) поймали, а б о л е е к р у п н ы х ни однойʼ (см. Lietuvių kalbos žodynas. VII. Vilnius, 1966 (далее LKŽ). S. 795), также как бы играют на противопоставлении двух смыслов — малое: большое.

[7] См. *Фасмер.* II. С. 648—649; Fraenkel. S. 401; *Г. У. Линдберг, А. С. Герд.* Словарь названий пресноводных рыб. Л., 1972: 6.3.1; 12.31.1; 12.40.6; 12.40.7. Впрочем, некоторые из формально близких названий могут иметь и иное происхождение (ср. *молвец* ʻязьʼ: 12.32.8; возможно, *мóльва* из семейства тресковых, сопоставляемое с лат. molva и др.).

[8] Особенно показательно, что снетки (т. е. та же корюшка) обозначаются как моль. См. *Даль*[2]. II. С. 344.

[9] См. Словарь современного русского языка. Т. 6. М.—Л., 1957. Стб. 1213: Вся поверхность реки покрыта плывущей древесиной или … «*молью*»; По этим речкам не *молем*, а связанным в десять—пятнадцать бревен плотами стремится лес в Куру и т. п. Ср. *молевой лес, молевой сплав* (Т. 6. Стб. 1167—1168).

[10] Ср.: «krūva eilėmis sudėtų medžių kurui, rietuvė», «krūva sumestų, suverstų daiktų» (и даже ʻотрядʼ, ʻколода картʼ и т. п.) см. LKŽ. VII. S. 799—800.

[11] Фин. malka, malko, эст. malk заимствованы из балтийского, ср. E. Nieminen. // Finnisch-ugrische Forschungen. 22. S. 22 ff., 40.

[12] Ср.: Fraenkel. S. 402. Между прочим, здесь же выражено согласие с мнением Егерса о связи слова с лтш. smal̂ks, лит. smùlkus (ср. выше о мнении Буги).

[13] Разумеется, следует учитывать, что исторически одни из этих признаков производны от других и что в конкретных словах некоторые из этих признаков могут нейтрализоваться.

[14] См. R. Trautmann. Die altpreußischen Personennamen. Göttingen, 1925. S. 39, 141.

[15] Ср. прусск. Nom. pr. Jawne, 1397, Javne, Jawnoto, Jawnotho, Jawnutte, Jawnucke, а также сложные имена Jawnegede, 1394; Jawnegoth. Ср. топоним Jawnenisken, 1409.

[16] R. Trautmann. Op. cit. S. 99.

[17] См. о нем. Kluge-Götze, S. 595; Hellqvíst, S. 1077; T. E. Karsten. // Mémoires de la Société Néophilologique. 1895. T. 3. P. 424 ff.

[18] E. Blese. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. Rīgā, 1929. S. 258.

[19] *С. Б. Веселовский.* Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 275; ср. также с. 294, где упоминается также крестьянин из Пскова *Иван Снетков* (1585).

[20] G. H. F. Nesselmann. Wörterbuch der litauischen Sprache. Königsberg, 1851. S. 501; F. Kurschat. Litauisches-Deutsches Wörterbuch. Halle, 1883. s. v.; A. Bezzenberger. Litauische Forschungen. Göttingen, 1882. S. 177, и др.

[21] *Mū̃hlenbach*—Endzelin. 3. S. 1071; B. Laumane. Op. cit. S. 89—91, 101—102.

[22] См. K. Alminauskas. Die Germanismen des Litauischen. I. Die deutschen Lehnwörter im Litauischen. Leipzig, 1934. S. 119—120; *Mū̃hlenbach*—Endzelin. 3. S. 1071; J. Sehwers. Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vornehmlich über den deutschen Einfluß im Lettischen. Leipzig, 1936. S. 123; Fraenkel. S. 906.

[23] См. B. Laumane. Op. cit. S. 87—90 и особенно карту 5.

[24] См. *Фасмер.* III. С. 698 (здесь же литература вопроса); I. Leder. Russische Fischnamen. Wiesbaden, 1969. S. 44; *А. С. Герд* // Беларуская лексікалогія і этымалогія. Мінск, 1968. С. 37; *Он же* // Советское финно-угроведение. 1970. № 2. С. 88; ср. *Г. У. Линдберг, А. С. Герд.* Указ. соч. С. 118—120.

[25] Кстати, уже давно это **snět-* было сближено с готск. sneiþan ʽрезать' (как и malko — *malti, *melti), см. E. Lewy // KZ. 1907. Bd. 40. S. 561.

[26] К реалиям см. H. Pritzel-Jessen. Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Hannover, 1882; языковый аспект проблемы отражен в ст. F. Kluge // IF. 1907. Bd. 21. S. 360.

[27] В окрестностях Данцига употреблялось и другое обозначение можжевельника — maxándəl.

[28] См. Grimm. V. S. 17; F. Frischbier. Preußisches Wörterbuch. Bd. 1. Berlin, 1882. S. 324; Bd. 2. 1883. S. 531.

[29] Исключение составляют такие формы, как katk в р-не Бреслау и kark у Фриштафа. См. W. Ziesemer // Zeitschrift für deutsche Mundarten. 1923. Bd. 18. S. 153.

[30] См. H. H. Bielfeldt // ZfSl. 1963. Bd. 8. S. 156; Idem. Die baltischen Lehnwörter und Reliktwörter im Deutschen // Donum Balticum. Stockholm, 1970. S. 47.

[31] См. J. Brüch // IF. 1922. Bd. 40. S. 197—198, 213.

[32] Sychta. II. S. 118; Lorentz. Pomor. I. S. 325.

[33] Ср. блр. *каду́к* ʽдьявол', ʽзлой дух', ʽпадучая', бранное слово. См. *Т. Ф. Сцяшковiч.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972. С. 204; *П. А. Расторгуев.* Словарь народных говоров западной Брянщины. Минск, 1973. С. 127; З народнага слоўніка. Мінск, 1975. С. 141; *Даль*^{2}, s. v.; *Филин*, 12, 301 и др. (отмечено и в украинском, и однажды даже во Владимирской губ.).

[34] См.: K. Nitsch. Wybór Pism Polonistycznych. II. Wrocław—Kraków, 1955. S. 122; III. 1954. S. 366. Ср. также: J. Tyborczyk // Poradnik Językowy. 1964. S. 262—269; L. Bednarczuk // Acta B.-Sl. 9. 1976 и др.

[35] Об этом слове в польско-белорусском ареале (кроме Нича) см. J. Safarewicz. Studia językoznawcze. Warszawa, 1967. S. 242; W. Cienkowski. // Poradnik językowy. 1963. S. 221, 226; *Ю. А. Лаучюте*. Лексические балтизмы в славянских языках. Л., 1971. С. 292—298 (машинопись) и др.

[36] Ср. чеш. kadík (Kott. I. S. 655) и даже с.-хорв. kadik (см. B. Sulek. Jugo-slavenski imenik bilja. Zagreb, 1879. s. v.).

[37] Ср. Kadgienen, Kadegienen (Kr. Labiau), Kaddig-haus (Kr. Wehlau) и т. п.

[38] До сих пор широко распространен обычай сжигания ветвей и ягод можжевельника при похоронах (ср. также устилание пути его ветвями), что связано с представлением о нем (как и о его сородиче кипарисе) как о растении, символизирующем смерть и ее царство. Ср. описание сжигания можжевельника или кедра (также Juniperus) для благовонного окуривания уже у Гомера (ε 59—61), бальзамирования с помощью кедрового масла у египтян и пáрения скифов у Геродота (II. 87, IV. 75) и т. п. В римской литературе о сходных свойствах можжевельника писали Плиний Старший, Вергилий, Варрон. Ср. также использование этого растения в народной медицине, кулинарии, обрядовой практике (вплоть до вырожденных форм — ограда из можжевельника вокруг дома) и т. п.

[39] Hennenberger. Erclerung der Preussischen grösseren Landtaffel oder Mappen. Königsberg, 1595. S. 157.

[40] M. Chr. Hartknock. Alt- und Neues Preussen oder Preussischer Historien zwey Theile. Franckfurt—Leipzig, 1684. S. 164.

[41] См. A. Fischer. Etnografia Dawnych Prusów. Gdynia, 1937. S. 43. В более широком плане — O. Schräder. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Bd. 2. Berlin—Leipzig, 1929. S. 612 и др.

[42] См. Lietuvių kalbos atlasas. I. Leksika. Vilnius, 1977. 61 (S. 165), карта № 91; J. Senkus. Kadagys ir ėglis // Tarybinis mokytojas 1964. VII. 23; J. *Lipskienė.* Dėl kadagio pavadinimo // Kalbos kultūra 1964. Sąs. 7. S. 63—65. Кроме указанных в Атласе форм ср. kadagius, kadagýnas, kadagė̃tas, *kadagìnė, kadagỹnė,* kadagìnis, kadaginùkas, kãdagmedis, *kãdaguogė*, kadugýnas, *kadugìnė*, kadugìnis, *kãduguogė*, *kadugiãžolė*. — LKŽ. 5. S. 39, 45.

[43] Ср.: O ir priėjau ir prikėliavau *kadagužių* girelę; O aš priėjau ir privandravau *kadagužių* girelę; Iškyla… iš marelių juods *kadagių* laivelis и т. п., о чем подробнее см. в другом месте.

[44] Ср.: užsidegė kaip kadugys или geras botagas iš *kadugių*, с одной стороны, и kadugio *šluota* asslužę šlavė и т. п., с другой (см. LKŽ. 5. S. 45).

[45] Ср.: BW 3707. 1: vici mazi kadedzini zelta ziedis nuoziedẽja, где *kadedziņš* предполагает kadedzis. См. K. *Būga.* Rinktiniai raštai. I. Vilnius, 1958. S. 308; III. 1961. S. 821.

[46] См. V. *Ruķe-Draviņa.* Die Benennungen des Wacholders im Baltischen // Orbis. 1955. T. 4. S. 390—409; Idem. Zviedrias Filologu Biedrības Raksti. 1947. 1. S. 160 ff.; V. Zeps. Latvian and Finnic Linguistic Convergences. The Hague. 1962. P. 116—117.

[47] См.: K. B*ūga.* Op. cit. III. S. 208.

[48] Ср. лит. *Kadagiaĩ*, K*adagynaĩ*, Kadagỹnas, *Kadagìnė*, Kadag*ỹnė*, *Kãdagiškiai*, *Kadagiaĩ* (Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. Vilnius, 1976. S. 115); лтш. *Kadęgi*, Kadagi, *Kadęgas*, Kadags, Kadagas-*ęzęrs*, *Kadęgą*-kalns, *Kadeg'i*, *Kadeg'u*-ciems, *Kadeg'u*-kalva, *Kadeg'u-mežsâ*rgs, *Kadeg'iens*, *Kadeg'is*; *Kadiķi*, *Kadiķis*, *Kadiķa*-kalns, Ka*dig'a-mājas*, *Kadiķu-ganība*, *Kadiķ-kalēji*, *Kadiķu*-kalva; Kadak-*ęzęrs* (?) (J. Endzelīns. Latvijas PSR vietvārdi. 1. 2. Rīgā, 1961. S. 2—3). В Курземе всего 20 топонимов этого корня, в Видземе только 5, в Земгале — 2; см. V. Dambe // Baltistica. I priedas. 1972. S. 57).

[49] *Филин*, 12, 302.

[50] См. Ch. Lemchenas. Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei. Vilnius, 1970. S. 83—84. Ср. также евр.-лтш. kádik, объясняемое Лемхенасом из нижненемецкого. Иначе (из латышского) — Z. *Kalmanovič.* Der jidišer dialekt in Kurland // Filologiše šriftn fun jidišn visnšaftlechn institut. Vilnius, 1926. № 1. S. 183.

[51] Во всяком случае они обычно уступали славянским примерам, которые нередко могли предложить хотя бы вторичные семантические мотивировки названия, ср. кашуб. *kadiķ* : kaʒёс, польск. kadyk : *kadzić* и т. п.

[52] См. E. Lidén // IF. 1904. Bd. 18. S. 491; H. Petersson. Studien über die idg. Heteroklise. Lund, 1921. S. 104 ff.; J. Charpentier // Glotta. 1918. Bd. 9. S. 56; A. Brückner // IF. 1922. Bd. 40. S. 199 ff.; W. Loewenthal // WS. 1927. Bd. 10. S. 161; V. Machek // Slavia. 1929—1930; ročn. 8. S. 216; J. Pokorny. S. 537; E. Çabej. Studime gjuhësore. I. Prishtine. 1976. S. 272—273 (алб. kem/qem из греч. или лат. thymiama с изменением: *kjam > **kiēm* > *kęm* > qem) и др. Другие предложения еще менее вероятны (др.-греч. *κοδομεύω* ʻподжаривать ячменьʼ, лтш. *cedriņš*, лат. cedrus и т. п.), как и шпехтовская «палеонтология» (см. F. Specht. Der Ursprung der idg. Deklination. Göttingen, 1947. S. 147, 215, 246).

[53] См. L. Kettunen. Op. cit. S. 55; K. Aben. Eesti ja liivi. Tallin, 1947. S. 33.

[54] Ср. также kadakpenzaz ʻможжевеловый кустʼ, kadagii̯ńe, kadaghińe, kadagihne ʻможжевеловыйʼ (Словарь вепского языка. Л., 1972. С. 164—165).

[55] E. Setälä // FUF. 1909. Bd. 9. S. 126—128; Idem // FUF. Anz. 25. S. 57. Тем не менее трудно полностью отказаться от мысли, что некоторые прибалтийско-финские формы этого слова не могли не оказаться вторичными (по принципу бумеранга) заимствованиями из балтийских диалектов. Как бы то ни было, но все это снова отсылает нас к проблематике балто-финских контактов и не только в вост. Прибалтике (см. *А. П. Ванагас.* К вопросу о финно-угорском субстрате в литовской гидронимике // Питання гідроніміки. Київ, 1971. С. 146—151 и др.), но и в ю ж н о й, на бывшей прусской территории.

[56] См. J. Kalima. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936. S. 112; Idem // Germanen und Indogermanen. Festschrift für H. Hirt. Bd. 2. Heidelberg, 1936. S. 211; Y. H. Toivonen. Suomen kielen etimologinnen sanakirja. I. Helsinki, 1955. S. v.; *Л. Хакулинен*. Развитие и структура финского языка. I. М., 1953. С. 108 (ср. с. 301); V. Zeps. Op. cit. P. 117; A. Sabaliauskas // Lietuvių kalbos klausimai. 1963. VI. S. 118, 132; 1966. VIII. S. 23, 97 и др.

[57] См.: Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961, s. v.; *В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев.* Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970. С. 118.

[58] См. *А. И. Попов.* Из истории лексики языков Восточной Европы. Л., 1957. С. 39.

[59] Существенно возможно более полное выяснение типологии семантических мотивировок этого названия. Некоторые из них заслуживают особого внимания (ср. напр., рус. *еле́нец* ʻможжевельникʼ и т. п. при однокоренном арм. *ełev*in ʻкедрʼ, см. G. Solta. Stellung der Armenischen im Kreise der idg. Sprachen. Wien, 1960. S. 413).

[60] Как известно, латунь — сплав меди с цинком, иногда с примесью олова и некоторых других металлов, а бронза — сплав меди с оловом, свинцом и т. п.

[61] См. *А. И. Соболевский* // РФВ. 1911. Т. 66. С. 351.

[62] Встает вопрос о том, не относятся ли к этому ряду и прусские топонимы типа Mosancz, 1326, Mosamczen, 1365, Mosencze, ок. 1400, позже — Mosens. При положительном ответе приходится допустить, что, по крайней мере, части говоров прусского языка было известно это заимствование из немецкого.

[63] См. E. Schwarz // ZfslPh. 1929. Bd. 5. S. 400; Idem // AfslPh. 1929. Bd. 42. S. 304; V. Kiparsky. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. Helsinki, 1934. S. 151 ff.; *Фасмер*. II. С. 633; Machek[1]. 305 и др.

[64] См. *Геродот*. III. 94; VII. 78; *Ксенофонт*. Анабасис. V. Гл. 4—5 и др. (начиная с Гекатея Милетского). Страбон называет моссинойков Ἑ*πτακωμῆται* ʽживущие в семи поселениях'.

[65] См. Pauly-Wissowa, s. v.; *М. И. Максимова.* Местное население юго-восточного Причерноморья по «Анабасису» Ксенофонта // ВДИ. 1951. № 1. С. 250—262 и др.

[66] Объяснение названия как «живущие в моссинах» (особых высоких домах) обычно считалось народно-этимологическим. Ср. однако: *μόσσυν. πύργος* (Гесих.) и осет. mæsug, mæsyg ʽбашня', фриг. Mossyna, фрак. Μ*όσσυνος* и т. п. См. *Абаев.* II. С. 104—107 (там же литература вопроса).

[67] См. V. Pisani // IdgJb. 1935. Bd. 21. S. 239.

[68] См. G. Hüsing. Der Zagros und seine Völker // Der Alte Orient. 1908. Bd. 9; K. Balkan. Die Sprache der Kassiten, Kassitenstudien I. (= American Oriental Series. V. 37). New Haven, 1954.

[69] См. V. Minorsky // Apollo. 1931. V. 13. P. 141 ff. (= ВДИ. 1959. № 1. С. 220—222); *М. М. Дьяконов.* Очерк истории Древнего Ирана. М., 1961. С. 39, 357; *И. М. Дьяконов.* История Мидии. М.—Л., 1956. С. 130. Менее определенно: Ph. Ackerman. The Luristan Bronzes. N. Y., 1940; R. Ghirshman. L'Iran dès les origines a l'Islam. Paris, 1952 и др.

[70] Ср. араб. gazdir; др.-инд. *kastīra*- n. ʽолово', которое обычно рассматривается как заимствование из др.-греч. (Mayrhofer. I. S. 192); *Kāstīra*, *Kāstīrika* у Панини IV. 2. 104; VI. 1. 155 (ср. сопоставление прусск. kassoye с др.-инд. kaṁsá- ʽметаллический сосуд', ʽчаша', ʽлатунь' в: J. Wackernagetl. Altindische Grammatik. Bd. 2. Göttingen, 1905. S. 924), а также название острова в Индийском океане Κ*ασσίτιρα*. Ср. D. Muhly, T. A. Wartime. Evidence for the Sources and Use of Tin during the Bronze Age of the Near Easft // World Archaeology. 1973. V. 5. P. 111—112; J. D. Muhly. The Trade Routes of the Bronze Age // American Scientist. 1973. V. 61. P. 404—413; M. J. Mellink. Ancient Metals Trade // Science. 1974. V. 185. P. 52—53; *В. В. Иванов* // Baltistica. 1977. XIII. С. 234.

[71] См. Dauzat. P. 147 и др.

[72] Следует помнить и о турецком по происхождению общебалканском названии олова: тур. kalay (от названия Qala(h) на Малаккском п-ове), болг. *калàй*, макед. *калај*, н.-грец. *καλάϊ*, румын. *căláiu*, арум. *călái*, алб. kalláj, с.-хорв. *кàлāј*, kàlâj, цыган. *калáй*.

[73] Любопытно, что соотношению kassoye : kasit-(er)- в словообразовательном плане соответствуют два варианта этнического наименования — *коссеи* : *касситы*.

Сокращения

АОА — Архив Архангельской области. Архангельск.

АПИ — Картотека архангельских говоров при филолог. фак. Архангельского Пед. Ин-та.

Богословский — *М. М. Богословский.* Земское самоуправление на русском Севере. М., I — 1909; II — 1910.

Борич. — *И. Боричевский.* Обозрение губернских ведомостей // ЖМНП. 1850. Ч. 65. Отд. VI.

Васильев — *Ю. С. Васильев.* Феодальное землевладение и хозяйство в Важской земле XV—XVII вв. Л., 1971.

Витов — *М. В. Витов.* Историко-географические очерки Заонежья XVI—XVII в. М., 1962.

Елизаровский — *И. А. Елизаровский.* Лексика Беломорских актов XVI—XVII вв. Архангельск, 1958.

Колосов — *М. А. Колосов.* Заметки о языке и народной поэзии в области севернорусского наречия // Сборник Отделен. рус. яз. и словесности АН. XVII. 1877.

ЛГУ — Картотека пинежского диалекта при кабинете диалектологии Ленинградского Гос. Ун-та.

МГУ — Картотека Архангельского словаря при кабинете диалектологии МГУ.

МИЕС — Материалы по истории Европейского Севера СССР. Вологда, I — 1970; II — 1972; III — 1973.

Пал. — Словарь русских старожильческих говоров средн. части бассейна р. Оби. Ред. В. В. Палагина. Томск, II — 1965; III — 1967; Доп.: Дополнения I — 1971, II — 1973.

Под. — *А. Подвысоцкий.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

РИБ — Русская Историческая Библиотека. СПб.

Сим. — Картотека Пинежского говора, составленная Г. Я. Симиной (Ленинградское отд-ние Ин-та рус. яз. АН).

ССКЗД — Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961.

ТА — Тобольский архив. Тобольск.

Федосюк — *Ю. А. Федосюк.* Русские фамилии. М., 1972.

Шахматов — *А. А. Шахматов.* Исследование о двинских грамотах XV в. СПБ., 1903.

Шренк — *А. И. Шренк.* Областные выражения русского языка в Архангельской губернии // Записки Русского Географического общества. IV. СПБ., 1850.

1980

КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА И БАЛТИЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Результаты ряда исследований в области балтийского языкознания за последние годы (балто-славянская проблематика, гидронимия балтийского типа, балтийские заимствования в славянских языках и славянские заимствования в балтийских) позволяют, кажется, сформулировать нетривиальный тезис о зависимости самого понятия «балтийский» (прежде всего в том, что касается его внутреннего содержания) от тех пространственно-временны́х координат, которыми описывается это понятие. Если говорить в общем о тех изменениях в понимании «балтийскости» (балтийское состояние, балтийский тип, балтийская модель и т. п.), которые лежат сегодня на поверхности, то они рельефнее всего выступают в связи с резким нарушением тех временных и пространственных рамок, которые по традиции определяли понятие «балтийские» языки в пределах сравнительно-исторического индоевропейского языкознания. В настоящее время привычное понимание «балтийского» типа лишь с большим трудом (и соответственно с чувством эстетической в широком смысле неудовлетворенности) может быть соотнесено с вырисовывающимися новыми временны́ми и пространственными характеристиками этого «балтийского» типа. Причем это фатально увеличивающееся неблагополучие в увязке традиционной картины с новыми фактами и новыми интерпретациями открыло два фронта: со стороны общеиндоевропейской древности и со стороны хронотопически более поздних (чем балтийский) типов, прежде всего — славянского.

В индоевропеистике и балтистике явно или прикровенно всегда исходили из того, что между общебалтийским (или даже просто некиим архаичным вариантом балтийского типа) и общеиндоевропейским существовал определенный временно́й разрыв, который должен быть заполнен каким-то

вполне определенным (хотя и никогда не выявленным) лингвистическим содержанием. Предполагалось, что будущие исследования заполнят этот разрыв. Эта надежда продолжает теплиться (по крайней мере, в отношении определенных фрагментов языковой системы). Тем не менее пока этот разрыв заполняется более чем слабо. Зато, когда устанавливаются новые факты (напр., грамматические), которые можно квалифицировать как наиболее архаичные для балтийского состояния, они обычно сразу же ложатся в то, что можно назвать «индоевропейским праязыковым горизонтом». И обратно: многие индоевропейские реконструкции, предложенные в последнее время и оформленные именно как реконструкции, реально присутствуют в балтийских языках, хотя и представлены обычно в более позднем варианте морфонологического кода. Из сказанного могут быть сделаны два лишь по внешности противоположных вывода: 1) «балтийское» языковое время растягивается за пределы общебалтийского по направлению к более древнему состоянию и за пределы современных балтийских языков по направлению к хронологически и типологически более поздним языковым формациям (ср. славянские языки как «дети» балтийских, т. е. как принципиально иная, более продвинутая во времени генерация, а не просто как «немного менее древние языки»); 2) «балтийское» языковое время спрессовывается, стремится к нулю: ср. возможность понимания современных балтийских языков — в определенных фрагментах — не только как образа (трансформации) индоевропейского древнего типа, но в некоем роде как сам этот тип. Парадоксальность балтийского в известном смысле сродни эдиповой ситуации. Смиренно принимая на себя роль сына по отношению к отцу (индоевропейскому праязыку), он во многом равноценен ему, равновременен в лингвистическом измерении (т. е. речь идет о ситуации: отец в маске сына). Вместе с тем, выступая в роли брата (по отношению к славянскому), балтийский, являясь представителем более архаичной генерации, фактически реализует другую (чем принимается языковедами) схему: «отец» — «сын». Иначе говоря, в обоих случаях балтийский занижает свой возраст: он существует как бы наряду то со своим предком (индоевропейский), то со своим потомком (славянский); последняя ситуация, парадоксальная среди живых языков (с ней можно сравнить в качестве мысленного опыта положение, при котором наряду с современным русским языком существовал бы и его предок по прямой линии, сохранивший индоевропейский набор флексий (т. е. *волк* и *vilkos, *волка* и *vilkom, *о волке* и *vilkoi и т. п.), заставляет совершенно по-новому взглянуть на всю проблему заимствований в балто-славянском языкознании. Возвращаясь к указанной «протеичности» балтийского и трактовке отношений языкового преемства, уместно подчеркнуть еще две особенности, обычно не попадавшие в поле зрения исследователей или же истолковываемые ими

иным образом, а именно: 1) при естественном развитии у балтийского еще будут свои потомки, которые могут более или менее существенно отличаться от уже существующих потомков (славянский); в частности, напр., вариант vilks (Nom. Sg.) при vilka (Acc. Sg.), видимо, обеспечивает уклонение от схемы с редуцированным в Nom. Sq. (vьlkъ), обязательной для славянского типа; 2) язык — «отец» (балтийский) и язык — «сын» (славянский) находились в течение всего достоверно известного времени их истории на смежных территориях, что наиболее естественным образом должно трактоваться как указание на существование некогда единого в языковом отношении ареала.

Здесь-то и возникает вопрос о «балтийском» пространстве. Теперь ясно, что максимальный ареал, который может быть признан балтоязычным на основании гидронимических данных, охватывает территорию во много раз большую, чем ареал балтийских языков (и народов) в историческую эпоху; исключительно показательно, что эти «новооткрытые» балтийские ареалы находятся и к востоку, и к югу, и к западу (за Вислой) от теперешних мест обитания балтийских народов. В связи с гидронимией балтийского типа следует напомнить два обстоятельства: 1) языковой материал, лежащий в основе этой «балтийской» гидронимии, в высокой степени един как по своему инвентарю, так и по своим хронологическим характеристикам (эта «изохронность» балтийской гидронимии предполагает или древнее языковое единство всей этой обширной территории, или некий этнодемографический «взрыв», приведший к распространению единой гидронимии на пространном ареале, видимо, в сжатые сроки); 2) «балтийская» гидронимия практически (по крайней мере, на уровне словообразовательных типов и в значительной степени в корнеслове) совпадает с «центральноевропейской». А это (как, впрочем, и обратная формулировка: «центральноевропейская» гидронимия распространяется и на область балтийских языков — настоящую и прошлую) и должно толковаться как знак присутствия в Прибалтике древнего «центральноевропейского» типа гидронимии, т. е. одного из наиболее архаичных типов индоевропейской речи среди тех, что доступны реконструкции. Если вспомнить, что балтийские языки в целом сохраняют в наибольшей сохранности по сравнению со всеми другими современными индоевропейскими языками (даже с новогреческим, удержавшим старое -s в именной флексии) древнее индоевропейское наследие (причем это преимущество балтийских языков в этом отношении должно рассматриваться как принадлежность их к иному порядку по сравнению с другими языками), скажется, что оба аргумента обращены к одному центру — к признанию балтийских языков и балтийского ареала своего рода «заповедником» древней индоевропейской речи.

К сожалению, в сравнительно-историческом языкознании часто приходится сталкиваться с иллюзиями, связанными со схемой родословного древа

и своего рода эгалитаризмом, когда исходят из того, что все индоевропейские языки (независимо от того, хорошо или плохо сохранили они старое наследие) — уже нечто принципиально о т л и ч н о е от того, что восстанавливают как индоевропейский праязык (или континуум древнейших индоевропейских диалектов), и что все ветви индоевропейского праязыка равно отстают от языка-«отца». Подобные иллюзии — общий грех и неизбежное следствие определенного научного умонастроения, когда исследователь слишком жестко и определенно отделяет себя (субъект), *здесь* и *теперь* от *другого* (объект), *там* и *тогда*. Отчасти те же Причины, которые обусловили блистательное непонимание древними греками (начиная с элеатов с их апориями) логических основ движения, по-своему продолжают деформировать ряд важнейших проблем в некоторых областях современной гуманитарной науки исторического цикла. Исследователь с похвальной целью лучшего, более объективного описания фактов отключает себя от них, выходит из сферы взаимного контакта с ними (*я* не *то*, что мной изучается). Эта во многих случаях (непредельных) оправданная позиция грозит кризисом, когда речь идет о п р е д е л ь н о й ситуации. В указанном выше понимании «балтийский» относится именно к этой крайней категории случаев: сгущение парадоксов в этой области сигнализирует о том, что сам материал сопротивляется выводимым из него схемам, протестует против, казалось бы, естественных, но, по сути своей, чрезмерных допущений. В такой ситуации уместно на время вернуться к анализу тех условий, которые раньше не входили в игру или определялись как нечто неизменное (чем можно пренебречь независимо от того, какой материал анализируется) или заданное в аксиоматической форме. По-видимому, та предметная область, к которой сейчас применяется понятие «балтийский», стала ныне тем фрагментом, где категории времени и пространства нельзя считать только внешними рамками языкового развития. Они сами участники, творцы и результат (т. е. субъект и объект) этого развития, и тем в большей степени, чем очевиднее нетривиальность (нестандартность) их проведения в связи с балтийским материалом.

Усвоение подобных взглядов, бесспорно, дает определенные основания для научного оптимизма. В частности, оно позволяет (по крайней мере, в некоем идеальном аспекте) понять балтийские языки не только как отдаленного потомка и наиболее достоверного из современных языков продолжателя и свидетеля индоевропейской речи, но и как с а м о е э т у р е ч ь в д е й с т в и и, хотя и ограниченную рядом существенных факторов. Впрочем, эта точка зрения, естественно, никак не противоречит иному аспекту проблемы: балтийские языки как н о в ы й языковой тип (sub specie эволюции). При всем этом следует иметь в виду и психологическую ситуацию ориентации субъекта, являющегося одновременно и объектом эволюционного, времен-

нóго ряда: так, можно думать, что носители древнейшей индоевропейской речи, восстанавливаемой исследователями в статусе индоевропейского праязыка, будучи спрошенными о своем подлинном языковом состоянии, совершили бы ту же ошибку, что и наши современники (напр., говорящие на современных балтийских языках и — соответственно — исследователи этих языков), сказав, что их язык — лишь остаток, продолжение, рефлекс чего-то более старого, цельного, единого, совершенного и завершенного. Конечно, в каком-то смысле сходное можно было бы сказать и о других современных индоевропейских языках. Но все-таки все они отделяются в этом отношении от балтийских языков некоей существенной границей: балтийские языки имеют очевидное преимущество в архаичности, именно они задают меру отхода от индоевропейского типа, и в имплицируемой ими градации им нет равных в этом отношении. Поэтому было бы некорректно говорить о других языках то, что не сказано в первую очередь о балтийских.

Очень многое указывает на то, что балтийское сравнительно-историческое языкознание, столь богатое фактами и концепциями, накопленными в свою более чем столетнюю историю, сейчас выходит на новые рубежи. Они не всегда еще вполне осознаются, потому что многие признаки нового состояния пока еще продолжают более или менее автоматически и по видимости удобно укладываться в традиционные схемы. Многое может проясниться при теоретическом осмыслении роли и значения балтийских языков в индоевропеистике, апеллирующей к непривычно широким и даже парадоксальным горизонтам. Необходимо и соответствующее этим новым теоретическим возможностям исследование материала. Среди desiderata балтийского сравнительно-исторического языкознания в контексте сказанного предлагается обратить внимание на следующие проблемы:

1) создание сравнительно-исторической г р а м м а т и к и балтийских языков, в которой акцент делался бы не на с о п о с т а в л е н и и фактов трех балтийских языков (обычно без определения внутренней ценности сопоставляемых фактов), а на проблеме реконструкции более древнего балтийского состояния, не совпадающего с реально засвидетельствованным;

2) создание сравнительного балтийского с л о в а р я с реконструкцией архаичного ядра балтийской лексики и указанием точек «включения» ее в общеиндоевропейский словарь;

3) создание общего труда по гидронимии и топонимии балтийского типа за пределами современного балтийского ареала (хотя бы восточнославянские и польские территории), напр., атласа и соответствующего исследования;

4) создание сводного труда по проблеме славянских заимствований в балтийских языках и балтийских заимствований в славянских; необходимо особо выделить аспект освоения славянской речи в районах двуязычия (учи-

тывая и эвентуальные, так сказать, «разовые» (ad hoc), ситуационные включения славянских слов в балтийский текст, в частности, в диалоге носителей разных языков); существен и учет широкого круга лексики, относительно которой нельзя сказать ни того, что она заимствована, ни того, что она не может быть заимствована;

5) создание серии исследований в области вклада балтийского элемента в культуру северо-восточной Европы и его связей с другими культурными ареалами (мифология, ритуал, народная словесность и изобразительное искусство; социальная организация и экономика, «предправо»; сфера «подъязыковых» реалий); особое внимание должно быть уделено проблеме реконструкции древних текстов, использующих разные системы кодов.

Многие из этих проблем получили плодотворное развитие в научном творчестве великого литовского языковеда Казимира Буги, столетие со дня рождения которого отмечалось в 1979 г. Его труды — тот непременный и неразменный ресурс, который всегда будет в распоряжении исследователя балтийской языковой и этно-культурной проблематики на новых и дальних путях.

1978

ПРУССК. REDDI И ПОД. КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Слова с корнем red- встречаются в прусских текстах несколько раз, причем в четырех разных формах, и при этом всегда переводятся однообразно — falsch(e), falschlich (точнее — эти немецкие слова в тексте Катехизиса передаются разными формами прусских слов с корнем red-). Ср.: Maiāsmu kaimīnan schkūdan seggīuns wargu nowaitiāuns per tēmprai perdauns r e d d a u (конъектура — reddan) bhe ni pilnan perdaisān dāuns. K III, 45, 25—27 «Meinem Nachbar schaden gethan vbel nachgeredet zu thewr verkaufft f a l s c h e vnnd nicht gantze Wahr gegeben»; — Tou niturri r e d d e wijdikausnan dātwei prijki twaian tawischan. K III, 27, 6 «Du solt kein falsche zeugnus geben wider deinen Nechsten»; — Tou ni tur r e d d i weydikausnan waytiaton preyken twayien tauwyschen. K II, 11, 17 («falsch gezeügnis»); — … kai mes tennēison paggan noūson tawischan ni r e d d e w i n g i epmēntimai perklantemmai perpettas waitiāmai adder wargan girsnan tickinnimai. K III, 27, 9—13 «…das wir vmb seinen willen vnseren Nechsten nicht f e l s c h l i c h e n beliegen, verrathen, affterreden oder boͤsen leuͤmut machen»; — … kai mes tennēison paggan noūson Tawischas penningans bhe labban ni immimai neggi sen r e d d i s k u perdāsai… K III, 27, 1—2 «…das wir vmb seinen willen vnsers nechsten Gelt noch Gut nicht nemen noch mit f a l s c h e r wahr…». В соответствующих местах литовского перевода лютеровского Энхиридиона Вилента — pardawia f a l s c h i w a (31, 1); Ne ludik n e t e i s a u s ludima… (13, 6); idant artimoia musu n e t e i s e i neapmelůtumbim… (13, 10); ney f a l s c h i w u taworu (14, 3).

При ясности значения этих слов и самих форм (*redan, *redi, *redisku, *redewingi [1]) они долгое время оставались без этимологии (см. словари Нессельмана и Траутмана). В известном смысле это положение остается действительным и по сю пору, так как предложенное с некоторым сомнением

(«varbūt īsti») Эндзелином сопоставление с лит. *rẽtas* ʻредкийʼ и ст.-слав. *рѣдъкъ* было чисто формальным и не сопровождалось соответствующей семантической мотивировкой[2], которая, однако, и является основным звеном всей этимологической проблемы этих слов (не случайно, что сопоставление Эндзелина практически нигде не используется и лишь однажды упоминается — без оценки или каких-либо комментариев — Шмальштигом[3]). Прэтому возвращение к обсуждению этимологии прусск. reddi, reddau и под. вполне закономерно и оправдано существующей среди специалистов неясностью в отношении происхождения этих слов.

Тем не менее, сразу же можно высказать убеждение, в том, что сопоставление Эндзелина правильно и даже единственно правильно. Точнейшим и практически полным соответствием прусск. reddi выступают славянские факты — *rě̆dъ (ср. *rě̆d-ja), восходящее к и.-е. *rēdh-i- и представленное, например, в русск. *редъ* «состояние чего-либо редкого, жидкого, неплотного» (по определению Даля, относящемуся также к *рединá, редизнá*), ср. также *режь*, *реж*, *режа* (ʻсамая редкая рыболовная сетьʼ ʻрод перестава, перебой из дранок, лучин, на ниточной вязке, для непропуска рыбыʼ [Даль], ʻбревенчатая решетка, клеткаʼ), *редúть* ʻделать реже, редкимʼ. Элемент *ред-* выделяется и в таких словах, как русск. *рéдочь* ʻредкое, жиденькое полотноʼ, *редовúнный* ʻиз редины сделанныйʼ, *редовúна, редýн, редýха* ʻредкая ячеистая сетьʼ и т. п. (такие же примеры известны и в некоторых других славянских языках). Наконец, всем славянским языкам известны продолжения праслав. *r*ě̆дъкъ*, предполагающего расширение с помощью типичного для Adj. суффикса -*къ* основы *rě̆d- (*rēdh*ŭ*-). Из восточнобалтийских примеров прусск. reddi точнее всего соответствует, одиноко стоящее лтш. rę̄ds ʻредкийʼ (ʻundichtʼ, ср.: vij man rę̄du /вар. — rętu/ vainadziņu. BW 8312 вар.)[4], наряду с которым выступают более обычные ręts (ср. retêt) и rę̃ns (ср. rę̄nuôt); первое из этой пары слов имеет точное соответствие и в лит. rẽtas ʻредкийʼ (ср. retė́ti ʻредетьʼ, ʻразрежатьсяʼ). В связи с прусск. reddi, русск. *редь* заслуживают внимания такие образования, как *rẽtis* ʻредьʼ, в частности ʻредколесьеʼ (ср.: Girios rẽtis baigė nykti), ʻзалежьʼ (заброшенная, незасеянная пашня), ʻпротертая, прореженная тканьʼ и т. п. (ср. tankus audeklas ir rẽtis audeklas), возможно, rė̃tis ʻситоʼ, ʻрешетоʼ (ср. *режь, редýха*), *rẽti*las ʻрешетоʼ и др. Другие индоевропейские параллели слишком далеки[5] и выявляются лишь на корневом уровне при том, что сам корень выступает в другом «состоянии» (ср. *er-dh- при *rē-dh-). Впрочем, два обстоятельства совершенно ясны: первое — ближайшие параллели прусск. reddi (слав. *rě̆d*ь*, лтш. rę̄ds), точные по меньшей мере формально, и второе — решение проблемы целиком лежит в сфере семантической мотивировки понятия ложности, неправильности-неправедности.

О семантической мотивировке и пойдет речь в оставшихся строках. Для мифопоэтического (отчасти и для философского) сознания нормальное (оно же и идеальное) состояние бытия — потенциальная заполненность, сплошность («*существованья ткань сквозная*» не столько инвертированный образ бытия [6], сколько отсылка к экзистенциальному модусу осознания бытия, выхватывающему лишь отдельные фрагменты бытийственной сплошности), соединенность, пригнанность частей друг к другу [7]. В этом контексте отсутствие сплошности, разреженность (*сквозная ткань*, ср. *редь*), редкость не может трактоваться иначе, как отступление от нормы, пробел, некий изъян в структуре бытия, онтологическая неполнота, понимаемая как неподлинность, своего рода противоположность бытию (по крайней мере, при мысленном завершении этой тенденции к разрежению, приводящей в конце концов к пустоте), и, значит, неотъемлемой от него истине (ср., с одной стороны, др.-инд. sat- ʻбытиеʼ и s*a*t*ya*- ʻистинаʼ — и то, и другое от as- ʻбытьʼ и, с другой стороны, гегелевскую формулу о том, что «истиным является целое» применительно к той полноте (целостности) бытия, которая как раз и выступает в виде его сплошности). Это соотнесение смыслов (ʻредкостьʼ и ʻнеподлинностьʼ, ʻошибочностьʼ), обнаруживается, конечно, и в языковых примерах. Ср. простейший пример — русск. *редкий* в контекстах, где оно получает значение ʻжидкийʼ, ʻнеполноценныйʼ, или *редизна* (напр., в холсте), понимаемая как огрех, ошибка (ткача), пробел, промах (см. у Даля) [8], что позволяет предполагать связь двух состояний (или двух точек зрения) в отступлении от полноты-истины: неполноценность, ненастоящесть и ошибочность, ложность (ср. прусск. red- ʻfalschʼ). Редкость (редкий факт в эмпирическом исчислении) может даже и не противоречить полноте-истине (во всяком случае явно), но ее связь с истиной недоказуема. Для мифопоэтического и философского сознания редизна — истина вне доказательства и, значит, вне истины, которая тоже не доказывается, не ищется, но уже по другим основаниям: она пребывает, есть. В рамках этой общей схемы и должно объясняться прусск. reddi и под. При этом следует иметь в виду, что наряду с двумя звеньями (бытийственная полнота, сплошность [9] /заполненность вещами/ — истинность и бытийственная неполнота, редкость, разреженность — неподлинность, ложность) существует и третье — небытие, отсутствие бытия, абсолютная пустота и сопутствующее им полное отсутствие истины, состояние, когда вопрос об истине, о соразмерности и соответственности ей некоего явления не может даже быть поставлен. В этих рамках такие примеры, как прусск. red- ʻложныйʼ (или русск. *ред*- в ряде контекстов), указывают не на полное отсутствие истины, а лишь на ее частичность, ущербность. Когда актуализируется аспект ущербности истины, начинает преобладать значение ложности, а то, что эта ложность не более чем

неполнота самой истины, отходит на задний план, забывается. Разумеется, такое понимание ложности (и соответственно семантическая мотивировка этого понятия) предполагает слишком высокий и жесткий критерий истины, при котором она — единственна и уникальна: все, что не является самой сердцевиной истины, любая частичная истина, есть ложь, и поэтому (промежуточных, нейтральных между истиной и ложью состояний нет) в этой концепции мир полон ложью [10]. Несимметричности правды и лжи соответствуют разные типы кодирования этих понятий [11].

В свое время при исследовании семантики и.-е. *ar-t- (: **a*r-) и его продолжений в сфере, связанной с организацией пространства, было обращено внимание на случаи с «ухудшенным» значением. Речь идет о ситуации, когда акцент на идее членимости, разделенности приводит к забвению уравновешивающей идеи соединения (**a*r-), целостности и к появлению смыслов, развивающих тему изолированности, обуженности, враждебности (ср. лат. artus 'узкий', 'тесный'; 'тугой', 'плотный', 'густой'; 'скудный', 'жестокий' и т. п.). Тема изолированности находит, например, свое воплощение в вед. r̥ta- 'abgesondert', которое объясняет и значение 'без' в Loc. Sg. r̥té (ср. r̥tá- 'закон', 'правда'): 'в разъединении', 'вне связи с…' > 'без'. При неясностях в деталях обнаруживается параллелизм двух противоположных линий развития: 1) и.-е. **a*r- 'соединять', 'подходить' ('соответствовать'), др.-инд. *a*r- → r̥tá- 'закон' → 'истина'; 2) и.-е. *er-, *r*ē*-dh- 'редить', 'разрежать' (т. е. 'разъединять', следовательно, 'не подходить', 'не соответствовать') → 'отсутствие соединения' → 'непорядок' → 'не-истина' ('ложь'), в чем можно усматривать известные основания для объединения на некотором глубинном уровне выступающих здесь двух индоевропейских корней (**a*r- и **e*r-) и, следовательно, для существенного расширения круга сравнения для балто-слав. *rē̆d- (в частности, и прусск. reddi). И последнее. Намеченные рамки позволяют объяснить целый ряд других индоевропейских слов, причем и тех, которые считаются пока не ясными. К ним относится др.-греч. *ἀραιός* 'узкий', 'тонкий'; 'тесный'; 'слабый'; 'неплотный'; 'редкий'; 'рыхлый', 'пористый', 'шаткий' [12]; 'скудный' [13]; ср. *ἀραίωσις* 'разрежение' (: *ἀραιόω* 'разрежать', 'разрыхлять'), *ἀραίωμα* ' промежуток', 'пробел' [14]. В свете сказанного *ἀραιός* может быть возведено к и.-е. **a*r*ə*-*i̯o*s или *$_{ə}$r*ə*-*i̯o*s [15] -Adj. с суффиксом -*i̯*o- от и.-е. **a*r- или **e*r-, **e*r*ə*-, которые, как сказано выше, могли продолжать и некий единый корневой элемент. Тем самым были бы установлены связи с др.-греч. *ἐρῆμος, ἐρημαῖος* 'уединенный', 'одинокий', 'укромный', 'спокойный', 'тихий', также относимыми к и.-е. *er-, **e*r*ə*- (Pokorny. I. S. 333) [16]. Четкое выявление структуры семантических связей между элементами данного смыслового поля даст возможность существенно переформулировать описание соответствующих фактов в словаре Покорного.

Примечания

[1] Или *rediskai, *redevingai, см: W. R. Schmalstieg. An Old Prussian Grammar. The Pennsylvania State University. 1974. P. 95, 117.

[2] См.: J. *Endzelīns.* Senprūšu valoda. Rīgā, 1943. 1. S. 238; и еще раньше: M*ū̆*hlenbachs-Endzel*ī*ns. III. S. 518 («falsche»; eigentlich: undichte?).

[3] W. R. Schmalstieg. Op. cit. P. 95.

[4] M*ū̆*hlenba*c*hs-Endzel*ī*ns. III. S. 518.

[5] Собственно, они фактически отсутствуют; см. Pokorny. I. S. 333.

[6] Неслучайность этого образа у Пастернака подтверждается и появлением его в довольно свободном переводе ответственнейшего места из «Фауста», где речь заходит о Матерях и сопутствующей им пустоте:

Но в той дали, пустующей от века,
Ты ничего не сыщешь, ни единой
Опоры, чтоб на ней покоить взор,
Один сквозной беспочвенный простор —

в соответствии с:

Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,
Den Schritt nicht hören, den du tust
Nichts Festes finden, wo du ruhst.

Faust II, 6246—6248

К сочетанию мотивов пустоты и сквозности ср.: *Никого не будет в доме, | Кроме сумерек. Один | Зимний день в сквозном проеме | Незадерчутых гардин* или: *Как неготовая постройка, | Он высится порожняком. || Я вижу сквозь его пролеты | Всю будущую жизнь насквозь* ... Другие воплощения сквозности — трепетание, семенение, мелькание, мельтешение и т. п. Ср.: *Кто коврик за дверьми | Рябиной иссурьмил, | Рядном сквозных, красивых, | Трепещущих курсивов* (ср.: *И вы прошли сквозь мелкий, нищенский | Нагой трепещущий ольшанник*); — *Несметный мир семенит в месмеризме* (ср.: *Кругом семенящейся ватой | Подхваченной ветром с аллей*...); — *Только белых мокрых комьев | Быстрый промельк маховой*...; — *Мельтеша, точно чернь на эфесе, | В глубине шевелился Тифлис*... и т. п. Та же идея может быть обнаружена в приеме неупорядоченных («неуспевающих») перечислений: *Деревья, дети, домоседы*... и др.

[7] См.: *В. Н. Топоров.* Ведийское ṛta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. 1979. М., 1981.

[8] В ряде случаев в сложных словах элемент *редко*- близок к таким смыслам, как ʽпсевдо-ʼ, ʽне вполне настоящийʼ и т. п., ср. *редколе́сье* ʽредкий лесʼ, но и — в семантической экспликации — ʽне настоящий лесʼ, ʽкак бы лесʼ и т. п.

[9] Ср. такие обозначения идеи редкости, как др.-инд; a-ghana-, букв. ʽне густойʼ, ʽне-сплошнойʼ при ghaná- ʽгустойʼ, ʽкомпактныйʼ, ʽтвердыйʼ (ср. слав. gon*ě̆*ti, лит. g*anà* и т. п.; *gǫstъ?). Характерно и др.-инд. virala- ʽредкийʼ, которое, возможно, трактуется как раз-реженный, раз-двинутый (vi-rala-, где второй элемент может отсылать к *r*ē*-/ dh-/, ср. ra-).

[10] Ср. противопоставление *aša-* : druǰ- (arta- : drug-) в древнеиранской модели мира и особую актуальность, злободневность зла-лжи.

[11] Ср. «простой» способ обозначения лжи и «сложный» способ обозначения правды типа русск. *лгать*, но *говорить правду*, о чем см.: H. Frisk. Wahrheit und Lüge in den indogermanischen Sprachen. Göteborg, 1936.

[12] Ср. ш а т о с т ь в вере и истине, мотивирующую образ и фамилию Ш а т о в а у Достоевского («Бесы»).

[13] Ср. Frisk. I. S. 128: «Unerklärt».

[14] Ср. антонимичные *ἀραρότως* ʻплотноʼ, ʻкрепкоʼ, *ἀραρίσκω* ʻкласть вплотнуюʼ, ʻсплачиватьʼ, ʻсмыкатьʼ, ʻприлаживатьʼ и т. п.

[15] Ср. слав. *oriti ʻраспускатьʼ, ʻразвязыватьʼ, ʻразрушатьʼ и т. п.

[16] К связи ʻодинокийʼ и ʻредкийʼ ср. лат. olus ʻодин лишьʼ, ʻодинокийʼ при герм. *selda- ʻредкийʼ, ср. нем. selten (др.-в.-нем. selt-sāni, seltan, Adv.), англ. seldom, готск. silda-leiks ʻудивительныйʼ (т. е. ʻредкостныйʼ), см. Pokorny. I. S. 884.

1982

О СПЕЦИФИКЕ БАЛТ. *LAI И ЕГО ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ: НА СТЫКЕ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА

Элемент *l*ai* выступает в балтийских языках прежде всего как приглагольная частица, которая может занимать место то перед глаголом, то непосредственно после него (или, точнее, входить в состав глагольной словоформы в качестве последней морфемы). Кроме того, существует еще ряд случаев, в принципе справедливо сопоставляемых с *lai, когда частицы с элементом l занимают независимое положение по отношению к глаголу и обнаруживают несколько иные синтагматические связи. При рассмотрении балт. *lai две особенности бросаются прежде всего в глаза: его грамматический статус, отсылающий то к сфере морфологии, то к сфере синтаксиса и наличие широкой флуктуирующей совокупности частицеобразных элементов с постоянным l и меняющимися гласными при этом l при том, что именно *lai (за ничтожными исключениями) выступает как наиболее «грамматический» элемент. О различии по принципу препозитивность—постпозитивность уже говорилось. При том, что все балтийские языки в отношении *lai и сопоставимых с ним l-частиц образуют, хотя и в самом общем виде, некое единство, сами формы его выражения настолько разнообразны, что не вызывает сомнений заключение о самостоятельных в каждом языке попытках институализировать образования с элементом -l-, который, однако, не только продолжает некий индоевропейский формант, но и некую общую, очень условно и приблизительно говоря, «модальную» тенденцию в его использовании. Круг возможностей балт. *lai и соотносимых с ним частиц как раз и заключается между обозначенными выше полюсами единства и многообразия, а если сузить и специфицировать проблему, — между морфологическими и синтаксическими употреблениями этого элемента. В этом смысле

история форм с балт. *lai особенно показательна, поскольку ее истоки лежат за пределами морфологического локуса и отсылают к более архаичным чисто синтаксическим структурам. Втягивание синтаксически «свободного» и в принципе много- и разновалентного элемента в состав словоформы, т. е. морфологизация некоторых позиционных вариантов синтаксического элемента, и составляет основное содержание эволюции балт. *lai.

Анализ соответствующего явления уместно начать с прусской ситуации, поскольку она легко обозрима и в ее синхроническом аспекте довольно ясна. В прусском -lai- выступает как приглагольная частица, функционирующая как формант словоформ, трактуемых то как Opt., то как Cond. [1], присоединяемая к инфинитивной основе [2] и имеющая возможность присоединять к себе личные окончания; ср. -lai (3. Sg.-Pl.), -laisi (2. Sg.; из *-laisei), -limai (1. Pl.; из *-laimai, возможно, в результате диссимиляции), -laiti (2. Pl.). Образования с элементом -lai отмечены в прусском у 12 глаголов (29 словоупотреблений). Ср.: auski*ēnd*lai (K. III. 75. 14); baulai, bo*ū*lai (K. III. 65. 5; 71. 13); *ēil*ai (K. III. 75. 15); imlai (K. III. 39. 16); *isrāikilai* /= **isrānkilai*/ (K. III. 39. 13); quoit*ī*lai, quoitilai, quoitijlai, *quoitīlaisi*, *quoitīlaiti*, quoitijlaiti (K. III. 37. 23; 26; 39, 1; 45. 5; 51. 19; 53. 1; 69. 5; 73. 1. 4; 75. 10; 77. 15—16; 79. 34); lemlai (K. III. 35. 29); mus*īlai* (K. III. 75. 22); *perēi*lai (K. III. 35. 15); pogattewinlai (K. III. 65. 4—5) *schlū*silai, schlusilai (K. III. 31. 29; 75. 20); tur/r/*īlai*, tur*ī*limai (K. III. 63. 3; 65. 5; 69. 26; 71. 11. 18).

Характерно распределение этих форм. Все они относятся к Энхиридиону, но и внутри этого текста их распределение отличается неравномерностью. Обращают на себя внимание два «максимума» — один концентрируется близко к началу текста (30-е страницы издания Траутмана — 8 примеров), другой — в завершающей части (с. 63—79 — 18 примеров). Старая традиция (Бернекер, Траутман и др.) видела в формах на -lai Opt. (см. ныне Шмальштиг, например, OP 212 и др.), иногда и Conj., нередко не отделяя их от форм на -sai, -sei, трактуемых в том же духе. Осторожная позиция была избрана Эндзелином SPV. S. 123—124. Избегая уточнений, он констатировал (на чисто описательном уровне) две важные особенности: употребление форм на -*lai* в оптативном значении, близком к значению форм на -sei (ср. K. III. 35. 15; 65. 3—7; 77—16); наличие у форм на lai значения Cond. (ср.: mes... ismaitint turr*ī*limai bo*ū*t, kaden *noū*mas ni... pogalbton bo*ū*lai ʻwir… verlorn sein mů̆sten wo vns nicht… geholfen were’ K. III. 71. 10—13 или: tans... bo*ū*t bhe pol*ā*ikt turr*ī*lai ʻes… sein vnd bleiben mů̆steʼ. K. III. 71. 18; или: ickai ainonts *ē*nstan *turīlai preiwaitiat* ʻhat (= hätte) jemands darein zu sprechen’ K. III. 63. 3). Наибольшие заслуги в истолковании форм на -lai, (и самих по себе, и в соотношении с формами на -sei, -sai) принадлежат Стангу Sl. u. balt. Vb. 1942. S. 263—266; Vgl. Gr. 1966. S. 440—443 (в дополнениях к SPV. S. 132 Эндзе-

лин кратко откликнулся на идеи Станга в его книге 1942 г.). Действительно, изолировав явные случаи функционального смешения в употреблении форм на lai- и на -sei, -sai в прусском языке, Станг установил две существенные закономерности, оказавшиеся во взаимной связи, которые позволили ему достаточно надежно и последовательно размежевать эти две группы модальных форм. При этом выяснилось, что формы на -l*a*i встречаются преимущественно в придаточных предложениях и в старых литовских катехетических текстах этим формам, как правило, соответствуют формы литовского оптатива. Формы же на -sei, -sai, напротив, тяготеют к употреблению в главных предложениях, и в соответствующих местах литовских текстов им отвечают так называемые пермиссивные формы. Иначе говоря, имеет место следующая ситуация: с одной стороны, Mes madlima*i adder ēns*chan madl*in kai stas dijgi prēimans perēila*i. K. III. 35. 14 (: ateitu у Вилентаса) или Bhe madli tien, tou *quoitīlaisi mien schan deinan Deigi pokūnst*. K. III. 51. 19 (: apsaugotumbei у Вилентаса) и т. п. и, с другой стороны, twais swints Engels *baūsei sen māim* K. III. 51. 23 (: testo у Вилентаса) или bhe *dāsai* ioumans packaien K. III. 81. 21 (: *tedůst*. Mažvyd. Forma Chr.) и т. п.

Следовательно, прусские формы на -lai, — действительно, удобно толковать как Cond. по крайней мере по двум основаниям: чтобы отличить их от форм на -sei, которые с бóльшим основанием претендуют на название оптатива, и потому, что трактовка образований на -lai как форм Cond. подчеркивает формально-операционный аспект проблемы (в частности, указывает место этих форм в предложении и зависимость от другого глагола), что оказывается исключительно важным с точки зрения истории этих форм и, значит, выбора круга соответствующих им явлений в других балтийских (и, шире, индоевропейских) языках. Вместе с тем понимание образований на -lai как форм Cond. никак не исключает их волюнтативно-оптативного значения в ряде контекстов (отрицание этого последнего значения было бы глубоким заблуждением, приводящим к искажению всей картины в ее синхроническом состоянии). Вообще, следует подчеркнуть, что дихотомия «оптатив—кондиционалис» применительно к прусскому языку имеет смысл лишь при самом осторожном подходе к ней. Члены этой пары лишены полной симметричности: формы на -sei семантически более независимы и обнаруживают свою оптативность чаще и чище (поэтому основания для выделения в прусском оптатива равно связаны с формой и с значением); формы же на -lai семантически приглушены, несколько смазаны и обнаруживают свою зависимость от других элементов фразы (поэтому основания для интерпретации их как Cond. носят более формальный характер). В силу этого распределение форм Opt. и Cond. можно представить себе как результат некоей закономерности в consecutio modorum (речь идет, разумеется, об идеализирован-

ной ситуации, которая, однако, могла бы объяснить ряд конкретных фактов). Похоже, что механизм распределения мог бы быть проиллюстрирован следующими двумя фразами: twais swints Engels *baūsei* sen m*āim* (K. III. 51. 23, реальная фраза с Opt.), но *As madli tien, kai twais swints Engels bau*lai* (*boūlai*) sen māim (реконструированная фраза с Cond., смонтированная из реальных конкретных частей — As madli tien, *kai*... и *twais swints Engels... sen māim* при учете правила, по которому после madli и под. в главном предложении следует форма на -lai в придаточном и которое подтверждается многими примерами, в частности и такими, где в эту схему вставляется глагол 'быть'). Важность синтагматических критериев в толковании Cond. несомненна[3]. В значительной степени именно из-за пренебрежения ими предыстория форм -lai в балтийском и определение параллелей к ним оказалось излишне запутанным, и хотя и сейчас многие детали остаются не вполне ясными, есть, кажется, возможность ввести разные (конечно, не все) точки зрения на -lai, осознававшие себя как взаимоисключающие, в рамки относительно единого, но хронологически и синтагматически дифференцированного контекста.

Пожалуй, лишь одно из этимологических объяснений прус. -lai (бругмановское) может быть сейчас отвергнуто с достаточной категоричностью[4]. Вместе с опровержениями в эти же годы были выдвинуты и основные варианты объяснения прус. -lai, к которым сразу же присоединилась проблема отношения этого -lai к вост.-балт. пермиссивной частице lai, по сути дела не решенная до сих пор. Основными участниками дискуссии вокруг этой проблемы были Бецценбергер, Зольмсен, Зубатый, Брюкнер, Эндзелин и Буга. Логически исходным и, так сказать, наиболее широким, суммирующим ряд частных объяснений было предложение Зольмсена KZ. 1911. Bd. 44. S. 171 (также Beitr. griech. Wortforsch. T. II. № 17) связывать воедино и прус. -lai, и вост.-балт. пермиссивное lai, и слав. частицу li, выступающую в разделительной или вопросительной функции (в этом же контексте предпринималась попытка рассматривать др.-греч. *λῆν*. Inf in. от *λάω*, *λῶ* 'хотеть' и элемент *-λαι-* в таких образованиях, как *λαι-δρός*, *λαι-μός* и, может быть, даже *λι-λαί-ομαι*[5]). Брюкнер KZ. 1911. Bd. 44. S. 333—334 в принципе оставался на этих же позициях, подчеркивая, однако, идентичность балт. lai и польск. le 'лишь' и т. п. (с характерным замечанием: «d. h. unverwandt, ja nicht entlehnt»); при этом указывалось, что, сохранившаяся сейчас лишь в составе сложных по происхождению союзов ale, lecz, эта частица еще в XV в. употреблялась самостоятельно[6]. О соотношении балт. lai со слав. частицей *li в несколько ином контексте писал Зубатый Lfil. 1910. Ročn. 37. S. 217—228 (= St. Čl. I. 2. S. 44—57). Идея связи слав. частиц *li, **lě*, **le* с соответствующими балтийскими частицами была развита на богатом и разнообразном материале Бугой РФВ.

1914. T. 71. C. 57—60 (= RR. I. S. 452—454), см. ниже. В связи с этим материалом заслуживают быть особо отмеченными несколько существенных деталей: исключительное разнообразие вокализма в балт. l-частицах (le/la, lei/lai/li, lu), возможность их появления как в препозиции, так и в постпозиции (раньше, отчасти и позже этому различию между вост.-балт. и прус. склонны были придавать решающее значение); единство происхождения этих элементов (в частности, лтш. laî и -lai) независимо от позиции; наличие глагольных форм с конечным элементом -l в литовском (см. далее), которые, следовательно составляют аналогию прусским глаголам на -lai; категорическое отрицание связи между лтш. laî ʽпусть’ и лит. *laĩ*, с одной стороны, и лтш. laîst ʽпускать’ и под. — с другой (ст.-лтш. laid- = *laî* возникло из частицы laî и постпозиции -d/a/, появляющейся и в других случаях [ср. лтш. nevaid, navaid ʽнет’ при neva, nava, nevai/ : авест. *vā* — др.-инд. vai/; iraid ʽесть’ при лит. *yrai* ʽесть’], но не из Imper. или Opt. laîdi).

Но наиболее радикальными в этой области оказались взгляды Эндзелина, развитые им в целом ряде работ, вводящих, между прочим, в научный оборот значительное количество важных балтийских фактов[7]. Три аспекта существенны в этих работах: 1) критический анализ взглядов на данную проблему, высказанных ранее; 2) решительное отрицание связи между прус. -lai и лтш. пермиссивным laî (как и лит. laĩ), происходящим из Imper. laîd (иначе — Буга, см. выше), а также подчеркивание сильного расхождения в семантике между слав. **li* и прус. -lai; 3) собственная концепция происхождения прус. -lai. Суть последней — в расчленении -lai на два элемента (-l- и -ai), каждый из которых имеет свою генеалогию и свою хронологию. Элемент -l-, действительно, сопоставим, как это и предполагал Брюкнер, с польск. le, но не потому, что это le и прус. -lai имеют единую исходную форму (*lai или *loi), а потому что слав. *le (как и разнозначное ему слав. **lě*) восходит к и.-евр. *le/**lē* (где гласный не из дифтонга!), которое отразилось и в ряде характерных вост.-балт. форм (ср. лтш. -le в jele, nele, nule и т. п., лит. esle ʽesto!’, *ei*-kel ʽиди же!’; ср. также лтг. диал. /lai/*sajemļa* ʽ/lai/sajem’, где -*ļ*a из -le, или формы Cond. типа *îtuļu* ʽes ietu’, îtuļi, *îtuļam* и т. п.), на основании чего и для прусского восстанавливается частица le. К глагольной основе (после нее) этот элемент мог присоединяться для выражения оптативного значения, ср. прус. *e*i*(t)le ʽlai/viņš/iet’. Так как в прусском существовали и чисто оптативные формы на -ai (см. SPV. S. 114—115), то первоначальное *eile преобразовалось в *ēilai*. По образцу же соотношения (eb)immai — immimai, immaiti и в Cond. наряду с *turrīlai* возникло *turrīlimai*, а наряду с *quoitīlai* — quoit*īlaiti* и т. п. При этом исходной для таких форм была основа Infin. В качестве примера-резюме Эндзелин приводит прус. *boūlai* и соответствующее ему лтш. диал. *byuļu* < **buļu* ʽesmu’, общий источник которых реконструируется как

*bu-l*e*! В целом эта схема была усвоена и Стангом, который считал форму на -*lai* прусским новообразованием (Vgl. Gr. 1966. S. 443), возникшим в результате присоединения к инфинитивной основе флектированного суф. -lai. Бенвенист Hitt. et i.-eur. 1962. S. 18—19, напротив, видел в прусских формах на -lai глубокий архаизм, принадлежащий к тому же классу явлений, что и хеттские оптативно-волюнтативные формы 1-го лица, которые обычно (и неверно) интерпретируются как 1. Sg. Imper. Ср. хет. iyallu ʽда сделаю я!; о, если бы я сделал!; я хочу сделать’, aggallu ʽо, если бы мне умереть!’, memallu ʽо, если бы я сказал!; я хочу сказать’ и т. п. Сопоставление с этими примерами прусской формы на -*lai* (о других и.-евр. параллелях см. ниже) Бенвенист относит к числу модальных образований на -l с императивным -ai. Выделение в прусских формах элемента -lai, в котором видят частицу, объясняется, по его мнению, отсутствием опоры в сравнительно-исторических данных, что, однако, может оказаться и несправедливым упреком, учитывая, что сам статус данного элемента, независимо от его происхождения, определяется соотношением входящих в игру факторов в каждом данном языке и той кардинальной синтаксической схемой фразы, которая актуальна для данного периода развития этого языка. Поэтому более строгий анализ прус. -lai, особенно в связи с установлением круга параллелей к нему в других и.-евр. языках, предполагает: во-первых, снятие ряда ограничений, связанных с такими факторами, как положение «перед» или «после», приглагольность-приименность. актуальный статус элемента (в частности, его категориальное определение) и т. п., или с качеством гласного, с различием слишком тонких и, так сказать, «догматических» семантических нюансов и т. п., а следовательно, резкое расширение круга сопоставляемых примеров; во-вторых, определение специфики анализируемых элементов (учитывая и тенденции развития, т. е. динамический аспект) в каждом языке с попыткой, когда это можно, дать внутреннюю реконструкцию функций и некоторых других особенностей этих элементов. Как и во многих других случаях, когда морфологические явления так или иначе зависят от синтаксических факторов предшествующего периода, здесь особенно важны целостный взгляд и учет типологии варьирования (межуровневого обмена и преобразований) морфо-синтаксических структур, взятых в диахроническом аспекте.

В том широком сопоставлении, о котором говорилось выше, одно из центральных мест, должны занять вост.-балт. формы пермиссивной частицы. Ср. лит. *laĩ*, но и *leĩ* (*Kad išvažiavo,* lai *ir važiuoja*; *Jei neteisybę kalbu, laĩ nepraryju šio kąsnio*!; Kam niež*t, ta*s lai ir kasos; Kaip tau patink, taip lai atsitink; Lai *ateĩ*s tavo brolis; *Laĩ ein, kad tik jį kviečia*!; *Laĩ pasidžiaugiam* savo vaikais!; *Leĩ aš einu rodyt, kur pareit par upę*; *Leĩ* dirb jauniejai, mums gana!; *Š*iai bus, *leĩ* bus, bet a*š* nepasiduosiu и др. LKŽ. VII. 11. S. 232); с тем

же значением выступают и legù, leguĩ (= tegù/l/, tè ʻпусть, пускай’ [см. ниже о laigù, laiguĩ, leigù. *Zinkevičius.* Liet. k. istor. gram. II. S. 136—137], причем параллелизм частиц с t- и l- в анлауте делает вероятным предположение о таком же значении и такой же функции *le в литовском), ср.: Legù jis eina *sau…*; Legù *aną velniai, maitink čia visus!*; Lègul *važiuo (į turgų), jei nor*; Lègul biesas pajemie tus lauko darbus и т. п. Здесь же нужно отметить, что lei может выступать и как усилительная частица ʻже, ведь’ (Kur lei *išbė*gi!). Еще важнее — употребление *laĩ*, *leĩ* в качестве Conj. ʻхотя, хотя и’ и т. п. (*Laĩ neeini /neteki/ už manęs, tai nepeik manęs*; Lài tu buvai girtas, bet vis dar *galėjai susiprotėti, kad…*; Lei *šiandieną nesi pasitaisęs* mirti, ryto ir tiek neb*ū*si). Еще более характерны данные латышского языка, в котором lai институализировалось как грамматически регулярное средство выражения пермиссива. Ср. лтш. lai dievs duod (duotu), bet netik daudz; lai iet, kâ iedams; lai *būtu, kâ bū*dams; lai tu lępns paliktu!; lai *notiek, kâ tu vēlies!*; lai *dzīvo…* и т. п. (ME. 2. S. 400; EH. S. 711; Ērģem. izl. vārdn. 2. S. 182—193). В старых памятниках в этой функции выступает еще несокращенная форма laid (ср. laid man v*ā*tis dzied*ē*. Fürecker, также у Mancel.). Иногда формы с laî усиливаются или за счет повторения *laî* (ср.: lai eimuot *la*i, gudn*e brāļi nuosmī*n), или за счет «частичного» комплекса jele (ср.: lai jele *viņš nāktu*). Существенно, что laî может выступать не только с 3. Praes. Indic. или с Cond., но и при Infin. (ср.: *šitādām meitu mātēm* lai *uz akmeņa augt!*) или при Praet. (ср. vilki, zv*ę̄*ri *lai* ap*ē*da tautu d*ę̄*l*a kumeliņu*. BW 17980) [8]. Уже часть этих примеров дает понять, что пермиссивная функция лтш. laî не универсальна, что она скорее образует некий пик «грамматикализации» laî, охватывающий лишь ряд случаев употребления этого элемента и сформировавшийся, несомненно, на позднем этапе развития латышского языка. О предшествующем положении дел, более или менее полно отраженном в текстах (в частности, в современных), можно судить по другим примерам употребления laî. Ср., напр., laî при Adhort. (lai *dievu lūdzam*; lai visai nenuoskumstam), при вопросе с сомнением (kurp lai eimu? ʻкуда я должен идти?, куда мне нужно идти?’; kuo lai daru? и т. п.), в частности, когда он включен в придаточное предложение (ср.: es nezinu, kuo lai *es iesāku* и т. п.); употребление laî как Conj. в разных значениях (ʻхотя; чтобы’ и т. п.), ср.: lai dreb*ē*ja, kas dreb*ē*ja, liepu lapa nedreb*ē*ja. BW 6513; lai *tā bija mana vęsta, tava paša sadęrę̄*ta. BW 18701; *liepu lapu ceļu klāju,* lai *es ietu šuo rudeni*; *lūdz tu pati mīļu dievu,* lai duod b*ę̄*ru *kumeliņu* и т. п.; aitas *bijušas tik vājas,* lai *vējš apgāztu* и др. В ряде говоров вместо laî выступает leî (ME. 2. S. 445; EH. S. 731). Наконец, существуют и еще некоторые периферийные употребления, иногда даже образующие контраст пермиссивному laî (ср. *viņš* lai /безударное/ *nāk* или lai *viņš nāk* ʻпусть он придет!’ — при: *viņš* lai /ударное/ *nāk* ʻи он придет’), которые вынуждают исследователя счи-

таться с гораздо более широким и неопределенным «собственным» статусом laî, резко сужающимся и конкретизирующимся в зависимости от общих семантических установок всей фразы. Среди этих употреблений важно отметить те, в которых с laî связывается усилительное значение (ср.: *kā* l a i es priec*ājuos, kad nuomira māmuliņa*. BW 4334 'как же мне радоваться, ведь умерла моя мать'; kuo l a i vedu. BW 16176 'что же мне вести?'; *kā* l a i 'как же', kur l a i 'где же; куда же' и т. п.[9] Наконец, при рассмотрении этого элемента необходимо помнить о разнообразии его форм — laî, *leî,* lain (ср. *viņš* l a i n atn*ā*cis. ME. 2. S. 409; EH. S. 713), leit (ME. 2. S. 446; ср. KZ. Bd. 42. S. 375; B*ū*ga. RR. I. S. 453), laid, la (Rudz*īte*. Latv. dial. S. 254, ср. также с. 146, 403), перекликающемся с такой же мозаичностью частиц, выступающих обычно в качестве второго члена комплексной частицы, ср. -lei, -lai, le и даже -la, -li, -lu в соединении с nu-, je- (ja-), juo-, ai-, vai-, ta- (см. *Буга*. РФВ. 71. С. 57—59 = RR. I. S. 452—454; LVG. S. 701; LSpr. II. S. 351, 372), например: nu-lei (BW 9721, 15022, 6835, 2, 21001, 4), nu-lai (BW 786, 21001, 9; 26305, 4); nu-le (BW 6444, 1, 7948, 25028, 2, 3, 25198), nu-la (BW 6835, 5, 7948), *nū*-la (BW 25028), *nū*-lu (BW 15745, 2); ai-le (BW 6693, 24349), ai-li (BW 373, 15368, 24350), ai-lu (BW 370, 15903, 24358); je-li (BW 18135, 4), juo-li (BW 11439, 1, 23195) и др.[10] Несмотря на довольно разнообразное значение этих частиц и известную трудность в выделении значения элемента -l- (в частности, потому, что чаще более весомым оказывается семантический вклад первого элемента), встречаются ситуации, когда удается обнаружить и семантическую близость l-элемента к laî. Ср.: Noeet saule wakarâ, | Zelta zarus zarodama. | Deews dod man tà zarot. | J e l e *muyscha galiņâ*. BW 18135, 4, где jele должно пониматься как 'х о т я бы; п у с т ь даже' (ср. аналогичные значения у laî), что создает все предпосылки для того, чтобы Deews d o d *man*... j e l e трансформировать в *Le (jele) & **dod Deews man…!* 'L a i Dievs dod man…' Подобная трансформация в значительной степени совпадает с реконструкцией более ранней формы пермиссивной конструкции и еще раз подчеркивает параллелизм laî и le, нарушаемый и изгоняемый со времени универсализации laî в пермиссивной функции.

Реконструируемая для прошлого связь частицы le и ее вариантов с г л а г о л о м в значительной степени подтверждается такими диалектными формами, отмеченными в Латгалии и в районе Лубаны (см. LVG. S. 901; FBR. 6. 1926. S. 42; 11. 1931. S. 188—189; 13. 1933. S. 56), как 1. Sg. Cond. на *-tuļu* (ср. *îtuļu* /Райполе/, а также BW 299, 7390, 8362, 9202 ,15136, 15687, 1 [где отмечено сосуществование двух форм — *byutuļu* и byutu: Kad as b y u t u *zynòjuşę*. | Kuru *dìnu tautys jóş,* | As *b y u t u ļ u tù diņeņu* | Zam ęgleitis *şé*dè*jųşę*], 17553, 17788, 4 (где при 1. Sg. Cond. *ītuļu* 3, Cond. *ītu*), 21261, 5, 22608, 1, 26940, 3, 27153, 2, 27300, 4; 2. Sg. Cond. на *-tuļi* (BW 23057); 1. Pl. Cond. на *-tuļam* (ср.

żenietuļam. Zbiór wiad. XVIII. S. 352; *byutuļom*. FBR. 1926. S. 42); 2. Pl. Cond. на *-tuļat* (ср. *dziejtuļat*; Zbiór. wiad. XVIII. S. 435; *byutuļot*' FBR. 6. S. 42). Эндзелин, признавая трудной интерпретацию этих форм, все-таки предлагает искать возможные связи в двух направлениях: прусский «оптатив» на -lai и отмеченные в некоторых вост.-лтш. говорах формы Praes. на *-ļ-* вм. -j- типа *ņemļu* ʽjemu', *kuôpļu* ʽkāpju', dûmlu ʽdodu', *îmļu* ʽeju', *byuļu* ʽesmu', *dźieržļu* ʽdzirdu' и т. п. (см. LVG. S. 787—790). Последние примеры представляются, однако, сомнительной параллелью из-за фонетического происхождения этого *ļ* (в сочетаниях губных согласных с j в основах на *-i̯o-*) и его аналогического распределения на более широкий круг глаголов. Более правдоподобна связь указанных форм Cond. на *-tuļ-* с прус. -lai (хотя и о ней, конечно, можно говорить только как о связи «в общем и целом») и с рядом литовских диалектных форм, в которых -l- (как и в лтш. формах на -tu*ļ*-) присоединяется в виде частицы к уже имеющемуся форманту (лтш. Cond. на -tu- & *-ļ-*). Эти литовские глагольные формы с элементом -l-, нигде и никогда не становившиеся парадигматическими образованиями, представляют особый интерес. С одной стороны, они достаточно разнообразны и вариативны (хотя общее число примеров очень невелико), их природа в значительной степени «окказиональна», они составляются как бы ad hoc. С другой стороны, связь элементе -l- в этих формах с частицей (во всяком случае) по происхождению несомненна, ср. лит. nùli ʽнынче; теперь' (LKŽ. VIII. S. 891) при nù, nùgi, nùgis и т. п. (*Буга.* РФВ. 71. 1914. С. 57, 58; Hermann. Lit. St. 1926. S. 368; Fraenkel. Festschr. Vasmer. 1956. S. 154; LEW. S. 511 и др.). В более широком плане сюда же относятся и случаи типа kõl, kõlei, диал. koléi, *koleĩ,* kõlai, kolái, *kolaĩ*, kõliai и даже kõla, kõleik, kõlek, kõlink, kõlunk и т. п.; tõl, tõlei и т. п., в значительной степени аналогично kõl, kõlei (см. *Zinkevičius.* Liet. Dial. S. 411) [11].

Еще одна показательная черта этих глагольных форм — постпозитивное положение элемента -l-. Она прослеживается в разных типах глагольных образований. Первым из них можно считать лит. esle, форму, которую *Клейн.* Gramm. Litv. 1653. 137. 14 рассматривает в разделе наречий: 7. Concedendi; eſle/ tegul/ esto, ſit ita (ср. совр. лит. te-esie; см. LKŽ. II. S. 1155; Bezzenberger. BGLS. 1877. S. 64 и др.). Другой случай появления -l- в глагольных формах — Imper. типа *dúokel*' ʽдай же!' (< *duo-kia-*l*'), eĩkel ʽиди же!'(< *eĩ*-ki*a-l*'), отмеченные в районе Шяуляя (см. Liet. Dial. S. 369). Третий случай — формы на -liui типа esliui, определяемого как ʽte esie tapo' и встречающегося у Бреткунаса Jes. 10. S. 28 (см. BGLS. 1877. S. 64), ср. esluy ʽrecht so' (Ruhig Wb. II. S. 288; Mielcke. Wb. II. S. 385; Clavis. Germ.-Lith. II. S. 280, ср. Nesselmann. Wb. d. Lit. Spr. S. 20; LKŽ. II. S. 1154). Согласно Буге, -luy должно трактоваться как *-liui*, а сама эта частица могла бы быть объяснена из скрещения -li или -lei с -lu (: лтш. *nū*-lu, *ai*-lu) ; ср. сходные формы tiesiagiuy (Szyrw. Punkt. Sak. S. 114 =

tiesiógiui) при tiesiagiey. Ibid. S. 107. tiesiogiei. Daukša Post. S. 99; tiesio-gu. Daukša Post. S. 106, tiesió-gui. Ibid. S. 102, 157 и т. п. (RR. I. S. 453—454).

Эта основанная на восточно-балтийских фактах картина достаточно хаотична, а отчасти и противоречива. Будучи проанализированной, она приводит к несколько неожиданному выводу, — во всяком случае, судя по имеющимся исследованиям с их «унифицирующей» установкой. Вместо того чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или по меньшей мере форму наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно сам этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент, сопоставимый с прус. -lai и под. Такая перемена установки вызвана не только жесткой необходимостью, но и самим принципом анализа элементов, образующих аморфную массу, где изменчивость и случайность определяют больше, чем постоянство, регулярность и соответственность правилам. Следовательно, с новой установкой связаны и новью преимущества. Впрочем, подобная установка вовсе не означает отказа от фиксации закономерных (или статистически близких к ним) отношений, если они касаются более частных вещей, особенно если они могут быть рассмотрены в контрастивном контексте.

В этой связи можно указать некоторые наиболее значительные результаты анализа восточно-балтийских фактов: 1) теснейшая связь частиц на -l- с и институализированным грамматическим элементом lai, подтверждаемая как историческими данными, так и соотношением и взаимодействием этих элементов в синхронии (ср. примеры компенсаторного укрепления, усиления грамматикализованного lai частицами на -l-, с одной стороны, и выветривание, стирание lai в частицеподобный элемент — с другой); 2) принципиальная вариантивность вокализма в l-частицах (практически представлены самые разные варианты — lai, lei, la, le, li, lu); 3) актуальная связь Cond. lai и Partic. lai и т. п., проявляющаяся, во-первых, в семантической «сводимости» их к единому смыслу и, во-вторых, в четкости синтаксических критериев их размежевания (иначе говоря, и Conj., и Partic. выводимы из единого источника); 4) безразличие l-частиц (в принципе) к положению по отношению к ключевому для них слову (они могут употребляться как препозитивно, так и постпозитивно; строгие ограничения начинаются при грамматикализации соответствующих элементов; в отдельных случаях можно, кажется, говорить о подвижности -l- и относительно других формантов, хотя в

целом этот вопрос решается на уровне реконструируемых элементов словоформы или словосочетания); 5) характерное распределение *laĩ* в литовском (в латышском оно прослеживается с меньшей надежностью из-за грамматикализации пермиссива): *laĩ* в абсолютном начале фразы («сильный» пермиссив) и *laĩ* в начале придаточного предложения (иногда ему может предшествовать семантически пустое опорное словечко местоименного типа, что-то вроде рус. *...то...* /*так*/) при условии, что главное предложение начинается с союза (например, условного), с которым, следовательно, la*ĩ* образует рамочную конструкцию, примеры см. выше (это распределение приобретает особый вес, поскольку, как было показано выше, первоначальный локус прус. Cond. на -lai — придаточное предложение).

К сожалению, индоевропейская перспектива балт. *lai в одних случаях затуманена, а в других — еще хуже — искажена главным образом из-за невнимания (или отсутствия должного внимания) к славянским фактам. Славянские данные, которые во многих отношениях параллельны прусск. -lai и восточно-балтийским соответствиям и генетически связаны с ними, как правило, привлекались очень недостаточно и анализировались очень поверхностно (следы этого состояния отчетливы и в статьях, посвященных слав. *li, *le и т. д. в славянских этимологических словарях, где, в свою очередь, игнорируются балтийские факты или же берутся недифференцированно, в самом общем виде). Тем не менее именно славянские факты образуют самую близкую и точную (в указанном выше смысле слова) сеть параллелей к тем балтийским примерам, которые уже были приведены. Прежде всего сходство проявляется в наличии подобного комплекса элементов на -l-, который объединяет в себе самые разнородные факты по степени их семантической наполненности и грамматичности, не говоря уж о различиях в вокализме (не только *le и **lě*, но и *-li, которое позволяет предположить для предыдущего периода наличие *loi или *lei, т. е. элементов, предельно близких, практически совпадающих, к балт. *lai/*lei). Эти славянские l-элементы также могут употребляться препозитивно и постпозитивно; они категоризуются как частицы или союзы (и даже как наречия) с кругом значений (о некоторых из них см. ниже), аналогичным тому, который описан для балтийского[12]. Сходство начинается уже со структуры комплексов, включающих элемент -l-, ср. слав. **e lě*/**e li* (ст.-сл. **ѥлѣ**, **ѥли**, болг. *èле*, *ели* и др., мак. *ели*, с.-хорв. *jeļe*, словен. jèli; др.-рус., рус.-ц.-сл. *ель*, *ѥле*, *еле*, *елѣ*, рус. *éле*[13]) — лтш. je-li (см. выше); рус. диал. *нáле*, *нáли*, *нáлен*, *налён*, *нáлине* (: лтш. диал. lain) ʽтак что; даже; инно; инда; ально; ажно’ (*Даль.* 2. С. 1127—1128); чеш. *nali* (< **nъ ali*), *naliť* (Šafařik ČČMus. 1. 1847. S. 302; Gebauyr. Sl. stč. II. S. 471; Vondrák. Vgl. slav. Gramm. II. S. 437; Zubatý. Lfil. 37. 1910. S. 217—228 и др.; к *naliť* ср. вост.-лтш. *neuľeit*, лтш. диал. nu-lét, nu-lāt, *nỳuľêt* и т. д., что позволяет говорить об

общем балто-славянском источнике *nu-lai/lei-*t*́); кашуб. nole! (экспрессивное междометие, употребляемое при Imper. понуждения: N ò l e *są* b*’eř, co ḿ*e z *oču* zg*’ińeš!* Słown. gwar kasz. 3. S. 208; ср. Pomor. Wb. 1. S. 563; в частности, в Картузах) — лтш. nule, nulei, nulai, nũ̆la, лит. nùli и т. п. (см. выше; соотношение na- : nu- в принципе не меняет сути дела, хотя и осложняет его); рус. *толѝ* ʽтолько; едва; еле’ и т. п., *тóли* ʽли; или; либо’ и т. п., *толь* (ст.-сл. **толи**, **толь** и т. п.) — лит. tõlei, ср. лтш. *tâleĩt* (ME. 4. S. 144) и др. В известной мере сюда же примыкают соответствия в конструкциях слав. *li и балт. lai с Pron. interrog. ʽкто; что; ср. рус. *ли кто, ли что, ли че* (*чё*) и т. п., обычно расширяемые повторно вводимым элементом *ли* (*Купец л и к т о л и он был*; *Мать его т о л и в домработницах л и к т о л и жила*; *Вынесут ему хлеба л и к о г о л и*; *Володька не отвечал, что я хозяин л и ч т о л и*; *Не знаю, идти л и ч е л и*; *От жары л и ч е л и голова болит*; *Чё-то глаз повредит л е ч е г о л е* и др. СРНГ. 17. С. 39), или с.-хорв. *до̀клē* ʽдо каких пор’ и т. д. (ср. *дȁкле /н, -м/*), выводимое из *do-*къ-lě,* *do-ko-*lě*, где повторяются в ином порядке те же l- и k-элементы, — лтш. lai kas, lai kâ, lai nu kâ (ср. *tādam vajadzēja piekļūt,* l a i k a s; l a i n u k â, tev j*ā*mirst. ME. 2. S. 400, а также несколько иные случаи типа k u o l a i daru?; k u r p l a i eimu?; k a s tad te l a i ar jums nuogalejas?)[14]. Реконструируемое слав. *le- & *da- & **kъto* (**čьto, *čьjь*), отраженное в укр. *лéдахто* ʽпервый попавшийся’, *ледащо* ʽнегодник; плохой’, укр., рус. *ледáчий*, блр. *ледáшто* ʽплохо’, польск. ladaco ʽнегодник; *ladajaki’* (ЭСР. 2. С. 474 и др.; ср. н.-луж. l*ě*tko), по сути дела воспроизводит ту же схему, что и лтш. lai nu kâ ʽdem sei, wie ihm wohle’, причем семантические различия вполне объяснимы (говоря в общем: слав. ʽкакой ни будь’ → ʽплохой’, лтш. ʽкак ни будь’ → ʽв любом случае’, но не обязательно плохом). После этих соответствий не должно вызвать удивления и еще одно сходство, отсылающее уже к структуре Vb. (в частности, глагольная основа) & -l-. Ср. слав. **jestь* & *li (рус. *éсли*, устар. *естьли*, укр. *если*, польск. *jeśli*, ст.-польск. jestli, чеш. jestli), семантически эксплицируемое для исходного состояния как что-то вроде ʽпусть будет; да будет’ и т. п., при ст.-лит. esle ʽte-esie’ (см. выше) с тем же составом частей и с тем же значением (уместно напомнить, что Cond. от этого глагола реконструируется в виде **es*-lai/!/ при baulai, bo*ū*lai, а хеттский волюнтатив 1. Sg. представлен как *ašallu* ʽда буду я!’). Даже присоединение к -l- личных окончаний в спряжении (ср. прус. tur/r/*ī*lai, но *turrīlimai* /из *-l*ai*-mai/, или указанные хеттские формы) находит параллель (хотя, видимо, и позднюю) в славянском, ср. кашуб. lem ʽно’, когда этот союз находится в тексте, принадлежащем субъекту высказывания (ср.: Bёl bёm go *språl,* l e m *go ńe dogońił*; Xcå*ł* jem*ʒ*is reno jaxac do *ḿ*asta, l e m *zaspåł*. Sychta. Słown. gwar kasz. 2. S. 339); ср. также lenom в том же значении и в тех же условиях при обычном leno (: лтш. lai nu, nu-lai и т. п.[15]). Но эти совпадения ме-

жду славянским и балтийским в отношении элемента -l- в связи с глаголом лишь малая и к тому же не самая существенная часть всей системы соответствий, которая тем убедительнее, что она строится не «намертво», без зазоров, а, напротив, со сдвигами сопоставляемых частей, что и позволяет рассматривать их в динамике, вскрывающей вторичность и, как правило, несущественность тех различий, которые выглядят гипертрофированными без этой диахронической перспективы и связанных с ней реконструкций.

Обычно ссылаются на слишком большой разрыв в семантике между слав. *li и балт. *lai, мотивируя этим отказ от поисков лежащего за ними единства. В самом деле, слав. *li наиболее ярко реализует себя в в о п р о с и т е л ь н ы х конструкциях, балт. *lai — в пермиссивно-волюнтативных. Однако при обращении к конкретным фактам и к сфере объясняющих их реконструкций очевидно, что в балтийских языках существуют переходные явления, напоминающие слав. *li в вопросительных фразах, а в славянских языках немало таких ситуаций, где *li употребляется в функциях, близких или даже полностью аналогичных балт. *lai. Так, для латышского языка отмечают употребление laî «in dubitativen Fragen» (ср.: kuo l a i daru? ʽwas soll ich machen?’ или kas tad te l a i ar jums nuoga*lē*jas?), а также в дубитативно-вопросительных предложениях, ср.: es nezinu, kuo l a i *es iesāku* (ME. 2. S. 400), что, конечно, соотносится с употреблением частицы *ли* «в некоторых сочетаниях, первоначально вопросительных, для выражения с о м н е н и я, удивления и т. п.» (Сл. совр. русс. яз. 6. С. 206) в русском языке; то же относится и к вопросительным предложениям (см. СРНГ. 17. С. 39: о *ли*, выражающем «с о м н е н и е, неуверенность, предположение»); естественно, что аналогичное явление известно и другим славянским языкам в том или ином объеме. С другой стороны, пермиссивному lai в вост.-балт. и прус. -lai как показателю Cond. со значением волюнтатива, оптатива отвечают славянские примеры, подобные экспрессивной частице le в кашубском, употребляемой, между прочим, для усиления императивности (ср.: L e të *ḿe tam ńe* xoʒ v́ice; L e *są b’eř*; L e *ń*e zaba*č do nas naṕ*isac; Të l e *ostańi doma*; L e *ń*e pła*č*, но и *Ń*e pła*č* l e и т. п., см. Słown. gwar kasz. 2. S. 339); ср. полаб. zar-lə ʽпосмотри же!’, *s a a l a a,* mäu jissme rechte pattjey ʽsiehe, wir sind rechte Kutten’ (Parum-Sch)[16]; некоторые аналоги этому есть и в других славянских языках. Разумеется, сходства затрагивают и несравненно более широкий круг явлений. Особенно интересны те случаи, когда для полного сходства необходима некая «достройка», состоящая чаще всего в нахождении такого семантико-синтаксического контекста, который компенсирует неполноту сходства. Так, условно-вопросительная конструкция типа *придешь л и ко мне, (то) спасибо скажу* (этот тип особенно широко распространен в диалектных и в старых текстах[17], однако в нормативных руководствах и соответственных стилях он обычно не пред-

ставлен) вполне соответствует, например, такой последовательности двух глагольных синтагм в латышском, которая отвечает двум требованиям: 1) наличию пермиссивного laî в первой синтагме и 2) такому содержательному соотношению глаголов, при котором выполнение первого действия служит причиной для совершения второго действия. Ср. что-нибудь вроде Lai vinš duod & *es viņam esmu ļoti pate*icigs 'Пусть он дает, я буду ему очень признателен' → 'Если он даст, я буду ему очень признателен', т. е. примерно то же, что рус. *даст ли* (если даст), я буду ему *очень признателен*. Но особенно приближается слав. **li*, **le* по своим функциям к балт. *lai, le и под. в трех категориях случаев: 1) при наличии в слав. *li, *le усилительного значения (ср.: *Се бо мя выгналъ из города оц҃а моего, а ты ли ми здѣ хлѣба моего не хощеши дати*. Лавр. лет. 237, где *ли = же*; *Не только ле в Ушкове плохо, а и здесь*. СРНГ. 17. С. 39; ср. с.-хорв. *кад ли ће доћи* и т. п.) , балтийские примеры с усилительным lai, -le приводились; 2) при наличии в слав. *li уступительного значения (ср.: *В град/ѣ/ въ немь /же живе/ши и въ инѣхь окрьстьнихъ поишти ли единого чл҃ка бояштя ся Б҃а*. Изб. Святосл. 1076 г., 178, где *ли = хотя /бы/*, более или менее обычного в случаях типа лтш. lai diena, lai *nakts man jāstrādā* и т. п. (о чем см. ME. 2. S. 400); 3) при наличии в слав. *li значений, имеющих отношение к поощрению, увещеванию, желанию, надежде и т. п. (ср. с.-хорв. *пођe и он у лов не би ли у браћу нашао* 'пошел и он на охоту /надеясь/, найти и братьев'), сопоставимых с широким спектром балтийских (особенно латышских) примеров от *laî* adhortativus (lai *Dievu lūdzam*) до lai, выражающего просьбу, увещевание, приказ, повеление, различные оптативно-волюнтативные смыслы и т. п. (см. ME. 2. S. 400—401 и др.) [18].

Все эти сходства, столь многочисленные и столь разветвленные, конечно, не могут быть ни случайностью, ни чисто типологическим подобием. Речь идет об исконном единстве, которое в периферийных ситуациях не нарушено (или, во всяком случае, не полностью нарушено) и сейчас, а в ключевых (центральных) ситуациях нарушено, но относительно легко восстановимо. Из этого тезиса в принципе следует, что любой (или почти любой) случай употребления слав. *li может быть «истолкован» « в терминах функций балт. lai и его словоупотреблений в разных синтаксических конструкциях. Под «истолкованием» же в данном случае нужно понимать возможность такого перевода—трансформации конструкции с li, при котором подыскивается соответствующая ему форма выражения с использованием балт. lai, которая выступает как объяснение (в частности, историческое) данной славянской фразы с *li. Еще важнее, что и с помощью только одной внутренней реконструкции в славянских фразах с *li удается вскрыть схему, предельно близкую к балтийским lai-конструкциям, и установить ту исходную и еди-

ную для обеих языковых групп ситуацию, которая отразилась — в значительной степени по-разному — в обеих этих группах.

Так, в поздней по времени и «искусственной» по происхождению фразе (ставшей, правда, в своей синтаксической схеме своего рода клише определенной стилистической традиции) *Брожу ли я вдоль улиц шумных, | Вхожу ль во многолюдный храм, | Сижу ль меж юношей безумных, | Я предаюсь моим мечтам* вскрывается ее исходная схема (и соответствующие ее варианты): *Пусть я брожу… пусть я сижу…, — я предаюсь моим мечтам*, где *пусть* выступает как возможный перевод *ли* в русском тексте и как точный перевод вост.-балт. пермиссивного lai, в свою очередь, на генетическом уровне отсылающего к слав. *li [19]. Вместе с тем эта же фраза может быть представлена в виде трансформа, реализующего схему условного (*Если я брожу… если я вхожу … если я сижу…, — я предаюсь моим мечтам*) или уступительного (*Хотя я брожу… хотя я вхожу… хотя я сижу…, — я предаюсь моим мечтам*) типа. Каждый из этих трансформов по-своему комментирует не только структуру русской фразы, но и возможных ее соответствий в балтийских языках. Так, *если…*, которым вводится придаточное условное предложение, своим союзом (из глагола и частицы) отсылает к ст.-лит. esl*e*, а элементом -*ли* после глагольного *ес*(*ть*) — к прус. -lai в постпозиции и к прус Cond. на -lai, тяготеющим именно к придаточным предложениям (о чем см. выше). Уступительный союз *хотя* как бы эксплицирует волюнтативно-оптативные смыслы балтийских форм глагола с элементом lai (тем более, что *хотя*, как и lai, открывает фразу и стоит перед глаголом — *Хотя /я/ брожу…* и т. п.). Таким образом оказывается, что и балтийское пермиссивное lai (включая сюда и прус. -lai в Cond.), и слав. *li (или рус *ли* в анализируемой фразе) предполагают не только единую общую синтаксическую структуру, но и общий семантический локус, в центре которого находится значение допущения (предположения о реальном положении вещей, четко отличаемом от самой реальности). Логическая экспликация русской фразы (*Допустим, что я брожу… вхожу… сижу,* — [все равно и при этих условиях, так сказать, независимо от них] *я предаюсь моим мечтам*) находит соответствие в значении -*ли* в русс. диал. *кто-ли* 'кто-нибудь', *куда-ли* 'куда-нибудь', *где-ли* 'где-нибудь' и т. п. (ср.: *Кто-ль бы ни лез, кто-ль бы ни говорил, хватайте его*. СРНГ. 17. С. 39), т. е. в логической экспликации: *кто-ли* — этот, тот, некий третий, любой другой; иначе говоря, допускается любая наличность, любое заполнение этого *кто-ли*, которое тем не менее остается неизменным независимо от допускаемого выбора в заполнении. Пермиссивные формы глагола (в частности, балт. на lai) по сути дела основаны на том же самом допущении действия, обозначаемого глаголом, что и в рассмотренных выше примерах. Однако как и в

них, это допущение, строго говоря, не соприкасается с «реальностью» в том смысле, в каком все косвенные наклонения глагола отличаются от индикатива, единственного наклонения, которое трактует отношение говорящего к действию как к реальности (а не потенциальности разных видов).

В связи с проблемой балт. lai, особенно при принятии тезиса о его единстве и, следовательно, историко-лингвистической нераздельности прус. -lai и вост.-балт. lai, возникает вопрос о соотношении этого lai с балтийским глаголом «того же» корня (laid-) — лтш. laîst, лит. léisti. Будущим исследователям предстоит решить, идет ли речь о семантическом и формально-грамматическом «выветривании» полнозначного некогда глагола, превратившегося в союз, частицу, междометие (когда этот вопрос возникает, он решается именно в этом направлении), или, наоборот, частица была «достроена» до глагола. Полностью исключать это второе (при обычных условиях — «странное») решение нельзя. Во-первых, некоторые аналогичные примеры «частичных» глаголов достаточно известны; ср., с одной стороны, случаи типа — *Все ли здесь? — спросил незнакомец* [человек чужой, со стороны, впервые встречающийся с крестьянами. — *В. Т.*] — *Все ли-ста здесь? — повторил староста. — Все-ста, — отвечали граждане* («История села Горюхина»), где *ли-ста* может трактоваться как вербализованная частица или «частичный» глагол, а с другой — в с.-хорв. диалекте Горского Котара частицу (утвердительную) da 'да', которая может принимать личные окончания глагола: da-m 'yes, I do' (букв. 'я — да'), da-*š* 'yes, you do' (букв. 'ты — да') и т. п. и, следовательно, вербализуется (ср. несколько иной тип — рус. *дакать* 'говорить «да»', *не́кать* 'говорить «нет»' и т. д.). Во-вторых, большая неясность в вокализме и.-евр. источника лит. léisti, лтш. laîst и их соответствий в других и.-евр. языках (см. Pok. I. S. 666: **lēd*-/*lēid-/*ləd- и т. п.) могла бы объясняться «протеическим» вокализмом исходной частицы, а элемент -d- мог бы рассматриваться как своего рода вербализатор [20]. Тем не менее в данной ситуации пока целесообразно воздерживаться от выбора.

Зато излагаемая здесь схема дает некоторые дополнительные основания вернуться к теме соответствий балт. *lai в других и.-евр. языках. Помимо приведенных выше славянских фактов, не только образующих ближайший круг аналогий, но и отражающих общую исходную схему, а также хеттских форм, приведенных Бенвенистом как раз в связи с прус. Cond. на -lai, в и.-евр. языках есть еще ряд форм с элементом lai, которые обычно рассматриваются как изолированные, хотя, как можно думать, претендуют на более внимательное отношение к себе исследователей генезиса балтийских форм с элементом lai. В связи с ст.-лит. esle, прус. -lai и хет. *ešlut, ešlit, ašall*u Вяч. Вс. Иванов (Balcanica. 1979. P. 51; см. также: Сов. слав. 1981. № 6. С. 91—102; Acta Baltico-Slavica. 1982. XVI. P. 145—153; об и.-евр. аспекте

этих форм ср. Solta. IF. 1970. 75. P. 44—84) высказал предположение об общеиндоевропейском характере этих форм, которые могли бы быть также сопоставлены с тохарскими герундивами на -l- и с кельтским сослагательным наклонением с тем же элементом. Вместе с тем предлагается считать, что уже в общеиндоевропейском существовали словоформы с элементом -l-, чему не противоречит наличие в балтийском особой частицы lai, и что стадия сочетания с частицей, лежащей в основе этих словоформ, должна быть отодвинута к более отдаленной эпохе. В самом деле, возможность подключения к кругу параллелей указанных форм на -l-, зафиксированных на самой дальней периферии индоевропейского ареала (крайний восток и крайний запад), представляется привлекательной и не только в силу наличия -l- (что в данном случае является необходимым, но не достаточным условием). Весьма существенным в этом контексте следует признать наличие в этих формах (как минимум) не-нейтральной модальности. Она очевидна в формах сослагательного наклонения на -l-, отмеченного у некоторых глаголов в валлийском и корнском (ср. корн. rof ‘я даю’, но rollo. 3. Sg. Praes. сослаг. накл. или валл. gwnaf ‘я делаю’, но gwnel. 3. Sg. сослаг. накл. и т. п., см. *Льюис, Педерсен.* Кратк. грам. кельт. С. 343, 344; Thurneysen. Gr. Old. Irish. P. 403—404) при более известных формах на -*ā*- или -s- в других кельтских языках[21]. В некотором смысле еще интереснее тохарские примеры. Во всяком случае, они обладают и тем преимуществом, что их структура яснее (они вполне регулярны и достаточно многочисленны) и определение их генезиса кажется более простым. Речь идет о двух видах герундива (I и II), известных в обоих тохарских языках. Gerund. I образуется от основы Praes., а Gerund. II — от основы Conjunct. В тохарском A для этого используется формант -l (< *-*lo*-), в тохарском B — -lye-, -lle (< *-li̯o-). Gerund. I обозначает действие, которое должно совершаться (ср.: тох. A tämyo puk *kärsnāl* wr*am knānmuneyo lyalyku ci* ‘поэтому всякая вещь, которую надлежит знать, знанием освещаема тобой’ [Praes. kärs-na-ş ‘он знает’]; тох. B *kärsänälyeṃ* wäntarwane snai prayok kat portotär ‘/в/вещах, которые надлежит знать, без привычки еще он ведет себя’ [Praes. kärsa-na-*ṃ*]). Gerund. II обозначает действие, которое может совершиться (ср.: тох. A klopasu wrasom m*ā* onta*ṃ* tma*ṃ* *kälpāl* t*ā*k ‘страдающее существо никак там нельзя было найти’; тох. B mä*ksu no ṣamāne* aletsai aśiyaime*ṃ* ṣañ *sarsa trāska lye tsāltalye* e*ñcītär* ‘который же монах у чужой монахини собственной рукой съедобное /и/ приятное принимает’). По-видимому, диагностически важным является предикативное употребление Gerund. I (со связкой и без нее) в значении приказания[22], как и употребление Gerund. II в перифрастических образованиях (ср., например, сочетание этой формы с Imperf. глагола-связки для выражения ирреалиса). Семантические особенности этих форм в тохарском де-

лают, действительно, оправданным их привлечение в связи с проблемой балтийских форм на -lai. Вполне возможно, что ст.-лит. esle, слав. *jesli, хет. *ašal*lu (ср. лидийск. el ʽон был’, выводимое из *es-l; ср. Gusmani. Lyd. Wört. 1964. S. 41, 42, 44; *Иванов.* Слав. язык. XI Межд. съезд. 1968. С. 270; Сов. слав. 1981. № 6. С. 94; Rosenkranz. Entst. idg. verb. Flex. 1971. 8. P. 44) должны быть дополнены тох. А nesalle, тох. В nasäl (< *no-es-l), если говорить об l-формах от глагола бытия (ср. Bader. BSL. 1976. S. 71, 94; Et. celt. 1975. P. 14; Klingenschmitt. Akt. V Fachtag. 1975. S. 158; Schmalstieg. I.-Eur. Ling. 1980. P. 112; *Иванов.* Сов. слав. 1981. № 6. С. 93); можно думать, что в конечном счете тох. *no-es-l воспроизводит с расширением рассматриваемое выше б.-слав. *nu-*lai* и т. п. Тохарская ситуация Gerund. на -l, видимо, может бросить луч света еще на два не вполне ясных примера форм на -l, втянувшихся в глагольную систему. Речь идет об армянских формах типа sireal (ср. также образования на -loç с долженствовательным значением и на -li), рассматриваемых как Part. Praet. (ср. sirem ʽя люблю’), но лишенный залоговых различий, и слав. Part. Praet. на *-lъ* (*l’ubilъ, **pisalъ*, **bylъ* и т. п.), также дефектный в отношении ряда важных для глагольных образований параметров. Подобно тому как в тохарском с Gerund. на -l связаны отглагольные имена на -une (тох. А) и -(añ-)ñe- (тох. В), ср. тох. А nas-luneya при nasäl, тох. В nesalyñe при nesalle, в армянском при причастии на -l выступает и Infin. с тем же показателем (sirel ʽлюбить’ — sireal)[23], а в хеттском известны предикативно употребляемые имена на -l- с модальным оттенком (ср. dalugnula, barganula). Предикативный характер славянских форм на *-lъ* (ср. практическое отсутствие этого типа в изолированном положении), их, так сказать, вневременной и внезалоговый характер по происхождению[24], их связь с инфинитивной основой, с одной стороны, и с соответствующими существительными (ср. **bylъ* — **bylьje*, **žilъ* — **žilьje* и т. п. параллельно **bytь* — **bytьje*, **žitь* — **žitь*je и т. п., откуда напрашивается предположение о возможности «инфинитивного» l и в славянском, подобно роду других древних и.-евр. языков), с другой, ряд иных особенностей позволяют предполагать, что на более раннем этапе эти формы не должны трактоваться как п р и ч а с т и я; что, находясь вне системы времен и вне залоговых противопоставлений, они скорее всего могли иметь отношение к выражению каких-то модальных значений[25]; что в силу хотя бы только этих особенностей и славянские формы не *-lъ* могли бы рассматриваться как некий дальний резерв при исследовании анализируемого здесь более узкого и более четко очерчиваемого круга модальных форм с элементом -l- (подробнее о слав. -l- формах, как и балт. Adj. на -l-, образованных от глагола, в связи с их генезисом предполагается говорить в другом месте).

К сожалению, мало определенного можно пока сказать о преподложении Пизани (Ling. Ital. ant. 1953. P. 228; Rhein. Mus. 100. 1957. P. 241—242) отно-

сительно наличия в иллирийском элемента lai, сопоставимого с балт. lai и выделяемого на основании членения мессапск. laidehiabas logetibas (PID. II. S. 526) на l a i dehiabas logetibas ʽage deabus L’. Краэ (Corolla ling. 1955. P. 129—136), исследовавший следы laid- (Laed-) и led- в иллирийском, в данном случае придерживается традиционной трактовки, восходящей к Кречмеру. То же отсутствие ясности и в связи с хеттск. *lē*, отрицанием (prohibit. = аккад. *lā*), которое иногда объясняют как первоначальный Imperf. ʽlass (sein)!’, но в других случаях выводят и из **nē* (см. Friedrich. HWb. S. 128). Интересно, что и в славянском есть следы особой связи частицы *le, **lě*, *li с отрицанием (ср. с.-хорв. on mu l j ȅ n e *će pomoći* /Lika/, см. Etim. rječn. hrv. 2. S. 279 и др.).

Зато, видимо, вполне надежной параллелью к соответствующим балто-славянским фактам следует признать частицу le в алб. palé ʽor bene, dunque’, которое вполне в духе приводившихся выше балтийских и славянских «частичных» комплексов. Характерно, что эта частица, выражающая побуждение или повеление, употребляется с Conjunct. (ср.: p a l é ta shoh! ʽпосмотри же!; давай посмотри!’). Она же, подобно балт. lai и особенно слав. **li*, может вводить косвенный вопрос (ср.: të shohim p a l é kush do të vijë sot ʽпосмотрим, кто сегодня придет’, собств. ʽли кто придет’). На основании последнего примера и подобных ему вычленяются сочетания алб. palé с Pron. interrog. palé kush и т. п., аналогичные лтш. lai kas и слав. **li kto* (рус. *ли-кто* и др.), о которых писалось выше. Наконец, алб. le употребляется и самостоятельно для образования Imper. (чаще всего в 3-м л.), что опять-таки отсылает к балт. lai с пермиссивом и слав. *li с Imper. (ср. алб. l e të shkojë ʽпусть он придет!’, см. Fjalor. s. vv. le, pale).

Во всяком случае, только при учете всего наличного материала могла бы быть реконструирована индоевропейская исходная ситуация, в которой в конечном счете коренятся как грамматикализованные морфологические образования типа прусского кондиционалиса на lai или вост.-балт. пермиссива на lai, так и широкий круг служебных элементов с показателем -l- (союзы, частицы и т. п.) в балто-славянском, которые как бы фиксируют более архаичную с и н т а к с и ч е с к у ю предысторию явлений, в максимуме своего развития обретших статус стандартных м о р ф о л о г и ч е с к и х граммем. Основной вывод этой статьи как раз и состоит в том, что явления, рассматривавшиеся как изолированные, узколокальные и скорее полупарадигматические композиции, выводятся из изоляции при расширении круга привлекаемых источников за счет чисто синтаксических элементов. Но это решительное умножение используемых данных ставит перед исследователем новую сложную проблему, уже выходящую за пределы балто-славянского языкознания, — объяснение всей совокупности и.-е. форм с показателем -l-, в

«глаголе», объединенных исходной связью с «частичным» элементом -l-, выступающим как важнейший маркер архаичной структуры индоевропейской фразы.

Примечания

[1] В настоящей статье используются те же самые сокращения в обозначении грамматических категорий и граммем, с одной стороны, и научной литературы — с другой, которые приняты в кн.: Прусский язык. Словарь. М., 1976—1984. Т. I—IV (издание продолжается).

[2] Ср., однако, auskiēndlai, которое, по Бецценбергеру KZ. 41. 1907. S. 111, из *ausskande/t/-lai; согласно Эндзелину SPV. S. 124, речь могла бы идти об Opt. *auskēndai, усвоившем себе -l- из форм на -lai.

[3] Эта синхроническая актуальность синтагматического критерия в конечном счете соотносится с диахронической принадлежностью истоков рассматриваемого явления к сфере синтаксиса (а не морфологии).

[4] См.: K. Brugmann. IF. 1903. Bd. 15. S. 339—340: -lai из Opt. *vlōi-/*vlī-, от и.-евр. *u̯el- ʽwählen’ (т. е. ʽdu oder er mag wählen’, ср. лат. vel). Хотя это предложение было принято Траутманом APSpr. S. 285—286, его опровержение появилось сразу же и позднее было не раз повторено; см. *И. Эндзелин.* Лат. предл. II. 1905. С. 71 = Darbu izlase. I. S. 590; AfslPh. 1910. Bd. 32. S. 295 и др. Нужно, впрочем, заметить, что Бругман говорил не специально о прусск. -lai, но о балт. *lai, от которого в это время прусск. -lai обычно не отделяли (позже к этому относились и иначе); в критике Эндзелином точки зрения Бругмана указывалось, в частности, что возведение лтш. lai, как и более раннего laid, к и.-евр. *u̯loit невозможно из-за прерывистой интонации lai.

[5] В дальнейшем этот круг форм в связи с балт. lai не рассматривался. Более того, в предалах самого др.-греч. не ясна ни связь этих слов между собой, ни их этимология.

[6] Ср. такие показательные контексты, как *potępienie a ubostwo* le skromna czyni ubogie; le acz cirpią; acz le je maią и т. п. Ср. также SEJP. S. 292, 297.

[7] См.: *И. Эндзелин.* Лет. предл. II. 1905. С. 71; KZ. 1908. Bd. 42. S. 375; AfslPh. 1910. Bd. 32. S. 295; FBR. 1931. 11. S. 187—189; ME. 2. S. 400—401; Lett. Gr. 1922. S. 800; LVSF. 1938. S. 195; LVG. S. 701, 892—893; BVSF. S. 253; SPV. S. 123—124, 132; Apr. Spr. S. 188—189.

[8] Ср. также безглагольное употребление laî случаях типа laî kas, laî kâ, laî nu kâ (ME. 2. S. 400) или же bet laî nul kas bijis, bijis; laî nu! и т. п.

[9] О laî, помимо указанной выше литературы, см.: Bielenstein. Lett. Gr. 1863. S. 405—408; Lett. Spr.; Mūsd. latv. gr. I. P. 749—750, 770—771 и др.

[10] Ср. также частицы с *ē* и расширениями типа лтш. nu-*lē*-t (вост.-лтш. *nỳulêt'*. BW 24246, 1; ср. *nū*-la-t. BW 3417, 21221, 1, 26028), *nū*-*l'ei*-t (вост.-лтш. *neul'eit*. BW 16092 ʽтеперь/же/’).

[11] Не исключено, что даже Praep. *paliaĩ*, *paleĩ* рассматривающийся как славизм (см. LEW. S. 532), многообразием своих диалектных вариантов (ср. pãliai, pàliai, palẽ, pãlė, pàlė, palià, palì, *palỹ*, peli, на говоря уж о контаминированных формах; см. Liet. Dial. S. 421—423) имитирует принципиальную вариабельность гласных после l-, напоминающую ситуацию в латышском (разумеется, подлежат учету и гибридные случаи: ср. такие пермиссивные частицы в диалектах, как leiguĩ, laigù, leigù, см. *Z. Žinkevičius.* Liet. k. istor. gram. II. S. 137; LKŽ. VI. 29. S. 240).

[12] Для ориентации (хотя и недостаточно полной) и славянской ситуации ср.: *Ђорђевић.* Гласн. 53. 1898; Łoś. Sprawozd. PAU. 12. 1907. S. 2—6; Zubatý. Lfil. 37. 1950. S. 217—228; Tomaszewski. Sl. Occ. 2. 1922. S. 137—157; *Music.* Rad JAZU. 231. S. 1—37; Slavia. 8. 1929. S. 38—49; Décaux. RESI. 28. 1951. S. 68—79; Morph. des enclit. 1955; Liewehr. Vortr. Berl. 1956. S. 243; Ondrus. ZfSl. 2. 1957. S. 513—322; Michalk. Por. Jęz. 1957. № 7. S. 300—307; Reiter. ZfslPh. 27. 1959. S. 377—406; *Polański.* Sl. Occ. 20. 1960. S. 115—117; Słow. et Drz. 2. S. 326—327; Selberg. Sc.-Slav. 19. 1973. S. 177—186 (ср. отчасти Sc.-Slav. 16. 1970. S. 189—203); Baujer. Syntactica slavica. Brno, 1972.

[13] Связь с количественным **клѣ**, **кли** составляет особый вопрос, см. ЭССЯ. 6. С. 8.

[14] Интересно, что и лтш. lai знает ситуацию повторения (ср. l a i *viņš plātās* l a i!; l a i eimuot *l a i* и т. п. ME. 2. S. 400).

[15] Кашуб. nó употребляется как усилительная частица при Imper. См. Słown. gwar kasz. 3. S. 208; Pomor. Wb. 1. S. 562 (*Słexa*i̯ n ó!; *Ńex* n *ȯ* n*ωṕěrv vîńʒ*e ta *vaša córka!*); ср. слвц. len, укр. *лéно* ʽно; лишь; только’ (*Гринченко.* 2. С. 346—366), но и *лем*; с.-хорв. *ȍtlēn*, *otoleņ*, но и *ȍtlēm*, *ȍtolēm* и т. п.

[16] О *la* как усилении Imper. см.: *Polański.* Sl. Occ. 20. 1960. S. 115—117; Słown. et Drz. 2. S. 326 (ср. также la ʽже; ведь; лишь’ и т. п.: *Täu siess* l a a. Parum-Sch. и др.).

[17] Ср.: *Обрѣте л и такого члꙺека те уже не скърби: обрѣте уже ключь црꙺствия нбсꙺного*. Изб. Святосл. 1076 г., 178; подробнее см.: СлРЯ. XI—XVII вв. 8. С. 230 (ср. с.-хорв. *хоћеш л и бити без страха, чини вазда добро* и т. п.).

[18] Следует заметить, что приведенная сербская фраза, как и другие примеры этого типа, выделяет ц е л е в о е значение, причем л и функционирует как союз цели (ʽчтобы’); та же ситуации воспроизводится и в латышском; ср., например, ja atrod divas vārpas viena salma galm*ā,* tad tas dod aitai, l a i (ʽчтобы’ < ʽпусть’) atnes *parīti* и т. п.

[19] Следует заметить, что при принятии lai < *laid- (ср. лтш. laîst, лит. léisti) соотношение lai. Partic. и laid- Vb. в точности воспроизводит ту же схему, что и рус. *пусть*/*пускай* Partic. и *пусти́ть*/*пускать* Vb.

[20] Хет. *lā*- ʽlösen’ (ср. lāmni, *lāši, lāi* и т. д.) и алб. lë ʽопускать; разрешать; оставлять’ в таком случае должны трактоваться как исключение, которое, впрочем, подтверждает вычленение -d- в этом корне.

[21] Уместно напомнить, что эти формы на -*ā*- и -s- генетически связаны с аористическими формами других и.-евр. языков.

[22] Ср. Тох. яз. 1959. С. 193—194, ср. также с. 66, 68—69, 171—172.

[23] Ср. Inf. на -l в лидийском (тип arvol), при том, что -l, как уже отмечалось, используется и в флексии 3. Sg. и Pl. Praet. тип e-l, da-a-l, *i*n-l и т. п.).

[24] В систему времен и залогов эти формы втягиваются по необходимости, но, видимо, не сразу, и, во всяком случае, они не являются основными носителями соответствующих грамматических смыслов.

[25] Следы некоторой «модальности» у этих форм отмечались и ранее, особенно на фоне форм системы Praes.-Aor.-Imperf. (характерно само вхождение «причастий» на -*lъ* в такие сочетания, как польск. *będzie* jadt или ст.-сл. **далъ бѫдѫ**, **бимь** /**быхъ**/ **ѕналъ** и т. п.): сама «перфективность» форм на -*lъ* может оказаться в этой связи неслучайной. Наконец, ср. известную генетическую связь формантов Conjunct. в Praet. в ряде и.-евр. языков.

1984

ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОПРУССКОГО К РЕКРЕАЦИИ НОВОПРУССКОГО*

В контексте проблемы реконструкции, обозначенной в заглавии этой статьи, п р у с с к и й занимает особое место среди других балтийских языков. С одной стороны, он отличается от литовского и латышского как мертвый и «неполный» язык, характеризующийся не только «закрытым» списком текстов, но и их малочисленностью (по этому признаку прусский противопоставляется санскриту, древнегреческому и латинскому, которые, будучи мертвыми языками, представлены огромным количеством текстов). С другой стороны, прусский отличается и от других мертвых балтийских языков (ятвяжский, куршский и т. п.), вообще не представленных текстами (так называемые «топономастические» языки), как язык, на котором написан ряд текстов. В связи с такими «неполными» языками, как прусский или готский, старославянский, древнеперсидский и т. п., особое значение приобретает реконструкция элементов системы или элементов текста, относимых к т о м у ж е с а м о м у состоянию языка, которое фиксируется уже наличными текстами, а не к более глубоким во времени состояниям языка. Поэтому основным становится вопрос о в о з м о ж н о с т я х (соответственно — об ограничениях) такой актуально-синхронной реконструкции, выступающей на поверхности, как в о с п о л н е н и е лакун текста и системы («достройка» их до возможной полноты), осуществляемое с достаточной степенью надежности. Решение этого вопроса о возможностях, естественно, в наибольшей степени зависит от специфических условий и характеристик конкретного «неполного» языка, точнее, его корпуса текстов (или, в несколько ином плане, их грамматического репертуара и их словаря в широком смысле слова). Содер-

* Совместно с М. Л. Палмайтисом.

жание классического периода в исследовании прусского языка (Бецценбергер, Бернекер, Траутман, Эндзелин, Герулис и др.) как раз и состояло в восстановлении фонетического, морфологического и лексического уровней языка на основании наличных текстов и отчасти имен собственных — местных и личных. В этом случае реконструкция в значительной степени совпадала с описанием языка, т. е. установлением инвентаря языковых единиц на каждом уровне, их элементарных объединений типа парадигм и определением их семантики, нередко выступающим как одна из возможных интерпретаций. Основная сложность такой реконструкции (описания) была связана именно с неполнотой материала, из-за которой часть языковых единиц оказывалась неучтенной или же недостаточно надежно определенной с точки зрения смысла (соответственно — функции). Наконец, следует считаться и с теми трудностями, которые связаны со степенью сохранности дошедших до нас прусских текстов. Текстологическая критика выявила значительное количество ошибок и отклонений от «идеального» вида этих же текстов и частично компенсировала эти недостатки, сформулировав целый ряд приемов приближения к «идеальному» тексту (ср. конкретные конъектуры, эмендации, часть которых носит бесспорный характер). Тем не менее в целом текстологические задачи оказываются решенными лишь в меньшей их части. Нет исследований, посвященных соотношению прусских катехетических текстов с их непосредственными источниками (немецкими версиями кратких катехизисов и Энхиридиона); нет конкордансов, списков повторений и вариантов, указателей цитированных мест из новозаветных текстов и т. п.; нет сопоставительных анализов прусского Энхиридиона с соответствующими текстами других традиций, прежде всего близких по языку, месту и времени создания (ср. литовские и латышские опыты переводов этого же текста в XVI в.), которые могли бы бросить луч света на некоторые не вполне ясные места прусского текста и установить степень специфичности прусского перевода и неявные принципы и особенности переводческой техники. Наконец, отсутствуют реконструкции прусского «прототекста» Катехизиса, понимаемого как теоретическая проекция данных, извлекаемых из сопоставления всех трех прусских катехизисов в их соотносимых частях (в самое последнее время появился ряд важных работ Toshikazu Inoue, посвященных сравнению сопоставимых частей трех прусских катехизисов, графологии прусских текстов и т. п.). Указание лакун в области «прусской» текстологии одновременно может служить перечнем основных задач, подлежащих решению и приближающих нас к реконструкции наиболее адекватной версии прусского текста чисто текстологическими средствами. Однако в связи с рассматриваемой здесь темой наиболее существенной представляется реконструкция, проводимая лингвистическими

средствами и относящаяся к элементам *языковой* системы на разных ее уровнях.

Если направление и объекты лингвистической реконструкции определяются прежде всего лакунами в знании системы и ее элементов, то возможность удачной и надежной реконструкции зависит прежде всего от характера *связей* между известной частью системы (или некоей совокупностью ее элементов) и неизвестной, подлежащей реконструкции частью системы (или ее фрагментов). В одних случаях эти связи имеют характер автоматической импликации, в других они лишь предположительны и реализуются не обязательно в виде единственной схемы. В подобной ситуации вероятностного выбора многое зависит от умения исследователя найти такое соотношение связей между известным и неизвестным, которое наиболее надежно объясняло бы реконструируемый элемент. Если нахождение подобных схем зависит от наличия соответствующих эвристических процедур (как стандартных типовых, так и специально предлагаемых и носящих экспериментальный характер, ориентирующихся на решение индивидуальных, иногда уникальных задач), то сам объем подлежащего реконструкции определяется прежде всего соотношением известной части языковой системы и ее элементов и неизвестной части, иначе говоря, степенью *полноты* знаний о данном языке. Эта «полнота» должна оцениваться в двух аспектах — качественном («полнота» уровневая, категориальная, граммемная, лексическая, конструктивная и т. п.) и количественном (насыщенность каждого элемента плана содержания конкретными примерами). К сожалению, несмотря на «закрытый» список прусских текстов, их малочисленность и однообразность и, следовательно, их легкую просматриваемость и простоту учета искомых языковых элементов, степень полноты восстанавливаемой системы прусского языка и отдельных ее узлов остается обычно не вполне ясной, затемненной так называемыми «составными» парадигмами и, во всяком случае, не эксплицированной с необходимой последовательностью и четкостью. В результате часть лакун практически оказывается скрытой или полускрытой, а отдельные фрагменты системы языка трактуются приблизительно, на глазок, что и объясняет разноречивость и даже противоречивость интерпретаций подобных фрагментов (характерный пример — описания системы глагольных наклонений разными авторами). Другой случай — когда остается практически не исследованным целый уровень языковой системы и не ясно, с какой полнотой имеющиеся языковые факты описывают структуру данного уровня. Именно такова ситуация в синтаксисе, и никакие ссылки на переводный, книжный, догматический характер прусских текстов, на их «искусственность» и однообразие не могут оправдать отсутствия сведений: о списке элементарных синтаксических конструкций в прусском; о типах их соединения (композиции) в более

крупные комбинации, вплоть до фразы, правил развертывания и трансформации; о связях с основными смыслами, «разыгрываемыми» на синтаксическом уровне; о порядке слов в элементарных синтаксических конструкциях и порядке составных синтаксических единств в пределах предложения. Почти сплошной пробел в описании прусского синтаксиса делает сугубо условной и, так сказать, предварительной любую реконструкцию прусского текста. Более скрытыми оказываются лакуны в отношении целого ряда граммем (некоторые формы вообще не представлены и имплицируются лишь на основании других форм той же парадигмы, отличающихся от незасвидетельствованной формы минимумом на один грамматический дифференциальный признак) или парадигм конкретных слов. Учет «пустых» мест в таких парадигмах особенно важен. Именно здесь следует видеть основной резерв для «восполняющей» реконструкции. В самом деле, подавляющее большинство слов в прусских текстах представлено практически «пустыми» парадигмами (значительная часть слов из Эльбингского словаря и словарика Симона Грунау, не встречающихся в связных текстах), где, собственно, есть только форма Nom. Sg. для имен существительных (изредка в результате своеобразной аттракции, объясняемой ситуацией получения словарной информации, вместо Nom. Sg. (или Pl.) в качестве словарной формы выступает Acc. Sg. (или Pl.)). Более того, в ряде случаев эта словарная форма Nom. Sg. должна трактоваться не столько как полноценное заполнение хотя бы одного места в парадигме, сколько как заглавие — обозначение не вполне ясной парадигмы (ср., например, случаи, когда исход, типа -is без дополнительных данных может пониматься как признак принадлежности к. парадигме склонения основ на -i masc. или fem., или же на *-o*, или на *-i̯*o). Другие слова представлены парадигмами, в которых заполнены лишь некоторые звенья (чаще всего Nom., Acc., Gen. в Sg. и Pl., другие типы заполнения встречаются существенно реже). Только наиболее употребительные слова знают достаточно полные парадигмы, хотя и среди этих слов, как правило, некоторые формы остаются неизвестными (так, слово для обозначения бога (deiws), встречающееся в прусских катехизисах немногим меньше 130 раз, не засвидетельствовано в формах Dat. Sg. и Pl., Nom. Pl., Gen. Pl.; частое в тех же текстах слово genn*a* ʽжена; женщина; домохозяйкаʼ, оказывается, ни разу не выступает в форме Nom. Sg. как и в Dat. Sg. и Pl., Gen. Pl.). В наилучших условиях в смысле полноты парадигмы находятся некоторые местоимения as ʽяʼ, tu ʽтыʼ, stas ʽэтотʼ (часто в функции определенного артикля). Такая же ситуация обнаруживается и в связи с глаголами с той разницей, что степень неполноты соответствующих парадигм оказывается еще более значительной, и это относится даже к таким употребительным и важным глаголам, как asmai ʽесмьʼ, b*ū*ton ʽбытьʼ и т. п. Более того, неполнота конкретных парадигм глагола столь зна-

чительна, что в ряде случаев делает практически невозможным восстановление некоторых форм (например, модальных) даже в рамках относительно условной «соборной» парадигмы; иначе говоря, иногда остается неизвестной не только та или иная форма конкретного глагола, но и абстрактный тип флексии отдельных граммем. Можно пойти еще дальше и, без особого риска ошибиться, настаивать на принципиальной неполноте отраженного в известных текстах прусского инвентаря глагольных граммем.

В условиях большей или меньшей парадигматической неполноты конкретных слов к наиболее простым приемам «восполнения» относится «п р о г о н к а» («проведение») слова, известного в данной форме (или формах), по другим звеньям (формам) грамматической парадигмы, которые не отражены в наличных текстах, но восстанавливаются в соответствии с автоматическими импликациями или элементарными аналогиями, обладающими высокой степенью достоверности. Уместно обратить внимание на то, что уже сама предварительная грамматически-словообразовательная классификация имен существительных по типам основ и глаголов, по глагольным классам в условиях значительной неполноты соответствующих парадигм предполагает признание достаточно строгой системы импликаций, с помощью которых ряд звеньев парадигмы (а в удачных случаях и все не зафиксированные в текстах звенья) восстанавливается с неоспоримой точностью. К сожалению, существующие работы по прусскому языку лишь в виде редких исключений содержат перечень реконструированных в соответствии с правилами строгой импликации форм. Поэтому объем подлежащего реконструкции (как и объем «бесспорных» реконструкций-импликаций) остается скрытым. Метод представления грамматического материала в «An Old Prussian Grammar» Шмолстига (а для глагола и в статье этого же автора в сборнике «Baltic Linguistics», 1970) эксплицитно выявляет заполненность материалом каждой из конкретных парадигм склонения и спряжения, хотя сам объем н е р е а л и з о в а н н ы х форм («незаполненность») остается не вполне ясным, прежде всего в системе глагола, поскольку автор не дает полной категориально-граммемной схемы склонения и спряжения в прусском. Некоторые количественные данные проясняют степень полноты конкретных парадигм, по совокупности которых более сложным образом можно судить и о полноте всей морфологической системы, отраженной в прусских текстах. Особенно важны данные, относящиеся к глаголу (в отношении имени существует несравненно большая ясность в том, что касается состава граммем склонения, не говоря уж о наборе категорий, задающих их схему). Количество граммем, существенных для описания глагольных форм в прусском (временны́х, залоговых, модальных, относящихся к verbum infinitum и т. п.), исчисляется несколькими десятками, приближаясь, вероятно, к сотне, что отчасти подтверждалось бы и дан-

ными о составе и количестве глагольных граммем в литовском и латышском языках. Разумеется, не каждая глагольная парадигма в принципе реализует весь набор граммем: разные участки системы глагола «отключают» участие в них тех или иных категорий, и поэтому любая конкретная парадигма практически оказывается более ограниченной в отношении числа описывающих ее граммем. Тем не менее практически ограничения, налагаемые характером известных прусских текстов, неизмеримо больше, чем собственно «грамматические» ограничения.

Несколько статистических данных. Из примерно 280 глаголов, зафиксированных в текстах прусских катехизисов, 160, т. е. приблизительно 57 % всех глаголов, представлены лишь одной формой; немногим более 50 глаголов (≈ 19 %) — двумя формами; около 20 глаголов (≈ 7 %) — тремя формами. Иначе говоря, более 4/5 всех глаголов (около 83 %) в прусских текстах зафиксировано одной—тремя формами. Количество глаголов, представленных существенно бо́льшим числом форм, резко уменьшается: 8 глаголов зафиксированы в семи формах, по одному глаголу — в восьми, девяти, одиннадцати, тринадцати (dát/wei/) и шестнадцати (boū̆t) формах. Степень неполноты глагольных парадигм находится в отношении дополнительного распределения с той частью парадигм, которая составляет объем, подлежащий реконструкции. Но внутри этого последнего особо следует выделить ту часть, реконструкция которой является автоматической (ср. Infin. wangint ⊃ 3. Praes. *wangina или обратно: 3. Praes tū̆lninai ⊃ Infin. *tū̆lnint и т. п.) и в силу этой автоматичности скорее заслуживает названия «восполняющей» экспликации. Основу этой операции образуют те связи, которые существуют в глагольной системе между разными ее участками (например, между Infin. и основой Praes., между основой Praes. и типом Praet., между разными флексиями личных форм и т. п.). К сожалению, весь набор этих связей и сам характер зависимостей (абсолютный или вероятностный, направление зависимостей и т. д.) остается пока определенным лишь в самом общем виде и, во всяком случае, не сформулированным во всей полноте ни для конкретных парадигм, ни для их типов, хотя эмпирических наблюдений в этой области вполне достаточно для надежных выводов. Вообще следует обратить внимание на некий крен в исследованиях по глаголу в сторону эмпирических анализов и недооценку форм с точки зрения их информативных возможностей, понимаемых как набор своего рода «валентностей» данной конкретной формы в отношении «восполняющих» экспликаций. Еще проще обстоит дело с подобной операцией применительно к системе склонения ввиду более четкой и единообразной зависимости между известными элементами и элементами, которые не засвидетельствованы в текстах и подлежат восстановлению. В случаях подобной «восполняющей» экспликации риск ошибки практически минимален. Во вся-

ком случае, он явно ниже той степени точности, которая характерна для большей части графических передач подлинных прусских форм, и поэтому им целесообразно пренебречь. Более того, «восполняющая» экспликация имеет то преимущество, что в результате ее применения «открываются» формы в их более достоверном морфонологическом коде, минуя стадию графической записи, которая в наличных прусских текстах нередко оказывается непоследовательной, дефектной или даже просто ошибочной.

Применительно к синтаксическому уровню операция «прогонки» также относится к арсеналу средств реконструкции типа «восполняющей» экспликации. Конкретно в этом случае речь идет о «проведении» не засвидетельствованного в данном контексте слова (или слов) по определенным синтаксическим (в несколько ином аспекте — по фразеологическим) шаблонам в соответствии с принципиальной возможностью других слов того же класса входить в такие шаблоны (реконструкция, основанная на ситуации «вставления»). Впрочем, несмотря на использование той же самой процедуры «прогонки», характер получаемых результатов, как и степень их достоверности, оказываются иными уже в силу того, что в данном случае эксплицируются не новые элементы системы, в частности парадигмы, а новые элементы, входящие в заданные контексты, реально представленные имеющимися прусскими текстами. Тем не менее в результате применения этого приема к разным фрагментам языка и текста открывается перспектива формирования «расширенного» прусского, причем расширение касается и категориально-граммемного пространства, и самого текста, взятого sub specie синтаксической структуры, отдельные узлы которой заполняются новым (по сравнению с наличным) лексическим материалом. Таким образом формируется максимальный при соответствующих возможностях грамматический каркас для прусского языка как системы и как текста. При этом «максимальность» реализуется в том, что выявляется предельно большое количество элементов этого каркаса, который, следовательно, оказывается дифференцированным в наибольшей степени.

Дальнейшее «расширение» прусского языка логически увязывается с возможностями, предлагаемыми лексическим уровнем. В текстах на прусском языке (включая оба словаря — Эльбингский и Симона Грунау) насчитывается немногим менее 2250 лексем (ср. прусские словари в грамматиках Траутмана и Эндзелина). Эти лексемы распределены двояким образом — в текстах (три катехизиса, не говоря об отдельных немногих фразах на прусском языке, включенных в иноязычные тексты) и в словарях. В первых лексемы выступают в некиих естественных контекстах (окружениях) и их семантика определяется не только соответствиями в переводимом на прусский немецком тексте, но и всем окружением во фразе и даже сверхфразовых

объединениях. В последних (т. е. в словарях) лексемы даются изолированно, вне текста «естественного» типа; зато они организованы (прежде всего это относится к Эльбингскому словарю) в определенные семантические группы, внутри которых, как правило, распределение лексем обусловлено особым перечислительным принципом. В этих случаях словарная колонка, объединяющая семантически связанные слова в единую и замкнутую группу, может рассматриваться как «вторичный» текст «искусственного» типа. Определенные преимущества «текстов» словарного типа (семантическая обработанность; относительная полнота материала, которая для некоторых фрагментов может рассматриваться как почти исчерпывающая в рамках модели мира «среднего» объема; иерархичность всего «текста» и т. п.) уравновешиваются, однако, такими существенными недостатками, как ограниченность лексики почти исключительно классом имен существительных (прилагательные включены в словарь в сильно урезанном составе, например обозначение цвета; глаголы и местоимения отсутствуют и т. п.), и отсутствием для многих лексем контекстов диагностического типа. Источники расширения прусского словаря (лексическая реконструкция) довольно многообразны, и они уже были предметом обсуждения. Поэтому здесь достаточно указать лишь основные направления, в которых развивается лексическая реконструкция. Прежде всего речь должна идти о топонимических данных, во многих случаях содержащих в своей основе прусские апеллятивы, отсутствующие в известных текстах. «Thesaurus» Нессельмана представляет собой одну из ранних попыток расширения состава прусских лексем за счет этого источника. После появления топонимического собрания Герулиса (около 3000 местных названий) и ономастического словаря Траутмана (около 2500 личных имен) сложилась надежная, хотя далеко не исчерпывающая все многообразие топонимического прусского материала база для поиска новых лексем и верификации уже известных. Следует отметить, что в ряде случаев лексическая реконструкция имеет своим результатом не только пополнение словаря прусских лексем, но и обнаружение (реконструкцию) единиц синтаксического уровня, в частности его сильно формализованной, нередко клишированной сферы, представленной фразеологизмами и поэтическими формулами. Особенно обильный и ценный материал представляют многочисленные в прусском двучленные личные имена, продолжающие архаичную индоевропейскую традицию. На их основе удается восстановить значительное количество конкретных реализаций таких элементарных синтаксических конструкций, как Subst. & Vb. (т. е. Nom. & Vb. или Acc. & Vb.), Adj. & Subst., Adv. & Vb., Adv. & Adj., Subst. & Subst., Adj. & Adj. и т. п. Многие из них представлены поэтическими формулами, имеющими не только инобалтийские и славянские параллели, но и соответствия в других индоевропейских традициях, отдаленных в про-

странстве и времени. Эти поэтические формулы, выделяемые при анализе определенного круга лексики, позволяют вскрыть фрагмент особого класса текстов, уходящих своими истоками в архаичный слой индоевропейской культуры. Весьма существенно, что реконструируемые на основании анализа прусских двучленных личных имен формулы поэтического языка открывают доступ к текстам с такими жанрово-стилистическими особенностями, которые иначе на прусском материале практически не восстановимы. Другим источником реконструкции прусской лексики нужно считать «прутенизмы» в немецких говорах б. Восточной Пруссии, в польском, кашубском, белорусском (ятвяжские заимствования) языках, в литовских говорах Малой Литвы. Несмотря на то что достаточно целенаправленных исследований в этой области не проводилось, уже полученные результаты немаловажны. Характерно, что восстанавливаемые таким образом прусские лексемы позволяют судить о многих реалиях, относящихся к условиям жизни пруссов, их быту, занятиям, миру вещей и т. п., т. е. к той сфере материальной культуры, о которой как раз нет сведений в текстах катехизисов или они минимальны. От дальнейшего прогресса в этих разысканиях зависит постановка вопроса о реконструкции важных звеньев в прусских текстах соответствующего типа. Наконец, есть основания говорить еще об одной, отчасти экспериментальной сфере реконструкции неизвестных прусских лексем — о словообразовательном материале, внимательный анализ которого дает возможность с известной вероятностью восстанавливать не отмеченные в текстах словообразовательные типы при наличии в языке в слове данного корня образований с другими формантами. Во всяком случае, в ряде ситуаций вероятность существования в языке реконструируемых типов близка к очевидности (ср., например, тип отглагольных Nom. actionis, отличающийся столь высокой степенью регулярности, что задача реконструкции в этом случае приближается к рассмотренной выше «восполняющей» экспликации).

Бóльшая часть рассмотренных до сих пор случаев лишь условно может быть названа реконструкцией в собственном смысле слова. Речь идет скорее об эмпирических экстраполяциях отношений, засвидетельствованных в языке или в текстах, на некие определенные звенья языка, которые в силу случайных обстоятельств оказались незафиксированными в наличных прусских текстах. Как правило, такие экстраполяции восстанавливают элементы, относящиеся к тому же синхронному срезу, к которому принадлежат и известные элементы прусского языка (или соответственно фрагменты текста). Для такой операции «восполнения» не требуется иных знаний, нежели знание системы языка — ее категориально-граммемного каркаса и способов выражения соответствующих элементов. Разумеется, подлинная сравнительно-историческая реконструкция (так сказать,

реконструкция proprie dicta) носит существенно иной характер. Открываемые ею факты в любом случае лежат во временно́м отношении глубже, чем дошедшие до нас тексты. Более того, при достаточно глубокой реконструкции они могут оказаться ниже горизонта прусского языка, включаясь в более ранние языковые общности (западнобалтийскую, общебалтийскую и т. п.). При такой реконструкции почти неизбежно обращение к данным других балтийских и, шире, индоевропейских языков как к источнику (субстрату) реконструкции в одних случаях или как к точке отсчета и средству контроля в других (ср. «внутреннюю» реконструкцию). Именно с такой реконструкцией связаны все наши представления о доисторических состояниях прусского и, вообще, балтийских языков. Однако тема р е к р е а ц и и н о в о п р у с с к о г о в значительно большей степени (по крайней мере на начальных этапах ее обработки) предполагает тесную связь и зависимость от реконструкций — экстраполяций и экспликаций «восполняющего» типа.

Однако, прежде чем перейти к этой теме, уместно сказать несколько слов о реконструкции прусского т е к с т а в том аспекте, который соответствовал бы «восполняющей» экспликации элементов системы языка, т. е. об операции «восполнения» имеющихся прусских текстов, которая оказалась бы столь же надежной, как «восполнение» незасвидетельствованных элементов языка (разумеется, в данном случае не ставится вопрос о степени филологической и текстологической надежности тех фрагментов текста, которые подлежат «восполнению»). Наиболее подходящим материалом для такого «восполнения» текста являются, видимо, включенные в Энхиридион цитаты из разных сочинений, входящих в Новый завет (в отдельных случаях сами фрагменты новозаветных текстов представляют собой цитаты или парафразы тех или иных мест из Ветхого завета). Ср. Матф. 22,21 (= K III, 57,19); Марк 16,15—16 (= K III, 41,1,13); Лука 10,7 (= K III, 55,23); 1 Петр. 2,13—14 (= K III, 57,36—59,5); 3,1,6 (= K III, 59,14—17); 3,7 (= K III, 59,8—11); 5,5—6 (= K III, 61,13—17); Римл. 6,4 (= K III, 43,8); 13,1—7 (= K III, 57,9—16,20—26); 13,9, ср. Левит 19,18 (= K III, 61,25—26); 1 Коринф. 9,9, ср. Второзак. 25,4 (= K III, 55,33—34; в тексте этот источник не указан); 9,14 (= K III, 55,23—25); Галат. 6,7 (= K III, 55,26—28); Эфес. 6,1—9 (= K III, 59,19—21, 23—28; 59,31—61,10; в последнем случае источник в тексте не назван); Колосс. 3,19 (= K III, 59,12); 1 Фессал. 5,12—13 (= K III, 55,36—57,3); 1 Тимоф. 2,1—3 (= K III, 57,27—33; 61,26—27); 3,2—4,6 (= K III, 55,10—19); 5,5—6 (= K III, 61,20—23; в прусской части текста ошибочно отнесено к 1 Thessalo, 5); 5.17—18, ср. Второзак. 25,4; Матф. 10,10 (= K III, 55,29—35); Тит 1,9 (= K III, 55,16—19); 3,1 (= K III, 57,34—35); 3,5 (= K III, 41,24—28); Евр. 13,17 (= K III, 57,4—7; в прусской части текста указание новозаветного источника отсутствует) . В Энхиридионе есть и другие упоминания источников (ср. ссылки на сочинения Павла — K

III, 41,26; 49,3; 63,37, не считая 43,8 /= Римл. 6,4/; на Матфея — К III, 49,2; Марка — К III, 49,2; 69,24; Луку — К III, 49,3). Кроме того, довольно значительные фрагменты Энхиридиона представляют собой пересказ, обычно довольно близкий к подлиннику, содержания тех или иных частей Нового завета. Наконец, и в «самостоятельных» частях Энхиридиона обнаруживается немало слов и выражений, которые могут с полным основанием служить переводом соответствующих элементов новозаветных текстов. Все эти благоприятные обстоятельства, к которым следует добавить еще одно — существенная часть Энхиридиона (страницы 55—61 прусской части текста, по изданию Траутмана, и 172—192, по изданию Мажюлиса) представляет собой фактически монтаж из цитат разных частей Нового завета и, следовательно, может служить образцом очень высокого качества перевода новозаветных текстов с немецкого на прусский, — создают условия для экспериментального расширения (количественно очень значительного) имеющихся фрагментов новозаветных переводов на прусский язык. Оказывается, что во многих случаях в непереведенных в имеющихся прусских текстах, но подлежащих надежному переводу новозаветных фрагментах известны в с е соответствующие прусские слова и практически все или весьма многие (реально или на уровне «восполняющей» экспликации) формы; нередко известны целые фрагменты прусского текста, которые в точности соответствуют отдельным, оставшимся без перевода на прусский, новозаветным отрывкам. В этих условиях перевод дополнительных отрывков на прусский язык становится почти автоматической процедурой, предельно напоминающей «восполняющую» экспликацию в связи с разными уровнями языковой системы. Естественно, что еще бóльшая часть новозаветного текста допускает (доступна) частичный (хотя и достаточно полный) перевод на прусский язык, при котором сохраняется высокая степень понимаемости (осмысленности) переводного текста. Шансы, открывающиеся исследователю прусского языка, поставившему перед собой задачу реконструкции прусского т е к с т а, который по своей обоснованности и реальности в принципе не отличается от зафиксированных текстов, особенно велики именно в указанном направлении. Поэтому одной из настоятельных, потребностей прусской «текстологии» нужно считать составление своего рода лексического и фразеологического конкорданса, который позволил бы точно определить, какая часть новозаветных текстов может быть п о л н о с т ь ю обслужена наличными средствами прусского словаря, в частности стандартизированными фразеологическими сочетаниями.

Операции типа «восполняющей» экспликации и экстраполяции, рассмотренные выше, позволяют в ряде случаев получать результаты, существенные с точки зрения сравнительно-исторической реконструкции. Вместе с тем

приложение этого метода к прусскому материалу ставит исследователя лицом к лицу с совершенно новой ситуацией: оказывается, что применение таких операций фактически указывает путь к некоему особому языку, сочетающему в себе «абстрактность» и регулярность. Свойство абстрактности вытекает из обстоятельств реконструкции этого языка: получаемые новые элементы языка не доказуемы с точки зрения прусской текстологии; таковыми они могут быть только в контексте языковой системы, языка (langue vice versa parole), т. е. некоей абстрактной модели, переход от которой к терминальным конкретным фактам для «неполных» языков типа прусского всегда несколько условен; наконец, известная «абстрактность» восполняемых элементов зависит и от самого источника восполнения: восстанавливаемая форма лишается «текстологической», в частности графической, конкретности (включая сюда аспект вариативности, отклонений от нормы, ошибок и т. п.) и ориентируется на общее, т. е. на тип. Свойство регулярности, предполагающее упорядоченно-стандартизованную фонетику и грамматику (и соответственно такую же систему записи «восполняемых» элементов), определяется теми же условиями реконструкции, которые обусловливают и свойство абстрактности. Сама регулярность оказывается производной от наличного материала прусского языка в его, так сказать, теоретико-информационном аспекте: восстанавливается, «восполняется» только то, что «правильно», регулярно (т. е. выводимо по определенным правилам из известного материала).

Этот «абстрактный» и «регулярный» восполняемый язык в своей «восполненной» части апеллирует не столько к исторически засвидетельствованному прусскому языку, к которому, однако, он может быть предельно близок, сколько к идеализированному прусскому, тяготеющему в принципе к отрыву от реальной филологической и текстологической базы. Из сказанного вытекает, что «восполняющая» экспликация образует то средостение, которое связывает реконструкцию сравнительно-исторического типа с рекреацией, понимаемой как воссоздание во всей заданной полноте языка, исторически засвидетельствованного лишь частично. Такой язык, формируемый в результате рекреации и включающий в себя как реальное историческое наследие (конкретно зафиксированные тексты и лежащую за ними языковую систему), так и идеализированное «восполнение» недостающих элементов «исторического» языка, по необходимости двуприроден: он принадлежит в одной своей части и в одном из аспектов своего существования истории, поскольку он получен «восполнением» исторически реального и бесспорного ядра прусского языка, но в другой своей части в другом аспекте своего бытия он ориентирован на внеисторическое (или сверхисторическое) — как своей «восполненной» частью (см. выше), так и своим назначением — описывать принципиально новые внеположенные си-

туации, часть которых возникает только *после* того, как реальный «исторический» язык пруссов уже прекратил свое существование.

Исходя из сказанного, язык, возникший в результате рекреации, состоит из двух частей. *Первая* включает в себя несколько упорядоченное и «очищенное» ядро старопрусской языковой системы. *Вторая* часть состоит из элементов и отношений «восполненных» в результате экспликации незасвидетельствованных на материале, предоставляемом старопрусскими памятниками, элементов. При этом следует заметить двустороннюю зависимость «наличного» и «восполняемого»: последнее зависит от первого как от своего источника и без него невозможно; но и «восполняемое» в известной степени предопределяет, в каком объеме и в какой форме берется для подлежащего рекреации *новопрусского* языка старопрусский материал (в самом общем виде можно утверждать, что тем актуальнее для рекреации данный элемент старопрусского языка, чем «влиятельнее» он с точки зрения задач «восполнения» в количественном и качественном отношениях). Часть языка, образуемая «восполненными» элементами, неоднородна по отношению к критерию достоверности. Принципиально важно различать элементы, «восполняемые» *автоматически* и, следовательно, практически *бесспорные* с точки зрения языка (хотя и не единственные и даже не преимущественные по сравнению с другими возможными изофункциональными элементами), и элементы «восполняемые» *неавтоматически*, вероятность которых лишь *относительна* (неавтоматически «восполняемые» элементы всегда предполагают наличие некоей альтернативы, выбора, ситуации возрастания энтропии). Естественно, что эта последняя (неавтоматически «восполняемая») часть содержит в себе основные сложности и уже поэтому должна привлечь к себе основное внимание специалистов при попытках рекреации языка. Особая важность решения этой проблемы объясняется, в частности, тем, что сами источники, пути и способы восстановления этой части принципиально многообразны и разнородны; в отдельных случаях приходится выходить вообще за пределы прусского материала или — внутри его — принимать решения, чисто конвекционального характера.

Этот язык, программе рекреации которого посвящена вторая половина настоящей статьи, уместно называть *новопрусским*, а его самоназвание реконструировать в виде Stai Nauna prūsiska bila (сокр. — N. prūs.). Можно предложить и еще ряд названий новопрусского: лит. Naujoji pr*ūsų* kalba, лтш. Jaunpr*ūš*u valoda; русск. *Новопрусский язык*, польск. Język nowopruski, нем. Neuprußische Sprache (в соответствии с принятым в последнее время некоторыми специалистами различением Prußisch — прусский язык при Preußisch — немецкий диалект Пруссии), англ. Modern Prussian, франц. Le prussien moderne, эспер. la lingvo nova prusa, лат. Lingua borussica nova, греч.

ʼH *νεοπρουσική*, финск. Úuspreussilainen kieli, венг. Újporosz nyelv, арм. nor pruserel, груз. axali prusuli *ena* (не prusiuli!), арабск. al-*luġatu 'l-burūsiyya al-ğadīda*, ивр. *p(e)rūsīt haḥădāša*, хинди nav*prūšī bhāšā*, японск. kindai parotsuago и т. д.

Название «новопрусский» подчеркивает отличие этого языка от старопрусского (древнепрусского) или просто прусского. Конкретнее это отличие может быть описано набором двоичных противопоставлений, при оценке которых следует воздерживаться от излишней прямолинейности и, наоборот, помнить об аспекте потенциальности (по крайней мере для отдельных членов этих противопоставлений): новопрусский отличается от старопрусского как потенциальный язык от уже осуществленного (реального) языка, как искусственный (экспериментальный) от естественного, как реконструированный (сформировавшийся в результате рекреации) от наличного (данного), как открытый от закрытого, как полный от неполного, как регулярный (стандартизованный) от нерегулярного (нестандартизованного), как новый от старого, как живой от мертвого, как ориентирующийся на универсальность от узкоконфессионального.

Смысл и цель рекреации новопрусского определяются теми более общими задачами, в связи с которыми и возникает сама идея рекреации: лингвистическими, теоретико-информационными, культурно-историческими и нравственными. Рекреация новопрусского призвана прежде всего решить, поставить или проверить возможности решения целого рода важных л и н г в и с т и ч е с к и х проблем. Из них особенно существенны такие, как: восстановление дефектных парадигм имени и глагола, определение элементарных синтаксических конструкций, расширение словаря (в частности, за счет заполнения конкретным материалом наличных словообразовательных моделей); определение через «достройку» так называемой «полной» структуры языка в его синхронном состоянии (такая структура соответствовала бы идеализированному старопрусскому и представляла бы собой исходное состояние для новопрусского); установление направления развития старопрусского языка за пределы его реального существования по направлению к настоящему времени (тема «à la recherche de l'histoire perdue» и тема динамического аспекта — «язык в действии», осложненная необходимостью ее решения в вероятностном плане); выявление лингвистических источников как реконструкции, так и рекреации и т. п. Некоторые лингвистические проблемы связаны (или вытекают) с самой сутью эксперимента по рекреации новопрусского. Этот эксперимент с необходимостью выявляет и актуализирует некоторые, чаще всего игнорируемые исследователями аспекты старопрусского языка, в частности так называемые «cases vides» системы и проблему выбора, когда одной единице содержания соответствует более чем одна единица плана выражения и наоборот. В теоре-

тическом плане еще важнее сама глубинная зависимость между структурой эксперимента и структурой моделируемого им языкового состояния.

Другой круг задач, придающих смысл и определенную цель рекреации новопрусского языка, можно обозначить как теоретико-информационный. Необходимость решения проблемы перехода от неполного и нерегулярного старопрусского к полному и стандартизованному новопрусскому позволяет сделать важные выводы о характере зависимости между известными и неизвестными элементами и тем самым свести к минимуму энтропические явления, неминуемо возникающие при передаче информации во времени (старопрусский → новопрусский). Разумеется, что определение указанных зависимостей в синхронии (система старопрусского языка) и в развитии (история реальная и гипотетическая, являющаяся частью некоего мысленного эксперимента) оказывает большую услугу диахронической типологии.

Следующий круг задач, предопределяющих необходимость рекреации и, в свою очередь, зависящих от нее, определяется как культурно-исторический. В результате рекреации восстанавливается значительное количество языковых обозначений тех или иных элементов культуры древних пруссов и ряд фрагментов прусских текстов (мифопоэтические, юридические формулы, клише специализированных подъязыков и т. п.), расширяющих и углубляющих наши представления о духовной и материальной культуре пруссов. Кроме того, увеличение числа текстов (пусть разной степени достоверности), связанное с рекреацией новопрусского, приводит к тому, что все новые и новые фрагменты прусской модели мира начинают описываться не извне (на латинском, немецком, польском, русском и других языка, строго говоря, не созданных для описания именно прусского универсума и лишь с условной приблизительностью описывающих его), а изнутри, т. е. на своем собственном языке; который сам в конечном счете является составной частью прусской модели мира, не только ее отражающей, но и ее формирующей и в известной степени предопределяющей. При условии наличия новопрусских текстов (даже «условного» типа) культурно-исторического содержания исследователь в отдельных случаях вправе при решении сложных вопросов как бы отдаться на волю языка, внутренняя логика которого может вывести на правильный путь. При этом нередко оказывается, что, обретя свою прусскую форму, некоторые единицы содержания или целые их серии становятся достоверными (или более достоверными по сравнению с теми же единицами в иноязычной передаче). Так, например, немецкий текст ритуальной здравицы в адрес умершего (в разделе «Von den todten» из сочинения Иеронима Малетиуса), сочетающейся с элементами формулы плача, будучи переведенным на «условный» прусский, обнаруживает дополнительно свою стиховую природу: восстанавливается четырехстиховая строфа хореического

типа, благодаря чему выявляется значительное количество новой информации по сравнению с немецкой формой того же текста, а сама формула оказывается включенной в целый ряд ей подобных, ее контролирующих и мотивирующих.

Наконец, есть еще один смысл рекреации новопрусского, оправдывающий и вдохновляющий ее, — нравственный. В условиях утраты больших духовных ценностей, неумолимой автоматизации жизни, все больше отчуждающейся от своих собственных истоков, роста беспокойства, неуверенности и страха в разных местах современного мира, прежде всего в Европе, в последние десятилетия возникает ностальгическая тяга к прошлому с его действительной или мнимой органикой, соприродной человеку и человекособразной, к продумыванию альтернативных вариантов развития европейской истории, начиная со Средневековья, к возврату в той или иной форме к насильственно оборванному развитию культур и языков ряда народов, к признанию таких обрывов потерей не только для пострадавших и ушедших с исторической сцены, но и для уцелевших, для всех сознающих свое хотя бы частичное сиротство и обездоленность и к признанию своей ответственности и вины — исторической или личной — в этой потере. Та старая, давнишняя, до поры не осознаваемая вина оказывается тесно связанной с недавней, вчерашней, но живой и сегодня Nationalschuld. Гибель прусского космоса и острое сознание своей вины рождают желание сохранить в памяти утраченное, попытаться восстановить его, приобщиться к нему, сделав его и своим (другой, обратный вариант — художественные опыты «освоения» традиционным сознанием современной жизни во всей ее непривычности, ср. «Баллады Кукутиса» М. Мартинайтиса), тем самым открыв ему путь к новой посмертной жизни:

Dir
ein Lied zu singen,
hell von zorniger Liebe —
dunkel, aber, von Klage
bitter, wie Wiesenkräuter
naß, wie am Küstenhang die
kahlen Kiefern, ächzend
unter dem falben Frühwind,
brennend vor Abend —

deinen nie besungen
Untergang, der uns ins Blut schlug
einst, als die Tage alle
vollhingen noch von erhellten
Kinderspielen, traumweiten —

damals in Wäldern der Heimat
über des grünen Meers
schaumigem Anprall, wo uns
rauchender Opferhaine
Schauer befiel, vor Steinen,
bei lange eingesunknen
Gräberhügeln, verwachsnen
Burgwällen, unter der Linde,
nieder vor Alter, leicht —

wie hing Gerücht im Geäst ihr!
So in der Greisinnen Lieder
tönt noch,
kaum mehr zu deuten,
Anruf der Vorzeit —
wie vernahmen wir da
modernden, trüb verfärbten
Nachhalls Rest!
So von tiefen
Glocken bleibt, die zersprungen
Schellengeklingel —

Volk
der schwarzen Wälder,
schwer andringender Flüsse,
kahler Haffe, des Meers!
Volk
der nächtigen Jagd,
der Herden und Sommergefilde!
Volk
Perkuns und Pikolls,
des ährenumkränzten Patrimpe!
Volk
wie keines, der Freude!
wie keines, keines! des Todes —

Volk der schwebenden Haine,
der brennenden Hütten, zerstampfter
Saaten, geröteter Ströme —

Volk,
geopfert dem sengenden
Blitzschlag; dem Schreien verhängt
vom
Flammengewölke —
Volk des fremden Gottes
Mutter im röchelnden Springtanz

stürzend —
Wie vor ihrer erzenen
Heermacht sie schreitet, aufsteigend
über dem Wald! wie des Sohnes
Galgen ihr nachfolgt! —

Namen reden von dir,
zertretenes Volk, Berghänge,
Flüsse, glanzlos noch oft,
Steine und Wege —
Lieder abends und Sagen,
das Rascheln der Eidechsen nennt
dich
und, wie Wasser im Moor,
heut ein Gesang, vor Klage
arm —

arm wie des Fischers Netzzug,
jenes weißhaarigen, ew'gen
am Haff, wenn die Sonne
herabkommt.

(J. Bobrowski. Pruzzische Elegie)

В этом новом контексте не может быть признан случайным интерес к пруссам, засвидетельствованный в научных исследованиях, художественном творчестве и опытах воссоздания некоего подобия ушедших в прошлое форм жизни и языка пруссов как средства устного и письменного общения ограниченной применимости (в печати сообщалось о таких попытках, предпринимавшихся относительно замкнутыми группами лиц, возрождающих в новых более сложных формах руссоистские идеалы). Важно подчеркнуть, что с успехом этих попыток связываются ожидания психотерапевтического эффекта, который мог бы помочь отдельной личности или целому коллективу обрести душевную целостность и состояние нерасколотости сознания и органической простоты отношений между человеком и миром, его окружающим. Нельзя, конечно, игнорировать и другую сферу, в которой происходят частичное «оживление» прусского и его актуализация через использование этого языка (разумеется, в очень ограниченных рамках), в так называемых «малых» жанрах — посвятительные надписи (дедикации), здравицы (устная форма), поздравления, письма и т. п. Во всяком случае, можно констатировать формирование определенных условий для того, чтобы использовать «условный» прусский язык для нужд «квазинаучного» (экспериментального) общения специалистов между собой.

В этой ситуации представляется вполне своевременным обращение к постановке задачи конструирования новопрусского языка, осуществляе-

мого сознательно, целенаправленно и в соответствии с уровнем научного исследования прусского языка. Такая задача, говоря в общем, предполагает на первом этапе решение трех вопросов: 1) определение источников рекреации новопрусского языка (отчасти об этом см. выше; другие соображения на этот счет см. далее в связи с программой конструирования отдельных уровней системы этого языка); 2) составление проекта программы рекреации новопрусского языка по уровням (фонетика, грамматика, лексика, графика); 3) составление конкретных текстов на новопрусском языке, отражающих по возможности разные жанры. Ниже следуют некоторые предварительные предложения, которые в случае их одобрения могли бы послужить основой для последовательной рекреации новопрусского языка.

Прежде всего, конечно, уместно заняться формированием плана выражения новопрусского языка — графики и фонетики. Зависимость первой от второй не фатальна, но весьма существенна; кроме того, важность определения фонетического состава приобретает самостоятельное значение в случае устного общения на новопрусском языке, которое, хотя и не может, видимо, планироваться как основная или даже вполне равноправная форма существования новопрусского, тем не менее имеет прецеденты в этикетном использовании прусского языка (приветствия, элементарные вопросы и ответы, формулы вежливости, благопожелания, тосты и т. п.) и, следовательно, некоторые перспективы расширения. Наконец, не следует забывать, что подлежащие восстановлению новопрусские тексты в принципе должны допускать их устное прочтение. Именно поэтому первой задачей в серии работ по рекреации новопрусского является установление звукового состава этого языка (набор гласных и согласных, определение просодических элементов: долгота—краткость, ударность—безударность, следы интонационных отношений и т. п.). Разумеется, данные фонетики, как они восстанавливаются на основании наличных прусских текстов и отдельных слов, служат главным источником при установлении звукового состава новопрусского языка. Вместе с тем при выработке «литературной нормы» с этими данными старопрусской фонетики как раз и связаны наибольшие трудности, которые подлежит решить или — в определенных случаях — устранить вообще, прибегнув к конвенциональным решениям (правда, последние уместны только при невозможности решить спорный вопрос по сути дела). Эти трудности связаны чаще всего с диалектными различиями между самландским (самбийским) и помезанским диалектами прусского языка. При этом речь идет не только и не столько о различиях в составе звуков в этих диалектах, сколько о разных (исторически) отражениях одних и тех же исходных звуковых единиц, во-первых, и, возможно, во-вторых, о несколько различных в. каждом из диалектов характеристиках «одних и тех же» звуков

(во всяком случае, подлежащих передаче общими для обоих диалектов графемами). Предварительно следует заметить, что предпочтение при конструировании единиц фонетического уровня должно быть оказано самландскому диалекту: именно на нем написаны все три катехизиса, которыми практически исчерпываются связные тексты на прусском и которые доставляют огромную часть всех имеющихся в нашем распоряжении сведений об этом языке; в большей части случаев самландский диалект лучше сохраняет старую балтийскую языковую структуру, и в этом смысле его данные более «прозрачны»; лучшая сохранность самландского диалекта, занимающего часть непрерывного балтоязычного ареала и вместе с тем лучше изолированного от иноязычных влияний, чем помезанский диалект, как и ряд соображений исторического и культурного характера, лишний раз подчеркивают целесообразность ориентации на этот диалект (естественно, что при таком выборе значительная часть помезанских фактов должна быть подвергнута операции «самбизации» на фонетическом (иногда и морфологическом) уровне, хотя нельзя исключать, что в отдельных случаях придется использовать помезанские варианты — или по необходимости, когда они единственны, или в силу того, что они будут признаны более соответствующими формируемой искусственно звуковой системе новопрусского).

Другая трудность при звуковой кодификации новопрусских словоформ состоит в том, что в пределах только самландских текстов (или даже в пределах одного и того же текста) существует определенная в а р и а т и в н о с т ь на фонетическом уровне, объясняемая самыми разными причинами: неполная сбалансированность (унифицированность) с точки зрения исторического развития тех или иных языковых фактов; разные принципы филологического и текстологического построения катехизисов, включая сюда различия в уровне переводческой техники (ср. «полемичность» языка, в частности фонетической формы слова, Катехизиса II по отношению к Катехизису I); наконец, просто естественное стремление к разнообразию, с одной стороны, и столь же естественные ошибки и непоследовательности — с другой. Третью категорию трудностей при установлении звуковой формы новопрусских словоформ составляют случаи, связанные с непоследовательностью или хотя бы частичной двусмысленностью г р а ф и ч е с к о й формы записи, представленной в прусских текстах, с точки зрения задачи обнаружения за данной графической формой ее звукового эквивалента. По выполнении названных выше задач результаты работы целесообразно представить в виде ф о н е т и ч е с к о й транскрипции всех прусских словоформ (как засвидетельствованных в старопрусских текстах, так и «восполненных» и реконструированных в статусе новопрусских). Основное требование к фонетической транскрипции — ее стандартность во всех более или менее ясных ситуациях (в неясных

случаях, когда такая транскрипция не может быть автоматической или когда принимается «иключительное» решение, требуется специальная мотивировка того или иного выбора). Менее важны требования, связанные с более подробной детализацией звукового вида слов, хотя для «устного» варианта новопрусского существенны указания таких признаков, как палатализованность, лабиализованность, долгота, ударение, типы сандхи и т. п. Тем более важны такие указания для специализированных «научных» транскрипций, решающих одну из двух задач, — максимально точная акустическая характеристика или опыт фонематической записи. Практически, однако, достаточны выработка принципов «условно»-фонетической записи и полное проведение их на всем объеме материала. Наличие формы такой «условно»-фонетической записи позволило бы простейшим образом решить вопрос выработки графической формы записи, которая могла бы достаточно полно, последовательно и просто ориентироваться на эту «условно»-фонетическую форму. При обсуждении частностей графической формы фиксации, видимо, следовало бы учесть опыт графической системы восточнобалтийских языков (способы замены двух-, трехграфемных сочетаний, передающих один согласный звук в прусских текстах, через одну графему с введением диакритики, обозначение палатализованных согласных, долготы и т. п.).

Другие проблемы выступают на первый план в связи с программой, предусматривающей создание (и описание) новопрусской морфологии. Прежде всего необходимо определение морфологического пространства имени и глагола, для чего потребуются, во-первых, установление списка всех грамматических категорий новопрусского и, во-вторых, выявление всех видов сочетания этих категорий друг с другом (граммем), благодаря чему выявляется структура абстрактной парадигмы (имени, глагола, местоимения). Однако для синтезирования конкретных словоформ нужна информация о принадлежности данного слова к тому или иному типу основ, о том, какие флексии обслуживают в данном типе основ подлежащую синтезированию граммему (в ряде случаев необходимы и более специальные знания, например, о морфологическом виде основы слова в данном месте парадигмы). Программа должна уделить особое внимание некоторым особенностям, вытекающим из конкретных условий истории прусского языка в XVI в. (когда морфологическая система впитала в себя ряд элементов чужеязычной системы) и из обстоятельств фиксации прусского языка в письменных текстах. Преодолевая соблазны более глубокой реконструкции, следует рационально устранить, например, сложность, связанную с рекреацией значительного количества глагольных форм, относящихся к косвенным наклонениям. В сфере склонения имени предстоит определить границы употребления формы Acc., обнаруживающего тенденцию к частичному превращению в замену Dat. и

обобщению, ср.: en dangon 'в небе' (при en mattei, Dat.) или en schan madlan, en maian krawian, en stan buttan и т. п. Несомненно, нужен ряд уточнений в области синтаксических значений падежных форм (то же относится к размежеванию некоторых модальных форм глагола). Результаты рекреации морфологической системы новопрусского могли бы быть представлены в виде перечней категорий и образуемых их сочетанием граммем; списков всех типовых парадигм грамматической информации при каждом изменяемом слове (тип основ и т. п.); указаний исключений и особых замечаний. При постановке задачи рекреации новопрусской морфологической системы в достаточно полном виде неизбежно обращение к сфере типологических импликаций, с одной стороны, а с другой — к конкретным морфологическим системам родственных языков, прежде всего литовского и латышского, но также и некоторых славянских (например, кашубского, серболужицких), оказавшихся отчасти в сходных условиях (наличие сильного немецкого влияния); в известной степени сюда же относятся и некоторые говоры балтийских языков, подвергшиеся аналогичному воздействию (ср. говоры Клайпедского края).

С и н т а к с и ч е с к а я программа должна предусмотреть ответы на такие вопросы, как порядок членов в элементарных синтаксических конструкциях, порядок слов во фразе, способы связи в предложениях сложноподчиненного типа, не говоря уж о многочисленных более частных темах. Поскольку синтаксическая зависимость прусских текстов от соответствующих немецких очень значительна, возникает задача «восполнения» синтаксического репертуара путем некоторой «балтизации» (речь идет о стандартизации отдельных видов абсолютных конструкций, введении ряда синтаксических идиоматизмов, решении некоторых вопросов синтаксической семантики и т. п.). Естественно, что аналогии с синтаксическими особенностями литовского и латышского языков и в этом случае должны сыграть значительную роль в формировании синтаксической структуры новопрусского языка. Практически, однако, в первых опытах рекреации новопрусского и создания новопрусских текстов допустимо использовать «неполный» и несколько обезличенный в отношении языкового типа синтаксис. Дальнейшая специализация и прогресс в этой области в известной степени связаны с разработкой разных видов новопрусских текстов исследованием глубинных синтаксических структур в живых балтийских языках.

Особое место в программе должно принадлежать л е к с и к е. Специфика старопрусского словаря (тематически узкий круг лексики, определяемый характером текстов — все три текста представляют собой катехизис; «предметная» ориентация прусских словариков и т. д.) в очень значительной степени ограничивает возможность конструирования текстов на старопрусском языке, выходящих за пределы религиозно-практической и церковно-учительной те-

матики. Во многих случаях обнаруживается нехватка важных слов (например, в сфере глагола, прилагательного и т. п., экспрессивных слов). В других случаях слова известны, но они фиксируются лишь в каком-нибудь одном значении и к тому же оказываются включенными в специфические контексты, что нередко препятствует восстановлению семантической структуры слова в ее хотя бы приблизительной целостности. Если учесть, что опыт рекреации новопрусского может оказаться успешным лишь в том случае, если удастся преодолеть закрытость языка за счет композиции новых текстов (причем их увеличение должно предполагать освоение новых тем, новых жанров, новых стилей), то становится ясным, что именно от решения лексической проблемы в первую очередь зависит весь эксперимент рекреации. Роль других уровней языка в этом смысле менее значительна, учитывая, что уже старопрусские данные обеспечивают нас в принципе удовлетворительным знанием состава звуков и набора грамматических единиц, количественно исчислимых, ограниченных относительно небольшим числом и представляющих собой закрытые множества. Поэтому именно в связи с лексикой особенно остро встает вопрос об источниках ее расширения. Выше указывалось на определенную роль в этом отношении реконструкций апеллятивов по топономастическим данным, прутенизмам в соседних языках и в субстрате и т. д. Тем не менее в целом эти источники не могут удовлетворить потребностей текстов, без которых не может быть и речи о полноценной рекреации новопрусского языка. Следовательно, возникает вопрос об использовании внешних по отношению к прусскому языку источников. Именно здесь выход за пределы внутренних ресурсов особенно бросается в глаза, а отклонение новопрусского от старопрусского («лексический» разрыв между ними) оказывается не только наибольшим по сравнению с другими уровнями, но и потенциально возрастающим неограниченно. Это последнее обстоятельство теоретического характера задает некий практически целесообразный предел идеальному словарю новопрусского языка, хотя само понятие целесообразности может получать разные интерпретации.

Согласно одной точке зрения, количество слов, «восполненных» на основании внешних (и, в частности, условных) источников, не должно превышать число слов, известных из старопрусских текстов или надежно восстанавливаемых по другим внутренним источникам. В противном случае есть риск такого «разжижения» собственно прусской лексики, при котором нарушается разумный баланс своего и чужого и весь эксперимент рекреации ставится под удар: во всяком случае, он становится малоэффективным уже в силу того, что обилие внешних, в принципе условных элементов лишает текстовые реконструкции их о б ъ я с н и т е л ь н о й силы (объяснительная же функция подобных реконструкций должна служить своего рода контролем их и, более того, их оправданием).

Согласно другой точке зрения, предполагающей несколько иную установку, количество рекреированных слов на основании внешних источников может быть сколь угодно большим и определяется исключительно практическими потребностями. При всем различии этих точек зрения р е а л ь н о на первом этапе рекреируется относительно ограниченное число лексем. От степени обоснованности их зависит многое и при переходе к последующим этапам лексической рекреации. В силу сказанного к расширению прусской лексики за счет внешних источников необходимо подойти с максимальной осторожностью и особым чувством ответственности. Видимо, целесообразно постепенно (и при этом лишь в случае крайней нужды) наращивать такой «внешний» словарь и не стараться доводить его до теоретически мыслимого предела. В известной степени условно можно было бы на первом этапе ограничиться сотней—двумя слов балтийского происхождения и примерно таким же количеством интернациональных лексем. В обоих случаях главным источником и ориентиром должны стать литовский и латышский языки (в некоторых случаях допустима рекреация на базе славизмов, особенно в случае, если соответствующие славизмы есть в восточнобалтийских языках и/или они являются характерной чертой лексики ареала, включающего историческую территорию прусского языка). В ситуации, когда есть необходимость восстановить некое слово, отсутствующее в прусском, возможность такого восстановления определяется соотношением фактов в восточнобалтийской лексике. Предпочтение должно оказываться тем реконструируемым как «новопрусские» лексемам, которые поддержаны с о в п а д а ю щ и м и словами в литовском и латышском (дополнительное преимущество, когда к этому единству подключаются и славянские соответствия). Точно так же более надежными следует считать те восстановленные по внешним источникам лексемы, которые хотя бы в отдельных своих словообразовательных элементах (префикс, суффикс) подкреплены прусскими аналогиями. Наконец, в случае полного расхождения между производными лексемами литовского и латышского языков можно обратиться к славянской деривационной модели или даже к славянской корневой реконструкции (ср. лит. palikuonis, лтш. pēctecis /нем. калька/: н.-прусск. pansdaunīkis в соответствии с слав. *potomъkъ). Возможно, что прогресс в области лингвистической географии (ср. «географию слов»), отраженный в созданных или создаваемых лингвистических атласах литовского, латышского, кашубского, польского, белорусского, в диалектографических исследованиях немецких говоров бывшей Восточной Пруссии и т. п., настолько расширит наши представления о лексической структуре данного ареала, что в распоряжении исследователей окажутся новые дополнительные критерии, если не надежности, то, во всяком случае, правдоподобности или лингвистической целесообразности предлагаемой «внешней» рекреации но-

вопрусских лексем. Разумеется, и в случае формирования фонда необходимой лексики интернационального типа, без которой невозможно составление многих видов новопрусских текстов современной тематики (политика, наука, философия, техника, отчасти сфера социально-экономических отношений, многие аспекты современной жизни и т. д.), придется исходить из опыта соответствующей лексики в литовском и латышском, а отчасти и польском, немецком и т. п.

Результаты, достигнутые в формировании новопрусской лексики, могли бы быть изложены в ряде словарей и специальных словарных списков. Особая нужда существует в составлении двух словарей — максимально расширенного новопрусского (с указанием типов лексем с точки зрения источников их рекреации) и иностранно (литовского, русского, немецкого и т. п.) -новопрусского словаря, который включал бы в себя, с одной стороны, все слова (понятия), которые имеют прусский перевод, и, с другой — некий минимум слов, для которых в новопрусском словаре нет соответствий и которые восстанавливаются по внешним источникам с большой степенью условности. Для лучшей обозримости и в целях удобного обсуждения эти последние (лексемы конвенционального типа), как и слова интернационального характера, уместно представить и в выделенной форме (например, в виде отдельных списков). Полезны и списки слов, распределенные по грамматическим классам слов, внутри которых лексемы были бы организованы по семантическому принципу. Наконец, особого выделения заслуживают списки слов (понятий), подлежащих «восполнению» в новопрусском. Каждое из таких слов, для которых необходимо найти новопрусский перевод, могло бы стать поводом для своего рода лексического конкурса. По мере прогресса в области расширения новопрусского словаря, несомненно, возникнут и более специальные задачи, связанные, например, с формированием фразеологических сочетаний, идиоматизмов, специфических формул, синонимических рядов и т. п.

Из вышеизложенного следует, что результатом (причем наиболее сильным и единственно достаточным) рекреации новопрусского языка и одновременно лучшим оправданием ее могут быть реконструкции новопрусских т е к с т о в. С известным основанием можно утверждать, что рекреация языка делает возможным порождение текстов и сама живет ими. Поэтому программа рекреации новопрусского с неизбежностью приводит к постановке вопросов о том, какие тексты на этом языке могут быть воссозданы, какие тексты было бы желательно восстановить, каковы источники рекреации новопрусских текстов, каковы критерии надежности и целесообразности подобных текстовых рекреаций. В более отдаленной перспективе не может не возникнуть и еще один вопрос — о типологии жанров новопрусских текстов.

В настоящей статье эти вопросы могут быть затронуты только частично, а соображения по их поводу излагаются в самом кратком виде.

Наиболее достоверно и просто воссоздаются прусские тексты религиозного содержания, поскольку налицо источник такой реконструкции — катехизисы. В случае таких рекреаций (об их надежном ядре см. выше) результаты оказываются отнесенными практически равным образом и к старопрусскому, и к новопрусскому. Именно в этих случаях старопрусское и новопрусское выступают в их неразъединенности как две реализации единого целого (эта ситуация, возникающая на материале текстов, имеет аналогии и в связи с языковой структурой, в рамках которой также выделяется общая часть, характеризующая старопрусское состояние и одновременно полагаемая в основу новопрусского). Конкретно, кроме собственно катехетических текстов, доступны реконструкции, в основном «восполняющего» типа, и другие разновидности религиозных текстов, относящихся к христианской конфессии. Особенно реальна задача реконструкции текстов проповеднического характера (слой, отчасти намечаемый внутри катехетического жанра) и текстов, представляющих собой перевод евангельских фрагментов (в частности, содержащих относительно простые сюжетные схемы, как, например, в некоторых притчах). Не меньшие основания существуют для перевода известных молитвенных текстов, поскольку прусские катехизисы (как и фрагменты типа ToweN^{e}u∫ze k^{o}aß e∫∫e andangon∫^{e}vn ∫wyntin∫ или sta nossen rickie, nossen rickie) содержат в себе часть типовых блоков, из которых производится монтаж молитв или отдельных их частей. Но есть некоторые основания для реконструкции текстов, так или иначе связанных и с прусским язычеством, в частности отдельных ритуальных формул. В качестве источника реконструкции могут быть названы разрозненные прусские фразы, приводимые Иеронимом Малетиусом и включенные в немецкоязычное описание ритуалов (ср.: Ocho m*oy* myle Schwante panicke; Kellewe∫ze perioth, Kellewe∫ze perioth; trencke, trencke; Geygey begeyte pockolle и др.). В ряде случаев исходным пунктом реконструкции оказываются немецкие версии прусских ритуальных формул (призываний, молитв и т. п.). В другом месте была предпринята попытка восстановления прусского текста ритуального обращения к покойнику на основании фрагмента из сочинения того же автора (главка «Von den todten»): Ein itzlicher trincket dem todten zu vnd spricht: kayls naussen gingethe, ich trincke dir zu, unser freund; warumb bist du gestorben? hastu doch dein liebes weib, dein vich, deine kuhe? reimens alles herfür («Wahrhaftige Beschreibung der Sudawen auf Samtand...»). Число таких фрагментов можно значительно расширить; ср. в том же сочинении: So vmbfahen sie die Braut vnd sprechen: O how mein liebes freundichin muhe dich nicht so harte, sihe dein bleslin möchte der zubersten, das

du nicht tuchtig werdest deinem manne; — Wenn er dann zu drei malen vmb den wagen so sprichter: Wie du hast In dem hause deines lieben vaterlins vorwaret dein fewerlin, also wirst du auch thuen, nu es dein aigen sein wirdt vnd schencket der Braut; — Der sehet vber die braut vor allen thuren vnd spricht: Vnser götter werdens dir alle genüge geben so du wirdest an vnserm glauben bleiben vnserer veter; — ...sprechende: die meidlin, die du tregest, sein von deinem fleische; bringest du ein menlin, so ist deine Jungfrawschafft aus («Von jren Sponsalien vnd vorlubnissen»); — ...sihet gen himmel, hebt seine hende auff vnd spricht; O du mechtiger Gott des himmels vnd des gestirnes, durch deine krafft vnd macht gebeut deinen knechten auff das dir deine Ehre nicht entzogen werde, das dieser Dieb nicht möge Rast noch Ruhe haben, es sei dann, er komme wider vnd bringe was gestolen ist; — ...spricht: Sihe sein das nicht feine schöne wort von Gott, noch mussen wir vorhönet vnd vorspottet werden, vnd man wirdt vns darumb brennen, drewen vns zu thörmen. Nu hastu einen solchen fehl oder schelungen, ist das nicht gut, das ich dir hulffe thue mit Gottes worten? Den Menschen geschicht zum Besten, das diebe gestrafft worden vnd Gott zu Ehren («Ist imands bestolen»). Весьма полезными могут оказаться попытки новопрусских переводов сходных по типу фрагментов из «Deliciae Prussicae» М. Преториуса; ср., например: Nein, sprach er, es stecket in dieser Eichen ein heiliges Feuer...; — Die Eiche, sprach er, gehöret dem Perkunas; Gott wirdd ich strafen, so du sie anrührest (Кар. VI, § 4) и др. В конечном счете к этому же кругу относятся и ритуальные здравицы, восстановлению текстов которых способствуют сохранившиеся следы их в текстах, описывающих обычаи старых пруссов, ср.: Kaileſs noussen gingis (см. выше); Kayles poſkayles enis perandros (из Иеронима Малетиуса) и новооткрытый базельский текст (Kayle rekyſe...). Наконец, в качестве источника реконструкции может быть использована и запись прусской поговорки аллитерированной формы (Dewes does dantes, Deves does geitka).

Перечисленными примерами, собственно и ограничиваются возможности такой реконструкции прусских текстов, при которой связь с действительным прусским субстратом сохраняется — или с его языковой формой, или по меньшей мере с точным его смыслом. За этими пределами открывается довольно широкая область композиции новопрусских текстов, при которой связь с конкретными источниками на прусском языке или не может быть до-

казана (хотя есть основания думать о существовании прусских текстов соответствующего типа, позже утраченных), или вообще маловероятна, или, наконец, полностью исключена. К первой категории могли бы относиться композиции прусских фольклорных и мифологических текстов (ср. собрание немецкого фольклора, особенно сказочного, из Восточной Пруссии или схемы прусских мифов и ритуалов, частично восстанавливаемые по описаниям прусской языческой мифологии в сочинениях старых авторов; отчасти существуют основания для реконструкции некоторой части прусских текстов паремиологического жанра). Ко второй категории случаев следует отнести композиции текстов, которые, строго говоря, не имели реальных предшественников в старой прусской традиции, хотя, несомненно, существовали или могли существовать некие устные заготовки по соответствующим темам. К таким потенциальным текстам могли относиться композиции, описывающие жизнь древних пруссов — окружающий ландшафт, быт, хозяйство, занятия, семью, социальные отношения, обычное право, географию Пруссии и смежных территорий, отдельные исторические события, ставшие частью устного предания. В некотором смысле субстратом таких композиций можно было бы считать отрывки из описаний пруссов у Дюсбурга, Грунау и ряда других историков, с одной стороны, и имеющиеся в науке этнографические описания (с XVII в.) населения прусских земель, ориентирующиеся на наиболее архаичные и устойчивые признаки крестьянского патриархального быта — с другой. К третьей категории относятся тексты-композиции, которые принципиально не могли существовать у пруссов уже в силу их ориентации на реалии, темы и жанры «послепрусской» эпохи. Речь идет в данном случае о возможности предельно независимых от прусских реалий композиций текстов «научного» типа, попыток переводов на новопрусский язык разных текстов (прежде всего исторических и художественных, посвященных пруссам); сочинения писем, записок, дарственных надписей на книгах и т. п. Разумеется, эти последние композиции не могут не носить чисто экспериментального и весьма условного характера. В них акцент ставится на языковые возможности моделирования некиих смыслов, а не на проблему реальности таких текстов в прусской традиции. Естественно, что каждая из названных категорий формируемых новопрусских текстов преследует свои особые цели и, в частности, поэтому заслуживает дифференцированной оценки. Ниже следует несколько таких экспериментальных композиций новопрусских текстов (см. Приложение).

Начиная этой статьей публикацию ряда опытов по рекреации новопрусского языка, авторы рассчитывают на обсуждение выдвигаемых проблем специалистами в области прусского и балтийского языкознания [1].

Приложение

Тексты на новопрусском языке

1. Pater Noster.
Nūsan Tawa ēndangun,
Swintints wirsei Twajs emmens,
Perēisei Twajs rīks,
Twajs kwājts audasei sin
kāgi ēndangun, tīt dīgi nōzemei.
Nūsan deininin geiten dais nūmans šandeinan
be etwerpeis nūmans nūsan āušautins
kāigi mes etwerpimai nūsan aušautenīkamans,
be ni wedais mans en bandasenin,
sklāit izrānkais mans eze wārgan.

2. Ave Maria.

Kails Marija, etnīstis pilnai, Rikīs sen Tebei. Tu pagirta sirzdau genans be pagirts Twajas kērmenes wēisis Īzus. Swinta Marija, Deiwas Mūti, madleis pērmans grīkenikans teinū be en kīsman nūsas galas.

3. Eze Ebangeljan Swintas Jānas pagan, VI, 26—66.

«Arwiskai gerdauj jūmans: laūkati men ni stese pagan, kai widāiti zentlens, sklāit stese pagan, kai geīten īditi be wīrtaiti sātwintai. Jūsgi tikinaiti ni landan nīxtantin, sklāit landan, palīnkantin en prābutskai gīwen, kawīdan wīrst jūmans dawuns Zmunentes Sūnus, begi tenan ebzentliwuns Deīws Tāws». Tadan tenesmu bilāja: «Kagi segītun, kai enstenglimai Deiwas dīlans?» Īzus ettrāja: «Sta ast Deiwas dīla, kai druwīliti enstan, kan Tāws ast pertenginuns». Tenei etkūmps bilāja: «Kawīdan zentlen tu tikina, kai mes izwidlimai be endruwīlimai? Nūsan tawai īdusis en paustrei manan, kāigi ast peisātan: Tāns dāja tenēimans geīten iz dangun». Tadan Īzus gerdau: «Arwiskai gerdauj jumans: ni Mūzi dāja tenēimans geīten iz dangun, sklāit majs Tāws dast jūmans tikran dangus geīten. Deiwas geītis ast, kas trepa iz dangun be dast gīwen stesmu swītan». Tenei bilāja: «Rikī, dais nūmans ainat stese geitis!» Īzus ettrāja: «As asmai gīwis geītis. Kas ēit prēimen, ni izalkst, be kas druwēj en men, ni izsaust. Sklāit as jūmans gerdauj: jūs widāiti me be ni druwēiti. Visai, kans Tāws menei dast, perēit prēimen be perēinantin prēimen as ni etkūmpina. As asmai autrepuns iz dangun ni swajan kwāitan izpilnintun, sklāit kwāitan stesei, kas pertenginuns men. Be majas Pertengewingis kwāits ast, kai as ni izmaitinlai ni aīnan ezestan, kans Tāns menei dāja, sklāit etskīnlai en pansdaumanei dēinan. Sta ast majas Tāwas kwāits, kai erains, kas wīst Sūnun be druwējadin, turīlai prābutskan gīwen, stese pagan as tenan etskīna en pansdaumanei dēinan». Tadan žīdai murau, kai tāns gerdau «As asmai geītis autrepuns iz

dangun», be bilāja: «Anga tāns ni Īzus, Jūzapas sūnus? Anga mes ni zinimai tenese tāwan be mūtin? Kāigi tāns mazi gerdaut «As asmai autrepuns iz dangun»? Īzus tenēimans etträja: «Austaiti sirzdau sebei murawuns! Niainunts ni perēit prēimen, ikai Tāws, kas ast pertenginuns men, tenan ni patēnse, be tenan as etskīna en pansdaumanei dēinan. Ast peisātan eze prawaistnīkans: «Wisai wīrst mukinamai eze Deiwas». Kas izkirdāja iz Tāwan be pamukinājasin, perēit prēimen. Ni stese pagan, kai kas būlai Tāwan wīduns — ter kas ast eze Deiwas, tāns wīduns Tāwan. Arwiskai gerdauj jūmans: kas druwēj ēnmen, turēj prābutskan gīwen. As asmai gīwis geītis. Jūsan tāwai īdusis manan en paustrei be auliau. Sklāit stwi šis geītis ast pertenginuns iz dangun, kai, kas wīrst tenan īduns, ni auliaūlai. As asmai gīwans geītis pertenginuns iz dangun. Kas wīrst īduns stan geītin, wīrst gīwuns prābutskan. Geītis, kan as wīrst dawuns, ast majs kērmens per swītas gīwen». Tadan žīdai rīgau sirzdau sebei be prasī: «Kaigi tāns mazi dātwei nūmans īst swajan kērmenen?» Ainawīdi Īzus waitiāja: «Arwiskai gerdauj jūmans: ik jūs ni wīrst īduns Zmunentes Sūnus kērmenen be ni wīrst pujawuns tenese krāujan, jūs ni wīrst turēwuns ēnsen gīwen. Kas īst majan kērmenen be puje majan krāujan, tāns turēj prābutskan gīwen be as tenan etskīna en pansdaumanei dēinan. Majs kērmens ast arwiskai īdis be majs krāujs ast arwiskai pūwis. Kas īst majan kērmenen be puje majan krāujan, stas palīnka ēnmen be as en tenesmu. Kāigi men ast pertenginuns gīwans Tāws be as gīwa pra Tāwan, tīt ir tāns, kas men īst, wīrst gīwuns pramen. Stwi ast geītis pertengununs iz dangun. Tāns ni ast, kai stas, kan īdi jūsan pratāwai be auliau. Kas wīrst īduns šen geīten, wīrst gīwuns prābutskan». Sta wisa tāns augerdau, mukinans en Kaparnaumas sinagugai.

Sta izkirdusis, tūlsenis tenese maldaisan gerdau: «Drūktai ast tenese wīrdai, kas mazi klausītwei stawīdans!» Tzus, waidans, kai maldaisai murauj pērstan, prasī: «Sta wargina wans? Ader kas būlai, ikai izwidlitai Zmunentes Sūnun unzeitrepantin stwen, kwei tāns bē angsteinis? Nōseilis dast gīwen, sklāit kērmens ni dast ni ka. Wīrdai, kans as jūmans bilīwuns, ast nōseilis be gīwi, ader dezns eze wans ni druwēj». Begi Īzus iz pagausenin waidāja, ir kas ni wīrst druwēwuns, ir kas wīrst tenan prawīluns. Tāns daber gerdau: «Stwi kese pagan as jūmans gerdau: ni ainunts ni perēit prēimen, ik tenesmu ni wīrst būwuns datan eze Tāwas». Iz tadan ni likut tenese maldaisan autēnsejasin be niau neikau sen tenesmu.

4. Фрагмент плача в стихотворной форме (пер. из гл. «Von den todten» сочинения «Warhafftige beschreibung der Sudawen auff Samland sambt ihren Bockheyligen vnnd Ceremonien», 60-е годы XVI в.).

Kails nūsan gingiti!
As puje pērten, nūsan gingi!
Kespagan tu auliawa —
Milan genan anga nitur?
Anga nitur swajan peku?

Anga nitur swajan klintin?

5. Возглашение из описания прусского ритуала (перевод).

O Tu, warewingis Deiwa dangus be lauksnan, kas ast pra Twajan waren pateikutai Twajmans waikamans, ni būsei autēnsta Twaja teisi, šis rangīks niturei negi atdwīsin, negi pakajan! Būsei pansdau, kai tāns perēilai etkūmps be perpīdlai, kan ast rangtan!

6. Из письма.

…šis malnīkiks vūkavi mans enēitun pra stan vartan, sklāit eraina varta veda en Pragūbtin. Stai Pragūbtis ast izvinpaus kērdas, stese pagan stāi ast eksistencisku faktis, ainunts faktis, kas realiskai eksistai. Ergo: Pragūbtis emens ast Prestis.

Aber ainunts, kas izmaitina pavīstins, kai stai ni virsei en faktans, ast vārgan = eksistencijās labas nibūtiskāi. Jau stāi nibūtiskai ast stīnsna be stīnsna ast labas kompensācija = upera.

Stese pagan Prestis emens ast Izpirksenis = Rekreācija (!) kaigi majun be tvajun stangun be stīnsnun (plg. slavun *страд*a!) upera en visamuzīngai deivūtiskai visun atsklāitun uperun Suman, kas segē stans uperans izperkantans. Stai Suma ast Īzus Christus, kas gema numans šan deinan be visadan.

Stese pagan krikstijānista ni ast religija, sklāit majās be tvajās gīvatun deininiskā eucharistijās upura na ainuntan historiskan Golgotas skrīzin.

Pakāi Jūmans, visamans labas kvaitas zmūnentimans be visamans kitamans!

Laimīngan Naunan metan! ...Erains Nauns metis pīslai mans en tūls be tūls laimīngan be teisīngan Pragūbtin!...

7. Из грамматики новопрусского языка.

Eze naunaprūsiskan gramatikan

En naunai prūsiskai bilan ast keturas lankīsnas — nominatīws, genitīws, datīws be akuzatīws, dwai gīrbei — ainrekensnis be tūlrekensnis, be tres gimtas — wīriska, geniska be nikatra. Substantīwan be adjektīwan deklinācia ast keita be mingsta. Sen prepōzicjans ast prawartinama akuzatīwas forma, ikai tenei ni waidina atsklaisenin sirzdau inesīwiskesmu be alatīwiskesmu auzentlins. En inesīwiskesmu āuzentlen prawartinama datīwas forma ader substantīwas, ikai stas ēit aīns, ader ter adjektīwas, ikai substantīws sendāts sen adjektīwu.

Wīriska gimta

labs wīrs (geītis, dāntis, kērmens, sūnus)

labas wīras (geitis, dantis, kērmenes, sūnus)

{ wīru (geītei, dāntei, kērmenei, sūnu)

{ labesmu } wīran (geīten, dāntin, kērmenen, sūnun)

laban }

labai wīrai (geītei, dāntis, kērmenis, sūnus)
laban wīran (geīten, dāntin, kērmenen, sūnun)
wīramans (geītimans, dāntimans, kērmenimans, sūnumans)
labamans } wīrans (geītins, dāntins, kērmenins, sūnuns)
labans

Geniska gimta
laba gena (gīwi, nautis)
labas genas (gīwis, nautis)
genai (gīwei, nautei)
labai } genan (gīwen, nautin)
laban
labas genas (gīwis, nautis)
laban genan (gīwen, nautin)
genamans (giwīmans, nautimans)
labāmans } genans (gīwins, nautins)
labans

Nikatra gimta
laban azaran (medu)
labas azaras (medus)
azaru (medu)
labesmu }
laban azaran (medu)
laba azara (medu)
laban azaran (medu)
azaramans (medumans)
labamans } azara (medu)
laba

Verbs zina āugerdin, kērdan, persōnan, gīrben, diatezin, aspektan.

Āugerdis ast indikatīws (trepa), konjunktīws (treplai), optatīws (trepsei) be imperatīws (trepais).

Kērdas ast presenss (weda, bilāj), preterits (wedāja, bilāja), be futūrs (perweda: wīrst weduns, pabilāj: wīrst bilīwuns).

Persōnas ast tres be dwai gīrbei:

weda (gēide, zina, waitia, druwēi)   wedimai (gēidimai, zinimai, waitiamai druwēimai)

weda (gēide, zina, waitia, druwēj) wediti (gēiditi, ziniti, waitiāti, druwēiti)

weda (gēide, zina, waitia, druwēj)

8. Перевод отрывка из работы о пруссах.

Aulaūsna bīlās be amzis, kvai pausantras tūsimtas metun bēi pirsdau istōrijās akins, est vaidamā. Bēi prūsai tikrōmai anga nitikrōmai en svajasmu pōdīrin na gīvatan, be niperlānkiamai eze stan, anga mes mazimai līgintvei eze teneisun tikrōmiskan anga nitikrōmiskan, teneisun aulaūsnā est pamesenis zmūnentijai be zmūnentiskai. Stese pagan īkai delīkas pamestās kultūrās etteikūsnā jāu sandāstisi san morālēs perdājai...

9. Из новогоднего поздравления.

As ebkailina Vans be eze visan sīras kvai Jūmans tūlan laimen be tuldīsnan en Naunan 1982 metu!..

10. Из посвятительной надписи.

Majāsmu milan N-an sen ukasīriskan dinkausegīsnan. Tvais K-s.

П р и м е ч а н и е

[1] Эксперимент, описанный в статье, успешно развивается, уже имеются люди в Литве, Польше, России, Латвии, проводящие регулярные встречи, во время которых происходит общение на восстановленном прусском языке. См. сайт http:donelaitis.vdu.lt/prussian/index.htm, а также шестиязычный электронный словарь http://wirdeins.prusai.org (примеч. М. Л. Палмайтиса, 2009).

1984

К РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОГО ЦИКЛА АРХАИЧНЫХ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В СВЕТЕ «LATVJU DAINAS»

(К 150-летию со дня рождения Кр. Барона)

Еще в начале публикации этого знаменитого собрания латышских народных песен (после выхода в свет второго тома из шести) Эндзелин, не боясь ошибиться, сказал, что «Latvju dainas» — monumentum aere perennius и латышскому народу, и самому Барону[1]. Спустя 80 лет после этого ответственного утверждения (и через 70 лет после завершения публикации «Latvju dainas»), эти слова, которые в момент их появления могли казаться слишком смелыми и даже преждевременными, воспринимаются во всей бесспорности и непреложности уже совершившегося и имеющего пребывать актуальным и далее, пока жив латышский язык. Твердое убеждение в том, что «Latvju dainas» действительно двойной памятник, объясняет и ту высоко-торжественную ноту, которая окрашивает сегодняшнюю память о Бароне, и тот естественный и органичный переход от «Latvju dainas» к теме судеб латышского народа, его истории и культуры — от С л о в а к его воплощению.

Имя Кришьяна Барона выделяется даже на фоне других выдающихся зачинателей латышской фольклористики — собирателей, исследователей, организаторов науки, как Валдемар, Спрогис, Трейланд (Бривземниек), Пушкайтис (Лерхис), Вольтер и др.; не покажется странным упоминание в этом ряду и Пумпура.

Латышская фольклористика знала два периода расцвета. Первый из них начался со второй половины XIX в. и особенно с рубежа 70—80-х годов. Второй относился к 20—30-м годам нашего века и связан с именами Берзиня, Лаутенбаха (их научная деятельность началась значительно раньше), Шмита,

Страуберга, Янсона и других и их учеников. Соединительным звеном этих двух творческих периодов латышской фольклористики был прежде всего Барон. Но значение Барона не исчерпывается этой связующей ролью: его научная и публикаторская деятельность образует не только центр, но и вершину в разработке латышского народно-поэтического наследия, которой он отдал всю свою долгую сознательную жизнь.

Связь Кришьяна Барона (31.X.1835—8.III.1923) с латышскими народными песнями началась с детства, проведенного в Курляндии. Предпосылкой этой связи была та особая роль, которую играли народные песни в жизни латышей [2]. Образы и идеи этих песен составляли тот второй «язык» (наряду с естественным), с помощью которого формировалась одновременно картина мира в ее «внешнем» (мир объектов) и «внутреннем» (субъект как колллективная «личность») аспектах. Смысло-строительная и объяснительная функция этого «языка» определили и его роль в конституировaиии единства латышского социума и сопоставленного ему самосознания. Это свое значение народная песня вполне сохранила еще на рубеже XVIII и XIX вв. и в известной степени позже. Но у народной песни в это время было актуально и еще одно измерение — устремленность в будущее, непосредственно увязывавшаяся с необходимостью решить те задачи общенационального характера, которые все настоятельнее вставали перед латышами в течение XIX в. В этой обстановке отсутствие связи с миром песни было бы аномалией. Впрочем, есть и прямые указания на отношение к народной песне в том узком семейном круге, где рос и воспитывался Барон; так, известно, что большой любительницей народных песен была мать Кришьяна Барона (отец умер, когда мальчику было восемь лет); интересные сведения на этот счет сохранились о его сестре Марии [3]; вероятно, внимательное отношение к народному творчеству прививалось и первыми школьными учителями Барона Эрнстом Динсбергисом и Фридрихом Мальбергисом. Наконец, о своей любви к народным песням еще в детстве писал позже в своих воспоминаниях сам Барон [4]).

Годы учения Барона в Дерптском университете (1856—1860) знаменуют начало его осознанного отношения к народному творчеству и начало его деятельности как исследователя народной песни. Для актуализации отношения к латышскому песенному наследию, видимо, существенную роль сыграло знакомство с финноязычным народным творчеством, которому способствовало пребывание Барона в Эстонии. В 1857 г. в «Mājas Viesis» появляется первая статья Барона, посвященная эстонским народным песням, — «Igauņu tautas dziesmas». Эта статья отражает интерес Барона к трудам эстонского фольклориста и писателя Ф. Фельмана. Большим событием для Барона в студенческие годы было знакомство с мюльберговским переводом Кадевалы и догадками по поводу авторства этого эпоса [5]. Результатом-откликом было

стихотворение «Dziesmu ieruantošana», написанное в том же 1857 г. и отражающее влияние поэтики «Калевалы» (ср.: *Kur es savas dziesmas ņēmu, kur dabūju meldijas?*).

Несомненно, очень важное значение для Барона в эти годы имело знакомство с Валдемаром, описанное позже Бароном в его «Воспоминаниях». Решению посвятить себя изучению народного творчества и быта латышей способствовало путешествие, которое предпринял Барон, когда летом 1859 г. он пешком обошел Видземе и Курземе. Итогом этого путешествия был сжатый очерк географического характера, написанный на латышском языке (впервые!)[6]. Этот первый опыт, видимо послужил той основой, которая объясняет вскоре начавшуюся связь молодого ученого с Русским географическим обществом. Это сотрудничество сыграло, несомненно, положительную роль в становлении Барона как исследователя. И дело, пожалуй, не столько в «Указателе сочинений о коренных жителях Прибалтийского края», изданном РГО в 1868 г.[7], сколько в той творческой атмосфере сотрудничества, обмена научными идеями, наметки планов будущих экспедиций и исследований, которая характеризовала Русское географическое общество в Петербурге и Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве в очень плодотворные для них 60-е годы. Именно в этот период сложились те отношения сотрудничества между латышскими этнографами и фольклористами и представителями русского ученого мира, которые принесли богатые плоды как для латышской, так и для русской науки. В этих условиях складывался тип Барона-исследователя, быстро ставшего крупным авторитетом в своей области. Неслучайно, что кандидатура Барона была предложена РГО для экспедиции в Латвию, предназначенной для сбора этнографического и фольклорного материала (по обстоятельствам внешнего характера Барон был вынужден отклонить это предложение). Долгие годы проведя за пределами своей родины — в Петербурге (где издавалась латышская газета «Pēterburgas Avīzes», 1862—1865), в Москве (где образовался кружок латышей-энтузиастов), в Воронежской губ. (где в течение четверти века Барон работал домашним учителем в семье Станкевичей[8]), Барон не терял времени даром, Он собирал издания латышских и литовских фольклорных текстов, научную литературу в области фольклористики, занимался решением ряда практических задач (ср. участие Барона в разработке транскрипции латышских текстов для публикации фольклорных материалов). Вместе с тем Барон был в курсе дел в исследованиях народного творчества восточнославянских народов; не подлежит сомнению его знакомство с трудами Афанасьева, Буслаева, Шейна, Костомарова и ряда других ученых и творческое приятие тех передовых принципов, которые определили взлет фольклористики в эти десятилетия[9].



Обложка 1-го издания «Latwju dainas»

На рубеже 70—80-х годов Барон почувствовал себя готовым к началу активной и вполне конкретной работы по собиранию и систематизации латышских народных песен. В это время ему шел пятый десяток. Он быт признанным специалистом [10], готовым к большому и долгому труду. Но едва ли он знал, что пройдет тридцать семь лет (с 1878 г.), прежде чем будет завершено издание «Latvju dainas» (рис. 1). Но и этим гигантским предприятием не исчерпывается вклад Барона в собирание, публикацию и исследование латышской народной пески, в частности, в популяризацию ее. В 1920—1924 гг. Барон публикует «Избранные латышские песни» [11]. В это собрание вошла лишь небольшая часть песен из «Latvju dainas» — 9738 из 217 996, но значение этой публикации состояло в том, чтобы выделить наиболее ценные образцы песенного творчества в относительно легко обозримом виде. К сожалению, осталось незаконченным включенное в это собрание исследование метрической структуры латышских народных песен. Не следует упускать из виду и деятельность Барона как редактора, сформулировавшего принципы публикации известного сборника Я. Цимзе «Dziesmu rota» [12] в издании 1914 г. и проведшего значительную практическую работу по переработке песенных текстов для смешанного и мужского хоров [13].

Трудами в области латышской народной песни не ограничивалась многообразная деятельность Кришьяна Барона [14], но они были главным делом его жизни и основанием его славы. Об этом подвиге помнили и те, кто в мартовскую ночь 1923 г. провожал великого труженика в последний путь:

Lai dus mierā latvju Burtnieks, bezgalības ceļinieks.

* * *

Барон не был первым, кто обратил внимание на латышские народные песни и стал собирать их. Отдадим должное н е м е ц к и м собирателям и издателям л а т ы ш с к и х народных песен. Они сделали многое в этой области, особенно в ранний, «добароновский» период, и достойно выполняли заветы человека, который едва ли не больше всех способствовал в свое время пробуждению интереса к народной словесности и прежде всего — песне, жителя Риги в 60-е годы XVIII в. Иоганна Готфрида Гердера (именно в Риге им делались наброски «Опыта истории поэзии») [15]. К сожалению, вклад этих первых старателей на ниве латышского народного творчества часто недооценивается или вообще сводится на нет под предлогом недостатков в этих ранних публикациях [16]. Долг справедливой исторической оценки предшественников Барона в издании латышских народных песен остается до сих пор не выполненным. И ни ошибки первых публикаторов, ни бесспорные преимущества «Latvju

dainas» не дают оснований для забвения того, что было сделано в этой области в течение почти целого столетия [17].

Но хотя Барон и не был первым собирателем и издателем латышских народных песен, сделанное им в этой области несравнимо со всем остальным, что делалось д о него и п о с л е него. Собственно говоря, в этом двойном временно́м измерении — в ретроспективе прошлого и перспективе будущего — труд Барона и обретает свое подлинное значение. В п е р в о м случае — это блистательный итог, во много раз превышающий сумму слагаемых и возносящий дело изучения латышской народной песни на совсем иную высоту. Во в т о р о м случае — это надежнейшее основание для первенствующего положения народной песни как объекта изучения латышской фольклористики [18], для нового этапа в исследовании народной песни, для создания условий, когда новые материалы, идеи и творческие импульсы существенно влияют на развитие как смежных отделов фольклористики, так и других гуманитарных дисциплин — от лингвистики до поэтики и мифологических исследований.

Исторический подвиг Барона, делающий его имя особенно отмеченным, а его труд заметчательным памятником латышской культуры в самом широком смысле, определяется сочетанием двух обстоятельств — необыкновенно полным собранием фольклорного материала и образцовым его изданием, с одной стороны, и тем, что именно в народной песне наиболее полно и адекватно выразил себя латышский мифопоэтический гений. Несколько заостряя проблему, можно сказать, что как раз песне суждено было стать тем языком, на котором творческому духу латышского народа удалось точнее и ярче всего выразить и «разыгрываемый» мир (объектная сфера), и самого себя, «разыгрывающего» этот мир (субъект). Этот язык во многих отношениях предопределил особенности мифопоэтического видения, характерного для латышской традиции — вплоть до «фольклоризма» как одного из важных аспектов современной латышской культуры. В этом смысле есть веские основания считать, что полнота и разнообразие латышского песенного репертуара и сохранение им глубокой архаики (или, точнее, минимальной дистанции между архаикой и инновациями) объясняются не случайностями исторического развития, а отражают насущную потребность данной традиции в фиксации достаточно обширного количества текстов, описывающих «весь мир», на д а н н о м языке. При таком взгляде акцент, естественно, перемещается: удивление перед фактом исключительной устойчивости латышской народной песни в отношении ко времени с его энтропическими тенденциями уступает место пониманию е с т е с т в е н н о с т и и, более того, внутренней необходимости все новых и новых проекций «песенных» структур на мир, бесконечного репродуцирования мира на данном языке, т. е. как раз тех явлений, ко-

торые и свидетельствуют о том, что механизмы транспозиции «внешнего» содержания во «внутренний» мир песни еще недавно были живыми, как и соответствующая модель мира, и, следовательно, активно противостояли этропическим тенденциям. В этой ситуации решающим является не то, что нечто п о м н я т (некое ядро песен как совокупность текстов с относительно малой прагматикой, хотя и связанных п о т р а д и ц и и с определенными событиями), а что это н е ч т о знают и применяют это знание на п р а к т и к е[19], каждый раз, когда нужно, з а х в а т ы в а я знаковыми моделями «подзнаковую» реальность. «Захватываемая» и осваиваемая/усваиваемая в знаковой сфере реальность как раз и является основой для противоположного энтропии «эктропического» направления развития (ситуация, которую следут признать естественной при любом соприкосновении материи и духа и своеобразном обмене между соответствующими сферами), для великого противостояния времени в его «разрушительной» функции.

Насколько успешным было это противопоставление, можно судить не только (и, может быть, не столько) по самой латышской песенной традиции, наиболее архаичное ядро которой характеризуется «почти» остановившимся временем, но и по широкому контексту родственных индоевропейских мифопоэтических культур. Только на их фоне с очевидностью выступает степень архаичности многих схем латышского песенного репертуара и роль этих схем в песенном наследии. Едва ли можно ошибиться, рассматривая латышскую народную песню как своего рода заповедное место, где с наибольшей верностью прошлому и с наибольшей нетронутостью сохраняются многие пережитки и н д о е в р о п е й с к о й эпохи, утраченные в большинстве других традиций, доживших до наших дней, и лишь остаточно отраженных в древнейших из известных нам памятников этих традиций. В этом смысле собрание песен, изданное Кр. Бароном, не только памятник национального масштаба, но событие, факт мировой культуры — и как открытие е щ е о д н о г о «лика» в духовной культуре, человечества, и как открытие о с о б о г о «лика», позволяющего судить о чертах мифопоэтического сознания совсем иного временного горизонта, характеризующегося, в частности, редкой обнаженностью архетипического слоя и четкостью ряда сходных мифологических конструкций, известных обычно лишь в сильно выродженных формах.

Но было бы, несомненно, ошибкой видеть в латышских народных песнях т о л ь к о заповедное место, где сохраняются архаизмы. Отношение этих песен ко времени значительно сложнее и в ряде случаев кажется парадоксальным. Язык и языковые тексты знают два противоположных способа хранения информации (в частности, архаичных элементов): п а с с и в н ы й, противостояние времени — «разрушителю» и а к т и в н ы й, такое сотрудничество с временем, когда оно выступает в функции «созидателя»[20]. В п е р в о м слу-

чае удается сохранить архаические элементы, но уже только как своего рода membra disjecta: они утратили свои прежние системные связи и не вошли достаточно органично в новую систему, почему и выглядят они как раритеты, исключения. Во втором случае акцент ставится не на сохранении отдельных элементов в их, так сказать, неподвижности, а на сохранении отчетливо выраженной и более или менее легко проверяемой преемственности между «исходной» архаичной системой и системами, следующими за нею во времени и генетически выводимыми из нее. В этой последней ситуации меняются части («блоки») старой системы, но основные отношения сохраняются, хотя и в трансформированном виде. «Старая» система живет и функционирует до тех пор, пока она используется для решения новых заданий (так продлевает свой век старинное здание, пока оно населено людьми, которые, забыв о его возрасте и о том, что здание нужно сохранять во что бы это ни стало, ради идеи «чистого» хранения, используют его в своих повседневных целях). И в этом случае приходится удивляться уже не архаичности латышских народных песен, а их динамичности, «современности», способности старыми средствами решать новые задачи, иначе говоря, поразительной жизнестойкости и гибкости (вплоть до протеичности) архаичных схем, своеобразному синтезу статического и динамического начал. При этом латышские народные песни оказываются не только полем (пространством), где развертывается взаимодействие этих двух начал, но и активным инструментом выработки указанного синтеза. Следовательно, и в этом отношении роль латышского песенного наследия, собранного и упорядоченного Бароном, исключительна.

Полвека назад, отдавая долг памяти Кришьяна Барона, другой великий латыш, Эндзелин, писал о его собрании песен как об «основе латышской филологии»[21]. По сути дела, нечто подобное может быть сказано и об отношении «Latvju dainas» к науке, изучающей мифопоэтическое наследие латышей[22]. Но, может быть, еще важнее их роль в связи со всей сферой мифопоэтического («фольклорного», по более распространенной терминологии) как одного из существенных измерений этнического (а затем и национального) самосознания латышей, фактора, способствующего выработке принципов, которые определяют жизненную ориентацию. Важность указанной сферы все более полно осознается и внутри данной традиции (то же относится и к литовцам) и вовне, в позиции стороннего наблюдателя. Интерес к сфере мифопоэтического проявляется в последние годы многообразно, и, главное, он не ограничивается, так сказать, «археологическим» аспектом. «Фольклоризм»[23] становится своего рода credo, жизненным руководством, помогающим восстановить связь с традицией, которая для балтийских народов еще недавно была живой (и, строго говоря, полностью никогда не отми-

рала), осознать свои собственные истоки. В этой ситуации понятие «фольклоризм» актуализирует не столько аспект «примитивности», некоей культурной периферийности, сколько той органичности, которая вытекает из глубинной соотнесенности — сообразности человека и мира (в частности, природы), чаемого и возможного, целей и средств.

Несомненно, что «фольклоризм», утверждающийся как некая жизненная позиция, находит поддержку в литературе балтийских народов, которая в лице наиболее ярких своих представителей была или органически связана с «фольклорным» началом (при наличии сосуществующего с ним «нефольклорного» начала) или вполне осознанно вторично возвращалась к нему [24]. Достаточно в данном случае обозначить линии от Донелайтиса до Креве или от Пумпура до Райниса [25], не говоря уж о широко (а иногда и глубоко) распространяющемся «фольклоризме» литовской и латышской литератур последних лет [26], который еще ждет своего авторитетного исследователя. Но картина балтийского «фольклоризма» не была бы полной без учета более широкого, «внешнего» контекста. Нельзя игнорировать того обстоятельства, что балтийский вариант «фольклоризма» замечен вовне, и, более того, именно он вошел в моду (ср. так называемый «Le mythe balte» на Западе). Существенно многообразие его вариантов и форм. Наряду с попытками воссоздания этого мифа на латышском и литовском языках, хорошо известны опыты решения этой задачи средствами другого («второго», т. е. не балтийского) языка — при том, что первый язык или вовсе отсутствует или известен писателю лишь отчасти, — авторами, которые биографически, этнокультурно и лингвистически связаны с балтийской стихией (иногда непосредственно в своем детстве, в других случаях опосредствованно, через прошлое своего рода). Наиболее яркий пример — Оскар Милош, писавший на французском языке и проживший бо́льшую часть жизни во Франции, но пытавшийся пробиться к своим историческим (литовским и индоевропейским) корням и тем самым, хотя бы отчасти, воссоздать ту органическую целостность (непрерывность), отсутствие которой вызывает ностальгические настроения [27]: Dans un *pays d'enfance retrouvée en larmes,* | <...> Quels mots, quelles musiques *terriblement vieilles* | *Frissonnent en moi de ta présence irréelle,* | <...> | Quelles musiques en écho dans le sommeil? — Другой вариант, представленный, например, Ж. Моклером, предполагает иную ситуацию: отсутствие биографической связи с балтийской традицией, но хорошее ее знание и своего рода «посвященность» в нее [28]. Еще один вариант представлен создателями «le mythe balte», так сказать, в чистом виде, когда авторы во всех отношениях отделены от реалий балтийского мира, но имеют о нем некоторую «idée générale», которая и лежит в основе развертываемых художественных текстов. Показательно, однако, что воссоздаваемый в них «балтийский миф»,

оказывается довольно однородным, и исследователи указывают общие черты в разных воплощениях этого мифа[29]. «Фольклоризм» этого рода по сути дела предельно разведен с подлинным «фольклоризмом» латышской и литовской традиций. Несравненно более глубок вклад в «балтийский миф» в тех случаях, когда «прошлое» продолжает существовать для писателя в ностальгических переживаниях утраченной целостности и в тех императивах, которые выдвигает совесть[30].

Тема «фольклоризма», естественно возникшая из рассмотрения «Latvju dainas», с которыми она органично связана, еще раз (и, можно сказать, с более широких позиций) подчеркивает исключительность значения песенного собрания Барона. Именно это обстоятельство дает повод — особенно в юбилейные дни великого труженика на ниве латышского народного творчества — поставить вопрос о том большом долге, который накопился у тех, кто изучает «Latvju dainas», и об ответственности за судьбу исследований этого огромного и ценнейшего материала. И здесь приходится, с глубоким сожалением, констатировать неблагополучное положение в исследовании ряда ключевых проблем и даже целых дисциплин. В частности, за последние десятилетия в самой Латвии практически не изучается латышская мифология. Соответствующая традиция, представленная рядом славных имен, оказалась фактически прерванной[31], и все, кто занимается балтийской, славянской, индоевропейской мифологией, живо ощущают образовавшуюся лакуну и надеются на ее восполнение. Возможно, эти надежды не окажутся тщетными. Во всяком случае появляются несомненные признаки понимания необходимости перемен в этой области. Показательно, что тема важности изучения латышского мифопоэтического наследия недавно была поднята (в связи с собранием Барона) в интересной статье К. Скуениека, богатой проницательными конкретными наблюдениями и важными идеями общего характера[32].

К сожалению, недооценка этого наследия во многих случаях приводит к нарушению принципов подлинного историзма и в публикаторской деятельности. Так, составители полезного во многих отношениях большого собрания латышских народных песен «Latviešu tautasdziesmas» (Т. 1—5. 1979—1984) считают возможным вообще не выделять песен м и ф о л о г и ч е с к о г о содержания, хотя они образуют не только ряд связанных друг с другом циклов[33], но и последовательность мифов, составляющих некое целое. Мифологическое содержание весьма значительного количества песен не просто дает основание для еще одной бесспорной ячейки в рубрикации песенного материала, но позволяет установить довольно непосредственную связь с ритуальными песнями благодаря наличию своего рода «мифо-ритуальных» скрещений (так, образы Юмиса, Усиньша, Яниса и др. отсылают как к мифологическим, так и к ритуальным [Gadskārtu ieražu dziesmas] песням), а

через эту связь определить сакральную сердцевину всего корпуса, непосредственно соотнесенную с мифом и ритуалом, и даже еще точнее — с основным мифом и с основным годовым ритуалом. Результатом отказа от выделения мифологических песен (в отличие от собрания Барона) является шаг к разрушению того органического единства, которое было установлено «изнутри» самой латышской мифопоэтической традицией к разведению связанных друг с другом персонажей и мотивов, к понижению в ранге мифологических (исключительно или по преимуществу) персонажей, как Перконс, Солнце, Месяц и другие, до положения «природных» явлений (ср. 3. sējums. Darba dziesmas. Daba un darbs) [34].

Если для мифопоэтической традиции труд значим лишь постольку, поскольку он ритуализован (и, следовательно, сакрализован вхождением в высшую систему ценностей, выводимую из самого акта творения и его последующего развития), то для составителей «Latviešu tautasdziesmas» божественные персонажи и ритуалы, основная реальность для так называемых «mythologiques», оказываются низведенными до роли некиих представителей природы и труда. Тем самым данной традиции по сути дела навязывается чуждое ей толкование, сделанное в угоду плоскому позитивизму. Оно, будучи доведенным до логического конца, разрушит внутреннюю систему жанров народной песни и разорвет связи между данным кругом текстов и их «реальной» внетекстовой мотивировкой. И никакие ссылки на «легкость» нахождения данного текста не могут служить оправданием; каждый песенный текст больше, чем классификационный индекс, служащий для обнаружения этого текста: он всегда апеллирует к сущностям, нередко скрытым от исследователя; определение места текста в жанровом пространстве как раз и дает исследователю ключи к открытию этих сущностей. Разумеется, проблема классификации латышских народных песен не проста, и, видимо, при любом решении будут обнаруживаться те или иные слабые места. Но в такой не ясной до конца ситуации более оправданными следует считать чисто эмпирические решения в размещении материала, как в издании Барона и Виссендорфа [35], когда эти решения опираются или на здравый смысл, или на интуицию исследователя, практически уже ставшего и носителем песенного фольклора с необычайно широким его охватом. К сожалению, в новом собрании песни даны вне их непосредственной соотнесенности с соответствующими номерами коллекции Барона, что, конечно, создает определенные трудности для исследователей [и, в частности, видимо, будет причиной путаницы в ряде случаев; вместе с тем следует весьма положительно оценить два подробных дифференцированных указателя, помещенных в конце издания — к «Latvju dainas» К. Барона (с. 265—305) и к коллекции народных песен в фольклорном фонде Института языка и литературы в Риге (с. 307—864)] —

Собрание песен Барона является классическим и таковым оно останется всегда, независимо от качества дальнейших публикаций в этой области. Поэтому — как минимум — необходимы четкие правила пересчета текстов нового издания на нумерацию, принятую в «Latvju dainas». В противном случае вольно или невольно нарушается линия преемственной связи определенной научной и культурной традиции. Такой разрыв может принести только вред. Остается надеяться, что он не произойдет, и имя Кришьяна Барона послужит тем центром, вокруг которого будет происходить консолидация всего лучшего из прошлого и настоящего во славу латышской культуры.

* * *

В этой части статьи предстоит рассмотреть некоторые данные латышских народных песен с точки зрения возможности более далеко идущих реконструкций «индоевропейского» уровня (естественно, что предлагаемые ниже реконструкции не исключают «синхронного» прочтения тех же текстов, дающего, конечно, несколько иную картину [36].

Но предварительно — несколько слов о самой форме соответствующих латышских д а й н. Принято считать, что дайны мифологического содержания, объединенные общностью сюжета или (и это в большей степени соответствует реальному положению вещей) известной «связанностью» мотивов, позволяющей говорить о едином сюжете, представляют собой о с т а т к и некогда единого мифологического текста, который в принципе с той или иной степенью полноты мог быть реконструирован с о д е р ж а т е л ь н о. Однако на этом пути, как обычно считают, исследователя ожидает немало трудностей, прежде всего формального характера — неизвестны «выпавшие» части единого текста, иногда неизвестен порядок следования сохранившихся частей, неизвестен тот единый и самый архаичный вариант данного текста, который должен быть выбран, наконец, неизвестны в достаточной степени характеристики самой поэтической формы реконструируемого текста: его объем, строфика, метрические и ритмические схемы, ряд особенностей стилистического характера — от организации звуковых цепей до набора тропов и поэтических фигур. Действительно, незнание многих из этих особенностей существенно затрудняет реконструкцию. Тем не менее положение не должно оцениваться ни как безнадежное, ни как вызывающее пессимистическое настроение. Исследования последних лет (или ставшие доступными лишь недавно) дают основания для более обнадеживающего взгляда.

Прежде всего следует напомнить, что Ф. де Соссюр в результате упорных занятий древнейшими образцами индоевропейской поэзии пришел к выводу, что ядром индоевропейской э п и ч е с к о й традиции были очень ко-

роткие, чаще всего из ч е т ы р е х стихов, тексты, реализующие о д и н мотив, связанный с данным мифологическим или эпическим персонажем. Латышскими материалами, насколько известно, де Соссюр не пользовался, и его выводы, как правило, сделаны на основе предположений о наиболее реальном типе, который мог предшествовать ранним из известных образцов эпоса (древнеиндийский, древнегреческий, древнегерманский и т. п.). Тем не менее оказывается, что наиболее точное воспроизведение этого типа «праэпических» текстов (и притом в массовом масштабе) обнаруживается, видимо, и м е н н о в л а т ы ш с к и х мифологических песнях, которые (см. отчасти ниже) не только своей четырехстрочной строфой-текстом, но и своей поэтической техникой (построение звуковых рядов, анаграммирование и даже метрические особенности /!/ и т. п.) приближаются к тому, что сейчас реконструируется для древнейшего типа индоевропейской «эпической» поэзии. Действительно, наиболее распространенной формой латышской народной песни является четверостишие, и статистический вес этой схемы особенно велик именно в мифологических песнях [37].

Вместе с тем и столь мучившая исследователей проблема выбора «первоначального» варианта из множества наличных существенно упрощается в свете все более и более утверждающегося взгляда о реальности именно вариантов, а не некоего «исходного» по отношению к ним текста (ср. идеи К. Леви-Стросса и ряда других ученых, подчеркивающих, в частности, преимущественную роль не отдельных текстов, а о т н о ш е н и й между вариантами). «Исходный» текст чаще всего оказывается фантомным конструктом, из чего, однако, не следует, что он утрачивает свою эвристическую ценность при реконструкциях, с одной стороны, и что все варианты равноценны и не нуждаются в стратификации, предполагающей «взвешенную» оценку их.

Наконец, складывающиеся в настоящее время представления о принципах монтажа эпических «микротекстов» в более обширные тексты и о прототипе «длинных» эпических нарративных форм как сочетании поэтических и прозаических частей [38], в котором прозаические части выступали, видимо, как своего рода «прослойки» вводяще-комментирующего характера, также, кажется, не противоречат формам представления латышских мифологических песен определенного (одного) цикла ни в самой народной традиции [39], ни в практике научного описания (напр., в работах по мифологии или в изложении содержания мифологических дайн, когда соединительный — между дайнами — авторский текст выступает как аналог прозаических прослоек в реконструируемом типе индоевропейского эпического нарратива).

К перечисленным выше примерам сохранения в латышской народной песне архаичных особенностей, понимание которых как таковых пришло (или, точнее, приходит) лишь сейчас, в свете прогресса знаний в области

древнейших форм индоевропейской поэзии, следует присоединить еще один и при этом очень важный. Речь идет о метрической структуре латышских дайн. Как известно, стих дайн в подавляющем большинстве случаев состоит из четырех хореических стоп (две диподии)[40]; такое состояние характеризовало латышский песенный стих уже издавна (по крайней мере начиная с стабилизации ударения на начальном слоге), при этом главные ударения в стихе приходились на 1-й и 5-й слоги, а цезура после второй стопы была обязательной. Это очень простая и ясная метрическая структура (ее воспроизведение достигалось с довольно большой легкостью) была теснейшим образом связана с языком, в частности с синтаксисом (ср., напр., запрет для слова выходить за пределы одной диподии, предполагающий и запрет на длину слова сверх четырех слогов, требование наличия синтаксической законченности в пределах двух стихов и т. п.), а через синтаксис и со сферой поэтических приемов разного рода. В этом смысле хореический восьмисложник стал ритмической мерой всей латышской жизни — и в том смысле, что все входящее в состав «латышского» мифа может быть выражено этой мерой, и в том смысле, что эта мера просодического уровня определяет так или иначе структуру основных схем других уровней — звукового, морфологического, синтаксического, семантического, «референционного»[41] в других регистрах — дифференцирующе-противопоставительном или отождествляюще-повторительном. Выделенность первого слога в хореической стопе имеет аналогии в подобной выделенности первой стопы, первой диподии, первого стиха, первой половины четверостишия. Без учета этой тенденции трудно понять распределение некоторых языковых элементов на разных уровнях[42], в частности позиций в стихе, контролирующих аллитерационную игру, а иногда и анаграмматические опыты.

Названные выше особенности основной метрической схемы латышских дайн и так или иначе соотнесенных с нею характерных черт языка и поэтики, безусловно, архаичны. Разумеется, было бы рискованно непосредственно соотносить их с наиболее ранними из реконструируемых типов индоевропейского стиха. Следы перестройки предшествующей системы вскрываются (хотя бы отчасти) при анализе латышского песенного стиха. И тем не менее эта перестройка была сравнительно с другими индоевропейскими метрическими схемами невелика и, главное, не настолько радикальна, чтобы исказить до неузнаваемости исходный тип. Более того, есть такой разряд индоевропейских метрических схем, который в латышском песенном репертуаре сохранился с достаточной полнотой и точностью. Речь идет о восьмисложниках, сохранившихся в разных индоевропейских традициях (древнеиндийской, древнегреческой, хеттской, славянской и т. д.), правда, в несколько различающихся вариантах. Недавние работы по метрике[43] дали основание для

реконструкции восьмисложника с метрически фиксированной клаузулой применительно к общеиндоевропейскому горизонту, что удостоверяется, в частности, «пригнанностью» эпических формул-клише к соответствующей метрической схеме. Особое значение в данном случае имеют два круга фактов: использование указанной метрической схемы в древнегреческом паромическом стихе и происхождение эпического гекзаметра из монтажа более коротких стихов (в частности, 8 и 7-сложных [44]), с одной стороны, и наличие восьмисложника типа латышского в литовских народных песнях (ср. типы *Sėjau rūtą, sėjau mėtą; Karvelėli mėlynasis; Dar gaideliai negiedojo; Oi tu sakal sakalėli* и т. п. [45]) ив славянском песенном фольклоре (ср. в русских песнях: *Масленица загорела, | Всему миру надоела…; Уж я золото хороню, | Чисто серебро хороню…; Мы ходили, мы гуляли…* и т. п.) [46], что дает возможность говорить об общебалтийском восьмисложном стихе, как и о балто-славянском. Эти доказательства, идущие «сверху» и «снизу» навстречу друг другу, сводят риск ошибиться практически на нет. При этом особенно следует подчеркнуть, что восьмисложник в балтийской и славянской традиции преимущественно (а в некоторых категориях случаев, кажется, исключительно) появляется в жанрово и соответственно содержательно отмеченных текстах, благодаря чему очерчивается с известным вероятием первоначальный локус восьмисложника в балто-славянской традиции, причем этот локус во многом совпадает с тем, что известно о функционировании восьмисложника в поэзии древних индоевропейских народов.

Подводя итог рассуждениям о форме латышских народных песен, можно сказать, что ее верность индоевропейской традиции значительнее, чем думают до сих пор, и вообще весьма велика безотносительно. Логичен и следующий шаг: форма латышской народной песни в ряде решающих отношений вернее воспроизводит исходный индоевропейский тип, нежели древнегреческие и древнеиндийские образцы поэзии. Тем самым значение латышских народных песен резко возрастает: они становятся одним из важнейших источников индоевропейских реконструкций структуры архаических поэтических текстов. Естественно встает вопрос о том, соответствует ли этой форме столь же архаичное содержание. Один фрагмент содержания и будет далее предметом анализа.

Вывод может быть предпослан анализу: вытекающая из предыдущего глубокая архаичность формы латышских мифологических дайн находит соответствие в столь же архаичных содержательных схемах, отраженных в этих дайнах. В частности, это относится к сюжету так называемого «основного» мифа, о котором много писалось в последние полтора десятилетия (конфликт между Громовержцем и его противником [*Perku̯un; : *Vel-], приводящий к поединку и победе первого; наказание жены и/или детей; смерть и возрожде-

ние и т. п.). Этот сюжет, реконструируемый по данным разных источников некоторых индоевропейских традиций (причем некоторые из этих источников вторичного и третичного характера), представлен в латышских народных песнях, хотя и неисчерпывающе, но с удивительной полнотой по сравнению с другими традициями, даже такими почтенными, как древнеиндийская. Любопытно соотношение источников «основного» мифа в латышской и литовской традициях. Последняя содержит обширный запас сведений о Перкунасе [47], но вне песенного материала, если не считать нескольких текстов из сборника Резы, едва ли справедливо подозреваемых в подлинности (другое дело — возможность сохранения и даже некоторой актуализации этих текстов в соседстве с прусским ареалом, где могли существовать подобные песни, хотя достоверные сведения о прусских песнях мифологического характера отсутствуют). Особую ценность представляют латышские песенные данные, относящиеся к мотивировке событий «основного» мифа (сюжет «небесной свадьбы» [48] как предыстории конфликта), к отдельным персонажам, так или иначе подключенным к этому сюжету (*Jāni*s [49] в многочисленных [ux более 3000] т. наз. «*Jāņu dainas*» или «Līgotnes» [50]; *Maŗ*a [51] [иногда эти два персонажа сочетаются в одном мотиве, ср. мифологему об Иване и Марье у славян, разрабатывающую тему инцеста и проанализированную в другом месте]; Laima и т. п.), наконец, к персонажу, играющему главную (наряду с Громовержцем) роль в «основном «мифе, чье имя кодируется корнем *Vel-. Характеристике данных латышских народных песен, относящихся к этому персонажу, с точки зрения реконструкции и посвящены следующие страницы.

Предпосылкой для рассмотрения этой темы является прогресс, достигнутый в последние 15—20 лет в реконструкции схемы сюжета, в установлении языковой формы, ключевых элементов этого сюжета (ср. и.-евр. *Vel- как обозначение противника Громовержца, о котором речь пойдет ниже, а также его конкретные отражения: балт. Vels, Vielona, Velnias/Velns, слав. *Velesъ*/*Volosъ*, герм. Vǫlundr, Wieland, др.-инд. Varuṇa, Vṛtra, Vala и т. п.), в детальном определении характера славянской версии «основного» мифа и, наконец, в наметках основных черт балтийской версии и указании ее связей со славянской версией. Сделанное до сих пор дает основание для более подробных реконструкций и исследований балтийской версии этого сюжета. Правда, балтийская ситуация в ряде отношений сложнее, чем славянская, в силу большей своей разработанности принимаемая за эталон. Балтийские факты часто оказываются более разнородными, а иногда и просто разнонаправленными, что, конечно, объясняется и тем, что славянская версия сюжета, строго говоря, почти полностью результат реконструкции, тогда как латышские и литовские данные представлены не остатками и ис-

ключениями, а в некоей целостной системе, зафиксированной в значительной степени (ср. особенно латышскую традицию) в своем и с к о н н о м мифопоэтическом локусе. Живая противоречивость или разноречивость балтийских фактов (во всяком случае такова нередкая их оценка при первом взгляде) иногда квалифицируется как недостаток или известное неудобство. Однако подобные «недостатки» и «неудобства» в ином контексте оказываются существенными преимуществами, поскольку они открывают путь к более глубокой внутренней реконструкции, а ее результаты подкрепляются их соотнесением с внешними параллелями из других древних индоевропейских традиций. В данном случае (говоря в общем) специфика балтийской ситуации состоит в том, что элемент *Vel- (*vel-) имеет отношение и к обозначению чорта, выступающего как противник Громовержца (лтш. velns, лит. vélnias)[52], и к обозначению божества смерти, царства мертвых, самих покойников[53]. Вместе с тем, как указывалось, в балтийской версии ядро «основного» мифа помещено в более широкий контекст («небесная семья», «небесная свадьба», «первая измена» и т. п.)[54]. Поэтому балтийский материал и особенно латышский, представляющий особую ценность в связи с «небесной» предысторией событий «основного» мифа, нуждается в более последовательном и пристальном анализе, который позволил бы корректно восстановить как самое балтийскую версию в целом, так и те связи, которые соединяют отдельные ее мотивы с аналогичными элементами других индоевропейских традиций, прежде всего со славянской.

В рамках «основного» мифа достаточно хорошо изученной оказалась та часть материала, которая изображает чорта (Veln-), нередко в духе более поздних представлений христианизированной «низовой» мифологии. Явно недостаточное внимание обращалось на использование того же корня (*vēl-*) в отнесении к «нижнему» миру, к царству мертвых. И если данные литовской традиции, связанные с Vielona (по определению Яна Ласицкого, «Deus animarum, cui tum oblatio offertur, cum mortui pascuntur»; это божество участвует в особом ритуале — лит. *Skerstuvės*, ср. также *vėlinės* ‘день поминовения умерших’, *vėliai* и под. — при лтш. *veļu laiks*)[55], привлекались к анализу в связи с данной темой, то данные латышской традиции, используемые в схеме «основного» мифа, фактически ограничивались ссылками на отдельные упоминания родственного персонажа у П. Эйнгорна и Г. Ф. Стендера. Богатейшие — и к тому же «п е р в и ч н ы е» — свидетельства латышских народных песен оставались практически в пренебрежении. Попытка использовать эти свидетельства показывает, как много (и каких важных) лакун удается заполнить с их помощью. При этом особое внимание обращено на отражение в дайнах мотивов, играющих важную роль в сюжете «основного» мифа. Параллели из других традиций сведены по необходимости к минимуму.

Главная отличительная особенность латышского мифологического персонажа, обозначаемого корнем *Vel-, состоит в том, что он выступает как женщина — *Veļu māte* (: velis, *veļi*. Pl. ʽдуши усопших’, а также *vēļi*, *velāni-eši*, *velēnieši* и далее : *vęlns* и др.), тогда как в других традициях соответствующий персонаж выступает в отчетливо м у ж с к о й ипостаси (ср. *Velesъ*/*Volosъ*, Varuṇa, Vǫlundr, и др.; ср., однако, двусмысленное *Vięlona* у Ласицкого: fem. по грамматическому роду, но «Deus», а не «Dea»!). Однако нет серьезных оснований удивляться этой особенности латышской мифологической традиции и тем более, как делают некоторые, ставить под сомнение ее связи с индоевропейскими параллелями. Народные песни этого цикла в несравненно более эксплицированном виде фиксируют то, что в других традициях представлено не до конца ясными намеками и, как правило, приобретает полновесность только в рамках реконструкции. Фактом фундаментального значения для латышской (шире — балтийской) традиции является расщепление исходного единого имени с корнем *Vel- на два имени специализированных мифологических персонажей, противопоставленных по роду. С каждым из этих имен соотносился свой фрагмент «основного» мифа: *Veln-, m. — ссора и поединок с Громовержцем; *Vel-, f. — место наказания противника Громовержца, ставшее местом его обитания и соответственно царством мертвых. В рамках единого сюжета оба эти фрагмента органично соединяются друг с другом, свидетельствуя тем самым диахроническое тождество между *Veln-, m. и *Vel-, f. (в этой перспективе лит. Vielona благодаря своему n и флексии *-a* выступает как гибридная форма).

Но есть и другие основания, чтобы не считать образ *Veļu māte* исключением. Уже указывалась известная тенденция к параллельному удвоению персонажей «основного» мифа. Так, наряду с мужскими персонажами типа лит. Perkū́nas, лтш. *Pērkons*, русск. *Перунъ*, др.-инд. *Parjanya*- и т. п. засвидетельствованы однокоренные женские персонажи, которые в принципе могли пониматься как «жены» Громовержца (ср. лит. **Perkūnija* как персонифицированная гроза, [лит. perkū́nija], молния, рус. *Перынь* как обозначение урочища, связанного с Перуном в Новогороде, др.-исл. Fjǫrgyn и т. п.). Такие же пары известны и в связи с противником Громовержца: др.-инд. Varu*ṇāni* — жена Varuṇa’ы (ср. *Indrāni* : Indra, бог грозы), рус. *Волосыни*, название созвездия Плеяд (ср. мотив «астрализации» женского мифологического персонажа или целой серии — обычно из семи единиц — однотипных женских персонажей — жен, сестер, дочерей) при *Волосъ*/*Велесъ* (ср. еще рус. *Елёсиха* [56] при *Ёлс*, *ёл*с как табуированном обозначении Волоса) и т. п. Но, возможно, существуют и более глубокие параллели. Во многом их достоверность зависит от реконструкции для балтийского первоначального значения корня *vel-. Наличие в латышском имени Vels и vels ʽчорт’; velns (ср. у Стендера wella

mehness, wellu laiks и т. п. или прямые указания типа «Deews. Der Gott der alten Letten, der bey ihnen auch es die Todten betraf, Wels hiess, weil Deewa deenas Gottes Tage, und Weļļi von Wels die Tage des Gottes der Todten bey ihnen einerley war»), наряду с *Veļu māte* (и лит. Vielona), дает, видимо, основание для реконструкции женского мифологического имени *Vela, соотносимого с Vels как обозначение его жены и/или особого места, куда отправляются по смерти (ср. отчетливый локальный аспект рус. *Перынь* и многочисленные типологические параллели к тождеству имени жены бога и обозначения места с соответствующими функциями). В таком случае *veļi*, *velānieši* и т. п. — своего рода подданные богини смерти *Vela'ы или обитатели царства мертвых, называющегося *Vela. И, следовательно, *Veļu māte* может оказаться более поздней переделкой (или одним из вариантов) исходного *Vela (> подданные *Vela'ы,так сказать, ее семья > владычица подданных *Vela'ы, т. е. Мать усопших, Мать душ, Veļu māte), ср. наличие классифицирующего элемента *māte*, получившего значительное распространение в латышской мифологии.

Очень характерно, что при таком понимании *Veļu māte* оказывается тождественной в этом отношении Матери-Земле — *Zemes māte* (ср. в народных песнях частые варианты с меной *Veļu māte* : *Zemes māte*. BW 27699 и др. или *Veļu māte* : *Kapa māte*. BW 27434, 27519 и др., не говоря уже о *Zemes māte* : *Kapa māte*), откуда следует и дальнейшее весьма важное заключение по индукции: если Мать-Земля некогда была супругой Отца-Неба (ср. реконструкцию пары **Tēvs Debess* — **Māte Zeme*, соотв. Dievs, *Dieviņš*, даже — *Pērkons* — *Zemes māte* и т. п.), то и *Veļu mā*te, чередующаяся с *Zemes māte*, могла быть супругой небесного Бога (Dievs, *Dieviņš*) или его трансформации — *Pērkons*'а. Последний вариант (супружеская связь двух «разведенных» по своим зонам персонажей — мужского *Perku̯n- и женского *Vel-) как раз и подтверждается рядом других индоевропейских версий, где, однако, участники такой пары трактуются как противники, участвующие в поединке, но не муж и жена (интересно, что жена в этих версиях остается безымянным или названным «по мужу» объектом—причиной конфликта между *Perku̯un- и *Vel-). Если приведенные здесь соображения верны, то латышская *Veļu māte* оказывается практически уникальным источником для реконструкции «подлинного» (а не классифицирующе-описательного в лучшем случае) имени жены Громовержца в «основном» мифе — *Vela. В свете этой реконструкции приобретают .веси некоторые другие факты, вторичным образом подтверждающие обоснованность реконструированной формы имени *Vela. В частности лтш. *Vela, достигаемое с помощью реконструкции, обнаруживает точную параллель (полное совпадение) в конкретно засвидетельствованном персонаже славянской мифологии, также уцелевшем только в песенном

фольклоре. Речь идет о самовиле *Вела*, неоднократно выступающей в македонских народных песнях, причем как раз в сюжете, разрабатывающем один из мотивов «основного» мифа. Существенно, что в этих песнях *Вела* также не одинока: сюжетно она связана с кралевичем Марко, продолжающим в преобразованном виде образ Громовержца; вместе с тем Вела включена в семью, которая, очевидно, должна была носить имя того же корня *Vel-. Ср.: *Велините ду две снохи, | на Вела си удгуварет: | — Ој хубава з'лву Вело, | льу ти ли мома била, | льу тебе ли са брате дали, | брате дали, углавили?… | — Ој хубава з'лву Вело, | …Ти си имаш ду два брата…* («Убава мома Вела». 191)[57]. Еще интереснее, что в хорватской песне «Девушка и Солнце»[58], записанной на острове Шипан (Šipan), вблизи Дубровника, и являющейся фрагментом сюжета небесной свадьбы, девица спорит с Солнцем, утверждая, что она краше его и всей его семьи, включая его племянников по имени Vl*ašiči* (персонифицированные Плеяды, от *Vels- : *Vols-). Принимая в расчет русские обозначения Плеяд типа *Волосыни, Власожелищи* и т. п. (: с.-хорв. *влашићи*), можно думать, что и спорящая девица, сопоставимая с макед. *Вела*, как-то была сюжетно связана с персонажами, составляющими Плеяды (ср., напр., сестру и семеро братьев), и, главное, ее имя (< *Vela) соотносимо с рус. *Волосыни*, которое получает подтверждение и на уровне мифологических персонажей.

Связь *Veļu māte* со смертью образует одну из самых ярких и постоянных характеристик этого персонажа. *Veļu māte* — повелительница усопших, в реконструкции — сама смерть, царство смерти (как и *Kapu māte*, Zemes m*āte*, см. выше; ср. характерную просьбу о сохранении тела: Labvakar, Zemes m*āte,* | *Glabā manu augumiņu*. BW 27521). Мотив могилы, ключа от нее постоянен в связи с *Veļu māte* (*Veļu māte priecājās,* | *Kapu virsu staigādama:* | Man nomira j*auns bāliņš…* BW 27540, ср. 27714). *Dod man kapi atslēdziņu,* | Lai es varu kapu *slēgt* | *Priekš tās vecas māmulītes* (BW 27519) — обращаются к *Zemes māte* (или к Meru mòte, Kopu mòte, ср. BW 4124, или даже к *Nāves māte*, выступающей в чередовании с *Veļu māte*, ср. BW 27533 и вар. 1) Еще более част мотив закрывания — открывания дверей (ворот) : *Cep, māmiņa, kukulīti,* | *Veļos mani vadīdama,* | *Ko mielošu Veļu bērnus* | Par va*rtiņu vērumiņu*. BW 27434 (ср. вар. 2: *Leļa vārtu vērējiņus* о воротах Лелиса); *…Pēc pusdienas Veļu bērni* | *Veļu vārtus aizvēruši*. BW 27527, ср. 27531; *Vaļā manas nama duris,* | *Vaļā manas* istab*iņas:* | *Veļu māte aizvīluse* | *Manu duru vērājiņu*. BW 27510 (ср. 4124). С *Veļu māte* связаны и другие сходные мотивы: закапывания (*Rokat mani priekš* pusdienas, | *Pēc pusdienas nerokat…* BW 27527, ср. 27526), глубокого рва (BW 27536), холма (*Tev, māmiņ, neiera*sta | *Pirmā nakts smilktainē*. BW 27713, вар. 2; *…Lai var uzkāpt* | *Velīšu kalnā…* BW 27532, ср. 27368, вар. 6 [Kapu kalnu, но и *Veļu kalnu*]; 27804 [*Augsta kalna galiņā*]; 27519, вар. 1; 27414; 27833 и др.). Во

многих случаях *Veļu māte* дублируется другим женским персонажем по имени Nelaima, собств. ʻНесчастьеʼ (: Laima собств. ʻСчастьеʼ), который в свою очередь противопоставляется более дифференцированно описываемому положительному персонажу — Laima [59]. Если Nelaima по отношению к ряду мотивов занимает положение сходное с *Veļu māte*, то Laima, напротив, в тех же мотивах выступает в противоположных по сравнению с *Veļu māte* и Nelaima позициях. В данной ситуации существенно, однако, что и положительный и отрицательный персонажи соотнесены с рядом общих мотивов и что логика конкретных противопоставлений иногда приводит к инвертированным схемам (ср.: *Laima sēd kalniņā | Nelaimīte lējiņā*. BW 1120: холм — низина) . Соотнесение *Veļu māte* со смертью не отделяет, как часто думают, балтийские показания от славянских, а, наоборот, объединяет их, поскольку и в славянском мифологическом персонаже *Vel- мотив связи со смертью, оказывается, играл несравненно бо́льшую роль, чем полагали раньше. Как показали исследования последних лет, этот мотив очевиден и в отношении к Велесу/Волосу, и в отношении к более поздней трансформации этого божества, Николе [60]. Связь со смертью слов этого корня открывается и на иных путях. Ср., напр.: *Кладби́ще называлось: «В о л я». | Да! Песнь о в о л е слышим мы, | Когда могильщик бьет лопатой…* и далее: *Здесь, над могилою, на «Воле»…* (Блок «Возмездие»); польск. wola как топографический термин и Wola как топоним, действительно, нередко соотносимы с кладбищем. Вместе с тем лтш. *vaļa*, по сути дела, может относиться к п а с т б и щ у (о его связи с загробным миром уже говорилось), ср.: *Dievs dod vilkam stulbam būt, | …Tad es* savas, baltas aves | *V a ļ ā laistu pavārtē*. BW 28851 (при таких употреблениях слова, как *laid mani vaļā!* ʻпусти меня!ʼ, *laist vaļā* ʻвыпустить на волюʼ, durvis *ir vaļā* ʻдверь открытаʼ и т. п.). В той же степени указанная связь отражена и языковыми данными. Балт. *Vel- : vel-, кодирующее обозначение царства смерти и самого покойника, обнаруживает надежные параллели в др.-исл. valr ʻмертвый на поле бояʼ (ср. valkyrja [ср. *Veļu māte*] valhǫll ʻжилище воинов, павших на поле бояʼ), тох. A wäl- ʻумиратьʼ, walu ʻмертвыйʼ, лув. ulant-, то же, др.-греч. Ἠ*λύσιον* (ср. Ἠ*λύσιος* в сочетании с *λειμών, πέδιον, χῶρος* в связи с аналогичным употреблением лтш. Vel-, *Veļu māte*) и др. Таким образом, разрыв балтийской традиции с другими индоевропейскими в этом пункте оказывается мнимым. Более того, именно латышские дайны содержат иногда очень точные переклички с архаическим индоевропейским образом царства смерти и мертвых как подземного луга, на котором пасется скот [61]. Ср.: *…Tā māsiņa gavilēja | Veļu govis ganīdama*. BW 27714 ʻ…Это сестрица возликовала (издала крик), пася коров умерших душʼ (где души умерших сопоставлены с коровами). Значение подобных параллелей трудно переоценить. Пасенье коров-душ и соотносимый с ним мотив еды, питья, кормления (ср.:

*Visi ēda, visi dzēra, | Mūs' brālītis vien ne-*ēda; | *Kapa māte bālēliņu | Baltu* smilk*šu ēdināja*. BW 27623) теснейшим образом связывают лтш. *Veļu māte* и вообще, балт. *Vel- как имя божества смерти с слав. Велесом/Волосом, «скотьим богом», пасущим стада на земле и души мертвых (= скот) в подземном царстве (мотив смерти отражен и в лтш. *veļa kauls*, ср. лит. navìkaulis, рус. *навья косточка* и т. п.).

Другим образом смерти в латышских дайнах с участием *Veļu māte* оказывается вода в разных ее видах, включая и слякоть, болото, море, влагу и т. п. Ср., в частности, мотив моря: *Dar', Dievi,* nu, zelta sētu | Visgarāmi *jū*ras ma*las,* | *Lai nevar Ve ļa māte* | *Visu zemi zēģelē*t. BW 27683. Судя по этому фрагменту, *Veļa māte* находится за морем (ср. также лтш. Velna mate); наконец, следует указать мотив, не привлекавший внимания специалистов ни сам по себе, ни в связи с «основным» мифом и засвидетельстованный в собрании Барона: Sasatika Dievs ar Velnu | *Vidū jūras uz akmiņa;* | *Kažoclņi briku* braku, | *Zobeņtiņi šmigu šmagu*. BW 33692 'Встретился Бог с Чортом (Велисом) | Посреди моря, на камне; | Шубы — брик-брак, | Мечи — шмиг-шмаг' (поединок посреди моря). В таком случае латышский мифологический мотив (Vel- на море) до деталей совпадает со старочешским свидетельством о такой же локализации Велеса (ср. проклятие-отсылку XV в.: *někam k Velesu za moř*e. *někam k Velēsit pryč na moř*e, подобно отсылке за море лихорадок, болезней и т. п. в русских заговорах). Мотив моря актуален и для ведийского Варуны (< *Vel-un-), который, собственно, и воплощает собою Мировой океан, лежащий на периферии Вселенной и образующий ее рамку. В последнее время были приведены интересные соображения[62] в пользу дополнительной связи Велеса с морем: упоминание этого божества в клятве князя Олега могло бы объясняться тем, что договор с греками был заключен за морем, и возвращение с дружиной и добычей должно было происходить по морю (в заговоре князя Игоря с греками, заключенным в других условиях, имени Велеса нет). Возможно, что некоторая актуализация мотива Велеса на море объясняется скандинавскими влияниями (ср. связь Велеса с кораблем, а также соотнесение символических изображений на норманнских кораблях с описанием «Сокола-корабля» в русском фольклоре). Характерно, что диахронический преемник Велеса русский Никола также относится к категории «морских богов». С темой воды в специфическом аспекте связана и Nelaima, о которой как своего рода двойнике *Veļu mā*te говорилось уже выше. Вода оказывается и место обитания Nelaima'ы, и местом, куда она старается поместить людей или даже покойников. Ср. мотивы заталкивания-бросания ее в воду: Ej, Laimiņa, tu papriekšu, | Grūd *Nelaimi ūdenī*. BW 1219; *Griezies, Laime atpakaļ,* | *Svied Nelaimi ūdenī*. BW 9212; *Nelaim' mana, nebēdnīca,* | *Man iegrūde ūdenie…* BW 9247; *Ļaudis saka manu Laimi* | *Ūdenī noslīkušu…* BW 9223 (ср. также 9225—9228).

В контексте связи *Veļu māte* с водой показательны данные, относящиеся к уже упоминавшейся македонской Веле, в частности, мотив закрывания («завязывания») вод. Здесь уместно напомнить два круга фактов, а именно: мотив открывания — закрывания дверей в царство мертвых («развязывание» — «завязывание»), где царит *Veļu māte* и семантическую мотивировку имени Laima как ʽта, которая развязывает, разрешает’ (соответственно Nelaima ʽта, которая н е развязывает’, т. е., напротив, ʽсвязывает’). Македонская Вела как раз и выступает как такая «закрывательница» вод: *што собрала до девет к л а д е н ц и, | собрала ги сѐ на едно место, | затвори ги со железни врати, | турила е сребрени катанци!* («Марко шета во гора зелена», 177; в другом месте говорится о 70 реках, 70 источниках и колодцах: *затвори и Вела самовила…* «Три дни шета Марко Кралевиќи», 182). Родственный персонаж *Вида-самовила* прячет 12 ручьев, заключая их в сухое дерево с зеленой вершиной. Но обладание Велы водой безблагодатно: плодоносящие потенции воды остаются нераскрытыми (ср. мотив страдания от жажды кралевича Марко), и целью положительного мифологического персонажа становится освобождение вод, раскрытие их на благо растениям, животным и человеку. Именно этим мотивом, сопровождаемым убийством Велы [63], оканчивается сюжет о виле-водарице (водяной виле-Веле), обнаруживающий самую тесную связь с мифами о Вритре и Вале (*Vel-), а также других демонических существах, удерживающих воду (ср. тему преграды, затора воды в мифе о ведийском Вритре, само имя которого выражет эти смыслы [64], и инвертированный вариант той же темы в BW 27683). Любопытно, что и лтш. Velns и лит. Velnias связаны с водой: с одной стороны, этот Vel- персонаж прячется от преследований Громовержца в воду, с другой, он сам, согласно ряду данных, доставляет воду, орошает ниву дождем и т. п.; он же связан с так называемыми «сырыми» деревьями [65] (ольха, ель и др.; а с елью связана и макед. Вела [66]), см. выше мотив заключения воды в сухое дерево с зеленой вершиной. В этой последней ситуации уже просвечивает характерная амбивалентность самого образа воды (ср. различение живой и мертвой воды, т. е. воды жизни и воды смерти), которая хорошо прослеживается и в разных воплощениях мифологического персонажа с именем *Vel- (ср. тему скота, растений, пищи, богатства, плодоносного дождя и т. п., отраженную косвенно и в латышских народных песнях, и в образе русского Велеса-Волоса, но здесь не рассматриваемую).

Та же амбивалентность постоянна в мотиве брака (жениха и невесты): брак как смерть и смерть как брак (ср. также сходные черты похоронного и свадебного ритуалов). Можно напомнить характерные фрагменты этой схемы: *Visi radeņi, nòcit, | Kad as jémšu ļaudaveņu | …Visi radeņi, nòcit, | Man’ Veļôs vadédami*. BW 27431, вар. 3 или: *Tautu dēls lielījās: | Cerē mani tautu*

meita. | *Cerē tevi Veļa māte,* | *Es gan tevi necerēšu*. BW 10789. Мотив преждевременной смерти в юности (*Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ,* | Kaut es jauna nomiruse! BW 27304) имеет тот же глубинный смысл парадоксального контакта жизни и смерти, что подтверждается дайнами типа BW 27798: *Lietiņš lija saulīte:* | *Velēnieši kāzas dzēra.* | Mans b*āliņs* jauns nomira, | *Veļas ņēma līgaviņu* (ср. вар. 1, где выступают дочери Солнца — Saules meitas). Эти факты приобретают тем большее значение, что одна из версий «основного» мифа как раз и разрабатывает тему преждевременной смерти ради будущего возрождения и процветания. Более того, во всех версиях этого мифа соответствующая идея составляет его главный смысл. В этой связи необходим учет и таких текстов, как BW 4975, в которых можно усмотреть инверсию этой темы (неслучайность подобных тем подтверждается многими аналогиями в ряде архаических традиций): *Bāriņš kāpa debesī*s | Pa *ozola zariņiem,* | *Pavaicāti Dieviņam,* | Kur *palika tēvs, māmiņa* ʽСиротка влез на небо | По ветвям дуба | Спросить Бога, | Где остались отец, матушка’. Отмеченная амбивалентность в дайнах с участием *Veļu māte* и родственных ей персонажей находит для своего выражения разные приемы, из которых здесь будут обозначены лишь два типа: ср. *Š ū p o mani, māmuliņa,* | Neba mani daudz *š ū p o s* i, | *Š ū p o s mani Zemes māte* | Apak*š zaļa velēniņa*. BW 27406 ʽКачай меня, матушка, | Недолго будешь меня качать; | Мать Земли будет меня качать | Под зеленой дерновиной’, (ср. 9276, отчасти 1218 и др.) и: *Veļa māte priecājās,* | Kapu *viršu dancodama:* | *Gan dēliņu arājiņu,* | Gan me*itiņu malējiņu*. BW 27537 ʽМать усопших душ радовалась, | Пляша поверх могилы: | Довольно (у нее) сынков-пахарьков, Довольно дочек-мукомолочек!’ (ср. 27538—27540, 27699, 27799 и др.; в других случаях мотив радости уравновешивается мотивом плача, горьких слез). Что же касается мотива качания, укачивания (в связи с «подвешенным» состоянием), пляски, то он не только отражает некую ритуальную реальность (ср. *līgo* как припев в латышских народных песнях, исполняемых на Иванов день, и соответствующий ритуал, ср. *līgot* ʽколыхать (ся)’, ʽкачать(ся)’, ʽколебаться’ и т. п.), но и находит точное соответствие в русск. *волноваться* (ср. лтш. vilnît лит. vilnyti ʽволноваться’, о воде и др.), в котором в конечном счете скрывается тот же корень *vel-, что и в рассматриваемых мифологических именах. Сочетание мотивов волнения (о водной поверхности) моря как первичных вод, ребенка (ср. щемящее: *Māmuliņa, māmuliņa,* | *Tavs bērniņis vairs nebūšu:* | *Tikko acis kopā gāja,* | *Tūlīt Veļi aicināja*. BW 27364 ʽМатушка, матушка, | Я не буду больше твоим дитятей: | Как только закроются глаза, | Тотчас позовут души усопших’), взаимопроникновения жизни и смерти, эротического стремления («воля — желание») и т. п., обнаруживаемое в разных версиях текстов о мифологическом персонаже *Vel-, открывает — на большей глубине — перспективу соотнесения этой темы со сходным комплексом идей («пра-

дитя», зародыш в волнующихся водах и т. п.), развитых, в частности, в связи с Дионисом, который и в других отношениях может отражать исходную схему, представленную и в и.-евр. *Vel- (ср., между прочим, пару вода-огонь в обоих случаях)[67].

Разумеется, вклад латышских дайн в общую панораму мотивов, связанных с *Vel-, не исчерпывается сказанным выше. Впрочем, не подлежит сомнению глубокая укорененность продемонстрированных до сих пор примеров в общем наследии индоевропейских архаичных мифологических текстов. Она очевидна и на языковом уровне — от уровня поэтических фигур и формул до уровня звукового символизма. Вскрытым ранее примерам анаграмм и других звуковых притяжений в фрагментах текстов, относящихся к Громовержцу, могут быть поставлены в соответствие фрагменты с участием противоположного ему персонажа по имени *Vel-[68], обнаруживающие сходные явления. Достаточно назвать лишь несколько примеров подобной звуковой «игры»: **Vaļa manas nama** duris, | **Vala manas** *istabiņas*: | **Veļu mā**te aiz**vīl**use | **Man**u *duru verājiņu*, BW 27510; Ai, bag**āta Veļa māt**e, | Nokauj **man**u **v***ira mā***t**i, | Tad **man** *būs s*ava **vaļa** | **At***slēdziņas skandin***āt** BW 23177 (ср. соотнесение Волоса через болезнь с божьей волей); Es **t***ā* go**d**u negai**d***īju*, | Ne**vel***ēju* ga**ld***autiņu*; | **Veļ**u m**āte**, **tā** gai**d***īja*, | **Tā vel***ēja* ga**ld***autiņu*. BW 27432; Ci**ta**s mei**ta**s go**d**a gai**d**a, | *Kā***d**a go**d**a es gai**d***īju?* | *Es gaidīju Veļu* m**āt***es*... BW 10999 (ср. 27529, 27536 и др.) и т. п. Характерные сочетания *Veļu māte* с *vaļa*, *velēt* ʻжелатьʼ и др. дополняются такими конструкциями в близком цикле, как лтш. Laima & lemt (Vēl, Dieviņ, lem, Laimiņ, | *Man jel labu arāiiņu*. BW 9486, вар. 1; ср. 28600 и др., ср. сам мотив, передаваемый как «Laima nolemj meitai precinieku»), которое в данном случае одновременно выступает и как формула важного мотива, и как figura etimologica. В свете балтийских реконструкций заслуживает внимания точная параллель в литовской мифопоэтической и мифологизированной юридической традиции Laima & lemti как формула решения судьбы-счастья, проанализированная недавно Греймасом (Laima lemia)[69]. Балт. формула *Laima & *lem- покрывает собой ту органическую метаморфичность жизни и смерти, счастья и несчастья созидания и разрушения, творца и творения, которая так свойственна латышской мифопоэтической модели мира и, в частности, связана с корнем *Vel- : *vel-. Собрание латышских народных песен Барона открывает кратчайший путь к познанию и прочувствованию этого удивительного взгляда на мир.

Примечания

[1] Ср.: «Šis Barona mūža darbs būs visai latviešu un viņam pasam — monumentum aere *pe*rennius», см.: J. Endzelīns. Kr. Barons un H. Visendorfs. Latvju dainas. II. Pēterburgā, 1903. — Austrums. 1904. VII. 1. 553 (= Ceļi. 1935. VI. 1. 40 ; J. *Endzelīns.* Darbu izlase. I. Rīgā, 1971. 1. 671). Сходный мотив «quod non … possit diruere…» подчеркнут и в поздравительном письме, которое направил К. Барону по случаю завершения публикации «Latvju dainas» и его соиздатель и помощник Г. Виссендорф: «Sveicinu ar milzu darba pabeigšanu. Par to Jums tauta būs mūžam pateicīga … Šis dziesmas ir glābtas no pazušanas un aizmiršanas».

[2] О роли песенного творчества у латышей сообщается уже в источнике, относящемся к первой половине XVII в., — в мениевской «Syntagma de origine Livonorum» (1632). Но и через два века авторитетный свидетель напишет: «Действительно, трудно было бы найти теперь в Европе народ, который в такой степени заслуживал бы имени народа певцов, и край, который в такой степени заслуживал бы имени песенного края, как латышский народ и латышский край» и несколько далее: «Каждый латыш прирожденный певец, каждый складывает куплеты и песни, каждый умеет их петь». (J. Kohl. Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen. T. 2. Dresden; Leipzig, 1841. S. 119, 122). Перечень подобных свидетельств нетрудно продолжить.

[3] Ср.: «Viņa māsa Marija … zināiusi daudz tautasdziesmu un pulkā (svētkos u. c.) arvien bijusi pirmā dziedātāja, priekšdziedātāja» (из воспоминаний Фр. Дравниека, сына сестры Барона). Цит. по: K. *Arājs.* Krišjāņa Barona folkloristikās darbības meti // Krišjāņa Barona piemiņai. Raksti. Latvijas Zinātņu Akadēmija. Valodas un literatūras institūts. XV. Rīgā, 1962. 1. 7.

[4] Барон писал, что еще в детстве он почувствовал «…sevišku mīlestību pret tautas poēziju — tautas dziesmām» (см.: Krišjāņa Barona atmiņas. Riga, 1924. 1. 183). Существенна внутренняя форма эпитета *sevišks* ʽособый, особенный’, выявляемая из сопоставления с sevis ʽсебя’, — «особое» как в с е б е самом коренящееся и из с е б я самого выводимое; связь с *mīlestība* ʽлюбовь’ отсылает к тому комплексу интимнодомашнего, родного (heimisch), в котором «особое» понимается как «свое», поскольку оно результат исхождения из самого себя и вслушивания в себя, в «свое».

[5] См.: R. Mühlberg. Probe einer estnischen und deutschen Übersetzung der Kalevala // Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zuDorpat. Bd. I. H. 1. S. 25—37.

[6] Ср.: «Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti».

[7] Еще в 1866 г. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии объявило конкурс на исследования по двум темам — «Описание какой-либо нерусской народности» и «История этнографического исследования народов, населяющих Россию». Работа Барона и была откликом на это предложение. См. о ней: K. Egle. Krišjāņa Barona bibliogrāfiskais daibs // Raksti. 1962. XV. 1. S. 61—63.

[8] В своих «Воспоминаниях» Барон особо говорит о знакомстве с Иваном Владимировичем Станкевичем, братом известного в анналах русской культуры Николая Владимировича Станкевича (а также Александра Владимировича). Ср. из недавних работ: *О. Ласунский.* Кришьянис Барон на воронежской земле. Даугава, 1984. № 7. С. 118—125.

[9] Интересные детали к «московской» теме в связи с Кр. Бароном см. в статье: A. *Bandrevičs.* Krišjānis Barons Maskavā // Latvijas Vēstnesis (приложение). 1923. S. 7.

[10] В 1881 г. Барон был избран действительным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии по отделу этнографии.

[11] См.: Kr. Barons. Latvju dainu izlase. I—IV. Riga, 1920—1924.

[12] См.: Dziesmu rotas. I—VII. 1872—1884; с одной стороны, и: J. Citnze. Dziesmu rota jauktiem koriem. Rīgā, 1914; Idem. Dziesmu rota vīru koriem. Rīgā, 1914.

[13] См.: V. Greble. Latviešu tautasdziesmu tekstu rediģēšanas galvenie principi «Dziesmu rotas» 1914 gada izdevumos // Raksti. 1962. XV. 1. S. 50—60.

[14] Общее представление о деятельности Барона можно составить как по списку его сочинений и публикаций, так и по обширной литературе о нем. Ср.: Latviešu pirmspadomiju literatūra. Bibliogrāfinis rāditajs. Rīgā, 1980. 1. S. 44—54 (Dzeja. Proza. Sarakste. 1. S. 46—48); Krišjāņa Barona piemiņai. Rīgā, 1962; *Ž.* Unarm. Kr. Barons un viņa mūža darbs. Rīgā, 1935; J. A. Jansons. Kr. Barona vieta mūsu kultūras dzīvē // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1935. S. 10; K. Karulis. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. Rīgā, 1967. 1. S. 110 и др., не говоря уж о последних публикациях, появившихся в Латвии и за границей в связи с юбилейной датой (тема «Latvju dainas» многократно возникает в докладах последней международной конференции балтистов, см.: Ninth Conference on Baltic Studies. Montréal, 1984: далее — 9 Conf. BSt.). Следует иметь в виду и те многочисленные работы, которые посвящены влиянию трудов Кр. Барона на различные области латышской культуры. В связи с темой «Latvju dainas» особенно важно их отражение в музыкальной культуре, начиная от параллельных Барону опытов Андрея Юрьяна (ср. «Latvju tautas muzikas materiālu» 1894) через творчество Язепа Витола (ср. также хоровую песню «Upe un cilvēka dzīve» на текст Барона, 1903), Эмиля Дарзиня, Альфреда Калныня, Эмиля Мелнгайлиса и др. — вплоть до композиторов наших дней. См. подробнее: J. *Vītoliņš.* Tautasdziesma latviešu muzikas kultūrā un Kr. Barona saiknes ar latviešu muziku // Raksti. 1962. XV. 1. S. 44—49 и др.

[15] Интерес Гердера к народной песне подтверждается целым рядом его работ («Alte Volkslieder». 1774, «Volkslieder». 1778, 1779; «Stimme der Völker in Liedern». 1807); сам термин «народная песня» («Volkslied») был введен именно им (ср. «Über Ossian und die Lieder alter Völker». 1773). Не подлежит сомнению знакомство Гердера и с латышскими народными песнями. Между прочим он упоминает об особенностях их исполнения в одной из работ рижского периода своей деятельности. См.: J. G. Herder. Fragmente über die neuere deutsche Literatur. Bd. 1—3. Riga, 1766—1767.

[16] Печальных примеров этого рода, к несчастью, много. Один из них — *А. Я. Озол.* Методы фольклористической работы в области латышских народных песен во II половине XIX века. Рига, 1950 (Автореф. канд. дис., перепечатано в кн.: A. Ozols. Raksti folkloristikā. Rīgā, 1968. 1. S. 179—180).

[17] Ср.только основные издания: [G. Bergmann.] Erste Sammlung lettischer Sinngedichte. Ruien, 1807; [Idem.] Zweyte Sammlung lettischer Sinn- oder Stegreifs Gedichte. Ruien, 1808; [F. D. Wahr.] Palcmaricšu dziesmu krājums. [Rūjienā. 1807]; [G. F. Buettner.] Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes. Latviešu tautai un viņas draugiem sagādātas no Latviešu draugu biedrības // MLLG. 1844. Bd. VIII (Mitau); [J. Zvaigznite.] Sēta, daba, pasaule. Trešā grāmata. Tērbatā, 1860; *И. Спрогис.* Памятники латышского народного творчества. Вильна, 1868; C. Plater, G. Manteuffel. Lettishe Volkslieder //

MLLG. 1869. Bd. XIV. S. 2; *Ф. Бривземниекс.* // Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах, ей прилежащих, издаваемый В. А. Дашковым. Кн. II. М., 1873; [A. Bielensteins.] Latviešu tautas dziesmas. I—II. Leipcigā, 1874—1875; [J. Vilsons.] Tautas dziesmas, sakrātas Ventas krastos, Leišmalē. Liepājā, 1876; *Āronu Matīss.* Mūsu tautas dziesmas. Rīgā, 1888; [*Graudiņu Kārlis.*] Rakstu krājums, izdots no RLB Zinību komísijas. 5. Rakstu krājums. Latviešu tautas dziesmas. Jelgavā, 1889; Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums. I. Tautas dziesmu virknes. Jelgavā, 1890; *Э. Вольтер*. Материалы для этнографии Латышского племени Витебской губернии. I. СПб., 1890; S. Ulanowska. Łotysze Inflant Polskich, a w szczególności z gminy Welónskiej powiatu Rzeżyckiego. I—II. Kraków, 1891—1892 (= Zbiór antropologii krajowej. XV). См. также: J. Straubergs. Latviešu pirmās dziesmu grāmatas. Rīgā, 1936. — В этих изданиях (не считая сборника 1876 г., оказавшегося недоступным) содержится 16 848 текстов латышских народных песен, собранных из разных мест. Для уровня накопления материала к концу XIX в. эта цифра должна быть признана весьма внушительной. Наконец, следует помнить о музыкально-песенных публикациях (см. J. Cimze. Op. cit. 1872—1884) и рукописных собраниях. Среди последних особое значение должно принадлежать «Kurische Nationallieder» (Ein Abschrift für das Bibliothek der Lettischen Literärischen Gesellschaft), рукописи пастора В. Ф. Вагнера, содержащей 412 песен и относящейся к периоду между 1808 и 1814 гг. В настоящее время рукопись хранится в Отделе редких книг и рукописей Фундаментальной библиотеки Академии наук в Риге (фонд № 5390а). Подавляющее большинство содержащихся в собрании Вагнера песен позже, в 30—40-е годы XIX в., вошло в битнеровскую рукопись «Lettische Volkslieder». Подробнее см.: V. Greble. Latviešu tautasdziesmu manuskripts «Kurische Nationallieder» un tā gaitas // Raksti. 1962. XV. 1. S. 64—73. — Издание неопубликованных сборников латышских народных песен, как и ранних из опубликованных, относится к числу насущных задач сегодняшей латышской фольклористики. — Пробудившейся в начале XIX в. интерес к песенному творчеству не ограничивался народной песней; ср. большой успех песен «латышского Гомера» — Слепого Индрикиса (Ta neredzīga Indriķa Dziesmas. Jelgavā, 1806; 2-е изд. — 1862), см.: K. Karulis. Op. cit. 1. S. 66—67. — О первой публикации латышской народной песни см.: K. *Draviņš.* Das älteste gedruckte lettische Volkslied // Språkliga Bidrag, 1953. V. 1. № 3. S. 65—69 (перепечатано в кн.: K. D*raviņš.* Altlettische Schriften und Verfasser. I. Lund. 1965. S. 46—50).

[18] Появление «Latvju dainas» вызвало исключительную интенсификацию собирательской, издательской и исследовательской работы в этой области и широкое распространение интереса (не только «потребительского») к народной песне и связанной с нею проблематикой. Здесь уместно назвать основные издания латышских народных песен в XX в. Ср.: Latvju dainas Kr. Barona un H. Vissendorffa izdotas. I—VI. Jelgavā; Pētersburgā, 1894—1915 [*Хр. Барон и Г. Виссендорф*. Латышские народные песни. Т. I—VI. Митава — Петербург, 1894—1915]; Tautas dziesmas (Papildinājums Kr. Barona «Latvju Dainām»). Prof. P. Šmita redakcijā. I—IV. Rīgā, 1936—1939 (в редактировании тома IV принимал участие К. Страуберг); J. Endzelīns. un R. Klausti*ņš.* Latvju tautas dainas. 1—12. Rīgā, 1928—1932; L. B*ērziņš.* Latvju dainas. Pamatdziesmas. 1—6. Rīgā, 1928—1932; Latvju tautasdziesmas. Izlase. 1—3. Rīgā, 1955—1957; Latviešu tautasdziesmas. 1—5. Rīgā, 1979—1983; Latviešu tautasdziesmas. Red. prof. A. *Švā*be, K. Straubergs,

E. Hauzenberg-Šturma. I—XII. Kopenhāgenā, 1952—1956 и др. — О латышской народной песне см.: J. Lautenbachs. Latviešu literatūras vēsture. II daļa. Rīgā, 1928. 1. S. 110 ff.; A. Ozols. Tautas dziesmu literatūras bibliografija. Rīgā, 1938; из более поздних работ ср.: L. *Bērziņš.* Ievads latviešu tautas dzejā. I daļa. Metrika un stilistika. Rīgā, 1948; J. Niedre. Latviešu folklora. Rīgā, 1948; Idem. Krišjāņa Barona «Latvju Dainas» un latviešu folkloristu uzdevumi // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1948. 3; Latviešu literatūras vēsture. I. Rīgā, 1959. 1. S. 22—158 (с библиографией); A. Ozols. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīgā, 1961; Idem. Raksti folkloristikā. Rīgā, 1968; K. Arājs. Op. cit.; Latviešu tautasdziesmas. 1. Sējums. Rīgā, 1979 («Ceļavārdi dziesmai».1. V—XXÏ) и др.

[19] Происходящий при этом акт н а х о ж д е н и я нового решения, р о ж д е н и я (уместно напомнить о глубинной связи идей «знания» и «рождения», кодируемых одним корнем — и.-евр. **ǵen-*) в принципе отрицает энтропические тенденции.

[20] Ср. древнеиндийский синтетический мифологизированный.образ трех функций времени — Тримурти (созидание — Брахма, хранение — Вишну, разрушение — Шива) в его отношениях к «вещной» структуре мира (творение).

[21] «Uz šo Latvju Dabiu pamata nu varēja rasties un rodos latviešu filoloģija» (J. *Endzelīns.* Krišjāņa Barona nozīme latviešu filoloģijā // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1935. № 11. 1. S. 439. — Взгляд на «Latvju dainas» как на основу латышской филологии нуждается в некотором разъяснении. Они могут рассматриваться как основа по крайней мере в двух отношениях: как и с х о д н ы й м а т е р и а л (источник) — языковой, текстовый, фольклорный, — на котором прежде всего с наибольшими основаниями складывалась латышская филология, и как своего рода о п ы т н о е п о л е, где вырабатывались, опробовались и получали санкцию методы и приемы лингвистического, текстологического, фольклористического и т. п. исследования, в сумме своей составляющие «инструментальную» основу филологической науки. Многочисленные исследования «Latvju dainas» (и примыкающих к ним песенных текстов) посвящены чаще всего их языку (между прочим, и выявлению степени аутентичности системы записи Барона реальному произношению в Данном говоре), их роли в формировании латышского литературного языка, метрике, поэтике, проблемам классификации и разного рода интерпретациям этих песен. Помимо уже указанных работ ср.: J. *Endzelīns.* Mūsu tautas dziesmu valoda // Latvju tautas daiņas 10. Rīgā, 1932; K. *Arājs.* Par Kr. Barona «Latvju Dainās» iespiesto tautasdziesmu tekstu saskaņu ar oriģinaliem // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūta raksti. 1958. XI sējmus; A. Ozols. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīgā, 1961; Idem. Par latviešu tautasdziesmām // A. Ozols. Raksti folkloristikā. Rīgā, 1961; Idem. Interpunkcija «Latvju Dainās» // Ibidem и др.; A. Breidaks. Latgaliešu tautas dziesmu fonētikas jautajumi // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1974. № 10; L. Muizniece. The poetic «I» and its relationship to other pronominal referents in Latvian Folk Songs // 9 Conf. BSt.; V. *Rūķe-Draviņa.* The Apple-Tree in Latvian Folk-Songs // Ibidem и др. — Заслуживают внимания начинающиеся опыты исследований «Latvju dainas» в аспекте информатики. Ср.: I. Freiberg. Dépistage et accessibilité des Dainas lettonnes dans la collection informatisée // 9 Conf. BSt. 1. Ык 70; V. Vikis-Freibergis. Identification, segmentation and clustering of texts and Barons' system of classification // Ibidem. 1. P. 73 и др.

[22] О значении «Latvju dainas» для специалистов в области латышской мифологии (можно было бы прибавить — балтийской и индоевропейской) не раз упоминал Энд-

зелин, см.: J. *Endzelīns.* Darbu izlase. I. Rīgā, 1971. 1. S. 678; II. 1974. 1. S. 736; ср. также: J. Lautenbachs. Op. cit. II; P. *Šmits.* Latviešu mitoloģija. Rīgā, 1926 и др. Особо следует отметить значение этого песенного собрания для фундаментальных исследований Биезайса по латышской мифологии.

[23] Иногда в возрождении фольклора и приобщении к нему видят особый тип жизненного движения, ср.: «dzīves ziņas kustība» (Chr. Jaremko, G. Inguna. The Folklore Movement as an Alternative Way of Life in Latvia // 9 Cont. BSt. P. 12—13; и др.).

[24] При этом возвращении обычно учитываются и последние достижения науки и искусства, связанные так или иначе с обращением к мифопоэтическому — или в его основном локусе (архаичные традиции), или в аналогах мифопоэтическому в сфере бессознательного (архетипический слой).

[25] Ср.: J. *Rudzītis.* Raiņa folkloristiko interešu un uzkatu izaugsme // Raksti. 1962. XV. 1. S. 152—172 и др. См. также: P. Birkerts. Rainis ka folklorists // Folklora Instituta Raksti. 1950. 1. 1. S. 12 ff.

[26] В ряде случаев «фольклоризм» ориентируется на достижения в области изобразительных искусств (ср. живопись Чюрлёниса) или даже на искусствоведческие анализы конкретных произведений, стилей, школ. Иногда «фольклорное» и «научное» взаимно одаривают друг друга. Как историк искусства Юргис Балтрушайтис, сын поэта, многим обязан разным мифопоэтическим традициям. В своих искусствоведческих исследованиях (ср. Aberrations 1957, 1983; Le moyen âge fantastique. 1955; Réveils et Prodiges. 1960; Anamorphic Art. 1977 и др.) он как бы возвращает свой долг: «неофольклоризм» мог бы найти здесь для себя немало важного. Ср. недавний подступ к теме: S. *Goštautas.* Jurgis Baltrušaitis: The Art Historian and the Fantastic // 9 Conf. BSt. I. P. 45—46.

[27] Обращает на себя внимание «двуступенчатость» воплощения «балтийской» темы у О. Милоша: с о б с т в е н н а я п о э з и я, в которой в силу строгих самоограничений «балтийское» отражается в минимализированном масштабе и нередко в виде неопределенного намека (и уж никак не «этнографически»), и «п е р е в о д ы» на французский язык литовских народных песен, сказок, преданий, в которых главной является установка на творческую рекреацию того, что лежит за переводимыми текстами. Ср. из последних работ: P. Garnier. Les dainos, les contes lituaniens, la Litunie dans l'oeuvre de O. V. Milosz // 9 Cenf. BSt. 1. P. 45; M. Guiney. Milosz and the Symbolists // Ibidem. 1. S. 46; G. J. Troncone. Dainos — une étude stylistique // Ibidem. 1. S. 51—52; R. Vernier. Milosz: sa voix propre // Ibidem. 1. S. 52—53 и др. Тем не менее разработка «литовской» темы в поэзии О. Милоша находится еще в самом начале. При распространенности ностальгических вариантов мифа (а иногда и отсылающих к сфере мистического, ср. «ареально» близкую поэзию Ч. Милоша) известны и противоположные версии, ср. пьесы последователя Ионеско К. Остраускаса; см. I. *Gražytė*-Mazilauskas. Variations on the Theme of Death and the Perversions of Language in the Plays of Kostas Ostrauskas // 9 Conf. BSt. 1. S. 46.

[28] И в этом случае выступает уже указанная «двуступенчатость». С одной стороны, «Contes Lithuaniens» (1936, после чего последовало еще четыре издания), с другой, серия книг о Литве: «Sous le ciel pâle du Lithuanie» (1926), «Gens et Routes de Lithuanie» (1931), «Le pays du Chevalier blanc», «Littérature lithuanienne» (1938), «Le

rayonnement de la France en Lithuanie» (1939). См. также: L. Alssen. «Contes Lithuaniens»: Lithuanian Folk Tales as Retold by Jean Mauclère // 9 Conf. BSt. 1. S. 11.

[29] Ср.: G. Simenon. Pictr-le-Letton (1932); J. Audiberti. Le Mal court (1948), B. Poirot-Delpech. La Folle de Lithuanie (1970), H. Guigonnat. Démon en Lithuanie (1973). См.: B. Cap. Le Mythe balte dans la littérature française du 20-e siècle // 9 Conf. BSt. 1. S. 43 и др. — Корни балтийского мифа этого типа в конечном счете восходят к XIV в., к Фруассару («le mythe de la croisade»), см.: P. F. Zembowski. Jean Froissart and his Meliador. Context, Craft, and Sense. 1983; Idem. Reflets chevaleresques du Nord-Est dans la littérature française du XIV-e siècle: Froissart et sa ʻrese' lithuanienne // 9 Conf. BSt. 1. S. 44.

[30] Ср. балтийскую топику в стихах и прозе Бобровского. См.: *В. В. Иванов.* Прусские и литовские мотивы в творчестве Бобровского // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984.

[31] Есть основания думать, что значение исследований в этой области недооценивается, а сами занятия ею не поощряются. Эта ситуация нуждается в изменении. Расцвет исследований по индоевропейской мифологии (кстати, существуют основательные работы и по латышской мифологии — Биезайс, Нейланд и др.) делает особенно необходимой организацию изучения латышских мифологических данных в Латвии.

[32] См.: *К. Скуениек.* Живая даль. Размышления о некоторых пластах народной песни. Даугава, 1984. № 7. С. 103—109.

[33] О чем, например, можно судить по выборке соответствующих текстов из собрания Барона в кн.: Les chansons mythologiques lettonnes. Par M. Jonval. Paris, 1929. — Последовательность песен в этой книге, являющаяся результатом поставленных составителем практически-классификационных задач, неожиданно открывает и другой (наряду с восстановленным Пумпуром) тип эпоса — повествование о божественных деяниях, подлинностью, конечно, превосходящий реконструкцию, представленную «Лачплесисом»; в этом эпосе о божественных деяниях, как он представлен в названной антологии, не вполне достоверно лишь с о е д и н е н и е отдельных песен в цепи, хотя в целом и оно представляется весьма вероятным. Разумеется, возможно и более широкое понимание всех текстов «Latvju dainas» в целом как эпопеи: «Все эти четверостишия и шестистишия, вместе взятые, представляют собою грандиозную лирическую эпопею крестьянского быта прошлых столетий» (J. *Endzelīns.* Darbu izlase. II. 1. S. 733).

[34] Ритуальные песни также подверстываются в том «трудовых» песен (ср. 4. sējums. Darba dziesmas). Об основах этого собрания песен см.: *Я. Б. Дарбиниеце.* Основные теоретические принципы подготовки научного издания «Латышские народные песни» // Народное песенное наследие и современность. Рига, 1984. С. 81—92.

[35] В последние десятилетия не раз раздавались упреки в адрес именно классификации песен в сборнике Барона. Некоторые из этих упреков справедливы, хотя следует помнить, что эта классификация отличается практической трезвостью, превосходит (как правило) многие другие опыты этого рода и заслужила положительную оценку наиболее компетентных исследователей. Так, разбирая вопрос об основах классификации в «Latvju dainas», Эндзелин писал в 1916 г.: «Принцип группировки песен в зависимости от обстановки и времени их пения считаю в данном случае весьма правильным, так как при такой группировке уже само место, где по-

мещена та или другая песня, до некоторой степени поясняет смысл и значение ее…» (J. Endzel*īns.* Darbu izlase. II. I. S. 732). Современная исследовательница, специально занимающаяся проблемами классификации в собрании Барона во всеоружии новейших методов информационного поиска и классификации, оценивает эту сторону деятельности Барона еще выше: «The system of classification and text referencing developed by Kr. Baron for publication of his Latvju dainas is a m a s t e r f u l s o l u t i o n to many practical problems posed by the sheer quantity of texts to be presented, as well as by their practically overlapping nature. In absence of anything resembling a theory of discourse to guide him, Baron's solution, while b r i l l i a n t, was purely intuitive and empirical. 150 years later the unprecedented flexibility of text manipulation offered by information technology opens up new vistas of empirical analysis which promise to contribute to a better theoretical understanding of the structure of oral poetic discourse» (V. Vikis-Freibergis. Op. cit. P. 73. — здесь же изложение техники «segmentation and clustering» текста в лаборатории, анализирующей различные аспекты структуры «Latvju dainas»).

[36] Впрочем, и «синхрония» в ряде случаев оказывается слишком покладистой. Основная масса латышских народных песен возникла, согласно П. Шмиту (см.: Rakstu krājums. XIV. S. 101 ff.; Etnografisku rakstu krajums. I. S. 18 ff., 27 ff., 128 ff. и др.) и ряду других ученых, в XIII—XVI вв., что определяется, главным образом, по наличию некоторых «культурных» индексов в песнях, имеющих диагностическое значение в плане хронологии. Но в ситуации «почти» остановившегося времени эти новые элементы монтируются со старыми, возникшими несравненно раньше (в частности в индоевропейскую эпоху, когда они находились в рамках совсем иной синхронии). Отсюда — сопряжения в песнях совсем различных временных пластов (напр. Рига и Перконс-Диевиньш).

[37] На основании выборки, сделанной Жонвалем из мифологических песен собрания Барона, легко заключить о преобладающем характере четверостиший. Так, в цикле Перконса они представлены 31 примером (шестистишия — 4 примера, восьмистишие — одно; один раз отмечен текст из 22 стахов); в цикле Велю Мате 35 четверостиший (при двух шестистишиях и одном восьмистишии). При этом характерно, что более чем четверостишные тексты обычно выступают как варианты текстов из четырех стихов или же относительно легко выводятся из них с помощью операции «вставления» факультативных стихов. К сожалению, до сих пор не были должным образом проанализированы «длинные» песни (более чем восьмистишные), так и не выработавшие себе соответствующего стандарта в латышской традиции. По предварительным наблюдениям, эти «длинные» песни, нередко сохраняющие очевидные следы связи с короткими «стандартными» формами, бросают свет как на происхождение литовских мифологических песен (ср., напр., *Rėza.* I. № 27: Mėnesio svodba. 62; Aušrinė. 78: Saulė и т. п.), так и на происхождение славянских форм мифологического эпоса.

[38] См.: M. Dillon. Celts and Aryan. Indiana Univ., 1975 и др. — Следует обратить внимание еще на один способ развертывания исходного ядра в «длинный» текст посредством серии повторяющихся в о п р о с о в (ср., напр., BW 32553: пять четверостиший с двумя вопросами в каждом; один из них — «сквозной»: *Kā Dievinš tev līdzēja*?).

[39] К сожалению, сведений этого рода явно не хватает, поскольку фольклористы чаще всего склонны фиксировать собственно текстовую часть, пренебрегая коммен-

тарием, подступом, мотивировкой — одним словом, всем тем, что гетсрогенно по отношению к поэтическому ядру текста. В этом проявляется различие между позицией собирателя-исследователя, слишком узко описывающего объект своего изучения, который иногда непоправимо изолируется от своей «родимой» среды (всего контекста ритуализованного поведения), и установкой самой мифопоэтической традиции, рассматривающей текст лишь как часть (хотя иногда и наиболее важную) текстового и внетекстового целого. — О соотношении самостоятельности каждой из дайн и связи с целым трудно сказать лучше, чем это сделал сам К. Барон: «Еще раз настойчиво напоминаю, что каждая из наших кратких песен упрямо отстаивает свою самостоятельность, как бы ни была она прочно связана с другими в одно ожерелье. Каждая имеет свое цельное, полноценное, круглое смысловое ядро, которое облачено, в свою очередь, в гладко-прилегающую, круглую форму, что доступно лишь истинному поэту с безупречным вкусом. Каждая из них — литая, круглая песенная жемчужина, любое другое украшение рядом с нею нарочито и только нарушает ее подлинную красоту».

[40] Другой вариант — дактилическая схема — встречается значительно реже. Иногда хореические и дактилические стихи выступают попеременно в одной и той же песне.

[41] Ср. частое противопоставление первой половины стихотворения второй (соответственно первого стиха второму) по признаку «природное» («картинка») — «сюжетное» (действие субъекта), ср., напр.: *Saule brauca gar kalniņu* <...> | *Pakaļ nāca Dieva dēlis* ... (восхождение солнца — возвращение Божьего сына) и т. п.

[42] Ср. тяготение к схемам типа x—y|x—z или x—x|y—z, напр.: *Žẽlu* õ, dìevs! *žęlu õ, laĩme!* (BW 17349) или *precẽ* mani prece nieki (BW 15705) в одном случае и balta, balta *viešņa nāca* (BW 4976, 3 var.) или Sper, *Pēr* koni, sausu koku (BW 33716) в другом случае.

[43] Ср.: C. Watkins. Indo-European metrics and archaic Irish verse // Celtica. 1963. № 6. P. 194—249; T. Cole. The Saturnian verse // Studies in Latin poetry. Cambridge, Mass., 1969. P. 1—75; M. L. West. Indo-European metre // Glotta. 1973. Bd. 51. P. 161—187; G. Nagy. Comparative Studies in Greek and Indie meter. Cambridje, Mass., 1974; *В. В. Иванов.* К проблеме следов древнейшего литературного языка у славян // Славянское и балканское языкознание. М., 1979. С. 24—25; *Он же.* Происхождение древнегреческих эпических формул и метрических схем текстов // Структура текста. М., 1980. С. 67—72 и др.

[44] Не случайно, что в латышских дайнах, наряду с восьмисложными стихами, появляются — в их череде — иногда и семисложные. Чаще всего, кажется, речь идет об одиночном семисложнике, открывающем текст песни. Ср.: *Kalējs kala debesīs* (*jurmalī*), где нередко и второй стих имеет ту же схему в отличие от восьмисложных третьего и четвертого стихов (показательно, что семисложник в подобных случаях идеально вмещает в себя стандартную эпическую формулу), но *Kalējs kala jūrīņā.* Gal*sā lēca dzirkstelītes* (BW 33730), т. е. 7 + 8.

[45] Ср.: L. Sauka. Lietuvių liaudies daiņu eilėdara. Vilnius, 1978. P. 172 ff.

[46] См: *И. И. Земцовский.* Мелодика календарных песен. Л., 1975. С. 147, 163 и др.

[47] См.: J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos darbai. 1937. III. Kaunas; Idem. Griaustinis ir velnias baltoskandijos krăstų tautosakoje // Ibidem. 1939. IV.

[48] См.: H. Biezais. Die himmlische Götterfamilie der alten Letten. Uppsala, 1972 и др.

[49] *Jānis* фигурирует как сын, который является в отмеченный срок (утро, день, вечер, ночь *Jānis*'а), упоминаются его отец и мать (ср.: *Nāc ārā, Jāņa tēvs*. BW 32501; 32632; *Jāņa māte rudzus brida*. BW 32542; *Nāc ārā, Jāņu māte*. BW 32449), наконец *Jānis* прямо именуется Божьим сыном (*Vai, Jānīti, Dieva dēls*. BW 32903—32909); он связан с конем, коровами, с ритуальной нищей, огнем, водой; из мифологических персонажей с Лаймой и т. п. — Ср. довольно подробное изображение праздника Лиго (*Līgo svētki, Līgas nakts* — правда, без упоминания *Jānis*'а) в начале VI части «Лачгатзсиса»: «*Par gadskārtu Līgo nāca*… (ср. отмеченность этого глагола — *nākt* ʽприходить', ʽнаступать' — в песнях этого цикла, напр.: *Nāc nākdama, Jāņa diena*… BW 32350; *Man atnāca Jāņu diena*… BW 32360; *Badu, badu Jānīts nāca*… BW 33031; *Sanāciet, Jāņu berni*… TDz. 53853 и т. п.; сам первый стих VI части «Лачплесиса» фактически воспроизводит песенный зачин: *Jānīts nāca par gadskārtu*. BW 32937. Сочетание имени *Jānis*'а с *līg*- характерно для целого ряда песен. Ср.: *J ā ņ a bērni nosaluši,* | *J ā ņ a* nakti *l ī g o j o i;* | *...Pakuram u g u n ţ i ņ u*… BW 32892; к теме возжигания ритуального огня (kur- & ugun-, ср. deg- : *Jāņa nakti muca dega* | *Augsta kalna galiņā*… BW 32893) ср. у Пумпура: *Zilā kalna kalnagalā* | D e g a *gaišas* u g u n i *s*… VI. 9—10, синтезирующего лексику и образы дайн. О дне Яниса в народной латышской традиции см.: A. C. Winter. Zur Symbolik der lettischen Sonnwendfeier // Baltische Monatsschrift. 1903; O. *Līdeks.* Latviešu svētki. Rīgā, 1940. 1. S. 64—92 («Jāņu diena»); P. *Šmits.* Latviešu tautas ticējumi. s. v.; E. Lauberte. The Celebration of the Indo-European Summer Solstice among Latvians // 9 Conf. BSt. P. 13—14 и др.

[50] См.: Latviešu tautasdziesmas. 4 sējums. Rīgā, 1982. 1. S. 166 ff. (Vasaras *saulgrieži* — *Jāņi*).

[51] С ней см. в кн.: H. Biezais. Die Hauptgöttinen der alten Letten. Uppsala, 1955.

[52] Кроме уже указанных работ И. Балиса ср.: N. *Vėlius.* Mitinės lietuvių sakmių būtybės. Vilnius, 1977; Idem. Laumių dovanos. Lietuvių mitologinės sakmės. Vilnius, 1979; Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakārtojis prof. P. Šmits. III. Rīgā, 1940. 1. 1940—1965; M. Jonval. Op. cit. P. 21—22, 218—223 и др., а также старую работу: W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936. Из последних работ ср.: M. Gimbutas. The Lithuanian god Velnias // Myth in Indo-European antiquity. Berkeley; Los Angeles, 1974. P. 87—92; J. Puhvel. The Baltic Pantheon // Baltic Literature and Linguistics. Columbus; Ohio, 1973. P. 107; A. V. Beldavs. Velns/velni: a shape-shifting Latvian archetype // 9 Conf. BSt. P. 11—12 и др.

[53] Обоим этим аспектам мифологических персонажей, обозначаемых корнем *Vel-, уделено внимание в кн.: A. J. Greimas. Apie dievus ir žmones // Lietuvių mitologijos studijos. Chicago, 1979. P. 47—48, 61—65, 70—73, 88—89, 101—102, 149—150 и др.

[54] См.: P. *Šmits.* Latviešu mitolog'ija. Riga, 1926; H. Biezais. Die himmlische Götterfamilie… и др.

[55] *Veļu nakts*, ночь памяти душ усопших, обстоятельно воспроизводится в III части эпоса Пумпура (начиная с *Veļu-laiks bija pienācis*…) — украшение риги, накрывание стола, принесение ритуальной еды (*veļu ēdieni*), угощение, пение девиц с обращением к *Veļu māte* (*Velies viegli, Veļu-māte,* | *Manā tēva rijiņā*… || *Es tev lūdzu, Veļu*-mate, | *Baudi mūsu mielastiņ*…, ср. аллитерацию — v-l и разного рода сопряжения, напр.,

m ā t e ↔ М*a/n ā/t ē/v a/...*, в обоих случаях с ориентацией на имя *Veļu*-mate). Очень характерен мотив взаимоисключения душ умерших и нечисти, которым принадлежит в принципе общее пространство — рига: хозяевами в ней является нечисть, кроме *veļu nakts*, когда она принадлежит полиостью душам усопших (*veļi*), ср. *Ziemā,* ku*d labības kulšana beigta, tukšajās rijās* | *Stomījās pusnaktīs visādi m o š ķ* i, *ķ ē m i* un *s p o* k*i.* | *Šonak*t *visiem šiem mājniekiem bija jāatstāj rija,* | *Jāatdod vieta v e ļ i e m, cienī*giem *m i r o ņ u g a r i e m* (ср. не совсем точный поэтический перевод: «...Зимой как овсы обмолотят, |В ригах пустых привиденья являлись и черти гуляли. |Ночью же волей все духи и черти бросаются в бегство, — | Место они отдают почитаемым душам усопших» — Лачплесис. Латышский эпос, воссозданный по народным преданьям. М., 1975. С. 116). Общий локус душ умерших и нечисти («чертей») приобретает особый вес в силу общего языкового обозначения тех и других корнем *vel-. Верность Пумпура народной традиции подтверждается сопоставлением указанной песни в ночь поминовения усопших душ (*Augšlecīte; Zemlecīte,* | *Velies vilnas groziņā...*) с дайнами (ср. BW VI. 47; Tdz. 55097, 55098 и др.) и автобиографическими записками о праздновании *veļu nakts* в Лиелъюмправе (в середине XIX в.), свидетелем которого был Пумпур в детстве; ср. Andreja Pumpura raksti. K. Bērziņa apgādībā. Riga, 1912. 1. X. XLIX—L в пересказе Ю. Калниня). Однако возникающий в этом же месте мотив Перконса (*Pērkons un dievi lai izvada visu par labu!*), соответствующий реконструкции *Perkūn*-(on-) & Vel-, тем не менее, кажется, не имеет надежных подтверждений в топике текстов, связанных с *Veļu laiks* (nakts).

[56] Ср. загадку: *Зарится — Елесиха на коня садится, рассветает — Елесиха с коня слезает* [Роса] (Загадки. Издание подготовила В. В. Митрофанова. Л., 1968. № 196). В связи с предположением о Елесихе как женской ипостаси Волоса ср. к о н с к и е мотивы, также связанные с Волосом-Велесом. К *Елёсиха, Ёлс* ср. фразу *Мыши е л е с и, идут хвосты повеся* из текста к лубочным картинкам цикла «Мыши кота погребают» (см.: *Д. А. Ровинский.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. I. С. 391—401; Кн. IV. С. 256—269; Кн. V. С. 156—160, а также: *М. И. Семевский.* Царица Екатерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692—1724. СПб., 1884. С. 237). *Мыши елеси* как мыши Елса [*Елеса], Велеса-Волоса отсылают одновременно к обоим противникам «основного мифа» — как к *Vel- (ср. связь мышей с царством мертвых и т. п.; сами мыши обитатели загробного мира, жильцы могил, подданные Матери Земли, *Zemes māte, Kapa māte, V e ļ u māte*, ср. балт. pel- : *Vēl*-), так и к *Per(k)-*ūn*- (ср. мотив превращения в мышей как результат наказания со стороны Громовержца, см. в другом месте, и вообще связь мышей с ним, ср. лит. *pelių Perkūnas*, о том, кто любит шутить, ʻkas mėgsta juokauti, krėsti pokštus’. LKŽ. 9. S. 756: *Oi tu pelitų perkūne!* — букв, ʻмышиный Перкунас’ в контексте сниженных образов Громовержца).

[57] Цитируется здесь и далее по изданию: Лубовни песни. Избор и редакциjа Душко Наневски. Скопjе, 1971.

[58] См.: Hrvatske narodne pjesme. Knj. 5. Zagreb, 1909. № 17.

[59] См. о ней: H. Biezais. Die Hauptgöttinen; О Лайме в литовской традиции см.: N. *Vėlius.* Op. cit.

[60] *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974; *Б. А. Успенский.* Филологические разыскания в области славянских древно-

стей: Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского. М., 1982 и др.

[61] См.: J. Puhvel. «Meadow of the Otherworld» in Indo-European Tradition // KZ. 1969. Bd. 83. S. 64—69 и др.

[62] См.: *Д. А. Мачинский.* «Дунай» русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981. С. 110—171.

[63] Ср.: *Бог да бие Вела самовила…*, 177; *Бог* ја *убил Вела самовила…*, 183.

[64] См.: E. Benveniste, L. Renou. *Vṛtra* et Vərəϑragna. Paris, 1934.

[65] См.: N. *Vėlius.* Mitinės… būtybes.

[66] Ср. : *…ела највисока | вршјето и злато позлатено!* 177.

[67] См.: C. G. Jung, K. Kerényi. Einführung in das Wesen der Mythologie. Das göttliche Kind | Das göttliche Mädchen. Hildesheim, 1982.

[68] Некоторые мотивы, безусловные в связи с *Vel- как противником Громовержца в «основном» мифе, оказываются слабо намеченными или даже практически не выраженными в латышских дайнах. Так обстоит дело, напр., с соотнесением *Vel- со змеиной темой. Тем не менее и она приобретает все больше шансов на успех в свете нового материала и интерпретаций. Ср., напр., высказанное Велюсом предположение о связи и даже тождественности Vehnias’а с blukas’ом (собств., ‘колода’, ‘бревно’, ‘толстая палка’), представляющим собой (во всяком случае во время ритуала) стилизованное изображение змея, аналогично *бадњаку — Бадањяку* (в литовском фольклоре Velnias нередко описывается и называется змеей, змеем, драконом), см. также: *Н. И. Толстой.* Три обряда: лит. *kalãdė*, укр. *колодий*, сербск. *бадњак* // Балто-славянские этноязыковые отношения… С. 46—48. «Змеиные» связи Велы в македонской песне «Убава мома Вела» раскрываются в ее собственных словах: *мајка ті је змеј љубила, | н’ мен гу је прикє дала; | куга мене ќе заведат, | к’ште мене да приаедат, | прис Пирине, прис Планине, | ќе изљази змеј гуренин, | туга мене ќе си грабни* (191) (инвертированный со сдвигом вариант см. в песне «Змија си Бога молеше» и др.). Возможно, получит подтверждение толкование миниатюры из Радзивилловской летописи, где изображается сцена клятвы Олега «Перуном, богом своим и Волосом, скотьим богом»: Перуну соответствует антропоморфный идол, а Волосу — змея у ног Олега (Д. А. Мачинский). «Змеиный» слой в образе *Veļu māte* надежнее обнаруживается при анализе изофункциональных ей персонажей (в частности, они нередко носят те же имена, что змеи в соответствующих заговорах, ср. Margrietiņa, *Madaliņa* и др. BW 34119, вар. 1 и др.), о чем см. в другом месте, как и о возможности приурочения Vel- к обрядам на стыке Старого и Нового года (ср. зачин старой колядной песни Vele, Vele, о котором свидетельствует Матей из Градиште в 1436 г.; сюда же, конечно, и Beli, Beli в коляде, описанной в Пражской рукописи Яна из Голешова на рубеже XIV—XV вв.). См.: *В. Н. Топоров.* Еще раз о Велесе-Волосе в контексте «основного» мифа // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. М., 1983. С. 50—56.

[69] См.: A. J. Greimas. Op. cit. S. 185—189. Интересно соотнесение Лаймы с Матерью жизни в BW 9284 и вар. 1: Celies agri, man *Laimīte*... при: Celies, mana *muž*a *māt*e.

1986

ЗАМЕТКИ О ЛАТЫШСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕНАХ

Латышские ономастические данные представляют интерес в разных отношениях. Прежде всего обращает на себя внимание такая общая и отнюдь не тривиальная черта (отсутствующая, кстати, во многих ономастических традициях), которую можно обозначить как р а з н о о б р а з и е, имея в данном случае в виду сочетание противоположных тенденций. Это разнообразие проявляется прежде всего в тех существенных различиях, которые связаны с разными культурно-историческими условиями (в частности, конфессиональными, этнолингвистическими и т. п.), определявшими положение в разных частях современной Латвии (ср. Курземе и Видземе, с одной стороны, и Латгалию, с другой). Эти расхождения так или иначе оказывались в связи с внешними обстоятельствами, которые обусловливали разнообразие состава имен (а позже и фамилий) — «языческие», «христианские», «внеконфессиональные» (в том числе и неологизмы) имена или латышские, немецкие, скандинавские, литовские, славянские и т. п. имена. Разнообразие увеличивается в результате тенденции (в значительной мере сознательной и целенаправленной) к поляризации семантически «немых» (т. е. немотивированных) имен и имен, которые семантически мотивированы, причем эта мотивировка осознается всеми носителями языка (предельный случай — «сверхмотивировка» или — в ином ракурсе — полное отсутствие мотивировки в случае употребления в качестве имени апеллятива, ср. Ausma (: ausma ʽрассвет'), Maiga (: maiga ʽнежная'), Mirdza (: mir̂dza, mir̂dze, ʽблеск', ʽсиянье', mir̂dzêt ʽсверкать'), Dzintars (: dzintars ʽянтарь'), Ziedonis (: ziedonis ʽвесна') и др. Наконец, особый аспект разнообразия определяется сочетанием архаизмов, восходящих к индоевропейской эпохе, и инноваций, легко входящих в латышский именослов и охотно (так сказать, «без предрассудков») используемых

даже в т. наз. «культурной» части общества, выступающей как хранительница традиций в области духовного наследия (включающего в себя и язык, прежде всего нормы его употребления).

Разумеется, в отношении названных явлений латышская ономастическая традиция не является исключением. Тем не менее она настолько органично и динамично сочетает в себе эти разноречивые факты и тенденции, так легко мирится с противоположностями, что, конечно, заслуживает в этом отношении особого внимания — и в теоретическом, и в сравнительно-историческом планах. Во второй половине статьи будут высказаны соображения относительно нескольких имен, носящие сравнительно-исторический характер, но и теоретический аспект проблемы, здесь специально не рассматриваемый, в главном своем пункте будет обозначен. Речь идет о проблеме границ между собственным именем (NPr.) и нарицательным именем (Apell.), которая существенна для латышской ономастики в целом и, может быть, особенно для мифологических имен [1].

Как известно, среди латышских мифологических персонажей, особенно высших уровней, очень немногие обладают «чистым» именем, т. е. именем в полном смысле слова (можно напомнить, что свойство «быть NPr.» зависит от степени мотивированности NPr. — семантической, «денотатной» и т. п., и оно тем интенсивнее, чем менее мотивировано соответствующее имя в языковом сознании данной традиции, т. е. чем в большей степени оно является «произвольным», конвенциональным знаком) [2].

К «собственно NPr.», безусловно, относится имя громовержца *Pērkons*. Хотя хорошо известен апеллятив *pērkons* ‘гром’, положение таково, что скорее этот апеллятив воспринимается как метонимия, чем *Pērkons* как «персонифицированный» гром. В этом смысле именно апеллятив, по сути дела, произведен от NPr., что не означает невозможности обратного направления зависимости в другую эпоху. Отсутствие для народно-этимологического языкового сознания «реальных» и, главное, общезначимых мотивировок этого имени объясняет многочисленные попытки компенсировать эту недостачу на уровне звуковой структуры текстов, в которых выступает Перконс, что можно рассматривать как примитивный опыт анаграммирования теофорного имени и его «народно-этимологического» истолкования. Наиболее характерный и «сильный» вариант такой звуковой мотивировки, как бы выводящей на «этимологию», представлен примерами из дайн типа: Sper, *Pērkon*i, nu sperdams, | Nes per *brāļa sētiņā...*, где имя громовержца соотносится с его основным действием — ударять (spert, ср. также *zibens spēriens* — об ударе молнии) и через это сопоставление как бы этимологизируется, хотя бы «окказионально» [3]. Впрочем, хорошо известны и другие способы включения этого имени в звуковую цепь и его «частичного» этимологизирования или,

точнее, семантического «сталкивания» с другими фонетически близкими словами. Ср., напр.: *Maņ* p o r g o j a *šei voso* r a, | *A r P ā r k y u n i b o r ūtīs* и т. п. Еще более широкий круг образуют ситуации, когда в соседстве с именем Перконса стоят слова, содержащие r; которое как бы символизирует раскатистость грома. Эти слова относятся прежде всего к сфере предикатов: *rūc*, *rūcināja*, *aizrūc*, brauca, *grāv*a, grauzdams, traka, dzird, izdzird и т. п., но не менее часты они и в «маргинальной» или в «объектной» сфере: pirmais, pirmo reizi, *pavasarī*, vakars, vakar, *jūza*, *jūriņa*, zirgi, *precības*, *brāļi* и т. п. Иногда, в общем довольно часто, создаются звуковые цепи, обильно насыщенные «дрожащим» r даже в прозаических описаниях грома (грозы), ср.: Ja pi**r**mo **r**eiz dzi**r**d **r***ūcam* p ē **r** k o n *i, tad*... (LTT. III. № 23246) или Pavasa**r***ī, pi***r**mo **r**eizi *pērkoni dzi***r***dot*... (Ibid. III. № 23253). Эта роль r как признака грома, грозы была подчеркнута в свое время Г. Ф. Стендером в его переложении поэмы Г. Брокеса «Irdisches Vergnägen in Gott» — «Rāms laiks pēc pērkona briesmas» (1753): описание грозы насыщено словами, содержащими r; когда гроза кончается и наступает затишье (*rāms laiks*); r вовсе исчезает из текста[4]. В этом отношении Старый Стендер поступал вполне в соответствии с «звуковой» характеристикой Перконса в дайнах[5]. Наиболее высокой степени «ономастичности» этого имени среди других латышских теофорных имен соответствует, очевидно, тот факт, что фигура Перконса не только главная в пантеоне (кстати, она из числа наиболее архаичных: ее индоевропейское происхождение вне сомнений), но и наиболее подробно разработанная, глубоко детализированная и достаточно индивидуализированная.

В этом отношении Перконс отличается как от того, что в пантеоне стоит выше его, так и от того, что занимает существенно более низкое место. В п е р в о м случае речь идет о Диевсе (Dievs), собственно Боге. В латышской мифологии, в частности в дайнах, отражающих ее, Dievs не просто обозначение одного из богов (ср. dievi) или даже главного из них, но, несомненно, NPr. Носитель этого имени входит в мифологический сюжет небесной свадьбы, и целый ряд мотивов объединяет его с другими персонажами (Перконсом, сыновьями Диевса и т. п.). Вместе с тем в словопроизводительном отношении первенство принадлежит апеллятиву dievs : Dievs лишь один, хотя и высший dievs из целого их класса (dievi), представителем которого он выступает; он — dievs par excellence, «усиленный» и сублимированный dievs. Ослабленная «ономастичность» обозначения Dievs нуждается в какой-то компенсации, по крайней мере в создании некоего микроконтекста, в котором Dievs не был бы смешиваем с соответствующим апеллятивом. Два приема в этом отношении особенно характерны. О д и н из них относится собственно к имени, которое разными способами диверсифицируется: иногда употребляется деминутивная форма *Dieviņš* (без некоторых предосторожностей она

могла бы пониматься как обозначение малого Dievs'a, т. е. его сына, Dieva *dēls*, ср. далее о *Dieva dēli*, по образцу с.-хорв. *Бог — Божиħ* и т. п.), чаще «усилительная» форма названия *Dievu Dieviņam*, выступающая как распространенная формула — серьезного, благочестивого, но и шутливого характера[6], отчасти повторения разного рода[7] и т. п. Особый случай — префиксальные образования с корнем diev- типа nod*i*evs 'небо' (ср.: Saulīte iet nodiev*ā*, ср. nùodìevuôtiês, nùodìevâtiês. ME. XI. 775), padìevs 'идол' (ME. III. 18) и под., причем в других балтийских языках, как было показано раньше, такие образования могли выступать как теофорные имена. В Волынской летописи, входящей в Ипатьевекую, под 1252 г. сообщается о «льстивом» крещении Миндовга: *жряше богомъ своимъ втаинѣ, п е р в о м у Н ъ н а д ѣ е в и, и Телявели и Диверикъзу…*; а под 1258 г. — *…възывающе богы своя А н д а я и Диварикса, и вся богы своя поминающе, рекомыя бѣси*; во вставке западнорусского переписчика «Хроники Иоанна Малалы» (вставка датируется 1261 г.) — *…приносити жрътвоу скверным богамъ А н д а е в и рекше громоу…* Можно полагать, что имена *Нънадѣй* и *Андай* содержат в своем составе балтийское обозначение бога и что, следовательно, допустимо реконструировать в качестве источника этих имен нечто вроде *No-(an)-deiv- (*Nu-/an/-deiv) и *An(t)-deiv-[8].

Другой прием относится к усилению связи имени Dievs с его ближайшим контекстом. Речь идет о такой организации текста, при которой ключевое имя образует некий центр иррадиации таких же или «подобных» звуковых элементов и их цепей, как бы имитирующих имя и подготовляющих («мотивирующих») его появление в данном месте текста (ср. выше о *Pērkons*). Однако в таких случаях было бы ошибкой ограничиться только звуковым уровнем: «внешняя» и наиболее броская форма отсылает к определенным словам и их сочетаниям, которые определяют тот семантический каркас, в который «вставляется» центральное имя Dievs. Носитель этого имени выступает как субъект при предикатах, при объектах, при элементах «маргинальной» сферы, которые оказываются в звуковом отношении так или иначе упорядочены и подчинены имени Dievs: иначе говоря, все эти смежные элементы как бы входят в (образуют) «диевовский» текст. Среди этих элементов есть и такие, которые стали практически формульными, ср.: *Dieva dēli; paldies* (или даже paldievs) *Dievu Dieviņam; devu Dieviņam* и т. п., причем в текстах дайн они обычно тяготеют к отмеченной начальной позиции; характерно и то обстоятельство, что подобные формулы реализуют или обозначение особых мифологических персонажей (*Dieva dēli*) или особые мифологические мотивы (даяние Бога, благодарение Бога и т. п.). Во многих случаях звуковая мотивировка имени Dievs превращается в маленький «фонэстетический» шедевр. Ср., напр., неоднократно цитировавшуюся в работах по поэтике дайну:

Dziê**d**uot **d**zimu, **d**ziê**d**uot augu | **D**ziê**d***uot mûžu nùo* **d**zivuoju | **D**ziê**d**uot iet **d** *vēselīte* | **D**ìeva **d**êlu **d***ārziņa* или же **D***ī v*am byut **D***īveņam* | **D***īvam* gu**d**rs pa**d***ūmeņš* | **D***īvs kūkim lopas* **d**eve, | **D***īvs vorpeņas teirumā*[9].

Во втором случае от ономастически «сильного» *Pērkons* весьма существенно отличаются и имена большинства мифологических персонажей, принадлежащих более низким, чем «перконовский», уровням системы. Уже ранние источники подчеркивают, что у древних латышских племен было много богов. Переходя от земгалов к селам, «Livländische Reimchronik» сообщает: Sêlen ouch heiden sint | und an allen tugenden blint. | sie haben abgote vil | und trîben bôsheit âne zil (337—340). Более поздние документы дают весьма дифференцированную картину. Показательно сообщение Стрибинга о его миссионерской поездке 1606 г.: «Interrogatus quot deos haberet, Respondit: varios pro varietate locorum et personarum et necessitatum esse deos. Habemus, inquit, deum, qui habet curam coeli, habemus et deum, qui terram regit: hic cum sit supremus in terra, habet sub se varios minores sibi deos. Habemus deum, qui nobis pisces dat, habemus deum frumentorum, Agrorum, hortorum, Pecorum, videlicet Equorum, Vaccarum et variorum animalium. Sacrificia, quae illis offerunt, sunt varia alijs dijs maiora alijs minora offerunt pro qualitate deorum»[10]. Эти и последующие показания нередко дают достаточные основания для восстановления по латинскому и немецкому определению функций божеств (или сферы их обитания и деятельности) и подлинную латышскую форму их имени. Эта «механистичность» реконструкции, оказывающейся, однако, чаще всего весьма точной, свидетельствует о принципе именования латышских «божеств», во-первых, и, во-вторых (и это в данном случае важнее), о сохраняемой тесной связи имени с апеллятивом, причем она не «случайна», как в случае *Кузнецов* и *кузнец* (при том, что сам Кузнецов не является кузнецом), но, так сказать, тавтологична: NPr. божества леса — *Лесовик*, NPr. божества воды — *Водяной* и т. п. (т. е. тип «кузнеца Кузнецова»). А эта ситуация свидетельствует о жесткой мотивации имени внеязыковыми реалиями — занятием, профессией, функцией, местожительством и т. п. и, следовательно, о не преодоленной еще апеллятивности и о не достигнутой пока «чистой» ономастичности. Вот эти промежуточные случаи, когда обозначение божеств колеблется между NPr. и апеллятивом, очень интересные с точки зрения потенциальных способностей к «онимизации», как раз и определяют большинство мифологических персонажей латышской традиции, относящихся к числу «божеств» — хозяев, покровителей, хранителей и т. п. И, действительно, те же исторические источники содержат некоторые из реальных этих имен — «неполных» (или частичных, «условных» и т. д.) NPr. Уже упоминавшийся Эйнхорн, между прочим, сообщает: «…vnd alle andere Creaturen regiere vnd vber alle dinge herrsche, derselbe allein gebe auch alles, was zur Leibes Nahrung

vnd Nohtturfft gehöret, im Felde, im Walde, in den Garten, an Viene vnd allen andern Orte, wie die N a h m e n haben Darumb denn die Lauka Maat, Jurasmaat, Daarsa Maat, Lopu Maat, Weja Maat vnd andere jhre Götter vnd Göttinnen nicht anzuruffen, denn dieselben nicht Götter, sondern in der Wahrheit rechte Teuffel vnd böse Geister seyn…» (LPG. S. 472)[11]. Один пример из старых источников особенно убедительно описывает ситуацию ритуального действия, которая объясняет технику «онимизации» мифологических персонажей: «…ein hauffen m i l c h aus jhrem Leibe geflossen. Darüber denn die alten Zauberische Breckin zumasse kommen, sich vbel gehat vnd geschrien: Man p e n e M a t h, Man p e n e M a t h, Ach mein Milch Mutter, mein Milch Mutter…» (Sal. Henning. Warhafftigen und bestendigen Berichtes. 9 = Scr. rer. liv. II. 295; LPG. S. 414), т. е. pene Math ⊃ *Piena māte* NPr.[12]

Значительная часть сфер природы и жизнедеятельности человека оказывается закодированной через обозначение соответствующих «божеств», духов-покровителей с помощью таких языковых образований, которые как бы избегают самоопределения в выборе между сферой апеллятивов и сферой NPr.: сохраняя эту неопределенность, они могут в одних случаях актуализировать «ономастичность», в других — «апеллятивность». К таким мифологическим персонажам относятся т. наз. «м а т е р и», целый класс «божественных» существ-покровительниц, ср. *Vēja māte*, Zemes mäte, *Ūdens māte*, *Jūros māte*, *Uguns māte*, *Meža māte*, *Lauku māte*, *Dārza māte*, *Puķu māte*, *Smilšu māte*, *Veļu māte*, *Kapu māte*, *Nāves māte*, *Lopu māte*, *Mūža māte*, L*aimes māte*, *Kaŗa māte* и т. п.[13]. Этот класс наиболее многочислен, и можно думать, что для определенной эпохи он мог считаться открытым в той степени, в какой был открыт мифологически осваиваемый человеком внешний мир. Но существовали и другие типы обозначения подобных мифологических персонажей. В частности, мужские божества-покровители определялись показателем *tēvs* «отец» (: *māte* ʽмать’) во второй части соответствующих обозначений. В особой главе, посвященной латышской мифологии и включенной в «Lettische Grammatik» (1783), Г. Ф. Стендер указывает: «Tehws, Vater hiessen einege männliche Götter. Als: Meſcha tehws Waldgott, Semmes tehws Landgott etc.» (LPG. S. 627). Следовательно, речь идет о параллельном «мужском» и «женском» ряде: Me*ža tēvs* — *Meža māte*, *Zemes tēvs* — *Zemes māte* и т. п.[14], где отличительным признаком оказывается второй «типовой» элемент, предполагающий выбор одного из двух членов оппозиции м у ж с к о й — ж е н с к и й. «Мужская» идея в таких обозначениях могла передаваться и с помощью других средств (*vīrs*, dievs, kungs), ср. *Meža vīrs*, *Ūdens vīrs*, или *Meža dievs* (но: *Jūŗas dievekle*), или *Mājas kung*s[15] и др. Таким образом, внутри «мужского» ряда формировалась синонимия обозначений, ср. *Meža tēvs* : *Meža diev*s[16] : *Meža vīrs* и т. п.

Ослабленная «ономастичность» таких обозначений (или, точнее, неполное развитие ее в этих случаях) несомненна. Классифицирующий тип такого рода кодирования мифологических персонажей, ориентирующегося в конечном счете на их функцию или место, где эта функция осуществляется, не может не сопротивляться формированию «ономастичности», и поэтому свойство «быть Npr.» четче выражено у обозначений мифологических классов — «матери», «отцы» и т. п. («Mātes», «Tēvi» и т. п.), чем у конкретных «матерей» или «отцов», хотя, конечно существенно и то, что первые — «коллективны», вторые — «индивидуальны». В этих последних степень «ономастичности» в принципе определяется возможностью конструирования определений типа «Meža māte» является матерью леса (*meža māte*), которые при этом не выглядят тавтологичными (или хотя бы не исчерпываются тавтологией). Только при таком условии удается хотя бы отчасти расслоить эти два модуса употребления внешне одинаковых биномов, заставить, хотя бы отчасти и только в данной ситуации, «забыть» подлинное значение обозначения данного типа: степень такого «забвения», стирания семантики оказывается в этом случае обратно пропорциональной «апеллятивности» и прямо пропорциональной «ономастичности», ее возрастанию. Неопределенность «ономастичного», колеблющийся его модус, трудность отличения от «апеллятивного» в подобных случаях указывают на ситуацию нахождения в зоне онимизации, том локусе, который в принципе предназначен для формирования NPr., и на ту сложную, иногда весьма изощренную игру, которая нередко возникает в подобных ситуациях и даже утилизируется в разных формах словесного искусства. Помня сказанное Шеллингом о «неразличимости идеального и реального» [17], можно распространить его мысль и на сферу имесловия — неразличимость ономастичного и апеллятивного как неразличимость выявляется в зоне онимизации именно через ту игру (искусство игры), о которой говорилось выше. Мифологические обозначения представляют особенно удобный материал для такой «ономатотетической» игры, а латышская мифология благодаря использованию «классифицирующих» определений оказывается особенно привлекательным объектом для рассмотрения на ее материале этих важных теоретических проблем ономастики.

Конечно, подобные явления в балтийском мифологическом имясловии не ограничиваются латышской традицией [18], но в ней они особенно обильны и, может быть, главное, поняты как сильнодействующий классификационный признак. Похоже, что этот тип мифологических обозначений («матери» и под.) архаичен, но какова его природа в латышской традиции, окончательно решить трудно. Образы Неба-отца и Земли-матери, несомненно, индоевропейского происхождения, но отражают ли многочисленные «матери», «отцы», «господины», «охранители» и т. п. то древнейшее и.-евр. состояние,

о котором нет надежных сведений, или они результат вхождения в северную зону евразийского культурного ареала, где такие обозначения обычны (ср. уральские мифологические обозначения), пока неясно. Впрочем, нужно подчеркнуть, что оба эти предположения не только не исключают друг друга, но, скорее всего, должны быть объединены, хотя, конечно, в разных случаях в разных пропорциях. Известное отличие в указанном отношении латышских мифологических обозначений от других балтийских, как и ряд других факторов, вполне могло бы объясняться прибалтийско-финским (или еще более ранним) влиянием [19].

* * *

Сравнительно-исторический аспект исследования латышских мифологических имен определяется тем, что латышская мифологическая система является результатом развития древней и.-евр. системы, из которой она сохранила в различимом (хотя, естественно, и трансформированном) виде целый ряд существенных элементов и, в частности, мифологических имен. В ряде работ последних двух десятилетий неоднократно писалось в этой связи о сюжете т. наз. «основного» мифа и о главных персонажах, участвующих в нем. Преимущественное внимание обращалось на тех из них, чьи имена кодируются и.-евр. корнями *per(k-) и *vel-. Первый из них обозначает Громовержца (лтш. *Pērkons*), второй — его противника (лтш. Velns, ср. velns ʽчёрт'), с одной стороны, и, с другой, женский персонаж (ср. лтш. *Veļu māte*, ведающую царством мертвых), из-за которой, собственно, и происходит ссора и поединок между Громовержцем и его противником. Эти имена достаточно подробно изучены, и поэтому здесь на них не придется останавливаться [20], как и на таких женских мифологических именах, как Laima, *Māŗa*/*Māršа*, *Kārta* и т. п., относительно хорошо описанных и объясненных. Лишь одно соображение будет высказано в связи с именем мифологического женского персонажа *Dēkla*, чаще всего, особенно в последнее время, выводимого из лтш. dêt ʽсосать' (ср. др.-инд. dháyati, русск. *доить*, ирл. *dīnim*, арм. diem и т. п.) и гораздо реже связываемого с и.-евр. **dhē-* ʽкласть', ʽставить', ʽполагать' (ср. лтш. *dēt*, лит. dě̃ti, слав. *dě̆ti, др.-инд. dha- и т. п.) [21]. Это предпочтение идет с раннего времени [22], и наглядность народно-этимологической связи с мотивом сосания — кормления грудью затавляет игнорировать некоторые другие важные указания. Действительно, Декла непосредственно связана с новорожденными младенцами: она пеленает их, охраняет их сон в колыбели, способствует успешному их росту, заботится о них. В ряде случаев ее имя соседствует или чередуется в дайнах с именем Лаймы, которая имеет и родовспомогательные функции наряду с другими; поэтому, строго говоря, нет полной уве-

ренности, что *Dēkla* для определенного периода не было обозначением одной из ипостасей Лаймы. Следует обратить внимание, что один из важнейших и, кажется, только Декле свойственных мифологических мотивов — н а р е ч е н и е новорожденных именем. В таком случае можно высказать предположение, что *Dēkla* первоначально могло быть обозначением имядательницы-имяполагательницы (ср. суфф. -kla) — мифологического женского персонажа, главная функция которого ономатотетическая. Учитывая, что теперь в латышском имянаречение обозначается иначе (ср. nosaukt/iesaukt/ par Ivanu или *dot jaunpiedzimušajam vārd*u [23]), не исключено присутствие в этом обозначении глубокого и.-евр. архаизма, состоящего в ономатотетическом использования этого глагола. Во всяком случае и.-евр. **dhē-* & **n̥*-men- ʽполагать имя', ʽнарекать' представлено не только в др.-инд. *nāman* & *dhā-* (ср. *nāma*-dhéya), авест. *nāmąn dā-*, др.-греч. *ὄνομα τίθεσθαι*, слав. *jьmę* & *děti* (ср. ст.-чеш. dieti *jmě*) и т. п. [24], но и в литовском, где при обычном *duoti vardą* (ср. suteikti *vardą*) сохраняется реликтово указанный способ обозначения имянаречения, Ср. *Kūma klausė vaiko motynos, kokį jam v a r d ą d ė*t i или *Na, vaikai, kokį v a r d ą d ė s m a tai lėlei*? (LKŽ. II. S. 442). В свете других и.-евр. фактов и литовских примеров правдоподобно, что имя *Dēkla* сохраняет след ономатотетического использования глагола *dēt* (*dē*-t : *dē*-kla) в прошлом. И.-евр. же название для имени в латышском, как и в литовском, оказалось полностью вытесненным, а глагол соответствующей формулы сохранился периферийно в литовском и, в виде реконструкции возможных следов, в латышском. Подобные разыскания в области сравнительно-исторической ономастики могут привести к ряду важных результатов, и мифологические обозначения в данном случав являются особенно ценным источником.

И еще одно латышское мифологическое имя заслуживает здесь рассмотрения, хотя бы частичного. Речь пойдет дальше об Усиньше (*Ūsiņš*). При этом в центре внимания будет то, как имя влечет за собой становление определенных, с ним связанных и отчасти из него возникающих мифологических м о т и в о в. Вместе с тем будет показано, как мифологическое имя оказывается надежным средством для р е к о н с т р у к ц и и архаичной структуры соответствующего ритуально-мифологического образа и установления связей с генетически родственными персонажами в д р у г и х традициях.

Нужно сказать, что об Усиньше много писалось и раньше, и в последние годы, причем как в ракурсе собственно латышской проблематики, так и в сравнительно-историческом плане [25], и это обстоятельство освобождает от необходимости останавливаться на ряде важных вопросов или отдельных деталей. Прежде всего нужно напомнить два известных факта: чрезвычайное разнообразие форм имени Усиньша (*Ūsiņš, Ūsinis, Ūsenis, Jeuseņš, Ūsītis, Juisēts, Ūziņš, Ūzainis, Ūzainītis,* *Uss (восстанавливаемое по Gen. Ūsa: *Danco Ūsa*

stilingi | *Abolaini kumeliņi*), *Ūšes*, *Ūša* и др.[26]) и отчасти соотнесенное с этим разнообразие мифологических мотивов, связываемых с этим персонажем, причем ряд этих мотивов имеют чисто языковое происхождение, хотя и подтверждаются (большей частью вторично) текстами: Усиньш и усы (*ūsas*, ср. *ūsainis*, *ūsains*)[27], Усиньш и штаны (*Ūzainis* : *ūzas*, нем. Bienenhosen, der Bienen gelbe Wachshosen — при том, что у Стендера Uhsinsch der Bienen Gott), Усиньш и пояски (*Jeuseņš* : *jūsteņ*as)[28] и т. п. Говорить о связях Усиньша с рассветом, восхождением солнца и т. п. нет необходимости — об этом много писалось раньше, а недавно целая большая книга была посвящена Усиньшу именно как световому богу (Lichtgott); соответственно нет нужды и в обосновании «световой» этимологии этого имени (и.-евр. *au̯es- ʽсветить’, ʽсветать’ — Pokorny. I. S. 86—87), хотя стоит помнить о генетических связях Усиньша с др.-инд. Uṣas, др.-греч. *ἕωσ*, лат. Aurora, а.-сакс. Eastre, богиня весны, с одной стороны, и с балтийскими персонажами типа Ausca (des est radiorum solis vel occumbentis, vel supra horizontem ascendentis. Ласицкий): *Aušrinė*, Auseklis. Единственно, что, пожалуй, нужно заметить (поскольку это обычно упускается в исследованиях), это связь, существующую между суточным и годовым циклом для божеств такого типа и, следовательно, между рассветом и началом солнечного года («большого» рассвета). В этом смысле Усиньш открывает солнечный год или — уже — то время года, когда солнечная деятельность обеспечивает весь плодоносительный цикл — вегетативный и животный. Не случайно, что в ряде дайн специально обозначается этот цикл через «праздники», приуроченные к началу и концу этого цикла. Ср.: *Ūsenīts ar Miķeli* | *Kopā divi runājās* | *Ūsiņš sak' uz Miķeli* | *Trūkums, brāli, rādījās* | *Miķelis saka: Nebēdā!* | *Es tev būšu palīdzēt;* | *Došu rudzus, došu miežus,* | *Došu labus kumeliņus* (ср. о *Miķeļa diena*, 29 сентября — LTT. III. S. 1251—1261).

Поэтому целесообразно здесь подчеркнуть два мотива, связываемые с Усиньшем, — его «лошадиность» и его двойственность. Вкратце можно напомнить, что уже в 1606 г, сообщается, что «Equorum deum vocant Usching» (согласно сообщению Стрибинга), что Усиньш — покровитель коней; он их выращивает, кормит, охраняет; он едет на хорошем коне, загоняет его в пот, покупает коня, он будит «пиегульниеков» (мотив пробуждения на рассвете и конский мотив), открывает коням загон и т. п. Более того, Усиньш — персонифицированный конь, и поэтому разница между конем и Усиньшем зыбка: *Ak, Ūsiņš!* — восклицают при виде хорошего коня (ср. также: *Ai, zirdzeņ, Jeuseņi!*). Мотив двойственности Усиньша исключительно специфичен и дает ключ к далекоидущим выводам сравнительно-исторического характера. У Усиньша два сына с красными головками, одного он посылает в ночное, другого с сохою на поле[29]; оба они одного возраста: «не

видели, как они родились, только видели, как они странствуют: тот, что побольше, — когда я работал, тот, что поменьше, — когда я спал»[30]. Наличие пар типа *Ūsiņš* : *Usīntis* или *Uss : *Usī*tis дает некоторые основания для дифференциации как бы «старого» и «молодого» Усиньша, ср. *Vacis Jeuseņš* и др. Наконец, очень существенно, что Усиньшу приносят в жертву d u o s solidios et d u o s panes (Stribing, см. LPG. S. 442).

Уже эти две особенности при соответствующей интерпретации позволяют со всей очевидностью сопоставить двух Усиньшей-сыновей с ведийским образом конской пары братьев Ашвинов (от *aśva*- ʽконь’)[31], которые также воплощают и солнечно-световую тему[32]. По сути дела, не менее очевидно и соотнесение их с Диоскурами, связь которых с Ашвинами, в свою очередь, давно считается бесспорной в сравнительной и.-евр. мифологии. В самом деле, Диоскуры — братья-близнецы и связаны с конской темой: один из братьев Кастор — конник и укротитель коней; Диоскуры похищают дочерей Левкиппа (*λεύκιππος* букв. ʽедущий на белом коне’) Левкиппид и увозят их на четырехконной колеснице (ср., в частности, изображение этой сцены на краснофигурной гидрии Мидия, ок. 410 г. до н. э. [Лондон, Британский музей]). К подобному же кругу образов в конечном счете принадлежат и близнецы (мальчик и девочка), чья мать Маха участвовала, из-за хвастовства мужа, в конных состязаниях, опередила других и упала замертво на месте, где и разрешилась близнецами. Место это с тех пор стало называться Emain Macha (столица королевства у ладов в северной Ирландии), ср. emain, emuin ʽблизнецы’, ʽдвойня’; слово этимологически связано с лтш. jumis (: *Jumis*)[33]. Эти параллельные пары близнецов, так или иначе связанные с конской темой, конечно, восходят к единому индоевропейскому источнику, хотя не все имена этих персонажей отсылают непосредственно к и.-евр. *ek*u̯*o- ʽконь’. *Ūsiņš* именно такой случай. И здесь нужно обратиться еще к одной параллели, которая не просто увеличивает количество отражений этого и.-евр. мифологического близнечного образа в поздних традициях, но обнаруживает, возможно, важное соединительное звено между мифологическими мотивами, связанными с Усиньшем, и соответствующими мотивами (resp. персонажами) других и.-евр. традиций.

Речь идет о ритуальном персонаже русской традиции, фигурирующем в песнях колядочного типа, распеваемых в канун Нового[34] года или Рождества, и носящем имя *Авсéнь*. Это имя встречается почти исключительно в песнях «Авсенева» цикла и в исторических документах XVII в., порожденных стремлением искоренить этот обряд, во многих вариантах — *Авсéнь, Авсéнька, Овсéнь, Овсéй, Говсень, Усень, Бáусень, Тáусéнь, Тусень, Титусень* и т. п. В документах XVII в. отмечены *усень, таусень* и *овсень*, и тот факт, что *усень* (и *таусень*) фиксируется в наиболее ранних источниках, очень по-

казателен и делает эту форму весьма авторитетной — тем более что форма *Овсень/Авсень* явно, особенно в ряде текстов, ориентирована народно-этимологическим образом на слово *овёс* (при том что овес действительно играет роль в обряде: им обсыпают, «обсеивают» участников)[35]. Уже в прошлом веке ученые не раз сопоставляли Авсеня и Усиньша, и эти сопоставления без особых изменений время от времени повторяются и поныне. Однако основанием для сопоставления в основном было звуковое подобие этих имен и вытекающая из предполагаемой общей этимологии этих имен световая тема (*aus- : *us-); иногда, впрочем, ссылались на сходство некоторых атрибутов, что, однако, не могло иметь особой доказательной силы, поскольку они составляют общую принадлежность целого ряда ритуалов подобного типа.

В настоящее время можно, кажется, указать более «сильные» аргументы в пользу общего источника этих образов. Останавливаться же на расхождениях, естественно объяснимых несколько разными локусами этих образов и соответствующих обрядов в годовом ритуальном цикле, в данном случае нет оснований — тем более что в реконструкции эти различия обычно или снимаются, или оказываются несущественными[36].

Прежде всего надо отметить, что Авсень открывает н о в ы й (весенний) солнечный цикл и, следовательно, пору возрастания плодородия. Эта ориентация на г о д о в о й цикл, в отличие от суточного в случае Усиньша, очень показательна, особенно если помнить жесткую соотнесенность «большого» и «малого» циклов. Авсень выступает в песнях и в соответствующем обряде как персонифицированное начало года-прибытка[37], разумеется, не считая вырожденных случаев, где имя превращается в междометие. Но само порубежное во времени положение ритуала, на стыке Старого и Нового года, заставляет предполагать, что был и персонаж, который закрывал с т а р ы й цикл. Им был, как будет видно, тоже Авсень или некая вторая («близнечная») его ипостась. Бросая со своего рубежа взгляд в прошлое и будущее, Авсень в этом отношении, вероятно, был подобен двуликому богу врат Янусу. Колядовщики — «авсенюшки» в сгущающемся хаосе распадающегося Старого года и щ у т[38] тот локус, где произойдет рождение-открытие Нового года — нового счастья, но находят они прежде всего з а к р ы т ы е (запертые) в о р о т а[39], которые только еще надо открыть: *Таусень, таусень! | Ой коляда, коляда, | ...О т к р ы в а й в о р о т а, | Выноси-ка пирога...* (*Земцовский.* № 81), Открытие ворот года требует особого искусства и дается с трудом (как и открытие суток, утра). Поэтому двучастный праздник-ритуал (*Н о в ы й год пришел, | С т а р ы й угнал, | себя показал...*) акцентирует вторую, «счастливую», новую часть, и именно ей дается название *Авсень*. Но забывать о первой части и, следовательно, о двучастности Авсеня — субъекта ритуала — нет никаких оснований, тем более что двучастность иногда довольно открыто

присутствует в текстах: *Ехать там Авсеню | Да Новому году…* и т. п. Сам характер праздника — карнавальное развенчивание, вольности, шутки и т. п. и сменяющее их торжественное увенчивание Нового года — Авсеня, славословие ему — отсылает к двучленности его. Собственно, эта первая («сторогодняя», «неприличная») часть праздника, о которой по текстам можно только гадать, и вызвала в XVII в. квалификацию всего происходящего как «игрищ и сборищ бесовских» и, соответственно, гонения со стороны официальной власти [40].

«Авсенево-колядочные» тексты дают основание говорить о божественном происхождении Авсеня и Коляды — двух ипостасей одного образа. В песнях они называются божьими (ср. *святой Авсень* при svēts *Usiņš*). В посвященных им текстах Бога просят зародить это новое богатство [41]. В этом смысле рождающийся юный Авсень (ср. мотив рождения Божьей матерью сына в песнях той же схемы) так относится к старому Авсеню, как у сербов Молодой Божич к Старому Бадняку или Божич к Богу, и это тоже подтверждает тезис о целесообразности реконструкции двух Авсеней. Впрочем, к тому же выводу склоняет и анализ наиболее распространенного и диагностически важного текста об Авсене, богатого космологическими ассоциациями. Авсень едет по дороге, находит железный топор, срубает им сосну, мостит мост и едет по нему сам или же дает возможность ехать по нему Новому году — *По тому мосточку | Ехать там А в с е н ю | Д а Н о в о м у г о д у! | Ой авсень, ой авсень!* Интересно, что Новый год едет со всей совокупностью составляющих его святых дат — праздников, воплощенных в образах трех святителей — *Рубите сосны, | Стелите мосты, | … | Забивайте гвозди! | Там будут ехать | Три святителя: | Первый святитель — | Рождество Христово, | Второй святитель — | Василь Кесарецкий, | Третий святитель — | Иван Креститель* (№ 59). Этому «параду» праздников, определяющих объем года — прибытка, отвечает в латышских песнях указание двух персонифицированных праздников — пределов плодоносительной части года — Усиньша и Микеля (No *Ū s i ņ a līdz M ī ķ e ļ a m | Tīru s*lauku p*agalmiņu…* или *Usenītis ar Miķeli | Kopā divi runājās…*). Срубание же сосны и мощение моста отмечают границу между двумя Авсенями — «старым» (ср. «старого» Усиньша) и «новым» (молодым).

В этом контексте особое значение приобретает мотив к о н я, на котором, в частности, едет Авсень или связанный с ним персонаж (№ 13, 17, 18, 32, 35, 36, 69, 70, 72, 79 и др.). На коне едет («катится») и *Коляда*, ср. обычный зачин *А ехала Коляда…* [42]. Чаще всего эта езда на коне дается в вырожденном или «сдвинутом» виде, хотя существуют и полноценные нетривиальные примеры связи Авсеня с конской темой, ср.: *Таусень дуда, | Ты где была? | —* «*К о н е й п а с л а | Что выпасла?…* (№ 98) [43]; коней пасет и Усиньш: Ai, zirdzeņ Jeuseņi,

| Jōsim abi pīguļe: | *Ā*s g u n t e ņ a Kurejis | Tu kumeļu g a n i t ō j s[44]. А возникающая здесь тема разведения огня, подтверждаемая и усеневым ритуалом (ср. поиск старого огневища [*Kur wacais guņ kureits?* — спрашивают Усиньша], мотив зажигателя огня и т. п.), получает отклик в теме огней, на которых должно совершиться жертвоприношение, из «Авсеневых» песен (*Во тех лесах огни горят, | Огни горят горючие, | Вокруг огней люди стоят, | Люди стоят колядуют*... № 20 и др.). Конская тема в связи с Усенем-Авсенем подтверждается и текстами XVII в. В документе от 13 дек. 1650 г. сообщается: *...играют во всякие бесовские игры, ... клички бесовские кличут, коляду и т а у с е н ь и плуту* [так! — *В. Т.*] *... и загадки загадывают, и сказки сказывают ... и накладывают на себя личины и платье скоморожское меж себя нарядя бесовскую к о б ы л к у водят* (Акты историч. IV. С. 124—125), ср. еще: *Патриарх ... указал, чтоб с к о б ы л к а м и не ходили ... и коляды б и о в с е н я и плуги не кликали*, 1627 г. (Там же. III. С. 96)[45]. Из этих показаний следует, что именно эта ритуальная кобылка, изображаемая человеком (подобная ситуация — коза в обряде «вождения козы»), и называлась Авсенем-Усенем. Что же касается ритуального вождения кобылки в начале годового цикла, свидетельствуемого документами XVII в.[46], то оно удивительным образом напоминает ведийскую а ш в а м е д х у (жертвоприношение коня — *aśva-*): конь, воплощающий собою год-богатство, выпускается на волю, но под охраной войска-стражи; земли, которые конь обойдет в течение года, должны перейти царю, после чего конь приносится в жертву; части его тела соотносятся о элементами Космоса: «старый» конь-год распадается на части, «новый» — синтезируется из них и несет на себе богов, людей, «годовое» богатство (Bṛhadar. — Upan. Madhu. I. 1, 1 и др.)[47]. Авсень, переехавший по мосту в Новый год (время) и вступивший в Новый год (время-пространство как целостный континуум), должен принести «год», т. е. годовое богатство, приплод, урожай (об этом его я просят в «Авсеневых» песнях). Отсюда обилие в этих текстах растительных и животных символов плодородия и достатка (часто — в «пищевом» коде). Эта тема достигает своей кульминации в мотиве брака-свадьбы и родов, отсылающих к иерогамии и рождению божества. Благодаря Авсеню хождение по святым вечерам и поиски двора приводят к цели — к двору, внутри которого *горенка*, в ней *кроватка тесова*, на ней *перинушка пухова*, на которой — молодая женпшна, становящаяся матерью. Муж, жена и дети нередко соотносятся с астральной символикой, с составом Космоса — *у Ивана на дворе | Да три терема стоят, | Как и светлой — от м е с я ц — | Сам Иван-от господин. | Красно с о л н ы ш к о — | То Паладьюшка его. | Часты з в е з д о ч к и — | Его детушки* (№ 10)[48].

«Конский» мотив в «Авсеневых» песнях тесно связывает две ипостаси — Авсеня и Коляду — воедино. С одной стороны, они могут быть поняты как не-

кие персонификации коня и колесницы (колесо, ср. calendae как начало месяца); с другой — они оба выступают как символы солнца, движущегося по небу (в суточном и годовом циклах) в колеснице, запряженной конями, и, следовательно, года, определяемого движением солнца, — нисходящим (Старый год) и восходящим (Новый год). Особенно интересно, что есть случаи, допускающие трактовку Коляды как м а т е р и «молодого» Авсеня. Если это так, то Авсень или «пара» Авсеней, дети Коляды-Солнца, непосредственно могут быть сравнены с «парой» Ашвинов, детей Ушас или Сурьи, зари или солнца.

Подводя итоги сравнению Авсеня и Усиньша, можно констатировать, что теперь сходства между этими ритуально-мифологическими персонажами могут быть сформулированы на более глубоком, более специфическом и, главное, более фундаментальном уровне, позволяющем объединить такие разные черты, как двойственность («парность», близнечность), конский характер и свето-солнечность. Одновременно это объединение в целом мифологическом образе отсылает к определенному мифу и определенному обряду, известным хорошо и по другим и.-евр. традициям. Если прибавить к этому обилие мелких, но иногда диагностически очень точных деталей (ср. мотив хорька), то не остается сомнений, что Авсень и Усиньш должны рассматриваться как два отражения одного «протообраза» (и это по меньшей мере). Звуковая близость этих имен более усиливает только что выдвинутый тезис, но одновременно выдвигает перед исследователем серию новых вопросов. Главный из них — как объяснить это сходство имен.

Наиболее осторожным было бы говорить об и.-евр. наследии — солнечном мифе и его главном персонаже, образе солнечного круга, влекомого конями по небу. В языках сатем, где и.-евр. **k’* дало свистящий звук, корень слова, обозначающего коня, — *ek’u̯o-s получил форму *asu̯-/**aśu̯*- (*esu̯/**eśu̯*-), которая оказалась весьма близкой к корню *au̯s- ʽсиять’, ʽсветить’, представленном в словах, обозначающих. рассвет, зарю и т. п. (*asu̯- : *au̯s- как пара, члены которой находятся в метатетическом отношений). Поэтическая игра, акцентирующая это подобие и транспонирующая его на уровень NPr., еще более способствовала формированию «солнечно-конского» мифопоэтического образа и связанных с ним мотивов и сюжетов. Д р у г о е объяснение основано на допущении метатезы в балтийском (а может быть, и славянском) названии коня, которая породила тождество обозначений коня и света, зари и их мифологических образов. Как известно, старое и.-евр. «лошадиное» название отражено в лит. *ašv*à и прусск. *aswīnan* ʽкобылье молоко’ и в единичном лтш. oss у Эльгера. Однако топонимические латгальские материалы, возможно, позволяют расширить количество примеров, отражающих этот корень. Такие названия, как Osagols, Osagoli, *Осагола, Осаголы* (на болоте *Осогольское*); Osagals, *Оссагола;* Assiegali, Osais gols (ср. и Osa[49]), понима-

емые теперь как латгальские формы названий Asais gals, Asagals 'острый конец', в свете русского варианта 1784 г. *Освигалы* (см. далее) могли бы трактоваться как результат переосмысления старых «конских» наименований. Еще интереснее примеры, которые сохраняют более старую форму слова — *osva, ср. *Освигалы,* 1784, но и форма с метатезой *Овсаголы,* т. е. osv- : ovs-, Asva (в русских источниках *Осва, Осво* в польских Oswa), Osvas ez.; Asva, Osva; Osvova, *Освово* (но и Ostova, Ospova) и т. п. Особое значение имеет русская калька лтг. названия деревни Osvova, а именно — *К о н е в а*, подтверждающая семантику лежащего в основе этих названий корня[50]. Подобные примеры (*Овсаголы* и под.) могут бросить свет и на имя *Авсень*, которое тоже могло быть метатезированным вариантом старого названия коня, балтийского или славянского.

Наконец, есть т р е т и й вариант объяснения. Нельзя исключать, что русск. *Усень*, представленное (особенно в старину) и непосредственно, и косвенно (ср. *Таусень, Баусень* и под. как соединение Усень с междометийными *та, ба* и т. п., ср. *усенькать* и др.), является б а л т и й с к и м (уже — латышским) заимствованием в русском языке или, осторожнее и точнее, уцелевшим старым балтизмом. Во всяком случае, при оценке возможностей истолкования исторических связей между Авсенем и Усенем следует помнить об очень характерном ареале Авсеня, как бы продолжающем на восток балтийский ареал, но с перерывом в местах, которые в свое время потеряли связь с Русью (Белоруссия, Смоленщина и т. п.), а именно — Московская, Тульская, Владимирская губернии и далее, реже, Тамбовская, Пензенская, Нижегородская, Среднее Поволожье; отдельные случаи отмечены и далее на восток, где они вторичны (исключение — единичный пример из Курской губ.). Нужно помнить, что старая форма *Усень* (< **Усьнь* < *Usin-i̯o- : *Ūsiņš*), точно отвечающая латышской именно как з а и м с т в о в а н и е, рано должна была стать объектом «смещающей» первоначальную картину «народно-этимологической» игры. Важным ее элементом, несомненно, было слово *овес*, поскольку денотат этого слова действительно был одним из атрибутов обряда Авсеня. Тема овса в связи с *Овсень, Овсей* могла бы получить поддержку и с другой стороны: эти имена допускали, видимо, их понимание как обозначение коня в вегетативном коде (*asv- → *avs-), ср. чеховскую «Лошадиную фамилию» — *Овсов*. Вместе с тем диалектная форма *Jeuseņš* легко могла транспонироваться на русской почве в **Евсень → Евсей → Овсей/Овсень*, по образцу *ельха — ольха, Елена — Олена* и т. п.

Но каким бы образом ни объяснять бесспорную связь, существующую между лтш. *Ūsiņš* и русск. *Авсень* и тем, обозначенным выше, ритуально-мифологическим и поэтическим комплексом образов, стоящих за нею, надежнейшим проводником в этих разысканиях оказывается имя, NPρ., в данном

случае мифологическое. Но и оно — *Ūsiņš/Авсень* — возвращает нас к проблеме подвижности границ между «ономастическим» и «апеллятивным» и создаваемой этой неопределенностью ситуации поэтической игры на рубеже имени и не-имени.

Примечания

[1] Если говорить о наиболее известных старых работах, где эта проблема обсуждалась с практической и теоретической стороны, то нужно прежде всего назвать две книги: H. Usener. Götternamen // Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Bonn, 1896 и E. Cassirer. Sprache und Mythos // Ein Beitrag zum Problem der Götternamen. Leipzig; Berlin, 1925.

[2] Ср.: A. H. Gardiner. The Theory of Proper Nomes // A Controversial Essay. London, 140; ср. также статью автора: Из области теоретической топономастики // ВЯ. 1962. № 6. С. 3—12. В несколько ином ракурсе той же проблемы касаются и другие работы. Не упоминая логико-математических исследований, начиная с Фреге и до Карнапа и Черча, и «семантических» (Кожибский и др.), можно назвать наиболее значительные лингвистические: E. Pulgram. Theory of Names // Univ. of California. 1954; J. Kurylowicz. La position linguistique du nom propre // Onomastica. 1956. Vol. 2. P. 1; и др.

[3] Ср. еще несколько примеров этого типа: Kad *pērkons pirmo reiz* ies *peŗ kailos kokos, tad…*; *Pērkons spēra ozolā | Deviņiem zibeņiem…*; *Pērkons brauca pa debesi | Nosper zelta ozoliņu…*; *Sper, Pērkoni, sausu koku…*; *Pērkons spēra,* zibinā̄ja, | Grib zemīti dedzināt…; *Pērkons spēra, zibens meta…* и т. п. Интересно, что это же сочетание постоянно и в словесных прозаических описаниях: Kad *no pērkona spēriena izceļas ugunsgrēks, tad…*; *Kad pērkons speŗ, tad…*; *Ja pērkona sperta koka…* и т. п. См. P. Šmits. Latviešu tautas ticējumi. Rīgā, 1940. 3 sēj. 1410. Грр. и сл. № 23293 и сл. (V. Pērkona speršana), далее — LTT.

[4] К сочетанию Перконса с мотивом покоя ср.: R*āmi, rāmi,* patapdamies | N*ā*k p*ār* j*ū*ru Perkon*ī*tis.

[5] При определении статуса слова *Pērkons* как NPr. имеет значение, конечно, не только наличие апеллятива *pērko*ns, но и тот факт, что этим именем назывались и люди, и, следовательно, употребление имени не ограничивалось исключительно мифологической сферой. Ср. в старых документах: Hinrik Perkentyn (= *pērkuontiņš*); Anneke Percwnzes; Perkun Andreas (E. Blese. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. Rīgā, 1929. S. 222. lpp.); Perckum; Perkun Semnigs (Ibid. 301), ср. Parcuns (LGU. II. 1528. № 446); Perkun Andreas, Perkun Elisabeth; Perka Andreas, Elisabetha, Peter; Andreas Perkun hortulanus Collegÿ, Elisabeth; Elisabet perkun и под. (H. Biezais. Das Kirchenbuch der St. Jakobskirche in Riga 1582—1621. Uppsala; Wiesbaden, 1957. S. 69, 75, 572, № 464, 572, 1173).

[6] Этот т. наз. «Genitiv der Verstärkung» выступает обычно в таких примерах, как: Paldies *Dievu Dieviņam, | Nu briedīga vasariņa: | Br*iest man rudzi, briest man

mieži, | Briest man *jauna līgaviņa* или Paldies D i e v u D i e v i ņ a m, | Man deviņi brūtganiņi, | *Trīs nošāvu*, trīs pakāru, | Trīs izdzinu nabagos. Несколько отличный случай — Ai, *D i e v u D i e v i ņ u,* | *Nu salti laiki;* | *Sasala jūriņa* | *Līdz* dibinam. Хотя подобный тип в латышских дайнах совпадает с конструкциями типа греч. *θεὸς νεῶν* или лат. Deus deorum, он, как было показано недавно, образует важную архаическую черту народного языка, окаменевшую формулу более ранней эпохи, имеющую параллели в других и.-евр. языках, и не может быть объяснен внешними влияниями. См. H. Biezais. Gott der Götter: Eine religionspsychologische und sprachwissenschaftliche Deutung des lettischen Verstärkungsgenetivs Gott der Götter // Acta Academiae Aboensis. Ser. A. Humaniora, Abo. 1971. Vol. 40. № 2. P. 24—25. Сказанное, разумеется, не исключает возможности таких формул и в письменных текстах, ср. в переводе Глюка (1689): Pateizeet tam D e e w a m wissu D e e w *u*... (Ps. 136, 2), подобно — Debeschu Debesis (в том же переводе Библии). К идее интенсивности религиозного чувства и «усиленного» отношения к Богу ср. пример из Псалма 50, приведенный Биезайсом: Tas s t i p r a i s *Deews*... Из других работ, рассматривающих эту «усилительную» конструкцию, ср.: P. Šmits. Chansons populaires lettonnes 4 // Matériaux des archives du folkloe Letton. A 4. Riga, 1939. P. 23 (замечания Шмита); A. Ozols. Latviešu tautasdziesmu izsauksmes vārdi kā leksikogramatiska un leksikostilistiska kategorija // LPSR ZA. Valodas un literatūras institūta raksti. Riga, 1961. № 13. 61 lpp.; Idem. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga, 1901. S. 180—182. lpp.; A. Gāters. Der Genetiv der Verstärkung im Lettischen // Orbis. 1963. № 12.

[7] Ср.: *Ai Dieviņ, ai Dieviņ; Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs; Kad Dievs dotu, kad dievs d*otu и т. п.

[8] Ср. подробнее статью автора: Заметки по балтийской мифологии // Балтославянский сборник. М., 1972. С. 310—312. — К латышским фактам ср.: L. Bērziņš. «Deews» latweeschu mitologijā. Rīga, 1900 и, особенно, H. Biezais. Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion // Acta Universitatis Uppsaliensis. Historia Religionum I. Uppsala, 1961, в частности, С. 36—37, 66 и др.

[9] Ср. еще несколько примеров: D i e v a **d***ēlis me***d***īt gāja* | *Ar su***d***raba kuceniņu.* | *Aizjā* **d***amis, pārjā* — **d***amis* | *Nošauj zelta lakstīg*alu; — **D**zir**d**u **D** i e v u *izcērtot,* | **D** i e v a **d***ēlu* **d***zenājot,* | *Pate* **D** i e v u nere**d***zēju* | Aiz **d***eviņām kļavas lapām;* **D** i e v a **d***ēlis kal***d***ināja* | *Saules meitas vaina***d***ziņu...;* **D** *i e v i ņ a m* **d**uj**d***ēliņi...;* — **D** i e v a **d***ēli atrī* **d***ējās* | *Kurš* **d***abūs Saules meitu;* — **D** i e v a **d***ēls, Saules meita* | *Pār* **D**auga v u roku **d** e v *a*... и т. п.

[10] Цит. по: W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Rīga, 1936. S. 442 (далее — LPG). То же повторяется и в более поздних источниках, причем в сопровождении ряда новых деталей. Пауль Эйнхорн в «Wiederlegunge der Abgötterey» пишет: «Was vorzeiten in diesen Ländern vor eine abschewliche Abgötterey gewesen, vnd wie sie so v i e l e vnd m a n c h e r l e y Götter gehabet, etliche gute etliche böse, ist fast jedermänniglich bewust. Der eine ist gewesen ein Gott der Blumen, desz Korns vnd anderer Früchte der Erden, welchem nman mit besondern Gottesdienste gedienet. Der andrer ist gewesen ein Gott desz Himmels vnd der Erden, der dritte ein Gott desz Meers, der vierde ein Gott der Schiffer, der fünffte der Brunnen vnd der Flüsse, der sechste des Rechthumbs etc. Also haben sie einen besondern Gott des Donners vnd des Vngewitters, der Hellen und Ewigen finsternissen, der heiligen Gehäge vnd Wälder, der Kranckheiten vnd Gebrächlig-

keiten, der Herrshaffen…» (LPG. S. 462—464). Тот же автор в «Reformatio Gentis Letticae in Ducatu Curlandiae» сообщает о «viele und mancherley Götter und Göttinnen», а именно — «des Himmels, des Gewitters, des Donners, der Blitzen, des Meeres, der Winde, des Fewers, der Felder oder des Askers, der Garten, des Viehes, der Würme, des Weges, … der Büsche oder Holtzungen» и далее о «Wälder-Götter und Göttinnen, die Feld-Mutter, Garten-Mutter…» и т. п. (LPG. S. 469).

[11] Ср. ниже пояснения: «…die Lauka Maat vmb Getreyde, die Daarsa Maat vmb Gartengewächs, Weja Maat vmb gut Gewitter, die Lopu Maat vmb Viehes…» (LPG. S. 472), где обозначение функций, цели (для чего?), по сути дела, представляет собой дословный немецкий перевод первой («специфицирующей») части латышских имен.

[12] Особый тип «онимизации» — обозначение божества по его действию, от соответствующего глагола. Узенер и Кассирер в связи с этим типом специально обращались к балтийскому мифологическому материалу, ср. лит. Blizgulis, бог снега, букв. — «Сверкатель» (: blizgė̃ti ʽсверкать’, ʽблестеть’); Baubis, бог рогатого скота, букв. — «Мычатель» (: *baũbti* ʽреветь’, ʽмычать’); Birbulis, бог пчел, букв. «Жужжатель» (: bir̃bti) и т. п. Кассирер (Op. cit. S. 78—79) именно на этих примерах показывает формирование «языковых» мифов и роль имени в происхождении метафоры.

[13] Ср. и несколько иные типы — *Mēslu māte* или *Baltā mātīte* и т. п. В целом см.: H. Biezais. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala, 1955; и др.

[14] Ср.: «biſohu tehwiņſch, Bienenkönig, it. der Vornehmste» — G. F. Stender. Lettisches Lexikon. Mitau, [1789]. S. 317, а также некоторые другие обозначения мифологических персонажей по «отцовскому» принципу.

[15] Ср. у Стендера: «Mahjes Kungs der Hausherr, wodurch in uralten Zeiten nicht der Herr des Hauses oder der Wirth, sondern der Hausgötze verstanden wurde (s. Zeemneeks)» (LPG. S. 629, ср. Lange. 2. S. 174) и у А. В. Гупеля в его «Topographische Nachrichten Lief und Ehstland»: «Mähjaskungs und Zeemneeks oder Zeemniks sollen eine Art von Hausgötzen gewesen seyn…» (LPG. S. 509, ср. S. 512).

[16] Ср. у Гупеля — «Wehra-Deews oder Meſcha-Deews, der Gott der Unthiere, sonderlich der Wölfe» (LPG. S. 509). — В связи с элементом diev- в мифологических или «мифологизирующих» обозначениях стоит напомнить и о более широкой сфере потенциальной онимизации, тонко почувствованной Стендером по сути дела и отнесенной им, как к ее «родимому» месту, к дайнам. Ср.: «Die historischen Liederchens zeigen an, dass sie sehr alt sind, weil man darin Spuren aus dem Heidentum antrifft. Man hört darin: Deews dehli, Göttes Söhne, Deewa sirgi, Gottes Pferde, Deewa wehrschi, Gottes Ochsen, Deewa putni, Gottes Fasel, Saules meita, der Sonnen Tochter…» (Lettische Grammatik. S. 273—274); здесь же приводятся примеры из мифологических дайн, подтверждающие, по существу (сам Стендер об этом, естественно, не говорит), онимизацию подобных обозначений.

[17] См. *Ф. В. Шеллинг.* Философия искусства. М., 1966. С. 80 (I. раздел первый. § 15).

[18] Ср., напр., лит. *Žemė*patis (и *Żemė*pati, *Ž*emyna), D*i*mstipatis, (Dimstapatis), Vejopatis (см. у М. Преториуса — Wejopat — t/i/s, но и Wejdiews, Wejpons), Raugu patis (Преториус) при pats ʽмуж’, ʽсупруг’; ʽсам’ и т. д.; Laukassargas при sargas ʽсторож’, ʽохранитель’; *Karvaičių dievaitis*, *Eraičių dievaitis* при dievaitis ʽбожок’ и т. п.

[19] В связи с этим вопросом уместно напомнить, что двучленные обозначения типа *Meža māte* или *Meža tēvs* существенно отличаются от двучленных composita в NPr. людей (здесь достаточно указать, что в первом случае минимальное синтаксическое сочетание двух слов, первое из которых в Gen.; во втором же — односложное слово, первый член которого — основа; впрочем, иногда наблюдается тенденция к более целостному оформлению, отражающаяся, возможно, в написаниях типа Laukemate, Dahrsemate и т. п.; ср. у Эйнхорна; иногда информацию доставляют имена людей с мифологической семантикой, ср. такие старые лтш. имена, как Ledtmaht, 1615 [= *ledmāte*, *ledus māte*?], Kalnedeus, 1462, см. E. Blese. Op. cit. S. 141. lpp.). Интересно, что старый и.-евр. тип двусложных имен в целом никак не отразился в сфере теофорных обозначений. С сожалением приходится констатировать, что этот архаичный тип имен в латышском за пределами балтистики почти неизвестен и практически не используется в исследованиях по сравнительно-исторической ономастике, хотя существует несколько серьезных работ, касающихся подобных имен в латышском. Ср. в первую очередь E. Blese. Op. cit., а также P. Šmidts. (Šmits). Par mūsu senču vārdiem // Druva. 1913. № 1. Особенно важно отметить, что древнейшие данные появляются в начале XII в., т. е. задолго до первых письменных памятников на латышском языке. Ср., напр., у Генриха Латвийского Drivinalde, Talibaldus, Waribule, Waridote, Warrigerbe, Warigribbe, Vesttardo (Vesthardus); в «Libri redituum» I—II — Dravestowe, Vesdot, в «Das Rigische Schuldbuch» (1286—1352) Darbeslave и др., ср. куршск. NPr. Toutegudden (Dat. sg.), 1333. Кое-что может быть реконструировано по простым («сокращенным») именам и даже фамилиям (они часто сохраняют старые личные имена), материалы по которым возрастают. Ср. L. Feyerabend. Die Rigaer und Revaler Familiennamen. im. 14, und 15. Jh.: Unter besonderer Berücksichtigung der Herkunft der Bürger. Wien, 1985 (см. рец. Ю. Удольфа в «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas». 1987. Bd. 35. S. 285—287). Единичные сложные имена удержались и в современном латышском именослове (ср. *Tālivaldis*, Viesturs), о чем см. *В. Э. Сталтмане.* Латышская антропонимия: Фамилии. М., 1981. С. 4.

[20] Это разумеется, не означает, что все детали ясны. В частности, в связи с именем женского персонажа встает вопрос о его исходной форме. Если, согласно ряду версий, речь идет о жене противника Громовержца (Velns), то правдоподобно предположить, что ее имя выражалось некогда словом — условно *Velna (*Vela). Женское имя этого корня известно в других и.-евр. традициях — слав. *Волосыни*, *Вела*, *Елесиха* при *Волос*/*Велес*, *Елс*, др.-инд. Varu*ṇāni* при Varuṇa и т. д. и, возможно, восстанавливается и для балтийского на основании не вполне ясной формы Vielona у Я. Ласицкого («De Diis Samagitarum»), ср.: V i e l o n a Deus animarum, cui tum offertur, cum mortui pascuntur или *...ita vocant:* V i e l o n a velos atteik musmup vnd stala (LPG. S. 357, 359).

Во всяком случае нельзя исключать, что могла существовать пара типа *Velns & **tēvs* и *Velna & **māte*, которой предшествовала более простая пара — *Velns и *Velna, соотв. *Vels и *Vela (первая форма известна из старого источника по балтийской мифологии /Стендер/, а вторая совпадает с реально существующим именем персонажа того же типа из македонского фольклора). В таком случае *veļi* ‘покойные’, ‘усопшие души’ (ср. *velānieši*) могли понимать как своего рода подданные богини

смерти, ее дети, обитающие в царстве мертвых. В другом месте было показано, что имя *Veļu māte* в мифологических дайнах часто обыгрывается на звуковом уровне (ср. соседство с ним таких слов, как *velēt* 'колотить вальком', *vēlēt* 'желать', va*ļa* 'воля', ve*lēna* 'дерн' и т. п., которые в совокупности намечают разворачивание мотивов «языковых» мифов), ср.: *Vaļā* manas nama duris, | *Vaļā manas istabiņas:* | *Veļu māte aiz* vil *usi...*; *...Ne* vel *ēju galdautiņu;* | *Veļu māte,* ... | T*ā* velēja galdautiņu и т. п.; ср. A. V. Beldavs. Velns/velni: a shape-shifting Latvian archetype // Ninth Conference on Baltic Studies. Chicago, 1986. P. 11—12 и др. Звуковая игра мифологического имени Laima носит несколько иной характер: оно вступает в связи с глаголом lemt 'решать', 'предопределять' и под. (при том что laime 'счастье', 'доля', 'участь'), образуя ключевую семантическую конструкцию — Laima & lemt, о предопределяющей и предопределенной доле, ср.: *Ļaudis manu mūžu lēma,* | *Šķiet Laimiņu nelema*m; | Man *Laimiņa nolēmusi,* | *Kādu pati gribedama; Vēl, Dieviņ,* lem, Laimiņ..., ср. формулировку соответствующего мотива — «Laima nolemj meitai precinieku». Сходная литовская конструкция Laima lemia проанализирована в кн.: A. J. Greimas. Apie dievus ir žmones. Chicago, 1979. P. 185—189. Существенна еще одна figura etymologica, формирующая важный мотив связи Лаймы с родами: *Tu, Laimiņa, laidējiņa...* при том, что Laima < и.-евр. *Laidma т. е. Laid- : laid-. О Лайме см. H. Biezais. Die Hauptgöttinnen… S. 117 ff.

[21] К этимологии см. H. Biezais. Die Hauptgöttinnen… S. 104—106.

[22] Ср. уже у Гупеля: «…Dehkla aber, die sie von dem lettischen Wort Deht saugen, Dehjkla schreiben, die Aufsicht über die Säugenden» (LPG. S. 510).

[23] Ср. *nosaukt vārdā* 'назвать по имени'.

[24] Ср. *В. В. Иванов.* Древнеиндийский миф об установлении имени и его параллель в греческой традиции // Индия в древности. М., 1964. С. 85—94.

[25] Из старых работ ср. R. Auning. Wer ist Uhsing?: Ein Beitrag zur lettischen Mythologie // Magazin der Lettischliterärischen Gesellschaft. Mitau, 1861. Bd. 16. H. 2. S. 5—42; *Э. А. Вольтер.* Материалы для этнографии латышского племени Витебской губернии. СПб., 1890. С. 4—43; из недавних — книгу: H. Biezais. Lichtgott der alten Letten. Stockholm, 1976, а также *Т. Я. Елизаренкова, В. Н. Топоров*. О древнеиндийской Ушас (Uṣas) и ее балтийском соответствии (*Ūsiņš*) // Индия в древности. М., 1964. С. 66—84; ср. также W. P. Schmid. Zum lettischen Götternamen *Ūsiņš* // BNF. 1963. Bd. 14. H. 2. S. 130—137; и др.

[26] Ср. NPr. типа Jakób Uzen, Ježy Uzen (1599) и др., но и Ussin, Vsings, Marko Usianianis и др. (E. Blese. Op. cit. S. 269, 317, 337 lpp.).

[27] Ср.: Jeuse*ņ*am garas *ū*ses; | Id*ū*d man puseiti и под. Ср. шуточное подпаливание коню усов у ноздрей головешками во время пира «пиегульниеков» в честь Усиньша (см. *Э. А. Вольтер.* Указ. соч. С. 26). Не нужно забывать и о бороде Усиньша: *Ūsiņām bārzda trīc* | *Bēru zirgu sakājot...*

[28] Ср. *Jeuseņ, Jeuseņ, a beus lobs* j*ūsteņa(s)*!

[29] *Ū*si*ņ*am divi d*ē*li | sarkan*ā*m galvi*ņā*m; | vienu s*ū*ta piegu*ļā* | otr' ar arklu t*ī*ruma (Auning. № 41).

[30] *Ū*si*ņ*am bij divi d*ē*li, | abi vienu vecumu; | neredz*ē*ja, kad tie dzima, | tik redz*ē*ja staig*ā*jot; | pr*ā*v*ā*kais, kad str*ā*d*ā*ju, | maz*ā*kais, kad gul*ē*ju (Auning. № 42).

[31] Они близнецы и родились как пара (RV III. 39, 3).

[32] Их мать — Uṣas, утренняя заря (RV III. 39, 3). Подобно двум сыновьям Усиньша они связаны с предрассветными и вечерними сумерками. На запряженной конями колеснице они мчатся по небу в сопровождении Сурьи (ср. *sūrya*- 'солнце'). За день они объезжают вселенную, разгоняя тьму. Ушас сопровождает их или они ей следуют и т. п.

[33] Ср. подобную же историю с Саранью, принявшей облик кобылицы, убежавшей от мужа и родившей (когда муж в образе коня настиг ее) близнецов Ашвинов. До этого у нее уже была двойня — мальчик и девочка Яма и Ями, чье имя связано как с ирл. Emain или др.-сев. Imir, так и с лтш. Jumis. См. подробнее заметку автора: Сравнительно-исторический комментарий к кельтским мифопоэтичеоким параллелям // Духовная культура и язык кельтов. М., 1988.

[34] Существенно помнить об изменениях этой даты в ходе русской истории.

[35] Овес (auzas) не раз фигурирует и в текстах об Усиньше: Ср.: *Usiņam tētiņam | Zirgus kopt gribējās; | Dienā nesa auzu sieku…* и под.

[36] Подробнее см. статью автора: Авсень и «Авсеневы» тексты в свете реконструкции // Этнолингвистика текста: Материалы к симпозиуму. М., 1987.

[37] Этимология слав. **godъ*, собственно, и вскрывает эту семантику — годовое удовлетворение, приобретение; то, что г о д н о (пригодно, угодно) в течение этого цикла.

[38] Мотив п о и с к а настойчиво повторяется в «Авсеневых» песнях: *Вот ходили мы, | Вот искали мы, | По проулочкам, | По заулочкам. | Вот Иванов двор…; | Овсень, овсень | Боу овсень | Мы ходили, мы гуляли | По святым вечерам, | Мы и с к а л и, мы и с к а л и | Алексеев дом, | Мы н а ш л и его двор, …Ворота красны…* и т. п. (Земцовский. № 10, 11, 34, 75 и др.).

[39] Мотив ворот отмечен и в «Усеневых» песнях.

[40] Ср.: *…И мы указали о том учинить заказ крепкой, чтобы ныне и впредь… в навечери рождества Христова и Богоявленья колод и плуг, и у с е н е й не кликали и песней бесовских не пели… А которые люди… учнут (кликать) колоду и плуги и у с е н и и петь скверные песни, или кто учнет кого бранить матерны… и тем… за такия супротивные христианскому законы за неистовства быти от нас в великой опале и в жестком наказанье* (Грам. царя Алексея Михайловича. 19 декабря 1649). Впрочем, элементы шутки, нелепицы, абсурда, выворачивания здравого смысла наизнанку присутствуют и в песнях (ср.: *Уж ты сивая свинья, | Таусень! | На дубу гнездо свила, | Поросяток вывела…* и т. п., № 83).

[41] Известный текст *Ходит И л ь я | На Василья…* (№ 94, ср. № 95 и др.) дает основание ввести Авсеня и в схему «основного» мифа через его сыновнюю связь с Громовержцем. Можно напомннть, что Диоскуры — тоже дети Зевса. Ср.: об Усиньше и Божьем сыне: *Nū J e u s e ņ a zirgu perka <…> D ī v a d ā l s, bažojus, | Nava taida jojejeņa*.

[42] Ср. диал. *колядá* — бранное слово по отношению к л о ш а д и (СРНГ. 14. 1978. С. 222).

[43] И далее: — «*Коня в седле, | В золотой у з д е…*» Мотив у з д ы (золотой, новой [*Как на этом на коне | Узда новая…* № 13] и т. п.). Мотив *узды* (iemaukti) существен не только в связи с Авсенем, но и в связи с Усиньшем. В Ночь на день Усиньша или на Юрьев день, чтобы заколдовать лошадей, приносят в чужую конюшню яйцо, обвязанное цветною ниткой и, положив его в нужное место, говорят: «*Ах ты, богатый*

Узинь! Темная ночь, зеленая трава, я выпустил коня. Я приехал на белом коне с к р а с н о ю   у з д о ю…». См. *Э. А. Вольтер.* Указ. соч. С. 42—43; *Ф. Трейланд.* Материалы по этнографии латышского племени. М., 1881. Т. 2. С. 191. № 656 (образ коня с красною уздою в заговорах).

[44] То же относится и к святому Юрию: *Lai swāts Jurs* ^{ze}i$^{rgu(s)}$ gona.

[45] Ср.: *Таусень! | Ах ты, тетушка, | …Ты подай к о н ь к а! | Если подашь к о н ь к а, | Так родишь сынка…* (№ 120).

[46] В этой связи вообще характерен мотив п о к у п к и (ср. Об Усиньше: *Jeuseņš* p e r k a *kumeļeņ*) коня и выпускания его из стойла на волю.

[47] В известной степени соответствие этому мотиву обнаруживается и в описаниях пира в день Усиньша, по окончании пира говорят: «Да хранит батюшка Усиньш лошадей, ночлежник [Усиньш, по примечанию Аунинга] дома». Эти слова — формула передачи лошадей н а   в е с ь   г о д под покровительство Усиньша (см. *Э. А. Вольтер.* Указ. соч. С. 23 и др.). Тем самым конское стадо, выпущенное на год, соответствует коню в ашвамедхе, а Устньш — войску-страже, надзирающей за конем.

[48] Еще одно существенное сходство Авсеня и Усиньша: в центре всего дом, горница, стол, а эти персонажи находятся в о в н е: у ограды, забора, ворот, в лучшем случае на дворе, у окна, и п р и х о д их в дом, установление непосредственного контакта с людьми — важнейшая черта обряда. Ср. *Ūsiņs sē*d *s ē* t m a l *ē* | *Gaid',* lai ludz i s t a b *ā; | Nāc, Ūsiņ,* i s t a b *ā,* | *Sē*dies, g a i d a   g a l i *ņ ā*.

[49] См. V. J. Zeps. The Placenames of Latgola. A Dictionary of East Latvian Toponyms. Madison; Wisconsin, 1934. P. 355—357. Ср. также гидроним *Asupīte* (из *Asv-up-), см. J. Endzelin. ZfllPh. XI. 1934. S. 119.

[50] Подробнее см. работу автора: Из балтийской ареальной гидронимии: к латгальско-восточнославянским языковым связям // Balto-slowiańskie związki językowe: Conf. in Bialowieźa, May 13—17, 1987. Wrocław, 1990. S. 365—380.

Сокращения

авест. — авестийский
а.-сакс. — англосаксонский
арм. — армянский
губ. — губерния
др.-инд. — древнеиндийский
др.-сев. — древнесеверный
и.-евр. — индоевропейский
ирл. — ирландский
лтг. — латгальский
с.-хорв. — сербохорватский
слав. — славянский
ст.-чеш. — старочешский

Литература

BNF — Beiträge zur Namenforschung
Endzelin J. ZfslPh. XI. 1934 — J. Endzelin. Die lettländischen Gewässernamen // Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig, 1934. Bd. 11. S. 112—150.

Lange — J. Lange. Vollständiges deutsch-lettisches und lettisch-deutsches Lexikon. Mitau, 1777.
LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1969. T. 2.
ME — K. *Mīlenbahs.* Latviešu valoda vārdnīca / Redigējis, papildinājis, turpinājis J. *Endzelīns.* 1923—1932. 1.—4. sēj.
Pokorny — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1959. Bd. 1—2.
RV — Pie Hymnen des Rigveda. 3 Aufl. Berlin, 1955. Bd. 1—2.
Ser. rer. liv. II — Scriptores rerum livonicarum. Riga; Leipzig, 1848. V. 2.
ВЯ — Вопросы языкознания.
Земцовский — *И. Земцовский.* Мелодии календарных песен. Л., 1975.
Ласицкий (Lasicki) — Lasicius. De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum, et falsorum Christianorum. Item de Religione Armeniorum. Riga, 1868.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1978. Вып. 14.

1990

К РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОГО БАЛТИЙСКОГО РИТУАЛЬНОГО ТЕРМИНА

Речь пойдет о важном термине, связанном с обрядом трупосожжения и до сих пор не привлекавшем к себе внимания. Как известно, этот обряд, хорошо засвидетельствованный археологическими данными и письменными документами (начиная уже с Вульфстана), сохранялся у балтов значительно дольше, чем у их христианизированных соседей, которые к этому времени уже успели забыть, что и они в прошлом пользовались таким способом захоронения. Не случайно, что в данных условиях практика трупосожжения у балтов привлекала к себе повышенный интерес их соседей и расценивалась ими как свидетельство особой отмеченности балтов в этом отношении («нецивилизованность», «дикость», «язычество» и т. п.). Точно так же нельзя признать случайными попытки мотивировать обряд трупосожжения и тем самым оправдать его, предпринимавшиеся, как можно судить по некоторым источникам, со стороны балтов, очевидно, представителями жреческих кругов. Ранее был проанализирован ряд таких текстов, в которых с достаточной надежностью обнаруживаются следы подобных аналогий балтской похоронной практики (ср. прежде всего тексты о Совии и Швинтороге) [1].

Здесь — с несколько иными (преимущественно реконструктивными) целями — придется вернуться к одному очень интересному, сильно мифологизированному и принципиально «идеологичному» тексту, представляющему собой наиболее яркую аналогию и мотивировку обряда трупосожжения у балтов и ряда других соседних народов, — конкретно, к вставке, сделанной в 1261 г. западнорусским переписчиком перевода «Хроники» Иоанна Малалы и известной по двум старым рукописям. Первостепенный интерес этого текста объясняется прежде всего соединением в нем исторического начала с мифопоэтическим и мифа с ритуалом. В тексте рассказывается о

некоем человеке по имени *Совий* (**Совии бѣ ч͡лкъ**), поссорившемся со своими детьми, нарушившими его просьбу (Совий просил испечь для него девять селезенок пойманного им вепря, но дети, не послушавшись отца, съели их сами — нарушение алиментарного запрета). Совий в гневе пытался снизойти через восемь врат во ад, но потерпел в этом неудачу. Лишь после того, как один из сыновей указал ему и девятые врата, Совий достигает ада. Обнаружив, что отца нет, другие сыновья рассердились на брата, и он должен был отправиться за отцом. Найдя его, сын устроил ему ложе и предал его погребению в земле (**сътвори емоу ложе и погребе и въ земли**). Наутро сын узнает, что отцу было плохо, потому что он был изъеден червями и гадами. На следующую ночь отец был положен в дерево (**и въ древо и положи**), но утром он опять поведал сыну, что ему было плохо (**тѧжко спаⷯ**), так как он был заеден пчелами и комарами. Тогда Совий был предан огню (**сътворивъ крадоу ѡгненоу великоу и връже и на ѡгнь**). Далее следует некое далеко идущее в своих выводах резюме: **Ѡ великаа прелесть дıавольскаа ѧже въведе въ литовскии поⷣ и ѧтвезѣ и въ проусы и въ емь и во ливъ и иныѧ многы ѧзыки иже совицею наричютсѧ мнѧще и д͠шамъ своимъ соуща проводника въ адъ совьѧ бывшоу емоу въ лѣта Авимелеха иже и н͠нѣ мр͠тва телеса своѧ сжигають на крадахъ ѧко Ахилеѡⷥ и Єантъ и инıи по рѧдоу еллини. Сıю прелесть совии въведе внѣ иⷤ приносити жрътвоу скверныимъ богам андаеви и перкоунови рекше громоу и жвороунѣ рекше соуцѣ и телавели ıсгкоузнецю сковавше емоу с͡лнце ѧко свѣтити по земли и въверъгшю емоу на н͠бо с͡лнце. Си же прелесть скверна приде внѣ ѿ еллинъ… ѿ авимелеха и многого родоу скверного совьѧ до сего лѣта вн ѧже начахомь писати книгы си…** [2]

Таким образом, Совий выступает в этом тексте как первый из смертных (**бѣ ч͡лкъ**) который, оказавшись в царстве мертвых (т. е. умерев), сам на себе испробовал разные способы захоронения, оценил их и выбрал наилучший из них — сожжение на костре. Пройдя через это испытание, Совий стал основателем и распространителем — в свое время и в своем кругу народов — указанного типа похоронного обряда. Более того, в этом контексте он уже не только человек, но и Бог царства мертвых (ср.: **Иже Совия Богом нарицаютъ**) и даже посредник между людьми и царством мертвых, своего рода «психопомп» (ср.: …**мнѧще и д͡шамъ своимъ соуща проводника въ адъ**…). Эту гетерогенность природы и функций Совия следует постоянно иметь в виду, поскольку она имеет прямое отношение, во-первых, к тому, что Совий выступает и как субъект и как объект похоронного обряда (тот, кто сжигает покойного и кого сжигают как покойника), и, во-вторых, к теме перехода между жизнью и смертью, живыми и мертвыми, т. е. между уже указанными субъектной и объектной сферами. Но Совий был

не только учредителем новой формы ритуала: он был и религиозным реформатором, связавшим ритуал трупосожжения с культом богов. При этом сожжение покойника приравнивалось к принесению жертвы богам, сам набор которых отсылает к известному мифологическому сюжету, проанализированному в другом месте, как и к некоторым другим диагностически важным мотивам (вепрь, девять селезенок, девять врат, солнце, кузнец и др. [3]).

Тема трупосожжения была, несомненно, очень близка автору рассматриваемой здесь вставки, носителю иной традиции. Такое отношение к этому ритуалу нельзя считать исключительным, по крайней мере для того же ареала и примерно для того же периода времени. В частности, косвенные отражения полемики по этому вопросу можно усмотреть в записи под 1114 г. из Ипатьевской летописи и тоже в дополненной цитате из Иоанна Малалы, где актуализируется тема Сварога, отца Солнца, отождествляемого с божественным кузнецом Гефестом и относимого к началу некоей новой «огненной» традиции (видимо, сознательны попытки соотнести или хотя бы сблизить Сварога с Совием как по сути дела, так и по форме, ср. вариант имени *Соварог*, где вторая часть слова соотносима с исходом имени другого реформатора обряда трупосожжения — *Швинторог*). Во всяком случае есть основания думать, что кризисная для этого обряда ситуация, сложившаяся в первые века II тысячелетия нашей эры, сопровождалась активной дискуссией о природе «сей прелести», с одной стороны, и разного рода реформами обряда и появлением апологетических текстов, говорящих о преимуществах именно трупосожжения, с другой стороны. Именно в таких условиях нередко актуализируются те или иные ценности угасающей традиции, хотя в последний раз перед своим исчезновением они могут появляться в непривычном для них локусе или в иной, чем обычно, аранжировке.

В связи со сказанным уместно привлечь внимание к возможному объяснению самого имени *Совий*, бросающему, видимо, свет на самое технологию обряда трупосожжения. Сразу же следует подчеркнуть, что существующие попытки объяснить имя *Совий* через связь со словами, обозначающими отдельные объекты, которые выступают в рассказе о Совии (свинья, солнце), и обладающими более или менее сходной звуковой формой (*su-, *su̯el- и т. п.), нужно признать малоудовлетворительными [4]. Гораздо более вероятно предположение, что в основе имени *Совий* лежит апеллятив типа **šovēj*(a)s/**sovēj*(a)s, представляющий собой nomen agentis от глагола **šauti* (*sàuti) со значением ʽсоватьʼ, ʽтолкатьʼ, ʽдвигатьʼ, ʽбросатьʼ и т. п., не говоря о специализированном значении «стрелять» (ср.также лит. *šáudyti*, лтш. *šaudīt*). Реально в имени Совий отражен тип, представленный в лит. *šovė*jas [5] (: *šáuti*) и лтш. *šāvējs* (: *šaũ*t [6]) и входящий в довольно разветвленное словообразовательное семейство (ср. лит. *šovìkas*,

-ė, šovinys, -ynė, šovìklis, šoveklis, šovà, šovìmas и т. п.; лтш. *šāviņš, šãviens, šavains, šàuts, šàutrs, -a, šautene, šautuv*a, -ava, -eve, *šâva* и т. п.; см. LKŽ XIV; ME XXXVI burtn., 9—13 и др.; ср. также прусск. **šaut-*, восстанавливаемое на основании auschautins 'долг' и т. п.). Характерно, что значения 'совать', 'толкать' и под. составляют самый архаичный слой семантики этих глаголов, что соответствует положению дел в слав. *sovati, из более раннего *suti < *soutei [7], ср. *sujǫ (ср. русск. *совать* : *сую* и т. п.). Вместе с тем и в самих балтийских языках наиболее устойчивым сочетанием глагола *šáuti*/*šaũt*/*saũt* оказывается то, которое описывает помещение (в - с о в ы в а н и е) хлеба в печь, в огонь. Ср.: *šá*uti/*šaũt*/*saũt* & dúona, maize и т. п. (Acc.) & ugnìs, uguns; krósnis, *krāsns* (*į* + Acc. в литовском, Loc. direct. в латышском) типа лит. *Atsargiai šauk duoną į pečių — nesulipyk kepalų*; Duona *jau įrūgo —* laika*s šáuti*; *Šáuk šitą didįjį kepalą į patį galą, o šitą mažąjį palik po* anga *— geriau išk*eps (примеры заимствованы из LKŽ, s. v. *šáuti*); *duoną į pečių* (*į krosnį*) *šáuja* и т. п.; лтш. *šaut maizi krāsnī*; *maizīt*(i) *šāvu pašā krāsnes dibęnā*. BW 35606 (ср. BW 6896; 8117, 2; 10723 и др.) и т. п. Та же самая картина и в славянских языках, ср. русск. *совать* (*сунуть*) *хлеб в печь, огонь...* и т. д. [8] Не приходится сомневаться, что это устойчивое сочетание, центром которого является глагол, может быть реконструировано и для балто-славянского (несмотря на различия в названии хлеба в балтийских и славянских языках: dúona, maize, geits, *хлеб* и т. п.). Каркас реконструированной схемы образуют *šáuti*/*šaũt*/sovati & *ХЛЕБ* & ugnìs/uguns/*ognь* V krósnis/*krāsns* (V *pẽčius*/pečь и т. п.).

Рассмотренное сочетание является отмеченным не только с языковой точки зрения. Существенно, что оно описывает очень важный и символически напряженный ритуальный акт помещения хлеба в печь, благодаря которому сырое пресуществляется в печеное (вареное) и происходит как бы увеличение субстанции жизни — хлеба. Сохранение ритуализованного характера печения хлеба и особенно центрального его момента — помещения хлеба в печь — подтверждается данными многих традиций, и поэтому в данном случае нет нужды приводить дополнительные аргументы. Зато целесообразно обратить внимание на исключительно важный мотив з а - с о - в ы в а н и я героя в печь, в огонь, отмеченный в ряде сказок. Отчетливее всего этот мотив представлен в русских сказках, где засунуть героя в печь пытается Баба-Яга, но реально осуществить это действие удается герою (субъект) в отношении Бабы-Яги (объект). Прежде всего показательно, что само это действие в сказке часто кодируется той же лексемой *совать*/*сунуть*, о которой уже шла речь (ср.: *взял лопату... и с у н у л ее в печь*. Афанасьев, № 111; *...как вдруг с у н е т ее в печь...* № 107 и др.). Но еще показательней, что засовывание совершается с помощью лопаты или

совка (: *сова́ть*), которые, как настойчиво подчеркивается в сказке, предназначены для сажания хлеба в печь. Ср.: *...взятши лапату, што хлеб сажають...*, Афанасьев, № 109; *...узяла лопату, що в пічку хліб сажають...* № 110 (в вариантах: *совок*).

Таким образом, в идеальной экспликации разбираемой схемы, спроецированной на конкретно-языковой уровень, оказывается, что почти каждый член схемы может быть передан элементом *сов-* (родственным *š*áuti/*šaũ*t/*saũt*): Засовывающий (ср. *Совий* = **šovē̃j*(a)s) засовывает (*š*áuti/*šaut*) совком (ср. лит. *š*á*ukšta*s[9]) героя, долженствующего умереть (собств. — покойника, см. ниже), или хлеб (т. е. засовываемое) в огонь или печь. Эта схема как раз и является тем контекстом, в котором произошла «ономизация» и мифологизация апеллятива со значением деятеля: тот, кто *šáuna*/*šaũn* → *šovē̃*jas/*šāvējs* → **Šovē̃*jas/**Šāvējs*, в русской адаптации — *Совий*. При этом *šovē̃*jas/*šāvējs* оказывается не только обозначением жреца, руководящего обрядом сожжения покойника (тот, кто помещает его на костер), как это более или менее прозрачно следует из мифологизированного рассказа о Совии, но и исполнителем ритуала печения хлеба, о чем помимо типологических параллелей и примеров типа *š*áuti dú*oną į kr*ó*snį* и т. п. свидетельствует словарное значение лексемы *šovē̃*jas — 3. *kas šauna, kiša duoną į krosnį* (LKŽ, s. v. *šovē̃*jas), ср. также *šov*ìkas — 2. *kas duoną šauna į krosnį*. Оба эти употребления балтийского и славянского глагола со значением ʽсовать’ не должны вызывать удивления. Более того, речь в обоих случаях идет, по сути дела, об одном и том же — о принесении в жертву (сожжении) покойника (человека) и хлеба с целью достижения новой жизни, увеличения плодородия и витальности, воскресения, понимаемого как обретение «усиленной» жизни через смерть, с которой связано уничтожение или решительное изменение прежней субстанции того, что приносится в жертву.

В этой схеме человек-покойник и хлеб, помещаемые в огонь, оказываются символами-синонимами, образами одной и той же идеи. Подобное отождествление принимающего «огненную» смерть человека и хлеба в сочетании с другим отождествлением — жрец = жертва — с удивительной наглядностью и силой дано в виршах «Винограда Российского» Семена Денисова, своеобразного мартиролога мучеников за старую веру, многие из которых добровольно приняли смерть в «гарях»:

Тако отец Варлаам огнем испечеся
и яко хлеб сладчайший Богу принесеся.
Божий бо священник сыи, прежде Христа жряше,
потом же и сам себе в жертву возношаше.[10]

Мифо-ритуальное и символическое отождествление хлеба с жертвой (в частности, с божеством или с животным) имеет очень широкое распространение, и здесь достаточно упомянуть акт пресуществления хлеба в плоть, составляющий главный нерв христианской литургии, непосредственно соотносимой с темой воскресения («смертию смерть поправ…»)[11].

Сходство между Совием и Бабой-Ягой не исчерпывается сказанным. Оно (особенно принимая во внимание «двойственность» Совия, выступающего то как субъект, то как объект сожжения) и шире и глубже. Эти другие сходства вытекают из одного главного — сходства ритуальной функции (жрец при обряде трупосожжения), определяемой своего рода сверхзадачей — достижением через смерть новой жизни. В этой связи необходимы некоторые разъяснения и уточнения по отношению к образу Бабы-Яги. Ее связь со смертью очевидна (и об этом писалось), хотя на уровне деталей эта тема могла бы получить еще более специальную разработку, а на уровне идей — осмысление, связанное с более широким контекстом явлений и с более тонким проникновением в суть проблемы. Как известно, образ Бабы-Яги амбивалентен, но эту двойственность обычно сводили к оценочному (с точки зрения героя сказки) плану: Баба-Яга «положительна», когда она помогает герою, учит его, и она «отрицательна», когда злоумышляет против героя, ища его смерти. Однако более глубокая амбивалентность Бабы-Яги оставалась в тени, хотя именно она самым непосредственным образом ориентирована на тему смерти. Прежде всего Баба-Яга сама смерть и ее причина одновременно. Давно указывалось на то, что ее описание имеет в виду, по сути дела, труп, уже основательно тронутый тлением (распадающаяся плоть, костеногость, запах «иного» мира, слепота и т. п.). Избушка Бабы-Яги может быть понята как гроб (жилище смерти), в котором она лежит («лежанье» Бабы-Яги — ее постоянный атрибут: в особых обстоятельствах она летает, но никогда не стоит, не сидит, не ходит), занимая в нем, как покойник в гробе, практически все пространство. Избушка (= гроб) тесна и обужена, и эти ее свойства воспринимаются героем сказки болезненно, приводя его в угнетенное состояние духа (ср. близость корней соответствующих и.-евр. лексем, см. Pokorny I, 13, 42) и окружая его атмосферой сгущающейся смертной угрозы. Но Баба-Яга не только труп и смерть; она еще и церемониймейстер смерти, жрица, приносящая героя сказки в жертву (идея похорон как принесения жертвы-покойника известна многим архаичным традициям), готовая предать его смерти[12]. Но реальность сказки иная, чем идеальное задание, отражающее ритуальную действительность: жертвой, покойником оказывается не герой сказки, а сама Баба-Яга, и, следовательно, жрецом, совершающим жертвоприношение, выступает не Баба-Яга, а сказочный герой. Иначе говоря, события в

избушке развиваются так, что функции жертвователя и жертвы, оставаясь неизменными, меняют свои адреса, «разыгрываются» противопоставленными друг другу персонажами. В этих изменяющихся условиях особенно существенна способность Бабы-Яги выступать и как субъект и как объект при предикате «причинять смерть» (умерщвлять, убивать). Эта мена ролями снова отсылает к «парадоксальной» логике ритуала, когда потеря (жертва) оборачивается выигрышем.

Разумеется, то, что герой, которому предстоит смерть, оказывается победителем, обладателем новых и более высоких жизненных ценностей, подтверждает мысль В. Я. Проппа о связи описываемого в сказке с обрядом инициации[13], совершаемой «старой женщиной» в лесном доме. Однако, нужно думать, инициация в данном случае не последнее звено в цепи. Сама она мыслится как образ проведения испытуемого через смерть ради обретения новой жизни. В этом смысле обряд инициации и так или иначе отражающая его сказка ориентированы на самое смерть и на соответствующий похоронный обряд, который тоже всегда предполагает уравновешивание и преодоление ужаса смерти идеей новой жизни, усиленного возрождения. В силу сказанного приходится признать, что сказка отражает не только обряд инициации, но и — через него — соответствующий похоронный обряд, моделируемый при инициации. И если в плане связи с обрядом инициации на первое место выступает «умерший» и возрожденный герой сказки, то контекст похоронного ритуала выдвигает вперед именно Бабу-Ягу. Ее диапазон пределен: она единственная «реальная» покойница в сказке, так сказать, покойница по преимуществу, покойница-тип (есть все основания говорить о Бабе-Яге как образе «первопокойницы», первой принявшей смерть и первой прошедшей через данный обряд похорон [как и Совий], который стал началом традиции трупосожжения; собственно, это «первенство» Бабы-Яги и определяет ее выбор в качестве руководителя похоронного ритуала), но она же и обновительница жизни, возрождающая героя (ср. хеттск. ^{SAL}*ḫašauu̯aš*- /= ^{SAL}ŠU.GI/ при *ḫašš*- 'рожать'). Поэтому избушка Бабы-Яги должна пониматься не только как смертное место, гроб, могила, но и как родимое лоно, колыбель новой жизни.

В связи с изложенным выше о Совии уместно сделать следующий шаг — попытаться установить следы похоронного ритуала в сказках о Бабе-Яге и определить его тип. Прежде всего бросается в глаза, что вся обстановка в избушке Бабы-Яги, все окружающие ее предметы, хорошо соответствуют набору вещей, используемых именно в похоронном ритуале — полати (кровать), печь (очаг, огонь), лопата (совок), глиняная сковородка («ладка», противень), ступа, пест (пехтиль), стол, накрытый для трапезы (но «иной», чем обычная: здесь вкушают «иное» и «иначе», чем принято) и т. п.

Можно добавить, что в связи с этими предметами в сказку нередко вводится мотив разъятых (разрезанных, разрубленных) частей человеческого тела (мясо и кости) и мотив живой (и мертвой) воды, с помощью которой тело собирается воедино и оживляется для новой жизни (кстати, в мотиве б а н и, появляющемся перед мотивом изжаривания в печи, можно видеть вырожденный вариант подобного обряда обмывания и украшения покойника, например, в древнеиндийской традиции [14]. Не менее очевидны и указания на т и п похоронного ритуала, которые можно извлечь из уже упомянутого ключевого мотива сказки, образующего высшее напряжение в ходе интриги и ее внезапное снятие, — попытки з а с у н у т ь героя в печь, обернувшиеся тем, что герой з а с о в ы в а е т Бабу-Ягу в печь и сжигает ее [15]. Прообразом мотива «изжаривания» героя в сказке и соответствующих действий в обряде инициации следует признать обряд трупосожжения. Во всяком случае мотивы, следующие за данным, по меньшей мере не противоречат предположению об отражении в сказке о Бабе-Яге похоронного обряда: ритуальная трапеза (иногда типа тризны), собирание и раскидывание костей жертвы, намерение «кататься-валяться» по ним [16] и т. п. То же можно сказать и об изредка встречающихся в русских сказках мотивах взвешивания как своего рода загробного суда (ср. аналогии от древнеегипетской до христианской традиции) или «куколки» («куколок»), остающейся на земле в качестве «заместителя» ушедшего в царство мертвых героя (ср. *Афанасьев*, № 65 и др. — в связи с изготовлением человекообразных фигур как формой заупокойного культа).

Подобный параллелизм действий Бабы-Яги и Совия позволяет и этот персонаж русских сказок трактовать как своего рода «С о в и ю» (ср. šovėja/*šāvēja,* женского двойника руководителя обряда трупосожжения у балтов) — тем более, что и ее специфика определяется двумя взаимосвязанными ситуациями: «Баба-Яга с у е т героя в печь, в огонь» и «Герой с у е т Бабу-Ягу в печь, в огонь». И здесь снова возникает потребность вернуться к языковым фактам. В частности, стоит привлечь внимание к «огненной» семантике слав. *sovati. В этой связи особенно показательно значение ст.-слав. **совати** (в Супрасльской ркп.), определяемое соотнесенностью с *ῥιπίζειν πυρί* (значение глагола — 'раздувать' /огонь/, 'разжигать', 'жарить', 'поджаривать' и т. п., но ср. *ῥίπη* 'метание', 'бросок', 'натиск' и др.) и объясняющее отчасти такие обозначения костра («огненной крады» рассказа о Совии), как польск. stos (при нем. Holzstoß, но Stoß 'толчок' : stoßen 'толкать, ударять' и т. п.). Более того, учитывая языковые аналогии и параллели из сферы реалий (см. выше о назывании костра по имени жреца-жертвы Начикетаса), не исключено, что в определенный период и в определенном круге текстов, связанных с ритуалом, перед глаголами šáuti/*šaũt* и sovati открывалась возможность их использования для обозначения костра (напр.,

погребального) как «насованного» по схеме нем. stoßen : Holzstoß (ср. haufen — Schreiterhaufen) = *šáuti*/*šaũt*/sovati : x (название костра). Можно напомнить, что русск. *костёр* исходно обозначало как раз поленницу, кучу дров, ветвей (ср. лит. *láužas* : *láužti* и т. п.)[17], использовавшуюся в старину для сжигания трупов (ср. связь *костёр* с *костерь*, *костра* и *кость*, а также многочисленные семантические параллели типа лат. *cremō* ʽсжигать’, *cremātor*, *cremātio*, но cremia ʽсухие дрова’, ʽхворост’)[18]. Таким образом, допустимо считать, что имя *Совий* предполагает terminus technicus не только для обозначения жреца, в функции которого как основной момент его деятельности входило помещение (всовывание, бросание) трупа на костер, но и для обозначения самого костра как места, куда «суют» дрова, хворост, а когда они подожжены — покойника. Мифологизированное предание о первосожжении послужило, видимо, той средой, где апеллятив мог превратиться в имя собственное учредителя традиции трупосожжения (Совий как носитель основного ритуального действия и как персонифицированный костёр, так сказать, «костёрщик»). Также, вероятно, и за названием народов, придерживавшихся этого обряда, *совица*, угадывается апеллятив типа лит. *šovìkas*, *šovìkė* (ср. выше о возможности «женской» Совии), обозначающий, в частности, и того, «кто сует хлеб в печь» (= *šovėjas*).

И еще об одном связи (или слое) Совия в контексте возможного его генетического наследия. Ранее уже указывалось, что некоторые мотивы и атрибуты, соотносимые с Совием, в равной степени характеризуют и громовержца Перкунаса-Перконса, в частности, в сюжете т. наз. «основного» мифа. Это сходство отсылает к еще более фундаментальному, имеющему непосредственное отношение к функциям обоих сопоставляемых персонажей. В высшей степени показательно, что действие Перкунаса-Перконса или — в инструментальном аспекте — грома и молнии, сжигающих (поражающих) свою жертву, может кодироваться тем же глаголом *šáuti*, который дал имя Совию и который институализировался для обозначения помещения покойника и хлеба в печь, в огонь. Ср. Perk*ū*nas *šá*una или Perk*ū*nija grumen, grum, griaun, dunden, bild, trenk, *š*aun. LKŽ IX 1973: 834, ср. Tikt kai tre*č*ioji praslinko diena, *š*ovimo liov*ė* perk*ū*nija. R*ė*za. Dainos и примеры, где *šá*uti употребляется в значении ʽtrenkti’ в связи с Perk*ū*nas, perk*ū*nija, ср. kad tave perk*ū*nas *š*aut. LKŽ XIV, s. v. (при ст.-русск. **соунѫти копиемъ**. Летописец Переясл. Сузд. 12,4). Тем самым, по той же логике, в силу которой Совий получил свое имя, и Перкунас выступает, по сути дела, как šovėjas (= *Šovėjas*, ср. *Совий*, при: *Perkūnas š*áuna/*Š*óve). А такое отнесение *šovėjas*, *šauti* к Перкунасу весьма интересно и в том отношении, что связывает два основных предиката Громовержца — «сжигать» и «стрелять», с одной стороны, и позволяет на некоем уровне отождествлять сжигание (поражение)

молнией, производимое Перкунасом, с помещением покойника-жертвы или хлеба в огонь, с другой стороны. В обоих случаях жертва подвергается такому действию огня, которое приводит к результату, расцениваемому в конечном счете как сверхположительный. В связи с мотивом «стреляния» (: «помещения в огонь») Перкунаса естественно напрашивается сопоставление с прусским божеством по имени Auschauts, чьей функцией было врачевание («der Gott der Gebrechen Kranken vnd Sunden», «der Gott der gebrechen der Kranken vnd gesunden» и т. п., как сообщают старые источники), собственно, о т с о в ы в а н и е, отталкивание болезней (ср. лит. nu-*šá*uja : *Nuo-*šiaũ*tas, *nušo*-*vė̃*jas, согласно Буге[19]) или, наоборот, «давание», «ссуживание» здоровья (ср. связь нем. schießen «стрелять» и vor-schießen «ссужать», «давать в долг» — при прусск. auschautins ʽдолгʼ и т. п.). Общность предиката у Перкунаса и Аушаутса дает известные основания для предположения о более глубокой связи этих мифологических персонажей. Скорее всего Аушаутс должен пониматься как одна из ипостасей Перкунаса, с которой связана специализация конкретной функции «отстреливания» болезней[20].

Намеченный здесь мифо-ритуальный контекст свидетельствует об органической укорененности в нем Совия, которого теперь никак нельзя свести к досужей выдумке западнорусского книжника, и, следовательно, реконструируемого на основе этого имени термина, который обозначал жреца — руководителя похоронного обряда, связанного с кремацией.

П р и м е ч а н и я

[1] Ср. работы автора: Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью // Acta Baltico-Slavica. III. 1966: 143—149; Vilnius, Wilno, *Вильна*: город и миф // Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980: 16—40; Мифологизированные описания обряда трупосожжения и его происхождения у балтов и славян // Конференция «Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд»: Тез. докл. М., 1985 и др.

[2] Рукописи, содержащие текст о Совии, впервые были изданы в кн.: *К. М. Оболенский.* Летописец Переяславля Суздальского // Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских. Кн. 9. М., 1851: XIX—XXI (заглавие: Оуказъ же поганской прельсти сице, иже Совия Богомъ нарицаютъ. Л. 26 об.); *Ф. Добрянский.* Описание рукописей Виленской Публичной Библиотеки, церковно-славянских и русских. Вильна, 1882 (заглавие: Слово HI. Скажемъ поганскыѧ прѣлести быти сіцево и в Литвѣ нашеи. Л. 27 об.).

[3] Возможно, не случайно упоминание в тексте о Совии суки, особенно если учитывать роль собаки в похоронном ритуале в ряде традиций (ср. собаку у иранцев или такие мотивы, как RV X: 14. 1—12, у ведийских ариев).

[4] См. W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Rīgā, 1936: 60—61, 66; A. Mierzynski. Zródła do mytologii litewskiej od Tacyta do konca XIII wieku. Warszawa, 1892: 132 ff. и др.

[5] Ср. жемайтск. *š*av*ė*jas; см. V. Vitkauskas. Šiaurės rytų dūnininkų Šnektų žodynas. Vilnius, 1976: 366.

[6] Ср. вост.-лтш. saut, sàut (saunu, savu) и т. п.

[7] Эта форма сугубо условна и ориентирована исключительно на сравнение с балтийскими данными. В индоевропейской перспективе, если принять точку зрения Покорного (I. 954—955), и для балтийских и для славянских слов следует исходить из *sk’ěŭ- (: *sk’ou-).

[8] При совершении некоторых ритуализованных операций отчетливы эротические ассоциации (ср. русск. *сунуть* ‘futuere’ в связи с метафорикой vagina как печь, огонь). Так, в коровайном обряде, когда коровай (как образ плодородия он часто украшается соответствующими символами, напр., шишками удлиненной формы) всовывают в печь, трактуемую как лоно, участницы обряда, т. наз. «коровайницы», поют: *Печь регоче, бо коровая хоче*... Любопытно, что те же ассоциации присутствуют и в мотиве засовывания героя в печь, совершаемого Бабой-Ягой.

[9] Как совершенно верно указывает А. Сабаляускас, лит. *šáukštas* (из **šáustas*) является nomen instrumenti от *šáuti* ‘совать’ (и, следовательно, обладает той же внутренней формой, что и русск. *совок* : *совать*). См. *A.* Sabaliauskas. Dėl lie. *šáukštas* kilmės // Baltistica I, 1. 1965: 83—84 (здесь же типологические параллели); иначе говоря, *šáuti*, *šáukštą* образует этимологическую фигуру (ср. *šaukštu* dievo dovanas *į bumą šaujā* m. Jablonskis. Rinkt. raštai. I. 1957: 380), отчасти подобную ц.-слав. **соулицами совахомь** (Минея Михан. 260), *βελη αφηκαμεν* (ср. выше **соунѫти копиемъ** — при **соуолица** ‘копье’).

[10] См. J. Sullivan, C. L. Drage. Poems in an Unpublished Manuscript of the Vinograd Rossijskii // Oxford Slavonic Papers. New. Ser. V. 1. 1968: 35 ff.

[11] См. О. М. *Фрейденберг.* Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936: 55—59, 61—62, 66, 81, 84, 101, 173, 225, 229 и др.

[12] Соображения относительно отражения в образе Бабы-Яги особого типа жрицы, ведущей похоронный ритуал и аналогичной, напр., «старой женщине» хеттских ритуальных текстов — ^{SAL}ŠU.GI, см. в статье автора: Хеттская ^{SAL}ŠU.GI и славянская Баба-Яга // Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 38. М., 1963: 28—37.

[13] См. *В. Я. Пропп.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.

[14] См. W. Caland. Die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche // Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde. 1896. Deel 1. № 6.

[15] В другом месте обращено внимание на характерный мотив незнания героя, апелляцией к которому он и выигрывает поединок с Бабой-Ягой. Герой неправильно садится на лопату или совок (так, что Баба-Яга не может засунуть его в печь). Объяснения Бабы-Яги, как надо ему разместиться, он отвергает постоянной ссылкой на незнание, неумение (ср. *Афанасьев,* № 106—108, 110—111 и др.), ср.: «…Начал отговариваться, что он не знает, не ведает, как сесть на лопату: “Покажи…, как надо садиться!”» (№ 111). Мотив незнания → познания попавшего в царство смерти героя существен как отклик постулированной выше темы

Бабы-Яги как «первопокойницы», которая прошла через смерть и похороны и поэтому знает, как и что надо делать покойнику (и с покойником), и может научить правильному ходу обряда, объяснить его детали и этапы. Из аналогий к этой теме особенно поучительна история Начикетаса (Taitt.-Brāhm. III, 11, 8; Kaṭha Upan. I, 1, 3), чье имя толкуется как ʽне-знающий’, ʽне понимающий’: оказавшись в царстве мертвых, он не принимается повелителем смерти Ямой, так как он, Начикетас, молод и не знает, как умереть; Яма обучает его, открывая ему три вещи: в частности, он объясняет ему, что огонь начало мира и как устроен жертвенный алтарь; небесный огонь нарекается Ямой именем Начикетаса: трижды возжегший этот огонь (ср. три «огненных» попытки в сказке) и познавший триаду, преодолевает рождение и смерть, становясь счастливым.

[16] Ср.: *...собрала все кости, разложила их на земле рядом и начала по ним кататься. Афанасьев*, № 107 и др. В древнеиндийском похоронном обряде первые два этапа составляют сожжение покойника и собирание костей — asthisañcayana. Ср. также хеттск. E. *ḫeštā-* ʽдом кости, костных останков’; между прочим, ^{SAL}ŠU.GI собирает кости в сосуд с помощью lappa, особой лопатки или щипцов (ср. слав. *lopata, где -ta, видимо, вторично).

[17] К сожалению, остается неизвестной древнейшая форма обозначения костра у балтов, в частности, что соответствовало в языке айстиев др.-англ. *ād* ʽпогребальный костер’ в описании похоронного обряда у Вульфстана: Þonne þy ylcan dæge þe hi hine to þæm ade b*eran wyllađ, þo*nn*e*... «Тогда, в тот же самый день, когда они его к костру нести хотят, тогда…».

[18] Показательно, что имя *Кострома* применялось в русской традиции к сделанному из соломы и ветвей ритуальному образу покойника, умершего неестественной смертью, опасного для живых и подлежащего сожжению или утоплению (как и Масленница). Отсюда — правдоподобное развитие: ʽсожженный покойник’ → ʽнеправильно похороненный’ → ʽопасный’.

[19] См. K. B*ū*ga. Prūsų dievas Aušauts // Kalba ir senovė. Kaunas, 1922 : 76 (Rinktiniai raštai. II. Vilnius, 1959 : 98).

[20] В пользу связи Совия с Перкунасом может говорить и то, что обряд трупосожжения в рассказе о Совии предполагает принесение жертвы Перкунасу (то же и в т. наз. «Швинтороговом» цикле, где отмечается связь трупосожжения с почитанием Перкунаса). Тем самым Совий выступает как своего рода «малый» Перкунас, его помощник (или его трансформация), связанный с огнем, как и его верховный покровитель и прообраз. Заслуживает внимания выражение *gyvas perkūnas* ʽdaug, gausu’ (LKŽ IX: 834) в контексте многочисленных воплощений образа «живого огня» (ср. болг. *жив огън*, с.-хорв. *жива ватра* и т. п.) и при учете двух видов костра в погребальном обряде — пожирающего покойника и ссужающего ему вечную жизнь (ср. ведийск. Agní Kravyā́d) и нового, очистительного.

1990

ВАРПУЛИС КАК ИПОСТАСЬ ПЕРКУНАСА

(Из заметок по балтийской мифологии)

Памяти Норбертаса Велюса

Балтийская мифология даже в том виде, как она нам известна теперь, то есть с значительным количеством утрат, неясностей и испорченных исходных данных — как в силу разрушительного действия времени, так и отчасти из-за попыток интерпретации исходных данных в духе «кабинетной» мифологии, столь модной уже с XVI века, и несмотря на то, что первые серьезные и надежные сведения о балтийской мифологии относятся к позднему времени, представляет собой не только важнейший источник наших представлений об уровне развития балтийских племен и народов в прошлом, но и то заповедное место, в котором еще сохраняются (или, по крайней мере, сохранялись и дошли до нашего времени) глубокие мифологические архаизмы индоевропейской эпохи. Осознание этих корней балтийской мифологии и исследовательская работа в этом направлении оставляют желать лучшего. Несмотря на ряд серьезных работ, чаще всего частного характера, многое остается пока не исследованным, хотя иногда — в более или менее очевидном ракурсе — напрашивающимся на достаточно правдоподобные и трезвые предположения. Но и в собственно балтийской мифологии как области гуманитарной науки — непочатый край для серьезных исследований на современном уровне развития в изучении мифологических систем и отдельных персонажей.

Поэтому так радует и вдохновляет, что за последние годы, особенно после тех судьбоносных изменений, которые произошли в прибалтийских странах, интерес к изучению балтийской мифологии резко возрос и выразился в

целом ряде оригинальных и талантливых работ и в открытии весьма впечатляющей перспективы развития балтийских мифологических исследований. Эти надежды в первую очередь связывались с научной деятельностью Норбертаса Велюса, автора ряда серьезных работ в области балтийской мифологии. Безвременный уход его из жизни — тяжелая потеря для науки, в которой он был лидером, и для более общего дела возрождения культурных ценностей литовской духовной традиции. Теперь первый том его фундаментального исследования *Литовская мифология* (1995) должен рассматриваться как своего рода завещание, как предсмертный дар тем, кто работает в этой области и готов продолжить эту работу на том же высоком уровне. Не приходится доказывать, как важно было бы опубликовать то, что успел написать Велюс и что остается пока в рукописи. Дело чести Академии наук Литвы изыскать возможности для доведения этих работ до читателя.

* * *

В предлежащей заметке в центре внимания — один балтийский мифологический персонаж, сведения о котором, пожалуй, надежнее извлекаются из его и м е н и, нежели из той короткой фразы, что характеризует сам этот персонаж с мифологической точки зрения. Речь пойдет о Варпулисе (Warpulis), чье имя является *ἅπαξ λεγόμενον*. Оно упоминается только в книжечке Яна Ласицкого «О жемайтских, других сарматских и ложнохристианских божествах», изданной в Базеле в 1615 году, но написанной, по всей видимости, в конце XVI века [1]. Вот все, что сообщается здесь о Варпулисе: W a r p u l i s is esse putatur, qui sonitum ante et postu tonitru in aere facit. Одним словом, Варпулис рассматривался как тот мифологический персонаж, который, производит определенный звуковой эффект в воздухе перед раскатом грома и после него [2].

Прежде чем обратиться непосредственно к самому этому персонажу и его имени, уместно сделать два существенных замечания об условиях, в которых оказывается исследователь, приступая к тексту Ласицкого (впрочем, это относится и к ряду других старых источников по балтийской мифологии). Автор-составитель этого текста (как и других ему подобных) опирался или на определенные письменные источники, известные ему, или на устную традицию, с которой он скорее всего был знаком непосредственно, или на то и другое одновременно. В любом случае и по разным причинам в этих источниках не все ему было понятно или, по меньшей мере, не все он мог описать адекватно или с должной степенью точности, но желание если не объяснить, то во всяком случае прояснить неясное, превосходило чаще всего возможности энтузиастов исследования и описания балтийской мифологии,

работавших несколько веков тому назад. Обещанные выше два замечания касаются двух ключевых обстоятельств-условий, которые были существенны при попытках «объяснения» неясного встарь и не утратили этой существенности и для современного исследователя. Первое из таких обстоятельств-условий, способных (по крайней мере, потенциально, по идее) объяснить нечто — место его в контексте, композиция которого в значительной степени определяется автором-составителем письменного источника и имеет свои мотивировки, небезразличные для объяснительного вывода. Второе такое условие — апелляция к языковой форме имени мифологического персонажа, прежде всего к его семантической мотивировке, которая, будь она известна, могла бы бросить луч света на некоторые характерные особенности персонажа вплоть — в удачном случае — до определения его функций — или непосредственно или косвенным образом. И первый, и второй случаи одинаковы в том отношении, что в них таятся как счастливые возможности «правильного» объяснения, так и несчастные соблазны уклонения на «кривые» пути. Об этом должен помнить и современный исследователь, обращающийся к старым источникам этого рода. Поэтому и для него контекст и языковая форма имени — то поле, где он может и выиграть и проиграть, но где он не может не искать, если только он хочет найти ответ на то, что остается вопросом.

Обращаясь непосредственно к литовскому («жемайтскому») Варпулису, необходимо напомнить о суждениях, которые до сих пор были высказаны по его поводу. Строго говоря и не считая нюансов, мнение тех, кто обращался к образу и имени Варпулиса, единое. Его впервые сформулировал еще в XIX веке Маннхардт, эксплицировав на языке науки его времени то, что implicite присутствовало уже в характеристике, данной Варпулису Ласицким. Вот эта формулировка, в которой суждение о звуковой форме имени Warpulis влечет за собой, более того, предрешает с неизбежностью и заключение о функциях этого персонажа: «**Warpulis** p. 49 [=357] bedeutet: Zitterer. Aus wa͂rpas «Glocke» und wirpė́ti «zittern, beben» ergibt sich die Wurzel warp — «zittern, in zitternde Bewegung geraten». Davon nach Analogie von pa-wa͂rgulis «Verarmter» von pa-wa͂rgti «verarmen» <...>, warpulis «der in zitternde Bewegung versetzte, der Zitterer», falls hier nicht eine Abstraktion vorliegt: warpulỹs, das Zittern in den Gliedmassen»[3]. С известными вариациями это мнение повторяется и в последнее время. В комментариях к последнему изданию Ласицкого повторяется, что Warpulis — от va͂rpas, но что важно, указывается, что речь идет о другом имени Перкунаса[4]. Наконец, в последней книге Велюса говорится осторожнее о связи Варпулиса с Перкунасом, причем автор остается при мнении, связывающем это имя с названием колокола в литовском: «Šalia Perkūno dar yra ypatinga griausmo dievybė

Warpulis, kuris tarsi varpininkas dundesiu praneša, jog Perkūnas artinasi arba tolsta»[5]. Естественно, в связи с Варпулисом затрагивается вопрос о другом мифологическом персонаже по имени Varpas, не отмеченном в старых источниках, но упоминаемом Нарбутом и Крашевским[6] в форме Warpas. Как известно, Нарбут считал Варпаса особым божеством, в чьей задаче было пробуждение воинов. Функция пробуждения, постулируемая в данном случае со ссылкой на «народные предания» (таковые, как указывает Велюс, в литовском народном творчестве отсутствуют), естественно связывает Варпаса с божеством Budintaia, которое по Ласицкому (Žem. d. 357) «hominem dormientem excitat», и дает повод Нарбуту (ср. также Крашевского) заключить, что Varpas — муж или мужское соответствие женского божества Budintaia. Тот же Нарбут, зная из сочинения Ласицкого Варпулиса, называет его Варпелисом, но воздерживается от отождествления его с Варпасом. Упоминая обо всем этом и понимая, что в данном случае — ситуация с рядом неизвестных, едва ли объясняемых, Велюс трезво ограничивается исключительно фиксацией этого эпизода из истории изучения литовской мифологии, не пытаясь неизвестное объяснять через еще более неизвестное[7]. То же относится и к имени Werpeja (: verpéja : ver̃pti ʽпрясть’), упоминаемому Шлейхером в его работе об именах литовских богов[8] на основании слова verpeja в словаре Ширвида и упоминания этого имени у Нарбута[9], хотя именно в этом случае само это слово как апеллятив (гипостазирование его в имя богини типа парки, в чьих руках находится судьба людей, надежными источниками не подтверждается и скорее всего в этом «кабинетно-мифологическом» образе нужно видеть известную дань моде), несомненно, хотя и косвенным образом, связано и с названием колокола (лит. var̃pas) и с нижеследующим предположением о происхождении теофорного имени Warpulis, которое, однако, порывает с традицией объяснения этого имени как «колокольного» и даже вообще относящегося к «акустической» сфере в первую очередь (связь с нею не исключается вовсе, но она не ею мотивируется).

Внимательное прочтение Ласицкого в пределах фрагмента 47—49 (характеристика основного состава литовского пантеона), как и следствия из этого вытекающие, позволяют с большей категоричностью утверждать, что Варпулис действительно ипостась Перкунаса. Возможно, Ласицкий подозревал связь между ними (да и трудно было об этом не догадаться, когда и с Варпулисом и с Перкунасом связана, хотя в описании Ласицкого и по-разному, тема грома — tonitrus), но не нашел ей удовлетворительного объяснения и, отказавшись от дальнейших поисков, допустил д в е ошибки, впрочем, для его времени относительных и простительные.

П е р в а я — естественная ориентация на ближайшее, верное на своей глубине, и поверхностное. Совершенно очевидно, что, определяя суть Варпу-

лиса, Ласицкий связывал это имя с обозначением колокола — лит. var̃pas. Звон, соотносимый с колоколом, более или менее органически отсылал к чему-то шумному, грохочущему, гремящему, оставаясь, впрочем, менее интенсивным, как «пред-гром» (постепенное нарастание его перед грозой) и «после-гром» (снижение интенсивности и частоты громовых раскатов после грозы), ср. sonitum ante et post tonitru у Ласицкого.

Таким образом нет оснований сомневаться, что уже Ласицкий сознавал и по-своему обосновывал связь имени Варпулиса с «колокольной» темой, подобно тому, как два с лишним столетия спустя Крашевский связывал имя «звукового» божества как по своей форме Warpelis (так у Крашевского. — *В. Т.*): Warpas, так и по своему значению (warputis, warputinej) с «музыкально-певческой» темой («с певцами и музыкантами»). Еще раз следует подчеркнуть: связь, хотя и непрямая, косвенная, ослабленная, была подмечена верно, но это наблюдение, расцененное самим автором как окончательное, закрыло и ему и его последователям путь к более прямой и сильной (так, по крайней мере, представляется автору этих строк) связи. Многоточие вместо точки принесло бы в этом случае более богатые плоды.

Вторая ошибка Ласицкого заключалась, видимо, в композиционном изъяне, на который он, кажется, должен был пойти, отделив Варпулиса от Перкунаса при том, что сознавал близость мифологических персонажей, наделенных этими именами. В самом деле, до сих пор, насколько известно, игнорировали связь двух частей в пределах отмеченного фрагмента 47—49, условно — «начальной» и «конечной», которые, пусть в несколько различной форме, но по существу — дублируют друг друга. При этом дублирование происходит не столько по принципу соотносимости отдельных персонажей (довольно элементарная реконструкция свидетельствует, что соотносимы — и при этом безусловно — и они), сколько по основному и особенно отмеченному системному персонажному микроузлу.

В «начальной» части фрагмента, являющейся главной и сразу же вводящей in medias res после упоминания «высшего всемогущего Бога» (Deus Auxtheias Vissagistis, по реконструкции Маннхардта, в целом обоснованной, — *Aukštaisis* [*Aukštasis*] Visagalisis[10]), основу составляет ключевая божественная пара, явно выделенная среди других мифологических персонажей: Перкунас и его мать, связанные с громом и молнией. Ср.: Percunos Deus tonitrus illis est; quem coelo tonante, agricola capite detecto et succidiam humeris per fundum portans, hisce verbis alloquitur: Percune deuaite niemuski und mana, dievvu melsu tavvi palti miessu. Cohibe te inquit Percune, neue in meum agrum calamitatem immitas: ego vero tibi hanc succidiam dabo. <...> Percuna tete mater est fulminis atque tonitrui, quae solem fessum ac pulverulentum, balneo ex-

cipit, deinde lotum et nitidum postera die emittit. Хотя tete (tetà), строго говоря, обозначает тетку, а здесь, как видно из текста, мать (mater est), не приходится сомневаться, что на прототипическом уровне речь идет вообще об идее женского, конкретно о жене Перкунаса, в реконструкции — **Perkūnija*, буквально — ʻгрозаʼ, что подтверждается многочисленными и достаточно надежными параллелями из других индоевропейских традиций [11]. Что жена у Перкунаса была, говорят и внутренние источники (включая показания латышской мифологической традиции) и внешние параллели. Из наиболее убедительных — такие как: *Perkūnas turi žmoną, vaikus,* brolius ir seseris [12]. Впрочем, чаще указывают, что у Перкунаса нет жены, ср. *Perkūnas neturi nei žmonos, nei brolių ir seserų* [13]. Однако есть редкие, но весьма убедительные примеры, объясняющие это противоречие: Перкунас убил (собств. — поразил громом свою жену) и остался один с девятью детьми, ср.: Sakoma kad savo *žmoną jis esąs nutrenkęs. Likęs jis ir devyni vaika*i [14]. Это убийство мотивируется реконструируемым сюжетом «основного» мифа, причем балтийские данные составляют, пожалуй, наиболее надежную опору всей индоевропейской реконструкции (ср. сюжет «семейного» скандала между Перкунасом-Перконсом и его женой). В результате этой ссоры Перкунас и его жена оказались в разъединении: жена Громовержца покинула небесное царство и стала повелительницей подземного царства, нижнего мира, где пасутся мертвые души (*vėlės*, ср. *vėlinės*, день поминовения покойников).

«Конечная» часть рассматриваемого фрагмента из сочинения Ласицкого воспроизводит по существу (а в реконструкции — полностью) ту же самую персонажную божественную пару, которая выступает в «начальной» части. Однако это воспроизведение-дублирование отличается двумя особенностями. Во-первых, порядок введения перонажей, составляющих пару, инвертируется и тем самым образует симметрию, ср. в реконструкции: (I) Громовержец и его жена || (II) Жена Громовержца и Громовержец, или в реальном тексте Ласицкого: (I) Percunos и Percuna tete || (II) Vielona и Warpulis. Обращаясь к конечной части фрагмента, в самом деле, оказывается, что цитированной выше фразе о Варпулисе предшествуют фразы, относимые к Велоне (Vielona): Vielona Deus animarum, cui tum oblatio offertur, cum mortui pascuntur. Dari autem illi solent frixae placentulae, quatuor locis sibi oppositis; paullulum discissae; eae Sikies Vielonia pemixlos nominantur [15]. Характеристика Велоны в этом фрагменте настолько стандартна, что не возникает сомнений в том, что перед нами женский персонаж, аналогичный лит. Veliona, лтш. *Veļu māte*, матери душ усопших (ср. velis, *veļi*. Pl., а также *vēļi, velānieši, velēnieši* и далее *vęlns*, отсылающее к мужскому мифологическому персонажу, связываемому с нижним миром, смертью, но и с плодородием, богатством и т. п., который восходит к и.-евр. *Vel-(n-) :

*Vol-(n-) — персонажу, реконструируемому на основании целого ряда данных разных индоевропейских традиций)[16]. То, что Ласицкий называет Vielona'у Deus, не должно вызывать особого смущения, поскольку известны и другие случаи, где женские персонажи определяются безотносительно к полу как Deus, хотя в других ситуациях противопоставление по роду и полу выдерживается: Deus — Dea. Кроме того, нельзя забывать, что есть примеры, свидетельствующие о непонимании Ласицким в некоторых случаях родовой принадлежности теофорных имен. Общий колорит, задаваемый парой Vielona — Warpulis (о последнем см. ниже) отчасти объясняет и то, что вслед за ними, в близком соседстве, упоминаются божества, так или иначе соотносимые с нижним миром, его порождающими потенциями, осваиваемыми человеком и культурой, — огонь, пища, процесс ферментации и т. п. Ср: Dugnai dea praeest farinae subactae; Pesseias, inter pullos omnis generis recens natos post focum latet. Tratitas Kirbixtu, deaster est, qui scintillas tugurii restinguit. Alabathis, quem linum pexuri in auxilium vocant. Polengabia diva est, cui foci lucentis administratio creditur. Aspelenie, angularis. B*u*dintaia hominem dormientem excitat. Matergabiae deae offertur a foemina ea placenta, quae prima e mactra sumta digitoque notata, in furno coquitur; hanc post non alius quam paterfamilias, vel eius coniux comedit. Simili modo Rauguzem*apa*ti offerunt, posteaque ebibunt, primum vel cervisiae vel aquae mulsae, e dolio haustum, quem Nulaidimos, illum autem primum e massa exemtum panem *Ta*svvirzis *cognominant*... (особенно показательны два имени — Dugnai [dùgnas : 'дно' : и.-евр. *dhubh-] и Budintaia, попавшее в этот контекст, если исходить из функции-значения этого божества, совершенно неоправданно: ситуация упростилась бы при предположении, что здесь речь идет о Bhudh-персонаже [ср. др.-инд. Áhi Budhnyà, др.-греч. Πύϑων, с.-хорв. *Бȁдњāк* и под. при метатетических отношениях *dhubh- : *bhudh-]); к рефлексам *budh- ср. также др.-русск. *бъдынь*, видимо некое надгробное сооружение, отсылающее к этому хтоническому персонажу — *bud-yn- (ср. плутарховскую версию ритуала захоронения Пифона во время Пифийских игр), о чем писалось ранее.

Во-вторых, говоря о воспроизведении-дублировании персонажей мифологической мужско-женской пары, нельзя пройти мимо проблемы номинации. Ни в одном из членов двух «супружеских» (в реконструкции) пар нет повторяющихся имен, что скорее всего свидетельствует о непонимании Ласицким тождества персонажей в «начальной» и «конечной» парах и объясняет, почему он разъединил их и тем самым как бы удвоил число и пар, и самих персонажей (если сказанное верно, то логичнее было бы сначала описать Перкунаса и его ипостась Варпулиса, а потом — жену [она выступает как «тетка» и как «мать»] Перкунаса и ее ипостась, а точнее — ее самое, но уже

не как небесную супругу Громовержца, а как отвергнутую жену, ставшую хозяйкой царства мертвых душ). И тем не менее, несмотря на отсутствие повторений в именах (кроме частичного — Percunos : Percuna tete), нет сомнений в тождестве соответствующих мужских и женских персонажей обеих пар (порознь) по существу. Это утверждение тем более вероятно, что имеющихся в обеих парах именных различий достаточно для восстановления полной ситуации в распределении имен, для описания состава имен в суммарной версии схемы «основного» мифа и для уяснения себе того принципа экономии в использовании имен, который используется если не у Ласицкого, то в более первичных вариантах мифа, и который укрепляет связь между персонажами в «именном» ракурсе настолько, что по части довольно надежно восстанавливается целое. Эти три «для» могут быть здесь прокомментированы вкратце. Первое. Текст Ласицкого в обеих своих частях позволяет за персонажами обеих пар, реально, «на выходе» Percunos & Percuna tete и Vielona & Warpulis, увидеть конкретный прототип следующего вида **Perkūnas* & **Perkūnija* (или **Perkūno žmona*) и *Velona (или **Perkūno žmona*) & **Perkūnas* (как основной вариант имени, наряду с окказиональным — *Varpulis). Второе. Изоморфность обеих супружеских пар при наличии зависимости в именном словопроизводстве (ср. *Perkūnas* → *Perkūnija*) по снятии инверсии членов во второй паре дает основание для реконструкции, подтверждаемой реальными фактами других индоевропейских мифоономатотетических традиций, следующей суммарной схемы участников — **Perkūnas* & **Perkūnija* и *Vels- (*Vel-n-) & *Velona, откуда вытекает «фактическое» тождество Перкунии и Велоны, завуалированное тем, что эти разные имена выступают как обозначения одного и того же женского персонажа (жена Перкунаса), взятого в разных точках развития «основного» мифа: в конце его бывшая Перкуния становится теперь Велоной, сменив первого мужа Перкунаса на второго (Велса-Велняса) и тем самым перейдя в противоположную партию. Отныне первая супружеская пара распалась и в порядке некоторой компенсации сформировалась новая, вторая по счету, супружеская пара. Третье. Этот обмен женами между двумя противостоящими друг другу мужскими персонажами и определяет, собственно говоря, одну из особенностей проявления принципа экономии в использовании теофорных имен и отсылает к другой важной особенности, реализующей тот же принцип: для описания схемы на «именном» уровне достаточно двух имен, кодируемых элементами **perkūn-* и *vel-n-, но при этом допускается использование этих элементов для обозначения как мужских, так и женских мифологических персонажей[17]. То, что жена Перкунаса и Велона сводимы к единому исходному женскому образу, представляет собою сильный аргумент в пользу того, что так же сводимы к единому мужскому образу Перкунас и Варпулис.

Если это так (а для сколько-нибудь серьезных возражений или даже сомнений, кажется, нет почвы), то имя Warpulis у Ласицкого оказывается уникальной эпиклесой Перкунаса, ранее остававшейся неизвестной [18] и нуждающейся в истолковании ее внутренней формы, т. е. семантической мотивировки имени. Видеть в имени Warpulis, как это делали Ласицкий и исследователи, интересовавшиеся этим именем, ориентацию на «акустический» код представляется большой натяжкой: колокол звенит (в него звонят и при этом соблюдается некая мерность, присутствует известная последовательность, периодичность), но он не гремит и не грохочет, как гром, персонификацией которого выступает Перкунас, недаром чаще всего называемый Dundùlis'ом (: dundùlis ʻгромʼ при dundéti ʻгреметьʼ, ʻгрохотатьʼ, dundesỹs ʻгрохотʼ, ʻгромыханиеʼ и т. п.). Перкунас как олицетворенный «гром-молния» — и это одна из наиболее частых его характеристик — ударяет-бьет кого-то — противника (*Vel-персонажа) в «основном» мифе, камень-скалу, дерево, животное, под которыми этот противник укрывается, человека, нарушившего некий запрет и ставшего во время грозы под дерево Перкунаса — дуб. И не случайно, что другое широко распространенное определение литовского Громовержца — Trenktinis [19] (: treñkti ʻударятьʼ, ʻстукатьʼ, ʻтреснутьʼ, ʻгрохатьʼ и т. п.). Разумеется, удар молнии, сопровождаемый громом, производит сильный акустический эффект, но это эффект иного рода [20], чем звучание колокола, и совсем иного масштаба. Поэтому для объяснения семантической мотивировки имени Перкунаса Warpulis нужно искать иного решения, нежели традиционное: наличное согласие в мнении о том, что лежит в основе имени Warpulis, не может быть признано достаточно сильным аргументом, тем более что само согласие было скорее вялым и слишком приблизительным, не слишком ко многому обязывающим.

Наиболее целесообразным путем поиска нового решения является, кажется, обращение к тем представлениям, которые связывались с самим феноменом грозы и ее наиболее «сильными» элементами — громом и молнией. При этом гром как сопутствующее молнии явление «внешнего», так сказать, характера («шумовое» оформление молнии) понимался как менее «сильный» фактор, нежели молния. Именно она несет и жизнь, и смерть. В архаичных мифопоэтических представлениях о грозе, пережитки которых столь многочисленны, поражает целостность картины, связанной с этим явлением, известная «художественно» выраженная концептуальность и часто отчетливая сексуальность происходящего действия. Говорить об этом подробнее нет надобности — тем более что об этом не раз писалось. Само представление о Небе-Отце и Земле-Матери и грозе как их соитии образует ту общую рамку, в пределах которой, с одной стороны, разыгрывается мистерия жизни, смерти и возрождения как новой жизни, а с другой, конкретизируется об-

разно сама идея соития. Молния — наиболее мощное оружие громовержца и нередко единственное. В балтийской традиции, как и в ряде других индоевропейских (и, конечно, не только в них), молния представляется как стрелы или молот Перкунаса-Перконса, которые рождаются от вращения каменных жерновов, как бы источаются-заостряются и мечутся на землю[21]. Поражая землю, проникая в ее лоно, молния зачинает новую жизнь (ср. рассмотренную в другом месте тему рождения-появления грибов и некоторых других растений в зависимости от ударов молнии и именно в том месте, в которое ударяет молния). В этом смысле молния — инструмент порождения жизни, что объясняет многочисленные представления о ней как о детородном члене. В образной картине грозы нередко обнаруживает себя игра двух идей — кругового движения, вращения-поворачивания, с одной стороны, и источения-точения, заострения, проницания, с другой, так или иначе соединяющая женскую тему с мужской. Речь идет об образных картинах грозы как соития, характеристиках участников его, данных языка и т. п.[22]

Имея в виду последние, особое внимание следует уделить и.-евр. *u̯er-p- : *u̯r-ep- ʽвертетьʼ, ʽвращатьʼ, ʽсверлитьʼ, ʽобвиватьʼ, ʽпрястьʼ; ʽпрястьʼ; ʽточитьʼ, ʽостритьʼ; ʽрватьʼ, ʽнападатьʼ и т. п. (ср. Pokorny I: 1156 и др.). В этом ряду свое место занимают и балтийские, в частности литовские, данные. Помня о косвенной связи имени Варпулиса с var̃pas ʽколоколʼ (с идеей кругового движения, вращения), особое внимание следует уделить более непосредственным параллелям. Среди них — лит. várpa ʽколосʼ, ʽостьʼ, но и ʽд е т о р о д н ы й м у ж с к о й ч л е нʼ (но и var̃pstis, va*r̃pstė* ʽверетеноʼ, ʽшпиндельʼ [ср. арготич. *шпиндель* ʽпенисʼ], лтш. var̃psta, var̃psts и др.); лтш. *vārpa* ʽколосʼ при *vārpiņa* ʽp e n i sʼ, ср. лит. varpýti ʽточитьʼ, vir̃ptis ʽтычинаʼ, ʽпестʼ и т. п.; русск. *ворописчина* ʽоглобляʼ, ʽдубинаʼ, др.-русск. *воропъ* ʽнападениеʼ, ʽналетʼ (: *вьрпсти* ʽрватьʼ, ʽтерзатьʼ, ʽграбитьʼ) при *воропай*, выступающем как устойчивое определение ж е н и х а и коровая (так сказать, жениха-коровая) в коровайных песнях; блр. *варапáй*, то же, и др. В другой работе отмечалась фаллическая атрибутика изображений из теста, украшающих коровай и соответствующую образность самого коровая, о чем писалось ранее[23]. Ср. наиболее откровенные намеки на идею соития — *Печка регоче, | бо коровая хоче* и т. п. (следует помнить, что выпечение коровая было приурочено к свадебному обряду, в котором нередко ведется двусмысленная игра на тему предстоящего соединения жениха и невесты). Фаллическое значение было известно, видимо, и.-евр. *u̯er-p- : *u̯or-p-, что отразилось и в некоторых других языковых традициях. Так, стоит обратить внимание на точнее не локализованную галльскую глоссу uerpa ʽmembrum virileʼ (: uerpus ʽcircumcisedʼ), ср. Catull., Mart., Iuv.[24], при uerbascum ʽmulleinʼ (Plin. NH 25, 120; Isid. 17, 9, 94)[25].

Наконец, еще один весьма важный аргумент «двуступенчатого» характера. Прежде всего следует напомнить, что первичная функция богов-громовержцев (или — шире — богов, связанных с произведением грозы, дождя) — принесение плодородия, жизненной силы в ее возрастании и обновлении, порождении самой жизни[26] (воинская функция возникла вторично). Причем сама усиленная, новая жизнь вводится в антиномический контекст жизни и смерти, творения-созидания и разрушения, и носителями-породителями этой антиномии преимущественно являются боги класса «громовержцев» или их наследники-продолжатели. Именно в этой связи уместно напомнить о подчеркнутой фалличности многих представителей этого класса (нередко в виде итифаллического бога-Громовержца).

Здесь нет возможности углубляться подробнее в эту тему (об этом будет написано особо), но с напоминательной целью можно указать на некоторые примеры. Ведийский Индра — носитель ваджры (vájra-), она — его оружие, род скипетра, и ряд эпитетов Индры имеют своей основой идею ваджры, ср. vajrín, vajrivant-, vájra-hasta, vájra-*bāhu*, *vājra*-bhṛt. Ваджра — молния Индры, которой он поражает врагов и (особенно в реконструкции) пробуждает плодородную силу земли. Ваджра — символ мужской силы, жизненных потенций Индры, но и его гнева, ярости, разрушительных устремлений. Фаллический характер ваджры не вызывает сомнений (полагают, что некогда ваджра была образом бычьего фаллоса, ср. связь Индры с быком, и сам Индра иногда выступает как Индра-бык, ср. Indra- & vṛṣan). Поскольку ведийские арии с презрением относились к почитанию автохтонным населением «фаллосовых богов» (*śiśna*-deva-), ср. RV VII, 21, 5; X, 99, 2, они воздерживались от эксплицитного выражения фаллической темы в связи с Индрой: не детородный член, но его семя (rétas, ср. также muṣka 'ovum', Индра характеризуется как muṣka-*bhāra*-, X, 104, 4, ср X, 38, 5, даже как sahasra-muṣka 'тысячеяйцовый'. RV VI, 46, 3). Но материально выраженный, зримый образ — фаллос как некая компенсация — стал главной характеристикой тоже «разрушительно-созидательного» Шивы (liṅga-). Мужской детородный член (liṅga-) и женское лоно (yoni-) — символы творения и плодородия (Mhbh. XIII, 14, 33), и архитектурная композиция «столба-колонны», входящего своей нижней частью в его круглое основание, отвечает этой идее соединения ради жизни и ее порождения. Связь с плодородием и отчасти фаллическая образность (молот) характеризуют и скандинавского громовника Тора и отчасти «громового старика» Goragalles (якобы из Tore Karl, т. е. 'Тор-человек'), отраженного в религиозных представлениях саамов еще в XVII веке, но восходящих, видимо, еще к эпохе бронзы.

Особенно показательны в связи с рассматриваемой темой славянские, в частности и русские ритуально-мифологические образы, продолжающие на

ином уровне и в иных контекстах, идею плодородия, связываемую на высшем уровне с Громовержцем. Достаточно напомнить о Яриле — чучеле или молодой девушке, его изображающей, — с гипертрофированным фаллосом, об играх ряженых или детей, в которых мотив смерти (умерший человек) сопровождается фаллическими деталями или мотивами воскресения (ср. *умрун*, *умран*, «Маврух», тексты о Сидоре Карповиче и т. п. с подчеркнутым эротизмом и основным его выразителем — образом огромного фаллоса) [27], о ритуале старика с козой (вырожденный образ Громовержца), в котором также обыгрываются фаллические темы, и т. п.

Этот широкий «фаллический» контекст, в котором идея фаллизма связывается непосредственно с Громовержцем, в частности и с образом Парджаньи, соотносимым с Перкунасом, при том, что сам фаллос может кодироваться корнем **u̯*er-p- : **u̯*or-*p*-, кажется, дает серьезные основания полагать, что и особая специфическая ипостась литовского Перкунаса, обозначаемая у Ласицкого как Warpulis, отражает как раз фаллическую тему («неприличность» этого образа, особенно в христианскую эпоху, возможно объясняет исчезновение его и его имени, лишь случайно засвидетельствованного Ласицким). Литовский именной суффикс -ulis предоставляет широкие возможности для трактовки характера этого образования — от nomen agentis, nomen instrumenti, nomen actionis до nomen deminutivum. Во всяком случае в этой ситуации важна более всего идея возможной персонификации [28] и деификации фаллоса, связанных именно с Громовержцем, литовским Перкунасом.

Примечания

[1] См. Johan. Lasicii Poloni De Diis Samagitarum Caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum […] // Michalonis Lituani De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum fragmina X, multiplici historia referta et Johannis Lasicii Poloni De Diis Samagitarum Caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum. Item de Religione Armeniorum et de initio regiminis Stephani Batorii. Nunc primum per J. Jac. Grasserum, C. P. ex manuscripto authentico edita, Basillae, apud Conradum Waldkirchium, MDCXV. Сочинение Ласицкого было переиздано В. Маннхардтом в 14-м томе журнала «Magazin der Lettisch-Literarischen Gesellschaft». Mitau, 1868 и воспроизведено в книге — W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Rīgā, 1936: 352—365 (далее — W. Mannhardt. LPG; второе титульное заглавие — Latviešu-Prūšu mitoloģija). Последнее по времени издание текста с литовским переводом и комментарием — Jonas Lasickis. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus, paruošė J. Jurginis. Vilnius, 1969 (= Lituanistinė biblioteka), далее — Žem. d.

[2] Ср. литовский перевод — «Varpulis laikomas tuo dievu, kuris, trankantis perkūnui, griausmą danguje kelia» (Žem. d.).

[3] См. W. Mannhardt. LPG: 376.

[4] См. Žem. d., 84.

[5] См. N. *Vėlius.* Lietuvių mitologija. Vilnius, 1985 : 425—426, ср. 429 (далее — N. Vėlius. LM): о Warpulis как диминутивном образовании в ряду других теофорных имен.

[6] См. *T.* Narbutt. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1. Mitologia litewska. Wilno, 1835: 77—78, 95—96 (далее — T. Narbutt. ML); J. I. Kraszewski. Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje pieśni, podania i t. d. T. 1. Historia do XIII wieku, Warszawa, 1847.

[7] См. N. Vėlius. LM: 518, 519, ср. также 206 (показания Крашевского).

[8] См. A. Schleicher. Lituanica. Wien, 1853.

[9] См K. *Š*irvydas. Dictionarium trium linguarum. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1979. 1: 142, 3: 347; T. Narbutt. ML. I: 71.

[10] См. W. Mannhardt. LPG: 372—373, ср. 368, 399, а также 55. Несомненно, есть и другие следы формирования идеи высшего Бога уже в отдельных более ранних, чем рубеж XVI—XVII веков, свидетельствах, и не только в рефлексиях «высокого» религиозного сознания, но и в «народном» религиозном мирочувствии, о чем см. *H.* Biezais. Die Gottegestalt der lettischen Volksreligion // Acta Universitatis Uppsaliensis. Historia religionum. l. Uppsala, 1961 и ряд других работ того же автора.

[11] Об этом подробнее см. *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* Исследования в области славянских древностей. Москва, 1974 (далее — *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* ИОСД) и др.

[12] См. J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos darbai. III. Kaunas, 1937: 172 (№ 393) (далее — J. Balys. Perkūnas) и др.

[13] Ibid.: 172 (№ 398—399), ср. также: Perk*ū*nas yra neved*ę*s; Perk*ū*nas neturi *š*eimos (*š*eimynos) и т. п., 172—173 (№ 397, 400—401) и др.

[14] Ibid.: 172 (№ 385).

[15] Относительно Велоны в старых текстах ср. W. Mannhardt. LPG: 371, 378, 387; N. *Vėlius.* LM: 52, 69—71, 133, 205, 347—348, 398, 415, 428, 466, 498. К интерпретации образа и имени см. указанную выше книгу В. В. Иванова и автора этих строк. Ср. также лит. Veliona, божество мертвых душ, и ее святилище в местечке ее имени Veliuona, около Юрбаркаса, см. *P. Dundulienė.* Pagonybė Lietuvoje. Vilnius, 1989: 81—85 и др.

[16] О лтш. *Veļu māte*, широко представленной в латышской народной устной словесности, прежде всего в дайнах, см. работу автора — *В. Н. Топоров.* К реконструкции одного цикла архаичных мифопоэтических представлений в свете «Latvju dainas» // Балто-славянские исследования. 1984. Москва, 1986, особенно с. 51—59.

[17] Завершая тему «композиционной» транспозиции прототипического состояния, проведенной Ласицким, нужно подчеркнуть, что в ней обнаруживаются следы установки (сознательной) или тенденции, которая могла быть и не осознаваемой вполне или даже вообще, к дополнительному распределению «чисто мифологического» и «ритуального». В «начальной» части Перкунас по преимуществу «ритуален», а его жена — «мифологична». В «конечной» части, напротив, Варпулис (= Перкунас) — «мифологичен», а Велона (= бывшая жена Перкунаса) преимущественно «ритуальна».

[18] О других наименованиях (эпитетах) Перкунаса см. J. Balys. Perkūnas, 160—161 (№ 167—201).

[19] Ср. Ibid., 160 (№ 184) и др.

[20] Ср. одно из имен Перкунаса — Taršk̆ulis (: taršk̇ėti ʻтрещать, ʻгреметь’), см. J. Balys. Op. cit., 160 (№ 191) и др.

[21] Эти жернова образуют своего рода небесную мельницу, вырабатывающую молнии, которые «молотят» землю, подготавливая ее к оплодотворению. Вероятная, хотя и не вполне ясная в деталях связь балто-славянского обозначения молнии (ср. прусск. mealde, праслав. **mъldni*, см. ЭССЯ. 20. 1994: 230—232) с идеей молотьбы (и.-евр. *mel/ə/- : *mol/ə/-, но и *mel-d- : *mol-d-) вписывается в контекст, обозначенный выше.

[22] Некоторые пережитки таких представлений сохраняются в арго или в «детском» фольклоре и позволяют представить себе более общую картину. Ср.: *На горе стоит т о ч и л о, | Под горой лежит к р у ж и л о* [вар. — *с т р е л а*], | *П...а на х... наскочила | и порвала провода* и т. п. (известны варианты). — Глагол *точить* (как и *точило*) может использоваться при описании соития (ср. *точить шишку*, см. В. С. *Елистратов.* Словарь московского арго. Москва, 1994, 474; *сделать заточку, точило* ʻpenis’ и т. п.); показательна связь вед. *śiśná-* ʻpenis’ с *śiśāti* ʻточить’, ʻострить’, из и.-евр. **k’ē*(i), **k’o*(i)-, **k’ə*(i) -, см. Pokorny, 541—542. Ср. также использование главных «громовых» глаголов типа *трахнуть*, *грохнуть* и под. для обозначения соития.

[23] Ср. призывы к короваю в коровайных обрядах и соответствующих текстах подниматься, вставать (*вставай наш коровай*), расти (*Р о с т ы, коровай, росты, | Як хмель на тычини…* или *Росци, росци коровай! | … | Выше столба медзяного, | Выше жениха молодого* и т. п.) в контексте «набухания» коровая. См. подробнее *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.* К семиотике коровая в связи с происхождением коровайных обрядов // Sign. Language. Culture. The Hague—Paris, 1970: 370—383; В. В. *Иванов*, В. Н. *Топоров*. ИОСД, 243—258.

[24] См. R. S. Conway, J. Whatmough, S. E. Johnson. The Prae-Italic Dialects of Italy. V. 1—3. London, 1933. 2: 201—202.

[25] Ср. J. Whatmough. The Dialects of Ancient Gaul. Cambridge, Mass., 1970: 38, 246. Следует отметить, что *коровяк* и как травянистое растение, и как особый вид гриба надежно связываются с Громовержцем, конкретнее — с его молнией: они — растения Громовержца по преимуществу. О растениях, называемых «перкунасовыми», см. J. Balys. Perkūnas, 173—174 (№ 407 и сл.).

[26] Ср. J. J. Meyer. Trilogie der altindischen Mächte und Feste der Vegetation. Zürich—Leipzig, 1937; S. W. Hopkins. Indra as God of Fertility // Journal of Oriental Society of America. 36. 1916: 242—268 и др. — Характерно, что эта функция связана и с ведийским Парджаньей (Parjánya-), чье имя соотносится с именем Перкунаса, Перконса, Перуна и ряда других мифологических персонажей. Ср.: *prá vātā vānti* patáyanti v i d y ú t a | úd *óṣadhīr jīhate pínvate svàḥ* | *írā víśvasmai bhúvanāya jāyate* | yát p a r j á n y a *ḥ* p*ṛ t h i v ī ṃ r é t a s ā v a t* i. RV V, 83, 4. — ʻВеют ветры, падают м о л н и и, расправляются растения, набухает небо. Рождается свежесть для всего мира, когда П а р д ж а н ь я насыщает землю (своим) семенем’.

[27] См.: *В. Н. Топоров.* Об одном архаичном переживании: похороны Сидора Карповича // Балто-славянские исследования. 1985. Москва, 1987: 31—48 и др.

[28] В определенной среде и известных условиях русское название фаллоса становится допустимым обращением к человеку — как неизвестному, так и известному (тип — *Эй, ты, х.., поди сюда!* и т. п.), или его обозначением местоименного характера.

1996

ОБ ОДНОЙ ТОПОНОМАСТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ

Речь идет об исторических землях древних пруссов и западных литовцев, которые в доорденское и орденское время назывались Скалва, Надравия, Натангия, Самбия, Барта (северная часть), а с 1946 г. — Калининградская область После войны население (несколько миллионов, среди них немцы, в частности, и потомки некогда онемеченных пруссов, литовцы, отчасти поляки и др.) этой территории (ок. 18 тыс. км^2) по тем или иным причинам вынуждено было покинуть ее, хотя часть населения предпочла бы остаться на своей родине. Эти исторические, государственно-политические, демографические, этнокультурные и языковые изменения (не говоря уж о хозяйственно-экономических и социальных) были поддержаны и узаконены актом беспрецедентной в цивилизованном обществе деноминации, важным и сознательным мотивом которой было искоренение исторической памяти о *месте сем*, о его людях, об их культуре. За всеми этими действиями стояли вполне определенные политические расчеты, а вовсе не интересы людей, которым предстояло здесь обрести свой новый дом.

Старые названия этой территории составляли густую сеть разнообразных по своему происхождению и по историческим судьбам элементов (кстати, достаточно хорошо изученную немецкими [ср. Бецценбергер, Тетцнер, Фенцлау и др.], польскими, литовскими [Калвайтис, Вилейшис] исследователями). Сам выбор варианта тотального переименования с полной и примитивной «русификацией» всего топо-корпуса был не только безусловной ошибкой, но актом «этно-топоцида». Но даже если можно было бы признать оправданным этот выбор, проведение в жизнь его «положительной» части осуществлялось наспех, практически экспромтом, на глазок. Поражают отсутствие профессионализма, неквалифицированность, в ряде случаев элемен-

тарная топономастическая безграмотность и безответственность (нем. Ragnit, германизированная форма прусского названия, лит. Ragainė был назван Неман, сам город стоит на реке Неман). И даже задание разрыва со старой топонимической традицией было выполнено недобросовестно, с ничем не мотивированными пропусками (если только не считать, что некоторые названия могли оцениваться [ошибочно] как русские). Ср. *Багински* вм. Baginskis, *Домново* — Damnava, *Дайнен* — Dainiai, *Пликен* — Plikiai, *Скардупёнен* — *Skardupėnai*, *Виндкайм* — Vindkaimis, *Вонсдорф* — Vonsdorfas Didysis, *Анграпа* — *Angerapė* и т. п. Иногда название передается в исковерканном виде, как весьма приблизительная (на слух) имитация чужого названия, ср. *Талпаки* вм. Tarplaukiai, *Пушкарево* вм. *Puškiemis*, *Кумачево* вм. Kumėnai. Более любопытны случаи, где можно подозревать некие семантические мотивы, что предполагает, видимо, участие людей, как-то знавших литовский. Ср. *Знаменское* вм. *Vėluva*, что можно было бы счесть смысловым переводом при условии, что русское название — от *знамя* (на самом деле — *знамение*, ср. церковь Знамения), а литовское — от vė̃liava ʽзнамяʼ (что на самом деле не так); возможно, что *Дворики* вм. *Diržkaimis Mažasis* (ср. Diržkiemis, от kiẽmas ʽдворʼ) как-то учитывает и мотив двора и его малость (*mažas* ʽмалыйʼ) как способ топонимизации апеллятива (*двор* → *Дворики*). Gertlaukiai Senieji (sẽnas ʽстарыйʼ) почему-то названо *Новая Деревня* и т. п.

Два основных принципа «работают» на стирание памяти о прошлом и внедрение нового — «оптимически»-радостного, официально-советского, геройски-революционного, с одной стороны, и «русско-культурного» («нашего»), к которому, впрочем, по сути дела нередко проявляется большое безразличие, формализм и даже некоторое наплевательство (ср. выбор названий, немотивированность их связи с конкретными особенностями топо-объекта, неясность в ряде случаев идентификации названия — с «историческим» ли именем или случайным владельческим именем). К первой группе относятся *Прогресс* (вм. *Auktalytė*), *Дружба* (Alna), *Октябрьское* (*Sūduva*), *Веселое* (Balga), ср. *Веселовка* (*Jučiai*), *Отрадное*, *Светлое*, *Светлый*, *Светлогорск*, *Солнечное*, *Ясное* (ср. *Яснопольское*, *Ясная Поляна*, *Яснополянка*), *Красное* (несколько раз), *Красная* (ср. *Краснополянское*, *Красная Поляна*, *Краснознаменная*, *Красногорское*, *Красноярское*, *Красный Яр* и даже *Красноречье* — для кого река, а для кого «элоквенция»), *Жемчужное* (даже «реальное» *Янтарное* отчасти подстраивается к нереальному «оптимистическому» ряду), *Майское* (несколько раз, ср. *Маевка*), *Весново*, *Победино*, *Надеждино* (разумеется, могут быть и иные толкования), *Славск*, *Славинск*, *Славское*, *Правдинск*, *Правдино*, *Гвардейск*, *Гвардейское*, *Маршальское*, *Советск*, *Пионерское*, *Новоколхозное*, *Совхозное* (не раз), *Звеньевое* и т. п. Ко второй

группе относятся *Калининград* (нем. Königsberg, лит. *Karaliaučius*, польск. Królewiec; как ни странно, «королевская» мотивировка как-то поддерживается и новым названием — по имени «всесоюзного старосты» как некоего [хотя и «псевдо»] короля), *Калининское*, *Калинино* (при *Калиновка*, *Калиново*), *Калининградский* п-ов (как если бы Пиренейский назвали Мадридским п-овом), *Калининградский залив*, *Ульяново* (?), *Фрунзенское*, *Володаровка*, *Фурманово*, *Фурмановка*, *Куйбышевское*, *Тельманово*, *Гвардейск*(*ое*), *Маршальское* (см. выше); *Черняховск*, *Гусев* (ср. *Гусевка*), *Ватутино*, *Вороново* (?), *Романово* (?), *Матросово*, *Покрышкино*, *Чкалово*, *Нестеров*; *Суворовка*, *Багратионовск*, *Багратионово*, *Кутузово*, *Ушаково* (? — дважды); *Пугачево*, *Болотниково* (?); *Пушкино* (дважды), *Державино* (?), *Лермонтово*, *Толстово* (?), *Крылово* (?), *Чернышевское*, *Чайковское*, *Репино*, *Маяковское*, *Мичуринский* и т. п. (состав этих названий напоминает номенклатуру улиц дачных поселков).

«Нейтральный» слой образуют названия от имен и фамилий, мотивированность которых (в отличие от старых русских территорий) в условиях спешного имянаречения во многих случаях вызывает сомнения и подозрения (ср. *Петрово*, *Смирново*, *Громово*, *Карамышево*, *Романово* (?), *Храброво*, *Глушково*, *Пушкарево*, *Мельниково*, *Большаково*, *Зайцево*, *Хлебниково*, *Мамоново*, *Владимирово*, *Федорово*, *Долгоруково*, *Котельниково*, *Тимофеево*, *Ермаково*, *Корнево*; *Путиловка*, *Колосовка*, *Никитовка*, *Филипповка*, *Гусевка*, *Поваровка*, *Михайловка*, *Тимофеевка*; *Жилино*, *Лунино*, *Голозкино*, *Илюшино*, *Логнино* /?/; ср. отчасти *Покровское*, *Знаменск*/*ое*/, *Знаменка*, *Апрелевка* и др.), от профессий, занятий и связанных с ними объектов (*Рыбачий*, *Мельничное*, *Железнодорожный*, *Совхозное*, *Причалы* и др.), от физиографических природно-ландшафтных объектов (*Подгоровка*, *Пригоркино*, *Северная Гора*, *Загорское*, *Красногорское*, *Светлогорское*; *Лесной*, *Залесье*, *Дубрава*, *Рощино*, *Боровое*; *Яснопольское*, *Яснополянка*, *Краснополянское*, *Красная Поляна*, *Степное*; *Лужки*, *Луговое*, *Заливное*, *Низовое*, *Низовка*; *Большие Бережки*, *Левобережное*, *Мысовка*; *Ручьи*, *Ручейки*, *Заречье*, *Заречное*, *Междуречье*, *Красноречье*, *Озерск*, *Озерки*, *Заозерное*, *Чистые Пруды*; *Морское*, *Приморское*, *Приморье*, *Взморье* и др.), от объектов растительного мира (*Лесное*, *Лесной*, *Залесье*, *Полесск*, *Дубрава*, *Дубки*, *Поддубы*, *Сосновка* /не раз/, *Березовка* /не раз/, *Ольховатка*, *Рябиновка*, *Яблоновка*, *Вишневое*, *Вишневка*, *Ракитино*, *Кедрово* /?/, *Лозовое*, *Калиново* /?/, *Калиновка* /?/, *Садовое* /не раз/, *Зеленоградск* и др.), от адресов прежней, «материковой», прописки — подлинной или мнимой (*Русское*, *Маломожайское*, *Переславское*, *Львовское*, *Полтавское*, *Россошанское*, *Острогожское*, *Ново-Московское*, *Каширское*, *Ржевское*, *Муромское*, *Саранское*, *Мордовское*, *Канаш*, *Саратовское*, *Гурьевск*, *Славянское*, *Красноярское*, *Волочаевское*, *Невское* и др.), от местных географиче-

ских объектов (*Балтийск*, *Неман*, *Неманское* и др.); весьма многие названия представлены как прилагательные во всех трех родах, образованные от объектов предыдущих классов (ср. базовые Adj. — *высокий*, *широкий*, *дальний*, *лесной*, *степной*, *луговой*, *морской*, *озерный*, *заливной*, *моховой*, *медовый*, *садовый*, *майский*, *солнечный*, *веселый*, *отрадный*, *ясный*, *светлый*, *чистый*, *красный*; *дорожный*, *шоссейный*, *железнодорожный*, *совхозный*, *звеньевой*, *мельничный* и т. п.); бросается в глаза резкая диспропорция между «цветовой» палитрой старых прусских, литовских, немецких, польских названий и «русским» набором на той же самой территории. Впрочем, то же относится и к другим классам «калининградско-новоязовских» топонимов, главная особенность которых по сравнению с тем, что ей предшествовало, — огромная потеря информации о п р о ш л о м этой земли и о тех устойчивых особенностях ее, которые сохранялись и в настоящем, взамен чего предлагается «оптимистическая» картина б у д у щ е г о, впрочем, достаточно примитивного и, главное, не имеющего шансов состояться. Эта «калининградско-приписочная» топонимика не расскажет о народах, которые здесь жили, и об их истории и культуре, об их занятиях, о системе земледелия и организации военного дела, о законах и власти, о богах, духах земли и о нечисти, о ритуалах, празднествах, обычаях, о составе населения и о его соседях, о подлинном ландшафте страны — элементах его составляющих и их физических характеристиках, наконец, о языках, на которых здесь говорили, и об их взаимных связях. Каждому предоставляется судить самому о соотношении выигрышей и проигрышей в этом роковом обмене подлинного «чужого» на мнимую подлинность «своего». Но, может быть, все дело в жестокой реальности происшедшего, и другие выходы были исключены? К счастью, это не так, что в конечном счете и в далекой перспективе дает робкую надежду на восстановление справедливости — хотя бы частичное и, может быть, только на топономастическом уровне. И немецкая и польская экспансия на прусские и отчасти литовские земли в огромном большинстве случаев не упраздняли прежний топонимический инвентарь этих территорий, но принимали его в свои «топонимические» языки, тем самым подключаясь к эволюционной линии старого наследия и создавая разнообразную типологию топонимических синтезов «чужого» и «своего» — вплоть до снятия вообще этого противопоставления во многих случаях при сохранении четких знаков того и другого в топонимике этих мест (ср. использование этнонимических элементов Prus-, Lietuv-, *Žemait-*, Kurš-, *Sūduv-*, Galind-, Gud-, Kriv-, Lenk-, Deutsch- и даже, видимо, Rus- и Varing-). То, что даже довольно крупные немецкие поселения городского типа в течение веков сохраняли балтийские названия (Tilsit, Ragnit, Insterburg, Stallupöhnen, Angerapp и др.), причем усилиями немцев, населявших эти города, образует поразительный контраст

с нынешней ситуацией, когда многие природные (даже они!) объекты, особенно небольшие, утрачивают свои исконные наименования (ср. речку *Красная*, бывш. Rominta и т. п.).

Если объектами имянаречения являются топографические элементы совершенно незаселенной местности (изначально или в силу исторических обстоятельств), даже неудачные наименования — благо, которое ограничивает хаос, упорядочивает мир природы и вводит его в сферу духовной культуры через слово-имя. Но «Калиниградская» область — не тот случай, и в настоящей ситуации, к сожалению, не субъект и не объект права: по не от нее зависевшим обстоятельствам она вынуждена была отказаться от права исторического и культурного преемства, от органического подключения к четырех-пятитысячелетней традиции, о которой в порядке ликбеза и только в ключевых ее точках следует пунктирно упомянуть.

С конца III тысячелетия до н. э. на этом месте уже сидели балты, предки пруссов, о которых как об айстиях в I в. н. э. упоминал Тацит (впрочем, это не было началом: первые жители в юго-вост. Прибалтике появились примерно за 10 000 лет до н. э.; кем они были, неизвестно, но позже, хотя и в глубокой древности, здесь отмечаются следы финноязычного населения и соответствующей культуры). Формирование западных балтов как особой общности относят условно к V в. до н. э. С конца I тысячелетия до н. э. и до сер. V в. н. э. — «золотой век» культуры западных балтов, айстиев, пруссов. Многое в этом расцвете определялось открытием знаменитого «Янтарного пути», соединявшего «Янтарный берег» старых источников (Самбию) с Паннонией, Нориком, Рецией и далее — главное — с Римом, где янтарь ценили исключительно высоко (в I—III вв. н. э. торговля им шла особенно интенсивно). Римские торговцы приезжали в Самбию, а айстии по временам попадали в сам Рим (в VI в. они приезжали сюда с янтарными подарками к остготскому королю Теодориху). В IX в., когда Географ Баварский впервые упоминает имя пруссов, и в ближайшие 3—4 века земля пруссов уже включена в систему более разнообразных связей, компенсирующих ослабление связей с южной Европой: скандинавские норманны активно торгуют с пруссами и организуют здесь свои торговые фактории. В конце IX в. Вульфстан (видимо, по поручению короля Альфреда) приезжает к пруссам в Трусо и описывает их обычаи. Со временем налаживаются связи с более восточными областями — с Литвой, кривичами, с Новгородом (ср. *Прусская улица*); связи с куршами всегда были активными. Интерес к пруссам проявляют и их западные и южные соседи — немцы и поляки. Язычники-пруссы не дают покоя Римской курии, но пруссы не собираются отказываться от своих обычаев и веры и оказывают сопротивление попыткам изменить их жизнь — и в 997 г., когда они убивают Адальберта Пражского,

присланного поляками для обращения пруссов в христианство, и после 1230 г., когда папа Григорий IX дает Тевтонскому ордену разрешение на насильственную христианизацию (ср. знаменитое восстание пруссов в 1260—1274 гг.). Тем не менее, к концу XIII в. пруссы в основном завоеваны и обращены в новую веру. На их землях формируется Орденское государство. В это же время составляется первый текст на прусском языке — «Эльбингский словарь», и тогда же (1309 г.) Великий Магистр запрещает служителям Ордена говорить с жителями на их языке. Последний раз удача улыбнулась пруссам в XVI в., когда Альбрехт ликвидировал Орденское государство и образовал Прусское герцогство. Переход к лютеранству был связан с попытками создания пруссоязычной письменной культуры (Катехизисы I и II 1545 г., словарик Грунау и «Энхиридион» 1545 г.), центром которой как раз и стал Кенигсберг. Стоит напомнить, что в этом же веке и в этом же городе, ставшем очагом общебалтийской культуры в ее лютеранском варианте, выходит первый памятник литовского языка «Катехизис» Мажвидаса, делается первый перевод Библии Бреткунасом (1590), переводится «Энхиридион» Вилентасом и т. д., выходит в свет в 1586 г. лютеранский «Энхиридион» на латышском языке, а в 1587 г. — латышский перевод Евангелий и Посланий (эта традиция продолжается и позже — так, в 1653 г. в Кенигсберге проявляется первая грамматика литовского языка Клейна; среди первых профессоров Кенигсбергского университета — А. Кульветис и С. Раполенис; там же получали образование многие выдающиеся деятели литовской культуры — Мажвидас, Бреткунас, Клейн, И. и Л. Реза, Руйгис, Г. и З. Остермейеры, Ф. Куршайтис и великий поэт Донелайтис; с 1723 г. при Университете начал работать Семинар литовского языка). Но дни прусского языка, культуры и самого народа были сочтены. Страшная чума и голод 1709—1711 гг. (вымерло 40 % населения) и последовавшая за этим обширная немецкая колонизация прусских и литовских земель Пруссии довершили дело в отношении пруссов (хотя нужно помнить, что значительная часть пруссов уцелела, приняв немецкий язык и культуру — прусское происхождение Коперника и Канта более чем вероятно) и сильно изменили к худшему положение литовского этнического элемента.

Бóльшую часть рассматриваемой территории, в бассейне Преголя и по обоим берегам нижнего Немана, издавна занимали западные литовцы, граничившие с пруссами и со временем проникавшие, видимо, на окраинные прусские территории. Западно-литовский этноязыковой комплекс Восточной Пруссии был весьма устойчивым, и уже Миндовг в XIII в. притязал на принадлежность западно-литовских земель Литовскому княжеству. Борьба против Ордена и разъединяла и сплачивала две эти части литовцев. Во всяком случае победа при Грюнвальде (*Žalgiris*) была кульминацией чувства

единства и сулила большие надежды на объединение, воспользоваться которыми, однако, не удалось. Отдаленным последствием этой победы было превращение теократического и военно-католического Орденского государства в светское протестанское Прусское герцогство (1525), образование которого не только облегчило положение западных литовцев, оформившихся в XV—XVI вв. в особую этнографическую общность — т. наз. «литовников», но и создало несравненно более выгодные условия для развития литовской культуры здесь, в Малой Литве, по сравнению с Великой Литвой. Многое возникло впервые именно здесь: помимо уже отмеченного выше, ср. появление первой художественной книги на литовском языке (1706), первой кафедры литовского языка (1718), первой научной работы о литовском языке (1747), первой литовской учительской семинарии (1811), первого издания поэмы Донелайтиса (1818), первого периодического издания (1822), первого собрания народных песен (1825), первого литовского журнала (1883), первой организации возрождения «Бируте» (1885), первого литовского этнографического музея (1905). Малая Литва (ее ядро — Prowinz Litauen, позже — Litauisches Departement [вместе с Мазурами]) была не только важной составной частью Прусского герцогства (с 1701 г. — королевства), но и в течение веков центром литовской культуры (ср. выпуск изданий на литовском языке соотв. в Малой и Великой Литве: XVI в. — 22 и 5; XVIII в. — 232 и 164; XIX в. — 2423 и 535; только в Кенигсберге с 1524 по 1940 гг. продукция на литовском языке печаталась в 23 типографиях; в сер. XVIII в. в Пруссии из 1700 приходских школ немецких было 400, остальные — литовские и польские; известная учительская семинария в Каралене [1811—1926 гг.] готовила литовских педагогов, как и такие же учреждения в Рагайне и Исрутисе с 1882 г.). После запрета на печатание книг на литовском языке в Великой Литве (1864—1904) культурная роль Малой Литвы возросла еще более, и преследуемые законом отважные книгоноши тайно переправляли книги в Великую Литву. Приграничный Тильзит стал не только «перевалочным» пунктом литовской культуры, но и ее центром (многочисленные культурные общества, среди которых выделялось общество литовской литературы [1879—1923], объединявшее литовских, немецких, русских ученых; издательства и т. п.; ср. труды В. Шиласа, А. Матулевичюса и др.). Однако образование Германской империи в 1871 г. отрицательно сказалось на судьбах литовской культуры: язык вытеснялся из школы и даже общественной жизни, оставаясь для домашнего пользования и отчасти в церкви (служба на литовском языке совершалась в Рагайне до 1944 г., в приходе Закхейм в Кенигсберге до 1914 г.). И все-таки и язык и культура существовали вплоть до Второй мировой войны, появлялись литовские интеллигенты и исследователи, интересовавшиеся прошлым и пытавшиеся

сохранить это историческое наследие. Нельзя не назвать В. Калвайтиса, много сделавшего для собирания литовского топономастического материала (1910), фольклора, языка, и великого литовского моралиста и мыслителя Видунаса (1868—1953), чьи идеи близки гандизму. Много полезного делал центр балтистики Кенигсбергского университета, с которым были связаны Бецценбергер, Траутман, Герулис, внесшие огромный вклад в изучение топономастики Малой Литвы и смежных областей. Нужно напомнить и о Зацэрвейне, немце по национальности, писавшем стихи и на литовском языке, радетеле литовской культуры, предстателе за нее и за судьбу литовцев перед коронованными особами. Подводя итоги, можно сказать, что, хотя за последние 70 лет своего существования литовский этнокультурный и языковой элемент потерпел существенный ущерб, к окончанию войны он был, несомненно, жизнеспособен и готов к возрождению, особенно в тех условиях, которые естественно могли бы возникнуть в связи с уничтожением фашизма. Но другая сторона не только не способствовала созданию этих условий, но одним махом попыталась перечеркнуть проблему западных литовцев, Малой Литвы, литовского языка и культуры окончательно. Хочется думать, что история не сказала еще своего последнего слова на этот счет, хотя каким может быть будущее этого края после разрыва всех органических связей, сказать сейчас трудно.

Тем не менее, нужно подчеркнуть, что историческими правопреемниками на этой территории могли бы быть в первую очередь литовцы, изгнанные отсюда, и пруссы, уже несколько веков назад вымершие, а также немцы, прежде всего выходцы из Восточной Пруссии, среди которых, в частности, прослеживается слой, восходящий к прусским истокам, но, разумеется, и не только они (достаточно назвать имена Гердера, В. Гумбольдта, Гофмана, так тесно связанных с этой землей). Несомненно, должны быть учтены и интересы поляков, практически основных хранителей памятников прусской культуры (в течение многих веков польский язык был главным внешним источником обогащения прусского языка) и остатков литовского населения на границах Малой Литвы и Мазур (ср. литовские анклавы в Сувалкии). И, наконец, сложная проблема теперешнего русского населения Калининградской области, которая также не может быть сброшена со счетов — и не только по соображениям прагматическим и/или гуманитарным. Близость имен пруссов и русов породила ряд мифологем, в частности, относящихся к происхождению царской власти на Руси и жреческо-военной у пруссов и литовцев («прибалтийский» локус — тот промежуточный пункт, где произошла как бы передача инсигний верховной власти от Рима Августа на Русь, в Пруссию и Литву). Но независимо от исторических легенд существуют и реальные связи: остается

проблема «прибалтийской Руси», опирающаяся на западно-европейские и арабские источники X—XIII вв., причем предполагается, что эта Русь говорила на славянском языке (ср. недавнюю работу Н. С. Трухачева и др.). Правдоподобно, что кривичи и, возможно, некоторые другие племена, известные позже как восточно-славянские, пришли на Русь из южной Прибалтики. Также нельзя исключать, что путь Рюрика на Русь начинался здесь. О прусских генеалогических истоках наиболее влиятельных русских родов, сменивших Рюриковичей, кажется, можно теперь не сомневаться (ср. род Захарьиных, к которому принадлежала первая жена Ивана Грозного и который восходил к выходцу из Пруссии в XIV в. Андрею Кобыле [по матери Иван Грозный был связан с Литвой], или род Романовых). Русские старообрядцы не раз находили убежище в этих местах. В последние три века (чаще удачно, реже неудачно) Россия в лице своей военной силы неоднократно появлялась и в Малой Литве и — шире — в Восточной Пруссии. Оказавшись в «Калининградской» области по праву силы и пролитой крови, русские, чтобы стать подлинным субъектом культурно-исторического процесса этой земли, должны помнить (а предварительно — узнать) и о том, что было *до* 1945 г. И не только помнить, но добровольно и с готовностью *включиться* в тот процесс культурного строительства, который гораздо раньше и несравненно успешнее осуществляли пруссы, литовцы, немцы, поляки. И не только включиться, но и *создать условия* для того, чтобы восстановить права, казалось бы, навсегда выбывших прежних участников этого процесса, прежде всего литовцев на территории Малой Литвы. Эта задача вполне реальна, и все зависит от доброй воли или хотя бы трезвого расчета нынешней «владельческой» стороны. Участие немцев тоже и реально и желательно. Как это ни фантастически звучит, но нельзя исключать и восстановление прусского культурного и отчасти даже языкового элемента (деятельность «Толкемиты» и «Прусы» дают основания для надежд; особенно ценны опыты реконструкции и формирования новопрусского языка Л. Палмайтиса). Что для этого нужно сделать и как это нужное осуществлять — требует особого разговора. Но в любом случае первым актом нового творения-возрождения должно стать «ономатетическое» преображение этой земли во всем многообразии составлявших ее культурно-исторических и этноязыковых элементов. Не всякое место столь благоприятно для захватывающих мысль культурных синтезов, как ныне убогая — не по своей вине — «Калининградская» область.

1991

ИЗ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО БАЛТИСТИКЕ

После того как закончен выход в свет 20-томного словаря литовского языка («Lietuvių kalbos žodynas»), — место свято пусто не бывает, — начинается другое фундаментальное предприятие. Речь идет о начале публикации важнейшего, поистине циклопического труда источниковедческого характера, созданного Матеусом Преториусом в конце XVII в. и законченного в 1703 г., незадолго до смерти автора. Ничего сопоставимого с этим трудом ни в XVII в., ни в XVIII о Пруссии не писалось, и именно это обстоятельство определяет значение «прусского» свидетельства Преториуса. Труд Преториуса носит название «Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne» и был написан на немецком языке (хотя существуют и латинские фрагменты). Этому труду Преториус посвятил более трех десятилетий, начав заниматься им уже в 1671 г. и закончив его в 1703 г. «Preussische Schaubühne» стало своего рода энциклопедией «прусской» (о значении этого определения см. ниже) жизни в XVIII в., позволяющей заглянуть и в более раннюю эпоху.

Поводом говорить здесь о Преториусе и его замечательном труде стал выход в Литве первого тома «Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne» (литовское название тома — «Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla. Pirmas tomas. Prūsijos įdomybių santrauka. I knyga. Prūsijos onomasija. Vilnius. Pradai, 1999)». Все издание должно занимать семь томов: т. II — II knyga: Prūsijos demologija, III knyga: Prūsijos topografija; т. III — IV knyga: Senovės prūsų idololatrija, V knyga: Senovės prūsų šventės, VI knyga: Senovės prūsų konsekracijos; т. IV — VII knyga: Prūsų bažničios kronika; т. V — VIII knyga: Senovės prūsų valstybė; IX knyga: Pokyčiai Prūsijoje; т. VI — X knyga: Prūsijos teisė, XI knyga: Senovės prūsų karyba, XII knyga: Prūsijos klestėjimas, XIII knyga: Senieji Prūsos kilmingieji, XIV knyga: Senovės prūsų ūkis; т. VII — XV knyga: Prūsijos monetos, XVI knyga: Prūsų kalba, XVII knyga: Vokiečių ordinas,

XVIII knyga: Prūsijos gyventojai ir kilmingieji. Немецкий текст и его литовский перевод даются в книге параллельно. Книга подготовлена в Институте истории Литвы в Вильнюсе. Составила ее Инге Лукшайте. Она же и Вилия Герулайтене подготовили книгу к печати. В переводе с немецкого и латинского на литовский участвовали В. Герулайтене и Еугения Ульчинайте. Редакторы — Т. Даржинскайте и Ю. Бух. Издание осуществлялось при поддержке Фонда Открытой Литвы, Министерства культуры Литвы и Института истории Литвы.

В кратком предисловии к тому I — интересные сведения о замысле этого издания и истории его подготовки. Глубокого уважения и высокой оценки заслуживает предусмотрительность, более того, дальновидность наших литовских коллег, задумавших подготавливать это издание в условиях, при которых оно заведомо не имело никаких шансов на осуществление и, более того, могло вызвать серьезные неприятности. Это хорошо понимали и инициаторы проекта. Об этом — первая фраза предисловия — «Mato Pretorijaus veikalas Prūsijos idomybes *pradėtas rengti spaudai 1983 metais, kai buvo m a ž a i t i k ė t i n* a, kad *j i s g a l ė t ų b ū t i i š l e i s t a* s» («Подготовка к печати сочинения Матеуса Преториуса “Интересные вещи” была начата в 1983 году, когда мало верилось, что оно может быть издано»). Тем не менее именно тогда она и началась. Правда, к этому времени была уже перепечатана (в 1972—1981 гг.) копия текста. Благодаря этому сочетанию дальновидности и трезвости, умению ценить время и развитому чувству долга стало возможным уже в 1999 г. выпустить первый том сочинения Преториуса.

До сих пор приходилось и пока еще приходится пользоваться старым изданием этого труда, вышедшего век с третью назад — «Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. Im wörtl. Auszuge a. d. Manuscript hrsg. von W. Pierson» (Berlin, 1871) и давно ставшего труднодоступным и устаревшим. К тому же это издание по своей полноте существенно уступает новому изданию, каким оно задумано. Правда, нужно отметить, что В. Маннхардт в своей посмертно изданной книге «Letto-Preussische Götterlehre» (Riga, 1936) привел обширные фрагменты из труда Преториуса (524—606), относящиеся к религии древних пруссов эпохи язычества, к пантеону прусских божеств, к культу и ритуалу пруссов, к их обычаям, в более широком смысле к духовной жизни пруссов (и не только к ней), к устройству общества и т. п. (книги IV—VI). Эти данные, безусловно наиболее полные и ценные изо всего, что касается пруссов, в последние десятилетия неоднократно использовались в научных работах. Впрочем, иногда Преториус касался вопросов, выходящих за пределы прусской тематики, хотя и близких ей, ср. фрагмент под названием «Nachricht von der Litthauer Arth Natur und Leben», ср. W. Mannhardt. Op. cit. S. 605—606.

Матеус Преториус (1635—1704 или 1707) — замечательная фигура своего времени из числа тех людей, которые ощущали — при всех различиях — некую существенную общность территорий, расположенных к югу и юго-востоку от Балтийского моря. О жизни, деятельности и научном творчестве Преториуса в первом томе описываемого издания — обширная статья Инге Лукшайте «Matas Pretorijus — Prūsijos kultūros istorikas» (9—83), представляющая собою лучшее введение в жизнь и творчество Преториуса, написанное и с полнотой фактических знаний, и с четкой оценкой вклада Преториуса с точки зрения современной науки, и с тонким пониманием того духа, который веял в то время на всем этом южнобалтийском пространстве и объединял, несмотря на национальные, политические и религиозные различия, весь этот пояс. Это был яркий период, когда в названном ареале при иных обстоятельствах могло бы возобладать чувство единства исторической судьбы. Невольно мысль переносится в наши дни и к тому же пространству, в частности, к несчастной так называемой Калининградской области, о чем будет сказано несколько ниже.

Сам текст Преториуса, образующий состав первого тома «Deliciae Prussicae», состоит из итоговой сводки содержания 18 книг, каждая из которых посвящена одной теме (ономастика Пруссии, демология, топография, идололатрия, праздники древних пруссов, право, экономика, хозяйство, язык пруссов, Немецкий орден, жители Пруссии и ее знать и т. п.), а также из первой книги «Preussischen Schaubühne», озаглавленной «Onomasia Prussiae» и состоящей из 12 разделов, в которых, между прочим, особое внимание уделяется янтарю, рассматриваемому во многих разных аспектах как главная ценность прусской земли.

К первому тому «Deliciae Prussicae» прилагаются подробные комментарии, список сокращений, именной указатель и указатель географических названий и этнонимов и, наконец, указатель слов, считающихся балтизмами. Все это облегчает читателю, особенно если он и исследователь, работу с текстом Преториуса. Остается выразить глубокую признательность тем, кто участвовал в работе над этим томом и в его издании, и надеяться на успешное продолжение всего этого предприятия.

В 2001 г. в Вильнюсе вышел том II важнейшего труда источниковедческого характера по мифологии и религии древних балтов — «Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. II. XVI amžius», составленный безвременно ушедшим из жизни выдающимся исследователем литовской духовной культуры Норбертасом Велюсом (том I был опубликован в 1996 г.). В составлении вводных статей, комментариев и в переводах текстов источников на литовский язык, сопровождающих тексты на языках оригинала, принимало участие несколько

десятков специалистов. Всего в этом томе опубликовано 60 источников на разных языках, существенно расширяющих источниковедческую базу наших представлений о религии, мифологии балтов и о соответствующих обрядах. Среди опубликованных источников, расположенных в хронологическом порядке (когда известна дата создания или публикации), находятся такие важные, нередко выдающиеся по своим достоинствам (а иногда практически и впервые вводимые в научный обиход тексты, как «De Borussiae antiquitatibus» (1518) Эразма Стеллы, «Preussische Chronik» (1529) Симона Грунау, «Der vnglaubigen Sudauen ihrer Bockheiligung mit sambt andern Ceremonien, so sie tzu Brauchen gepflegeth» (около 1520—1530), «Preussische Chronik» (1583) Луки Давида, «Chronicon des Landes Preussen» (1588) Бреткунаса, «Erclerung der preussischen grössern Landtaffel oder Mappen» (1595) Каспара Хенненбергера, «Хроники Быховца» (третье десятилетие XVI в.), «Sarmatiae Europeae Descriptio» (1578) Александра Гванини, «Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi» (1582) Мацея Стрыйковского и многие другие.

Завершают том сокращения источников и литературы, указатели мифологем, народов и племен, местных и личных имен. Только теперь с полной ответственностью можно сказать, что перед исследователями открывается наконец широкое поле разнообразных источников, позволяющих надежно судить о религии, мифологии и обрядах балтов в XVI в. Несомненно, что вскоре наступит и пора сбора урожая. Он должен быть более богатым, более надежным и, надо надеяться, внесет немало нового в наши представления об этой важной стороне духовной жизни балтов.

И во всяком случае последний по времени обзор балтийской мифологии из «Wörterbuch der Mythologie», изданного H. W. Haussig'ом в Штутгарте и подготовленного еще Й. Балисом и Х. Биезайсом, может теперь быть дополнен рядом ценных деталей из источников, собранных Н. Велюсом.

В связи с религиозно-мифологической темой следует указать еще на два заслуживающих внимания издания. Речь идет о двух книгах. Первая из них — «Senovės baltų kultūra. Nuo kulto iki simbolio» (Vilnius, 2002). Эта книга представляет собою серийное издание, учрежденное в 1992 г. Вся же серия посвящена исследованию духовной культуры древних балтов. До сих пор вышло пять сборников, отличающихся широтой тематики и высоким научным уровнем: «Ikikrikščioniškoji Lietuvos kultūra» (1992), «Senovės baltų simboliai» (1992), «Prūsijos kultūra» (1994), «Dangaus ir žemės simboliai» (1999), «Augalų ir gyvūnų simboliai» (1999). Таким образом, вышедший в 2002 г. сборник является шестым в серии. Составитель сборника Эльвира Усачёвайте. В сборнике 17 статей. Несомненный интерес представляет раздел, посвященный культу. Его составляют статьи Г. Береснявичюса («Kultas

Transalpinės Europos religijose»), в которой культовые места балтов вводятся в более широкий контекст культовых локусов «трансальпийских» народов, Н. Лауринкене («Šventovė Prūsijoje baltų ritualų ir mitologinės tradicijos kontekste»), Э. Усачёвайте («Baltiškasis aukojimas») и Г. Забелы («Tariamos kulto vietos keliuose tyrinėtuose Lietuvos piliakalniuose»). Следующий раздел сборника — «Simboliniai įvaizdžiai lietuvių ir latvių žodinėje tradicijoje». Он представлен работами Ю. Уртанса («Latviškų padavimų motyvas — pinigų statinė šaltinyje prie piliakalnio»), М. Завьяловой («Pasaulio modelis lietuvių užkalbėjimuose»), И. Упениеце («Paukščių kultinė prasmė latviškoje medžiagoje»), Р. Ивановской («Žydintis medis — moters paveikslo genezė latvių liaudies dainose»), С. Рыжаковой («“Вокруг повсюду песчаные холмы, сама Рига в воде” (Рига: город и миф)», Д. Шешкаускайте («Apeigos karo sutartinėse»). Третий и последний раздел — «Simbolio meninės formos». Он состоит из статей В. И. Кулакова («Стилистика и символика прусского орнамента I—XI вв.»), М. Смирновой («Орнамент на погребальных украшениях населения междуречья рр. Нагаты и Деймы V— IX вв.: опыт статистической обработки»), С. Урбонене («Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje»), Г. Янкявичюте («Kanklininkas-vaidila tarpukario Lietuvos meninėje kultūroje»), С. Ренчиса («Archajinių tikėjimų motyvai dabartinėje lietuvių lyrikoje»), И. Янкаускене («Simbolizavimas. Loginiai ir socialiniai simbolio tyrimo aspektai») и К. Настопки («Simbolio apibrėžimo beieškant»). В заключение сообщаются краткие сведения об участниках этого сборника. См. также ниже.

В т о р а я книга, заслуживающая пристального внимания, написана Дайнюсом Разаускасом. Называется «Ryto ratų ritimai. Pagrindinio kosmologinio modelio rekonstrukcija su etimologiniais priedainiais» (Vilnius, 2000). В фонетически отмеченной части названия при иных условиях можно было бы увидеть претензию на оригинальность в сочетании с нарочитостью. Однако Д. Разаускас весьма серьезный исследователь, сочетающий в себе аналитичность и синтетичность, проницательный ум и интуицию, наконец, глубокий интерес к тому, что лежит за конкретными данностями, за верхним слоем явлений. Ознакомившись с книгой, читатель поймет и эту нарочитость заглавия: именно она отсылает в самую глубь мифопоэтического смысла, как это делает и выполняющее эпиграфическую функцию фольклорное шестистишие с теми же фонетически-семантическими совокупностями:

Kas tar teka per dvarelį?
Saulala **rid**uolėlā, saulalā!
Kų tar neša tekėdama?
Saulala **rid**uolėlā, saulalā!

Neša **ryt**ų tekėdama
Saulala **rid**uolėlā, saulalā!

Эта книга Д. Разаускаса (впрочем, как и другие его работы) наглядно показывает не только умение сочетать научную акрибию с умением погружаться в глубины мифопоэтического, адаптироваться к нему, придавать особое значение языку, этому «дому бытия», по Гейдеггеру, докапываться до мотивации обозначения ключевых слов, но и ощутить себя самого как носителя соответствующей традиции, т. е. из посредника стать свидетелем его. Тема колеса-круга, катания-качения сквозная в книге, отражаемая и в самой ее структуре. Ср. главы — 1. Saulės ratas, 2. Kūno ratas, 3. Spalvų ratas, 4. Sielos ratai, 5. Sėklos ratas, 6. Seilių ratas, 7. Sielų ratas, 8. Akiratis.

В Вильнюсе в 1999 г. вторым изданием вышла книга В. Багданавичюса «Laumių praeitis Lietuvoje» (первое издание [Chicago, 1982] вышло под названием «Laumės, jų religija ir kultūra»). Книга состоит из трех частей. В первой предлагаются объяснения «некаждодневных» явлений в связи с темой этого класса женских мифологических существ («Nekasdienių reiškinių aiškinimas»). Вторая часть несколько озадачивает читателя своим названием («Dorinė ir dvasinė laumių pasaulėžiūra»), особенно если он ознакомится с содержанием этого раздела. Третья часть («Laumių savasties pasaulis») также не вполне соотносима с достаточно пестрым кругом тем. Однако в книге немало мест, в которых автор достаточно оригинален и проницателен. Прежде всего это относится к избранному им ракурсу, в котором сам класс лаум выглядит нетрадиционно.

В предыдущие обзоры, к сожалению, не попала книга В. Береснявичюса о религиозных реформах балтов (Baltų religinės reformos. Vilnius, 1995), в которой избран оригинальный и перспективный ракурс, объясняющий эволюцию прусского язычества в свете реформ Совия, Брутенаса и Видевутаса, а также (это касается литовского языка) в призме религиозной реформы Швянтарагиса. Несомненно, что выбор этого пути исследования открывает далеко идущую перспективу.

Г. Береснявичюсу принадлежит также краткий словарь литовской и прусской религии — «Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas» (Vilnius, 2001). Собственно словарной части предшествует краткий текст о «религиозности» (religingumas) литовцев и пруссов.

В 1994 г. в Вильнюсе вышел перевод книги много сделавшей для изучения символики в литовском народном искусстве М. Гимбутене (M. Gimbutas) — «Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene» (английский ори-

гинал вышел в 1958 г. в Филадельфии под названием «Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art»). Идеи Гимбутене были подхвачены в Литве и существенным образом предопределили направление развития исследований по символизму в религиоведческих исследованиях литовских ученых.

В последние годы успешно работает в области археологии пруссов В. И. Кулаков. Последняя его книга «История Пруссии до 1283 года», открывающая серию «Prussia antiqua» как ее первый том и изданная в издательстве «Индрик» (М., 2003), представляет собою фундаментальное исследование, во многом подводящее итог этой теме, что, однако, не означает «закрытия» темы. В книге рассматриваются такие темы, проблемы, вопросы, как история изучения и историография прусских древностей, западная окраина мира балтов в I—XIII вв., географические границы и характеристика ареала пруссов, соседние племенные территории, признаки древностей айстиев (эстиев) и пруссов, становление культуры пруссов (Халибо), поселенческие структуры, социумы и военная организация, повседневная жизнь пруссов, жилище, быт, хозяйственная деятельность, социальная структура, пруссы на Восточном пути, «финал прусской свободы». Особо должны быть отмечены главы, посвященные духовной культуре пруссов: «Черты обрядности и этнос населения Янтарного края в римскую эпоху», «Архаические культовые воззрения населения Юго-Восточной Балтии. Обряды. Жертвоприношения». Книга завершается серией приложений, библиографией, списками сокращений и рисунков (последние обильно представлены в книге). Остается пожелать автору книги новых успехов в его дальнейших исследованиях.

Из трудов юбилейного характера стоит отметить сборник, посвященный известному польскому ученому М. Хасюку в связи с его 70-летием, — «Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata» (Poznań, 2001), в котором участвуют многие из виднейших балтистов нашего времени. Юбилейный том оказался весьма разнообразным и богатым по содержанию. Основные разделы книги — «Baltic in general», «Lithuanian», «Latvian», «Old Prussian», «Baltic and Fennic», «Baltic and Slavonic», «Sociolinguistics», «Varia», «History of Literature». Прилагается индекс слов разных языков, упоминающихся в статьях.

Особо нужно отметить две солидные монографии, вышедшие в одном и том же месте и в одном и том же году — в Кракове, в 2001 г. Речь идет о третьем и четвертом томах серии «Baltica Varsoviensia». Первый из них — фундаментальная (более 500 страниц!) книга В. Смочиньского, составленная из многочисленных его работ и носящая название «Język litewski w

perspektywe porównawczej». Она состоит из разделов, посвященных положению литовского языка в семье индоевропейских языков, фонетике, морфологии, диалектологии, этимологии, польско-литовским языковым отношениям. Заключают книгу обширнейший список слов и личных имен. Книга подводит богатые итоги предыдущей научной деятельности Смочиньского и в известной степени может рассматриваться и как полезный обзор нового в литуанистике.

Четвертый том серии «Baltica Varsoviensia» содержит монографию Акселя Хольвета (Holvoet) «Studies in the Latvian Verb», состоящую из 11 глав, распределенных по трем разделам — «Наклонение», «Вид», «Залог». В книге на современном уровне рассматриваются если не новые вопросы морфологии и семантики грамматических категорий в латышском языке, то во всяком случае нередко по-новому увиденные. В этом плане книга безусловно полезна и, возможно, будет способствовать оживлению соответствующих исследований в области грамматики латышского языка.

В той же серии «Baltica Varsoviensia» несколько раньше вышел в свет внушительный том избранных работ по литуанистике безвременно скончавшейся известной литуанистки и германистки, автора книг «Die Akzentuierung des Christian Donelaitis» (1961) и «Lithuanian Phonology in Christian Donelaitis» (1974) Тамары Бух (8.VII.1923. Витебск — 7.II.1970. Хайфа). Сейчас ей было бы 80 лет, но родилась она в неблагоприятное время и в недобром месте. Витебск, Каунас, Нижний Новгород (тогдашний Горький), где она изучала германистику, Петербург (тогдашний Ленинград), где она была ученицей и аспиранткой В. М. Жирмунского, Вильнюс, где она работала сначала в университете, а потом в Институте литовского языка и литературы, Варшава, где она защитила диссертацию по Донелайтису, Париж и Чикаго, где она читала лекции по литуанистике, Сувалкия, где она собирала материалы по топонимике и ономастике и, наконец, Хайфа, где она нашла свой последний приют, — таковы вехи ее жизненного и научного пути, очень нелегкого и все-таки очень плодотворного. Тамара Бух (Бухене) оставила по себе добрую память в Литве, где ее высоко ценили и благодарно вспоминали о ней (З. Зинкявичюс и Й. Палёнис, В. Амбразас и А. Сабаляускас). Добрая память осталась о Тамаре Бух и в Польше, о чем, в частности, свидетельствуют и воспоминания В. Смочиньского, открывающие сборник ее работ. И пишущий эти строки помнит единственную встречу с Тамарой Бух в Варшаве в сентябре 1965 г., тот накал научного энтузиазма и ту полноту жизненных сил, которые были ей свойственны.

«Opuscula Lithuanica» включает 36 работ Т. Бух, распределенных по восьми разделам — I. Фонология, II. Акцентология, III. Глагольная система, IV. Язык Малой Литвы в свете грамматики Клейна, V. Язык Христиана

Донелайтиса, VI. Литовские говоры Сейненшчины, VII. Ономастика, VIII. Германистические исследования. Наиболее значительно и интересно содержание разделов IV—VII, посвященных литуанистике применительно к фактам диалектов, оказавшихся в настоящее время на периферии литовского языкового пространства и игравших некогда особенно важную роль в развитии литовского языка, письменности и культуры (Малая Литва). Жизнь покойной исследовательницы была краткой и сложной. Научное же наследие ее оказалось большим, существенным и объясняющим то, что казалось до нее сложным, а иногда и непонятным.

Поскольку здесь речь зашла о серии «Baltica Varsoviensia», уместно обозначить и другие проявления весьма активной и полезной деятельности Кафедры общего языкознания и балтистики Варшавского университета. В ее активе девять томов одного из лучших изданий по балтистике «Linguistica Baltica. International Journal of Baltic Linguistics» (1993—2001, с 1994 г. — Warszawa, Kraków), проведение двух прусских коллоквиумов — «Colloquium Pruthenicum primum. Papers from the First International Conference on Old Prussian held in Warsaw, 1991 / Ed. by W. Smoczyński and A. Holvoet. Warszawa, 1992; Colloquium Pruthenicum secundum. Papers from the Second International Conference on Old Prussian held in Mogilany near Cracow, 1996 / Ed. by W. Smoczyński. Warszawa; Kraków, 1998; Indeks wyrazów do Jana Otrębskiego «Gramatyki języka litewskiego» w trzech tomach. Warszawa, 1958—1965. Przy współpracy Grety Lemanaitė-Deprati zestawił W. Smoczyński. Warszawa, 1998 [в печати?]». — Нельзя, конечно, пройти мимо монографии В. Смочиньского «Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreussischen», вышедшей в Кракове в 2000 г. в серии «Analecta indo-europaea cracoviensia», vol. III.

Здесь же нужно упомянуть о другом серийном издании «Leiden Studies in Indo-European», которое издают R. S. P. Beekes, A. Lubotsky, J. J. Weitenberg. В 6-м выпуске этой серии публикуется работа молодого исследователя Рика Дерксена — Rick Derksen. Metatony in Baltic. Amsterdam; Atlanta, 1996. Эта книга представляет собою обширное исследование одной из сложнейших тем балтистики, которой занимались такие выдающиеся специалисты, как Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев, Хр. С. Станг, В. М. Иллич-Свитыч, В. А. Дыбо. Исследование Р. Дерксена весьма подробно рассматривает чуть ли не все аспекты проблемы метатонии в балтийских языках. О структуре книги можно судить по ее основным разделам — «Aim», «History of the problem», «A brief outline of Balto-Slavic accentotogy», «East Baltic dialectology», «Dictionary, grammars and accented old texts», «Métatonie douce» в корневых слогах и в суффиксальных словах, «Métatonie rude» в корневых и в суффиксальных слогах, «Conclusion», «Bibliography», «Index». Не берясь оценивать этот труд в

целом, нужно заключить сказанное здесь тем, что имя Дерксена теперь должно быть присоединено к вышеупомянутым именам.

Здесь нельзя пройти мимо небольшой книжечки, вышедшей в 2001 г. в серии «Tolkemita-texte», № 61 (издатель — Tolkemita e. V Internationale Vereinigung der Prußen und Prußenfreunde), автором которой является известный балтист и славист Райнер Эккерт (Eckert), отметивший в этом году сорокалетие своей плодотворной и многопрофильной деятельности. Книжечка называется «Altpreußische Studien» и содержит несколько разделов, каждый из которых включает в себя несколько небольших текстов — чисто исследовательских (ср. особенно «Woher hat Preußen seinen Namen?», «Ein altpreußisches Phrasem und seine Entsprechungen im Litauischen, Lettischen und Deutschen» и др.) или рецензионных. К ним прилагается список полутора десятка работ Эккерта по прусскому языку и двух находящихся в печати. К сожалению, не все из этих работ доступны в теперешней России.

Следующий номер «Tolkemita-texte» (№ 62) также содержит ряд интересных статей и заметок, касающихся как древности, так и недавнего прошлого. Ср., например, K.-*P.* Jurkat. Gedanken und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in Ostpreußen; V. Roehrich. Die Besiedlung des Ermanlandes mit besonderer Brücksichtung der Herkunft der Siedler; J. *Trinkūnas.* Prusa — Der Brennpunkt baltischer Kultur, но и наряду с этими статьями — R. Grunenberg. Entwicklung der preußischen Bevölkerung bis 1939. В издании «Tolkemita e. V. waistsennei. Internationale Vereinigung der Prußen und Prußenfreunde», 2002, № 1 помещен целый блок статей и заметок, связанных с прусско-литовской тематикой («Prußen in Litauen», «Beschluß der Prußen Litauens», «Wann und wie kamen die Prußen nach Litauen»), а также заметки информационного характера. Ведущую роль в этом издании играет Gerhard Lepa. В частности, в этом номере «Tolkemita» опубликован сделанный им перевод на немецкий язык песенки, слышанной им в Литве. Несколько строф из нее:

Einst waren wir Prußen mutig und mächtig
verehrten die Götter, die unseren sehr
Uns konnten tosende Stürme nicht treiben
Wie herbstliches Laub willenlos vor sich her

Wir machten unsere Feinde zu Freunden
Schmolzen viele Metalle in heißer Glut
Kein Kreuz belastete unsere Gräber
Die ewige Flamme bewahrten wir gut

Vor Stürmen schützten uns unsere Wälder
Vor Feinden auch unsere Frauen und Gut
Von steilen Hügeln unsre Burgen drohten
Benetzt mit eigenem und mit fremden Blut
…………………………………………..
Im Winter sind immer Feinde gekommen
Zu fällen uns und die heiligen Eichen
Dann wurden wir unseren Göttern schuldig
Auf der Stim mit doppeltem Kreuzeszeichen

Vereint wir geschlagen haben sie mächtig
Bei Tannenberg Spuren davon noch rosten,
Für Jahrhunderte diesen Schurken verging
Das Verheeren bei den «Reisen» nach Osten

Einst waren wir Prusen mutig und stürmisch
Kämpften für uns und unserer Götter Ehr
Gewaltig noch donnert unser Perkunos
Er donnert im Sommer, im Winter so hehr.

Сострадание к печальной судьбе пруссов и желание искупить свои грехи, опыты восстановления прусского языка, память о пруссах, так ярко, как пламя, вспыхнувшая на рубеже двух последних тысячелетий, делает наших современников наследниками пруссов, исчезнувших с лица земли. Выполнение своего нравственного долга перед пруссами — искупление грехов наших предков.

Продолжается выпуск сборников u серии, посвященной культуре древних балтов («Senovės baltų kultūra») и издаваемой Институтом культуры и искусства. Вышедший в 1999 г. в Вильнюсе выпуск посвящен рассмотрению растительных и животных символов — «Augalų ir gyvūnų simboliai». Книга состоит из введения (Įvadas), в котором обсуждается сама проблема символизации как существенной функции сознания в духе известного труда Э. Кассирера «Philosophie der symbolischen Formen» (Bd. I—III), а также те следствия, которые вытекают из этого при анализе конкретных культур, и 14 статей, в центре каждой из которых находится растительная и животная символика в литовской народной традиции.

Сборник состоит из трех разделов. Первый посвящен изучению символической связи между культурой и природой. Он открывается статьей Ингриды Лейнасаре, посвященной пережиткам обряда инициации в латышской

народной традиции. К сожалению, это единственная статья, построенная на фактах латышской народной культуры и на материале ритуала. Представляется, что в серии «Sėnoves baltų kultūra» оба эти дефицита (других балтийских традиций и обрядового материала) могли бы быть без особенного труда восполнены. Непонятно, почему в дефиците оказались и авторы мужского пола: их всего двое. Обращение к латвийским коллегам и другим специалистам, занимающимся подобными темами, с приглашением к участию в разработке соответствующей тематики было бы разумной инициативой. Что же касается недостаточного использования обрядовой практики, то это несомненная недооценка того факта, что сильное, можно было бы сказать, «горячее» место символизации это ритуал, в котором как раз и происходит мотивация символов в составе целого обрядового действа. В этом же первом разделе привлекает внимание статья Э. Усачёвайте, посвященная одному из важнейших концептов традиционной народной культуры — росту-возрастанию, значение которого трудно переоценить, и занимающая чуть ли не треть всего выпуска. Полезна и статья Э. Патеюнене о растительной и животной символике в старинной латиноязычной литературе XVI—XVII вв.

Второй раздел открывается статьей Ниёле Лауринкене о дубе как дереве Перкунаса. За нею следуют статьи Регины Меркене о растениях в эмоциональном восприятии литовцев минувшего века, далее размещаются статьи Броне Стунджене о своеобразии символики деревьев в народных песнях, Брониславы Кербелите о раганах, едущих рвать горох, Терезы Юркувене о мотиве лилии в литовских народных текстильных изделиях, Але Почюлпайте о растительном мотиве в народном изобразительном искусстве, наконец, Сигитаса Ренчиса — о растительных символах в современной литовской лирике.

В третьем разделе — четыре статьи, связанные с животной символикой: Регины Волкайте-Куликаускене — о «конских кладбищах» и их символах в старых литовских погребениях, Витаутаса Мажюлиса — заметка об этимологии литовского обозначения медведя, Лидии Невской — о пестроте как атрибуте хтонических животных и, наконец, Дайвы Рачюнайте-Вичинене — о птичьей символике в сутартине, «сговорных» многоголосных песнях в литовской традиции, связанных с брачным обрядом.

Как видно из этого перечисления состава аннотируемого выпуска, его состав и тематика многообразны и вместе с тем достаточно цельны, поскольку во всех статьях скрепляющим обручем выступает животная и растительная символика. С известным сожалением приходится констатировать отсутствие собственно языкового материала при рассмотрении этой символики — самих языковых обозначений этой символики, этимологии соответствующих слов, фразеологизмов, в состав которых они входят, более

широких контекстов и внутриконтекстных связей ключевых слов. Тем не менее в полезности аннотируемого выпуска сомневаться не приходится. И поэтому остается приветствовать продолжение этой серии и ждать новых ее выпусков.

Из других работ по мифологии уместно отметить книгу «of Gods & Holidays. The Baltic Heritage», изданную Йонасом Тринкунасом (1999). После предисловия в книге находятся три статьи вводного характера: «Religion and Mythology of the Balts» (M. Gimbutas), «Mythology and Religion of the Early Lithuanians» (N. Vėlius), « Religious Reforms of the Balts» (G. Beresnevičius). Далее следуют 11 статей, посвященных отдельным божествам, чем и исчерпывается собственно мифологическая часть. Пожалуй, более интересен раздел о праздниках, соответственно — ритуалах. Существен также раздел «The Living Heritage», в котором говорится о Ромуве (A. Dundzila, J. Trinkūnas), о Диевтурибе (J. Tupesis), о лирическом и эпическом в латышской и финской поэзии (V. Viķe-Freiberga). В целом книга носит популярный характер, но может быть использована как введение в проблематику балтийской, прежде всего литовской, мифологии.

В области фольклористики надо отметить новое издание сказок и сказаний, собранных в свое время Йонасом Басанавичюсом («Ožkabalių pasakos ir sakmės». Vilnius, 2001).

В области прикладного искусства событием является выход в свет весьма основательной книги С. И. Рыжаковой «Язык орнамента в латышской культуре». Она представляет собою историко-этнографическое исследование народного латышского орнамента как своего рода я з ы к а культуры. Помимо глав, посвященных историографии изучения латышского орнамента и классификации латышских графических систем и народного орнамента, работа состоит из трех основных глав: Глава 1. Словарь латышского орнамента (основное место здесь занимает словарь латышских орнаментальных знаков, 16 статей); Глава 2. «Грамматика» латышского орнамента (синтаксис орнаментальных композиций); Глава 3. Мир латышского орнамента (Raksts, орнамент, узор, в латышской народной культуре, народная терминология узоров, символика числа, цвета, орнаментированных предметов, латышский орнамент в современном искусстве Латвии), после чего следуют заключение, список источников и приложения.

Книга написана на высоком теоретическом уровне, весьма богата материалом и иллюстрациями. Если учесть труды Э. Усачёвайте по литовскому

народному орнаменту, то приходится признать, что орнаменту в балтийской народной культуре сильно повезло.

С недооценкой языковых данных, о чем уже говорилось выше, приходится сталкиваться и в более серьезных случаях, когда самим предметом исследования оказываются элементы языка. В этом контексте возникает необходимость сказать несколько слов о недавно вышедшей и весьма капитальной книге польского исследователя (судя по всему молодого) Збигнева Бабика, вышедшей в свет в Кракове в 2001 г. под названием «Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesno-średniowiecznych słowianszczyzny». Эта книга действительно большая (761 страница довольно большого формата) и во многих отношениях весьма полезная. К ней будут неоднократно обращаться исследователи, занимающиеся этой темой. Основную часть этого труда составляет с л о в а р ь (с. 95—630), разделенный автором на три части — 5.1. Najstarsza warstwa nazewnicza ziem polskich (с. 99—330), 5.2. Warstwa I/II (с. 331–338) и 5.3. Nazwy zweryfikowane negatywnie (с. 339—630).

В задачу пишущего эти строки (и являющегося объектом частой критики, иногда не без излишней лихости) входит только один вопрос, или проблема — п р и с у т с т в и е на территории польского государства от его западных границ до восточных, от Балтики до южных его границ б а л т и й с к о г о гидронимического (отчасти и топонимического) элемента. В последние десятилетия об этом присутствии писалось в ряде книг, прежде всего покойного Х. Гурновича и его учеников, и в десятках статей других ученых (H. Schall, W. P. Schmid, J. Nalepa, J. Udolph, W. R. Brauer, В. Э. Орел, В. Н. Топоров и др.). В книге З. Бабика в главе «Interpretacja etno-językowa» три раздела: 3.5.1. Nazwy germańskie (две страницы), 3.5.2. Nazwy bałtyckie (чуть больше одной страницы и условной карты с обозначением пяти названий в крайнем северо-восточном углу Польши) и 3.5.3. Nazwy inne (одна страница), после чего следует раздел, посвященный славизации древнейшего слоя названий польских земель. Сопоставление явно заниженного количества германских, особенно балтийских и иных названий, среди которых, как это обычно предполагается, могли быть и древнеталийские, и венетские, и иллирийские, и, возможно, некоторые другие с суперстратными славянскими названиями, сильно искажает и историческую (включая сюда и доисторическую), и лингвистическую картину этой части Европы. Только в прибалтийском поясе Польши (к югу от Балтийского моря) отмечаются многие десятки, если не сотни, очевидных балтизмов, отмеченных как в гидро- и топонимических словарях Г. Лейдинга, К. Цирхоффера, Р. Траутмана, С. Роспонда, в «Hydronimia Wisły» (под ред. П. Зволиньского), так и во многих других ис-

точниках. Но, вероятно, не менее важно, что архаичные балтизмы отмечены и на польско-чешском пограничье. Непонимание проблемы балтизмов в польских названиях вод, урочищ, населенных пунктов, отразившееся в труде З. Бабика, как и в трудах ряда других исследователей, существенным образом связано со своеобразным изоляционизмом, конкретнее, с установкой решать «славянскую» проблему так, как будто нет соответствующей «балтийской» проблемы или от ее решения ничего не зависит в решении «славянской» проблемы. Хотелось бы задать вопрос автору книги: что делать с множеством балтизмов, относящихся к разным эпохам и разным частям Польши, когда известны племенные названия балтийских племен на рубеже нашей эры и эры, ей предшествующей, когда распространение прапольского, точнее, одной ветви праславянского этноса, соответственно — языка, еще не достигло Балтики?

Новое обретение государственной независимости балтийскими странами ставит перед Россией новые проблемы. Хотя восстановление независимости происходило в борьбе народов балтийских стран, нужно все-таки помнить и о том, что в решающий момент высшая власть России (формально — СССР) согласилась (или вынуждена была согласиться) с отделением балтийских стран. Сделав этот важный шаг, по русскому обычаю, обновляющаяся Россия не преминула упустить драгоценное время, и власть, создается впечатление, больше устраивала конфронтационная политика или, точнее, нежелание и неумение взять инициативу в свои руки, принести свои извинения за оккупацию (или хотя бы не отнимать у этих стран некоторые части их территории), наконец, помочь этим странам хотя бы в той ограниченной степени, которая еще была доступна.

Больше чем десятилетие было потеряно даром, точнее — бездарно, а некоторые робкие шаги, которые замедленно делаются в направлении стабилизации ситуации, тем более к решительному повороту в сторону сначала цивилизованного соседства и духа благоприятствования, а потом и к созданию атмосферы благоприятствования и симпатии, явно все более и более запаздывают и способствуют еще большему отъединению, хотя Россию и балтийские страны объединяют многие общие и взаимовыгодные интересы.

Сейчас проблемы обостряются и в связи с ситуацией в так называемой Калининградской области, будущее которой вызывает глубокое беспокойство, более того — тревогу. Эта проблема должна быть решена по справедливости. Ситуация с этим анклавом весьма неблагополучна, происходит загнивание, распространяющееся на самые разные области жизни. Вместе с тем в сознании русского населения области за почти шестидесятилетнее пребывание здесь все более формируется стремление обрести здесь и теперь какую-то опору — как материально-экономическую, так и ду-

ховно-нравственную и культурную, обрести свою историю, восстановить то культурно-историческое целое, которое пока остается неосуществимым. Тревога за судьбу этого восточнопрусского ареала охватывает и население его, а возможно, и власти, похоже, не знающие, ч т о́ именно надо делать, но отдающие себе отчет в лице лучших ее представителей, что делать определенно что-то надо, но что именно, остается ей, кажется, неизвестным. Вместе с тем многие из тех, для кого «карикатурная» Калининградская область стала уже родиной, догадываются об их несоответствии исторической и культурной судьбе этого края. Такие именно люди пытаются обрести свои корни в прошлом этой земли. Чуждый им Калининград они уже называют Кенигсбергом, с удовлетворением узнают о прошлом этой земли, о том, чем она была знаменита некогда и чем они сейчас могли бы гордиться почти как своим, потому что само это чувство с в о й с т в а́, становящегося естественным, дает новые основания считать себя людьми «места сего», наследниками его истории, готовыми стать строителями его будущего. Они как раз и ищут новую свою идентичность, не зная чаще всего ни где, ни как можно ее обрести.

Общая ситуация оказалась столь запутанной, что разрешение ее справедливым и благоприятным образом может быть достигнуто при выработке четкой и многосторонне продуманной программы. По-видимому, час ответственных решений наступает. И дело сейчас именно в программе и в доброй воле.

В свое время одна из комиссий Верховного Совета последнего созыва обратилась к автору этих слов с рядом вопросов, общий смысл которых заключался в желании знать, что делать с Калининградской областью. Возможно, понимание «анклавного» положения Калининграда кого-то наверху смущало. И тогда, и тем более теперь наиболее разумным решением, казалось бы, было признание за этим восточнопрусским локусом статуса свободной территории, на которую имели бы историческое право Германия, Литва, Польша и Россия, и именно в этом порядке. Если бы история пошла по иному сценарию, то преимущественное право было бы у Пруссии, стране обитания целого ряда прусских племен и западно-литовского населения Малой Литвы. При предлагаемом решении вопроса перечисленные четыре «ответственные» страны выступили бы как гаранты мирного и благополучного жизнеустройства этого демилитаризованного и подлежащего благоустройству, восстановлению и охране культурных исторических ценностей. Как известно, современная объединенная Европа началась с Бенилюкса, объединения трех малых стран — Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, после чего идея объединенного сверхгосударства или тесной ассоциации государств стала профилирующей. Несомненно, что «восточный» вариант объединительной тенденции мог бы осуществиться и в Восточной Пруссии с ее центром в Кенигсберге.

Первым же шагом этой ассоциации, имевшим бы большое значение — как символическое, так и вполне реальное, — должно было бы быть п е р е и м е н о в а н и е, т. е. восстановление исходных исторических имен городам, поселениям, деревням, иначе говоря, ликвидация последствий страшной античеловеческой топономастической катастрофы, совершившейся в Калининградской области после оккупации ее в 1945 г. и погрузившей это пространство и населяющих его людей в историческое беспамятство. Если бы такая программа была принята, надо думать, что нашлись бы и возможности финансовой поддержки этих инициатив со стороны международных фондов. Начиная, казалось бы, с малого и по видимости второстепенного, Восточная Пруссия могла бы оказаться тем полигоном, на котором при доброй воле могла бы быть выработана стратегия движения навстречу друг другу народов, имеющих историческое право на эту территорию, — немцев, литовцев, поляков (теперь отчасти и русских), обязанных среди прочего возрождать и хранить память о своих далеких предшественниках в *месте сем* — о п р у с с а х (в частности, и развивая имеющиеся уже опыты возрождения прусского языка в его «новопрусском» варианте, ср. замечательные опыты Л. Палмайтиса).

Здесь уместно привести слова из названной выше статьи И. Лукшайте. Она — и о Преториусе, и о круге родственно и/или исторически связанных народов и культур этого ареала:

> Gimęs Klaipėdoje, studijavęs pajūrio universitetuose Karaliaučiuje ir Rostoke, gyvenęs Prūsijos kunigaikštystėje, gyvenimo pabaigoje emigravęs į tuo metu Lenkijos valdomą Pomeraniją, Pretorijus mirė Kašubų pakrantės lygumoje, perpučiamoje Baltijos vėjų. Jo gyvenimo kelionė nuo Klaipėdos per Nybudžius iki jau kairiajame Vyslos krante esančio Veiheravo XVIIa. antrojoje pusėje kirto kelių valstybių sienas, vyko daugelio tautų (lietuvių, vokiečių, kuršininkų, prūsų, kašubų, lenkų) kultūrų terpėje.
>
> ʽПреториус родился в Клайпеде, учился в приморских университетах Кенигсберга и Ростока, жил в Прусском королевстве, в конце жизни эмигрировал в Померанию, которая в то время принадлежала Польше, а умер в кашубской долине, продуваемой балтийскими ветрами. Его жизненный путь пролег от Клайпеды через Нибуджяй до Вейхерава (находящегося) на левом берегу Вислы, во второй половине XVII в. он пересекал границы нескольких государств, был погружен в культурную среду множества народов (литовцев, немцев, куршей, пруссов, кашубов, поляков)ʼ (Op. cit. 9).

Представленные выше соображения отражают некоторые более общие тенденции в формировании отношений нового типа между Россией и странами Прибалтики. В предисловии к сборнику «Россия и Балтия. Народы и

страны. Вторая половина XIX — 30-е гг. XX в.» (М., 2000), в котором участвуют как российские специалисты, так и их коллеги из Латвии и Литвы, А. О. Чубарьян пишет: «Разумеется, публикуемые в сборнике статьи не претендуют на всестороннее освещение рассматриваемых проблем. Они могут лишь в некоторой степени восполнить пробелы в историографии и определить круг вопросов, требующих дальнейшего изучения. Хотелось бы надеяться, что выход в свет данного сборника заинтересует специалистов по отечественной истории, а также не будет обойден вниманием и учеными стран Балтии. Вполне вероятно, что некоторые выводы, изложенные в статьях, вызовут возражения у ряда исследователей. Однако возможная в этом случае конструктивная дискуссия была бы полезна и для более плодотворного изучения российско-прибалтийской истории, и для налаживания сотрудничества историков России и Балтии» (с. 4).

Сам этот сборник преимущественно посвящен разным аспектам российско-латышских связей в области музыки, изобразительного искусства, положения латышской интеллигенции в России во второй половине XIX в., роли балтийских провинций как транзитной территории в экономических связях России с Европой, участию латышей в военных формированиях белых во время Гражданской войны и т. п. Несомненный интерес представляет статья Х. Стродса «Начало переселения латышских крестьян в Россию в 40—60-е гг. XIX в.», в которой, в частности, сообщается, что с 1850 г. до начала XX в. из Латвии в Россию переселилось около 300 тыс. человек (15,5%), см. Konversācijas vārdnīca. Rīga, 1911, 2327 lpp. Сто́ит отметить также статьи Е. Л. Назаровой о латышской интеллигенции в России (к проблеме самосознания нетитульной нации в многонациональном государстве) и И. А. Кукушкиной «Литва и Россия. 1920» и др.

Лучшим примером персонифицированной русско-литовской связи, является, конечно, Юргис Балтрушайтис, о котором в этой функции вышел в Вильнюсе в 1999 г. сборник статей под названием «Jurgis Baltrušaitis: poetas, vertėjas, diplomatas», в котором приняли участие как литовские, так и российские авторы. Хочется надеяться, что долг памяти Балтрушайтиса будет оплачен русской культурой полностью.

Еще о двух книгах, вышедших в 2002 г., сто́ит сказать особо. Их объединяет не только дата выхода в свет, но и непосредственная прикосновенность их к истории. В одном случае к давней, в другом случае — к недавней и, к счастью, еще продолжающейся, живой.

В п е р в о м случае речь идет о вышедшей в серии «Древнейшие источники по истории Восточной Европы» весьма основательной и необходимой

книге В. И. Матузовой и Е. Л. Назаровой «Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г. Тексты. Перевод. Комментарий» (М., 2002). Книга состоит из введения, текста «Крестоносцы в Восточной Европе: Крестовые походы в Прибалтику как проблема современной историографии (по материалам зарубежных исследований)», двух основных частей: I. Крестоносцы на Востоке Балтии, II. Крестоносцы и Галицко-Волынская Русь, а также Приложения — «Галицко-Волынская Русь и Тевтонский орден на страницах “Летописца Даниила Галицкого”», библиографии, указателей. Особый интерес представляют источники, приводимые на языке оригинала и в русском переводе, — «Хроника Ливонии» Генриха, «Ливонская “Старшая” рифмованная хроника», актовый материал, представленный многочисленными документами — жалованными грамотами, посланиями, грамотами, летописными фрагментами, относящимися, в частности, к походам на ятвягов с 1248 до 1256 г. Книга выполнена на высоком исследовательском уровне и синтезирует все относящееся к ее теме.

Во втором случае имеется в виду книга Изидорюса Шимелёниса «Vilnija šimtmečio verpetuose» (Vilnius, 2002) — «Вильния в водоворотах столетия», своеобразная «Одиссея» человека, прошедшего через все исторические испытания XX в. и сохранившего «душу живу», всё запомнившего и точно и увлекательно рассказавшего про три эпохи своей жизни — до, после и том страшном между, которое, однако, не сломило его. Сейчас многие предаются в Литве воспоминаниям, и все они в том или ином отношении интересны и достойны пристального внимания, но мемуары Шимелёниса — классика жанра в силу своей эпичности, широкого охвата жизни, той подлинности, которая не нуждается ни в комментариях, ни даже в доказательствах. Толстый том в четыре сотни страниц читается легко, как бы заманивая читателя в ту жизнь, которая в нем описывается. И не только легко, но и с живым интересом, потому что перед нами не просто воспоминания, но и ожившие переживания и всего светлого и радостного, но и мрачного, горького, страшного, и читателю трудно не сопереживать автору, ведущему его от почти сказочной страны Вильнии через двойную оккупацию, войну, Воркуту, счастливое освобождение, возвращение на родину — вплоть до книги, которая лежит перед тобой.

Судьба свела автора этих строк с Изидорюсом Шимелёнисом много лет назад, и наши встречи были и в Москве, и в Вильнюсе, и в Пелясе, где несколько сотрудников Института славяноведения изучали говор Пелясы, записывали тексты, подготавливая их публикацию. Эту встречу, происходившую в драматических условиях, когда местное районное начальство (Вороново, Белоруссия), заподозрив, что среди нас находится травимый тогда академик Сахаров, нагрянуло в воскресный день и учинило членам экспедиции при-

страстную и грубую проверку, в разгар которой совершенно случайно в Пелясу приехал Шимелёнис, выходец из этих мест, и мужественно защищал членов экспедиции. Об этом эпизоде подробно рассказывается в его книге (с. 361—365).

К мемуарному жанру относится по сути дела и объемистая (в 520 страниц) книга выдающегося литовского лингвиста Зигмаса Зинкявичюса, ориентированная в основном на лингвистику в охвате с 40-х гг. по конец минувшего века. Отсюда и название книги — «Prie lituanistikos židinio» (Vilnius, 1999). Вместе с тем это не только и не столько мемуары, сколько история литуанистики более чем за полвека, в течение которого, несмотря на чрезвычайно трудные условия, особенно в начале, литуанистика в Литве добилась очень больших успехов, расширила свои горизонты, создала значительное количество важнейших трудов, далеко уйдя от уровня довоенной литуанистики, лидерами которой были такие выдающиеся ученые, как Герулис, Скарджюс, Салис, Йоникас и др. Оценка Зинкявичюсом этого славного пути «литовской» литуанистики приобретает тем большую цену, что сам автор книги, несомненно, занимал первенствующее место среди литуанистов не только в Литве, но и в мировой литуанистике. Кроме того, необходимо отметить мужественное поведение Зинкявичюса и его нравственную позицию во все эти трудные десятилетия, его зоркий взгляд, абсолютную трезвость и ту степень независимости, которая затрудняла ему профессиональную карьеру. Естественно, что в его книге не только личное, но и общественное, не только литуанистика, но и вся та атмосфера, угнетавшая людей и висевшая над ними дамокловым мечом. В расширительном смысле книга Зинкявичюса — специализированное введение в историю Литвы послевоенного времени, которую с интересом прочтут не только лингвисты (сто́ит упомянуть и о книге Зинкявичюса, относящейся к совсем недавнему времени — «Kaip aš buvau ministru» (Kaunas, 1998)).

Также с интересом прочтут читатели (и отчасти по тем же причинам) книгу Уллы Лахауэр «Paradiesstraße. Lebenserinnerungen der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit» (Hamburg, 1996), только что вышедшую в русском переводе С. Шлапоберской — «Райская улица. Воспоминания Лены Григоляйт, крестьянки из Восточной Пруссии» (М., 2003). В этой книге, как и в воспоминаниях Шимелёниса, счастливое д о (детство и юность) и относительно благополучное п о с л е (предстарость и старость), разъединенные страшным м е ж д у — войной, которая осложнялась дополнительно и той спецификой ситуации в Восточной Пруссии, точнее — в Мемельском (Клайпедском) крае, где уже задолго до войны усиленно происходил процесс онемечения (германизации) литовского населения этих мест. И это само по себе бросало мрач-

ную тень на положение и особенно сознание людей, вынуждаемых менять свой язык, а отчасти и свой статус. О том, насколько далеко зашел процесс онемечения, можно судить по собранию текстов, собранных в томе VII «Tautosakos darbai» (Kaunas, 1940) и вышедших под названием « Klaipėdiškių lietuvių tautosaka» (red. J. Balys).

Можно сказать, что Лене Григоляйт, простой крестьянке из Восточной Пруссии, повезло, несмотря на все потрясения, на распад традиционного уклада жизни, на войну, на последующую депортацию в Сибирь, где «холод пожирает человека. Холод — это худшее, что есть в Сибири. Стужа до того сурова, что термометры лопаются. Вначале я почти не могла дышать из-за восточного ветра. Мне казалось, что дыхание у меня замерзло» (с. 82), на смерть близких людей. Повезло Лене, потому что все-таки в конце концов она вернулась из Сибири хотя и оказалась в 1958 г. в Биттенене единственной, кто жил здесь до войны. Муж и отец умерли. Дочери разъехались, хотя и приезжали к матери по воскресеньям. Повезло, потому что слушала «Немецкую волну», побывала в Германии, не утратила своей удивительной воли к жизни и, потеряв столь многое и столь дорогое, понимала, что надо делать: *А ничего… живи*. И жила, пока были силы. Но повезло не только самой Лене Григоляйт, но и ее читателям. Известная немецкая писательница Улла Лахауэр успела записать воспоминания Лены и издать их. «Лена же Григоляйт умерла в Клайпеде 22 апреля 1995 года. Похоронили ее 25 апреля на Рамбинусе». От нее остались записи ее рассказов, занимающие более полутора тысяч страниц.

Эта тяга мысленно вернуться к страшному полувеку несвободы и как бы вторично пережить его — диагностически важный и даже необходимый феномен, залог подлинного вхождения в пространство свободы и возрождения.

* * *

Когда этот том «Балто-славянских исследований» сдавался в печать, автору настоящего обзора удалось познакомиться с двумя книгами ветерана литуанистики, продолжающего идти первым в строю, Зигмаса Зинкявичюса. Речь идет о двух томах избранных статей — «Rinktiniai straipsniai» (2002). Том I — 645 страниц книги большого формата. Том II — 623 страницы. В этих томах собраны практически все статьи — от небольших заметок до обстоятельных статей-исследований, написанных выдающимся лингвистом за последние полвека. Остается выразить глубокую признательность автору за публикацию этих текстов, разбросанных часто по многим, иногда редким и труднодоступным изданиям. Тематика статей, собранных в этих двух томах, отражает все многообразие интересов автора в литуанистике и — шире — в балтистике.

В 2000 г. в Вильнюсе вышла в свет еще одна книга З. Зинкявичюса — «Lietuvių poteriai. Kalbos mokslo studija», посвященная почти неисследованной проблеме происхождения и развития особого класса молитвенных текстов (poteriai). Объектами исследования являются благословение (žegnonė) и четыре молитвы — Tėve mūsų…, Sveika Marija…, Символ Веры Tikiu Dievą Tėvą и славословие Святой Троице — Garbė Dievui Tėvui… В книге прослеживается вся история существования этих молитв от начала крещения в Литве, реально же от времен Миндаугаса, до настоящего времени, рассматриваются вопросы, связанные с конкретными источниками этих молитв, с их языком. И все это — на широком историческом, религиозном, общекультурном фоне. Особенно поучительна часть, посвященная текстам наиболее рано записанных молитв.

* * *

В 2003 г. в Резекне вышла книга, представляющая собой крупнейшее явление в латгалистике, — «Latgale: valoda, literatūra, folklora», подготовленная Я. Курсите и А. Стафецка. Книга весьма основательна (380 с). В ней собраны тексты на латгальскую тему с ранних времен до сегодняшнего дня, принадлежащие разным и многим авторам. Можно с надеждой сказать — после ухода из жизни О. Брейдака эстафета передана в надежные руки следующему поколению. См. подробнее об этой книге в следующем выпуске «Балто-славянских исследований».

2004

К ВЫХОДУ В СВЕТ БОЛЬШОГО «СЛОВАРЯ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА»

21 мая 2002 г. к печати был подписан последний двадцатый том фундаментальнейшего лексикографического труда, выход которого в свет должен быть признан актом великого подвижничества на ниве литовского языка во имя **литовского слова**, литовской культуры, литовского народа, Литвы и событием, выходящим далеко за пределы pax lithuana. 6—7 июня 2002 г. в Вильнюсе в Центре лексикографии Института литовского языка состоялась научная конференция на тему «Проблемы лексикографии и лексикологии», посвященная столетию со дня рождения одного из выдающихся литовских лингвистов Антанаса Салиса и завершению академического словаря «Lietuvių kalbos žodynas».

Нужно сразу же отметить, что лексикографического труда такого масштаба н е т во многих странах, где соответствующая традиция началась существенно раньше, где количество источников словаря (как письменных, засвидетельствованных в старых текстах, так и записанных в диалектологических экспедициях) своим обилием существенно превосходит то, что имели в своем распоряжении составители этого словаря, которые, к чести их, сумели выжать из имеющихся источников все, что можно, где, наконец, количество говорящих на «своем» языке пользователей и «производителей слов» несравненно больше, что, естественно, открывает более широкие возможности для лексикографического поиска.

Словарь окончен, и все двадцать томов его стоят на полках на расстоянии протянутой руки. Хочется сказать «конец — делу венец» и, спохватившись, вспомнить, что пока жив народ, пока он не утратил свой язык и, более того, в труднейших испытаниях сумел сохранить его, профессия лексикографа и лексиколога неотменима. Но если фразу о венце дела можно и по-

придержать, помня об ее условности, то снять шапку и низко поклониться людям, создавшим этот неподъемный и в прямом и в переносном смыслах труд, — самое время. Память о них неистребима, и сейчас представляется уместным, вспомнив древнеегипетские надписи о строителях пирамид, привести лишь некоторые количественные данные о творцах словаря и самом их творении.

Словарь огромен, и общий объем его 20 томов средне-большого формата (23,5 × 16,2 см) существенно превышает 20 000 страниц (!). Более половины томов превышают 1000 страниц, ср. тт. I — 1230 с., XII — 1220, II и XVII — по 1187 с., XX — 1158, IX — 1107, VI — 1106, XIV — 1100, XVII — 1079, XIII — 1067; VII — 1040, V — 1008 и т. д. Самый короткий том IV — 448 с. В собирании материала для «Словаря» участвовало 457 сотрудников, в писании словарных статей — 69, в редактировании — 23.

Как и многие великие свершения, «Lietuvių kalbos žodynas» (LKŽ) образует столь объемное и сложное целое, которое больше, чем сумма словарных статей, составляющих его, и живет уже и своей самостоятельной жизнью, храня, однако, память о всех тех, кто помогал ему воплотить гений литовского языка, самое *идею* его в дело, в творение. Когда речь идет о таких больших событиях, в которых оказываются друг с другом навечно связанными творцы и их творение, уместно говорить об объединяющем их событии — *встрече*, к которой идут не только творцы, но и предшествующее им во времени творение — сам литовский язык, уже существующий, но как бы сознающий некую неполноту своего исключительно устного существования и жаждущий воплощения в *письменную* форму, и не только в виде текстов на этом языке, но и в *словарном* тексте, где, как на параде, по порядку выстраиваются все слова, чтобы всё видеть вокруг себя и чтобы их видели все, кто нуждается в них, пользуется ими и продолжает дело их творения.

Хотя литовская лексикографическая традиция относительно молода, как, впрочем, и сама письменность на литовском языке, нельзя забывать о ее достижениях, начиная с 20—40-х гг. XVII в. Если перечислить лишь некоторые вехи на этом четырехвековом пути, то нужно напомнить о появившемся в Вильнюсе в 1642 г. «Dictionarium trium linguarum» (повторные издания 1677, 1713 и 1979 гг.), «Wörterbuch der litauischen Sprache» I. Teil, изданный Ф. Куршатом в 1870 г. в Галле, его же «Litauisch-Deutsches Wörterbuch», Halle, 1883, ср. позже — «Litauisch-Deutsches Wörterbuch-Thesaurus linguae Lituanicae», 1—4. Göttingen, 1968—1973, «Литовский словарь» А. Юшкевича (Юшки), СПб., 1897, 1922, «Wörterbuch der litauischen Schriftsprache», 1—5. Heidelberg, 1932—1968, не говоря уж о более поздних опытах в области литовской лексикографии, включая и диалектную.

В истории создания «Lietuvių kalbos žodynas», охватывающей шесть десятилетий (1941—2002), было много разного — и творческих достижений, и радостей, формирование сильного по своему составу коллектива словарников, и драматических ситуаций, когда казалось, что работа над словарем может быть прервана вмешательством чуждых сил, и своего рода мистики. Одним из проявлений ее можно считать «круглость» времени, отпущенного для работы над словарем — ровно век, не больше, не меньше. Можно напомнить, что за век до выхода в свет завершающего 20-го тома словаря К. Буга сделал следующую запись: «Nuo 1902 m. gegužės — birželio mėnesio… pradedu žodyno medžiagą rašyti nebe sąsiuviniais bet kortelėmis» (K. *Būga.* Rinktiniai raštai. III. 13). Идея создания «большого» литовского словаря жила в сознании выдающихся представителей литовской гуманитарной интеллигенции, которые (как Й. Яблонскис и А. Вирелюнас) поспешили передать Буге, узнав о его намерениях, несколько тысяч карточек из своих картотек. Так или иначе сам Буга, несмотря на неблагоприятные условия — Первая мировая война, эвакуация вглубь России, ухудшающееся здоровье и т. п., — написал около 150 000 карточек и с 1923 г. начал писать текст словаря, ср. первые две тетради «Lietuvių kalbos žodynas». I sąsiuvinis. Kaunas, 1924; II sąsiuvinis, 1925. В 1924 г. Буга умирает, и так широко задуманное дело оказывается перед угрозой прекращения. Но судьба проявила свою благосклонность к будущему словарю.

В 1930 г. вéдение картотекой и ведéние всего, что необходимо для подготовки словаря, переходит в руки Юозаса Бальчикониса, который и хорошо понимал цели составления словаря, и обладал достаточной практичностью, не говоря уж о преданности избранному делу. Уладив финансово-бюджетные вопросы, Бальчиконис создал обширную сеть информантов из разных мест Литвы, почти изо всех парафий — всего 857. Учет самого фактора распространения слов, чаще всего игнорировавшийся в предыдущих словарях литовского языка, был ранним откликом на идеи и первые достижения незадолго до этого возникшей лингвистической географии. К сбору словарного материала привлекались и студенты университета (в частности, и Вильнюсского) и преподаватели его. В заметке В. Виткаускаса в конце 20-го тома LKŽ указывается, что за 60 лет работы над словарем количество собирателей составляло несколько тысяч. Этот словарь был поистине народным делом — и потому что народ собирал материал для него, и потому что он был посвящен в существенной своей части языку народа.

Том I LKŽ вышел из печати осенью 1941 г., во время немецкой оккупации. В нем было 1008 страниц. В переиздании этого тома в 1968 г. том состоял из 1230 страниц, не говоря о некоторых изменениях, вызванных критикой ряда деталей в варианте 1941 г. со стороны непрофессионалов. Подготов-

ленный во время войны том II LKŽ был издан только в 1947 г.: он также вызвал нападки и также был переиздан в 1969 г. (его объем — 1187 страниц по сравнению с первым изданием этого тома, где он насчитывал 851 страницу). Неприятности с изданием словаря вызвали изменения в инструкции, которой руководствовались при издании I и II томов LKŽ, отставку Бальчикониса с места редактора словаря (по существу, главного), учреждение редакционной коллегии в составе Й. Круопаса, Й. Кабелки, Б. Василите и К. Ульвидаса в качестве ответственного редактора (т. III LKŽ, в т. IV в редколлегию была введена З. Йоникайте). К. Ульвидас же оставался ответственным редактором и в томах IV и V LKŽ. В качестве главного редактора выступал он в томах XI—XVI. В дальнейших томах постепенно менялся и состав редколлегии, а ответственным редактором в томах VI—X LKŽ был Й. Круопас. Главным редактором заключительных четырех томов LKŽ (XVII—XX) стал В. Виткаускас, приведший этот гигантский словарь к благополучному финишу.

Всем, кто положил начало этой подвижнической работе, определял концепцию словаря и руководил подготовкой томов, авторам статей, рядовым сотрудникам, энтузиастам-собирателям, принадлежащим к самым разным слоям литовского населения, всем сочувственникам этого подвига во славу литовского слова, литовского языка, литовской культуры — всем им низкий поклон и глубокая благодарность. *Aere perennius*... можно сказать и об этом словаре. По слову Бальчикониса, «žodino darbas yra be galo, amžinas». Эта вечная работа не должна кончаться. Время подводить итоги всей словарной работы и думать о новых ее этапах. Говорить о достоинствах словаря здесь и сейчас излишне. Говорить о его недостатках (а они, конечно, есть, хотя и нередко преодолевались в ходе продвижения словаря к финалу) и разбираться в том, кто виноват в них, было бы проявлением непонимания соотношения общего и великого, с одной стороны, и частного и «не всегда лучшего», с другой, более того, было бы неуместным введением «какофонического» элемента в праздник литовского **Слова**.

Завершение словаря LKŽ — событие эпохального значения, и, созданный литовскими учеными, он знаменует достижение весьма высокого уровня гуманитарных исследований в Литве. Но словарь нужен не только литовцам и в Литве. Острейшую заинтересованность в нем испытывают и все литуанисты и балтисты, живущие и работающие вне Литвы: с выходом LKŽ их исследовательские возможности многократно увеличиваются. Мы иногда забываем об исторической перспективе развития литуанистики и балтистики как в Литве, так и вне ее. Оглядываясь назад, мы удостоверяемся, что сейчас на порубежье двух веков (кстати, и тысячелетий) количество профессиональных

специалистов, работающих в этих областях, увеличилось по сравнению с периодом между двумя мировыми войнами — и в балтоязычных странах, и вне их — по меньшей мере десятикратно (если не больше). LKŽ, несомненно, еще больше увеличит это соотношение. Значение этого словаря, может быть, особенно хорошо понимают специалисты-балтисты, живущие вне Литвы и благодарные своим литовским коллегам за этот удивительно щедрый дар. Автор этой заметки — один из многих. Поэтому да будет позволено в последних строках сказать, перейдя от большого и общего к малому и частному, о том, что можно было бы назвать «муками словаря», точнее, муками, связанными при изучении литовского языка (впрочем, и других) с труднодоступностью, а иногда и недоступностью нужных словарей в Москве второй половины 40-х гг. прошлого века.

С начала 1947 г. (кстати, когда в Литве отмечалось 400-летие выхода в свет первой печатной книги — «Катехизиса» Мажвидаса) профессор Московского университета Михаил Николаевич Петерсон объявил начальный курс санскрита. Вместе с несколькими моими друзьями я записался на этот курс. Пока мы проходили грамматику санскрита и читали отдельные фразы на санскрите из учебника Ф. И. Кнауэра, в котором был и краткий словарик к текстам, все шло ничего, но при чтении более сложных текстов мы оказывались в весьма сложном положении. Некоторый выход из него наметился благодаря чистой случайности. Мы узнали, что в магазине «Академкнига» на Тверской, буквально в двух шагах от университета, сохранился запас не распроданного с конца XIX в. знаменитого семитомного словаря О. Бётлинга («Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, bearbeitet von Otto Böhtlingk». Th. 1—7. SPb., 1879—1889), продававшегося почти задаром, по пять рублей за часть. Для нас это было как манна с небес, хотя наших познаний в немецком языке было недостаточно. Так или иначе, в трудных борениях с немецким мы вскоре в достаточной степени освоили его, и словарь Бётлинга открыл нам двери в санскритские тексты. Должно заметить, что там же были приобретены и некоторые тома того же словаря в сильно расширенном варианте, обозначаемого обычно как Большой Петербургский словарь санскрита О. Бётлинга и Р. Рота. Но пользоваться им приходилось крайне редко из-за разрозненности томов словаря.

В начале следующего 1948 г. М. Н. Петерсон объявил курс литовского языка примерно с тем же составом участников. Читались литовские народные сказки по книге: *A.* Schleicher. Litauisches Lesebuch und Glossar. Prag, 1857. И в этом случае мы поняли, что без немецкого языка как посредника, на этот раз для общения с литовскими текстами, не обойтись. Но и здесь судьба была благосклонна к нам — и именно в нужный момент, когда началось чтение более сложных текстов. Однажды Михаил Николаевич принес нам на занятия

несколько экземпляров «Краткого литовско-русского словаря» Б. Серейскиса (1948). Эта «краткость» (apie 35 000 žodžių) нас долгое время устраивала. Очень кстати оказался и русско-литовский словарик (около 15 000 слов), составленный С. Я. Розеном под ред. Б. А. Ларина (1941) и залежавшийся в одном из книжных магазинов на Кузнецком мосту, где он и был куплен мною еще в 1947 г. Но аппетит приходит во время еды, и вскоре в букинистическом магазине удалось приобрести литовский словарь А. Юшкевича (Юшки), но только выпуск третий (тома 2-го, вып. 1).

«Словарный» голод был утолен (или, точнее, утолялся), начиная с первого приезда в Литву, в Каунасе — в букинистическом магазине на углу Лайсвес Алее и перпендикулярной к ней улицы и в таком же магазинчике в Вильнюсе, около монастыря Доминиканцев. Насколько помнится, в первый приезд было два важных словарных приобретения — «Литовско-русский словарь» Б. Серейскиса (Kaunas, 1933) и «Rusų-lietuvių žodynas» Й. Баронаса (Kaunas, 1933). Недостатки первого словаря компенсировались вторым словарем, о чем и сообщалось на его титульном листе (Antras naujai paraљytas kiriiuotas leidimas). В один из следующих приездов был приобретен «Dabartinės lietuvių kalbos žodynas» (Vilnius, 1954), ответственным редактором которого был Й. Круопас, а в редакционную коллегию входили Ю. Бальчиконис, Й. Кабелка, А. Либерис, К. Ульвидас и др. Это был довольно большой (около 45 000 слов) словарь, выполненный на достаточно высоком и современном уровне, и он был для меня два — два с половиной десятилетия основным источником по литовской лексикографии, пока не появился несколько более полный (около 50 000 слов) словарь А. Либериса — «Lietuvių-rusų kalbų žodynas» (1971), ставший основным «подручным» словарем. Лишь по мере выхода томов LKŽ этот словарь начинал постепенно отступать в тень, и обращаться к нему приходилось все реже. Особую радость доставляло приобретение ряда редких (в частности, и специализированных) словарных изданий. Среди них выделю «Dictionarium trium lingvarum» Ширвида издания 1713 г. и «Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje» (1941). Эти, как и некоторые другие книжные приобретения, происходили, естественно, не в самих букинистических магазинах, но вне их и с соблюдением предельной осторожности.

Но инерция, рождаемая стремлением компенсировать дефицит, приводила в ряде случаев к избыточной запасливости, чаще всего не оправдывавшей себя (по крайней мере, в личном опыте автора этих строк). Очень незначительно и чаще всего случайно приходилось обращаться к «Lenkų-lietuvių kalbų žodynas» (1955) Ю. Талмантаса, к «Rusų-lietuvių kalbos žodynas» (1949, 2-е изд. — 1955; ср. фундаментальный «Rusų-lietuvių kalbų žodynas», изданный в 80-е гг.), к «Trumpas rusų-lietuvių kalbų žodynas» Х. Лемхенаса (1957), к

его же книжечке «Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei. Lietuviškieji skoliniai» (1970), тем более к «Trumpas rusiškai-lietuviškas techninis žodynas» (1949) А. Новодворскиса и др.

Зато особый интерес вызывали специализированные типы словарей, как, например, «Sinonimų žodynas» А. Либериса (1980) или «Lietuvių kalbos palyginimų žodynas», составленный К. Б. Восилите (1985), и замечательные труды А. Ванагаса — «Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas» (1981), не говоря о целом ряде других его трудов, связанных с гидронимией, и ценнейшем и превосходящем другие опыты в этой области двухтомном «Lietuvių pavardžių žodynas. A—K, L—Ž» (1985, 1989), руководителем которого был именно Ванагас. Нельзя было пройти и мимо более скромного опыта К. Кузавиниса и Б. Савукинаса «Lietuvių vardų etimologinis žodynas» (1987, 1994). А до всего этого приходилось с благодарностью пользоваться составленным рядом специалистов словариком «Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas» (Vilnius, 1963). Весьма ценной оказалась книга З. Зинкявичюса по литовской антропонимике на материале собственных имен XVII в. в Вильнюсе («Lietuvių antroponimika: Vilniaus lietuvių asmenvardžiu XVII a. pradžioje», 1977). Также полезным был итоговый труд литовской исследовательницы Ю. Лаучюте «Словарь балтизмов в славянских языках» (1982), нуждающийся, однако, в дополнениях и в его продолжении. В 80-х гг. появился в Литве фундаментальный «Rusų-lietuvių kalbų žodynas», в подготовке и издании которого принимал участие и уже упоминавшийся Х. Лемхенас.

С 70—80-х гг. лексикографическая сфера существенно расширяется за счет словарей старолитовских письменных текстов и диалектных словарей. Среди п е р в ы х нужно отметить появление словарей ключевых текстов, начиная с середины XVI в., существенно расширяющих наши знания исторического развития лексики литовского языка. В 1979 г. выходит «Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas Dictionarium trium linguarum», подготовленный коллективом во главе с А. Либерисом и воспроизводящий древнейший труд в области литовской лексикографии, появившийся около 1620 г. Лексикой Ширвидаса много занимался и К. Пакалка, начиная с его диссертации «Pirmasis lietuvių kalbos žodynas (Konstantino Širvydo “Dictionarium trium linguarum”, 1629)», легшей в основу ряда других статей этого автора. Не менее значим и ценен «Martyno Mažvydo raštų žodynas» (1996), составленный Д. Урбасом. В 1970 г. в «Lietuvių kalbos klausimai» (12) появилось написанное на основании диссертации исследование Й. Круопаса «1598 m. Merkelio Petkevičiaus katekizmo leksika». Этот же автор много занимался лексикографией на материале текстов целого ряда старых литовских писателей. В этой же области старолитовской лексикографии успешно трудился польский исследователь Ч. Кудзиновский. Подготовив фотографическое издание литов-

ской Библии Хилиньского (1958), он в 1964 г. выпустил в Познани и индекс к ней — «Biblia litewska Chylińskiego: Nowy Testament 3: Indeks». Не менее важным трудом Кудзиновского является двухтомный (A—N, O—Ž) «Index-słownik do “Daukšos Postilė”» (Poznań, 1977) и др. В 1987 г. был издан рукописный немецко-литовский словарь XVIII в. и индекс слов, входящих в него (издание подготовил В. Дротвинас). Лексика трудов К. Донелайтиса изучена в книге Й. Кабелки «Kristijono Donelaičio raštų leksika» (1964), основную часть которой составляет словарь великого литовского поэта XVIII в. Среди вторых (диалектных литовских словарей) особого внимания заслуживают солидный по объему и обстоятельности «Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas» В. Виткаускаса (1976), «Druskininkų tarmės žodynas» (1988), составленный Г. Нактинене, А. Паулаускене и тем же В. Виткаускасом, «Lazūnų tarmės žodynas» (1985) А. Видугириса и Й. Петраускаса, «Zietelos šnektos žodinas» (1998) А. Видугириса, не говоря уж о менее масштабных собраниях лексики литовских говоров. Существенны лексикографические труды, относящиеся к литовскому языковому элементу на белорусско-литовском пограничье и более удаленном, некогда литовскоязычном пространстве. Примером могут служить работы «Мікратапанімія Беларусі» (1974) Е. Гринавецкене и ее же «Слоўник беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларуси і яе пагранічча 1—5» (Мінск, 1979—1986) и др.

Перечисленные выше достижения литовской лексикографии образуют достойное окружение и органически расширяющийся контекст того, что теперь стоит в центре — «Lietuvių kalbos žodynas», результат великого подвига-«делания», растянувшегося на шесть десятилетий после выхода в свет первого тома. Время подготовки и создания словаря оказалось равным человеческому веку. Приятно сознавать, что почти все это время было насыщено все более частыми и тесными встречами со словарем: читатель мог полагать, что именно он шел навстречу словарю, но и словарь, в свою очередь, шел навстречу человеку, и без этого движения друг к другу самой встречи с ним, с носителем гения литовского языка, могло бы и не состояться. Счастлив народ, имеющий такой словарь, знающий ему цену и открывающий км путь себе в бессмертие.

Автор этих заметок-«воспоминаний» глубоко благодарен друзьям и коллегам, помогавшим ему держать связь с литовским словом и самим духом литовского языка щедрыми дарами своего творчества, и особенно — А. Сабаляускасу, З. Зинкявичюсу, В. Мажюлису, А. Ванагасу, А. Видугирису.

2004

ЕЩЕ РАЗ О НЕВРАХ И СЕЛАХ В ОБЩЕБАЛТИЙСКОМ ЭТНОЯЗЫКОВОМ КОНТЕКСТЕ (НАРОД, ЗЕМЛЯ, ЯЗЫК, ИМЯ). ИЗ ИСТОРИИ И.-ЕВР. *NEUR- : *NOUR- И *SEL-

(неумирающая память об одном балтийском племени)

Viena zeme, vieni ļaudis, —
Nav vienāda valodiņa.
Ik pēc zemes gabaliņa
Griež savādu valodiņu.

Посвящается многоуважаемому
Янису Страдиньшу

Когда народ уходит в небытие, земля, на которой он жил, пустеет или заселяется другим народом; когда исчезает сам язык, память обо всех этих утратах чаще всего сохраняется уже только в имени ушедшего в вечность народа, и это имя последний приют памяти об ушедших людях, о том, что им было дорого, что было их казавшимся неотчуждаемым наследием. К счастью, это имя сохранилось, хотя носители его давно уже именуются иначе, но люди неравнодушные к своей истории, те, для кого историческая связь со своими предками не оборвана, помнят о своем прежнем имени, которое и позволяет им восстановить память о связи времен — прошлого с настоящим. Утешительно знать, что нынешние потомки селов понимают и/или чувствуют эту связь со своими предками.

Речь пойдет о древнем этноязыковом контексте, о ряде балтийских (или подозреваемых в балтийскости) племен, видимо, уже существовавших во времена геродотовы (невры) и известных ему хотя бы по названию и по неко-

торым их особенностям, но, в частности, и о тех племенах, которые были неизвестны Геродоту, — о селах или — в латинизированной форме — о селонах. Латыши и сейчас называют своих предков *sēļi*, поясняя нередко, что это название «древнего латышского племени», а литовцы — sė̃liai, более пространно и точно определяя этот этноним как «baltų gentis, gyvenusi dabartinės Latvijos TSR pietryčiuose ir Lietuvos TSR šiaurryčiuose» (LKŽ. XII. 1981. S. 352). О латинских и старо-немецких обозначениях селов см. ниже.

Судьба балтов и соответствующих языков на глазах истории развертывается во времени на два с половиной тысячелетия, а в пространстве (по разным версиям) — от средней Волги до нижней Вислы и ближайшей территории в Зависленье (с востока на запад) и от границы лесостепи, северной Украины (а может быть и юго-восточнее — проблема будинов), Волыни и Карпат до 58° параллели (с юга на север). Конечно, в таком огромном хронотопе далеко не всегда и не всюду «балтийская» этноязыковая стихия заполняла все это пространство и все это место, и уж тем более нет никаких оснований полагать, что балты были единственными обитателями этого хронотопа. Но когда речь идет о поиске надежного ядра, широкий взгляд более уместен, ибо ядро яснее всего заявляет о себе именно в разреженом контексте.

I. К вопросу о «балтийскости» невров

В этом случае начинать приходится с Геродота (V в. до н. э.), с его «Истории», точнее с ее четвертой книги («Мельпомена»). Автор щедр на перечисления древних племен, живших на необъятных пространствах Причерноморья, к северу от Черного моря, где, естественно, первенствовали скифы, наиболее известные грекам. В списках племен кое-что не вполне достоверно, а иногда, видимо, и принадлежит скорее мифологии, чем истории. Но сам порядок перечисления этих припонтийских племен, похоже, соответствует — в общем и целом — реальному размещению их. Таков фрагмент IV, 17: «Ближе всего от торговой гавани борисфенитов (а она лежит приблизительно в середине всей припонтийской земли скифов) обитают каллипиды — эллинские скифы; за ними идет другое племя под названием ализоны. Они наряду с каллипидами ведут одинаковый образ жизни с остальными скифами <…> Севернее ализонов живут скифы-земледельцы <…> Наконец, еще выше их живут невры (*Νευροί*, жители области *Νευροίς*, упоминавшейся еще Гомером. — *В. Т.*), а севернее невров, насколько я знаю, идет уже безлюдная пустыня. Это — племена по реке Гипанис (*Ὕπανις*, теперешний Буг) к западу от Борисфена»[1]. [*Βορυσθένης*, теперешний Днепр, отсюда

Βορυσθενεῖτης или *Βορυσθενίτης* как обозначение жителя берегов Борисфена]. Из этого фрагмента с высокой степенью достоверности следует, что именно невры занимали крайнюю северо-западную область обжитой ойкумены (по крайней мере, так, видимо, считал сам Геродот). Далее шло теперешнее Полесье, на территории которого было огромное озеро, окруженное болотами и лесами. Из него вытекали реки, впадавшие в Истр (*Ἴστρος*, Дунай) и делавшие Истр-Дунай весьма полноводным [2].

Невры не раз упоминались и позднее — Плинием Старшим (Neuroe), Аммианом Марцеллином (Neruiorum), Помпонием Мелой, Валерием Флакком (Neuri) и даже Баварским Географом (Neriuani). По поводу этнолингвистической принадлежности невров и их происхождении велась, а отчасти и ведется давняя и оживленная полемика. Мнения высказывались самые различные. Так как в этих дискуссиях большинство участников составляли представители славянских стран и, к тому же, профессиональные слависты, чаще всего в геродотовских неврах склонны были видеть предков славян, хотя говорить о славянах применительно к V веку до н. э., едва ли корректно, и в Восточной Европе славяне появились в основном едва ли раньше V—VI вв. н. э. Тем не менее большинство ученых, начиная с Карамзина и Шафарика, склонялись к тому, чтобы видеть в неврах предков славян. Это мнение разделяли как славянские ученые (Л. Нидерле, Т. Лер-Сплавинский, К. Мошиньский, Я. Отрембский, М. Рудницкий, К. Тыменецкий, М. И. Артамонов, П. Н. Третьяков и др.), так и немецкие (К. Мюлленхофф, М. Фасмер, А. Херрманн и др.). Разумеется, со временем и при этом достаточно робко, нередко и непоследовательно появлялись утверждения, что предками невров могли быть балто-славянские племена, но в самом этом предположении крылась существенная неточность хронологического порядка: в середине I тысячелетия **до** нашей эры именно балтийские племена составляли тот этнос, из которого существенно **позже** стали выделять будущие славянские племена, первоначально локализировавшиеся по южным (в основном) окраинам балтийского пространства. До известной поры предположение о балто-славянской принадлежности невров было шагом вперед, за которым должен был последовать и следующий шаг. Он и был сделан отчасти археологами, работавшими на территории, предположительно определяемой как пространство обитания невров, но в существенно большей степени лингвистами, отметившими в Посемье контакты иранского и балтийского (а позже и славянского) этно-лингвистических элементов на гидронимическом материале, во-первых, а во-вторых, наличие бесспорных балтизмов (прежде всего в гидронимии) значительно южнее течения Припяти в ареале ее правых притоков на широтах Киева и южнее (ср. *Шандра*, п. п. Днепра, к югу от Киева, при лит. *šañdrai* 'песчаные наносы', 'сор') [3]. Одним словом, присутствие балтоязыч-

ных гидронимов (и не только их) на Правобережной Украине вплоть до Волыни[4], а также в прилегающих к Припяти землях к северу, богатых примерами балтийских водных названий сближает этот ареал с соседними и, видимо, совпадает с немалой степенью вероятности с «неврской» территорией. Есть еще одно соображение в пользу большей древности балтийского гидронимического ландшафта по сравнению со славянским. В указанном ареале (и, конечно, шире, в Верхнем и отчасти Среднем течении Днепра, соответственно в его бассейне) довольно четко различаются древние гидронимические элементы (их в общем довольно небольшой круг) и существенно более поздние (их много сотен), тогда как балтийский гидронимический слой в том же ареале в принципе более однороден по времени его формирования, и рельефно выступают именно архаичные гидронимы балтийского происхождения.

Но более веским аргументом в пользу балтийского прошлого «Нервии» (*ner-*u̯*- : *ne*u̯*-r-) оказываются данные, относящиеся к гидронимии этого ареала, отражающей корень и.-евр. *ner- в разных его вариантах и по огласовке корня и по расширениям корня. Здесь нет необходимости перечислять все варианты и.-евр. *ner-*u̯* : *ne*u̯*-r-. Важнее отметить две существенные детали. П е р в а я относится к смыслу, который связывался с указанным корнем *ner-1. Согласно Pokorny I, 765—766 этот корень обозначал магическую жизненную силу (‘magische Lebenskraft’) и носителя этой силы — мужчину в полноте его жизненных сил, человека, обладающего этими силами, энергией, активностью. Этот корень в этом значении засвидетельствован в большинстве индоевропейских языков. Лишь несколько примеров — др.-инд. nar- ‘мужчина’, ‘человек’, авест. ner-, арм. air (Gen. arn), др.-греч. *νωρεῖ. ἐνεργεῖ* (Hesych.), *ἀνήρ* ‘муж’, *ἠνορέη* ‘мужество’, алб. njer, лат. *Nēreus*, др.-греч. *Νηρεύς*, Нерей, сын Океана и Геи, морское божество, плодоносный отец 50 Нереид, Neria, *Neriēne*, Nerio, *Нериена*, жена Марса, богиня сабинян, Nero, -onis, cognomen в роде Клавдиев, Nerva, cognomen в роде Кокцеев и Силиев, Nervii, племя в Gallia Belgica; nervia ‘струна’, nervus ‘жила’, ‘сухожилие’, ‘нерв’, ‘мускул’, ‘мужской член’, но и ‘сила’, ‘упругость’ и др. герм. Nerthus, германская богиня земли (ср. связь лат. и италийск. ner- с низом, землей, где черпается «нижняя» сила). В связи с соотношением *ne*u̯*-r- : *ner-*u̯*- стóит обратить внимание на то, что лат. nervus возникло в результате перестановки из пралатинск. *neuros : *sne*u̯*eros > *snere*u̯*os. Связь корня *ner- с «нижним» царством, с водой, с представителями «низа» объясняется и такими значениями слов этого же корня, как лит. nìrti (nỹra) ‘нырять’ (но и ‘мчаться’, ‘нестись’; ‘лупить’), лтш. nirt ‘нырять’, *nirējs* ‘ныряльщик’, русск. *нырять* и т. п.[5]. Погружение в воду, сама связь с водой предполагают движение, при котором субъект действия устанавливает контакт с н и з о м, в результате чего этот субъект приобретает особые качества — мужественность, отвагу, пол-

ноту жизненных сил. Не случайно, что индоевропейский корень *ner- сочетает в себе отсылку к теме в о д ы, обозначение н и з а (ср. и.-евр. *ner-(tero-), ср. др.-греч. *νέρθε(ν)* 'внизу', 'снизу'; 'под' (предлог), *νερτέριος*, *νέρτερος* 'находящийся внизу', 'нижний', 'подземный' [*νέρτεροι θεοί* 'боги подземного царства', но и *νέρτεροι* 'жители подземного царства', т. е. усопшие, ср. *νερτέριος* 'находящийся внизу', 'подземный'], обозначение ж и з н е н н о й с и л ы, мощи, юности, и их н о с и т е л е й, ср., с одной стороны, др.-инд. *sūnára*- 'исполненный жизненной силы', 'юный', авест. hunara- 'обладающий чудесной силой'; др.-инд. nr̥tu- 'герой' при *sūnŕ̥*ta- 'жизненная сила' (ср. др.-ирл. so-nirt, кимр. hy-nerth 'смелый', 'сильный'; ner 'герой'; лит. nóras 'воля', 'желание', norė́ti 'хотеть', 'желать', nértė́ti, nartìnti 'гневаться', nar̃tsas (из *nar̃-sa-s) 'смелость', 'гнев', narsė́ti 'становиться храбрым', nar̃sinti 'ободрять', 'придавать храбрости', narsùmas 'храбрость' и др. (Pokorny I, 765—766; Fraenkel, 483, 495—496, 507—508; Karulis I, 629 и др.); ср. также прусск. nertien 'гнев', ernertimai 'мы гневаемся' при лит. nertė́ti 'гневаться', nartinti, русск. *нóров* (праслав. *norvъ, ст.-слав. **нравъ**) и др. — Из мифологических персонажей с этим корнем (помимо многих других) ср. др.-герм. Nerthus (nom. propr. богини), др.-исл. Njǫrdr, но подобные имена нередко выступают и как антропонимы с «мелиорированной» семантикой, ср. прусск. Naryko (= Noryke), Narim, Narioth, Narthawe (Nartau), Nartawt, Nartucke, Narune, Narwais, Narwocz (Narwoto, Narwotho) : Noremunt, Normans, Nerdingis, Nergaut, Nergunde, Nergune, Nerman, Nermede, Nermoyde, Nermox, Nerweike, Nerwyde, Nerwiks, Nerwikete, Nerwille; Nyrginde, Nirglande, Nirglinde, Nirgunde, Nyrmede, Nirwex; Waysnar, Waysse-nore, Sanarie; сокращенные имена Naryko, Noryko; Narim, Norim, Narioth, Narene, Norune, Nore, Noryn, Noron; названия мест — Norwide, Norithen (Trautmann Altpreuß. Personennamen. 547); лит. nom. propr. Nárbutas / Nárbotas, *Nárbūda* / *Nárbūdas*, Nar̃kus, Nármantas / Nármuntas, Nártautas, Narteika, *Narùšis*, Narunas, Narùtis, *Nárvaišas*, Nárwydas / Nãrvydas, Narwìlas и др.; *Nerečió*nis, Ner*ẽvičius* / Nar*ẽvičius*; Nìrtautas; Nor̃kus, Nórmantas, Nornaitis, *Norūnas*, *Norùšis*, Norùtis, Nórvainis, *Nórvaiša*, Nornaitis, Nórwydas, Norwylas / Norvìlis и др. (Liet. pavardžių žodynas. II. S. 296—302, 320, 328, 332—336), не говоря о латышских и латгальских именах собственных, топонимах и гидронимах (*Endzelīns.* Latv. vietvārdi. I daļa. 2. sējums. S. 469—470, 473—474, 476—477, 480; Latv. ūdensteču nosauk. 3. burtn. (N—R). S. 4—8; Zeps. The Placenames of Latgola. P. 336, 339 и др.; Blese. Latv. pers. vārdu un uzvārdu studijas. I. S. 112 и др.). Среди этих имен немало мифологизированных носителей этой «нижней» силы, с которой связана идея земного плодородия: *Так сходят к о р н и вглубь могилы | И там у с м е р т и ищут с и л ы | Бежать навстречу в е ш н и м дням*, — как сказал некогда поэт задолго до Покорного, зафиксировав-

шего в своем словаре три корня *ner- (765—766), которые оказываются на должной глубине вариациями общего первоисточника — 1. *ner- ʻмагическая жизненная сила’ и ʻчеловек’ как ее носитель; — 2. *ner- ʻниз’, ʻнижние воды’ — 3. *ner- как операция достижения этого нижнего мира через проникновение в его — *ner- как ʻeindringen’, ʻuntertauchen’, но и ʻVersteck’, ʻHöhle’. Эта же идея глубоко обозначена Томасом Манном в его романе «Doktor Faustus» (1947).

Рассматривая парные дублеты и.-евр. *neu̯-r- : *ner-u̯-, реально отраженные в ряде индоевропейских языков — как в апеллятивах, так и в гидронимии, — естественно предположить сходную метатезу -u̯r- : r-u̯- и в корнях с вокализмом *o*, т. е. *nŏ̄u̯-r- : *nŏ̄r-u̯- (прабалт. *nau̯r- : *nar-u̯-, соотв. *navr- : *narv-). Это предположение подтверждается конкретными данными, в частности, относящимися к гидронимии и топономастике ареала, связываемого с геродотовскими неврами или соседних с ним. В этом контексте в центр внимания попадает Нарев, одна из крупнейших рек бассейна Вислы, в которую, как выяснилось относительно недавно, впадает Нарев (ранее считалось, что Нарев впадает в Буг) чуть ниже течения Вислы, недалеко от Варшавы, к северо-западу от нее. Свое начало Нарев берет на юго-западе Белоруссии в болотистой части Беловежской Пущи, направляясь, несмотря на все зигзаги, в общем направлении к северо-западу. Верховья Нарева относятся к территории, на которой уже в историческое время жили ятвяги, или судавы (судины), ср.: *Γαλίνδαι καὶ Σουδινοί* (Ptolem. Geogr. III. 5), причем галинды сидели в этом ареале западнее судинов-судавов, с которыми, как и с дайнавами, позже отождествлялись ятвяги[6], чье название связано с гидронимом Jatfa, упоминаемое в старых литовских хрониках и реконструируемое как **Jāta*, **Jātuva*, откуда и предполагаемое для известного времени этнонимическое обозначение ятвягов как **Jātuvinga*i[7]. Характерно, что в этом ареале обозначение населения и самого племени часто ориентируется на гидроним, ср. *судавы* / *судины*, *Судавия* при гидрониме **Sūda* (ср. *Sūduoni*à < *Sūdauni*a) и др.[8]

Хотя неоднократно указывалось, что «самые поздние сведения о ятвягах относятся к XIII—XIV вв., т. е. к эпохе борьбы против Ордена Тевтонских рыцарей»[9], в действительности дело обстояло несколько иначе — имя ятвягов сохранялось в обиходе века́ спустя и, судя по всему, долго оставалось средством самоидентификации значительной части населения этих мест даже независимо от того, было ли это проявлением исторической памяти или знакомства со старыми источниками, относящимися к прошлому этой территории и его населения и усвоенными как уже собственно знание. Русские кадастровые записи 1800 года и более поздние опросы и переписи вынуждены

были фиксировать принадлежность существенной части населения даже в гродненском локусе к ятвягам, хотя и говорившим на польском, белорусском или русском языках. С рубежа 80—90-х годов XX века отмечаются случаи «ятвягизации» среди населения этих мест и возрастание интереса к своему «ятвяжскому» прошлому. Думается, что есть веские основания считать, что отзвуки «ятвяжской мовы» реально присутствуют в так называемом «ятвяжском словарике», вписанном в книгу духовного содержания, видимо, ее владельцем предположительно в XVII—XVIII вв., и насчитывающем несколько более 200 слов (стоит добавить, что отдельные «ятвингизмы», вероятно, присутствуют и в современных говорах этих мест)[10].

Так или иначе, существенное совпадение наиболее правдоподобного ареала геродотовских невров и верхнего течения Нарева едва ли может быть случайным — и не только в силу общего консонантного костяка (n-v-r в первом случае и n-r-v во втором), но и потому, что существуют примеры метатезы, отмеченные выше: *neu̯-r- и *ner-u̯-. Все это было бы правдоподобным, вероятным, но едва ли доказанным, если бы в не раз упоминавшемся польско-ятвяжском словарике 96-ым по порядку польскому rzeka Narew не соответствовало бы ятвяжское обозначение этой самой реки название Naura, восходящее к форме и.-евр. *nō̆u̯r- > прабалт. *nau̯r-, сопоставимое с корнем с *е*-вокализмом — *neu̯r-, из которого на балтийской почве возникали названия типа Niaur-, Niur-, Nur- (из *Naur- > слав. Nur-)[11]. В связи с гидронимом Naura как обозначением Нарева в польско-ятвяжском словарике, несомненно следует напомнить о названии горы в Решельском повете Мазурского округа Naurska Gòra (она же Naurska Berg, Auerberg) с важным уточнением: «góras na wschodnim brzegu jeziora Kikit, czyli Naurów» и озеро Naury (оно же Auer See, Awer [1656], Aurin [1352], также Kikity), к югу от Лютерскего озера[12]. Однако гидронимы этого типа и так или иначе связанные с ними.

Вместе с тем в том же источнике содержатся многочисленные примеры гидронимов и топонимов, отмеченных на Мазурах и содержащих тот же корень *Nar-, что и в названии реки Narew. Ср.: Naria, Narie, Narienfliess, Narien See, Narien Winkel, Narigen, Narejcka Struga, Narejtko, Narejty, Nareyten, Nareyther Fliess, Nareyther See, Naritz (Narzer Bach), Narka, Narken Berg, Narossa, Narus, Narus(s)a, Narusse, Narusz, Narys, Narzer Beek, Natr (озеро) с вокализмом корня *а*[13] присутствуют и намного западнее и намного восточнее указанных мест, связанных с предполагаемой областью распространения геродотовских невров и, в частности, с бассейном Нарева. В частности, показательны гидронимы этого типа в бассейне Оки, ср. *Нара*, *Нарка*, *Нарва*, *Нареенка*, *Неревка*, *Неревец*, *Неревское* и др., но и *Неверка*, *Неверютка* и др. с консонантным костяком *н-в-р* или *н-р-в*. — Не меньше примеров того же типа и в Верхнем Поднепровье — от *Наровля*, *Наровлянка* (*н-р-в*) и несомненного

балтизма *Неропля* (из *Ner-up-i̯a) до более частых гидронимов с корнем *ner-, *nar-, ср. *Нарка*, *Нерета*, *Нертка*, *Нерчанка*, *Неручь*, *Нератовка*, *Нерчай*, *Нерета*, *Неруса*, *Неруза*, *Нересна*, *Нересня*, *Нересно* (см. *Маштаков.* s. v. v.; *Топоров, Трубачев.* Лингв. анализ гидр. Верхн. Поднепровья. 1962. С. 104, 171, 197, 198, 219, 233, 237 и др.), которые, по крайней степени в большинстве случаев, должны рассматриваться тоже как балтийское наследие.

Сходная ситуация наблюдается и в Литве и Латвии. Ср. литовские гидронимы типа Neretà, Neretẽ*lė*, Nerìnis, Nerìs, Nerỹs, Nérka, Nḗrotas, Norãlis, *Noreĩkupė*, Nórupis, *Nõrušas*, Nóruta, Nū̃rupis, Nùrupis (особый интерес вызывает имя речки Niū̃*riškis* (из *neur- /?/) и др. См. Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963. S. 107, 109—111; A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. s. vv.); из лит. топонимов ср., возможно, Narãvai, Nerãvai, Neravẽliai, Narasà, Nariū́nai, *Naručiai*, *Narùšiai*, Nirvḗnai, Niū̃rai, *Niūraičiai* и др. (Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirtymo žinynas. II dalis. Vilnius, 1976. S. 193, 200—201 и др.; A. Vanagas. Op. cit. s. vv.). — Из латышских гидронимов с указанными корнями ср. Narvele, Narvelis [*Нарвелис*] (n-r-v), *Narača*, Nareta, Narica, Naruta, *Naruža* (*Наружа*), Nereta (*Нерета*), Neretiņa, Neriņa, Norene, Norenupīte, Noriņa, Norumupe, Norupe, Norune (*Норуне*), *Norupīte*, *Noruža*, *Nāruža* (Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. 3. burtnīca. N—R. Rīga, 1986. S. 4—8).

Соответственно, на тех же территориях многочисленны и топонимы с теми же корнями. Ср. лит. Narasà, Narãvai (n-r-v), Nar̃čiai, *Nariškiai*, *Nariškinas*, Nariū́nai, *Narùčiai*, *Naručiónys*, *Nartaĩ*, Nar̃tas, Nartavà (n-r-v), *Narùčiai*, *Narùšiai*, *Narùšiškis*, *Narùtiškis*, Nerãvai, Neravẽliai (n-r-v), Neringà, Nḗrupis, Neverḗnai и др., но и Niū̃rai, *Niuráičiai*, N*iurkiaĩ*, *Niurkiškė*, Norẽliai, Nóriai, Noriū́nai, *Norùčiai*, Norū́nai, *Norvaišiaĩ* и др. (Lietuvos TSR admin.-teritor. suskirstymo žinynas. II dalis. S. 193—194, 200—202). Не меньше и репертуар топонимов, отмечаемых и на территории Латвии лтш. Nara, *Nãraiši*, *Nãrīši*, *Nārītes*, Nà*ruža*, *Nãrūni*, *Nārvḗni*, Nàrvelis [n-r-v], Nuõra, *Nuõrḗni*, *Nuõriņi* и др. Narica, *Nariņi*, Nar̃va (n-r-v), *Nḗrḗta* (место и река), *Nḗrḗti*, *Neriņš* (место и река), *Nḗruļi*, «Nervas»-licis, Ņḗrvḗni (*Nārvḗni*) [n-r-v], Newaren (1253), Neware, Nevaru-leja [n-v-r], и др. (*Endzelīns.* Latvijas PSR vietvārdi. I daļa, 2. sējums. K—O. 1961. S. 468—470, 473—474, 476—477, 486); — латг. Nareta, Nārta, Nar̂vnîca (n-r-v), Neretiņa, Neretieši, Neretena (см. *Nārta*), *Nērza*, *Nērzs* и др. (Zeps. Placenames of Latgola. 1984. P. 334, 339). — Из старых свидетельств по антропонимии, связанных с Курляндией, но объяснимых и из латышского именослова ср. Nareme (1355—62), Narvne (1355—62) [n-r-v], Narvne de Penen, Narun, Naruszs (1540), Narus и др. (Kiparsky. Die Kurenfrage. 1939. S. 131, 313—314). — Особый интерес представляют прусские данные, ср. из топонимов и гидронимов: Narasow (1306),

Naraswo, Narasow (n-r-v); Narusch (1328), Nareyten (1383—1387), озеро и деревня, Nereythe, Norrayte (ок. 1420), Narayte (XV в.); Narge (1337), река, Narigen (1352), река и озеро, Nariabne (1324), видимо, нужна конъектура *Nariawne (n-r-u), к Narew; Narus (1306), ручей, Narusz (1337), деревня, Narys (1372), ручей, Naruse (1374), ручей, Narussa (1389), ручей, Nartz (1503); ручей (позже— Narzer Bach, Narz, деревня), Narwomede, лес на прусско-мазурской границе (согласно Gerullis. Die altpreuß. Ortsnamen. 1922, к лит. narva, ячейка для пчелиной матки; n-r-v); Nerey (1248), Neria (1251), Nergia (1258), Nerge (1387), позже Nehrung; Nereyzobe (1325), к Nerey и Soben; Nerwiken (1374), Nerweken (1374), Narwiken (1389), позже Nerfken (n-r-v); Norieyn (1258), Nergeyn (1258), Narien (1405), позже Norgehnen; Noriow (1310), Norgow (1384), Norgen (1515) (n-r-v); Norithen (1411-1419) (Gerullis. 1922. S. 105, 107, 109) [к Noriow ср. Narew, *Нарев*]. — Из личных имен ср. прусск. Naryko (1382), Noriko, Noreke, Norke (1387), Norko; Narioth, Narthawe (n-r-v), Nartucke, Nartawt, Nartucke, Narune (1348); Narwais (1386, сомнительно), Narwocz; Nerman (1384), Nermede, Nermoyde, Nermox, Nerweike (1339), Nerwyde (1370), Nerwiks (1358), Nerwikete (1317), Nerwekete (1350), Nerwille (1419) (n-r-v); Noremunt, Noriko (1387), Norim (1345), Noryn, Noron, Norwig и др. (Gerullis. S. 66, 70, 72). Разумеется, не все примеры вполне достоверны, особенно двусоставные, хотя и в некоторых из них повторяется консонантный костяк n-r-v. — О Nerijà, Neringà см. теперь V. *Pėteraitis.* Mažosios Lietuvos ir Twankstos vietovardžiai. Jų kilmė ir reikšmė. Vilnius, 1997. S. 265, а также 268—270 (названия с элементом Nor-); Hydronymia Europaea. II. Die baltischen Ortsnamen im Samland. Bearbeitet von Grasilda Blažienė. Stuttgart, 2000. S. 99, 103—104. Особенно показательны топонимические примеры типа in campum Norion (1310), Noriow (1384), Norgow (1384), Noriaw (1418, 1422), Noryaw (1468, 1542—1543), Norgaw (1563-1564, 1620), Norgau (1674-1675, 1720-1721, 1785) и др., в которых появляется та же n-r-v-структура, что и в названии гидронима Narew, *Нарев*.

Здесь нет возможности говорить о многих других этнонимах, гидронимах, топонимах и антропонимах, характеризующихся наличием корневых элементов ner-, nar-, nor-, которые широко представлены и вне балтийского (или даже балто-славянского) пространства. Достаточно напомнить, что эти элементы присутствуют и в пространстве древнеевропейской (alteuropäische) гидронимии. Но и более того. Если не считать бесспорные факты, относящиеся к названиям с указанными корневыми элементами и обладающие определенным семантическим единством, то окажется, что в приведенных выше примерах немало вторичного и недостоверного. Не претендуя в данном случае на строгость этимологически правильных объяснений и, следовательно, сопоставлений, пишущий эти строки позволяет себе приводить в ряде

списков не только безусловно достоверные и этимологически корректные примеры, говорящие о былом (исходном) е д и н с т в е происхождения приводимых названий как в их форме, так и в их смысле, но и в определенных ситуациях указывать примеры, объединяемые скорее всего лишь «похожестью», т. е. лишь единством или близостью их з в у к о в о й формы, иначе говоря, их «народно-этимологическим» осмыслением, таким, каким оно только и могло быть до создания научного сравнительного языкознания. Нельзя забывать, что существовала потребность в уяснении себе внутреннего (или «последнего») смысла н а з в а н и й указанных выше категорий, с одной стороны, философами (ср. Платона), мудрецами (ср. древнеиндийскую традицию), мистиками, провидцами, но и, с другой стороны, обычными людьми, интересующимися словом (а среди слов прежде всего названиями) и пытающимися подыскать к нему, точнее, к его ф о р м е, некий с м ы с л, восстанавливая тем самым целокупное целое, в котором звук и смысл образуют неразрывное единство. И в э т о м смысле (и только в нем) Платон и простой человек, увлеченный поиском сути названий, равны друг другу во всем, кроме уровня способностей и талантов, которые (увы!) обычно оказываются равноудаленными от и с т и н ы, открывающейся н а у ч н о й этимологией или, по крайней мере, приближающейся к этой истине. Но у научной, философской, мистической, «бриколажной» этимологий (ср. bric-à-brac, bricole, bricolage с идеей чего-то случайного, произвольного и т. п., bricoler в значении 'играть отскоком' [рикошетом], полагаясь на авось) не только свои цели, но и свои приемы, и сам принцип suum cuique заслуживает если не уважения, то признания — тем более что «каждых» несравненно больше, чем этимологов-профессионалов, а когда-то, когда последних не существовало, только «каждые» и пытались решить тайну сочетания э т и х звуков с э т и м и смыслами. Именно поэтому выше было уделено особое внимание названиям с консонантной структурой n-r-v и n-v-r, отмеченных в бассейне Нарева и соседних территорий. В этом бассейне *Нарев* (*Наура* ятвяжского словарика) был к л ю ч е в о й рекой как для балтов, так и для славянских племен этих мест, и само название этой реки предполагает действенность ф о р м а л ь н о г о подстраивания к нему названий других рек с той же консонантной структурой, а иногда и р е а л ь н о г о (названия, производные от *Нарев*) или же анаграмматические опыты, которые м о г л и иметь место при уяснении самого названия этой ведущей реки. Эта возможность могла реализоваться и в связи апеллятивами, ср. *Нарев* — *нóров* (ср. виртуальное *у Н а р е в а особый н о р о в*). У Нарева действительно свой норов— в своем течении (а длина его 475,8 км, площадь же бассейна — 74,8 тыс. км^2) он образует многочисленные меандры, делится на рукава, как бы теряется в болотах, принимает в себя множество притоков [14]. Здесь уместно обратить внимание на высокую степень звукового

подобия двух этих слов *Нарев* (Narew) и *норов* (< праслав. **norvъ*), обозначающий обычно нрав (часто капризный, упрямый, дурной и т. п.), характер, натуру, привычку, обычай, образ поведения и т. п. Ср. **norvъ* & *Narew. Учитывая, что во многих славянских языках рефлексом *norvъ или его девиацией являются слова с корневым вокализмом *a* (ср. ст.-польск. narów 'дурная привычка', польск. *narów [устар. norów], с.-хорв. narav, narava, диал. nárav и т. п., фонетическое подобие обоих этих слов становится еще бóльшим: Narev — narav. — О праслав. **norvъ* см. ЭССЯ. 25. 1999. С. 192—195, ср. в реконструкции варианты типа *Narevъ (*Nary) & norvъ (naravъ) и т. п. Как уже говорилось, в связи с Naura как обозначением Нарева в польско-ятвяжском словарике, несомненно, следует напомнить о названии горы в Решельском повете Мазурского округа Naurska Góra (она же Naurska Berg, Auerberg) с важным уточнением — «góra na wschodnim brzegu jeziora Kikit, czyli N a u r ó w» и озеро N a u r y (оно же Auer See, Awer [1656], Aurin [1352]), также Kikity), к югу от Лютерского озера[15].

Вместе с тем в том же источнике содержатся многочисленные примеры гидронимов и топонимов, отмеченных на Мазурах, и содержащих тот же корень *Nar-, что и в названии реки Narew. Ср.: Naria, Narie, Narienfliess, Narien See, Narien Winkel, Narigen, Narejcka Struga, Narejtko, Narejty, Nareyten, Nareyther Fliess, Nareyther See, Naritz (Narzer Bach), Narka, Narken Berg, Narossa, Narus, Narus(s)a, Narusse, Narusz, Narys, Narzer Beek, Nart (озеро) с вокализмом корня *a*[16].

II. О древних балтах (между Геродотом и Тацитом, Птолемеем, Аммианом Марцеллином)

Даже при неполной достоверности некоторых приводившихся выше примеров, кажется, трудно сомневаться в определенной связи геродотовских *Νευροί*, невров с «наревским» локусом. В пользу этого допущения говорят и я з ы к, видимо, так или иначе, не без определенных неясностей, сохранивший с высокой степенью точности[17] память о геродотовских неврах, и сам т о п о с их присутствия (бассейн Нарева и сопредельные земли), и этнический и географический к о н т е к с т ы геродотовской Скифии, существенно сузивший выбор этого топоса, и, наконец, ближайших соседей (от вполне реальных исторических скифов до полумифических племен, от будущей южной Руси до болот Полесья, где можно было укрыться и сохраниться до той поры, когда оно стало уже существенно балтийским, а века спустя — славянским.

В этом контексте уместно напомнить, что более сорока лет назад было обнаружено, неожиданно для самих авторов, что в Посемье, т. е. достаточно

далеко к востоку (точнее, даже к юго-востоку) от предполагаемой прародины невров, следы взаимодействия иранского и балтийского языковых элементов на материале гидронимии [18]. Неожиданность состояла в том, что в бассейне Сейма было обнаружено не менее двух десятков бесспорных гидронимов балтийского происхождения (во-первых) и ряд случаев, когда один и тот же водный объект имел два или даже три названия — балтийского, иранского и славянского происхождения (во-вторых), что свидетельствует о соприкосновении всех этих трех этноязыковых элементов в определенном месте и в определенное время. В данном случае нас интересует присутствие балтов далеко к востоку, где по общепринятому мнению их быть не могло. От «неврского» локуса балты Посемья оказались отделены довольно значительным расстоянием. Трудно сказать, были ли эти балты особой ветвью, отличной от невров, или же восточным ответвлением невров, сказать трудно. Вместе с тем в любом случае присутствие балтоидного элемента примерно на одних широтах от полесских болот до (условно говоря) Путивля говорит о многом. Если же еще учесть, что Скифия, лежащая в основном несколько южнее, оказывалась или южным соседом посемских балтов, или последние находились в самих пределах Скифии, то в обоих вариантах соседство иранских скифов и присутствие далее всего продвинутых к востоку балтов представляется весьма достоверным и может в существенной части подтвердить отмеченные выше факты разноязычных обозначений одного и того же водного объекта с общей семантической мотивировкой названия реки [19].

Это продвижение предполагаемой посемской группы балтов к северо-востоку, отчасти реконструируемое и по соответствующему фрагменту Геродота, имеет, вероятно, и более сильные аргументы. К ним, в частности, относятся балтизмы (гидронимические) в верховьях Дона [20]. Еще более сильным аргументом является наличие гидронимических балтизмов (и даже ряда балтоязычных апеллятивов) в среднем течении Оки и отчасти в нижнем [21]. Но проблема не исчерпывается указанными двусторонними отношениями балтов и финно-угров, и этноязыковой и культурно-исторический контекст был существенно шире и богаче. Дело в том, что исследования последних двух десятилетий показали, что в пространстве от Средней Волги к югу Приуралья контактировали, по-видимому, приблизительно на тех же основаниях не только балты и финно-угры, но и индоарийские и иранские этноязыковые элементы, о чем свидетельствуют лексические заимствования в разных вариантах. Как известно, в современных балтийских языках есть некоторое количество слов не только неиндоевропейских, но определенным образом отсылающим к финно-угорским языкам Среднего Поволжья [22].

Установление средневолжского локуса и языков, которые находились в этих пределах в контактах друг с другом, ценно и в том отношении, что с

достаточной вероятностью восстанавливают пути дальнейшего движения перечисленных этноязыковых элементов. Особенно существенны результаты передвижений индоариев и праиранцев и основные локусы на этом пути и общее направление движения [23]. Разумеется, пока несмотря на ряд уже проведенных исследований, в том числе и археологических, получивших в последнее время определенный размах, есть достаточные основания говорить и о других путях балтов на территорию, являющуюся основной, «своей» для литовцев и латышей, но об этом писалось уже раньше и, несомненно, будет писаться и далее (в частности, о передвижениях с юга на север, ср. балто-балканские параллели и схождения в гидронимии и топонимии нынешних балтийских территорий и соответствующих наименований в иллирийском, фракийском, западномалоазиатском локусах) [24].

В этом контексте возникает возможность считать не только возможным, но и вероятным присутствие балтов (очевидно, западных) на юге России и в более позднюю эпоху. В. Шименас собственно и выдвинул в 1994 году гипотезу, согласно которой часть балтов (надо думать, что прежде всего пруссов. — *В. Т.*) [25] была вовлечена в поток готов, устремившихся от Балтики на юг и там, возможно, между балтами и готами установились тесные связи при Германарихе [26]. На этом передвижения балтов не прекратились: вторжение гуннов вынудило как южнорусских готов, так и сосуществовавших с ними балтов, устремиться на запад, включившись тем самым в Великое передвижение народов (как было показано автором этих строк, такой же была, видимо, и судьба галиндов, совершивших примерно в то же время странствие от балтийской Галиндии до Пиренейского полуострова [27]).

Еще один ареал с очевидным присутствием балтийского этноязыкового элемента привлек в последние полвека внимание специалистов. Речь идет о территориях к западу от Вислы. Впрочем, повышенный интерес к этому ареалу в связи с историей пруссов возник существенно раньше в результате, в частности, археологических открытий как в Западной, так и в Восточной Пруссии [28]. Но еще раньше вопрос о присутствии балтов в лице пруссов к западу от Вислы был поставлен в самом начале XX века Ф. Лоренцем, продолжавшим и позже, в течении нескольких десятилетий, исследовать балтийские следы в этом ареале [29]. Существенно, что именно языковые следы «зависленских» балтов оказались наиболее доказательными аргументами в пользу расширения балтийского пространства к западу от Вислы. Пока с достаточной уверенностью можно говорить о присутствии в этом ареале балтийского этнолингвистического элемента в прошлом. К сожалению, однако, итоги имеющихся частных исследований не синтезированы в некое целое и пока не сделаны должные выводы о значении этих «зависленских» следов пребывания здесь балтов. Представляется существенным, что ареал к западу

от Вислы характеризуется, кажется, в большей степени топонимическими балтизмами, нежели гидронимическими.

Таким образом, *максимально* восстанавливаемое балтийское пространство, *разные* части которого в *разное* время свидетельствуют о пребывании в них балтийского (по меньшей мере, «балтоидного») этноязыкового элемента, было почти неправдоподобно огромным — от Мекленбурга (его юго-восточной части) на западе до средней Волги на востоке, от Приильменья [30] на севере до Прикарпатья на юге [31], помня при этом о существенных перекличках «балтизмов» с генетическими близкими элементами на Балканах (как в западной, так и в восточной их части). То же можно сказать и о балто-малоазийских перекличках, не говоря уже о «странствующих» балтах, как галинды [32] и, вероятно, некоторые другие племена, окончательно затерявшиеся, прекратившие свое существование и даже не оставившие своего имени. Весьма важное обстоятельство можно видеть в том, что «мекленбургские» балты оказываются практически *ближайшими* соседями полабских славян Люнебургской пустоши, тоже прекративших свое существование, но оставивших свое имя и даже некоторое количество текстов. В исторической перспективе полабяне *могли* быть некогда балтийским племенем, со временем превратившимся в славян, подобно тому как праславяне возникли из периферийных балтов, чей язык эволюционировал от статуса балтоязычного диалекта к самостоятельному уже собственно славянскому диалекту. Такие процессы могли происходить и на других местах балтоязычного пространства.

Сама огромность этого пространства, разные части которого в разные эпохи свидетельствуют как минимум о балтийском следе, при исключительной широте «раздвинутости» временны́х рамок (надежно — два с половиной тысячелетия, от Геродота до дней нынешних) говорят о многом и побуждают искать объяснения этим фактам, более того, бросают луч света на сам феномен «балтийскости», значение которого выходит далеко за пределы конкретного балтийского каким он был в его истории и каким он представлен в его нынешнем состоянии. Тот факт, что из наследников древних индоевропейских языков именно балтийские отличаются своей архаичностью и своей близостью к источнику, из которого берут начало все известные нам современные индоевропейские языки, служит еще одним аргументом в пользу особого статуса балтийского языкового типа, в котором глубокие архаизмы согласно сосуществуют с новациями. Но здесь эта тема не может быть рассмотрена подробнее.

Возвращаясь после самых ранних письменных источников, в которых упоминаются племена — или с высокой степенью вероятности балтийские

(как геродотовские невры), или только лишь подозреваемые в их «балтийскости»[33], т. е. от времен геродотовских к более поздним, когда появляются латиноязычные источники, отчасти учитывающие свидетельства древнегреческого «отца истории», — нужно хотя бы вскользь упомянуть менее полные (но и вместе с тем менее мифологизированные) сведения, фиксирующие этническую панораму, относящуюся совсем к другой эпохе, наступившей полтысячелетия спустя после Геродота.

Эту новую череду источников об интересующих нас пространствах открывает римский историк Тит Помпоний Мела, известный своим трудом с двумя названиями — «De situ orbis» и «De chorographia», написанным, видимо, в первой половине 40-х годов нашей эры. Конечно, Мела существенно зависит от Геродота, но в ряде случаев допускает ошибки, в частности, меняя субъекты тех или иных событий и действий. Тем не менее в труде под названием «De chorographia» Мела упоминает гелонов, меланхленов и невров, причем последние обладают способностью превращаться в волков[34]. Существенно, что в сферу внимания Мелы попадает и Висла (Vistula), впадающая в Истр (Дунай)[35].

Следующим по времени источником сведений, имеющих отношение к балтам, является «Historia naturalis» Гая Плиния Старшего (Caius Plinius Secundus или Maior) (23—79 гг.). Собственно, именно в названном его труде встречаются несколько фрагментов, в которых появляется само понятие Б а л т и и (Baltia) как название острова, а не всей terrae balticae. Ср.: Xenophon Lampsacenus, a litore Scytharum tridui navigatione, i n s u l a m esse immensae magnitudinis, B a l t i a m tradit (Liber IV, caput 13) «Ксенофонт Лампсакский передает, что на расстоянии трех дней пути от Скифии существует безграничной величины остров Балтия» (с дополнением — «Этот самый остров Пифей называет Базилией /Basiliam nominat/»), на котором находится янтарь[36].

Тациту (ок. 55—58 — ок. 117—120) принадлежит заслуга введения еще одного этнонима, относящегося к балтам, хотя объем этого этнонима остается не вполне ясным. В своем труде «Germania» (первоначальное название — «De origine et situ Germanorum», ок. 98 г. н. э.) он впервые говорит об а й с т и я х (Aestii) или э с т и я х, кратко указывая место, где они находились, сообщая об их обычаях, религиозных представлениях, об их занятиях, основного их промысла — собирании янтаря. Ср. фрагмент 45:

> ergo iam dextro Suebici maris litore A e s t i o r u m gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum, lingua Brittanicae propior. matrem deum venerantur. insigne superstitionis forma aprorum gestant: id pro armis omniumque tutela securum deae cultorem etiam inter hostis solita praestat. rarus ferri frequens

fustium usus. frumenta ceterosque fructus patientius quam pro solita Germanorum inertia laborant. sed et mare scrutantur, ac soli omnium sucinum, quod ipsi g l e s u m *vocant…* (Germ. 45)[37].

Дальнейший прирост информации о древних балтах и более дифференцированный взгляд на балтов с учетом и того, что было известно и из более ранних свидетельств, и, наконец, внимание к географическому положению описываемых племен обязан труду Клавдия Птолемея (*Κλαύδιος Πτολεμαῖος*. Claudius Ptolemaeus. 90—168) «*Γεογραφική ὑφήγησις*». Густота списка этнонимов и указание локусов перечисляемых племен составляет сильную сторону «балтийского» фрагмента «Географии», что позволяет перебросить мостик между подозреваемыми в «балтийскости» этнонимами Геродота и других предшественников Птолемея и более поздней (по сравнению с Птолемеем) информацией о балтийском элементе на рассматриваемой территории[38]. Существенно, что *Γαλίνδαι καὶ Σουδινοί*, сведения о которых появятся уже у средневековых авторов[39], были замечены еще Птолемеем[40]:

> Minores autem gentes tenent Sarmatiam penes V i s t u l a m quidem fluvium *<…> Prussia et populi Pruteni utrasque Vistulae ripas ad mare colunt inter Germanos et Sarmatas medii <…> Quibus magis orientales sunt Careotae et Sali <…> Sub quibus Savari et Bor*usci usque ad Ryphaeos montes. Sub Venedis *Gythones sunt. Post Phinni… Post* S u l o n e s *. Sub quibus Phrungudiones. Post *Avarini iuxta caput Vistulae amnis… Post Piengitae et Biessi penes* C a r p a t u m m o n t e m. Iis omnibus magis orientales sunt sub Venedis quidem iterum G a l i n d a e et S u d i n i ac Stavani usque ad Alaunos (III, 5).

Примечание.

Интересна латинизированная форма Sulones, являющаяся этнонимом, корень которого sul-, а -on- суффикс, часто встречающийся именно в этнонимах и гидронимах, ср. в том же отрывке III, 5: Gythones, Ombrones, Carbones, Ophlones, Caryones; Burgiones, Phrungudiones, Chrononis, Rubonis и др., не говоря уже о примерах, засвидетельствованных в других текстах. — Гидронимы с корнем sul- обильно представлены в прусск. Sulpalwen (1423) при антропонимe Sule, ср. прусск. sulo ʻсвернувшееся молоко’ и апеллятиве palwe ʻпустошь’; лит. Sultekia*ĩ* (Gumbinen), нем. Sultecken (1785), от sulà ʻпа́сока’ и tek*ė̃*ti ʻтечь’, ʻбежать’ (ср. up*ė* t*ẽ*ka ʻрека течет’), лит. sùltekis, время, когда происходит истечение пасоки в апреле (см. V. *Pėteraitis.* Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai. Jų kilmė ir reikšmė. Vilnius, 1997. S. 376); лит. Sùltekis, Suliavà, Suleva, Sulinkt*ų* e*ž*eriukas (LUEV. 1963. S. 137; Vanagas. LHEŽ. 1981. S. 319); лтш. Sula, Sule, Sulija, Sulka, S*ū*lupe (Latv. ūdensteču nosauk. S—Ž. 4. burtn. 1986. S. 25—26), Sulas-gr*ā*vis, Sulas-puôrs, Sulas-up*ī*te при лтш. sula

(Mülenbach. Latv. vai. vārdn. III. 1119); латг. *Suļka* (ср. русск. *Сулянка*). Zeps. Placenames of Latg. 1984. S. 494. — Многочисленные гидронимы с этим же корнем представлены в бассейне Днепра — *Сула*, *Сулинка*, *Суленка*, *Сулица*, *Сулка* и др. (*Маштаков.* С. 18, 58, 60, 62, 217, 225; Словн. гідронім. України. 1979. С. 539), ср. *Сулоть* в басс. Оки (*Смолицкая.* С. 202). — Особое сгущение гидронимов с корнем Sul- отмечено в бассейне Вислы, и — шире — в северо-западной Польше. Ср.: Sulawka Bach, Sulawka Fluss, Sulawka See, Suleniec, Suli*ń*ski, Sulków Stok, Sulnikowska, Sulnikowski, Sulówstok, Sulski, Sulówka (Hydron. Wisly. Cz. I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Pod red. P. Zwolińskiego. 1965. № 7, 40, 110, 184, 371, 464, 469, 545, 602); — Sulewo (2 раза), Sulikowo, Sulnikowo, Sulkowo, Sulka (Zierhoffer. Nazwy miejsc. północh. Mazowsza. 1957. S. 351—352); Sielu*ń* (Там же. S. 331; ср. Selones, выше); — Sulów, Sulek, Suliszów, Suliszewo, *Sułkowo*, Sulków, Suloszów, Suloszyn, Sulów, Sulówek и др. *Sulęcin* (Rospond. Słown. nazw geograf. Polski Zachodn. i Północn. Cz. I. 1951. S. 319); — Sulawka Bach, Sulawka See, Sulawka Seewiese, Sulawska Góra, Sulwa (Leyding. Słown. nazw miejsc. okręgu Mazursk. Cz. II. 1959. S. 80, 242, 253); **Sulōwō* [теперь Zuławy] (Górnowicz. Topon. Powiśla Gdańsk. 1980. S. 223); — **Sulōwō* [теперь Zulawa] (Bugalska. Topon. byłych powiat. Gdańsk, i Tczewsk. 1985. S. 98); Sulechowe, 1295 (Solchowe, 1267), Sulechow (ок. 1400—1414), Sulków 1342 и др. (Trautmann. Elb- u. Ostseeslav. ON. 1948. S. 103); — Sulitze, Suliczitz, Sulechowe, Sulkow, Sulocin, Sulow, Sulowe (Ibid. III. 1956. S. 71, 103, 105, 150, 158, 190; Idem. MH. S. 10, 11, 41, 42, 110, 147).

Расставаясь с Птолемеем, следует напомнить еще об одном балтизме. В том же фрагменте его «Географии» существенна информация, содержащаяся во фразе Post Vistulae fluvium ostia quae habent partes: C h r o n o n i s, *Rubonis*... и т. п. Н. Велюс в комментарии к фрагменту III, 5 из Птолемея пишет: «Baltų mitologijai įdomus vienos iš baltų upių vadinimas mitiniu C h r o n o n o vardu. Vėlesniuose raštuose šiuo vardu dažniausiai buvo vadinamas Prieglius, kartais Nemunas»[41], добавляя, что неподалеку от Прегеля находился крупнейший прусский религиозный центр, что подтверждается и археологическими раскопками. Не случайно, что литовские историки XIX века называли эту реку преисподней (Pragaru).

Последним, кто уже в эпоху заката Римской Империи оставил существенные сведения, относящиеся к балтам, был историк Аммиан Марцеллин (Amminianus Marcellinus), грек, родившийся в Антиохии; даты его жизни — около 330—390. Он был автором «Rerum gestarum libri» (около 376—378). Из того, что относится или, точнее, может относиться к балтам ценны два фрагмента: 38. Ergo in ipso huius compagis exordio ubi Rifaei deficiunt montes,

habitant Arimfaei, iusti homines placiditateque cogniti, quos amnes Chronius et *Vistula praeterfluunt*...; 40. Dein Borysthenes a montibus oriens N e r v i o r u m, primigeniis fontibus copiosus, concursuque multorum amnium adolescens, mari praeruptis undarum vertici*bus intimatur*... «В самом начале этой вогнутости, где кончаются Рифейские горы, живут аримфеи, справедливые и миролюбивые люди: Сквозь эти горы протекают реки Хроний и Вистула. (Висла)… [38]. Борисфен [Днепр. — *В. Т.*], начиная от нервийских холмов, многоводный от истоков, еще увеличивающийся от множества впадающих в него рек, бурными водами вливается в море [40]».

На этом краткий обзор текстов античных историков о племенах Восточной Европы в древности, среди которых могли быть и предки балтов, здесь можно считать в целом законченным. Нужно только напомнить, что эти античные свидетельства ценны прежде всего перечислением многих племен, указанием (обычно относительным) окружающих племен, а иногда и более точных ориентиров (например, названий рек) и краткими сообщениями о некоторых особенностях жизни, занятий, религиозных представлений этих племен. Но при всем этом перед теперешним исследователем стоит задача в ы ч л е н е н и я среди всего множества племен и этнонимов того, что может быть заподозрено в принадлежности к будущим балтам. Эта задача из числа весьма трудных — слишком многое подлежит интерпретации с современной точки зрения. Часто приходится довольствоваться крохами, но иного как собирание их в чаемое целое, н е т.

III. От Иордана до «Хроники Ливонии»

С VI века эстафета, принятая от Тацита, последовательно передается дальше. Эстии (айстии) не сходят со сцены. Иногда сам этот этноним отсутствует, но едва ли можно сомневаться, что речь идет именно об эстиях. В этом отношении показательно письмо короля Теодориха к эстиям («H a e s t i s Theodoricus rex», ок. 523—526), в тексте которого эстии не упоминаются, но трудно сомневаться, что «янтарная» тема, приуроченная к океанскому побережью, предполагает именно эстиев, ср.: *Haec quodam Cornelio* [scil. Тацит. — *В. Т.*] scribente, legitur in interioribus insulis Oceani exarboris s u c c o d e f l u e n s, unde et succinum dicitur, paulatim solis ardore coalescere (Кассиодор [Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus], ок. 480—490 — ок. 585—590).

Дважды упоминает имя эстиев и Иордан (Jordan/d/es, VI век) в своем произведении «De getarum sive Gothorum origine et rebus gestis» (551 г.): Ad litus autem Oceani, ubi tribus faucibus fluenta Vistulae, fluminis ebibuntur, Vidivarii resident, ex d i v e r s i s n a t i o n i b u s adgregatì post quos ripam

Oceani item A e s t i tenent, pacatum hominum genus omnino. Quibus in austrum adsidet gens Acatzirorum fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et *venationibus victitat*... (36) «На побережье Океана, там, где через три гирла поглощаются воды реки Вистулы [Вислы. — *В. Т.*], живут видиварии, собравшиеся из р а з л и ч н ы х племен; за ними берег Океана держат э с т ы, вполне мирный народ. К югу соседит с ними сильнейшее племя акациров, не ведающее злаков, но питающееся от скота и охоты».

И еще одно упоминание эстиев — A e s t o r u m quoque similiter nationem, qui longissimam ripam Oceani Germanici insident, idem ipse prudentia et virtute subegit omnibusque Scythiae et Germaniae nationibus ac si propris lavoribus imperavit... *tamen tunc omnes Heimanarici imperi*is servierunt (119—120) «...но тогда все они [венеты, анты, склавены. — *В. Т.*] подчинились власти Германариха. | Умом своим и доблестью он подчинил себе также племя эстиев, которые населяют отдаленнейшее побережье Германского океана. Он властвовал, таким образом, над всеми племенами Скифии и Германии, как над собственностью» [42].

Сто́ит отметить, что Иордана нередко упоминали в связи с Пруссией и Литвой многие существенно более поздние авторы — Эней Сильвий Пикколомини, Эразм Стелла, Альберт Виюкас Коялович, Кристофор Харткнох, Вольфганг Кристофор Неттельхорст и др., сведения которых о балтах и обильнее, и достовернее более ранних свидетельств. Собирание данных о балтах у этих авторов знаменует постепенный переход от эмпирических описаний к осмыслению все более приближающемуся к тому, что можно уже назвать научными исследованиями (Харткнох).

Но и этот длительный (приблизительно тысячелетний) период после Иордана до Харткноха заполнен многими новыми свидетельствами о балтах. Кое-что продолжает айстийскую тему [43], но айстии-эстии оказываются в более плотном контексте. В сферу внимания попадают новые балтийские племена, информация о которых становится богаче, конкретнее, надежнее.

На рубеже двух тысячелетий [44] появляются несколько текстов, связанных с жизнью и мученической смертью святого Адальберта (Войцеха), ок. 956—997 гг. Речь идет о «Vita S. Adalberti episcopi» (998—999), о другом жизнеописании его — «Vita S. Adalberti» (1004 г.), об описании его мученической смерти — «Passio Sancti Adalberti martyris» (1000—1025), несколько позже «Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum» (около 1075 г.), булла папы Иннокентия III от 5 октября 1199 г. и десятки других текстов, охватывающих время до конца XV века [45]. В сочетании с этими и подобными им источниками по мифологии и религии балтов собственно и с т о р и ч е с к и е источники, особенно такие как «Хроника Ливонии» Генриха Латыша (2-я половина 20-х гг. XIII в.) или «Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга (конец

первой трети XIV века), или «Livländische Reimchronik» (ок. 1290) и др., существеннейшим образом восполняют наши знания о балтах [46].

С начала XIII века по XV век включительно количество источников по религии и мифологии балтов, по балтийской историографии быстро возрастает, соответствующие тексты становятся более разнообразными и разноязычными. Жанры источников разнообразятся. Общее количество их приближается к сотне. Среди них Виганд Марбуржец, Генрих Берингер, Лауринас Блуменау, Миколай Ласоцкий, Рашид-ад-дин, Лаоникикос Халкокондилес, Эней Сильвий Пикколомини и особенно Ян Длугош с его обстоятельным трудом «Historia Polonica», наиболее основательный и компетентный источник, в частности, и по балтийской тематике. Выдержки из свидетельств этих и многих других авторов читатель найдет теперь в собрании «Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. I» (Vilnius, 1996), подготовленном Н. Велюсом.

Здесь сто́ит привести краткий список названий балтийских племен в порядке их появления в источниках. При этом следует помнить, что в отдельных случаях названия племен могут иметь соответствия (иногда весьма точные), не относящиеся, строго говоря, к племенам, но к другим объектам (топонимам, гидронимам, антропонимам).

Невры (возможно, гелоны) — V в. до н. э. (Геродот), галинды и судины (может быть, сали, в которых с известным основанием можно видеть предков селов) — II в. н. э. (Птолемей Старший), пруссы — II в. н. э. (Птолемей Старший) [следующее появление этого названия — 998—999], айстии/эстии — II в. н. э. (Тацит), селы/селоны — III—IV вв. н. э. («Tabula Peutingeriana») [следующее появление — 1212—1213; однако Selliani обозначало, видимо, устье реки селов, а не самих селов], курши — 853 («Vita S. Anskarii» Римберта), ятвяги — 945 г. (русские летописи).

IV. О селах (селонах), происхождении их имени и вероятной этимологии этого этнонима

Еще два с небольшим десятилетия тому назад с е л ы (селоны) принадлежали, пожалуй, к числу древних балтийских племен, информация о которых считалась весьма скудной и вызывавшей к себе довольно малый интерес. К тому же, само название селов оставалось темным, как бы лишенным сколько-нибудь надежного смысла.

Современные попытки картографирования местоположения селов в начале XIII века помещают их (разумеется, лишь с известной степенью вероятности) в с е р е д и н у Балтии как некоего целостного ареала, населенного, не

считая отдельных и в общем незначительных исключений, балтами, вполне сохранявшими свои племенные языки. Кроме этой «балтийской» Балтии, открытой с запада и юга Балтийскому морю, в это время еще сохранялись островки балтийского населения и балтийской речи к югу, юго-востоку и востоку от указанной выше Балтии как некоего непрерывного балтоязычного континуума. Следует напомнить, что, если островки балтийской речи в XIII веке (да и позже) не привлекали к себе внимания, то «балтийская» Балтия в этом веке получила ряд весьма обширных и достаточно надежных описаний. Собственно говоря, именно с XIII века «балтийская» Балтия существенно открывает себя текстами о самой себе.

Сама же она простирается с северо-востока от земли, населенной латгалами, до юга и юго-запада, заселенных ятвягами и пруссами. «Срединность» селов определяется не только и не столько геометрией, сколько тем, что только земля селов граничит исключительно с землями других балтийских племен — латгалами на севере и северо-востоке, литовцами на востоке и отчасти на западе, земгалами на северо-западе [47]. Таково было местоположение селов в начале XIII века, отчасти, вероятно, и раньше. Впрочем, и позже, судя по языковым «селизмам», обнаруживаемым в восточной части Латвии и Литвы в их нынешних границах, потомки селов так и остались по обе стороны границы, отделяющей эти страны и ныне. О «срединном» положении селов можно говорить и в несколько ином ракурсе. Если Западную Двину (Даугаву) в пределах Балтии разделить на три примерно равные части, то окажется, что селы располагались по «средней» части этой реки, большей частью к юго-западу от нее и в существенно меньшей части к северо-востоку от Западной Двины, где, видимо, селы составляли меньшинство среди латгальского населения.

Племенной центр селов располагался, видимо, на Западной Двине против устья впадающей в нее с севера реки Айвиексте (Aiviekste), правого притока Двины (кстати, крупнейшего) [48]. Именно в этом месте возник в качестве племенного центра селов Селпилс (лтш. *Sēlpils*, лит. *Sėlpilis*). Корень *sel- применительно к реке (во-первых) и к территории Латвии (во-вторых) засвидетельствован уже картографически в источнике позднеримского времени, называемом «Tabula itineraria Peutingeriana» (III—IV вв. н. э. [по имени немецкого гуманиста Конрада Пёйтингера (1465—1547)] и известном по копиям X—XII вв. Среди водных путей того времени в «Tabula Peutingeriana» отмечена, впадающая в Балтийское море «река с е л о в» Fluvius Sellianus, чье название восстанавливается по фрагменту Caput fl(uvii) S e l l i a n i. Это указание само по себе очень важно (см. ниже) при всей двусмысленности слова caput в этом случае, поскольку оно в данном контексте может обозначать и начало реки и ее конец, верховье и устье, ср. русск. диал. *голова* 'исток

реки/ручья’, но и *голова* как обозначение и верха и низа, например, снопа (см. СРНГ 6, 1970, 300—301); любопытно, что там же отмечается, что *голова* обозначает место, где н а ч и н а е т с я озеро (а начало озера, чаще всего и образуется у с т ь е м («низом») реки).

Более частые упоминания селов приходятся уже только на XVIII век, но не менее важно то, что селы в этих источниках включены, как правило, в более полные контексты, из которых как раз и извлекается та максимальная информация о них, которой мы располагаем.

При всех сложностях определения границ распространения селов, и тем более что в разные периоды они существенно менялись, наиболее целесообразно в настоящее время определить в е с ь о б ъ е м территории пребывания селов, по возможности указывая наиболее надежно определяемое ядро их и те зоны или анклавы, которые можно подозревать в том, что некогда и в них пребывали селы. Собственно говоря, в настоящее время именно такая установка и определяет бóльшую часть исследований в области селонской этногеографии селов и Селии. В настоящее время едва ли можно сомневаться в наличии некогда селов на правобережье Даугавы, во-первых, и, во-вторых, по словам Эндзелина, «что юго-восточные говоры [Видземе. — *В. Т.*] некоторыми своими особенностями сильно напоминают те говоры Селии, которые бытуют к югу (на левом берегу Даугавы) от упомянутой области Видземе; поэтому напрашивается мысль, что прежде там на обоих берегах Даугавы жило одно и то же племя (селы?). Нужно отметить, что уже Буга подозревал в свое время, что некогда в восточной части Видземе также сидели селы и что по топонимическим данным следы селов обнаруживаются вплоть до Алуксне. Попытка установления границ Селии в XIII веке по данным одного раннего источника еще 65 лет назад предпринял Э. Штурме, опубликовав соответствующую карту. На основе источников восточной группы культуры курганных могильников он же очертил границы распространения селов, относящиеся к VI веку. Дополнительный вес этому заключению придает то, что на карте очерчен с известной мерой вероятности и ареал восходящей интонации. Несколько позже В. Руке предположила особую группу селонских говоров, включив в нее не только говоры Аугшземе, но и говоры уже упомянутой юго-восточной Видземе с восходящей интонацией.

В начале 60-х годов XX века К. Анцитис и А. Янсонс пришли к выводу, что в пределах Видземе селы жили среди других этноязыковых групп в ряде мест, о чем могут свидетельствовать названия ряда населенных пунктов с этнонимическим корнем *sel- (стóит напомнить о заслуживающем внимания мнении, согласно которому этот же корень присутствовал в языке селов для обозначения Даугавы (см. выше о городе *Sēlpils* на левом берегу Даугавы и некоторых других названиях с корнем Sel-)). Названные авторы высказывают также пред-

положение, что присутствие восходящей интонации в современных говорах «видземского» ареала могло бы дать повод для предположения о том, что на этой территории, начиная с III—IV вв. (т. е. со времени, когда селонская тема впервые выступает в «Tabula Peutingeriana») селы обитали компактной массой (о роли этой интонации для определения селонского очага и на правобережье Даугавы в бассейне Айвиексте писали и лингвисты и археолог Э. Шноре).

В настоящее время можно говорить о немалых успехах в области селонской диалектологии — и не только в области изучения восходящей интонации и теми преобразованиями, которые были связаны со стабилизацией ударения на первом слоге или с трансформацией восходящей интонации в прерывистую в слогах, которые находились перед более ранними ударными слогами слова, но и в таких явлениях, как палатальная перегласовка (ср. литер. govs ʽкорова’, но gùo^{e}s в Даудзесе), новые удлинения, приобретающие даже интонацию, звуковые переходы в определенных условиях, морфологические диалектные особенности (ср. mun ʽмне’ при литер. man и др.), лексические диалектизмы и т. п. — Последняя по времени из известных автору этих строк работ синтетического характера о селах, их распространении (с картами) и языке — *М. К. Рудзите.* К вопросу о селах на правобережье Даугавы // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980. С. 159—163[49]. — См. карту территории Латвии и ее составных частей в XIII веке.

Ранние и наиболее информативные сведения о с е л а х, одном из балтийских племен, которые и исторические источники и данные о языковых «селонизмах» позволяют поместить по обе стороны Даугавы между латгалами на правом берегу и земгалами в юго-восточной части Видземе, что косвенно подтверждается и распространением языковых селонизмов в современных латышских и литовских говорах, представлены в «Хронике Ливонии» Генриха Латыша. См. Heinricus de Lettis. Chronicon Livonicum vetus continens res gestus trium primorum episcoporum. Francofurti et Lipsiae. MDCCXL; перевод на литовский (как и «Хроники Ливонии» Германна из Вартберге) см. в книге — Henrikas Latvis. *Hermanas Vartbergė.* Livonijos kronikos. Vilnius, 1991. Эти сведения автор «Хроники» помещает в контекст борьбы с я з ы ч е с т в о м, особенно жестокой и упорной, и стремлением к распространению христианства.

П е р в ы й раз о с е л а х в этом контексте Генрих Латыш упоминает в своей «Хронике» (XI, 6):

> Postquam dominus ecclesiam suam a paganorum impugnatione liberavit, timens episcopus, ne post exitum suum similia facientes, Lyvoniam ubique devastent, c a s t r u m S e l o n u m, quod erat eis egredientibus et ingredientibus

in refugium omni tempore, destruere cogitabat, et missis nunciis suis per universam Lyvoniam et Letthigalliam, qui se fidei iam coniunxerant christiane, convocat omnes in expeditionem. Et collecto exercitu magno, mittit episcopus abbatem Theodencum et Eggelbertum prepositum cum omni familia sua et peregrinis, adiunctis simul fratribus milicie Christi, ad expugnandum S e l o n e s. Et ibant versus Ascrad, et transeuntes D u n a m corpora Lethonum antea occisorum inhumata reperiunt, que circulantes per viam et ordinate incedentes, ad c a s t r u m S e l o n u m perveniunt. Et obsidentes castram, undique in circuitu multos in munitione vulnerant sagittis, multos per villas captivantes, piures occidunt, ignem copiousum per lignorum comportationem incendunt. Nocte ac die requiem non dantes, S e l o n i b u s timorem incuciunt. Unde clam vocatis senioribus de exercitu, petunt pacem. At illi : «Si veram, inquiunt, pacem desideratis, abrenunciate ydolatrie, et verum pacificum, qui est Christus, in vestrum castrum recipite, baptizamini et Lethones inimicos nominis Christi deinceps a castro vestro removete». Placet hec forma pacis, et datis obsidibus baptismi sacramenta se recipere promittunt et Lethonibus remotis christianis se per omnia spondent obedire. Acceptis itaque pueris ipsorum mitigatur exercitus. Unde albas et prepositus cum aliis sacerdotibus, ascendentes ad ipsos in castuem, ad fidem iniciando eos instruunt, et aspergentes castrum aqua benedicta, et vexillum beate Marie in arce figunt; de conversione gencium gaudentes et deum collaudantes de ecclesie profectu, leti eum Letigallis et Lyvonibus in terram suam revertuntur (XI, 6, 1207 г.).

«После того как Господь избавил церковь свою от нападения язычников, епископ, боясь, что по отъезде его они так же опустошат и всю Ливонию, задумал разрушить з а м о к с е л о в (Selonum), который всегда и при отступлении и при наступлении служил им убежищем. Послав своих гонцов по всей Ливонии и Лэтигаллии, которые уже присоединились к христианству, он звал всех в поход. Собрав большое войско, епископ послал аббата Теодериха и настоятеля Эггельберта со всей своей дружиной и пилигримами, а также братьями рыцарства Христова взять з а м о к с е л о в. Они направились к Аскрадэ и, перейдя Двину, наткнулись на непогребенные тела убитых литовцев; прошли, ступая по ним, и, двигаясь в полном порядке по дороге, приблизились к з а м к у с е л о в. Осадив его, много народу кругом на укреплениях переранили стрелами, многих взяли в плен по деревням, еще больше число убили; собрав дрова, зажгли большой огонь. Не давая осажденным передышки ни днем, ни ночью, привели в ужас с е л о в. Тогда, тайно вызвав старейшин войска, те стали просить мира. Им ответили: “Если вы хотите искреннего мира, откажитесь от идолопоклонства, примите в ваш замок истинного миротворца — Христа, креститесь и впредь не пускайте в ваш замок литовцев, врагов христианства” . Эти предложения были приняты. Дав заложников, они обещали принять таинство крещения и, прогнав литовцев, во всем повиноваться христианам. Получив в заложники их сыновей, войско успокоилось. Аббат и настоятель с другими священниками пошли к ним в замок, наставляли их в начатках веры, окропили замок

святой водой и поставили в крепости хоругвь пресвятой Марии. Радуясь обращению язычников и славя Бога за успех церкви, они весело возвратились с лэтигаллами и ливами в свою область» (XI, 6).

Следующий фрагмент «Хроники Ливонии», относящийся к селам, — XI, 9, 1207 г.:

Preterea omnes Theuthonici undique per Lyvoniam dispersi cum aliis Lyvonum senioribus ad ecclesie defensionem Rigam conveniunt. Audientes itaque Rutheni Theuthonicorum et Lyvonum in Riga collectionem, timentes sibi et castro suo, eo quod male egerint, et non audentes in castro suo Rigensium exspectare adventum, collectis rebus suis et equis et armis Theuthonicroum inter se divisis, incendunt castrum Kukenoys, et fugiunt unusquisque per viam suam. Lethigalli et Selones, qui ibi habitabant, silvarum tenebrosa querunt latibula. Rex autem sepedictus, sicut male egerat, sic versus Ruciam, nunquam deinceps im regnum suum rediturus, abscessit (XI, 9, 1207).

«Все тевтоны, рассеянные в разных местах по Ливонии, вместе с другими старейшинами ливов, собрались в Ригу на защиту церкви. Когда русские услышали, что тевтоны и ливы собрались в Риге, они, боясь за себя и за свой замок, зная, что поступили дурно, и не смея дожидаться прихода рижан в замке, собрали свое имущество, поделили между собой коней и оружие тевтонов, подожгли замок Кукенойс и побежали каждый своей дорогой. Лэтигаллы и селы, жившие там, скрылись в темные лесные трущобы, а не раз упоминавшийся король, зная за собой злое дело, ушел в Руссию, чтобы никогда больше не возвращаться в свое королевство» (XI, 9, 1207).

Третий фрагмент о тяжелой жизни селов, преследованиях и убийствах их — XVII, 5, 1213 г.:

Milites etiam de Kukenoys et Letti, sepius eodem tempore Selones et Lettones despoliantes, villas et confinia eorum vastaverunt, et alios interficientes, alios captivos ducentes, et in via frequenter insidiantes, multa eis mala intulerunt (XVII, 5, 1213).

«Рыцари из Кукенойса и лэтты часто в то время разоряли селов и литовцев, опустошали их деревни и владения, одних убивали, других уводили в плен, не раз делали засады на дорогах и причиняли им много вреда» (XVII, 5, 1213).

Последний, четвертый фрагмент, в котором выступают селы, находится в XXIX, 5, 1225 г.:

Tandem in Kokenoyse similiter documentorum sanctorum monita, tam Theuthonicis, quam Ruthenis et Letthis et S e l o n i b u s cohabitantibus fideliter impendit, commonendo semper Theuthonicos, ne subditos suos grananibus aut exactionibus indebitis nimium lederunt, sed fidem Christi sedulo docendo, consuetudines christianas inducerent et ritus paganorum abolerent et tam exemplis eorum bonis, quam verbis eos instruere docerent (XXIX, 5, 1225 г.).

«Наконец и в Кукенойсе преподал [речь идет о папском легате, объезжавшем области по Двине. — *В. Т.*] правила святого учения живущим там тевтонам, русским, лэттам и с е л а м, а тевтонов все убеждал не обижать подданных чрезмерными тяготами и недолжными поборами, прилежно учить их вере Христовой, вводить христианские обычаи, уничтожая обряды язычников, воспитывать людей и добрым примером и словом» (XXIX, 5, 1225).

В общем всех этих сведений о селах в «Хронике Ливонии» немного, но и по ним легко восстанавливается судьба племени селов за каких-нибудь два десятилетия в первой четверти XIII века, когда балтийские племена, населявшие эту территорию, впервые вышли на историческую сцену, когда свободные селы-язычники со своими верованиями, ритуалами и своим образом жизни, населявшие землю, которую они считали своей, где сопротивляясь, а где и просто нехотя, становились христианами, и в ходе этого исторического процесса «селонское» так или иначе уступало место христианскому, менялась и сама жизнь и постепенно утрачивался их родной язык, о котором наука может судить только по жалким остаткам, существующим еще уже в совсем других, хотя и родственных языках, которым повезло больше, чем селам и их языку. Но мы должны быть благодарны уже за одно то, что наша память об исчезнувшем народе и его языке еще имеет свою опору и в старых исторических источниках, и в разрозненных и в общем скудных остатках языка, которые сохраняют уже другие языки [50].

Если в «Хронике Ливонии» Генриха Латыша упоминания селов ограничиваются периодом с 1207 г. по 1225 г., при том, что обозначения селов отмечены всего лишь семикратно, то в «Ливонской хронике» Германна из Вартберга [51], где селы и «селонское» упоминаются всего лишь трижды несмотря на то, что эта «Хроника» охватывает период с 1196 г. по 1378 г. Естественно, что упоминания селов у Генриха Латыша современны автору, чего нельзя сказать о всем том почти двухвековом периоде, который охватывает «Ливонская хроника» Германна из Вартберга. Разумеется, что в источниковедческом плане информация Генриха Латыша оказывается более ценной. Но, тем не

менее, у «Ливонской хроники» есть и свои преимущества. Говоря о первой половине 50-х годов XIII века Германн из Вартберга совсем в новом по сравнению с Генрихом Латышом контексте (строительство замка в Клайпеде [Memell] в 1252 г., воздвижение храмов на куршском побережье) говорит и о земле селов (Zelen). В сообщении от 1373 года говорится, что в то же самое время началось воздвижение Замка в Селии/Селонии (in Zelonia). В записи от 1376 года сообщается о Селбурге (Selburgs), вероятно отождествляемом с Селпилисом (Selpilis), существующим и поныне. Таким образом новое в сообщении Германна из Вартберга по сравнению с Генрихом Латышом состоит в упоминании о постройке замка в земле селов, укрепленного центра если не городского, то «предгородского» типа (впрочем, замок селов упоминается и у Генриха Латыша в «Хронике Ливонии» (см. выше).

Из важных источников нужно отметить и третий текст «хроникального» жанра, так называемую «Рифмованную хронику»[52], написанную в XIII веке, вероятно, около 1290 г. В этой хронике имя селов упоминается четырежды. Ср.: die Dune ein waʒʒer ist genant, | des vluʒ gêet von Rûʒen lant, | Dar ûffe wâren geseʒʒen | heiden gar vormeʒʒen, | Liwen wâren sie genant, | daʒ stoʒet an der Sêlen lant (стихи 139—144); — Sêlen ouch heiden sint | und an allen tugenden blint (стихи 337—338); — Von Rîge ein bischof ist genant, | der hât burge unde lant | in sînem gestifte wol gelegen, | das wiʒʒen, die dâ wonens pflegen. | Sêlen, Liven, Letten lant | stêt ein teil in sîner hant (стихи 6673—6678), ср. также Selhen, Lîven, Letten lant | wâren in der Rûʒen hant | vor der brûder ziten komen, | der gewalt war in benomen: | er treib sie zû lande wider (стихи 645—649). В «Рифмованной хронике» упоминается также земля селов — Selenland.

Наконец, нужно отметить несколько спорадических упоминаний в середине XIII века. Речь идет об акте папы Иннокентия IV от 1254 г., где подтверждается право рыцарей-меченосцев на владения (castra seu munitiones) селов и их усадьбы, селища (villas)[53]. В дарственной грамоте Миндаугаса Ливонскому ордену (1255) речь идет о селах, причем также упоминаются отдельные поселения селов[54]. В другой дарственной грамоте Миндаугаса (1261 г.) обозначены границы распространения селов: Даугава на севере, линия Таурагнай—Утена—Субачюс—Пасвалис на юге, но эти границы, конечно, должны пониматься как условные: несомненно, что в XIII веке селы обитали и севернее и южнее указанных пределов, хотя, видимо, эти поселения были островными и в первую очередь подверженными ассимиляции — латышам на севере, латгалам на востоке, литовцам на юге. В дарственном акте Миндаугаса 1261 года содержатся сведения, которые позволяют более точно определить границы территории, занимавшейся селами: на севере Дау-

гава от Даугавпилса (Nawenene) до Кекавы, впадающей в Даугаву же; на юге граница шла от Даугавпилса через озеро Lodenbeke —Dussathe (река) — Sarthe (озеро) — Swente uppe, Swentoppe — Lettowiae/Lettawie (река) — Wasseuke/Waseweke — Vesinthe/Wesinte — Lenene/Lewene (реки).

XIII век оказался для селов роковым в своей двойственности. Именно в этот век они вошли в историю и оставили о себе память в письменных источниках, в значительной степени потому, что оказались соседями латышей и литовцев, к этому времени глубже укоренившихся в балтийском пространстве. Соседство с ними и, более того, сосуществование с ними было для селов началом конца — ассимиляция стала неизбежной. Но то, что знает наука о селах, имеет своим главным источником тексты того же самого XIII века.

Уже высказывалось предположение, что этноним селы, видимо, соотносим с названием пространства, которое они населяли — *Sēlia* [Sēlija? — Dz. H.] (лтш.) / Sė̃lia (лит.). Естественно предположить, что само это пространство названо было по имени реки, по обеим берегам которой сидели селы. Реконструкция названия этого гидронима, предложенная К. Кузавинисом (Op. cit. S. 179—180), представляется бесспорной, но и естественно напрашивающейся — балт. **Sēla*/*Sė̃la. Эта реконструкция имеет сильные аргументы в свою пользу и с в я з ы в а е т балтийские формы этого гидронима, широко представленного в Балтии с водными названиями с тем же корнем, представленными гидронимией существенно более южных территорий.

Но сначала уместно указать гидронимы с корнем **sēl-*/*sėl- в Балтии. Не раз отмечалось, что в Л а т в и и (в узком смысле слова) нередко встречаются гидронимы и топонимы с корнем sḗl-. В соответствующей литературе есть указания на наличие топонимов с этим корнем, но поскольку начатое Эндзелином издание «Latvijas PSR vietvārdi» не дошло до тома на S-, приходится довольствоваться немногим. Впрочем, одного названия опорного центра селов на Даугаве, теперь небольшого городка, при учете высокой степени вероятности, что и Даугава (по меньшей мере одна из частей ее) обозначалась тем же корнем *Sēl-*, достаточно, чтобы оценить сам тип таких поселений. Из гидронимов можно назвать *Sēlīte, Sellīte* (р. Селлита) в р-не Добеле[55]. Нельзя обойти молчанием гидронимы с иной огласовкой корня (и.-евр. *o > балт. a), а именно Sal-. Их существенно больше, чем названий с огласовкой *ē*, хотя в ряде случаев допустимы и другие интерпретации. Обращает на себя внимание и то, что многие Sal- гидронимы тяготеют к Даугаве и тем более к ее бассейну. Несколько примеров гидронимов этого рода — Salaca (р. *Салаца*), Salace, Salas gr., Salas-Ruskulovas str., Salas str. (руч. *Салас*), Salate, Sal*ā*te (р. *Салате*), Salenieku u., Saliena, Saliene, *Sālija, Saliņupīte,* Salu gr., Salupe (р. *Салупе*) и др. (Ibid. 4. burtnīca. S. 4—5)[56] и др. В латгальском языковом

пространстве примеры этого рода встречаются реже и обладают меньшей достоверностью, в частности, и в силу того, что они не всегда отличимы от русских гидронимов и топонимов. Ср. *Seļina* (при *Šelina*), ручей *Селуна*, Seleniki и др. и с вокализмом а: *Salātu ez.* (ср. *Sološs*), *Saliņa*, *Saleņu az.*, Sali, *Salinīki*, Salenieki, *Salinīki*, Salnieki, *Salinīki*, *Salīši*, *Salieši* и др. [57].

Корень *sel-/*sal- широко представлен в литовской топонимии и гидронимии. Ср. населенные пункты лит. S*ė̃lė*, *Sėlenaĩ*, *Sėlenė̃*liai, S*ėlẽniai*, Se*lỹ*nė, S*ė̃liškės*; Salà (четырехкратно), Sãlakas, Salãmiestis, Salaminai, *Salantaĩ*, Sal*ẽlė*, Saleniñkai, *Saliaĩ*, Sali*ẽčiai*, Saliniai (дважды), *Saliniavietė*, Saliniñkai, *Salinìškis*; *Salõčiai* (четырехкратно), Sãlos (12 раз!), *Salótė*, *Salùčiai*, Salùpiai (!) [58]16. Из литовских гидронимов с двумя типами корневого вокализма ср.: S*ė̃*liupis, Seliupys; Salùpis, Salà (дважды), *Salaĩtė*, *Saláičiai*, *Salaičiùkas*, *Salakaĩ*/Sãlakas, Sãlantas, Sali*ẽ*tis, *Salìnė*, Salinė̃lis, Salìnis, Salipỹs, *Salýtė*, Sali*ų̃* up*ẽ*lis, *Salõčių ẽžeras*, *Salõčius*, Salõs *ẽžeras*, Salõs up*ẽ*lis, Salõs ùpis, *Salótas ež.*, *Salõtė*, *Salótė*, Salótis, *Saloĩtė*, Sãlupis, Salùpis (LUEV. 1963. S. 141, 143; A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. S. 287—289, 295).

В прусской топонимии ср. Salkaim, 1507 (позже — Salpkeim); Saloniten, 1402—1408; Sellen, 1507 (позже — Sollainen) и др. [59], ср. прусск. salus 'дождевой ручей'. На территории Восточной Пруссии и Малой Литвы отмечен ряд топонимов с теми же двумя типами огласовки корня, ср. *Sėlinaĩ*, *Sėlinėliai*, Selininkai, Salininkai, *Salėnai* (*Žalėnai*?) и др. [60]. Нужно отметить, что гидронимы с корнем *sel-/*sal- отмечены и на пространствах к западу и югу, юго-востоку от собственно Балтии.

Здесь нет возможности, да, пожалуй, и необходимости приводить отмеченные в многочисленных исследованиях по топонимии и гидронимии примеры с корнем sel-/sal-, но достаточно указать наиболее типичные образцы и сослаться на соответствующую литературу, по крайней мере на наиболее представительные ее образцы — как монографические, так и просто на списки (индексы). Ср.: *Sieluń*/*Śeluń* (in Schelvn, 1501; Sielyuny, 1530, circa Syelun, 1542, Sieliun, 1582) [61]; — Salent See (Sallanten, 1651; Sallen, 1595; *Salęt*/Zalént), Salunka See, Salmant, Salusker Fliess, *Sała*, Saleszno See [62]; — *Salęt*, Salinka, Salinko, Salino, *Salińskie Jezioro*; Sala, *Selmęt Wielki*; Sielsko/Sillingsdorf [63]; Saleschno See, Salinka, Salmant, Salna, Salno; Selina, Sellment See, *Selmęt*, *Selmętek*, Selon See, Selonicken [64]; — Sala, Sale, Sallenthin, Salotin (1254), Salentyn (1254), Sallentin (1229), Salentin (1244); Selente (1197), Selen, Selene, Selenowe и др. [65] Эти и подобные им примеры характеризуют широкую полосу, идущую с востока на запад южнее Балтийского моря.

К юго-востоку от Балтии в бассейне Верхнего и Среднего Днепра многочисленны гидронимы с корнем *сел-*/*сал-*. Лишь часть подобных приме-

ров, притом что не всегда есть уверенность, что речь идет о том же самом *sel-/*sal-, так или иначе связано с этнонимом селов. Из трех с половиной десятков примеров, подозреваемых в связи с корнем *sel-/*sal-, о котором говорилось раньше, сто́ит привести лишь более надежную часть их. Ср.: *Сельна, Селня, Сельня, Селнов, Сельнича, Сельчанка, Селишенка, Селитенка, Селеченка, Селец*; *Салона, Салотинка, Салова, Саловка* и др. [66]

Не меньше водных названий с теми же двумя вариантами огласовки корня и в бассейне Оки. Характерно при этом, что более надежные гидронимы и в большем количестве встречаются в верхнем и среднем течении Оки, где не раз уже отмечались и другие балтизмы [67]. Из окских гидронимов с рассматриваемым корнем более вероятны следующие — *Села, Селка, Селна, Селня, Сельна, Сельня, Селонинка, Селин, Селина, Селинка, Селинское, Селинской, Селенинь, Селена, Селенка, Селенское, Селянка, Селятинка, Селитинка, Селитинское, Селейка, Селеевка, Селеевское, Селеченка, Селечка, Сельчанка, Селецкое, Селецкой* и др.; *Салона, Салотинка, Салова, Соловка* и др. [68]

В бассейне Днестра и Южного Буга также отмечены 5—6 гидронимов с корнем *сел-*, ср. *Селетин* (Seletyn), *Селица, Селиска, Селянка, Сельница* [69]. И количество примеров и их выразительность, конечно, существенно меньше соответствующих гидронимов в бассейнах рек, рассмотренных ранее. Тем не менее, этот ареал между Истром и Танаисом, которым еще в античное время интересовались исследователи, выделяя его в особый географический регион, весьма существен. Именно в бассейнах Днестра и Южного Буга и в предгорьях Карпат могли осуществляться встречи прабалтов с фракийцами, в частности, с даками и гетами. Скорее всего у прабалтов были контакты с даками, ориентированными в сторону Германии, истоков Истра, тогда как геты были обращены к Понту, на восток (Страбон. VII. 3, 12). Затронув германскую тему, Страбон сообщает, что «Есть также в Германии река *Сала*», между которой и Реном «победоносно ведя войну, нашел свой конец Друз Германик» (VII. 1. 3). Этот гидроним (*Σάλα*), как и *Сале* (*Σάλη*), город на острове Самофракии, *Σελινούντιον*, гора в Арголиде (Plut.), *Σεληναῖον*, *Селеней*, лунная гора в Арголиде, *Σελῖνους*, город на южном побережье Сицилии *Селинунт* и особенно *Σελλοί*, селлы, коренные обитатели Додоны, упоминаемые уже у Гомера, и т. п., особенно топо- и гидронимические названия, зафиксированные во фракийском (см. ниже), наводят на мысль о связи и в этом случае двух типов корневого вокализма, как и в случае с селами Балтии и с именем, которым они, видимо, называли Даугаву (ср. также два гидронима *Σελῖνους*, *Селинунт*, река в Трифилии (Элида) и река в Ионии (Xen. в обоих случаях).

В этой перспективе др.-греч. *Σελ-* : *Σαλ-* и балт. Sel- : Sal- заслуживают сопоставления друг с другом и уж во всяком случае внимания. Существенно, что слова с обеими разновидностями корневого вокализма могут обозначать

и этнос, и реку, и поселение (город), иначе говоря выступать как и этноним, и гидроним, и топоним, и, забегая несколько вперед, как антропоним.

За последние полвека, после того как появились в свет два важных собрания лексики двух древних и наиболее представительных языков Балкан[70] и собрание древней малоазиатской антропонимии[71], не говоря уже об исследованиях ономастики, топонимии и гидронимии обоих больших этих ареалов[72], возникла и проблема балто-балканско (-малоазиатских) языковых связей[73].

Кроме только что указанных данных древнегреческих источников, в которых присутствуют топонимы, гидронимы, этнонимы и антропонимы с корнем *sel-/*sal-, уместно обратиться к фракийскому материалу. Вокализм e засвидетельствован в слове фракийского происхождения *Σελλητική*, определяемом Д. Дечевым как «Strategie im mittleren Haemus» (Хемус/Гемус, лат. Haemus — горная цепь в северной Македонии и Фракии, а также имя сына Борея и Орифии, превращенного в гору[74]). Название *Σελλητική* отмечено у Птолемея 3, 11, 6: *στρατεγίαι δὲ εἰσὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ πρὸς μὲν ταῖς Μυσίαις καὶ περὶ τὸν Αἷμον τὸ ὄρος αρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν Δανθηλητική, Σαρδική, Οὐςδικησική, Σελλητική*. Согласно Томашеку I. 86, *Σελλητική* сконструировано из этнонима **Σέλλητες*, из *Sel-*ēt*-, сопоставимым с лтш. Sellite (*Селита*), Sel*īte*, с предполагаемыми гидронимическими балтизмами в бассейнах Днепра и Оки *Селитенка*, *Селитинка*, *Селитенское*, *Селиченка*, *Селеченка*.

В иллирийском также находится соответствие этнониму селов. Ср.: *Ζεῦ ἀνα, Δωδωναῖε, Πελασγικὲ, τηλόθι ναίον, | Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ…* (Гомер. Il. XVI, 233—234) «Зевс Пеласгийский, Додонский, далеко живущий владыко | Хладной Додоны, где Селлы, пророки твои обитают» (В этом древнегреческом тексте «иллиризмом» А. Майер считает именно слово *Σελλοὶ*, см. Op. cit. S. 299). Правота этой точки зрения, вероятно, подтверждается и другими иллирийскими словами этого же корня, ср. *Σελινω* при днепр. *Селинка*, окск. *Селинка*, *Селин*, *Селина*, *Селинской*, *Селинское* и др., лит. Sė̀linė, название реки [ср. лит. sė̃linti, selinė́ti ʽкрасться’, ʽподкрадываться’ (в частности, и о воде, волне, ср. в типологическом плане лит. sliñkti ʽдвигаться’, ʽползать’, но и ʽтечь’, ʽпротекать’, ʽпросачиваться’, *Sėlỹnė*, название деревни, возможно, прусск. *Selinike, давшее Selniken (1426); допустима и реконструкция *Selenike.

Особо нужно отметить обилие соответствий слов с корнем *sel-/*sal-, фиксируемых в Малой Азии (как и на Балканах, нередко и за пределами их; ср. лат. *Selīnūs*, *-ūntis* ʽСелинунт’, город на южном побережье Сицилии при

одноименном приморском городе, также и реке в западной Киликии), и балтийских примеров, о которых писалось выше. Поэтому здесь важнее говорить о древних малоазиатских словах, выступающих в функции л и ч н ы х имен (Personennamen) и при этом имеющих корень *sel-/*sal-. Л. Згуста в своей книге «Kleinasiatische Personennamen» (Prag, 1964) вслед за старой работой начала XX века[75] приводит ликийский антропоним Σελλις (ср. надпись PL 156: *Σελλιος τοῦ Ποναμοα*), ср. *Σελλίωι Σαπιέτωι* (BCH. 11. 1887. S. 466. № 33 [лидийск.]), но автор этого собрания предпочитает думать о лат. Sellius; — лик. *Σαλας* (лик. версия Zala)[76]; *Σαλης* (max.): *Κωνιν Σαλητος* (Gen.)[77]; *Σαλος* (masc.), килик. Σαλω (Dat.)[78]. Возможно, сюда же нужно отнести ряд примеров с тем же корнем и суфф. *-αμ-* (*Σαλαμας*), *-μ-* (*Σαλμας*), *-μων-* (*Σαλμων*). С балтийской стороны особенно показательны примеры типа прусск. Selune; Sale (ок. 1327), Salanx (ок. 1300), Salicke (Petir Salike), Saluke (1352, 1359) и др.[79], лит. Sėlẽnis, Selenis, *Selenys (ср. Sellenies, Selenius); Selẽnas, *Selenaitis, Sė́lena, *Sėlenta* и др.; Salà, Salỹs, Salãla, Salẽckas, Saleliónis (Salialiónis), Salenis, Salė́tis, Salìkas, Salínas, Salýnas, Salìnis, Salìnka, Saliū́nas, Saliutà, Saliutis, возможно, Seleckas, Seleikis, Selìckas и др.[80]; лтш. Sele, Szele, Sellick, Sellit, Sellon; Sallax, Sallack, Sallacks, Sallene, Sallyn (1507), Salit (1652)[81]. Кое-что восстанавливается по топонимическим материалам и для латгальского именослова, по крайней мере на основании топонимов (нередко и белорусских или русских) типа *Seļina*, Seleniki, *Salinīki*, Salenicki, Sal*iņa*, *Saleņu az.*, Sali и др.[82]. — Можно высказать (хотя бы как робкое предположение) мнение, согласно которому nom. propr. белор. *Сел* (*Селіч*), являющееся сокращением от полного имени *Селивон* (русск. *Селиван*), еще хранит память и о селах, некогда соседивших с западнобелорусскими поселениями. Ср. белор. *Сел*[83] (I. 147; III. 168), но и *Селений* (III. 141), *Селін* (I. 147), *Селиний* (I. 141), а также старопольские личные имена с корнем sel-[84].

В связи с антропонимами с корнем Sel- и соответствующими в отношении корня топонимами и гидронимами уместно вернуться к сходной ситуации и в связи с ятвяжским названием Нарева Naura. Помимо указанных выше топонимов типа Naurska Góra и под., уместно напомнить об антропонимах типа лит. Naura, Niáura, Niaurà, Naurẽckas, Naurõnas, Naurónis, Naùrskas, Navrauskas и, может быть, Nùrka, Niùrka, Niurnáitis, Nurkáitis и т. п. (Liet. pavardž. žod. II. S. 307—308, 312, 324—325, 330, 341). Менее надежны, но не исключены полностью, близкие по корню антропонимы в прусском и тем более в латышском.

Читатель этой работы может с известным недоумением спросить, какое отношение имеет она к темам, обозначаемым обычно как «Onomastica Lettica», и тем более к «Onomastica Baltica». Ответы на эти вопросы следуют в этой заключительной части исследования. Но сначала несколько слов о са-

мом корне *sel-, надежно реконструируемом для индоевропейской эпохи, насколько лингвисты-компаративисты могут достичь самого раннего из возможных уровня.

Покорный в своем словаре (IEW I, 898—900) различает шесть значений, выражающихся корнем *sel-: 1. *sel- ʽжилое пространство’, ʽобиталище’, ʽпомещение’ и т. п. (ср. др.-в.-нем. sal ʽжилище’, ʽбольшое помещение’, лангоб. sala ʽдвор’, ʽдом’, ʽстроение’; — 2. *sel- (: *su̯el-) ʽбалка’, ʽбрус’, ʽбревно’, ʽдоска’ (др.-англ. selma, sealma, др.-сакс. selmo ʽпостель’, ʽрусло’, лит. súolas ʽскамья’); — 3. *sel- ʽбрать’, ʽхватать’ (др.-греч. ἑλεῖν, лат. con-silium ʽзаседание’, ʽсовещание’, ʽсобрание’, готск. saljan ʽподносить’, ʽжертвовать’); — 4. *sel- ʽскакать’, ʽпрыгать’, др.-инд. ucchal- ʽбросаться’, ʽскакать’, из *ud-sal(ati); др.-греч. *ἅλλομαι*, лат. salio ʽпрыгать’, ʽскакать’, лит. sálti ʽтечь’, прусск. salus ʽдождевой поток’, ср. лит. salà, лтш. sala ʽостров’, праслав. **solpъ* ʽводопад’ (словен. slap, русск. *солоп* и т. п.), праслав. *selpi̯ǫ ʽпрыгать’ и др.; — 5. *sel- ʽползти’, ʽкрасться’, ʽподкрадываться’, др.-ирл. *selit < *sel-*n̥tī* и др.; — 6. *sel- ʽумилостивлять’; ʽблагоприятный’, ʽблагосклонный’; ʽдоброжелательство’ (лат. sōlor ʽутишать’, ʽумерять’, ʽослаблять’; ʽосвежать’, ʽподкреплять’, готск. sēls ʽхороший’, ʽ/при/годный’; др.-исл. sǣil ʽсчастливый’, др.-в.-нем., др.-сакс, sālig ʽсчастливый’ и др.).

Из этих шести и.-евр. *sel- к названию селов (этноним) и реки (Даугавы), по обе стороны которой сидели селы, но и более того, судя по всему, так ее называли (*Sela/*Sala, ср. приводимые выше примеры), наибольшее отношение имеют корни *sel- 4 и 5, значение которых соответственно ʽпрыгать’, ʽскакать’ с идеей интенсивного и повторяющегося резкого движения и ʽползти’, ʽподползать’, ʽподкрадываться’ с идеей замедленного, постепенного, тихого, плавного движения. Оба эти движения не ограничиваются исключительно водными массами, но именно последние часто приобретают свою семантическую полноту именно в контексте движения вод. В латышской и литовской художественной литературе нередко выступают два клишированных типа описания главных рек этих территорий — Даугавы (иногда и Гауи) и Немана, к которым можно присоединить и Вислу, объединенных не только своей выделенностью как «первых» в этом ареале рек, но и как рек, впадающих в Балтийское море в его восточно-южном углу. Один из типов художественного изображения этих рек — их бурное состояние, высокие и агрессивные волны, выбрасывающиеся на берега и представляющие опасность для людей, лодок, небольших судов. Другой тип, противоположный, обычно описывается почти формульно— «река (имярек) спокойно, медленно (ср. лит. sálti), плавно, величественно, торжественно… несла свои воды…». Первый тип описания (*sel- 4) — о бурно-хаотическом движении волн, второй (*sel- 5) — об умиротворенном, благосклонном к человеку состоянии

реки. Любопытно, что в русской языковой и художественной традиции *река* (*речка*) и *речь* (*ректи*), слова, безусловно единого общего происхождения [85], объединяются свойством «льющести» — плавной («милостивой») [86] или бурно-хаотической (угрожающе-опасной). Р е ч ь течет, как и р е к а / р е ч к а [87].

V. Этноним как антропоним

Здесь придется сделать некоторое отступление в сторону. До сих пор речь шла в основном о словах с корнем sel- (: Sel-), присутствующих в гидронимах, топонимах, в этнонимах, отчасти и в личных именах. Таким образом, корень *sel- обслуживает весьма широкий круг объектов, которые неслучайно обозначаются одним и тем же корнем. О гидронимах и топонимах говорилось уже достаточно, и здесь кажется особых сложностей нет. Другое дело определение границы между этнонимом (селы) и антропонимами с корнем *сел*- (: sel-). Общая картина помогает определить цепь зависимостей между этими разными sel- обозначениями (кстати, речь идет не только о sel-, но и о других корнях, используемых в разных «жанрах» нарицания, именования). История обозначений объектов с помощью корня sel- показывает, что исходным локусом этого корня было обозначение вод, т. е. рек, озер, ручьев и т. п. Sel- гидронимы стали основой для обозначения некоей т е р р и т о р и и, лежащей по течению реки, в нашем случае Селии. Эта мотивировка в данном случае не вызывает сомнения. И обозначения реки и соответствующего прилегающего пространства мотивируют и предопределяют обозначения населенных пунктов (ср. *Селпилс* и др.) и всей соответствующей страны-пространства, а оно, как в огромном числе случаев, вызывает к жизни обозначение населения указанного пространства [88]. Но на этом — и в случае sel- этнонима, и в иных подобных случаях с другими обозначениями — цепь не исчерпывает себя. Речь в данном случае идет о ситуации, когда э т н о н и м начинает функционировать как а н т р о п о н и м, что особенно характерно в случае, когда субъект именарицания является д р у г и м по отношению к нарицаемому объекту («двойное» именование, при котором различаются «свое» и «чужое» имя одного и того же народа, племени, союза племен). Этот «другой», зная с в о й этноним и храня его, в определенных условиях определяет этого «другого другому» по а н т р о п о н и м у, по имени и наоборот допускает функционирование антропонима в качестве э т н о н и м а, нередко уничижительного, оскорбительного (впрочем, нередко и нейтрального). Так, в определенном жанре высказываний антропонимы функционируют как этнонимы (ср. *русские Иваны* или просто *Иваны*, *Иван* как образ персонифицированного «иванства», так же немцев во время войны

часто именовали фрицами или Гансами, т. е. антропонимы употреблялись как этнонимы [89]. Но и этнонимы в определенных ситуациях функционируют как антропонимы (возможно, именно так понималось первое слово в русском летописном списке послов — *Явтяг Гунарев*, scil. *Ятвяг* (ср. *лях* — *Ляхов*, *чех* — *Чехов* и др.). В генеалогических преданиях прародителями оказываются *Чех* (для чехов), *Лях* (для ляхов), *Рус* (для русичей), *Радим* (для радимичей), *Вятко* (для вятичей), *Крив* (для кривичей) и т. п. Во всех этих случаях этноним персонифицируется и становится сублимированным образом данного народа, в других же случаях антропоним начинает функционировать как этноним. Но эти «взаимопроникновения» антропонимического в сферу этнонимического и, наоборот, этнонимического в сферу антропонимического оказываются своего рода обменом одного на другое. В соответствующей перспективе ситуация еще больше усложняется и появляется возможность говорить о д в у х типах текста — «третьеличном» описательном («объективно-нейтральном») и связанном с непосредственным («прямым») обращением к другому (звательная форма), когда *все, что хочешь, может случиться* [90]. В обоих названных типах текста наблюдается тенденция к обозначению того, с кем или о ком говоришь, с помощью указания его и м е н и или н а ц и о н а л ь н о й принадлежности. Другие характеристики (профессия, специальность, место работы, внешний вид, возраст, особые приметы и т. п.) имеют меньшее значение и сильно уступают имени и национальности.

Собственно кроме раннего упоминания «селонской» реки в «Tabula itineraria Peutingeriana» (III—IV вв. н. э.) и разрозненных сведений о них у авторов XIII века, для которых селы и селонское было конкретным и еще вполне живым началом, от селов мало что сохранилось. В XIV веке о селах как бы забыли, но, сойдя с исторической сцены, сами они как-то сохранялись и, как показывают другие примеры, кое-где селонская речь еще могла звучать, но сознание обреченности их языка было, конечно, им присуще, хотя последним этапом его существования было все более и более суживающееся пространство, где язык доживал свой век в домашней обстановке, в кругу семьи. Мода на «селонское» кончилась. А какое-то время спустя она обнаружилась в очень узкой научной среде.

И все-таки главное о селах-селонах сохранилось. Имя племени, их реки, населенных мест, личных имен, восстанавливаемых с относительной достоверностью. Всего этого, конечно, мало, но достаточно, чтобы само имя селов не исчезло из памяти человечества. Отдадим селам должное — они сделали многое, чтобы о них, об их «селонском» мире (pax Selonica) помнили и в дальнейшем.

Примечания

[1] *ἀπὸ τοῦ Βορυσθενεϊτέων ἐμπορίου (τοῦτο γὰρ τῶν παραθαλασσίων μεσαίτατόν ἐστι πάσης τῆς Σκυθίης), ἀπὸ τούτου πρῶτοι Καλλιπίδαι νέμονται ἐόντες Ἕλληνες Σκύθαι, ὑπὲρ δὲ τούτων ἄλλο ἔθνος οἳ Ἀλιζῶνες καλέονται. οὗτοι δὲ καὶ οἱ Καλλιπίδαι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτὰ Σκύθησι ἐπασκέουσι, σῖτον δὲ καὶ σπείρουσι καὶ σιτέονται, καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα καὶ φακοὺς καὶ κέγχρους. ὑπὲρ δὲ Ἀλιζώνοἰκεουσι Σκύθαι ἀροτῆρες, οἳ οὐκ ἐπὶ σιτήσι σπείρουσι τὸν σῖτον ἀλλ' ἐπὶ πρήσι. τούτων δὲ κατύπερθε οἰκέουσι Ν ε υ ρ ο ί, Ν ε υ ρ ῶ ν δὲ τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον ἔρημος ανθρώπων, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν. ταῦτα μὲν παρὰ τον Ὕπανιν ποταμόν ἐστι ἔθνεα πρὸς ἑσπέρης τοῦ Βορυσθένεος* (IV, 17).

[2] Геродот IV, 49—50 подробно описывает реки, впадающие в Истр и объясняющие его полноводность особенно л е т о м (впрочем, и левые притоки Истра-Дуная были тоже полноводными, так как брали начало или в богатой водами местности и/или имели свой исток в горных областях, где в свою очередь собирали воды своих притоков, и все это устремлялось к Дунаю и далее вливалось в Черное море. Но о самом Истре Геродот, конечно, писал). Ср.: «Ведь Истр течет через всю Европу, начинаясь в земле кельтов — самой западной народности в Европе… Так-то Истр пересекает всю Европу и впадает в море на окраине Скифии. || Итак, оттого что воды названных рек и многих других вливаются в Истр, он становится в е л и ч а й ш е й рекой… А то, что количество воды в Истре и летом и зимой одинаково, объясняется, видимо, следующим. Зимой воды этой реки достигают своего естественного уровня или немного выше, потому что в это время в тех странах только изредка выпадают дожди, но зато постоянно идет снег. Летом же глубокий снег, выпавший зимой, тает и отовсюду попадает в Истр. И вот этот-то талый снег стекает и наполняет реку, а также частые и обильные дожди (ведь дожди бывают там и летом). Насколько больше воды летом, чем зимой, притягивает к себе солнце, настолько Истр становится летом полноводнее, чем в зимнее время». — В следующем фрагменте IV, 51 Геродот говорит, что второй по величине рекой после является река Тир (*Τύρας*, Днестр), что он «начинается на с е в е р е и вытекает из б о л ь ш о г о о з е р а на границе Скифии и земли н е в р о в» (весьма важно указание, что *Τύρας* имеет своим истоком «большое озеро» на границе скифов и невров, причем судя по всему невры располагались с е в е р н е е скифов, во-первых, и, во-вторых, что «большое озеро», видимо, и было истоком Припяти). В фрагменте IV, 52 тема о з е р а продолжается: «Третья река — Гипанис — берет начало в Скифии. Вытекает она также из большого о з е р а… О з е р о это справедливо зовется «матерью Гипаниса», Река Гипанис по выходе из о з е р а лишь короткое время— пять дней пути — остается еще пресной, а затем на четыре дня плавания, вплоть до моря, вода ее делается горько-соленой». Сама эта не раз возникающая тема большого озера согласуется не только с естественно-научными (в частности, гидрологическими) данными, но и с тем, что уже в наше время во время разлива рек существенная часть Полесья превращается практически в большое озеро. Эти сведения позволяет приблизительно локализовать землю невров южнее Полесья, тем более, что в бассейне Южного Буга отмечены гидронимы типа *Ну́рець*, см. Словник гідронимів України. Київ, 1979. С. 392. — Другие геродотовские фрагменты, в которых невры появляются в контексте других племен — IV, 100, 102, 105, 119, 125 представляются менее достоверными и более мифологизиро-

ванными. — Существен и более широкий этногеографический контекст, позволяющий точнее локализовать локус невров («Северные части Скифии, простирающиеся внутрь материка, вверх по Истру, граничат сначала с агафирсами, затем с н е в р а м и, потом с андрофагами и, наконец, с м е л а н х л е н а м и» (IV, 100, от *μέλας, μέλανος* 'черный' и *χλαῖνα*, род плаща, покрывала; ср. IV, 107: *Μελάγχλαινοι δὲ εἵματα μὲν μέλανα φορέουσι πάντες, ἐπ' ὧν καὶ τὰς ἐπωνυμίας ἔχουσι, νόμοισι δὲ Σκυθικοῖσι χρέωνται*; полагают, что меланхлены жили к востоку от Днепра, ср. *Чернигов, Чернятин, Чернечьск*, *Чернобыль*, *Черная могила*, *Чернягин*, *Черный лес* и т. п., вплоть до *Черной Руси*.— В IV, 105 Геродот сообщает ценные данные: «У н е в р о в обычаи скифские…, им пришлось покинуть всю свою страну из-за змей, но еще больше напало их из пустыни внутри страны. Поэтому-то н е в р ы были вынуждены покинуть свою землю и поселиться среди б у д и н о в» — О будинах Геродот пишет и далее (IV, 108—109). Здесь снова появляется мотив «огромного озера, окруженного болотами и зарослями тростника. Эллины будинов называли также *гелонами*» (*Γελωνοί*, ср. их центр деревянный город *Γελωνός*). — Название племени *Γελωνοί*, учитывая их соседство с будинами, их внешний вид («светло-голубые глаза и рыжие волосы будинов»), наконец, то, что эллины называли будинов гелонами, «хотя и неправильно» (IV, 108—109), род их деятельности, связанной с тем, что они были лесными жителями (охота на выдр, бобров и других зверей, мехом которых они оторачивают свои шубы), возникает вопрос о возможных этноязыковых связях этнонима *Γελωνοί* с чем-то из этнонимов других ономастических традиций. Конечно, ответ на этот вопрос может быть пока поневоле «пробным» и тем не менее, кажется, первой попыткой. В этой связи именно этнонимы, антропонимы, гидронимы и топонимы балтийских языков должны быть рассмотрены прежде всего. Лишь несколько примеров пока почти наугад. Ср.: п р у с с к. топонимы Gelayne (при nom. propr. Gelune, Gelenne), Gelyen, Gelow, Gelyteyn, Gelauwen (озеро), Gillaw (топоним), см. Gerullis. Die altpreuß. ON. 31; Trautmann. Die altpreuß. PN. 39; лит. топонимы Geliónys (деревня), Gelnai, *Gelovinė*, *Gelvė*, *Gelučiai*, может быть, *Galnė* и др., гидронимы Gelionių *ẽžeras*, *Geluonaĩ*, Galuõnas, Galuonaĩ, Galin-*upė*, Gãl-upalis и др.; n o m. p r o p r. Gelū́nas, Gelúnas, Gal*aũnius* и др., в частности, двусоставные имена с первым, вторым или третьим членом *Gel- (Gel- : gel-), см. Lietuvių pavardžių žodynas. A—K. Vilnius, 1985. S. 646—650; K. Kuzavinis, *B*. Savukynas. Lietuvių vardų kilmės žodynas. Vilnius, 1987. S. 172—173. — Следует заметить, что наряду с элементом gel- (Gel-) существуют слова с корнем *gėl-*, ср. gélti (gẽlia, *gė̃lė*) 'болеть', 'ныть', 'ломить', 'жалить'. К этимологии лит. gélti см. Fraenkel. LEW. 1. 1962. S. 145—146. — Возможное продолжение и, может быть, уточнение этимологии этого слова связано с идеей ж е л т и з н ы. Ф о р м а л ь н о речь идет об элементе gel-(t-), который отмечен в многочисленных словах, отсылающих к б о л е з н и (первоначально, возможно, связанной с появлением желтизны). При лит. gel̃tas, geltónas 'желтый', gel̃tis 'желтизна' элемент gelt- обозначает и самое болезнь — ж е л т у х у, ср. gelta 'желтуха' (и 'желтизна'), gel̃*tligė* 'желтуха', но и кроме этого нужно помнить о многих других словах этого корня, ср.: geltìs 'желтизна', но и 'буланая лошадь', geltõnis 'желтизна', gel̃tinti 'желтить', gel̃sti 'желтеть', gel̃*stelėti* 'немного пожелтеть' и т. п. Таким образом мотивация обозначения болезни — появляющиеся желтые пятна, болячки на коже. С е м а н т и ч е с к и дело объясняет параллель лит. skaudė̃ti 'болеть'

при лит. skaudẽ ʽболячкаʼ, ʽнарывʼ, ʽчирейʼ. Разумеется, это предложение не больше, чем вероятный вариант объяснения. Но если это так, то обозначение гелонов (*Γελωνοί*), которых греки смешивали с будинами с их р ы ж и м и волосами, отсылает к идее желтизны волос (ср. также их «с в е т л о-голубые глаза» при и.-евр. **g'el*(*ə*-), **g'lē*-, **g'*(*ə*)lәi- ʽсветло, ясно сиятьʼ, ʽбыть ясным, веселымʼ (Pokorny I, 366—367), при предположении, что начальное *g'*- не подверглось палатализации, чему есть немало примеров. К тому же, не меньше примеров и тому, что «желтое» нередко сродни «светлому, сияющему, солнечному, золотому». — О гелонах см. и далее.

[3] См. *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 159—214, 231—242, карты 3—6, 8—10; *О. Н. Трубачев.* Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968. С. 284—285, карты 16, 18.

[4] Ср.: *А. П. Непокупный.* Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений. Киев, 1964; *Он же.* Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976, а также многие статьи этого же автора, посвященные, в частности, «южным» балтизмам.

[5] Заслуживает особого внимания семантическая связь ныряния, погружения в воду как некую многоструйную субстанцию, представляющую собой как бы сплетение, связку составляющих ее струй. Ср. лит. nérti — и ʽнырятьʼ и ʽвязатьʼ, ʽплестиʼ (но и ʽдратьʼ, ʽлупитьʼ; ʽмчатьсяʼ, ʽнестисьʼ). С учетом этой семантической фреквенталии уместно привлечь внимание к др.-инд. *snāvan*-, авест. snavarә (ср. тохар. B sñaura), отсылающим к чему-то, сочетание чего образует своего рода сопряжение, «пряжу», как текущая вода, в которую погружаются, ныряют, входят, представляет подобное же сопряжение струй, соответственно — нитей жил, сухожилий, тяжей, нервов (нервюра) и т. п. Все здесь сказанное приобретает тем больший интерес, что и.-евр. *ner-*u̯*- : *ne*u̯*-r- как раз и входит в состав приведенных выше слов с начальным s-, ср. также русск. *сновать* : *основа*, лтш. snauja как обозначение связи, связки, повязки и т. п.

[6] Ср. в источниках Ордена — Denowe tota quam eciam — quidam J e t w e s e n vocant (1259); Per terram vocatam S u d e r l a n d alias J e t t u e n (1420); terra S u d o r u m et J a t u i t a r u m, quod idem est (1422). Во всяком случае имя ятвягов было известно и существенно раньше, чем XIII век. Достаточно напомнить, что в русской летописи под 945 годом фигурирует некий *Ятвяг Гунарев* (вар. **Ѧвтѧгъ**). — Из литературы о ятвягах см. *H.* Łowmia*ń*ski. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931—1932. T. 2; S. Zaj*ą*czkowski. Jotvingų problema istoriografijoje // Lietuvos praeitis. II. 2. Kaunas, 1941; S. *Zajączkowski.* O nazwach ludu Jadźwingów // Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego. XVIII. 1953. S. 175 ff.; Idem. Problem Jaćwieży w histonografii. Ibid. XIX. 1953. S. 7—56; A. *Kamiński*. Jaćwież. Łódź. 1953; Idem. Z badań nad pograniczem pol.-rus.-jaćw. w rejonie rzeki Sliny// Wiadomości Archeologiczne. XXIII. 1956. Zesz. 2, S. 131—168; W. Kuraszkiewicz. Domniemany ślad Jadzwlngów na Podlasiu // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. I. Warszawa, 1955. S. 334—348; J. *Wisńiewski.* W sprawie badań nad pograniczem Jaćwiezy // Przegląd Historyczny. T. XLIII. 1957. Zesz. 2. S. 319—326; A. Gieysztor, A. *Kamiński.* Jaćwiez // Słownik starożytności słowiańskich. Zeszyt dyskusyjny. Wrocław, 1958. S. 51—53; Z. *Zinkevičius.* Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius, 1984. S. 282—288; Idem. Lietuvių kalbos istorija. II. Vilnius, 1987. S. 40—53; G. *Beresnevičius.* Getų ir jotvingių religinių

įvaizdžių paralelės // Liaudies kultūra. 2001. № 4. S. 11; Idem. Jazygai, jutungai, jotvingiai: kariai raiteliai nuo Meotidės iki Dunojaus. Keli štrichai jotvingių genezės klausimu // Liaudies kultūra. 2002. № 2. S. 7—11 и др. — К ятвягам по археологическим данным см. C. Engel, W. La Baume. Kulturen und Völker der Frühzeit in Preussenlande. Königsberg, 1937; C. Engel. Das jüngste heidnische Zeitalter in Masuren // Prussia. 33. 1939. S. 1—2; A. *Kamiński.* Jaćwież — terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne. Łódź. 1953; Idem. Materiały do bybliografii archeologicznej Jaćwiezy // Materialy Staroz. I. S. 193—273 и др.

[7] См. J. *Otrębski.* Das Jatwingerproblem // Sprache. 9. 1963. S. 157—167; *П. У. Дини.* Балтийские языки. М., 2002. С. 236, а раньше K. *Būga.* Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai (1924) // Rinktiniai raštai III. Vilnius, 1961. S. 85—282.

[8] См. *П. У. Дини.* Указ. соч. С. 236.

[9] См. *З. Зинкявичюс.* Польско-ятвяжский словарик // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984. С. 3—29; Z. *Zinkevičius.* Lenkų-jotvingių žodynėlis? // Baltistica XXI(1). 1985. P. 61—82; XXI(2), P. 184—193; Idem. Lietuvių kalbos istorija. II. Iki pirmųjų raštų. Vilnius, 1987. S. 40—53; Е. *А. Хелимский*. Fenno-ugrica в ятвяжском словарике? // Tarptautinė baltistų konferencija. Vilnius, 1985. S. 234—235; V. Orel. Marginalia to the Polish-'Jatvmgian' Glossary // Indogermanische Forschungen. Bd. 91. 1986. S. 269—272; *П. У. Дини*. Балтийские языки. М., 2002. С. 238—241 и др. — Исключительная важность ятвяжско-польского словарика состоит, между прочим, и в том, что немногочисленные ятвяжские фразы из труда Иеронима Мелетиуса относятся к более северному и сильно «прутенизированному» ятвяжскому говору (см. «Wahrhafftige Beschreibung der Sudawen auf Samland sambt Ihren Bockheyligen und Ceremonien». 1562), тогда как ятвяжско-литовский словарик точно локализирован («Poganskie gwary z Narewu») и происходит, вероятно, из более южной территории.

[10] Характерно, что польско-ятвяжский словарик озаглавлен «Pogańskie gwary z Narewu».

[11] Количество водных объектов, в чьих обозначениях выступают эти элементы, как, конечно, и Ner- (а также и топонимов, чьи названия произведены от водных названий), в рассматриваемой здесь зоне и в прилегающих к ней локусах, где присутствуют следы пребывания балтийского этноязыкового элемента, очень велико. Оно насчитывает многие десятки, если не более, элементов с указанными корнями, и поэтому здесь придется ограничиться перечислением сравнительно небольшой части подобных названий. Ср. в бассейне Вислы, к которому принадлежит и Нарев с водами, принадлежащими бассейну самого Нарева: *Нарев*, Narewka, Narwa, Narwica, Nary, Naritz(e), Naruszewka, Narutówka, Neretwa (река и озеро), Nrowa, Nrowia (ср. Mrowa, Mrowia, Mrowla, Mrowna, Mrowinieckie (озеро); Nur, Nurka, Nury (озеро), Nurzec и др. (см. Hidronimia Wisły. Cześć I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, pod. redakcją P. Zwolińskiego. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965, № 39, 302, 338, 374 (2x), 298, 399, 411, 414, 426, 540, 560, 581, 684 [ср. Nawroce, № 193: если только это название не связано с идеей поворота, оно могло быть интерпретировано как продолжение *Na-u̯-r-ut-i̯e > *Naw-r-*ъtьje* в устах ославяненных балтов, ср. Naura как обозначение Нарева в польско-ятвяжском словарике]; — днепр. *Нерета*, *Неропля* (из балт. *Ner-up-i̯a), *Нертка*, *Неруза*, *Нерус*(*с*)*а*, *Неручь*, *Нервач*, *Неретва*, *Норець*, *Нора*, *Норинка*, *Нерчай*, *Нерчанка*, *Нараевка*, *Нýрець*, *Нурiв* (Словник гідронімів

Украіни. Киïв, 1979. С. 383, 386, 391, 392; *П. Л. Маштаков.* Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913. s. vv.; *В.* Н. *Топоров, О.* Н. *Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1964, passim и карта № 8). — Конечно, элементы ner-, ner- и т. п., но и nev-.

[12] Ср. См. Słownik nazw miejscowych okręgu Mazurskiego. Część II. Nazwy fizjograficzne. Poznań, 1959. S. 300. Сюда же прусск. Aure (1352), река (Urkundenbuch des Bistums Samland. Leipzig, 1891. S. 281), позже— Auer-Fluß; Aurin (1352), озеро; Aurow (1361) на Auer-Fluß (см. Gerullis. 1922. S. 13).

[13] Ibid. II. S. 76, 77, 128, 146, 147, 192, 227, 285. Целый ряд названий этого же типа отмечаются в западных и северных частях Польши, см. Narejty, Narie, Narusa, Naryjski Mlyn, Nart, Narty и др. Ср. Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej. Częss 1. Wrocław, Warszawa, 1951. S. 203.

[14] Название Нарева появилось в письменных источниках довольно поздно. Самое раннее из них — Nary (Нары), отмеченное только раз в 1379 г. Но это было отнюдь не единственное обозначение этой реки в источниках, где еще раньше упоминается она в форме Narew. В русских источниках уже около 1251 г. река обозначается как *Наров* (прежнее мнение о том, что название Нарева скрывается в форме Navchre [XIII в.], почерпнутой, возможно, из источника XI в., признается теперь ошибочным, более того, фальсификацией, хотя скорее всего это название относится к реке Wura, букв. — *на Вкре* (имен. п. Wkra). Форма *Наров* (ок. 1251), как и ст.-польск. Narew, Nareff (1282), могла развиться из более ранней формы с основой на *-ū* (ср. kry-krew); во всяком случае, если доверять показаниям Петра из Дусбурга («Chronicon terrae Prussiae», конец первой трети XIV в.), название реки было Nara, 1290 или Nare, 1300. Как бы то ни было, очевидно, что река имела варианты названия, скрепленные не подвергающемуся сомнению корню Nar-. Наличие этих вариантов объясняется, видимо, тем, что в бассейне Нарева и уже вдоль его течения жили разные этнические группы, как славянские, так и балтийские (археологические исследования показывают, что следы поселений в среднем и нижнем течении Нарева относятся уже к мезолиту, а вблизи и к устью — к палеолиту). Во всяком случае во второй половине I тысячелетия нашей эры, как предполагают, по нижнему и среднему течению Нарева жили мазовшане. Возможно, что племенное обозначение Neriuani, засвидетельствованное Баварским Географом, так или иначе (хотя бы на языковом уровне) было связано с бассейном Нарева, хотя точная локализация этого племени остается гадательной (ср. *H. Łowmiański.* O identyfikacji nazw Geografa Bawarskiego. St. Zr. 3. 1958. S. 14; A. Wędzki. Neriuani // Słown. starożytn. słowiańskich. T. III. Cz. druga. S. 364); кое-кто считает это племенное обозначение относящимся к нарвянам. — О Нареве и относящейся к нему литературе см. J. Wiśniewski. Narew // Ibid. S. 350—352.

[15] См. Słownik nazw miejscowych okręgu Mazurskiego. Część II. Nazwy fizjograficzne. Poznań, 1959. S. 300. Сюда же прусск. Aure (1352), река (Urkundenbuch des Bistums Samland. Leipzig, 1891. S. 281), позже— Auer-Fluß; Aurin, (1352), озеро; Aurow (1361), на Auer-Fluß, см. Gerullis. 1922. S. 13.

[16] См. Słownik nazw… okręgu Mazurskiego. II. S. 76, 77, 128, 146, 147, 192, 227, 285. Целый ряд названий этого же типа отмечаются в западных и северных частях Польши, см. Narejty, Narie, Narusa, Naryjski Mlyn, Nart, Narty и др. См. Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej. Część I. Wrocław, Warszawa, 1951. S. 203.

[17] *Невры* и *Нарев* (ятв. Naura), как уже говорилось ранее, имеют своими предшественниками и.-евр. *neu̯-r и *ner-u̯- (*ner-u̯-). Иначе говоря, *u̯r и *ru̯-, два комплекса, отличных только расположением неслогового *u̯* и сонорного r обладают «физическими» свойствами, располагавшими к мене элементов в пределах этих пар (ср. просторечное: *а у меня н е в р ы так и расходились* или притяжения типа своего рода шуток — *рву* ↔ *вру* и т. п.).

[18] См. *В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 229—232.

[19] Следует отметить, что Геродот в книге IV своей «Истории» заявляет, что севернее невров, насколько он знает, идет уже безлюдная пустыня, ср. в более широком контексте — *τούτων δὲ κατύπερθε οἰκέουσι Νευροί, Νευρῶν δὲ τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον ἔρημος ἀνθρώπων ὅσον ἡμεις ἴδμεν* (IV. 17). Но интересно, что, отмечая отсутствие скифов к востоку от Танаиса, отождествляемого с рекой Донец, Геродот определенно говорит, что дальше уже идут не скифские края (*Τάναιν δὲ ποταμὸν διαβάντι οὐκέτι Σκυθική* (IV. 21). И все-таки Геродота что-то влечет описывать земли, лежащие дальше к востоку, а потом и северо-востоку. Первыми по порядку идут земельные владения савроматов, которые «занимают полосу земли к северу, начиная от впадины Меотийского озера, на пятнадцать дней пути»; затем упоминаются б у д и н ы, владеющие вторым после савроматов наделом, который покрыт густым лесом и, надо полагать, что в отличие от савроматов будины не могли заниматься земледелием и были охотниками. За будинами к северу простирается пустыня «на семь дней пути. За 22 дня пути (15+7) можно было уйти далеко в заданном направлении. Хотя в данном случае говорится только о движении к северу, оно скорее направлялось на северо-восток. Во всяком случае следующими были фиссагеты, также промышлявшие охотой, а за ними находились нирки, которые, по мнению В. В. Латышева, могут отождествляться с предками мадьяр на севере Урала. Далее говорится о земле с твердой, как камень, почвой (полагают, что речь идет о солончаковых степях, возникших на месте древнего морского дна). Переход по этой каменистой почве был труден и долог, прежде чем начали появляться высокие горы, у подножия которых обитали люди странного антропологического типа — мужчины и женщины от рождения были лысыми, плосконосыми и с широкими подбородками (по мнению С. Я. Лурье, ими могли быть предшественники современных башкир [впрочем, нельзя исключать и какое-либо финно-угорское племя. — *В. Т.*]). В этом направлении движения угадывается путь к среднему течению Волги. Скорее всего так это и было, что, кажется, подтверждается и лингвистическими данными, относящимися, видимо, к 2500—2000 гг. до н. э.

[20] См. *В. Н. Топоров.* О балтийской гидронимии Верхнего Подонья // Linguistica Baltica. 1. Warszawa, 1993. S. 225—240.

[21] Ср. в этой части средне-нижнего Поочья бесспорные гидронимы балтийского происхождения как-то *Осьма, Восьма, Вобля, Блиденка, Дрисела, Дугна, Вепрея, Серена* и т. п., имеющие точные соответствия в западнобалтийском ареале — от верхнего течения Днепра до Литвы и Латвии. Если учесть, что балтизмы наличествуют (и число их все увеличивается) не только в прибалтийско-финских, но и в поволжско-финских языках (и в последнем случае нередко трудно объяснить как «Wanderwörter» или даже как заимствования в пра-финско-угорском), то неизбежно возникает про-

блема истолкования этой ситуации взаимопроникновения и взаимоналожения этих элементов, определения того, что́ является субстратом и что суперстратом (кстати, при любом решении вопроса остается актуальным и аспект «адстратности»). Далеко не всё ясно, к а к и е балты пришли в низовья Оки и среднее течение Волги. Кажется, можно предположить, что между III и I тысячелетиями до н. э. (для отдельных мест и позже) балты и финно-угры были не только соседями, но и в ряде случаев жили вперемежку на одной и той же территории, что приводило к активным контактам — вплоть до смешений (в обе стороны). Во всяком случае археологические данные свидетельствуют о двунаправленном распространении этнокультурных элементов: с востока на запад в Прибалтику и из Прибалтики на восток, см. *В. Н. Топоров.* О характере древнейших балто-финно-угорских контактов по материалам гидронимии // Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Материалы 3-ей балто-славянской конференции. 18—22 июня 1990 г. Ч. I. С. 101—107.

[22] Ср. лит. *lopšỹs* ʽколыбельʼ при марийск. *лепш*, лит. só́ra ʽпросоʼ при мордовск. *сура*, *суро* и др. Заимствования такого рода могли совершаться только в Поволжье.

[23] Наибольшей ясностью отличаются этапы движения индоарийских и праиранских племен со Средней Волги на юго-восток — Южный Урал (сенсационные открытия в Аркаиме), Средняя Азия, Иран, Индия. В связи с «поволжскими» балтами можно, по крайней мере теоретически, обсудить вариант их движения на северо-запад. На русском Севере, начиная с Волги сохранились воспоминания о «литовцах» — и вполне исторических (Смутное время), и сильно мифологизированных народным сознанием. Во всяком случае «подосновой» этих представлений в конечном счете могли быть и эти допускаемые передвижения балтов. Ср.: *Б. А. Серебренников.* Волго-Окская топонимика на территории европейской части СССР // Вопросы языкознания. 1955. № 6; *Он же.* О некоторых следах исчезнувшего в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам // Труды АН ССР. Серия А. 1957. Вып. I; Е. *М. Поспелов.* О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике // Вопросы языкознания. М., 1965. № 2; *В. В. Седов.* Из гидронимики Волго-Окского междуречья // Питання ономастики. Київ, 1965; *Он же.* Балтская гидронимика Волго-Окского междуречья // Древнее поселение в Подмосковье. М., 1971; *Он же.* Контакты балтов с финноязычными племенами в эпоху раннего железа // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997; *Он же.* Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987 и др.; *Г. С. Кнабе.* Словарные заимствования и этногенез. К вопросу о «балтийских заимствованиях в восточных финноугорских языках» // Вопросы языкознания. М., 1962. № 1; J. Koivulehto. Seit wann leben die Urfinnen im Ostseeraum? Zur relativen und absoluten Chronologie der alten idg. Lehnwortschichten im Ostseefinnische // MSFOu. 183. Helsinki, 1983; *В.* Н. *Топоров.* О балтийских следах в гидронимии Поочья // Балто-славянские языковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов. М., 1983; *Он же.* О балтийских следах в гидронимии Поочья. I // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988; *Он же.* Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II // Там же. 1987. М., 1999; *Он же.* Балтийский элемент в гидронимии Поочья. III // Там же. 1988—1996. М., 1997; *Е. А. Хелимский.* Uralo-Indogermanica: балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997. К

вопросу о древнейших балто-финноугорских контактах по материалам гидронимии // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997; *Ю. В. Откупщиков.* Древняя гидронимия в бассейне Оки // Балто-славянские исследования XVI. М., 2004.

[24] Начиная с середины прошлого века все чаще появляются работы, в которых привлекается внимание к балто-балканским соответствиям в области топонимии, гидронимии, апеллятивной лексики, мифологии и т. п. Ср. G. Alessio. Un oasi linguistica preindoeuropea nelba regione baltica? // Studi Etruschi. 19. 1947. P. 141—176; H. Krahe. Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria // Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse. 3. 1957. S. 101—121; Idem. Unsere ältesten Flußnamen. Wiesbaden, 1964; I. Duridanov. Thrakisch-Dakische Studien. Erster Teil. Die Thrakisch- und Dakisch-Baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1961; Idem. Die Beziehungen des Baltischen zu den alten Balkansprachen // Indo-germanisch, Slawisch und Baltisch // Materialien des vom 21—22 September 1989 in Jena in Zusammenarbeit mit der Indogermanischen Gesellschaft durchgeführten Kolloquiums. München, 1992; В. Н. *Топоров.* Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики // Проблемы индоевропейской ономастики. М., 1964. С. 52—58; *Он же.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. I // Балканские чтения. М., 1973. С. 30—63; *Он же.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. II // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 59—116; *Он же.* Еще раз о древних западнобалканских и балтийских языковых связях в ареальном аспекте // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 10—25; S. Kara*liūnas.* The Aistians and the problem of their ethnic identity // Сборники. 1994. С. 17—18; Dz. *Hirša.* Ziemeļrietumu Kurzemes vietvārdi un to paralēles senajās Balkānu valodās // Valodas aktualitātes. Rīga, 1988. S. 284—361 и др.

[25] Ср. наличие корня **prūs-* (ср. *Προῦσα*) в балканско-малоазийских топонимах и личных именах.

[26] V. *Š*imenas. Legenda apie Videvutį ir Brutenį // Prūsijos kultūra. Vilnius, 1994. S. 18—63.

[27] См.: *В. Б. Вилинбахов,* Н. *В. Энговатов.* Предварительные замечания о западных галиндах и восточной голяди // Slavia Occidentalis. 23. 1963. P/ 233—267; K. Turnwald. Die Balten der vorgeschichtlichen Mitteleuropas // Arheoloģja un etnogrāfija. VIII. Rīga, 1968. S. 135—145; *В.* Н. *Топоров.* Балт. *Galind- в этнолингвистической и ареальной перспективе // Проблемы этнической истории балтов. Rīga, 1977. С. 121—126; *Он же. Γαλίνδαι* — Galindite — голяди (балт. *Galind-) // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Rīga, 1980. С. 124—136; *Он же.* Галинды в Западной Европе // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983. С. 265—273; *Он же*. Balto-Albanica // Acta Baltico-Slavica. 17. 1987. P. 275—293; *В. Шименас*. Великое передвижение народов и балты // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 1990. С. 72—74 и др.; *П. У. Дини.* Балтийские языки. М., 2002. С. 241—246.

[28] Из итоговых археологических работ в этой области в 20—30-е годы XX века нужно назвать итоговые исследования, появившиеся в эти годы, ср. W. La Baume. Vorgeschichte von Westpreußen. Danzig, 1920; Idem. Kulturen und Völker der Frühzeit im Prußenlande. Königsberg, 1937; W. Gaerte. Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg, 1929;

C. Engel. Vorgeschichte der altpreußischen Stämme. Königsberg, 1935. — В 50—70-е годы XX века проблема балтийского присутствия рассматривалась рядом исследователей-археологов. Сто́ит отметить такие труды, как J. Okulicz. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973; L. Kilian. Haffküsten Kultur und Ursprung der Balten. Bonn, 1955; Idem. Zur Herkunft und Sprache der Preußen. Bonn, 1980 и др. Особо стоит отметить книгу J. Antoniewicz. Bałtowie zachodni. Pojezierze-Olsztyn-Białystok, 1979.

[29] Из лингвистов одним из первопроходцев темы балтов к западу от Вислы был, несомненно, Ф. Лоренц. Из его трудов следует отметить прежде всего те, в которых приводятся лингвистические аргументы в пользу присутствия балтов к западу от Вислы. Ср. F. Lorentz. Preußische Bevölkerung auf den linken Weichsel Ufer // AfslPh. Bd. 27. 1905. S. 470—474; Idem. Preußen in Pommerellen // Mitteilungen der westpreußischen Geschichtsvereins. Bd. 32. 1933. S. 49—59; Idem. Nochmals die Preußen in Pommerellen // Ibid. Bd. 34. 1935; Idem. Preußische Ortsnamen und Appellative im Raum links der unteren Weichsel // Zeitschrift für Slawistik. Bd. IX. H. 2. 1966. S. 243—250. — Инициативы Лоренца нашли продолжение в статье *H.* Krahe. Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel // Altpreußen. 1943. S. 5—8, а затем в ряде работ других авторов, начиная с 60-х годов прошлого века. Среди них — *В. Н. Топоров.* К вопросу о топонимических соответствиях на балтийских территориях к западу от Вислы // Baltistica. I. Vilnius, 1966. S. 103—112; *Он же.* Новые работы о следах пребывания пруссов к западу от Вислы // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983. С. 265—273; *H.* Schall. Die baltisch-slavische Sprachgemeinschaft zwischen Elbe und Weichsel // Atti e memorie del VII Congresso Internazionale di scienze onomastiche. Firenze, 1963. V. II. P. 385—404; Idem. Baltische Dialekte im Namengut Nordwestslawiens // KZ. 79. 1964—1965. S. 123—170; Idem. Baltische Gewässernamen im Flußsystem ʽObere Havel’ (Südost-Mecklenburg) // Baltistica. 2. 1966. P. 7—43; Idem. Preußische Namen längs der Weichsel (nach Lucas David, c. a. 1580) // Donum Balticum to Professor Chr. S. Stang. Stockholm, 1970. S. 448—464; W. R. Brauer. Preußische Siedlungen westlich der Weichsel // Unser Danzig. 1—8. Lübeck, 1981; Idem. Baltisch-prussische Siedlungen westlich der Weichsel // Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens. 24. Münster, 1988; F. Hinze. Pomoranisch-baltische Entsprechungen im Wortschatz // Zeitschrift für Slawistik. 29. 1984. S. 189—196; F. Hinze, F. Lorentz. Preußische Ortsnamen und Appellative im Raum links der unteren Weichsel // Zeitschrift für Slawistik. 11. 1966. S. 243—250. — О «неславянских» (в основном балтийских) элементах в бассейнах Вислы и Одера, как и о балто-балканских связях, не раз писал В. Э. Орел, ср.: Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997. С. 332—358; Из албано-балтийских соответствий в области глагола // Baltistica. 20. 1985. С. 156—158; Новые данные о балто-албанских лексических связях // Tarptautinė baltistų konferencija. Vilnius, 1985. S. 192—193; Из албано-балтийских соответствий в области глагола 2 // Baltistica. 24. 1988. S. 62—65; ср. также помимо отмеченных выше работ *В. Н. Топоров.* Balto-Albanica // Acta Baltico-Slavica 17. 1987. S. 275—293 и др.

[30] См. статьи автора этих строк — О северо-западнорусском локусе балтийской гидронимии (из цикла «По окраинам древней Балтии») // Res Balticae. 1. 1995. S. 13—40; *Он же.* К вопросу о древнейших балто-финноугорских контактах по материалам

гидронимии // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997. С. 325—331. Стоит напомнить и о еще более северном балтизме — племенном названии *ямь*/*ѣмь* русских летописей, локализуемом в Финляндии и в котором видят отражение балт. zem-/*žem*-.

[31] См. G. Labuda. Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters // Otázky dějin střední a vychodní Evropy. Brno, 1971. S. 19—24; *В.* Н. *Топоров.* Балтийский элемент к северу от Карпат…; *Он же.* Еще раз о балтизмах в чешских землях // Slavia. Ročník. 62. Praha, 1993. S. 51—63 и др., не говоря уж о более ранней работе — S. Kozierowski. Badania nazw topograficznych na obszarzie dawniej wschodniej Wielkopolski. T. 1. Poznań, 1926. S. 117 и др.

[32] В связи со следами галиндов в южной части Франции, в Испании и Португалии привлекает к себе внимание кельтиберская надпись из Боторриты; ср. *В. Н. Топоров.* Tarptautinė baltistų konferencija. Vilnius, 1985. S. 229—230; *Он же.* Кельтиберская надпись из Боторриты в свете балто-славянского сравнения // Балто-славянские исследования. 1984. М., 1986. С. 209—224.

[33] После невров, по-видимому, действительно предков балтов (см. выше), под такое же подозрение попадают и гелоны, о которых неоднократно упоминает Геродот в своей «Истории». В книге IV, 102 говорится о том, что перед угрозой вторжения в южнорусские степи войска Дария цари соседних и наиболее угрожаемых племен собрались на военный совет, в котором участвовали цари тавров, агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов, г е л о н о в, б у д и н о в и савроматов. Во фрагменте IV, 108 Геродот говорит преимущественно о будинах, подчеркивая, что это многочисленное племя, что у будинов светлоголубые глаза и рыжие волосы (см. выше), что в их земле есть деревянный город, называющийся почему-то Г е л о н, т. е. по имени соседей будинов гелонов: *πόλις δὲ ἐν αὐτοῖσι πεπόλισται ξυλίκη, οὔνομα δὲ τῇ πόλι ἐσῖὶ Γελωνός*. Весьма показательно продолжение этого фрагмента — *εἰσὶ γάρ οἱ Γ ε λ ω ν ο ὶ τὸ ἀρχαῖον ῞ Ε λ λ η ν ε ς, ἐκ τῶν δὲ ἐμπορίων ἐξαναστάντες οἴκησαν ἐν τοῖσι Βουδῖνοι καὶ γλώσσῃ τὰ μὲν Σκυθικῇ, τὰ δὲ ᾿Ελληνικῇ χρέωνται*. Не исключено, что этот фрагмент является ключевым: жители Гелона были эллинами, но жили среди будинов, сохраняя при этом святилища эллинских богов. Будучи изгнаны из торговых поселений, «гелоны» нашли себе приют в земле будинов, усвоили частично скифский язык, на котором, очевидно, говорили будины. Но в целом язык гелонов отличался от языка будинов, как и их образ жизни. Можно, вероятно, обратить внимание на то, что этническое имя гелонов (*Γελωνοί*) весьма напоминает самоназвание греков (*῞Ελληνες*), что мифологическим родоначальником эллинов был *῞Ελλην*, Геллен, сын Девкалиона и Пирры, отец Эола, причем имя *῞Ελλην* обозначало и эллина, грека. Конечно, нельзя исключать и своего рода этиологического мифа, эксплуатировавшего эту звуковую близость. — Существенно отметить, что коренными жителями страны были будины, единственная народность, которая питалась сосновыми шишками, тогда как гелоны, напротив, занимались земледелием. Из этого вытекает, что будины жили не в степи, а в л е с н о й зоне. «Вся земля их покрыта густыми лесами разной породы, а среди лесной части было о г р о м н о е о з е р о, окруженное б о л о т а м и» (IV, 100), и занимались они ловлей выдр, бобров и охотой на других животных. Эта ситуация вполне соответствует тем условиям, в которых жили и невры. Так или иначе, будины и гелоны были ближайшими соседями, и не случайно, что эл-

лины звали и будинов эллинами (*ὑπὸ μέντοι Ἑλλήνων καλέονται καὶ οἱ Βουδῖνοι Γελωνοί* (IV, 109). Характерно, что, когда возникла угроза со стороны Дария I, скифский царь Таксакис соединился в одно войско и без того, видимо, уже соединенными г е л о н а м и и будинами (IV, 120).— Из этих двух соседних племен будины едва ли могут быть причислены к балтам (если только какая-то часть их ни усвоила язык своих соседей гелонов). Скорее всего можно предполагать какую-то связь будинов с будиями, иранским племенем, которое в шумеро-аккадских клинописных источниках называлось мидянами [ср. I, 101: «Так-то Денок объединил мидийский народ и царствовал над всей Мидией. Племена мидян следующие: бусы, паретакены, струхаты, аризанты, будии» (*Βούδιοι*, при *Βουδῖνοι*); эти два этнонима имеют, видимо, общий корень, восходящий к и.-евр. *bheudh- : *bhudh- ʻбодрствоватьʼ, ʻбдетьʼ, ʻбыть внимательнымʼ, ʻнаблюдатьʼ, ʻоберегатьʼ, ʻохранятьʼ, ʻсторожитьʼ, ср. авест. baoδayeiti ʻзамечаетʼ; русск. *бодрый* (< **bъdrъ*), *бдеть* (< **bъděti*), *блюсти* (раннепраслав. *bjud- (< и.-евр. *bheudh-), что вполне соответствовало бы наименованию приграничного, на опасном рубеже племени, озабоченного безопасностью своего локуса, ср. древненемецкое племя маркоманнов (Markomannen) со сходной семантикой этнонима и функцией носителей этого имени)]. — Если вернуться к гипотезе о гелонах как возможных предках балтов, то сто́ит привести некоторые собственно балтийские параллели к этнониму *Γελωνοί*. Ср. прусск. Gelayne, 1339 (в Самландии), Gelauwen, 1389, озеро, Gillaw, 1441, место, позже — Gillau-See и Gillan-Ort (: прусск. gillin. Acc. Sg. Fem. ʻглубокийʼ), Gelyen, 1419, Gelow, 1419). Gerullis. Die altpreuß. ON. 1922. S. 30; — Gelune, Gelow, Gelenne, nom. propr. (Trautmann. Die altpreuß. Personennamen. 1925. S. 31); лит. Gė́laĩnis, озеро, Gelionių̃ ežeras (Geliónys, kaim.), G*ė́lỹs*, озеро, Gė́la, река, Gė́lių ẽžeras, Gė́liupis и др. (Liet. upių ir ežerų vard. 1963. S. 44—45; Vanagas. Liet. hidr. etim. žod. 1981. S. 110—111); *Gė́l*áiniai, vs., kaim., Gelnaĩ, kaim., *Gėlū́*nai, kaim. и др. (Liet. admin.-terr. suskirst. žinynas. II dalis. S. 81), ср. также лтш. Dziluõn-*ęzęrs* (Endzelīns. Latv. PSR vietvārdi. I. S. 258); Dzilna, Dzilaune, Dzilna, Dzilnas str., Dzilnene, Dzilnupe (Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. A—I. 1986. S. 52), но достоверность связей этих названий с обозначением гелонов вызывает серьезные сомнения. Возможно, нужно учесть и названия ряда рек в бассейнах Днепра и Оки, которые, по крайней мере формально, близки к этнониму, относящемуся к гелонам. Ср. днепр. *Желонка*, *Желонька*, *Желонь*, *Желень*, *Жолонь*, *Жолно*, *Желань*, *Жалынец* и др. (*Маштаков.* Спис. рек Днепр. басс. 1913. С. 38, 120, 131, 153, 174, 175, 219; Словник гідронім. Україні. 1979. С. 174, 194); окск. *Желонка*, *Желонья*, *Железнка*, *Желанейка*, *Желаненка* и др. (*Смолицкая.* Гидроним. басс. Оки. 1976. С. 33, 40—41, 44, 99, 131 и др.). Эти гидронимы, особенно с корнем *Жел-он-*, позволяют реконструировать более древний их источник *Gelon-, в точности совпадающий с геродотовскими гелонами (*Γελωνοί*). Относительно *Жалынец* см. *Топоров, Трубачев.* Лингвист. анализ гидрон. Верх. Поднепр. 1962. С. 187 (**Gelūn-*, *Geluon-). Но сама этимология этих гидронимов ставит вопрос о выборе между *жёлн* ʻбольшое корытоʼ (*Фасмер.* II. С. 43: с допущением связи с названием жолоба — из **žьlbnь*/?/) или птицы — *желна* ʻдятелʼ, ʻPicus martiusʼ, имеющее многочисленные соответствия как в славянских, так и в балтийских языках (см. *Фасмер* II, 43; Fraenkel. LEW. S. 145—146, 151; Karulis. Latv. etim. vārdn. I. S. 253). В пользу первого члена этой дилеммы говорят многочисленные гидронимы типа днепр. *Корытка*, *Корытная*, *Корытица*, *Корытовка*, окск. *Коры-*

тенка, *Корытинской*, *Корытной*, *Корытня* и др. (*Топоров, Трубачев.* С. 30, 70, 114, 153; *Смолицкая.* С. 27, 36, 90, 149 и др.), а также «жолобные» гидронимы — днепр. *Жолобенка*, *Желобы*, *Желобовка*, *Жолобница*, *Жолобок*, *Жолобы*, *Жолобянка* (*Маштаков.* С. 26, 45, 74, 88, 149, 167), окск. *Желоба*, *Желобенка*, *Желобна Б.*, *Желобовка*, *Желобок*, *Жолыбенка*, *Жолубовка*, *Жолубов* (*Смолицкая.* С. 73, 80, 85, 86, 95, 101, 233) и др. В пользу другого выбора говорили бы нередкие случаи «птичьих» гидронимов, топонимов и этнонимов и антропонимов, в частности, связанных с названием дятла как тотемной (некогда) птицы, ср. лат. picus ʽдятелʼ (мифологически — ʽгрифʼ) при том что Picus (Пик), сын Сатурна, отец Фавна, дед Латина, бог полей и лесов, первый царь Лациума, превращенный Киркой в дятла за то, что отверг ее любовь. Культ Пикуса, исповедовавшийся пиценами (пикенами) объясняет наименование пиценской области в средней Италии — *Picēnum* (Пицен), города Picentia (в Кампании), самих пиценов и т. п. (см. Walde, Hofmann. Lat. etym. Wb. II. S. 299—300). Использование обозначения дятла в названиях вод и мест достаточно частое явление, ср. днепр. *Дятловка* (*Маштаков.* С. 107), окск. *Дятлов*, *Дятловка*, *Дятлово*, *Дятловская*, *Дятловской* (*Смолицкая.* С. 121, 123, 125, 140, 146, 166, 185) и др. — Вместе с тем ср. лат. pica ʽсорокаʼ, но и обозначение сосны picea (pix), важное в том смысле, что с сосной связаны мотивы смолистости (ср. pico ʽосмаливатьʼ, piceus ʽсмоляной', picinus ʽчерный, как смолаʼ и др. при черном цвете дятла). Характерно, что элемент *Жел*(*о*)*н*- в названиях русских рек отсылает, вероятно, как к дятлу, так и черному цвету.

[34] Ср.: Geloni hostium equos seque velant, illos reliqui corporis, se capitum. Melanchlaenis atra vestis et ex ea nomen, Neuris statum singulis tempus est, quo si velint in lupos iterumque in eos qui fuere mutentur (Liber II, caput 1). — К мотиву оборотничества у балтов ср. лит. vilkólakis, vilkãtas, vilktakas и др.

[35] Saimatia intus quam ad mare latior, ab his quae secuntur Vistula amne discreta, qua retro abit usque ad Histrum inmittitur (Liber III, caput 4), ср. там же caput 2.

[36] Ср.: Metrodorus Scepsius, in eadem Germania et Baltia insula nasci, in qua et *succinum, quod equidem legerim, solus dicit*... (Liber XXXVII, caput 4).

[37] Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык ближе к британскому. Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают чтящих богиню даже в гуще врагов. Меч у них — редкость; употребляют же они чаще всего дреколье. Хлеба и другие плоды земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают и море; и на берегу, и на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами они называют глезум...» (45).

[38] Относящийся к балтам фрагмент находится в книге III, главе 5 труда Птолемея. Ядро этого фрагмента цитируется ниже.

[39] К вопросу о локализации судинов см. A. Astrauskas. K. Ptolemejo minimų Sūdinų lokalizavimo problema // Lituanistica. 4. 1990. S. 3—10; ср. также J. Nalepa. Próba nowej etymologii nazwy Galindia czyli Golędź // Acta Baltico-Slavica. 9. 1976. S. 191—209.

[40] Стóит отметить, что Птолемей ничего не говорит об айстиях-эстиях, упоминаемых Тацитом, его старшим современником, чья «Германия» была написана,

как предполагают, около 98 г. н. э. Вместе с тем наряду с галиндами и судинами Птолемей упоминает еще о ряде этнонимов, подозреваемых в принадлежности к балтам. Во всяком случае Boruscі отсылают скорее всего к пруссам, несмотря на, похоже, фантастическую их локализацию (*...Sub quibus Savari et* Borusci usque ad Ryph*ae*us montes. III, 5). Могли ли под этнонимом Sali (там же) скрываться селы (селоны), сказать трудно.

[41] См. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. I. Vilnius, 1996. S. 149.

[42] Перевод текста Иордана принадлежит Е. Ч. Скржинской, см. «Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica» (М., 1960).

[43] Эйнхардт (Einhardt, ок. 770—840) в «Житии Карла Великого» (Vita Caroli Magni. ок. 833—836) сообщает: <...> Hunc multae circum sedent nationes, Dani siquidem ac Suenones, quos Nortmannos vocamus, et septentrionale litus et omnes in eo insulas tenent. At litus australe Sclavi et Aisti, et aliae diversae incolunt nationes; inter quos vel praecipui sunt, quibus tunc a rege bellum inferebatur, Welatabi. Quos ille una tantum, et quam per se gesserat, expeditione illa contudit ac domuit, ut uterius imperata facere minime rennuendum iudicaret (12) «<…> Здесь живет много народов, а именно даны и свеноны, которых мы называем норманнами. Эти народы обживают северное побережье и все острова, а на южном побережье живут славяне и айстии и разные другие народы. Среди них прежде всего упоминаются велатабы, которым король объявил войну. Однако достаточно было единственного похода, благодаря которому он их так разбил и усмирил, что они решили, что их не нужно повторно побуждать к выполнению приказа». К концу IX века относится сообщение Вульфстана о путешествии по Пруссии (Wulfstan's. Reisebericht über Preussen. ок. 890—893 гг.). «Айстийская» тема представлена в концентрированном виде в разделах 19—23. Несколько примеров — Seo Wisle is swydhe mycel eâ, and hio tolidh Witland and Weonodland; and dhaet Witland belimpedh to Êstum; and seo Wiste lidh ût of Weonodlande, and lidh in Êstmere; and se Estmere is huru fiftene mila brâd. Thonne *cy*med Ilfing eastan in Estmere of dhaem mere, dhe Truso standedh in stadhe; and cumadh ût samod in Êstmer*e... Thaet Eastland is swyde mycel... and ne bidh dhaer* naenig ealo gebrowen mid Êstum ac thaer bidh medo genôh. And thaer is mid Êstum *dheaw; thonne thaer bidh man dead... And thaet is mid* Êstum tdheaw, thonne *bidh man dead... And thaet is mid* Êstum theaw, thaet thaer sceal aelces gedheodes man *beon forbaerned. ... And thaer is mid* Êstum ân maegdh, thaet hi magon cyle gewyrcan…

[44] Источники, относящиеся к истории балтов, причем из числа важнейших, игрой ли случая или по каким-то другим основаниям, укладываются в сгущения, как бы вспыхивающие с полутысячелетними интервалами. Середина I-го тысячелетия до н. э. — Геродот & рубеж двух эр — Мела, Плиний Старший, Тацит & середина I-го тысячелетия н. э. — Кассиодор, Иордан & рубеж I-го и II-го тысячелетия н. э. — тексты Адальбертова цикла, Адам Бременский, середина II-го тысячелетия н. э. — Эразм, Стелла, Симон Грунау, создание письменности и появление первых текстов на балтийских языках & рубеж II-го и III-го тысячелетий — высшая форма развития знаний о живых и мертвых балтийских народах и языках. Вместе с тем нельзя не отметить факта увеличения количества текстов о балтах, их обычаях и верованиях с каждым полутысячелетием. С рубежа XV—XVI вв. информация о балтах становится и

довольно насыщенной и все более и более адекватной. Учитывая все это, есть основания говорить об этом времени как об эпохе полноценного вступления балтийских народов на сцену истории. Но об источниках этого времени здесь говорить не придется.

[45] Ср. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. I. Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos. Vilnius, 1996. Этот огромный труд, проделанный Н. Велюсом и продолженный после его смерти другими, впервые создает условия для полноценных занятий балтийской мифологией, ритуалом, религией, не говоря уж о многом другом. Перед нами фактически компендиум, намного превосходящий написанный еще в XIX веке труд Маннхардта, опубликованный существенно позже, см. W. Mannhardt. Letto-preussische Götterlehre. Rīga, 1936.

[46] Издания этих выдающихся исторических источников, их переводы и исследования, посвященные этим памятникам, многочисленны. Среди многого здесь можно отметить лишь немногое, относительно недавнее: Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums. E. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga, 1993 (особенно 417—418); *Генрих Латвийский.* Хроника Ливонии. Введение, перевод и комментарии С. А. Аннинского. М.; Л., 1938; *Henrikas Latvis Hermanas Vartbergė.* Livonijos Kronikos. Vilnius, 1991 [перевод, введение, комментарии — J. Jurginis]; Henriku Liivimaa kroonika [перевод — J. Mägiste]. Stockholm, 1962; Henriku Livimaa kroonika [перевод и комментарии — R. Kleis, E. Tarvel]. Tallinn, 1982; The Chronicle of Henry of Livonia [перевод, введение, комментарии — J. A. Brundage]. Madison, 1961; Heinrich von Lettland. Livländische Chronik [перевод — A. Bauer]. Darmstadt, 1959; Würzburg, 1959; Heinrici Chronicon Livoniae. Editio altera [подготовили — L. Arbusov et A. Bauer]. Hannoverae, 1955; Indriķa Livonijas hronika [перевод — J. Krīpēns]. Chicago, 1936, 1973 и др.; — Livländische Reimchronik. Hrsg. von Leo Meyer. Paderborn, 1876; — *Петр из Дусбурга*. Хроника земли Прусской [Издание подготовила В. И. Матузова]. М., 1997 (обширная библиография) и др.

[47] Это не исключает, что в прошлом в какие-то периоды незначительная часть территории селов соприкасалась с западной частью Полоцкого княжества, связи с которым осуществлялись, конечно, прежде всего по Западной Двине (Даугаве). Также вряд ли можно сомневаться в том, что селы были в контакте и с ливами, сидевшими в устье Даугавы и на побережье будущего Рижского залива по обе стороны от устья.

Вместе с тем существуют и несколько иные взгляды на границы распространения селов. Так З. Зинкявичюс и П. У. Дини полагают, что граница распространения селов на севере совпадала с течением Даугавы, а на юге она шла приблизительно по линии Таурагнай—Утена—Субачюс—Пасвалис. Дини, впрочем, полагает, что селы обитали и южнее и севернее обозначенных им границ и их территория охватывала такие поселения, как Меддене, Пелоне, Малесине, Товраксе. Этот расширенный вариант «максимального» распространения селов объясняет быструю ассимиляцию «северных» селов латышам, а «южных» литовцам. Дини полагает, что первая ассимиляция состоялась уже к середине XIV века, а вторая протекала медленнее, и «южные» селы были ассимилированы литовцами только в VII—XIV вв. (? — так у автора). Но поскольку и сейчас как в латышских, так и в литовских говорах на селийском субстрате обнаруживаются отчетливые «селизмы», можно думать, что язык селов продолжал свое существование (по крайней мере в семейном кругу или между своими земляками) еще какое-то время. Язык селов как таковой прекратил свое су-

ществование, но селы древних времен, сменив язык, обычаи, отчасти культуру, наконец, национальную принадлежность, конечно, не вымерли и следы «селийского» этнического начала продолжают еще свое потаенное и существенно измененное существование. Это же относится и к языку селов, сохранившему целый ряд фонетических, а иногда и лексических «селизмов». См.: Z. *Zinkevičius.* Lietuvių kalbos istorija I. Lietuvių kalbos kilmė. Vilnius, 1984, S. 358—362; P. U. Dini. Le lingue baltiche. Firenze, 1997, русск. перевод — *Пьетро У. Дини.* Балтийские языки. М., 2002. С. 247—250. Ср. также S. *Karaliūnas.* Sėlių kalba // Mokslas ir gyvenimas. I. 1972. S. 17—18; V. *Mažiulis.* Selonica // Baltistica. 17. 1981. S. 7—12; J. Kabelka. Baltų filologijos įvadas. Vilnius, 1982. S. 82; A. Breidaks. Некоторые фонетические явления селонского языкового субстрата в северовосточной Литве // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Vilnius, 1985. S. 206—211; *Он же.* Latgaļu, sēļu un žemaišu cilšu valodu senie sakari // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Raksti. Vēstis. 8. S. 34—37, — И особенно не лишне вспомнить посвященные селам и их языку страницы К. Буги — «Kalba ir senovė». Kaunas, 1920—1922. S. 150(86)—152(88), то же — K. *Bū*ga. Rinktiniai Raštai. Vilnius. T. II. 1959. S. 108—110.

[48] Ср. Aiviekste, см. Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. A—I. Rīga, 1986. S. 9; Aiviekste, Eivieksts, Aviekste (названия, относящиеся к гидронимии, но и к обозначению крестьянских усадеб), см. *Endzelī*ns. Latv. PSR vietvārdi. I daļa. 1. sējums. A—J. Rīga, 1956. S. 7 (ср. «ar disimilāciju no reduplicēta *vaiviekst-»).

[49] Из более ранних работ см. K. *Būga.* Latvijas vietu vārdi. I. daļa. Vidzemes vārdi [Rīga, 1922] // Tauta ir žodis. Kaunas, 1923. Kn. 1. S. 385—387 [= Rinktiniai raštai. T. 3. Vilnius, 1961. S. 625—628]; P. *Šmits.* Par zemgaliešu un sēļu tautību // Filologu biedrības raksti [далее — FBR]. 1. sēj. Rīga, 1927. S. 49—50; J. *Bičolis.* Birziešu izloksne // FBR. 12. sēj. 1932. 64 lpp.; A. *Ābele.* Kā varēja rasties epentēze un palatālā pārskaņa mūsu sēliskajās izloksnēs // Ceļi 3. Rīga, 1933. S. 106—110 lpp.; J. *Kauliņš.* Sistemātisks pārskats par sausnējiešu izloksnes pārskaņām // FBR. 13. sēj. 1933. S. 11—19; M. *Ozoliņa.* Vestieniešu izloksne // FBR. 17. sej. 1937. S. 81 lpp.; I. *Vīksne.* Daudzesiešu izloksne // FBR. 17. sēj. 1937. S. 147 lpp.; E. *Šturms.* Sēļi // Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, 1939. S. 38063—38064 ff.; — V. *Rūķe.* Programma izlokšņu aprakstiem. Rīga, 1940. S. 4—6 lpp.; J. *Endzelīn*s. Latviešu valodas gramatika. Rīga, 1951. S. 117, 144—152 lpp.; Idem. Latviešu valoda Vidzemē // Latvijas PSR ZA Valodas un literaturas institūta raksti. Rīga, 1954. 3. sēj. S. 125—136 lpp.; *К. Я. Анцитис*, *А. Я. Янсон*. Некоторые вопросы этнической истории древних селов // Советская этнография. 1962. № 6. С. 92—104; K. *Ancītis, A.* Jansons. Vidzemes etniskās vēstures jautājumi // Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga, 1963. S. 25—68 lpp.; K. *Ancītis.* Aknīstes izloksne. Izloksnes statika un dinamika. Ievads, fonētika, morfologija. Rīga, 1977. S. 47 lpp.; A. *Rasiņš.* Lauksaimniecības enciklopēdija. Rīga, 1966. 2. sēj. S. 549 lpp.; J. *Kušķis.* Dažas sēļu valodas vokālisma īpatnības pēc mūsdienu latviešu valodas sēlisko izlokšņu materiāliem // P. Stučkas LVU Zinātniskie raksti. Rīga, 1967. 60. sēj. 9. A. laid., S. 9—20 lpp.; M. *Rudzīte.* Latviešu dialektoloģija. Rīga, 1964; Eadem. Oi gaidāmā uo vietā dažās Latgales izloksnēs // Baltistica. Vilnius, 1968. T. 4. sąs. 2. P. 243; *Она же.* Латышская диалектология. Фонетика и морфология. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Рига, 1969; *М. К. Рудзите.* К вопросу о селах на правобережье Даугавы // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балт-

ских народов. Рига, 1980. С. 159—163; S. *Karaliūnas.* Sėlių kalba // Mokslas ir gyvenimas. Vilnius, 1972. № 1. P. 17—19; Dz. Paegle. Zemkopības darbarīku nosaukumi Vidzemē. Dis. filol. zin. kand. grāda iegūšanai. Rīga, 1973. S. 22 lp., 51 karte [рукопись]; Latvijas PSR arheoloģija. Rīga, 1974. S. 277 lpp.; *Я. Я. Розенберг.* Leiši (ʻлитовцыʼ) латышских народных песен в свете культурно-исторических взаимосвязей // Проблемы этнической истории балтов. Тезисы доклада. Рига, 1977. С. 153—168; Latvijas zemju robežas 1000 gados. Sastādījis Andris Caune. Rīga, 1999; Latvijas senākā vēsture. 9. g. t. pr. Kr. — 1200. g. Rīga, 2001 и др.

[50] Подлинные тексты «Хроники Ливонии» и их переводы приводятся по изданию: *Генрих Латвийский.* Хроники Ливонии. Введение, перевод и комментарии С. А. Аннинского. М.; Л., 1938 (пишущий эти строки не всегда согласен с переводами ряда этнонимов на русский язык). — Ср. также Indriķa hronika. Rīga, 1993 (Ā. Feldhūna tulkojums. Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri).

[51] См. Hermanni de Wartberge. Chronicon Livoniae, herausgegeben von Dr. Ernst Strehlke. Leipzig, 1863.

[52] Ср. ее издание — Livländische Reimchronik mit Anmerkungen, Namenverzeichniss und Glossar, herausgegeben von Leo Meyer. Paderborn, 1876.

[53] В акте упоминается и ряд поселений селов, среди них Allecten, Calve, Medene, Nitzcegale, но особенно существенно поселение Selen.

[54] Ср. Meddene, Pelone, Maleysine, Thovraxe и также Selen. Любопытно, что ряд этих названий отождествляются с более поздними и даже современными названиями.

[55] См. Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. 4. burtnīca (S—Ž) Rīga, 1986. S. 9.

[56] Нельзя исключать, что в ряде случаев так называемые «холодные» реки могли бы возникнуть в порядке народной этимологии из Sal-up-, ср. Saltupe (р. *Салтупе*) при Salupe, Salu gr. Но, разумеется, это не более чем одно из возможных предположений. См. Ibid. burtn. 4. S. 4—5; ср. V. Kiparsky. Die Kurenfrage. Helsinki, 1939. S. 151, словарная статья 1253 Salene в связи с лтш. salt : salstu (salu) ʻfrierenʼ. — Ср. nom. propr. Andreas Sellite, 1582—1585, связываемое Кипарским с лтш. *zellītis*, деминутив от zellis.

[57] V. J. Zeps. The Placenames of Latgola. A Dictionary of East Latvian Toponyms. Madison, Wisconsin, 1984. P. 450. Ср. Ibid. S. 441—442.

[58] Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. II dalis. Vilnius, 1976. S. 270—271, 274.

[59] См. G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen gesammelt und sprachlich behandelt. Berlin, Leipzig, 1922. S. 149, 155.

[60] См. V. *Pėteraitis.* Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai. Jų kilme ir reikšmė. Vilnius, 1997. S. 342, 349. Ср. также Hydronymia Europaea hrsg. von Wolfgang. P. Schmid. Sonderband II. Die baltischen Ortsnamen im Samland. Bearbeitet von Grasilda Blažienė. Stuttgart, 2000. S. 137, 147.

[61] См. Karol Zierhoffer. Nazwy miejscowe Pólnocnego Mazowsza. Wrocław, 1957. S. 331.

[62] См. G. Leyding. Słownik nazw miejscowych okręgu Mazurskiego. Część II. Nazwy fiziograficzne (zlokalizowane). Poznań, 1959. S. 25, 174, 189, 267, 286, 345.

[63] См. S. Rospond. Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej. Wrocław, Warszawa, 1951. S. 284, 286, 288.

[64] См. Hydronimia Wisły. Część I. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym pod red. Przemysława Zwolińskiego. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965. № 138, 175, 425, 453, 458, 503, 534, 665, 702,764.

[65] См. Reinhold Trautmann. Die Elb- und Ostseeslavischen Ortsnamen. T. I. Berlin, 1948. S. 134, 149, 155 и др.; T. II. S. 32 и др.; ср. его же работу «Slavischen Ortsnamen Mecklenburgs und Hoslteins» (1948).

[66] См. *П. Л. Маштаков.* Список рек Днепровского бассейна с картой и алфавитным указателем. СПб., 1913. С. 3, 13, 37, 49, 53, 77, 108, 112, 115, 148, 152, 155, 173, 155, 176, 188, 190, 191, 197, 200, 208, 220, 225.

[67] См. *В. Н. Топоров.* Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988. С. 154—177; *Он же.* Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II / Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989. С. 47—69 и др.

[68] См. *Г. П. Смолицкая.* Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976. С. 25, 31, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 62, 65, 77, 85, 90, 93, 116, 125, 127, 128, 129, 132, 138, 150, 155, 160, 170, 213, 256.

[69] См. *П. Л. Маштаков.* Список рек бассейнов Днестра и Буга (Южного) с картой и алфавитным указателем. Петроград, 1917. С. 6, 16, 20, 22, 34, 35.

[70] См. D. Detschew. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957; A. Mayer. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I: Einleitung. Wörterbuch der illyrischen Sprachreste. Wien, 1957; O. Haas. Die phrygischen Sprachdenkmäler. Sofia, 1966.

[71] См. L. Zgusta. Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964; Idem. Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha, 1955.

[72] См. *Д. Дечев.* Характеристика на тракийския език. София, 1952; *В. Георгиев.* Тракийският език. София, 1957; I. Duridanov. Thrakisch-Dakische Studien. Erster Teil. Die Thrakisch und Dakisch-Baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969; *Он же*. Езикът на траките. София, 1976; *В. Н. Топоров.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. I // Балканское языкознание. М., 1973. С. 30—63; *Он же.* К фракийско-балтийским языковым параллелям. II // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 59—116; *Л. А. Гиндин.* Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. Фрагмент индоевропейской ономастики. М., 1967; *Он же.* Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хеттско-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). София, 1981, *Он же.* Население гомеровской Трои. Историко-филологические исследования по этнологии древней Анатолии. М., 1993; *Л. А. Гиндин, В. Л. Цымбурский.* Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996; *В. П. Нерознак.* Палеобалканские языки. М., 1978; Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика. История. Археология. М., 1984; *В. Римша.* Балто-фракийские языковые связи. Каунас, 1994 и др. — Разумеется, нужно помнить и о трудах по фракистике, написанных В. Томашеком еще в конце XIX века, см. W. Tomaschek. Die alten Thraker // Sitzber. d. Akad. d. Wiss. Bd. 128. Wien, 1893: I. Übersicht der Stämme. Bd. 130, 1893: II. Sprachreste, 1. Glossen allerart und Götternamen. Bd. 131 (1834): 2. Personennamen und Ortsnamen.

[73] Речь идет об указанных в предыдущей сноске работах И. Дуриданова, В. Н. Топорова, отчасти В. Римши, сконцентрированных именно на б а л к а н о - б а л т и й с к и х связях.

[74] Для греческой мифологии со- и одно-именность мифологического персонажа и горы подтверждается многими фактами.

[75] J. Sundwall. Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnisse kleinasiatischer Namenstämme. Leipzig, 1913.

[76] См. Tituli Asiae Minoris I. Vindobonae, 1901. 32b и t.

[77] Monumenti antichi della reale Accademia dei Lincei. 23. 1914. P. 76. № 59.

[78] См. R. Heberdey—A. Wilhem. Reisen in Kilikien (Denkschriften Wien. 44. 1896, S. 115).

[79] См. R. Trautmann. Die altpreußischen Personennamen. Göttingen, 1925. S. 85, 91.

[80] См. Lietuvių pavardžių žodynas. L—Z. Vilnius, 1989. S. 662—667, 694—695.

[81] См. E. Blese. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie personu vārdi un uzvārdi (XIII—XVI gs.). Rīga, 1929. S. 240, 245.

[82] См. V. Zeps. Op. cit. S. 441—442, 450.

[83] Ср. М. В. *Бірыла*. Беларуская антрапанімія: Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку і прозвішчы. Мінск, 1966. С. 147, 300; *Он же*. Беларуская антрапанімія. Мінск, 1982. С. 168, 300.

[84] См. Słownik staropolskich nazw osobowych. Pod redakcją i ze wstępem Witolda Taszyckiego. s. v. Sel-.

[85] См. статью *Речь* и *река/речка* (из области мнимых этимологических парадоксов) // Теоретические проблемы языкознания. СПб., 2004. С. 138—162.

[86] В качестве сугубо предварительного предположения можно сослаться в связи с образом «благосклонной», «милостивой» реки на ностратическую реконструкцию *S*Λ*l*Λ* ʽблагоприятный’, ʽсчастливый’, ʽутешающий’, ʽпригодный’ и т. п., откуда более поздние и частные реконструкции — и.-евр. *selh-/*sleh-, сем.-хам. **šl-* ʽутешаться’, ʽбыть спокойным’ (ʽневредимым’), см. *В. М. Иллич-Свитыч.* Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Сравнительный словарь (l-ǯ). Указатели. М., 1976. С. 106—107.

[87] О связи этнонима *sēļi* (sg. *sēlis*) с водой и течением ср. K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca divos sējumos. II. P—Z. Rīga, 1992. S. 168—169. Оговариваясь, что происхождение этого названия не полностью выяснено, автор словаря предлагает связывать указанный этноним с лит. sálti ʽм е д л е н н о течь’ и соотносит в семантическом плане лит. *Sėliupis*, Sėlupỹs с лит. *Tėkupỹ*s (tekė́ti, лтш. *tecēt*). Однако более реальным решением К. Карулис признает связь этнонима *sēļi* с и.-евр. *sélos ʽозеро’, ʽболото’, ср. др.-инд. sára-, др.-иран. *hara-, др.-греч. *ἕλος* ʽболотистая низменность’, ʽболото’; ʽпойма’, ʽзаливной луг’ при *Ἕλος*, Гелос, «Болото» и название двух городов — в Лаконии (уже у Гомера) и Элиде (тоже уже у Гомера), ср. в Нитауре (*Nītaure*) топоним *Sēļa pur*vs. Карулис допускает переход **Sēla* > *Sēļa*.

[88] Это не исключает и иную последовательность в цепи обозначений. В частности, особенно в случае массовых миграций населения, этноним может эксплицировать соответствующее название «новой» земли, «новой» родины.

[89] Часто при этом этнонимы выступают в оскорбительном или пренебрежительном вариантах, ср. *полячишка, армяшка, немчура, итальяшка, япошка, китаёза, мордва беспятая*, *татарва*, *чухна* и т. п. Ср. также именования типа *хохол*, *хохлы*, *Хохландия* и др.

[90] Ср. *Эй, **ты**, здесь ходить запрещено!*; ***Че-эк**! чего тебе здесь нужно?*; ***Мамаша**, убери отсюда своего ребенка* и т. п., где выделенные слова-апеллятивы по сути дела функционируют как антропонимы (с функцией обращения-призыва).

2004

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

Балтийские языки — Языки мира: Балтийские языки. М., 2006. С. 10—49.

Заметки по прусской этимологии — Вопр. слав. языкознания. 1958. Вып. 3. С. 112—120.

Две заметки из области балтийской топонимии (этимологический аспект) — без подзаголовка напечатано в: Rakstu krājums veltījums akadēmiķim profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei. Rīgā, 1959. P. 251—266.

Исследования по балтийской этимологии (1957—1961) — Этимология. М., 1963. С. 250—261.

Заметки по балтийской мифологии — Балто-славянский сборник. М., 1972. С. 289—314.

Об одном локальном варианте основного мифа (*Dieveniškės*) — Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. 1 (5). Тарту, 1974. С. 33—37.

Лит. dañdaras, лтш. dañdala и друг. — Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1974. Bd. 19. H. 2. S. 207—209.

Lit. yrà, lett. ir und ihre Vergangenheit im Lichte der Geschichte und der linguistischen Typologie — Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1978. Bd. 23. S. 617—627.

О некоторых аспектах реконструкции в сравнительно-историческом исследовании балтийских языков (1—2) — Baltistica. 1979. T. XV (2). P. 95—110.

К реконструкции прусских метрических текстов — Balcano-Balto-Slavica: Симпозиум по структуре текста: Предвар. материалы и тез. М., 1979. С. 87—92.

Vilnius, Wilno, *Вильна*: город и миф — Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980. С. 3—71.

К объяснению нескольких «культурных» слов в прусском — Этимология 1978. М., 1980. С. 153—169.

Категории времени и пространства и балтийское языкознание — Балто-славянские исследования 1980. М., 1981. С. 11—15. Первая публикация: Вступительные замечания (Категории времени и пространства и балтийское языкознание) // Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом», 11—15 дек. 1978 г.: Предвар. материалы. М., 1978. С. 3—9.

Прусск. reddi и под. как семантическая проблема — Балто-славянские исследования 1981. М., 1982. С. 100—105.

О специфике балт. *lai и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса — Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 67—83.

От реконструкции старопрусского к рекреации новопрусского — Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 36—63 (совместно с М. Л. Палмайтисом).

К реконструкции одного цикла архаичных мифопоэтических представлений в свете «Latvju dainas» (К 150-летию со дня рождения Кр. Барона) — Балто-славянские исследования 1984. М., 1986. С. 29—59.

Заметки о латышских мифологических именах — Onomastica lettica. Rīgā, 1990. P. 200—236.

К реконструкции одного балтийского ритуального термина — Symposium Balticum: A Festschrift to honour professor Velta Rūķe-Draviņa. Hamburg, 1990. P. 521—534.

Варпулис как ипостась Перкунаса (Из заметок по балтийской мифологии) — Res Balticae. 1996 [2]. P. 107—124.

Об одной топономастической катастрофе — Исторические названия — памятники культуры. Сб. материалов. Вып. 1. М., 1991. С. 9—18.

Из новой литературы по балтистике — Балто-славянские исследования. Вып. 16. М., 2004. С. 387—407.

К выходу в свет большого «Словаря литовского языка» — Балто-славянские исследования. Вып. 16. М., 2004. С. 408—415.

Еще раз о неврах и селах в общебалтийском этноязыковом контексте (народ, земля, язык, имя). Из истории и.-евр. *neur-: *nour- и *sel- (неумирающая память об одном балтийском племени) — Onomastica Lettica. 2. laidiens. Rīga, 2004. P. 152—231.

Владимир Николаевич Топоров

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТИМОЛОГИИ И СЕМАНТИКЕ

Том 4

Балтийские и славянские языки

Книга 2

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Редакторы тома: Т. Цивьян, М. Завьялова, А. Григорян

Оригинал-макет подготовлен Е. Титовой

Художественное оформление переплета
Ю. Саевича и С. Жигалкина

Подписано в печать 17.09.2010. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. п. л. 41,28. Тираж 800. Заказ № 2912

Издательство «Рукописные памятники Древней Руси».
№ госрегистрации 1067746430102.
Phone: **959-52-60** E-mail: **Lrc.phouse@gmail.com**
Site: **http://www.lrc-press.ru**

*